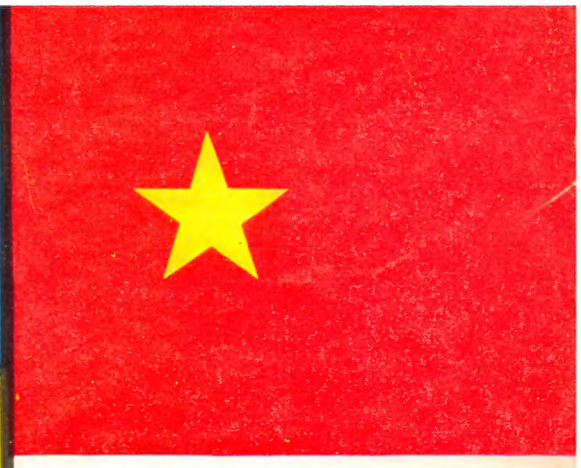


ИНОСТРАННАЯ литература

6

1966

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЬВИО РОМЕРО — Партизаны Вьетнама (Стихи) 3

ПОЭТЫ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА

ЛЕ АНЬ СУАН, КИМ ЧИНЬ, ХОАЙ ВУ, ЗИАНГ НАМ 4

НГУЕН ДИНЬ ТХИ — В огне (Повесть) 10
ТО ХЫУ — Зеленая рубашка (Стихи) 67
НГУЕН ЧУНГ ТХАНЬ — Лес Са-ну (Рассказ) 68

СЛОВО ПОЭТЕССАМ ВЬЕТНАМА

ВАН ДАЙ, АНЬ ТХО, ХАНГ ФЫОНГ, ХАЙ ИЕН, ХОАНГ ТХИ МИНЬ КХАНЬ, СУАН КУИНЬ 81

АНЬ ДЫК — Родная земля (Рассказ) 88

СТРОКИ ГНЕВА И НАДЕЖДЫ

МАРТИН КАРТЕР, ДЖУДИ МАЙЛС, ВОЛЬФГАНГ ЕНИГ, М. БАРЗАНДЖИ, МАНУЭЛЬ НАВАРРО ЛУНА, ЭЛЬ ИНДИО НАБОРИ, ГАЙТАВ ЦЭВЭГМИДИЙН, ХАЛИНА ПОСВЯТОВСКАЯ, ДОРА ТЕЙТЕЛЬБОЙМ, ШАРЛЬ ГРИВЕЛЬ, ТОСАБУРО ОНО, ЮДЗУРУ КАТАГИРИ 96

6

ИЮНЬ
1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

МЫ С БОРЮЩИМСЯ ВЬЕТНАМОМ

(Мастера культуры отвечают на обращение «Иностранной литературы»)

АННА ЗЕГЕРС, ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС, ХОРХЕ САЛАМЕА, НИКОЛАЙ ТИХОНОВ, В. ТЕНДРЯКОВ, АРМАН ЛАНУ, ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ, ЛЕВ ЛАНДАУ, ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ, АЛАН МАРШАЛЛ, ИШТВАН ШИМОН, РОМАН КАРМЕН, ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР, БОРИС СТРЕЛЬНИКОВ, ЯН ПИЛАРЖ, В. ОЗЕРОВ, КАРА КАРАЕВ, БОЖИДАР БОЖИЛОВ, СЕРГЕЙ БОРОДИН, АРТЮР АДАМОВ 105

ПУБЛИЦИСТИКА

К СЕВЕРУ И К ЮГУ ОТ 17-й ПАРАЛЛЕЛИ

НГУЕН КХАЙ — На острове Трав 116

НГУЕН ТУАН — И грабители, и нищие 121

ХОСЕ РОДРИГЕС ЭЛИСОНДО — О том, что я видел 124

ЖАН-ЭМИЛЬ ВИДАЛЬ — Вьетнам героический 129

ТАКЭСИ КАЙКО — Агония укрепленного поста Бен-кат 135

ФРАНКО ПРАТТИКО — Два способа умирать 142

А. ТЕР-ГРИГОРЯН — Волшебная палочка традиции 145

ИЗ РАБОТ ВЬЕТНАМСКИХ МАСТЕРОВ 148

ФАМ ХО — Шутливые строфы 155

МОРИС УЭСТ — Посол (Роман. Послесловие Саввы Дангулова) 157

СРЕДИ КНИГ

А. Губер — Героический народ непобедим. ◇ Руд. Бершадский — Беспощадное перо. ◇ К. Атарова — «Не призрачный свет луны...» ◇ Л. Эйдлин — Чистота взгляда. ◇ И. Огнетов — Они нужны людям. ◇ Екатерина Шевелева — Здравствуйте, Доан Тхи Дьем! ◇ С. Черникова — Одна из многих ◇ Александр Исбах — Национальный герой Вьетнама. ◇ Шарль Фурньо — Истина об американской агрессии 269

РАБОТАЯ НАД ПЕРЕВОДАМИ

Павел Антокольский — Встреча с Хо Ши Мином. ◇ Аркадий Штейнберг — Благородство и человечность. ◇ Геннадий Ярославцев — «Царица вьетнамской поэзии». ◇ Н. Никулин — Сказания вьетнамских гор. 284

В монтаже обложки использованы работы вьетнамских художников и документальная фотография из итальянского журнала «ВИЕ НУОВЕ».

ЭЛЬВИО РОМЕРО

Парагвайский поэт, участник восстания против фашистской диктатуры в Парагвае. Наш журнал публиковал стихи Эльвио Ромеро. В 1961 году в Советском Союзе вышел его поэтический сборник.

Стихотворение «Партизаны Вьетнама» написано специально для этого номера.

Партизаны Вьетнама

Это мрак.
Это больше, чем мрак.
Это сдержанный вздох, еле видимый знак.
Это след, впечатанный мраком во мрак.

Это лес.
Это больше, чем лес.
Это шорох в тиши и таинственный блеск.
Это мглистое эхо, объявшее лес.

Это ночь.
Это больше, чем ночь.
Это вкрадчивый свист, улетающий прочь.
Это свист непонятный, пронзающий ночь.

Это дерево.
Это больше, чем дерево.
Это ужас пришельца, миражное марево.
Это лица в листве — цвета дерева.

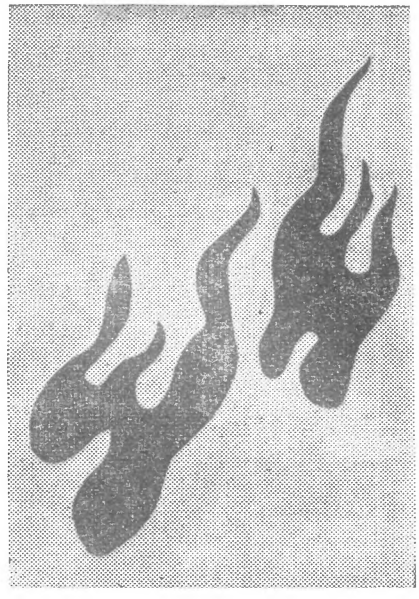
И бамбук.
Но не просто бамбук.
Это поле, где рис разверзается вдруг.
Это — в ямах волчьих — острый бамбук.

Это день.
Это больше, чем день.
Это страх палачей и возмездия тень.
Это утро — вхождение в будущий день.

И народ!
Нет, не просто народ.
Это край затаенных надежд, где народ,
взяв оружье, в себе воскрешает народ!

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

Поэты Южного Вьетнама



ЛЕ АНЬ СУАН

Встреча

Я шел сквозь дождь и мрак, в ряду
товарищей своих.
Над гладью рисовых полей
всю ночь клубился вихрь.

За горизонтом спорил гром
с зарницей молодой.
Мы молча шли, мы молча шли
меж небом и водой.

Мы все мечтали о тепле,
о треске камелька.
А дождь все льет, а дождь все льет,
нигде ни огонька.

Вдруг я услышал впереди
какой-то легкий шаг.
Притих на время плеск воды
и расступился мрак.

Во тьме мы встретили друзей,
их смех и голоса,
и мимо девушка прошла,
как света полоса.

Я слышал только голос твой:
— Вперед! Нас ждут бои!
Быстрей вперед, быстрей вперед,
товарищи мои!

Она исчезла в темноте,
смолк милый голосок.
Наш путь был дальше, на Донг-тхап,
их путь был — на восток.

Не знаю, как тебя зовут,
и смутен образ твой:
ты в черной куртке и штанах,
винтовка за спиной.

Ты далеко, ты далеко
ушла в рядах бойцов.
Фонарик светится вдали
или твое лицо?

Винтовка у меня в руках,
такая ж, как твоя.
— Быстрей вперед! Быстрей вперед! —
твой голос слышу я.

КИМ ЧИНЬ

Героический Север

Ты ясным взором смотришь в небеса,
зенитчик славный, Севера солдат.
Америки крылатые гробы
уже взрываются! Уже горят!

Овеяна геройством Дьен-бьен-фу
земля, где правят мужество и честь.
Захватчикам лишь только для могил
на этих параллелях место есть.

От самого Ланг-шона до Ка-мау
единым строем поднялись мы, друг,
пригорок каждый бастионом стал,
и пиками щетинится бамбук.

Враг столько лет на Юге нас терзал.
Не счесть потерь, не перечислить ран.
За все страданья Юга наглецам
сурово мстят зенитки северян.

Наш Север, Север Юга моего,
Костяк крыла и стебелек цветка.
Когда стервятники бомбят Донг-хой,
бурлит от ярости Меконг-река.

Мы здесь, на Юге, насмерть бьем врага,
земля — вся в ранах, в полосах траншей,
зато на Севере восходит рис
и матери качают малышей.

Зато на Севере восходит дым
из труб заводов, где свободный труд.
Там новой жизни свежие ростки —
могучи корни и цветы цветут.

Наш Юг и Север — как одна рука
в две тысячи горящих верст длиной,
пять пальцев — пять мечей. И мы врага
задушим этою рукой одной.

Твои орудья смотрят в небеса,
зенитчик славный, Севера солдат.
Но и винтовка старая моя
наведена на те же цели, брат.

Винтовка или гром у нас в руках,
одной решимостью полны сердца.
Свободу любишь — спину распрями,
коль хочешь мира — бейся до конца.

Все множат счет подстреленных ворон
и ваш Нге-ан, и наша Ба-риа.
И Юг, и Север вместе победят.
мы разгромим захватчиков, друзья!

Перевод ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

ХОАЙ ВУ

Гляжу на свое отраженье в ручье О-ри

Посвящается Мун, девушке из Штиенга, угнанной в «стратегическое поселение» Фуриенг.

С той поры, как нас согнали
в «стратегический поселок»,
где не видно за оградой
ни рассветов, ни ночей,
где забытые початки
вянут в поле невеселом,
я в разлуке вспоминаю
О-ри, О-ри — наш ручей.

О ручей, где каждый камень виден с ясностью дневною,
мы давно с тобой сдружились среди этих строгих скал.
Если пела я от счастья, ты счастливым был со мною.
Если мне бывало грустно, ты грустил и умолкал.

То с корзиною початков, то с вязанкою тугою
ты встречал меня в начале и в конце большого дня.
Если ж я к тебе спускалась, воду пробуя ногою,
ты встречал меня прохладой и укачивал меня.

А когда на дне потока серебрился отсвет лунный
и похож был каждый камень на алмаз или коралл,
ты звенел в тиши вечерней, как натянутые струны,
те, которые когда-то милый мой перебирал.

Я могла, к тебе склоняясь, разглядеть в твоих глубинах
очертанья гор знакомых и лесов зеленый дым.
«Если очень затоскуешь,— говорил мне мой любимый,—
ты в ручье встречаться сможешь с отражением моим...»

Это сумрачное утро позабуду я едва ли —
не забуду, как поселок в черном облаке исчез,
как прикладами винтовок нас солдаты избивали,
как вот-вот еще зеленый становился красным лес.

Как вдоль берега брели мы, продвигаясь еле-еле,
от покинутого дома оторвать не в силах взор.
Как, смешавшись со слезами, воды О-ри потемнели
и уже не отражали ни небес, ни рощ, ни гор.

Как, поддерживая маму, шла я полем кукурузным
там, где высохшие листья шелестели в забытьи,
где изломанные стебли вдоль тропы теснились грустно,
словно это были руки перебитые мои.

Так нас гнали конвоиры, словно стадо в оцепленье,
не давая ни минуты нам для отдыха и сна.
В ту же осень в Фу-риенге, в «стратегическом селенье»,
маму я похоронила и осталась жить одна.

Но однажды в Фу-риенге с автоматами на взводе
появились наши люди из кромешной темноты.
Шли они, как пламя в джунглях, шли, как реки в половодье,
на пути своем сметая укрепленья и мосты.

Шли они, неумолимо
нанося врагу удары,
вышки, стены и заборы
разрушая все дотла.
О ручей, любимый с детства,
друг мой преданный и старый,
наконец я вновь с тобою,
я опять к тебе пришла.

По траве испепеленной,
по земле родного края
я пришла на этот берег,
словно к собственной судьбе.
Снова слышу, как шумишь ты,
камешки перебирая,
снова вижу я, как горы
отражаются в тебе.

Знаю я, еще немало
в нашей жизни будет горя
и не раз побагровеют
воды чистого ручья —
но придет с победой милый,
и в твоих стремнинах, О-ри,
отразятся, как бывало,
тень его и тень моя.

Перевод М. МАТУСОВСКОГО

ЗИАНГ НАМ

Письмо з тыл

I

Как ласточка плавно на крыльях
несет весть о весне
в тот час, когда стужа землю держит,
не отпуская,
так и письмо мое это
из горящего Фыок-лонга,
из пламени боя радость
несет родимому краю,

II

О дни, когда мы готовились,
тайну свою храня,
по зернышку рис собирали
и отсылали в тыл.
И каждый куль соли
женские спины гнул,
и каждый снаряд тяжелый
на женские плечи давил.

О Ба-ра! * Наши товарищи
здесь томились в тюрьме
и гибли, и без надгробий
нынче могилы их.
Сто лет здесь свирепо свистели
бичи палачей-господ.
Краснозем Тэй-нгуена — это
не кровь ли сердец людских?

В каждом каучуковом дереве —
человеческая душа.
Здесь, в Фу-риенге, когда-то
поднят был красный флаг.
В Фыок-лонг под знаменем партии
пришли наши войска,
пришли они с мечтою в сердцах,
пришли с оружьем в руках.

Носильщики и солдаты
сквозь джунгли ночами шли,
голодные и усталые,
порой сбиваясь с дороги.
Огня мы еще не открыли,
но враг бежал из фортов,
машины, повозки гремели,
и горы проснулись в тревоге...

VII

Я пишу о победе
это письмо-стихи.
Шлю я тебе отсюда,
из кольца огневых дорог,
кусок голубого неба
и камнем мощенный путь —
подарка ценней, чем этот,
придумать бы я не смог.

Артиллерист, спасибо
за то, что нам путь проложил.
Ненависть — точно молния.
В атаку зовет труба.
Скоро земля опрокинется
на головы наших врагов,
жены и матери — с нами,
едина наша судьба.

О солдаты, еще вчера
буйволов вы пасли,
но на битву против врага
вы по первому зову пошли.
Даже с тяжелыми ранами
вы шагали вперед.
Покуда жив человек, он
не уступит родной земли.

* Название местности в Южном Вьетнаме.

Вы уговаривали друг друга
съесть хоть горсточку риса,
дремоту вы отгоняли прочь,
тоску прогоняли вспять.
Восемнадцать солдат, вы из плоти живой
или вы из железа,
если бомбы и пули
никак не смогли вас взять? *

Вы били по вражеским самолетам,
и сгорали они,
вы подняли головы — синее небо
вам открылось в борьбе.
Освободительной армии
солдат, родной человек,
слышишь ли ты искренний зов,
зов, обращенный к тебе?!

Фу-риенг, Тхуан-лой,
Фыок-куа, Бу-ньо...
Наша машина летит вперед,
дорога открыта, тверда.
Ушли навсегда
позор и рабство,
жизнь снова
пришла сюда.

Мы преградили путь врагу,
чтоб веселились дети
под крышей своей школы,
чтоб жизнь их была светла,
чтобы девушка
с коромыслом
по свободной дороге
свободно шла.

IV

Сколько друзей погибло в борьбе!
Но мы, как прежде, идем вперед.
Пенятся воды извилистой Бе.
Весь тыл вместе с нами песню поет.

Перевод ЛЬВА ОЗЕРОВА

* У Фыок-лонга в мае 1965 года было отбито в бою пять контратак противника, из сражавшихся там солдат Освободительной армии в живых осталось 18 человек.

НГУЕН ДИНЬ ТХИ

Генеральный секретарь Союза писателей Вьетнама, депутат Национального собрания (род. в 1924 г). Среди наиболее популярных произведений последних лет, вышедших во Вьетнаме,— его книга рассказов «На берегу реки Ло», поэма «Песня о Черном море», пьеса «Черный олень», роман «Прорванные берега». Роман «Вперед, в атаку!» переведен на русский язык.

Повесть «В огне» недавно вышла в ханойском издательстве «Ван хаук».

В ОГНЕ

Повесть

●

Перевод с вьетнамского
М. ТКАЧЕВА

I

Ночь. Сквозь ветер и дождь вымокший «газик» с погашенными фарами поднимается, сползает вниз и снова взбирается по бесконечным холмам. В машине — тишина, тускло мерцает огонек сигареты, иногда он разгорается ярче, и красноватый блик света, отражающийся в ветровом стекле, очерчивает в темноте неясные контуры касок.

Суан, сидя рядом с Хоа, ведущим машину, пытался разглядеть дорогу, но впереди все тонуло в слепой темноте ночи. Дык, сидевший сзади, кажется, наконец задремал. Младший лейтенант выглядит очень усталым; эта ночная поездка измотает кого угодно! Один Виен дрыхнет как ни в чем не бывало и только похрапывает на ухабах.

Дорога тянулась через залитые водою поля. Колеса проваливались в выбоины, и машину швыряло из стороны в сторону.

— Эй, Хоа! Осторожнее! — Суан весь подался вперед.

У самой дороги мелькнул силуэт человека, еле заметный под низко нависшей кроной баньяна.

— Черт побери! — пробормотал Хоа.— Нашли, где разлечься, так недолго во сне и жизни лишиться!

«Газик» заревел и медленно вполз в черный ночной лес. Суан разглядел людей, которые, завернувшись в нейлоновые накидки, лежали на траве прямо у обочины дороги. Наверно, это были народные носильщики* или молодежная ударная бригада**.

Лес неожиданно вырвался из темноты, залитый резким мертвенно-желтым светом. Опять осветительные ракеты на парашютах! Откуда-то с холма долетел отчаянный женский крик:

— Самолеты! Само-о-о-ле-ты...

В слепящем свете ракет колебался сгустившийся под деревьями мрак. Носильщики, лежавшие у дороги, не просыпались. Суан увидел тяжело нагруженные велосипеды, прислоненные к стволам деревьев. Носильщиков было очень много, они лежали вдоль дороги до самой опушки.

В машине все проснулись. Дык, высунув голову из-под брезентового верха, глядел на ракету, медленно опускавшуюся к вершине горы.

— Они еще далеко...— сонным голосом сказал Виен.— А-а, мы уже

---

* Выделяемые из населения каждого района группы носильщиков и подсобных рабочих подносят солдатам грузы, помогают рыть окопы и т. д.

** Молодежь ДРВ вступает в ударные бригады, работающие на самых тяжелых участках трудового фронта.

у Кривого баньяна. Вот и дорога в госхоз! — Он явно просыпался.— Давайте остановимся ненадолго, у меня здесь есть дело.

Машина стала. Виен, набросив нейлоновую накидку, спрыгнул на землю.

— Я на полчасика загляну в госхоз, Суан, ладно?

Он обошел вокруг машины, посветил карманным фонариком на привязанный сзади велосипед и пощупал веревки. А убедившись, что велосипед в полном порядке, закурил сигарету, затянулся несколько раз и, подняв повыше брюки, зашлепал по тропинке.

Ракета погасла, и все снова утонуло во мраке. Хоа взял лежавший на сиденье автомат, надел его на плечо и повернулся к тропинке, по которой ушел Виен.

— И чего он так трясется над своим велосипедом!

— Дело ясное,— засмеялся Дык,— теперь лучше всего ездить на своих двоих...

— Уж я привязал велосипед — надежнее быть не может, а он все, гляжу, недоволен. Пришлось тряпками обмотать все части, тогда только он сел в машину.

Суан тоже улыбался в темноте. Виен и вправду казался слишком дотошным. А все-таки хорошо, что они встретились на совещании в парткоме провинции. Суан уговорил его вместе ехать обратно. С заместителем председателя уезда все нипочем; завтра в штабе боевой группы любое дело, связанное с местными властями, можно будет решить на месте.

Дождь не унимался. С веток падали тяжелые капли. Накинув плащи, все присели под деревом и закурили, чтобы разогнать сон. Сверху плыл тяжелый гул самолета, кружившего где-то высоко в небе.

— Очень ты устал, Дык? Как твоя рана?

— Да нет, комиссар, все в порядке.

— У тебя ведь вынули половину пяточной кости, сможешь ли ходить?

— Ничего, привыкну. В пехоте было бы трудно, а нас, зенитчиков, на машинах катают...

Оба засмеялись.

— Вам, Дык, наверно, весь этот месяц в госпитале страшно хотелось потанцевать! — скороговоркой сказал Хоа.— Ничего, вернетесь к себе, в шестую роту, сшибете парочку «мухобоек» *, вот и расквитаетесь за Дой-шим**.

— Да, ребята из «шестерки» заждались своего ротного!..— голос Суана зазвучал веселее.— Ну, зато письма ты от кого-нибудь да получал...

— Да...— Дык помолчал, словно колеблясь, и продолжал: — Нга была у меня в госпитале...

— Ого, вот кому подвалило счастье! — воскликнул Хоа, похлопав ротного по спине.

— А Нга еще в Хайфонге? — спросил Суан.

— Да. По-прежнему работает в порту... в авторемонтном цехе.

— Путь оттуда не близкий. И дорога сейчас не легкая.

— Да...

В небе по-прежнему гудел самолет; звук мотора отдалился было и, казалось, совсем затих, но потом послышался снова. Хоа прислушался.

— Эти АД-6*** совсем обнаглели. Прилипают как пиявки...

---

* Так солдаты называют американские самолеты.

** Местность в Северном Вьетнаме, где происходили бои с американскими самолетами.

*** Реактивный самолет ВВС США, известен под названием «небесный пират».

— А-а...— Суан поднял голову.— Высматривает здешний паром.

Самолет ревел все ближе и ближе и, наконец, сотрясая воздух, прошел где-то прямо над ними.

●

«...Сегодня Нга, конечно, вернулась уже в Хайфонг,— думал про себя Дык.— Наверно, сейчас она как раз вышла в ночную смену и тоже думает обо мне...» Дыку вдруг почудилось, будто Нга тут, рядом, голова ее лежит на сгибе его локтя и разметавшиеся волосы еле ощутимо щекочут кожу. А в руке его маленькая ладонь, сильная и такая мягкая, ласковая. Кровь горячей волной прилила к сердцу. На своей шее, на лице он почувствовал легкое размеренное дыхание — совсем как в те ночи, когда Нга засыпала возле него и он лежал молча, не смея пошевелиться... Нга, любимая...

Последний вечер. Они поднимаются на холм по дороге, обсаженной пальмами ко*. В ярких зеленых листьях шелестит ветер. Нга ведет за руль свой велосипед, негромко позвякивающий на камнях. Они не говорят ни слова, шелковистые пряди черных волос, упавшие ей на щеки, трепещут от ветра. Но вот она замедляет шаг: «Тебе пора возвращаться, милый!» Губы ее чуть заметно дрожат; широко открытые глаза, не отрываясь, глядят на Дыка, и ему кажется, что время остановилось... «Будь осторожна в пути»... Зачем он говорит эти бессмысленные слова?.. Нга, прищурившись, крепко пожимает его руку, словно желая передать ему всю свою силу...

— Давно не видел я грузовых велосипедов **,— улыбнулся Суан,— пожалуй, с самого Дьен-бьен-фу. А ты, Дык, хорошо помнишь Дьен-бьен?

— Да...

— Ну, это еще вопрос! Ты ведь, наверно, помоложе Хоа?

— Мне тогда только что стукнуло девятнадцать.

— Сколько же тебе, Хоа?

— Двадцать два. А вам, комиссар, есть уже сорок?

— Что ж, ты почти угадал. Только немного меня омолодил.

— А вы и так молодой,— засмеялся Хоа.

— Где там! Совсем уж начал сдавать, вон и волосы поседели.

Дык улыбался своим мыслям. «Нга, что ты делаешь сейчас? Верь, я буду достоин твоей любви...»

На дороге, скрывавшейся в темноте, по-прежнему маячили тени. Люди шли пешком, ехали на велосипедах. Плыли силуэты широких, плетенных конусом шляп ***. Тяжелое дыхание уставших людей сливалось со скрипом сгибающихся под тяжестью груза бамбуковых коромысел и быстрым стуком шагов.

— Что, не терпится? — спросил Суан.— Ничего, еще часа два, и будешь на месте. «Шестерка» стоит сейчас сразу около бетонного моста. Там самые тяжелые бои!

— Я слышал, сегодня ранило Лаунга, это правда?

— Да. Кажется, было прямое попадание ракеты на позиции «четверки». До позавчерашнего вечера у ребят еще бывали передышки, а эти два дня налет за налетом. Но мост цел. Так что все еще впереди.

— Надо прямо на месте сбить несколько сволочей, тогда они присмиреют! — вставил Хоа.

---

* Разновидность пальмы, из листьев которой делают крыши, плетут корзины, шляпы и т. п.

** К обычному велосипеду пристраивают бамбуковую или деревянную раму и образующуюся клетку заполняют грузом. Велосипед ведут за приделанные сбоку шесты или за руль. Так иногда перевозят до 300 кг.

*** Шляпы эти (по-вьетнамски — нон) делаются из пальмовых листьев.

— Это верно. Только *его* так легко не собьешь. Задача у нашей боевой группы очень сложная.

— Может, трудно еще и потому, что ребята больше привыкли к маневренным операциям, а здесь приходится вести позиционные бои?

— Возможно. Посмотрим, что будет дальше. Послушай, Дык, ты возвращаешься в роту как раз вовремя, «шестерка» недавно получила два новых орудия. Да и местечко у вас — около реки — совсем недурственное, купаться можно... Мне кажется, что в позиции нашей боевой группы есть какая-то заковырка, из-за которой никак не налаживается система огня. У части, стоявшей здесь до нас, тоже не все шло гладко, но тогда было меньше налетов. А нам придется драться всерьез.

Из леса в темноте послышался шум, замелькали лучи фонариков. Раздался чей-то голос:

— Эй, где вторая колонна? Спят, черти!

— Гаси фонари! — закричали в ответ.

С полсотни грузовых велосипедов выкатились из леса и запрудили большак.

Суан все думал об огневых позициях группы, прикрывавшей бетонный мост здесь, у слияния рек. Сегодня после обеда замполит группы Фаунг доложил по телефону обстановку, и Суан обратил особое внимание на недостатки в готовности огневых рот и на усталость солдат. Бывало и раньше, что частям, занимавшим этот район, приходилось вести непрерывные бои в течение нескольких месяцев. Но только ли в сроках дело? И действительно ли из-за усталости солдат так низки результаты последних двух дней? Или, может быть, прав Дык: роты, стоящие здесь — «единица», «шестерка»,— имеют опыт маневренной войны и не научились еще вести позиционную оборону? Нет ли тут какого-то просчета командования? Сейчас не маневры: небрежность или глупость командира оплачиваются человеческими жизнями! Хватит ли у самого Суана проницательности, знаний и опыта, чтобы за день-два вникнуть в сотни вопросов, во все, что происходит в подразделениях, ведущих почти непрерывные бои, и понять, что еще нужно сделать, что исправить?

Когда американцы только начали эскалацию и перенесли войну на Север, он и сам не был уверен, можно ли из обычных зениток, которых янки объявили старой рухлядью, сбить сверхзвуковой самолет? Но вот уже и их полк сбил не одну реактивную машину самых современных марок. По правде говоря, и сегодня еще каждый бой — это хорошая школа. Надо сделать все, чтобы такие уроки давались малой кровью!..

Суан вдруг почувствовал, как слабость холодным ознобом прошла по телу. Все закружилось и поплыло перед глазами, руки и ноги дрожали, как в лихорадке. «Последние месяцы я очень мало спал! — подумал он.— Наверно, и возраст дает себя знать, и все наследство прошлой войны...» Где-то в глубине души он отдавал себе отчет в том, что есть и иная усталость: усталость от тяжелой ответственности за жизнь множества людей, которая иногда превышала его силы... Но революция не давала права поддаваться усталости, не отпускала на покой.

●

Послышался тяжелый грохот мотора. Огромный черный куст вырвался из темноты и двинулся по большаку. Хоа выскочил на дорогу и закричал:

— Стой! Стой!

Куст взревел и остановился, со свистом выдохнув воздух. Это был грузовик, замаскированный ветками. Шофер высунул голову из кабины.

— Ну, чего?! — заорал он.

Посветив фонариком, шофер разглядел автомат, каску Хоа и спросил, понизив голос:

— В чем дело, товарищ?

— Убавь скорость! На дороге полно людей, впереди еще колонна велосипедов. И выключи свой фонарик. АД-6 порхает над головой!

Снова раздался стук мотора. Еще один грузовик вырвался из темноты и резко остановился, заскрежетав тормозами. Лес дрожал от рокота двигателей. С первой машины спрыгнул помощник шофера; пятясь задом, он сделал несколько шагов по большаку, прикидывая, не заденет ли кузов за деревья, и крикнул:

— Давай, давай!

Трехосный великан загудел и медленно тронулся с места.

Чуть не два десятка грузовиков один за другим углубились в лес.

Автомобили, велосипеды, носильщики с коромыслами на плечах сплошным потоком двигались по дороге; окрики, смех и ругань смешивались с гулом моторов и шумом колес.

Хоа, стоявший у дороги со своим автоматом, крикнул шоферу последнего грузовика:

— Сзади еще есть машины?

— Полно!

Вернувшись к дереву, под которым сидел Суан, Хоа вздохнул:

— Ну, теперь позагораем у парома!

В просвете между облаками вспыхнули две ракеты, через минуту — еще одна.

Хоа встал.

— Чертов свет, прямо глаза выедает!— пробормотал он, пытаясь разглядеть гудящие в небе самолеты.

Ракеты медленно плыли по небу, оставляя за собой белые хвосты дыма. Алые и желтые вспышки понеслись вверх к облакам, точно метлой прочесывая небо из конца в конец. С высоты метнулись вниз красные языки пламени, и несколько секунд спустя загрохотали взрывы.

— Сейчас *он* улетит обратно,— пробормотал Хоа.

Самолеты, гудя, ушли в сторону переправы. В лесу мерцало неясное сияние угасавших ракет. Дык, Суан и Хоа сидели молча. Не сговариваясь, они подумали о последних грузовиках из автоколонны. Не накрыло ли их бомбами там, на открытых, поросших травою холмах?..

— Уф, наконец-то добрался! — весело закричал Виен, сходя с раскисшей от дождя тропинки.— Дорогу развезло, чуть шею не свернул! — Он обернулся назад: — Эй, сестрица Лить, идите сюда! — И снова обратился к своим спутникам: — Ну как, заждались? Я вам еще пассажирку привел.

К машине подошла женщина с рюкзаком за плечами. На голове у нее был нон, штаны закатаны выше колен, в руках она несла резиновые сандалии.

Не успели они усесться в машине, как Хоа дал газ. На заднем сиденье Лить пыталась пристроить свой нон и рюкзак.

— Скажите, Виен, потери сегодня большие? — обернувшись, спросил Суан.

— Да не очень. *Он* сбросил двадцать четыре бомбы и снова разбил дорогу. Придется восстанавливать. Но люди успели разбежаться, только несколько парней заработали синяки. Ущерб, конечно, есть: убило пять коров и двух буйволов, сгорел старый дом из листьев на стройплощадке... А вы, Лить,— повернулся он к женщине,— во время бомбежки были в больнице?

— Да...— голос ее прерывался.— Видите, Виен, заставили меня бежать всю дорогу, теперь никак дух не переведу!

Она чуть слышно засмеялась.

В темноте Суан увидел только, как Лить, подняв руку, перебросила за спину свои длинные волосы.

II

Уже недалеко от переправы их застиг ливень. «Газик» пробирался по дороге сквозь плотную стену дождя, ловко лавируя между огромными грузовиками. Неожиданно он затормозил, едва не уткнувшись радиатором в шлагбаум. Суан и его спутники разглядели слабый желтоватый огонек коптилки в хижине на обочине дороги.

— Чья машина?

— ПВО! Пропустите на паром, товарищи.

— Подождите.

Человек невысокого роста, в ноне и нейлоновой накидке вышел из хижины с фонарем в руке. Он подошел к машине и поднял фонарь. И тут Суан увидел, что перед ним стоит девушка лет двадцати. За спиной у нее была винтовка, повернутая стволом вниз. В лучах фонаря под широкими полями нона, с которых струйками стекала вода, можно было разглядеть нежный румянец на ее щеках.

— Вот пропуск,— торопливо сказал Хоа.— Переправьте нас, пожалуйста, поскорее.

Девушка покосилась на карточку с надписью «особо срочно» и оглядела сидящих в машине.

— Поезжайте скорей, товарищи, успеете на этот рейс. Как доедете туда, где много воронок, берите налево, в объезд. Колея очень разбита. Будьте осторожны, там недавно перевернулась машина.

Она отошла назад и подняла шлагбаум. «Газик» рванулся с места. Суан, наклонившись, успел заметить, как фигура девушки исчезла за пеленой дождя.

Дорога к переправе была очень тяжелой. Она извивалась между провалами воронок; по сторонам ни деревца, ни травинки, только раскисшая черная земля да опаленные взрывами ямы. Полотно дороги, разбитое и перепаханное сотнями колес, покрыто было глубокой и липкой грязью. Они проехали мимо опрокинувшейся машины. Несколько солдат и носильщиков вместе с шофером, надрываясь, вытаскивали из нее груз. «Газик» то и дело буксовал в трясине и полз медленно, как черепаха.

Дождь шумел по-прежнему, но стало чуть светлее, на землю падали неясные серебристые блики. Наверно, за расходившимися тучами взошла, как всегда в конце месяца, поздняя луна.

В тусклом туманном мареве Суан и его спутники увидели разрушенную деревню. С обуглившихся стволов арековых пальм свисали почерневшие скрюченные листья. Остатки кирпичных стен торчали среди щебня, мусора, осколков посуды и черепицы, усыпавших землю. Повсюду — глубокие черные пасти воронок. А поближе к дороге щетинился обгоревший бамбук.

Люди в машине умолкли.

Разве забудешь вас, бамбуковые заросли родных долин! Зелеными изгородями прикрываете вы каждую вьетнамскую деревушку.

Сколько раз вас выжигали дотла, но люди сажали вас снова и снова!..

Сколько раз вырубали вас, но вы поднимались вновь!..

Сколько обломков железа в земле под фундаментом каждого дома!..

Сколько черных слоев золы под корнями каждого дерева!..

В памяти Суана вдруг всплыли картины прошлого... Заброшенные рисовые поля, холодная лунная ночь у форта Тху-кук в сорок седьмом... Покинутая деревня, заросшая травою в рост человека, а в воздухе — запах цветущих апельсинов... Этот запах преследует его до сих пор!

Чего только не довелось испытать людям на нашей земле! И эту землю янки хотят заграбастать? Какая тупость и какая подлость!

— Скажите, Виен, кому отдали на воспитание троих ребятишек Хиеу? — спросила Лить.

— Сразу после бомбежки трудно было во всем разобраться. Правление кооператива оставило их временно у соседей. У тетушки Кюэ как раз свой грудной малыш, вот она кормила пока и младшую из сироток. Ну, а теперь объявились три семьи, каждая взяла по ребенку. Когда их забирали, жалко было смотреть. Малыши все плакали, не хотели расставаться. Только самая маленькая ничего не понимала и улыбалась во весь рот.

Хоа, не отрываясь от баранки, пробормотал:

— Эх, попался бы мне хоть один подбитый янки, я б ему выдал! И все было бы по правилам!

Дык, молча прислушивавшийся к разговору, вдруг вспомнил американского летчика, сбитого в бою у Дой-шим. Он казался великаном в своем широком жестком комбинезоне. На его наголо обритом черепе бросались в глаза низкий обезьяний лоб и оттопыренные мясистые уши. Брови, нависшие над глазами, то грозно хмурились, то растерянно выгибались кверху; толстые ручищи с огромными кулаками неуклюже тянулись «по швам». Летчик — он был в чине лейтенанта — старался держаться высокомерно и невозмутимо, но ему плохо удавалось скрыть терзавший его страх. Когда конвоир повысил голос, он вздрогнул и обернулся, побледнев до синевы, точно приговоренный к смерти. Убедившись, что никто не собирается его убивать, он зашагал дальше...

— Правильно! Всю эту банду реактивщиков перестрелять мало! — сказал Дык, презрительно скривив губы.

«Он прав,— думал Суан.— Каждый ребенок, у которого янки убили родителей, вырастет с незаживающей раной в сердце, в самом сокровенном его уголке. Дома можно отстроить, деревья и цветы — посадить заново, но эти раны никто и никогда не залечит!»

Он вспомнил, как более десяти лет назад французская бомба убила Тхуан и их дочка Май, которой тогда едва минуло три года, осиротела. Ему казалось, что девочка ничего еще не понимает... Как он ошибался! Май уже взрослая, но в характере дочери Суан до сих пор замечает какие-то странные черточки...

Наконец они добрались до переправы. Дождь кончился. Тучи, закрывавшие небо, стали расходиться, заблестели редкие звезды. Ветер не унимался, на реке пенились волны. С другого берега донесся гудок автомобиля, затем скрип тележных колес, стук топоров и визг пил,— должно быть, поблизости работали плотники.

— Черт побери, переправа совсем не защищена,— сказал Виен, оглядываясь по сторонам.— Но здесь здорово поставлено дело — машины идут без задержки и не скапливаются у парома.

Действительно, на берегу было пусто: только два грузовика да их «газик».

Лить, присев на обочине, заговорила с молодой женщиной, эвакуировавшейся в эти места вместе с семьей. Она держала на руках спящего малыша. Трое ребятишек постарше долго клевали носом, потом растянулись между корзинами, не обращая внимания на окрики матери.

— Кхань, Кхань! — звала женщина дочку.— Разбуди их, паром уже подходит!..

— Куда вы идете с детьми, одна?

— Да вот хочу оставить эту троицу у бабушки. Старуха живет на том берегу, недалеко от парома. Здесь спокойнее; пусть побудут, пока не выгоним американцев. Этого заберу с собой, больно он еще мал. А со всеми мне дома не управиться, да и не на кого их оставлять.

— Вы с мужем оба работаете?

— Да, на заводе сельхозмашин. Мой муж раньше служил в армии, потом демобилизовался. А месяц назад снова попросился в солдаты — взял и подал заявление. Только вот о детях беспокоился. Он у меня в месяц больше шестидесяти донгов зарабатывал; вместе с моей зарплатой за сотню переходило — хватало на всех. Теперь будет на пятерых сорок с чем-то, тоже жить можно. Мы с мужем решили, что он должен идти в армию ради наших малышей. У нас здесь было хоть десять лет мирных, а каково людям на Юге... Ну, вот и паром. Кхань, Кхань! Да встань же ты!

Дети никак не просыпались. Лить погладила их по головкам и взяла одного на руки.

Паром причалил к пристани. Пока одни машины скатывались на берег, а другие въезжали по бревенчатым сходням, женщина расталкивала детишек:

— Вставайте! Вставайте, маленькие!

— Не волнуйтесь! Позвольте, мы отнесем малышей на паром,— предложили Суан и его спутники.

Они быстро подхватили ребятишек и разобрали коромысла с корзинами.

— Вот спасибо,— обрадовалась женщина,— без вас, товарищи, мне бы не управиться... Кхань, ты не спишь? Проснись-ка и иди сама!

Но девочка, обхватив Суана за шею, только уткнулась головой в его плечо.

— Давно уж я не держал на руках ребенка,— смеясь, сказал он Лить и взбежал на паром.

Паромщики сбросили штаны и рубашки и, оставшись в одних трусах, взялись за канат. Паром отчалил от берега и медленно выплыл на середину реки. Стремительное течение ударило в борт, и казалось, будто паром, замедлив ход, остановился, хотя все ехавшие в машинах помогали перетягивать канат.

— Ну, если сейчас явится «джонсон» *, быть беде,— улыбнувшись, сказал Виен, выразив этими словами общую тревогу.

Двое паромщиков, стоявшие рядом с Суаном, дышали отрывисто и тяжело. Суан усмехнулся, слушая, как они болтают, едва успевая перевести дух.

— А ты обратил внимание... на тот военный автобус?.. Помнишь... в нем девушки ехали?..

— Ну...

— Это был ансамбль....

— Что ж ты мне сразу не сказал?.. Заставили б их спеть, иначе бы не повезли.

Где-то далеко отсюда забили тревогу.

— Скорей, ребята!.. Товарищи, если появятся самолеты, всем немедленно лечь на палубу; не бегать, не суетиться! — крикнул командир парома, снимая с плеча винтовку.

---

* Так называют во Вьетнаме американские самолеты.

Все сразу смолкли — слышалось только хриплое дыхание паромщиков да поскрипывание каната. Тяжело груженный паром пересек быстрину и стал приближаться к берегу. Стук барабанов и трезвон, возвещавшие тревогу, раздавались все ближе и ближе, наконец совсем рядом, у контрольного пункта на пристани, гулко зазвенели удары об рельс. Люди тревожно смотрели на придвигавшийся из темноты причал: «Пронесло!.. Еще немножко, узкая полоска воды...»

Внезапно раздавшийся рев самолета заставил всех прыгнуть с парома в воду.

— Спускай сходни! — надрывался командир парома.— Машины, съезжайте на берег!.. Спокойно, ребята!.. Машины, съезжайте!.. Съезжайте!..

На берегу захлопали винтовочные выстрелы. Все озарилось вдруг мертвенно-желтым светом. Суан увидел свою и девочкину тень, отпечатавшуюся на песке. Он чувствовал, как неистово колотится сердце ребенка.

— Не бойся, малышка. Все будет в порядке.

Девочка еще крепче обняла его за шею.

Снова вспыхнули ракеты, выхватив из темноты берег и кусок реки. Лить и Дык, каждый с ребенком на руках, спотыкаясь, бежали сзади. Суан обернулся:

— Лить, давайте мне ребенка!

— Ничего...

Они едва успели перебежать через песчаную отмель, как самолет начал пикировать. Вой мотора разрывал барабанные перепонки. На берегу затрещала пулеметная очередь.

Суан, прижав к себе девочку, бежал вдоль берегового обрыва. Он ясно видел языки пламени, вырвавшиеся из пущенных с самолета ракет. Мгновение спустя завыли несущиеся к земле бомбы.

— Мимо!

Суан остановился, дождался Лить и взял у нее ребенка.

Оглянувшись, он заметил выходивший к реке овраг и крикнул:

— Бегите сюда! Скорее!..

Земля содрогнулась от взрывов на той стороне реки.

Они пошли вдоль оврага. По глинистому дну его текла вода, и он становился все глубже.

— Здесь уже безопасно!

Минуту спустя их догнал Дык. Он отдал ребенка Лить и побежал обратно, навстречу Виену и женщине с малышом, оставшимся где-то сзади.

Новая серия бомб разорвалась на противоположном берегу. Взметнулись кверху красные кусты пламени.

Два самолета сделали круг и вернулись. Пулемет на берегу вновь открыл огонь.

Самолет перешел в пике прямо над ними. Рев его нарастал с каждой секундой. Суан обнял обоих малышей и прикрыл их своим телом. Хоть он и понимал, что овраг этот — надежное укрытие и прямое попадание сюда почти невозможно, но все-таки волновался...

«Глупо было бы умереть здесь...»

Снова раздался резкий свист бомб. Лить стояла, растерянно озираясь по сторонам.

— Ложись! — закричал Суан и, схватив ее за плечо, с силой пригнул к земле.

В этот момент появились Дык и женщина с младенцем, перепуганная насмерть.

Рванувшееся к небу пламя ослепило их, в уши ударило огромной кувалдой. Земля закачалась под ними, как гигантский гамак, глыбы

глины, обрушившиеся со склона оврага, засыпали их и завалили все кругом.

Этот заход оказался последним. Самолеты сразу ушли. И через несколько минут вокруг царила необычная тишина.

Но они все еще молча прислушивались. И тут Суан вдруг почувствовал горячее дыхание Лить на своем затылке и заметил, что она — наверно, уже давно — крепко сжимает его руку.

— Улетели,— негромко сказал он.

Со стороны пристани послышались резкие автомобильные гудки. Они услыхали голос Хоа:

— Эй! Суан!.. Товарищ Суан!..

III

Домой к Виену они добрались около трех часов ночи.

Пройдя мимо пальм ко, листья которых отсвечивали в лучах луны, они вслед за хозяином вошли в дом. Там было темно. Виен посветил вокруг фонариком, чтобы они смогли где-нибудь присесть, пока жена зажжет керосиновую лампу. Мягкий оранжевый огонек затеплился за стеклом и осветил развешанные по стенам цветные картинки, изображавшие ребятишек с огромными тыквами. Мебели — простой и скромной, как в обычном крестьянском доме,— было немного: два деревянных топчана, кровать под белым марлевым пологом. чайный столик и несколько лакированных скамеек для гостей; на столике — термос в плетеном бамбуковом футляре и расписные глиняные чашки.

Зато уж дом зампреда уезда был изобилен бататами! Красноватые, белые клубни — мелкие и крупные — высились грудой на полу соседней комнатушки; даже под кроватью были бататы. И еще — свидетельство великой любви хозяина к своему велосипеду — на стене, у изголовья, висели тщательно обернутые бумагой два обода и пара покрышек.

Гости изумленно озирались по сторонам, все это представлялось им почти нереальным после оврага и пережитой бомбежки.

Жена Виена, с наспех подколотыми волосами, раскрыла пачку чая и, заварив его, пригласила гостей к столу. В отличие от Виена, темнокожего и плотного, как батат, жена его была изящной и стройной; голова ее красиво сидела на длинной шее; глаза, большие и умные, поблескивали на круглом белом лице.

— Ну,— сказал Виен,—умывайтесь, пейте чай, товарищи, и—спать. Отсюда до позиций еще несколько километров, встанете завтра пораньше, как раз к утру доберетесь.

— Не успеешь прилечь, подъем — и трясись дальше,— улыбнулся Суан.

Жена Виена разлила горячий чай в чашки и обнесла гостей.

Они взялись за еду. Разговор, само собой, шел о переделке, из которой они только что выбрались.

— Когда вы попрыгали в воду,— с полным ртом говорил Хоа,— я на пароме хлебнул сполна за всех. Шофер на «праге» *, что стояла впереди, видно, здорово сдрейфил, вывернул руль не в ту сторону, чуть весь паром не перевернул. Слава богу еще, что успел съехать на берег, пока янки кидали бомбы на той стороне. Только мне съезжать, они тут как тут и пошли сыпать бомбы! Думал, не выберусь. Хорошо, они все почти в реку грохнули...

— А вы разве не поужинаете с нами, Лить?

— Спасибо. Вы ешьте, я только чаю попью.

---

* Грузовая автомашина чехословацкого производства.

— Больше всего переволновался я за эту женщину с ребятишками. Правда, малыши у нее орлы — кругом бомбы рвутся, а они даже не заплакали...

— Когда янки во второй раз стали пикировать, меня прямо зло взяло...

— Ну, хозяйка, вам сейчас самое время курицу зарезать и закатить пир! Ведь муж ваш только чудом от смерти спасся!

— Нет, мне помирать нельзя! — рассмеялся Виен.— Я еще должен помочь жене произвести на свет сына.

Хозяйка залилась краской.

— Вечно ты со своими глупыми шутками, только людей смешишь.

— А разве у вас нету еще сыночка? — спросил Хоа.

— Ни сыночка, ни дочки. Вот и пришлось мне пригласить на ужин всеведущую целительницу болезней, может, хоть она что присоветует.— Виен кивнул на Лить.— Позвольте вам представить, исцелительница эта прямо-таки творит чудеса!

— О, господи! — Лить, сидевшая в углу на циновке с чашкой чаю в руке, улыбнулась.— Без детей куда легче. Вон и правительство призывает всех разумно планировать рождаемость. У меня у самой один ребенок, и то хлопот полон рот.

Суан теперь только разглядел Лить как следует. В неярком свете лампы черты лица ее казались необычайно тонкими и нежными. Чуть раскосые глаза, веселые и быстрые, блестели совсем как у молоденькой девушки.

Дык временами тоже поглядывал на нее, словно что-то припоминая. Вдруг он широко улыбнулся.

— Ну и ну, как же это я вас сразу не узнал? Ведь это вы на перевязочном пункте в Дой-шим дали кровь для переливания Тоану! Я тогда сидел рядом с ним.

— Вы... тоже были ранены?

— Э, я легко отделался, меня уже починили. А Тоан пока в госпитале, но дело уже пошло на поправку. Он все убивался, что не спросил, кто же спас его, и адреса не узнал. Я напишу ему, то-то обрадуется. А вы теперь в этом уезде?

— Да, сюда эвакуировалось отделение городской больницы. Виен поручил нам подготовить для сельских общин сандружинниц и организовать медпункт поблизости от зенитных позиций.

— Вот здорово! Значит, опять будете около нас?

— Не знаю,— усмехнулась Лить,— всем этим ведает Виен.

Хозяйка, присев рядом с Суаном, спросила:

— А у вас много детей?

— Да нет, одна дочка. Ей уже восемнадцать, так что хлопот с ней мало.

— Она, наверно, еще учится?

— Перешла в десятый класс.

— Они живут вдвоем с матерью?

— Жена у меня умерла... Погибла еще в ту войну, когда девочке было три года.

— Ах, какое несчастье! И что же, вы больше не женились?

— Да пока нет.

Хозяйка налила ему еще чаю и сказала:

— Ну, знаете, таких, как вы, мало. Обычно стоит жене умереть, муж через месяц уже играет свадьбу с другой. Случись что со мной, мой благоверный небось тут же побежит свататься к какой-нибудь красотке. Даже подумать обидно!..

— В таком деле каждый поступает по-своему,— мягко ответил Суан.

— А что, если жена да при живом муже идет за другого? — расхохотался Виен.

— Это совсем не то! — рассердилась хозяйка.— Ты вечно боишься, как бы по-моему не вышло. Вы уж простите меня за эти разговоры,— снова обратилась она к Суану,— а все-таки, как поглядишь, женщины, овдовев, всегда остаются одни; мужчин же, вроде вас, почти нету.

Суан взглянул на Лить, она смотрела куда-то вдаль, словно не замечая его, и мысли ее, наверно, были далеко.

Суан встал.

— Значит, договорились, Виен, завтра жду вас у себя.

— Да, я буду между девятью и десятью.

Лить тоже поднялась.

— А можно,— улыбнулась она,— я как-нибудь зайду к вам вместе с Виеном посмотреть на зенитки?

— Милости просим,— сказал Дык, пожимая ей руку.— Приходите когда угодно. Скажете ребятам, чтобы вас проводили в шестую роту, проще говоря, на «шестерку» — я буду там.

●

«Газик» проскочил небольшой перевал, дальше уже начинались позиции зенитных батарей. Здесь, у слияния двух рек, скрещивались нити шоссе. Машина мчалась среди широких полей.

Где-то далеко, у самого берега, мерцали электрические фонари. Сон как рукой сняло. «Наверно, лесопилка»,— подумал Суан, осматривая местность.

Высоко в небе между белыми облаками медленно плыл месяц. Земля была еще влажной после дождя. Над деревьями и зарослями бамбука поднимались клубы тумана. Скоро и мост. А там, впереди, у подножия невысокой гряды холмов — городок, уездный центр. По-видимому, сейчас все население из него эвакуировано, да и дома вряд ли уцелели после налетов.

Из машины уже ясно виден был изогнутый белый силуэт моста, перемахнувшего через реку. Вдруг мощенное камнем полотно дороги исчезло, словно проглоченное сотнями воронок, черневших вокруг и разворотивших окрестные поля.

— Все время «джонсоны» рот разевают на этот мост! — громко сказал Хоа.

— Что они запоют, когда тут поджарят еще парочку Ф-105*,— подхватил Дык.

«Газик», сделав объезд по новой, недавно выстроенной дороге, въехал на небольшую плотину и свернул к мосту.

— Ну-ка постой, Хоа!

Машина остановилась у обочины. Здесь, около моста, дорога была цела, только на полях чернели воронки.

Хоа показал на песчаную отмель около слияния рек:

— Вон там первая рота, товарищ комиссар!

— А ты знаешь, где «шестерка»? — спросил Дык.

— Само собой! До нее еще примерно километр.

— Огневые позиции первой роты расположены очень низко,— сказал Дык.— «Единице» труднее всех. Но это место — лучшее, что можно было выбрать.

Им ясно было, что «единица» принимает на себя самые яростные удары самолетов, бомбящих мост. Суан перевел глаза на противоположный берег: где-то там, в поле — четвертая рота. Вчера днем американцы

---

* Реактивный самолет ВВС США.

попали на позиции «четверки» ракетой. Неизвестно, тяжело ли ранило Лаунга?

По горизонту бежали горы Чыонг-шон *. Поближе, у берега реки, торчал холм, высокий и острый. Суан вспомнил, что там находится Дровяная пристань. По карте это — высота «сто двадцать».

— Ладно, поехали, Хоа! Заедем сперва на «шестерку», подбросим Дыка домой. Потом — прямо в штаб, к Мау.

— Ясно!

Хоа включил двигатель и с места погнал машину. Они свернули на проселок. По обе стороны росли сандаловые деревья — высокие, прямые и точно выбеленные известью. «Газик» остановился у старой кирпичной печи. На ветру шелестели листвой деревья. Суан спрыгнул на дорогу и огляделся. Привычный глаз сразу различил в темноте возвышавшиеся над полем брустверы орудийных укрытий. Он подождал своих спутников, и они прямиком, по оставшимся после дождя лужам пошли на батарею. С позиций, тонувших во мраке, не доносилось ни звука...

— Кто идет? — раздался негромкий окрик.

— Это ты, Бинь?

— О, товарищ Дык! Вы вернулись!.. И комиссар с вами! — обрадовался часовой.

— Значит, «писатель» в ночном карауле?

— Так точно! Сверните, товарищи, на тропинку, там не так грязно.

Дождь, ливший всю ночь, затопил расположение роты. Подойдя к орудию, Суан остановился и посветил фонариком. Ребята отлично укрыли пушку от дождя, ящики со снарядами были подняты на подставки и обернуты нейлоном. Но стенки траншей и орудийных гнезд кое-где размыло водой.

Рядом, под сплетенным наспех навесом, вповалку спали солдаты. Из досок и старых снарядных ящиков они устроили себе топчаны, чуть возвышавшиеся над водой. Дождь вымочил насквозь их гимнастерки, но солдаты храпели как ни в чем не бывало. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, а кругом плескалась вода, плавали сандалии из автомобильной резины и кеды вперемежку с пучками соломы и листьями, приплывшими сюда издалека.

Суан, глядя на солдат, не мог сдержать улыбки, хоть ему и было, конечно, жаль ребят. Их рота уже три с лишним месяца не имела ни одного дня отдыха. Едва выйдя из боя, они меняли позиции, срочно рыли на новом месте траншеи, землянки и орудийные гнезда и вели бой, потом снова меняли позиции, снова копали укрытия и траншеи, вступали в бой и опять снимались с места... Все они — и офицеры, и солдаты, почерневшие от солнца, ветра и порохового дыма,— регулярно недосыпали и поэтому пользовались каждым удобным случаем, чтобы поспать.

Землянка командира роты тоже была залита водой. Под маленьким фонарем у телефонного аппарата сидел дежурный и записывал что-то, разложив листки бумаги на пустом ящике от снарядов. Увидав комиссара и ротного, он тотчас разбудил политрука и заместителя командира роты. Те, в трусах и майках, вылезли из-под пологов, протирая заспанные глаза.

— Вот это да! — воскликнул, улыбнувшись, заместитель ротного Тхо, белоснежные зубы блеснули на его смуглом, обветренном лице.

— Дык, ты? — политрук Хюйен обнял командира.— Оброс, как еж!

Суан сел на скамейку.

— Ну что, обменялись любезностями?

---

* Долгие горы *(вьетн.)* — Аннамский хребет.

— Как вы добрались, комиссар, в такой ливень?.. Они что, бомбили паром?

— Да, специально нас дожидались. Ладно, я пошел, мне нужно к товарищу Мау. Пусть ребята завтра встанут пораньше, приведут в порядок укрытия и траншеи и отведут воду, особенно из орудийных гнезд. С утра могут начаться налеты.

— Ясно. Будьте спокойны, комиссар. Может, останетесь лучше у нас, поспите немного? Завтра успеете на командный пункт.

— Нет, времени мало! Хюйен, завтра в восемь жду вас на совещание. Да, вот еще что: Дык, по-моему, вышел из госпиталя слишком рано. Приглядывайте за ним, ему нельзя переутомляться.

Приехав на командный пункт, Суан не разрешил дежурному будить офицеров. Пусть отсыпаются, им предстоит нелегкий день. Он и сам хотел немного поспать, до рассвета оставалось еще больше часа.

Он улегся на койку и, подобрав ноги, чтобы занимать поменьше места, натянул на себя полог. В общем, ему повезло: после ночной тряски и всех дорожных происшествий удалось еще и поспать. Здесь, правда, тоже сыро, но все же лучше, чем у ребят на позициях. Дожди эти совсем не вовремя! Завтра придется солдатам опять сбросить гимнастерки и брюки, расчищать окопы и заново насыпать брустверы...

Комиссар давно уже убедился: на войне тяжелее всего солдату — он первым встречает смерть лицом к лицу, вгрызается в землю, проходит сотни и тысячи верст в дождь и в зной. Суан понимал, что, хоть сам он и не щадил себя, хотя немало сделал на своем веку, все же ему доставалось не так, как солдатам. И поэтому, глядя в лицо ребятам, он ощущал иногда какую-то неловкость...

Суан закрыл глаза. В памяти всплыло румяное лицо девушки, дежурившей у парома,— она светила фонариком, рассматривая пропуск, а дождь лил как из ведра... Да, женщины теперь не то что раньше — смелые и даже как будто стали красивее... Сон все не шел... Он вспомнил вдруг о письме, которое лежало у Хоа. Его принесла какая-то девушка в политотдел полка как раз когда Суан был там. Она спрашивала «роту товарища Шона». Девушке, наверно, лет семнадцать; черные глаза ее весело блестели, а чуть вздернутый нос придавал лицу забавное, лукавое выражение. «Рота товарища Шона», проще говоря «единица», незадолго до этого как раз была переброшена сюда, к бетонному мосту... «А кто вам там нужен?» — спросил Суан. «Я... мне нужен товарищ Дыонг... он мой земляк». «Их роты сейчас здесь нет. У вас важное дело?» Девушка слегка покраснела. «А нельзя ли мне передать письмо?» — спросила она, помолчав. «Можно, конечно. Оно у вас с собой?» «Я... можно я здесь напишу?..» Суан сказал Хоа, чтобы тот взял у девушки письмо и не забыл передать его Дыонгу из первой роты...

Да, солдаты теперь тоже не забывают своих девушек. Нынешние молодые — счастливцы: никто из них по чужой воле не женится и не выходит замуж. Им, пожалуй, не понять, как все было в старину. Суан никогда не рассказывал дочери, что родителей ее связывала не столько любовь, сколько долг. Какая от этого польза, одно расстройство! Вспоминая о прошлом, он еще больше жалел Тхуан. Она вышла за него, никогда не видев его прежде, и впервые смогла мельком взглянуть на жениха, когда тот вместе со сватами принес в невестин дом традиционный бетель. Едва они поженились, началась революция. Он ушел в армию, и хорошо, если удавалось раза два-три за год побывать дома. Тхуан понимала, конечно, что муж ее не любит, но молчала, не жаловалась. Встречаясь с женой, он чувствовал, как сердце у него сжимается

от боли. «Что сделано, то сделано,— думал Суан,— ни она, ни я не виноваты, надо теперь как-то уживаться. Она, в общем, добрая и верная жена, да потом сейчас главное — война до победы...»

Когда же пришло письмо о том, что Тхуан погибла во время бомбежки, он долго мучился от смутного сознания своей вины перед женой. И, может быть, поэтому так заботливо растил маленькую Май. Теперь дочка Тхуан уже совсем большая. Такая же красивая и самостоятельная, как та девушка у парома или «землячка товарища Дыонга»... Конечно, судьба ее сложится иначе, чем у Тхуан. Революция принесла ей новую жизнь, и никто не сможет эту жизнь у нее отнять!..

Суан уснул.

IV

Ему вдруг приснилось, будто над ним гремит гром. Солнечный луч ударил прямо в лицо. Он зажмурил глаза. В небе грохотали реактивные самолеты. Он услыхал, как Мау скомандовал:

— Внимание! Направление тридцать четыре...

У него еще слипались глаза, но мозг сработал сразу: «Начался бой!..» В соседнем шалаше как ни в чем не бывало храпел Хоа. Суан выбежал из землянки.

Голос Мау звучал все так же спокойно, с неистребимым южным акцентом:

— Отставить наблюдение за самолетом-разведчиком! Направление три, взять цель!

И, словно эхо, отраженное от невидимых сводов, повторились его слова:

— ...направление три, взять цель...

— Непрерывно наблюдать за нижним слоем облаков, подготовиться к внезапной атаке!

— ...подготовиться к внезапной атаке...

Мау стоял, закинув голову, на небольшом, скользком от грязи холме. Зеленые штаны его были закатаны до колен. Он придерживал рукой висевший на груди бинокль, за спиной у него колыхалась от ветра накидка из парашютной ткани. Рядом стояли политрук боевой группы Фаунг и начальник штаба Зиак, оба в таких же накидках. Они наблюдали в бинокли за белыми облаками, тянувшимися над зелеными отрогами гор. Прямо перед ними по склону вилась траншея, скрытая диким кустарником. В ней группами сидели штабные командиры и офицеры связи. Высокая антенна изгибалась, точно побег бамбука. Справа и слева от Мау в небольших окопах склонились над телефонными аппаратами и рациями двое солдат; они повторяли вслух каждую фразу Мау, передавая распоряжения на позиции рот.

Прохладное утро было необычайно прозрачным. Холм, где расположился командный пункт, поднимался над полями, засаженными арахисом. Неподалеку от дороги, поворачивавшей к реке, стояла древняя часовня с почерневшими и обросшими мхом стенами. Посреди двора, некогда вымощенного кирпичом, возносились к небу старые баньяны; их могучие стволы переплетались, словно тела гигантских питонов. За часовней виднелась школа, черепичная крыша ее была разбита осколками. Рис на широких полях по другую сторону дороги был почти весь убран, лишь кое-где отсвечивали под солнцем золотистые квадраты волновавшихся на ветру колосьев. Там стояло огромное дерево гао, ветви его четко вырисовывались на фоне неба. А дальше зеленели бамбуковые

изгороди, одна за другой убегавшие к горизонту, и блестела лента реки в белых песчаных берегах.

Суан поднялся на холм и быстрым взглядом окинул всю позицию. В небе по-прежнему гудели два реактивных разведчика; они кружили на большой высоте и казались отсюда белыми точками, терявшимися в синеве неба.

И поля, и река, и деревни — все дышало таким спокойствием и тишиной, что, не будь этого надсадного воя самолетов, трудно было бы догадаться, что идет война.

На кооперативном току позади школы какой-то мужчина строгал бамбуковые прутья в тени арековой пальмы. Крестьяне вывели из деревни буйволов и коров и привязали их в поле под укрытием густого кустарника. Люди, собравшиеся на пригорках под деревьями, ждали, когда зенитчики вступят в бой с самолетами. Рядом с древними надгробьями у часовни пастушонок, запрокинув голову, глядел в небо. Прямо около холма две девчонки лет по тринадцати пропалывали арахис, время от времени распрямляя спины и с любопытством поглядывая на солдат.

А самолеты все грохотали в небе. Гул то ослабевал, то снова нарастал и доносился уже со всех сторон горизонта.

Телефоны и рации работали бесперебойно.

— Докладываю: замечено звено Ф-105, направление четыре, расстояние пятнадцать километров!

— Докладываю: «единица» обнаружила три самолета, направление четырнадцать!

— «Шестерка» засекла цель!..

— Докладываю...

— Докладываю...

В траншее рядом с Зиаком молодой офицер, прижимавший к ушам сразу две телефонные трубки, опустил их на рычаги аппаратов и цветным карандашом нанес на карту трассы самолетов.

Шум моторов становился все громче. Красно-синие змейки на карте, извиваясь, подползали все ближе и ближе к мосту.

Наблюдатели из рот сообщали о передвижениях противника. Штабные офицеры, не отрываясь от биноклей, обменивались короткими репликами:

— Слишком высоко! Сволочь, идет выше восьми тысяч метров...

— Вот черт, второй начал менять высоту!

— Он идет на максимальной скорости.

— Вон, видишь, самолеты выходят из-за облаков!

— Точно, еще звено!

— Не прекращать наблюдения за снижающейся машиной!

Вдруг начальник штаба закричал во все горло:

— Эй, парень! Ты что, уснул? Твой буйвол весь арахис сожрет!

Офицеры расхохотались, видя, как пастушонок со всех ног бросился выгонять буйвола с поля.

Суан подошел к Фаунгу. Замполит группы показал ему границы расположения рот.

Вдруг из-за гор докатился грохот разрывов.

— Наши!

— Точно! Это артиллерия...

На несколько минут воцарилась тишина. Стало слышно даже, как в кустарнике шелестит ветер.

— «Шестерка» докладывает: восемь Ф-105 в зоне!

— Внимание! — крикнул Мау.— Всем ротам: направление четыре, взять цель!

Суан поднял к глазам протянутый ему бинокль. В слепящих лучах — самолеты заходили со стороны солнца, чтобы их труднее было обнаружить,— он разглядел черно-серые точки, отпечатавшиеся на белых облаках.

Точки стремительно увеличивались. Считанные секунды — и уже можно было различить силуэты Ф-105 с длинными хищными носами и отогнутыми назад куцыми крыльями, под которыми торчали острия бомб и ракет.

— «Шестерке» разбить строй противника! «Единице» приготовиться к отражению штурмового захода!..

В кругах, выхваченных линзами бинокля, Суан отчетливо видел позицию «шестерки»: длинные стволы зениток, прикрытых ветками, поворачивались навстречу реактивным машинам, которые мчались, обгоняя звук, прямо на батареи.

— Шесть тысяч восемьсот...

— Шесть тысяч шестьсот...

— Шесть тысяч триста...

— Шесть тысяч ровно...

Голос наблюдателя, казалось, задавал ритм предстоящему бою.

Но четверка самолетов, едва достигнув высоты, выгодной для зениток, круто взмыла вверх. Каруселью, друг за другом, они описывали широкий круг, уходя вправо от артиллерийских позиций.

Следующая четверка лесенкой — на разных высотах — шла слева от позиций. Самолеты все время описывали зигзаги, то опускаясь, то поднимаясь выше, словно рыбы, пляшущие в прозрачных волнах.

Рев двигателей, докатившийся до холма, разрывал барабанные перепонки. На позициях «шестерки» сверкнули сполохи огня. В небе ухнули разрывы, белыми шарами повиснув среди самолетов. Но те, завывая, продолжали пологую кривую своего полета. Они уходили! А секундная стрелка на часах едва успела несколько раз обежать вокруг циферблата...

Мау, поворачиваясь всем телом, следил за черными точками. Так и есть, они возвращались обратно к мосту.

— Всем ротам: внимание! Поставить заградительный огонь!.. «Единице» приготовиться к отражению штурмового захода!

Длинноносые самолеты, набрав высоту, кружили в разных направлениях над огневыми позициями. Тяжелый гул реактивных моторов сотрясал землю.

Неожиданно самолеты один за другим повернули к горам. Выйдя из опасной зоны, они построились и, выпустив длинные хвосты белого дыма, скрылись.

На позициях снова стало тихо.

Суан вздрогнул — позади холма неожиданно прогремел мощный взрыв. Он едва успел повернуть голову. Оглушительный свист резанул уши. Огромная реактивная машина, выкрашенная в цвет плесени, словно чудовищная птица, пронеслась над его головой, едва не задев верхушки деревьев. Он не успел даже разглядеть самолет, как тот исчез за стеною бамбука.

— Здорово ему вмазали! — закричал Зиак.— Фюзеляж горит!

Все зашумели.

От моста, с позиций «единицы», тоже донеслись громкие крики.

У бамбуковых изгородей, возле кустов на межах, люди кричали и махали руками.

Фаунгу пришлось повысить голос, чтобы восстановить тишину на КП. Мау передал по телефону приказ:

— Всем ротам: усилить наблюдение! Возможна высотная бомбардировка из-за облаков.

Но на этот раз противник не возвращался. Оба разведчика тоже ушли.

— Объявить готовность номер два! Расчетам можно уйти в укрытия...

Бой кончился. Все заняло примерно десять минут.

Клубы черного дыма поднимались за рощей фыонгов, на раскидистых ветвях которых недавно распустились красные цветы. Ветер медленно относил дым к мосту. Офицеры молча глядели туда, где, судя по всему, начался пожар.

— Это, наверно, в деревне около реки,— медленно сказал Мау.— Мост цел.

Дым поднимался все выше... Уже можно было различить острые языки пламени, лизавшие кроны соанов. Ветер доносил неясный шум и голоса людей.

Суан подошел к телефону.

— Вызовите Шона! Срочно!..

Телефонист взглянул на Суана и поднял трубку:

— Алло, «единица»?.. Позовите товарища Шона, комиссар на проводе!.. Эй, вы! Кто там свистит на свирели прямо в телефон? Вам здесь не консерватория!.. Алло, алло!.. Дайте начальника связи!.. Разрешите доложить, какой-то болван дует на свирели с утра до ночи. Все уши продудел!.. Слушаюсь!.. Алло!.. Товарищ Шон?.. Говорите с комиссаром...

Суан присел на бруствер и взял трубку.

— Шон, это ты? Говорит Суан. Ну как, у вас все в порядке? Ребята все целы?

— О, комиссар, давно ли к нам пожаловал? — весело зазвучал голос командира «единицы» на другом конце провода.— Докладываю: у нас полный порядок. Одного только поцарапало осколком ракеты да у первого орудия пробило шину на колесе. Ребята ее сейчас заменяют.

— Что там горит?

— Это от нас метров за четыреста. Нельзя ли помочь населению тушить пожар?

— Кто-нибудь борется там с огнем?

— Ополченцы...

— Среди населения есть жертвы?

— Точно не знаю. Мы видели только, как пронесли несколько носилок.

— Оставайтесь на местах. Ополченцы потушат пожар без вас. Самолеты могут вернуться в любую минуту... «Единица» хорошо стреляла, без задержки. Ребята твои — молодцы. Мы отсюда видели, как вы попали в фюзеляж Ф-105. Передай всем благодарность от имени командования батальона... Смотрите только не зазнавайтесь!.. Исправляйте колесо... Не ослабляйте наблюдения... Вчера они подтянули к берегу два авианосца. Судя по всему, одна из главных целей — наш мост! Будьте наготове, не давайте застать себя врасплох... Ясно?

— Ясно!

— Если прилетят, бейте без промаха! Отомстите за убитых и раненых крестьян, за сожженные дома!

— Ясно!..

— У вас окопы сильно пострадали от дождя?

— Сегодня с утра мы все привели в порядок; сейчас насыпаем брустверы.

— Надо внушить ребятам, пусть не жалеют сил. Лучше укрытия — меньше потерь, меньше крови.

— Ясно.

— Как товарищ Тхань? Не забыл, что ему надо сюда на собрание?

— Он уже пошел к вам.

— Ну, хорошо. А ты-то, Шон, как? Здоров?

— Докладываю: здоров как бык...

Суан положил трубку. Подул ветер, и с неба стали падать черные хлопья сажи.

●

Комиссар вернулся в жилую землянку на КП. Неглубокая, крытая бамбуком и листьями, она ничем не отличалась от укрытий орудийных расчетов. У входа деревянная дверь, взятая на время в каком-нибудь крестьянском доме; стены, возвышающиеся над землей, связаны из плетеных щитов. В самой землянке только и было добра что два рюкзака — Мау и Фаунга, несколько иллюстрированных журналов, фонарь и транзисторный приемник.

— «Единица» сегодня дала жару,— весело сказал Хоа.— Я сам видел, как у самолета из брюха хлестало пламя. Далеко он не уйдет. В лучшем случае дотянет до моря и отправится пускать пузыри. Умывайтесь и садитесь завтракать. Я уже поел.

Холодная вода приятно освежала, усталость как рукой сняло. Суан снова почувствовал себя бодрым и полным сил. Вернувшись в землянку, он с аппетитом взялся за еду, хотя рис уже остыл, а свинина была слишком жирной.

Рядом, на КП, начальник штаба Зиак кричал в телефон:

— Алло, «шестерка»! Какой у вас расход снарядов?.. Сколько?.. Как, тридцать два? Почему так много?.. Ах, мало еще?.. Вы что их, с рисом едите?!

Прислушиваясь к негодующему голосу Зиака, Суан усмехнулся. Начштаба, человек добрейшей души, становился неумолимым и выходил из себя, едва дело касалось расхода снарядов. Вспомнив, как сегодня перед боем Зиак поднял крик из-за буйвола, который залез в арахис, Суан улыбнулся еще шире...

А вокруг землянки громко пели и щебетали птицы. Издалека доносилось воркованье голубей и собачий лай. Женщина окликала кого-то в деревне на берегу реки. Перед глазами Суана бежал большак, вымытый ночным дождем, и простирались вдаль поля арахиса и бататов. У реки темнели ряды дынных деревьев и кусты нян*. Фыонги поднимали к небу ветви с ярко-красными цветами.

Но все это в одно мгновение могло утонуть в реве реактивных турбин, в грохоте разрывов и холодном свисте металла...

Войдя в землянку, Мау спросил Суана:

— Ну как, отдохнул?

Он присел рядом с Суаном. Следом за ним вошел Фаунг, сняв у двери кеды с налипшими комьями глины.

— Приступим к работе.

— Фаунг, у тебя нет чего-нибудь вкусненького угостить комиссара?

— Да уж найдется...

---

* Кустарник со съедобными плодами.

Он протянул руку к маленькой тумбочке в углу и извлек оттуда гроздь бананов, пакетик чая и пачку сигарет.

Достав из полевой сумки штабную карту, Мау расправил ее и тут же, пока Фаунг заваривал в кружке чай, приступил к тактическому анализу.

— Боевая тревога! — металлически прозвучал в рупор голос дежурного.

Мау встал:

— Фаунг, доложишь обстановку сам.

Он быстро выскочил из землянки и побежал на КП.

V

Летнее утро становилось все жарче. Белые облака постепенно таяли, небо из голубого сделалось синим. Политруки рот приходили один за другим. Утирая пот со лба, они протискивались в землянку и рассаживались тесным кружком под низкой плетеной крышей.

Собрание началось, хотя все еще продолжалась тревога и в небе ни на минуту не умолкал гул самолетов.

— Постараемся закруглиться побыстрее,— открыл собрание Суан.— Я наметил повестку дня из двух вопросов: первый — предложения товарищей из подразделений; второй — рекомендации полкового партбюро. Приступим к первому вопросу. Какие будут просьбы или предложения к командованию полка? У вас, наверно, много горящих дел?

Все заулыбались и начали, перебивая друг друга:

— Пускай полк вернет две автомашины, взятые у нас на время! Вдруг какая-нибудь срочная переброска.

— Добейтесь, пожалуйста, чтоб сюда прислали орудийных мастеров и закрепили их за нашей группой. Лучше всего, если нам отдадут товарища Зианга.

— В нашей роте шесть человек только что вернулись из госпиталя, у них не хватает обмундирования. У одного вообще рюкзак сгорел, остались штаны и рубашка!

— Скажите, товарищ комиссар, правда ли, что скоро всем выдадут каски?

— Разрешите доложить: ребята очень давно не получают писем из дома. Надо связаться с почтой, узнать, в чем дело.

— А нельзя ли выдать на каждую роту транзисторный приемник? Информация очень уж запаздывает. «Нян зан» * и то две недели не видели.

— Говорят, в наш округ приехали несколько ансамблей из Ханоя; пусть и у нас устроят хоть один концерт.

— Надо, чтобы из полка связались с уездом и попросили доставлять больше свежих овощей. Ребята не высыпаются, устают, им хочется свежей пищи.

— Каски — это хорошо, да только в них очень жарко. Нужно раздобыть ноны, пускай немного... Чего вы все ржете? Солдату в ноне очень даже удобно. Не зря у нас весь народ их носит! Вам бы что-нибудь новомодное... Я предлагаю ноны — от жары.

Суан кивнул:

— Ну что ж, мысли дельные. Есть еще предложения?

— Да нет, пока все.

---

* «Народ» *(вьетн.)* — ежедневная газета, орган ЦК ПТВ, выходит в Ханое.

— Вернусь, доложу партийному бюро, и мы срочно будем делать все, что в наших силах. Да, о письмах и газетах — почта здесь ни при чем; просто нас все время перебрасывали с места на место. Здесь мы, вероятно, задержимся надолго, так что корреспонденция будет поступать регулярнее. Теперь поговорим о пожеланиях партбюро. Собственно, у нас к вам только одно пожелание: чтобы вы, товарищи, сбивали самолеты на месте, прямо здесь, над позициями.

Собрание зашумело.

— Одно пожелание — да будет почище многих!

— Это дело нелегкое!

— Почему? — спросил Суан.— Ну, а что скажет первая рота?

Все замолчали, давая возможность высказаться Тханю, политруку первой роты, потому что знали: «единица» стоит на самом трудном участке. Тхань, совсем еще молодой парень, сжал изогнутые, как у девушки, губы, словно повторяя про себя все, что предстояло сейчас сказать. Смуглые щеки его порозовели.

— Разрешите доложить, товарищ комиссар: смелости у нас, конечно, хватает, но на нынешней нашей позиции трудно вести бой. Мы закрыты склоном холма. Самолеты проходят на бреющем вдоль русла реки, выходят внезапно прямо на нас и забрасывают бомбами и ракетами. Противник очень хитер и быстро приноравливается к местности. Поэтому вчера, когда бомбили мост, у нас и были такие низкие результаты стрельбы. Я считаю, что нужно заново обсудить всю систему огня боевой группы.

— Этот вопрос вчера уже обсуждали командиры рот и приняли решение,— с некоторым неудовольствием сказал Зиак.

— Да, я знаю,— стоял на своем Тхань, щеки его покраснели еще сильнее.— Товарищ Шон, вернувшись, рассказал, что командование решило перевести «четверку» на ту сторону реки, чтобы прикрыть нас. Но мы обменялись мнениями и пришли к выводу, что это, в общем, мало что даст.

Фаунг, который до сих пор сидел молча, не выдержал и строго спросил:

— Что вы предлагаете конкретно? Почему вчера товарищ Шон не изложил толком ваше мнение?

— Потому что тут все не так просто,— ответил Тхань; пунцовыми были уже не только щеки его, но и уши.— И потом наш ротный боялся, как бы слова его не истолковали превратно.

Собравшиеся снова зашумели. Тхань продолжал говорить. Краска сошла с его лица, он успокоился и чувствовал себя уверенно:

— Наша рота держит здесь оборону недавно, и мы просто заняли позиции, оставленные другим подразделением. Но у нас есть все возможности создать свою, новую систему огня. Да и противник уже изменил тактику. Нам тоже нельзя строить все по-старому. Почему, например, не перевести «шестерку» сюда, на этот холм? Почему у нас не доходят руки до высоты «сто двадцать»? Неужели нам не под силу перетащить туда пушки?

Он разложил карту прямо посередине землянки и стал объяснять план, составленный в его роте.

— Я думаю, сейчас надо прежде всего приложить все усилия, чтобы выполнить поставленную вчера боевую задачу,— сказал политрук «шестерки» Хюйен.— Что касается огневых позиций нашей роты, я не во всем поддерживаю товарища Тханя. Но я полностью согласен с «единицей» — надо пересмотреть систему огня.

Мау, только что вернувшийся с КП, уселся рядом с Суаном. Внимательно выслушав политрука «шестерки», он кивнул:

— Хорошо! Обсудим обязательно! Пускай в ротах еще раз все продумают и составят развернутые предложения. Мы разрабатываем сейчас новый тактический план и систему огня. Есть возможность обсудить и учесть все варианты. Думаю, что мы придем к единому мнению.

— Ну как, согласны, товарищи? — спросил Суан.

— Да, мы согласны с товарищем Мау,— раздались в ответ голоса.

— Значит, вопросы тактики будут еще обсуждаться,— продолжал Суан.— Но у нас собрание политработников, позвольте поэтому напомнить вам некоторые вещи: мы будем драться здесь с американцами не день и не два, остаемся мы здесь надолго. Вы должны донести это до каждого бойца, чтобы они были готовы сражаться не на жизнь, а на смерть с вражескими стервятниками,— драться каждый день, драться по нескольку раз в день. Противник постоянно меняет свою тактику. И мы не можем сидеть сложа руки. Надо все время искать новые методы борьбы с самолетами. Люди должны не щадить сил, когда приходится рыть окопы, когда надо, может быть, по нескольку раз на неделе, менять позиции. Малейшая недобросовестность или леность могут обернуться на пользу врагу, стоить многих жертв. Таков уж боевой долг зенитчиков. Я знаю, ребята несколько месяцев подряд не выходят из-под огня: боевой дух у них высокий и опыта много. Нужно только, чтобы они не поддавались усталости и, с другой стороны, не вздумали почивать на лаврах. Все вы, товарищи, обязаны уделять особое внимание жизни и быту солдат. Они должны хорошо питаться. Надо продумать рацион, подходящий для жаркого времени года. Ребята устают, и если их все время кормить сухим рисом и жирным мясом, им кусок не полезет в горло. Помните о санитарных правилах, о профилактике заболеваний. Здесь рядом река, надо сделать так, чтобы солдаты почаще могли купаться. Побольше занимайтесь культурной работой. Не дожидайтесь столичных артистов, неужели у нас нет своих талантов? Одним словом, вся наша воля, все наши мысли должны быть устремлены к победе! Мы победим! Победим во что бы то ни стало! Да, вот еще что — надо воспитывать в солдатах бережливость, учить их экономить снаряды, беречь продовольствие. Я сам видел, как в некоторых подразделениях после еды выбрасывают целые корзины недоеденного риса и других продуктов. С этим пора кончать!..

Суан остановился, увидав двух бойцов, которые втаскивали в землянку какой-то странный предмет.

— Что это, товарищи?

— Разрешите доложить: обломок самолета, подбитого сегодня утром.

— Давайте-ка его сюда, посмотрим, что за чудо!

Собравшиеся столпились вокруг куска металла, выкрашенного в темно-серый цвет.

— Чего это он такой тяжелый? Где вы его подобрали, товарищи?

— Разрешите доложить: когда самолет прошел нынче утром на бреющем над деревней, из него вывалилась эта деталь. Ума не приложу, что бы это было такое.

— А может, часть шасси?

— Да нет, в этой штуке явно метра полтора длины.

— Пожалуй, это кусок ракетной установки.

— Нет, скорее — крепление крыла.

— От него небось немало еще кусков отвалилось, просто их пока не нашли. Во всяком случае, «единица» сегодня подстрелила птичку с авианосца.

— Погоди, штаб округа еще этого не подтвердил, а по обломкам ничего не докажешь.

Фаунг, посмеиваясь, стал торопить собравшихся:

— Ну, хватит — насмотрелись. Янки не станут ждать, пока мы тут все обговорим...

Все дружно расхохотались и начали прощаться.

●

Когда командиры группы остались одни, Суан спросил Мау, что он думает о предположениях «единицы».

— У ребят есть основания для беспокойства,— медленно ответил Мау,— я тоже хочу перестроить систему обороны. Каждая рота должна иметь две-три позиции в своей зоне и маневрировать. Но все это за один день не сделаешь, нужно время. Надеюсь, за неделю — не меньше — удастся реорганизовать систему огня.

— А быстрее нельзя?

— Я беру неделю, потому что предстоит очень большая работа: надо будет сравнять вершины холмов и поднять грунт на полях всюду, где намечены огневые позиции.

— Может, нам поговорить с Виеном, чтобы местные власти помогли скорее закончить строительство?

— Мы уже обращались в уездный комитет партии. Народ почти весь занят на уборке риса, а тут еще и арахис поспел. Поэтому сейчас трудно собрать достаточно людей для земляных работ...

Вскоре после десяти утра на своем велосипеде прикатил Виен. Вместе с ним приехал Тай, секретарь партийной ячейки общины. Виен, весь багровый после поездки по такой жаре, ввалился в землянку и немедленно выпил целую флягу воды. Таю, его спутнику, перевалило за пятьдесят. Это был типичный крестьянин. В больших натруженных руках он держал огромную шляпу из листьев и обмахивался ею вместо веера.

Виен сообщил, что утром американцы сбросили восемь бомб. Шесть из них упали в реку и на кукурузное поле, а две угодили в деревню. Один человек убит; ранено семеро, в том числе ребенок; сгорели два дома и небольшой запас риса, хранившийся в кооперативном амбаре.

— Люди считали раньше, что бомбежки им нипочем. Уговариваешь их, уговариваешь, а они не желают эвакуироваться, и точка. Зато сегодня несколько семей до того перепугались, что убежали куда глаза глядят; побросали дома все добро и даже рис не кончили убирать.— Виен обернулся к парторгу: — Скажите, Тай, а как с уборкой арахиса и бататов, ведь шестая бригада пока не выполняет план?

— Ничего,— ответил Тай.— Бросим на это дело еще первую и третью бригады, за две ночи соберем *.

— Сейчас, как никогда, важен точный учет рабочей силы. Нужно четко распределить, кто остается на уборке, кто идет в народные носильщики, кто из молодежи — в ударные бригады. Мы должны еще помочь зенитчикам...

Виен тщательно записал в блокнот все пожелания командиров.

— Думаю,— сказал он,— что особых трудностей с этим не будет. Все, что есть у нас, и мы сами — в вашем распоряжении. Конечно, для строительства огневых точек понадобится много рабочей силы, это теперь довольно сложно. Но мы все сделаем.

— Господи,— подхватил Тай,— стоит только бросить клич, что надо построить позиции для зениток, народ сам повалит!

— Скажите,— вмешался в разговор Фаунг,— а ваша община «Намшон» могла бы за эту ночь построить новые огневые позиции на холме,

* Из-за бомбежек полевые работы часто ведутся по ночам.

Из работ вьетнамских мастеров

Боевой слон

(лубок)

Наседка с цыплятами

(лубок)

Священный Черный тигр

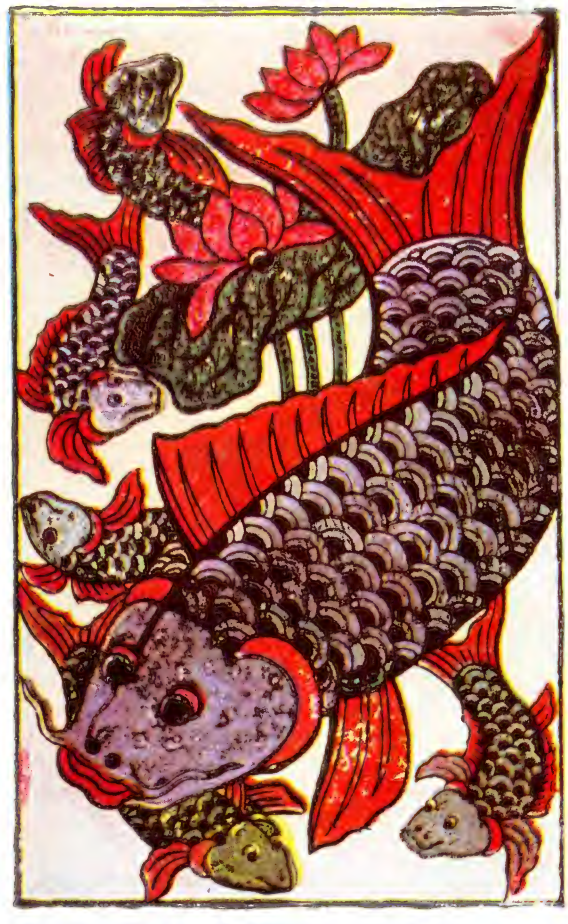
(лубок)

Праздничное шествие

(лубок)

Уроки ученой Жабы *(лубок)*

Воительница Чиеу *(лубок)*



Карп в озере Лотосов *(лубок)*

НГУЕН ДО КУНГ. Партизаны на стрельбище *(гуашь)*

ХОАНГ ТИТЬ ТЮ. Бригада взаимопомощи сажает рис *(лак)*

Воин с конем

(лубок)

ТО НГОК ВАН. На вечерние занятия *(акварель)*

около кирпичных печей? Так, чтоб мы завтра утром могли перевести туда пушки.

— Да-а, работенка изрядная! — воскликнул Тай.— А что, туда перейдет «шестерка»?

— Успеете собрать людей? — спросил Виен.

— За одну ночь трудновато, но ничего — сделаем! Вы уже наметили точный план? Тогда я поеду в шестую роту, сговорюсь обо всем заранее. Виен, вы еще побудете здесь?

— Да, посижу немного, потом тоже поеду на ту сторону.

Тай нахлобучил на лоб шляпу, взял велосипед и с одним из штабных офицеров отправился в шестую роту.

Обсудив все дела, Суан задержал Виена, пригласив его пообедать вместе и немного отдохнуть. Полуденное солнце припекало, к тому же еще сильно парило.

Тревоги следовали одна за другой. В небе все время гудели самолеты. Мау и другие офицеры, временами заглядывавшие в землянку, едва успевали присесть. Самое большее минут через десять они вскакивали по тревоге и бежали на КП...

Виен лежал, распахнув на груди рубашку, и неустанно обмахивался веером. Мау, войдя в землянку, уселся рядом с ним и улыбнулся:

— Что, жарко? Такая погодка кого хочешь доконает.

Равномерно взмахивая веером, Виен спросил:

— Вы сами из каких краев, товарищ Мау?

— Из Лонг-тяу-ша *.

— Слыхал я, у вас там много рыбы.

— О рыбе и говорить нечего. У нас в деревне до путины, бывало, еще далеко, просто начались дожди — захочется тебе рыбки, берешь леску, крючки, насадишь самую плевую наживку, камень вместо грузила и забросишь в реку. Ночь простоит, утром вытащишь — только успевай рыбу снимать. И все здоровенные — одна к одной. И рис у нас особый, не надо, как у вас, высаживать на поле каждый стебелечек отдельно. В январе или феврале выжгут у нас солому на полях и распашут землю, а как припустят дожди — сразу высаживают рассаду. Высадят да так и оставят на поле. А потом, в июне или июле, начнет прибывать вода и заливает поля. Вот тут-то рис и тянется за водой: насколько прибывает вода, настолько и поднимается рис. Случается, за ночь рис вырастает на целую пядь. У нас он воды не боится. Есть разные сорта риса, и названия у них интересные — например, «лесная дева», или «девица с запада», или еще «распустившийся бутон»... Когда вода прибывает, рыба идет на поля. Потом вода спадет, и рыба остается в прудах прямо в поле. Ее там столько, что вода прямо как в котле кипит.

— Да-а! Ну ничего, потерпите еще немного, вот расколотим янки, вернетесь к себе, и подадут вам рыбу из Лонг-тяу-ша.

— Я уж лет шестнадцать как не был дома...

— Сейчас по радио последние известия,— сказал молчавший до сих пор Суан,— Виен, включите, пожалуйста, приемник, узнаем, что слышно на Юге...

Теперь все по достоинству смогли оценить транзисторный приемник, которым так гордился Виен. Знакомый голос дикторши ханойского радио заполнил землянку.

«Конг-тум **. В коротком двадцатиминутном бою подразделения Освободительной армии сравняли с землей укрепленный пункт Ту-моронг, уничтожили две роты противника, захватили более ста винтовок и пулеметов, две стопятимиллиметровые пушки...»

* Местность в Южном Вьетнаме.

** Плоскогорье в Южном Вьетнаме.

— Боевая тревога!

Мау с сожалением поднялся.

— Вы оставайтесь тут,— сказал он Виену и комиссару,— сегодня ужасно жарко.

...**«Да-нанг *. Подразделения Освободительной армии атаковали батальон американской морской пехоты, осуществлявший карательную операцию. Уничтожена рота противника, подорвано пять «амфибий», сбито два вертолета...»**

— Отлично! — прокомментировал Суан.— Янки прямо из кожи вон лезут, бомбят здесь, у нас, мосты и дороги, а движение все равно не останавливается. Зато на Юге освободительные войска в любое время перерезают их коммуникации и парализуют снабжение.

Закончив сообщения с фронта, радио стало передавать бодрую военную музыку.

— Когда мы здесь даем жару американским стервятникам, это, как ни говори, хорошая помощь ребятам на Юге,— произнес Виен.— Да, Суан, вы когда собираетесь обратно в полк? Лить просила, если можно, передать небольшой пакет в городской здравотдел.

— Хорошо. Я, возможно, вернусь этой же ночью. Но вообще-то хотел бы пробыть здесь и завтра.

— Она, по-моему, посылает дочке немного бобов и арахиса... Да-а, судьба у Лить необычная. Вы, наверно, знаете Бана, ее бывшего мужа?

— Бан... Бан... А кто это?

— Он из штаба дивизии.

— Нет, я с ним не знаком.

— Это любопытная история. В ту войну Лить была медсестрой. Они с Баном встретились на фронте, потом поженились, и у них родилась дочка. Они очень любили друг друга. Но после войны, уж не знаю как, выяснилось, что Бан был раньше женат. Жена его всю войну прожила со свекром и свекровью. Их деревня была на оккупированной территории. Оказалось, что сами старики, родители Бана, дали ему знать, что жена его якобы путалась с солдатней, и, мол, раз так, он должен ее бросить, тем более, что у них нет детей. Бан начал чего-то мудрить. Прежняя жена его, простая деревенская женщина, знай себе плакала да жаловалась соседям: «Раз уж он меня бросил, так тому и быть! Да только зря он взял грех на душу, я перед ним не виновата...» Долго ли, коротко ли, но Лить обо всем узнала. Не говоря никому ни слова, она отправилась прямиком в деревню Бана, повстречалась там с его женою, с отцом и с матерью, со всей родней и разузнала все как есть. Вернувшись, она тут же ушла от Бана. И как он ни просил, ни умолял, жить с ним больше не стала. Она сказала ему: «Твоя жена — хорошая. У нее большое горе — когда в деревню ворвались каратели, они схватили ее и изнасиловали. Разве ж она виновата? И хотя твои родители и вся ваша родня издевались над ней как могли, она осталась в мужнином доме, делала всю работу по хозяйству и ждала тебя. Ты не имеешь права ее бросать!» Лить попросила перевести ее в другой район, забрала ребенка и вот приехала сюда, к нам. Ей пришлось нелегко: нужно было растить дочку, работать да еще учиться. Теперь она уже фельдшер. В прошлом году Бан как-то заезжал сюда, но она не захотела с ним видеться. Сидела у меня дома и проплакала весь день, пока он гулял с девочкой.

— Ну, а что его старая жена?

— Ничего. Живут как ни в чем не бывало, у них уже несколько детей. Она там, в деревне, вступила в кооператив.

— А сама-то Лить где?

— Сегодня с утра она была в той деревушке, где раненые. Может, сейчас уже вернулась в больницу.

* Город в Южном Вьетнаме.

Суан прислушался. По радио сообщали интересные новости. Виен, чтобы лучше слышать, перестал даже махать веером.

...«Сотни американских матерей устроили демонстрацию перед Белым домом. Они несли обращенный к правительству лозунг: «Почему матери Америки должны оплакивать своих сыновей?!». В Соединенных Штатах состоялась студенческая демонстрация. Студенты несли лозунг: «Сколько детей вы убили за сегодняшний день во Вьетнаме?»

— Надо бы посильнее всыпать этим янки! — Виен с силой хлопнул веером по циновке.

Суан закрыл глаза, в ушах его отчетливо звучал голос диктора. На ум снова пришли давно уже занимавшие его мысли: «Правители Америки надеялись с легкостью разбить такую маленькую страну, как Вьетнам, и проглотить ее одним махом... Но они попали в трудное положение даже в своей собственной стране. И если война затянется, могут произойти самые неожиданные события в самой Америке...»

...«Население города Зальцбурга в Австрии решительно выступило в поддержку вьетнамского народа... В Швеции девяносто писателей, ученых и профессоров университетов выступили с заявлением, призывающим осудить преступную политику США во Вьетнаме...»

Перед глазами Суана вдруг с удивительной отчетливостью встало лицо Лить, освещенное неяркой керосиновой лампой... Суан вспоминал каждое слово, сказанное ею в дороге, каждый ее жест, ее позу, когда она сидела в доме у Виена... Лить пристально глядела на него... Может, он тогда не понял...

Казалось, земля содрогается от тяжелого гула, обрушившегося с неба.

— Виен, давайте выйдем отсюда!

Суан потянул Виена за собой на КП. Взобравшись на холм, он втолкнул его в окоп, а сам сел на землю, прикрывшись ветками кустарника, и, задрав голову, стал вглядываться в раскаленную синеву.

Восемь бомбардировщиков Б-57 *, выстроившись углом, наподобие буквы А, шли на высоте восьми или девяти тысяч метров прямо в сторону моста. И, не снижаясь, начали сбрасывать бомбы.

От взрывов ходуном заходила земля, но Суан продолжал, вытянув шею, следить за разрывами там, в небе, поблизости от самолетов. Он знал, что на такой высоте огонь зениток вряд ли мог быть эффективным, и все-таки надеялся, что вот-вот белый дымок разрыва накроет и разнесет в куски вражеский самолет.

Б-57, отбомбившись, один за другим легли на обратный курс и вскоре скрылись из виду.

По обеим сторонам реки поднимались вздыбленные взрывами бурые столбы дыма, земли и пыли. Ветер медленно наклонял их над полями, и они постепенно расплывались.

Суан взглянул на бетонный мост, по-прежнему белевший в жарких лучах солнца, и, обернувшись, сказал Мау:

— Значит, они прилетят сегодня еще раз!..

VI

Весь день не прекращались тревоги и налеты. Суан позвонил по телефону «домой», в штаб. Он разговаривал с Хынгом, командиром полка, просил прислать снарядов, потому что, судя по всему, здесь предстоя-

* Стратегические бомбардировщики ВВС США. Б-57, совершающие налеты на Вьетнам, базируются на островах Окинава или Гуам.

ли тяжелые бои. Повар принес на КП вареные бататы, офицеры поели и разошлись. Фаунг отправился вместе с Виеном на противоположный берег реки проверить стоящие там батареи. Суан поехал на позиции «шестерки», намереваясь после этого заглянуть в «единицу».

Солнце припекало все сильнее. В расположении роты, где вчера еще стояли лужи, сегодня все подсохло, и следы шин, отпечатавшиеся в грязи, стали тверже камня. Ветки, которыми были замаскированы пушки, завяли. Солдаты, вот уж который день бессменно дежурившие у орудий, совсем почернели на солнце. Пот пятнами проступал на их выгоревших гимнастерках.

Где-то высоко в небе надоедливо гудели самолеты-разведчики. Время от времени громыхали далекие взрывы, доносившиеся как будто из-под земли.

Да, огневые позиции выглядят теперь необычно. Суан вспоминал, как несколько лет назад их перебросили к западной границе на перехват самолетов, забрасывавших диверсантов. В безлюдных глухих дебрях легко было замаскировать и спрятать орудия так, что даже любопытствующие прохожие ничего не замечали. А сегодня пушки торчат прямо посреди поля, у самой дороги. И даже после объявления тревоги люди расхаживают и ездят на велосипедах по большаку. Вон кадровый работник жмет на педали, торопится на службу. Парень везет девушку сзади, на багажнике; проезжая мимо батареи, они с любопытством поглядывают на солдат, не прерывая своей болтовни. Крестьянки идут с поля, неся на коромыслах снопы только что скошенного риса. Они уже скрылись за поворотом, но кажется, будто под высокими сандаловыми деревьями у дороги все еще звучит звонкий смех и ветер доносит аромат спелого риса.

Солдаты теперь все молодые, средний возраст двадцать лет; есть и такие, кто ухитрился вступить в армию в семнадцать и даже шестнадцать лет. Как и старшие их братья, победившие под Дьен-бьен-фу, нынешние ребята отнюдь не имеют геройского и грозного вида. Чаще всего они невысокого роста и довольно-таки щуплые, но Суан хорошо знал, какая за этим кроется выносливость, сила и железная стойкость. Они способны месяцами спать на голой земле под открытым небом, есть пустой присоленный рис с дикими овощами и, несмотря ни на что, из ночи в ночь совершать стремительные переходы, а днем рыть и рыть окопы, переворачивая своими лопатами горы земли. Ведь они — плоть от плоти народа, который тысячелетиями, подтянув потуже пояс, сражался с джунглями, с ураганами, засухами и наводнениями за каждый клочок земли... На лицах их, добродушных и чистых, всегда, кажется, вот-вот вспыхнет веселая улыбка, а в блестящих черных глазах видны ум и смекалка. И еще — чего не было раньше — нынешние молодые солдаты все кончили до армии четыре или пять классов, а немало и таких, у кого за плечами десятилетка. Всего десять лет строили мы новую жизнь*, у нас не всегда было вдоволь одежды и риса, но зато в каждой глухой деревушке есть теперь школа.

Несколько лет назад многие старые командиры и партработники колебались, не веря, что молодежь сможет выдержать испытания войны. Ведь во время Сопротивления ** каждый солдат был человеком, испытавшим на себе позорное бремя рабства. На лицах бойцов лежал тогда, различимый с первого взгляда, отпечаток долгих лет голода,

* Имеется в виду период мирного строительства ДРВ, продолжавшийся от заключения мира с французами в 1954 году до нападения США на ДРВ в 1964 году.

** Речь идет о войне Сопротивления против французских колонизаторов (1946—1954 гг.)

нужды и лишений. Для них винтовка была не только оружием, но и ключом, отворившим двери темницы.

Сегодняшние молодые солдаты с самого детства чувствовали себя хозяевами своей страны, своего будущего; у них было все — и рис, и книжки. А выучившись и придя на работу, они, случалось, негодовали, что какой-нибудь кадровый работник зажимает демократию или недостаточно разбирается в технике и науке, чтобы как следует руководить производством. Им не нравилось, скажем, что во многих деревнях нет еще электрического освещения, нет насосных станций или сельскохозяйственных машин, нет кино и домов культуры.

Но что значат все их недовольства в сравнении с лишениями и тяготами, выпавшими на долю людей постарше! Ведь никто из этих парней и девчонок не испытал на собственной шкуре, что такое колонизатор, жандарм, помещик, уездный начальник или деревенский староста!

Смогут ли они проникнуться ненавистью к империализму? Не дрогнут ли перед лицом врага?

Но когда началось испытание огнем, то «отцы и дядья» убедились, что молодежь не уступает старым бойцам в мужестве и отваге; зато у молодых кроме смелости были еще и знания, они легко овладевали военной наукой, умели обращаться с техникой. Они и мыслили по-новому, часто ставя проблемы, которых старые кадровые работники, как Суан, просто не замечали или не всегда могли сразу понять. В своей повседневной работе Суан часто убеждался, что ему не хватает знаний. Но он не мог подменять живое дело пустыми казенными лозунгами и вот — с поседевшей уже головой — старался учиться, жадно тянулся к знаниям. «Я должен многое знать,— твердил он себе постоянно.— Должен научиться выслушивать людей. Иначе можно стать камнем, лежащим у них на дороге...»

Суан и друзья его, одних с ним лет, встречаясь, часто говорили друг другу: «Хо Ши Мин и другие наши руководители всегда отмечают, что народ наш — героический народ. Но мы не всегда осознаем до конца все значение этих слов!»

И когда Суан видел, как эти юноши, похожие на только что распустившиеся цветы, впервые попав под огонь, стоят насмерть, ему казалось, будто перед глазами его встают те, кого смерть скосила в пути, кто отдал до капли свою кровь за революцию, за отечество. И Суан говорил им: «Будьте спокойны, товарищи! Ничто не пропало даром — ни одна ваша мысль, ни один ваш шаг, ни одно движение вашего сердца!.. Вы не зря шли в рост на пулеметы, не зря умирали в одиночестве под пытками... Все самое прекрасное, самое возвышенное и дорогое, чем бились сердца тысяч и тысяч солдат и подпольщиков, не только сохранилось нетленным, но расцвело с новой силой в сердцах сыновей и дочерей — наших сегодняшних двадцатилетних...»

●

— Готовность номер два!.. Расчетам можно уйти в укрытия!..

На позиции роты неожиданно пришла тишина. И тогда из-за бруствероров орудийных гнезд, из ходов сообщения высыпали солдаты. Весело переговариваясь и утирая пот, они торопились к землянкам.

Суан вытащил мокрый платок и вытер лоб.

— Товарищ комиссар, не зайдете к нам отдохнуть?

Слыша, как солдаты наперебой его приглашают, Суан снял шлем и, пригнувшись, вошел в одну из землянок. Парень с оспинками на лице уселся за спиной комиссара и принялся обмахивать его веером. Лай, командир расчета, налил гостю чаю.

Суан, конечно, не помнил по именам всех солдат. В этом расчете он знал только Лая и еще одного парня по имени Бинь, которого все на-

зывали «крупнейшим ротным писателем». Бинь преподавал раньше литературу в школе, в армии он служил уже около года.

— Ну как,— спросил Суан,— созданы ли за это время новые произведения?

Бинь смущенно улыбнулся.

— Он недавно закончил рассказ и отослал его в редакцию «Ван нге куан дой» *,— сказал парень с оспинами ломающимся еще голосом.

— А вас я раньше, кажется, не встречал. Вы из пополнения?

Соседи щербатого паренька похлопали его по спине.

— Точно! Тат попал к нам уже после боев у Дой-шим.

— Как у вас вообще идут дела, ребята? Место ведь новое...

— Да вот ни разу еще не отстрелялись как следует. Черт знает что!

— Ничего-ничего, у вас все впереди.

— Ясное дело, мы сами понимаем: этот перекресток — как заноза для «джонсона».

— Ну и отлично!

— Янки летают здесь на своих «богах грома» да на «фантомах»**, которыми они запугивают весь мир.

— Все эти «боги грома» загремят прямо на тот свет. «А «фантомам» там только и место — с привидениями и мертвяками!

— Ополченцы даже из винтовок сшибают реактивщиков. Вон в Куанг-бине *** в феврале этого года упал самолет. Оказалось, летчик был убит пулей; она пробила ему горло и разнесла затылок.

— Да, во сколько раз быстрее звука он ни летай, а нам на земле надежней и проще!

— По этому делу ребята на Юге — чемпионы. Ходят на своих двоих, а что ни бой — гробят десятки самолетов.

— У нас во Вьетнаме «аэродромные мастера» — высший класс!

Разговор становился все оживленнее. В землянку набился уже и соседний расчет. Седая голова Суана резко выделялась среди обступивших его парней, темнокожих, словно прокопченных дымом. А обветренная физиономия Лая была кирпично-красного цвета.

Солнечные лучи заливали оголенную, изъезженную и истоптанную землю и веселыми зайчиками прыгали на плетеной крыше. С отрогов Чыонг-шон налетал резкий ветер — знаменитый ветер из Лаоса...

— Глядите, девчата с фабрики несут нам чай!

— Ну, наконец-то попьем вволю!..

По тропинке через поле шла к батареям цепочка женщин с коромыслами на плечах; мерно покачивались подвешенные к коромыслам кувшины. Видно было, что дорога хорошо им знакома. Они прошли прямо на позиции, поставили кувшины на землю и, сняв с головы ноны, стали обмахиваться ими как веерами. Девчонки помоложе бросились собирать бидоны, кружки и фляги.

Девочка лет пятнадцати с хвостом черных волос за спиной подбежала к землянке, где сидел Суан.

— Давайте посуду!

— Здравствуй, Туйен.— Лай протянул девочке флягу.— Сегодня ты угощаешь таким же вкусным чаем, как вчера?

— А он у меня всегда одинаковый — зеленый!

Она засмеялась, но, увидев незнакомого седого военного, смутилась.

---

* «Литература и искусство армии» *(вьетн.)* — ежемесячный литературно-художественный журнал, выходит в Ханое.

** Названия реактивных самолетов ВВС США Ф-4.

*** Провинция на юге ДРВ.

— Не тяжело вам носить сюда чай?

— Вот еще! Если хотите, выкопайте себе целый бассейн, а мы вам воды натаскаем — полный нальем, до краев. Надо вам выкупаться, чтоб не были такие черные!

Все расхохотались. Туйен нацепила на себя семь или восемь фляг и, растопырив пальцы, подхватила несколько эмалированных кружек. Маленькие белые ступни ее замелькали по темной раскаленной земле.

К четырем вернулся Дык. Позвав Тхо и Хюйена, ротный сказал:

— Все в порядке. Присмотрел отличное место. Правда, деревья закрывают обзор; придется срубить. Жаль, такие красивые фыонги, высоченные... Если соберут побольше людей, за ночь кончат. Товарищ Тай обещал прислать сто пятьдесят человек. Как стемнеет, начнем...

Он не успел договорить, раздался сигнал тревоги.

— Ладно, иди отдыхай,— сказал Хюйен.— Мы с Тхо управимся сами.

Но Дык, посидев минуту, вскочил. По звуку моторов он понял, что самолетов много и они идут прямо на батареи. «Атакуют!» — пронеслось в мозгу Дыка. Он побежал на КП.

Набросив на плечи накидку из парашютной ткани, Дык встал рядом с окопом наблюдателя. Кан, сидевший в окопе,— он заменил Тоана, раненного у Дой-шима,— улыбнулся ротному и прильнул к окулярам.

Самолеты шли с востока, со стороны моря. Солнце, склонявшееся к горизонту, ярко освещало их, и поблескивавшие вытянутые силуэты были видны издалека.

На позиции все молчали. Слышно было лишь, как поворачивались стволы пушек. «Жарко,— подумал Дык,— в кожухах быстро высохнет масло, надо бы не забыть... Кто это, неужели комиссар?.. Стоит, прислонившись к брустверу, около пушки Лая...»

И Дык невольно вспомнил Дьен-бьен-фу. Он пришел тогда в ПВО рядовым пулеметчиком, а Суан был уже замполитом батальона. Дык помнил — словно это случилось вчера — тот день, когда их рота сбила первый Б-26*... Самолет огромным костром вспыхнул в небе, прямо над ними. Суан сорвал с головы шлем и, радостно крича, подбросил его высоко вверх. А Дык так и застыл у пулемета, забыв, что еще идет бой и кругом рвутся бомбы...

За все эти долгие военные годы Дык больше всего возненавидел самолеты. В начале войны не было еще пушек и солдаты не умели вести бой с авиацией. Самолеты сносили с лица земли деревни, мосты и дороги, безнаказанно улетали и возвращались снова, а он, стиснув зубы, глядел им вслед...

У него с самолетами были свои, личные счеты: свинец, пущенный с неба, убил Шам, его сестру! И сейчас, вспоминая о ней, он чувствовал щемящую, острую боль. Родители Дыка умерли рано, и Шам заменила ему мать. Дык навсегда запомнил страшный голод сорок пятого года, месиво из отрубей, раздиравшее горло... Ему было тогда десять лет. Шам ушла вместе с братом в Фу-тхо **. Бог знает какими судьбами удалось ей наняться в дом богача. Он держал целую свору собак; огромные и страшные, как пантеры, они бегали по всему имению. Днем Дык прятался, забившись в заросли на холмах, где рос чай, а вечерами прокрадывался к изгороди позади дома и, притаившись, сидел там, пока не окликал его голос сестры: «Дык, милый, где ты?..» Шам просовывала

---

* Американский самолет-бомбардировщик, который использовали французы во время войны во Вьетнаме.

** Провинция и административный центр в ДРВ.

сквозь узкую щель в изгороди узелок с холодным рисом, который она, сама чуть живая от голода, сберегала для брата. И покуда он жадно поглощал сухие комки риса, рука сестры легонько гладила его волосы, щеки, плечи. Они не видели друг друга, он слышал только, как Шам негромко плакала по ту сторону изгороди. «Маленький мой,— всхлипывала сестра,— какой же ты худой... Плечи и ребра — одни косточки...»

А когда пришла революция, Шам убежала от хозяев и вернулась вместе с братом в деревню. Затем началась война, и она ушла в партизанский отряд. Дык пошел вместе с ней. Партизаны привязались к нему, вскоре он стал в отряде связным.

В четырнадцать лет он был уже связным партизанского штаба уезда, потом его взяли в батальон ополчения. Он все больше отдалялся от дома. Французы устроили в их окру́ге «белую зону», понаставили всюду форты и заграждения, и ему очень редко удавалось повидаться с сестрой.

Никогда не забудет он ту декабрьскую ночь пятьдесят второго года. В непроглядной тьме под резким, холодным дождем перешел вброд речные протоки, глубокие и топкие, как болота. Когда пробрался, наконец, к своему дому, у него зуб на зуб не попадал от холода. Но дом был пуст. Он решил заглянуть к соседям. Старуха, приоткрыв дверь, посветила бамбуковой лучиной прямо ему в лицо и, узнав, вдруг заплакала навзрыд: «Ох, какое у нас тяжкое горе!.. Самолеты налетели и убили из пулемета твою сестру!..»

Поэтому в пятьдесят третьем, услыхав, что его берут в ПВО, Дык ни о чем больше и не мечтал. Под Дьен-бьен-фу появились уже зенитные пушки и пулеметы, которые впервые дали отпор самолетам. Все говорили: «Ну, теперь и умирать не обидно!..»

А Дык с тех пор так и не разлучался с зенитками: сперва — служба на батарее, потом — артучилище. Теперь он командует ротой. И в небе снова вражеские самолеты — американские!..

●

Приближалась новая группа реактивщиков. Они не пошли прямо на зенитные позиции, а широкими кругами стали уходить к югу. «Хотят зайти со стороны солнца»,— подумал Дык.

Тут же, словно отвечая его мыслям, раздался голос связного, слушавшего КП группы.

— Приготовиться к заходу с запада... Цель — четыре головных Ф-105!..

— Рота, внимание!.. Цель — четыре головные машины!..— выкрикнул Тхо слова команды.

— Товарищи! Спокойнее, не горячитесь... Цельтесь получше! — политрук Хюйен говорил с солдатами так, словно они были охотниками, обложившими матерого зверя.

Поблескивающие стволы зениток быстро поднялись к небу. От рева самолетов дрожала земля. Кан, глядя в окуляры дальномера, выкрикивал:

— Четыре тысячи... шестьсот!.. Четыре тысячи... двести!.. Три тысячи... девятьсот!..

Они шли прямо на батареи! Дык увидел, как первый самолет лег на крыло и понесся к земле.

Ухнули пушки, изрыгнув длинные языки пламени. Метнувшийся в стороны воздух рванул накидки из парашютной ткани за плечами бойцов.

Самолет, сбросив бомбы, задрал нос кверху, уходя от повисших вокруг разрывов.

— Что, сволочь, не выдержал?! — закричал Дык.

Бомбы, ревевшие, как сирены, взорвались за его спиной, где-то в поле.

Следующий самолет, оглушительно воя, вошел в пике. Земля на позициях содрогнулась от взрывов. На этот раз бомбы упали неподалеку, рядом с дорогой; осколки застучали по густым веткам сандалов. В тучах дыма и пыли красными сполохами вспыхивали залпы зениток.

— Молодцы, ребята! Отлично стреляли!.. Спокойнее, сейчас будет новый заход... Наводить как можно тщательней! — голос Хюйена — самого его не было видно в густом дыму — звучал неторопливо и спокойно.

Два самолета, поднявшись повыше, описывали круг в небе.

— Эти двое с перепугу побросали бомбы куда попало!

Суан присел рядом с Дыком на бруствер и протянул ему сигарету. Оказалось, что у них нет спичек.

— Они сейчас отвлекают наше внимание,— продолжал Суан,— их цель — «единица» и мост.

Кан бросил им из своего окопа коробку спичек. Они прикурили и стали наблюдать за тем, что происходило у моста.

Один из самолетов начал пикировать на мост примерно тысяч с пятнадцати метров. От него отделилась огненно-красная искра, за которой потянулся хвост белого дыма.

— Бьет ракетами, гад!

Самолет продолжал пикировать на мост, направляя полет ракеты. «Единица» открыла огонь. С другого берега реки тоже заговорили пушки. Темный силуэт самолета неотступно преследовали белые дымки разрывов. Вокруг сетью сплетались красноватые линии трассирующих снарядов.

Пилот не выдержал и круто взмыл вверх. Над рекой взметнулся высоко к небу гигантский белый фонтан. Ракета упала в воду! Дык и Суан ясно видели, как на речной глади заблестели под солнцем волны.

Следующий Ф-105 спикировал на мост, за ним — еще один... Рвались бомбы, грохотали пушки, ходуном ходила земля. Черный дым, поднимавшийся над воронками, смешался с пороховой гарью и затянул весь берег. В бамбуковых зарослях и в кронах деревьев метались и тревожно кричали птицы.

Бой у моста становился все ожесточеннее. Разрывы и выстрелы слились в сплошной, непрерывный грохот. У Дыка, смотревшего, как «единица» стеной огня встречает каждую вражескую машину, от напряженного ожидания гулко колотилось сердце. Он поднял руку и показал комиссару на мост.

— Обратите внимание, со стороны высоты «сто двадцать» наши позиции совершенно открыты. Противник все время заходит именно оттуда. Надо заткнуть эту дыру!

Суан вскочил и, подбежав к одному из наблюдателей, выхватил у него бинокль. Дык встал на бруствер.

Огромный столб черного дыма, крутясь, поднялся прямо над расположением «единицы»; рядом появился еще один. Огонь зениток сразу ослабел, выстрелы раздавались все реже. Судя по звуку, действовали всего два или три орудия. Гнев стиснул Дыку горло: «Все из-за того, что до сегодняшнего дня так и не сменили позиций!.. Мы здесь на отшибе, можем только глазами хлопать!..»

Самолеты, звено за звеном, отбомбившись, уходили в сторону моря. На смену им шла вторая волна.

Суан протянул бинокль Дыку:

— Мост цел! Ну, ладно, я подъеду в первую роту, погляжу, как у них там дела.

Дык не решился возразить комиссару, но в душе встревожился: шутка ли — тащиться по этой дороге под бомбами...

— Надо усилить наблюдение,— продолжал Суан,— чтобы они не проскользнули с тыла!..

Через несколько секунд Дык увидел, как «газик» комиссара петлял по дороге между полями.

Шестнадцать «мухобоек» шли прямо к мосту. Первое звено снизилось и сбросило бомбы на позиции зенитчиков, прикрывавших мост.

«Они решили раздавить «единицу»!» — пронеслось в мозгу у Дыка.

«Газик» мчался по большаку, прижимаясь к зарослям фи-лао *.

«Единица» все-таки продолжала огонь. Дык прислушался, выстрелы стали более частыми. «Так и есть... три орудия... четыре... теперь — пятое... и шестое... Молодцы, ребята!..»

«Газик» проскочил последний участок мощеной дороги перед мостом и остановился, свернув в засеянное бататами поле у самой реки. Дык хорошо видел в бинокль, как комиссар бежит по полю, но вот он исчез в облаке дыма.

«Мухобойки» непрерывно снижались и подымались, вися над мостом. Снова огромными черными грибами встали фонтаны взрывов. Мост заволокло дымом.

— Один готов! — крикнул вдруг Хюйен, стоявший рядом с Дыком.

— Горит!..— закричали бойцы.

— Горит, сволочь!..

— Смотри, дым так и прет!..

Самолет пытался набрать высоту, волоча за собой длинный черный шлейф. Потом начал полого спускаться к морю.

Когда все смолкло, в ушах у Дыка долго еще отдавался грохот боя.

Над рекой в расплывающемся черном дыму забелело бетонное тело моста. Его хорошо было видно в бинокль. Мост совершенно не пострадал, хотя поля и дорога рядом были перепаханы бомбами, а деревья — начисто сбриты взрывами.

VII

Суан, спрыгнув с машины, бежал через поле, затянутое пеленой дыма. Несколько женщин-ополченок тоже бежали на позиции «единицы», громко крича что-то. Одну Суан успел разглядеть: сжимая винтовку, она оборачивалась назад и махала рукой подругам, тащившим бамбуковые носилки. Следом торопилась женщина с сумкой на боку. Потом дым, стлавшийся по ветру, закрыл все вокруг.

Не пройдя и ста шагов, Суан остановился на краю огромной воронки. Огибая ее, он свернул вбок и взобрался на груду выброшенной взрывом земли. Вдруг она с шумом поползла у него из-под ног. Он побежал, увязая в дымящейся рыхлой земле.

Неожиданно Суан почувствовал, что проваливается куда-то, и, не успев еще толком понять, что произошло, очутился на дне воронки. Сверху, вдавливая его в землю, обрушился тяжелый рев реактивных турбин. Самолет пикировал прямо на него. Суан, прижавшись к обожженным глыбам земли, смотрел, сощурив глаза, вверх, откуда неслись, казалось, направленные ему в грудь, струи трассирующих пуль.

* Хвойное дерево.

Самолет промчался мимо. Суан смахнул с лица комья грязи. Земля набилась ему в рот. Бешено колотилось сердце. Тело налилось тяжестью, которая словно приковала его ко дну воронки. «Что это — страх?..» Вдруг почудилось, что он снова видит маленькие фигурки женщин, бегущих среди столбов черно-рыжего дыма.

Он поднялся и пополз вверх по скату воронки, перевалился через край, встал и побежал прямиком через поле — туда, где за густыми клубами дыма полыхали вспышки орудийных залпов...

«Наконец-то!» Суан различил силуэты пушек. Он принялся считать, сколько орудий ведут бой: «Одно... второе... третье... четвертое... пятое... Отлично! Почти вся огневая мощь роты!»

Грохот разрывов, гром канонады, вой бомб и рев реактивных моторов рвали воздух в клочья.

Суан замедлил шаг и огляделся.

Бомба, упавшая рядом с орудийным окопом, разметала бруствер и перевернула пушку. В окопе сидели и лежали раненые. Наклоняясь то к одному, то к другому, перебегала женщина с медицинской сумкой на боку.

Вторая бомба завалила траншею прямо перед КП роты, где сидели связисты. Бойцы вытаскивали засыпанных землей товарищей.

Около траншеи командир роты Шон невозмутимо взмахивал флажком, указывая цели. Возле него, поддерживая руками трубы дальномера, стоял наблюдатель и, не отрываясь от окуляров, следил за самолетами. Он был ранен в голову, и кровь багровыми кругами расплывалась по его рубахе.

«А где Тхань? — подумал Суан.— Почему не видно политрука?.. Может быть, ранен?..»

Красный флажок в руке Шона прочертил резкую дугу.

Огонь!..

Огонь!..

Огонь!..

Пушки, сотрясая землю, выплевывали снаряды навстречу двум «мухобойкам», снижавшимся над мостом. В орудийных гнездах вокруг лафетов поблескивали сотни разбросанных медных гильз.

Лица солдат с воспаленными красными глазами почернели от порохового дыма. Для них не существовало сейчас ничего, кроме распарывавших небо реактивных машин. Люди оступались, падали и поднимались снова, не сводя глаз с самолетов, не замечая глины и сажи на гимнастерках, не обращая внимания на раны и ссадины, на кровь, которая, смешавшись с землей, бурой коркой запекалась на руках и на лицах и темными пятнами, вместе с потом и грязью, расползалась по одежде. Они слились в единое целое со своими пушками, посылая в небо снаряд за снарядом...

Самолеты поодиночке и по два стремительно уходили вдаль.

Девушки-ополченки из меддружины, перебежав через поле, рассыпались по позициям. Несколько человек с бамбуковыми носилками сразу побежали к перевернутому орудию. По полю спешила еще одна группа ополченцев — мужчины и женщины.

Комиссар подошел к Шону. Почему-то сейчас особенно бросалось в глаза, что ротный совсем молод. Шон потерял где-то свой шлем, гимнастерка его была разорвана в клочья и вся залеплена грязью, волосы, ресницы и брови стали серыми от песка и пыли. Он выплевывал набившийся в рот песок.

Суан понял, что Шон тоже был засыпан взрывом в траншее.

Увидев комиссара, Шон широко улыбнулся.

— Где Тхань? — спросил Суан.

— Он во время боя был у третьего орудия. Наверно, еще там.— Шон мотнул подбородком в сторону перевернутой пушки.

В траншее, наполовину заваленный землей, сидел телефонист, прижимая к груди аппарат.

— Ну как, есть связь с КП группы?

— Товарищ Шон, где-то на линии разрыв. Разрешите, я пойду и исправлю?

— Хорошо, идите. Только осторожнее! И побыстрее!..

Самолеты возвращались обратно. Шон вскочил на груду земли около воронки и, взмахнув флажком, закричал:

— Рота! Внимание!.. Вести огонь залпами!

На этот раз самолеты заходили прямо на мост. Один за другим они разворачивались со стороны солнца и, отбомбившись, уходили на восток, к морю. Но огонь «единицы» и соседей с той стороны реки каждый раз смертоносным острием вонзался в небо на их пути. И они сворачивали в сторону, сбрасывая бомбы куда попало.

Зенитчики, видя эффективность своего огня, стали действовать слаженней и точнее. Один из самолетов загорелся и стал уходить, набирая высоту.

Трое тяжелораненых лежали на земле, залитой кровью. Среди них был ротный фельдшер; у него была перебита нога, он бредил. Рядом с ним лежала на земле медицинская сумка.

Суан, увидав женщин с носилками, крикнул:

— Сюда! Сюда, товарищи!

Дружинницы подбежали, с трудом переводя дух. Молоденькая девушка лет шестнадцати, наклонившись над раненым, начала делать перевязку.

Женщины выносили раненых. Суан провожал глазами каждые носилки.

Наблюдатель, стоявший рядом с Шоном, вдруг покачнулся и упал на землю. Суан подбежал к нему и, с трудом разжав его пальцы, осторожно взял дальномер. Лицо у парня совсем посерело, он потерял много крови. Он пошевелился, открыл глаза и, увидав комиссара, попытался приподняться, но снова рухнул прямо на руки Суану.

Дружинницы бросились к Суану, следом за ними торопился старик. Несколько пар рук подхватили раненого. Одна из женщин быстро перебинтовала ему голову. Старик, стоя подле нее, повторял:

— Дай-ка ему попить сладкой воды!.. Быстрей, быстрей! Натягивай бинт!..

Суан отыскал Тханя в землянке рядом с разбитым орудием. Одна рука его была перевязана и притянута бинтами к боку. Он сидел, прислонившись к плетеной стенке.

Рядом с политруком лежал раненый солдат, накрытый по грудь окровавленным одеялом. Он был очень плох. Около него сидела женщина; в одной руке она держала шприц, в другой — блестящее металлическое блюдце с разноцветными ампулами.

Подойдя поближе, Суан узнал Лить. При виде комиссара Тхань привстал. Суан хотел заговорить с ним, но, бросив взгляд на солдата, промолчал и опустился на циновку.

Лицо солдата, по-мальчишечьи округлое, было прозрачно как воск, и с каждой секундой становилось все бледнее. Черная прядь волос, упавшая на лоб, слиплась от пота. Длинные ресницы стали неподвижны, по-

белевшие губы не шевелились. Жизнь заметна была лишь в слабом подрагивании ноздрей.

Лить не подняла головы. Пальцы ее лежали на запястье раненого, улавливая пульс. Комиссар и политрук ждали, что она скажет.

Снаружи умолкли пушки. Самолеты ушли. Издалека доносился голос Шона:

— Привести в порядок боекомплекты!.. Осмотреть орудия!.. Об окончании доложить!..

В землянке царило молчание. Лить, подняв голову, взглянула на офицеров. В широко раскрытых глазах ее застыли горечь и боль. Она снова нагнулась и, вытерев пот со лба раненого, тихонько окликнула его:

— Ну как, милый... Ты слышишь меня?..

— Дыонг!.. Товарищ Дыонг! — наклонившись, позвал Тхань.

Еле заметно дрогнули ресницы, потом медленно разжались веки...

— Дыонг, ты узнаешь меня? — спросил Тхань.

Раненый чуть пошире открыл глаза, как бы стараясь разглядеть нечто, стоящее прямо перед ним. Губы его шевельнулись, словно он хотел произнести что-то. Он вырвал руку из пальцев Лить, судорожно приподнялся и, вытянувшись, откинулся назад.

У Тханя покраснели глаза. Здоровой рукой он подтянул край одеяла и прикрыл им лицо солдата. «Дыонг!.. Какой же это Дыонг?!» — думал Суан.

Лить вышла из землянки и позвала женщин с носилками. Тхань решил, что они хотят унести умершего, но Лить сказала:

— Ложитесь, пожалуйста, на носилки! Вас доставят на медпункт. Вероятно, потребуется операция...

Тхань поднялся:

— Я дойду сам. Возьмите лучше тяжелораненых...

— Нет, сами вы не дойдете! — мягко, но решительно возразила Лить.— Ложитесь на носилки.

— Ничего не попишешь,— сказал Суан,— выполняй приказ фельдшера.

Он посторонился, пропуская Тханя в дверях.

— Товарищ комиссар, надо срочно назначить нового политрука.

— Ладно. Ты не волнуйся, погости у «медицины»!..

Тхань лег на носилки и снова обратился к комиссару:

— Да, нужно разыскать рюкзак Дыонга, а то еще пропадет... Отошлите семье... Когда разорвалась бомба, его ранило осколком в живот. Он упал, но тут же встал и бросился к орудию. Первый снаряд, которым рота ответила на бомбы,— это его снаряд...

— Хорошо. Я разыщу рюкзак и сам перешлю родным.

— И еще, надо сегодня же вечером обсудить новую систему огня. Хорошо бы поставить зенитные пулеметы на высоте «сто двадцать», чтобы закрыть путь самолетам.

— Не беспокойся, все будет в порядке... Скажи, пожалуйста, у вас в роте нет другого Дыонга?

— Нет, только один... был...

— Ну, пока... Поправляйся скорее.

Суан обошел расчеты и вернулся на КП роты. Шон разговаривал по телефону со штабом. Рядом стоял Хоа.

— Товарищ Шон,— сказал шофер,— комиссар пришел.

— Алло! Товарищ Мау, вы хотели говорить с комиссаром. Он только что вернулся.

Суан уселся на край окопа и взял трубку.

— Это ты, Мау? Да, говорит Суан... В общем, здесь все в порядке... Как там Фаунг?.. Уже прибыл?.. Ну и отлично. Я сейчас выезжаю к вам. Алло!.. Не понял?.. Так вот, передай в полк, что сегодня я не вернусь... Слушай, Мау, тот план,.. ну, семидневный, мы должны выполнить за эту ночь!.. Надо мобилизовать все силы!.. Позвони Виену, пусть соберет народ... Всех, кого только сможет... Да нет, задача вполне выполнима... И вот еще что, вызови Туана, политрука «четверки». Пусть перейдет пока сюда вместо Тханя.

Он положил трубку и повернулся к своему шоферу:

— Хоа, у меня к тебе просьба — сходи в третий расчет, найди там вещи рядового Дыонга и отнеси в машину.

— Дыонга! А... какого? — Хоа запнулся и посмотрел на комиссара.

— Да... Того самого. Ну, иди!

«Эх, жаль, опоздало письмо!» — подумал Суан и украдкой вытер глаза.

●

Опускался вечер. Ребята из интендантской команды на коромыслах притащили из деревни ужин.

Дружинницы уносили последнего раненого. Следом, с сумкой на боку, шла Лить.

— Вы куда, Лить? — окликнул ее Суан.

— На уездный медпункт. Ночью будем отправлять тяжелораненых в город.

— Если хотите, подождите меня немного. Я подвезу вас. Быстрей будете на месте.

— Конечно. Мне с вашей машиной просто везет!

Суан объяснил Шону, с кем из местных властей надо связаться по поводу похорон Дыонга, и напомнил, что завтра утром совещание в штабе группы.

Суан шагал по меже через поле, Лить шла за ним следом. Они молчали. Может быть, потому, что очень спешили, и было им не до разговоров. Но вот шаги за спиной Суана неожиданно затихли. Он оглянулся. Лить сидела на меже спиной к нему и плакала навзрыд, спрятав лицо в ладони. Суан постоял в нерешительности, потом подошел к ней.

— Что с вами, Лить?

— Мне жаль парнишку!.. Так жаль...

VIII

Кончился еще один день. И казалось, будто темнота вновь принесла сюда, где скрещивались дороги и реки, извечный спокойный ритм жизни.

В деревушках, под крышами из листьев запылал огонь в очагах — сегодня люди садились за трапезу позже обычного. А на реке матери, вместе с детьми прятавшиеся днем от бомбежек, купали своих малышей и стирали белье. Лодки, скрывавшиеся при дневном свете бог весть в каких протоках и заводях, заскользили по речной глади. Над ожившей рекой раздавались человеческие голоса и скрип весел.

Вдоль берега, на дороге, мощенной камнем, толпился народ. Особенно много людей было у въезда на мост. Лопатами, мотыгами, ломами они крошили и пересыпали землю, заваливая воронки.

Тяжело груженные автомашины с погашенными фарами, урча и переваливаясь на ухабах, ползли по только что восстановленной дороге; скрипели повозки, запряженные буйволами и лошадьми, но больше всего, пожалуй, было грузовых велосипедов.

Под покровом ночи обочинами большака и тропинками, вьющимися по межам через поля, шли и шли люди — мужчины и женщины, стар и млад — они несли мотыги, лопаты, корзины и коромысла. Это крестьяне шли строить новые позиции для зенитчиков.

В шестой роте начался ужин. Ребята ели вяло, хотя Хюйен, обходя расчеты, уговаривал их поднатужиться и «полностью решить проблему вечернего рациона».

«Разве в такую жару много съешь? — отвечали солдаты.— Попьешь воды, а больше ничего и не надо!»

Но дело было не в погоде и даже не в том, что солдаты устали. Хюйену и самому кусок не лез в горло. Перед глазами снова и снова вставали картины недавнего боя, огненные кусты взрывов и дым, крутящийся над воронками...

После ужина Дык приказал готовиться к земляным работам. Рота оживилась. Все были уверены, что новые позиции выгодней теперешних. Сегодня в течение дня ребята приглядывались к трассам американцев и решили, что высота, на которую им предстояло перебраться,— самый лучший огневой рубеж. «Эх,— сокрушались они,— будь мы там, наверняка ощипали бы несколько птичек!..»

Едва стемнело, из деревни потянулись люди. И не сто пятьдесят человек, как днем обещал Дыку товарищ Тай, а человек пятьсот или шестьсот. Пришли и старики, и школьники вместе с учителем.

Тай торжественно явился на командный пункт с мотыгой на плече.

— Мы постановили,— объявил он,— чтобы солдаты сегодня не работали! Ребята дрались весь день, пускай отдохнут. У них еще все впереди!

— Но ведь...

— Это что же, такая тьма народу, как у нас, да не выроет пару окопов?! Между прочим, никого не пришлось уговаривать. Все пожелали идти — до последнего человека! Еле убедили остаться дома матерей с малыми детьми да самых древних старцев. Вон у тетушки Бонг пятеро в семье — и все явились, да еще со своим инструментом. Так что вы уж лучше отпустите солдат искупаться. Потом им от кооператива суп принесут, а там, глядишь, и на покой. Пусть отоспятся как следует! И завтра, в четыре утра, когда пушки станете перетягивать, нечего вам вызывать тягачи да грузовики — сами все сделаем; снаряды и прочий припас тоже перенесем. А солдаты на новое место пойдут налегке. Вы только командиров пришлите, чтоб объяснили, что к чему, как все сделать по науке.

Тай уламывал Дыка и Хюйена, пока те не согласились с ним.

— Ну вот,— сказал он,— теперь все как надо, по справедливости!

— Тхо,— приказал Дык,— возьмите людей и покажите товарищам, где и какие работы потребуются. Я ухожу на совещание в штаб, оттуда — прямо к вам на строительство.

Хюйен собрал личный состав роты и рассказал про инициативу крестьян.

— Вот так обстоит дело! — сказал он в заключение.— Мы решили согласиться с их предложением. Нельзя отказываться от народной любви и щедрости.

— Зато уж мы завтра дадим янки спуститься пониже,— раздался из темноты чей-то молодой, звонкий голос,— и шарахнем прямо в брюхо.

— А если они в мост попадут? — возразил кто-то.— Надо и мост ведь сохранить в целости!

Тут все заговорили разом.

— Внимание, товарищи,— громко, перекрывая все голоса, сказал Хюйен,— сейчас в каждом расчете провести летучки. Пускай люди вы-

ступят с самокритикой: какие у нас в сегодняшнем бою были недостатки и какие успехи. Сделаем необходимые выводы и обсудим, как будем драться завтра. Затем — осмотр орудий и боекомплектов и подготовка техники к транспортировке. После чего расчеты купаются поочередно. Сегодня всем лечь пораньше. Первое орудие — дежурное. Парторгам расчетов остаться. Остальным — разойтись!

●

Пока в подразделениях шли собрания, на КП боевой группы прибыли командиры рот. Они рассаживались в небольшой, крытой листьями землянке. Посредине, на развернутой тактической карте стоял фонарь. Рядом непрерывно звонил телефон: подразделения докладывали о готовности к переброске, советовались, излагали свои просьбы.

Суан сидел молча. У его ног лежал зеленый рюкзак, на котором химическим карандашом было выведено: «Чан Ван Дыонг I».

Слушая выступающих, он осторожно развязал рюкзак. Сердце его сжалось, он вспомнил вдруг, как Лить говорила сквозь слезы: «Мне жаль парнишку!.. Так жаль...» В рюкзаке лежали аккуратно сложенная противомоскитная сетка, одеяло и комплект обмундирования, выстиранный и тщательно отглаженный, сумка с принадлежностями для умывания, записная книжка и маленькая квадратная коробочка из благовонного дерева, на крышке которой был приклеен листок бумаги с надписью: «Мама, посылаю Вам в подарок эту шкатулку, чтоб Вы в ней держали бетель». На самом дне оказалась бамбуковая свирель и палочка для еды, искусно вырезанные из красивого, похожего на слоновую кость бамбука, что растет на западе. Они были обернуты полоской бумаги, на ней виднелись какие-то буквы. Суан прочитал на свету: «Лиен, моей любимой...» Фонарь закачался и уплыл куда-то вдаль. Перед глазами Суана возникло лукавое личико девушки, приходившей в политотдел полка. Она зарделась тогда от смущения, объясняя, что разыскивает Дыонга, своего земляка... Наверно, это была Лиен... Суан старательно увязал рюкзак и прислонил его к стене.

Начальник штаба Зиак водил карандашом по карте с красными пометками.

— Позиции, которые строит «шестерка» на этой высоте, дают возможность эффективно выполнить поставленную задачу: прикрыть огнем мост и лесопилку. На другом берегу реки следует подготовить новые позиции — вот здесь... и тут. Завтра утром еще одна рота будет переброшена ближе к берегу, это позволит сконцентрировать огонь. Что касается «единицы», то я предлагаю передвинуть ее на позиции, которые строит шестая рота, а к мосту переставить «шестерку». В первой роте есть потери и выведено из строя одно орудие, «шестерка» же в последнее время была на более спокойном участке. Я думаю, такая замена правильна.

Мау, который все время сидел опустив голову, поднял глаза на Шона:

— А вы что думаете об этом?

Несколько секунд длилось молчание. Шон сидел, поджав ноги, в углу, и шедший снизу, от фонаря, свет резко очерчивал его лицо.

— Ну что ж,— произнес наконец Шон,— если будет приказ о переброске, мы его выполним. Но у нас в роте есть другое мнение.

— Изложите толком, какое мнение?

— Мы хотим остаться на старом месте у моста. Предлагаем только командованию перевести одно из подразделений на высоту «сто двадцать».

— О высоте «сто двадцать» разговор еще впереди. Давайте решим первый вопрос.

Мау повернулся к Фаунгу.

— По-моему, «единица» вполне боеспособна,— сказал замполит группы.— Пускай она остается около моста, ребята справятся!

Фаунг улыбнулся и поглядел на начштаба, словно говоря: «Соглашайся же. Будь спокоен, ничего не случится!»

— Я согласен с товарищем Фаунгом,— кивнул Мау.— Оставим первую роту у моста, надо им только перейти на запасные позиции.

Все ждали, что скажет комиссар.

— Ребята из первой роты дрались у моста не на жизнь, а на смерть,— заговорил Суан.— К позиции этой они привыкли. Там полегли их товарищи, и бойцы хотят отомстить за них. В другой роте, может, и личный состав укомплектован и все орудия в строю, а передвинь мы ее к мосту, она не покажет себя в бою так, как «единица». Думаю, правильно будет оставить «единицу» около моста, верю, что первая рота выполнит свой долг с честью. Да почему бы вам не выделить им одну пушку?

— Шестая рота просит разрешения отдать один расчет в распоряжение товарища Шона.

— Спасибо! Спасибо, товарищи!

Шон улыбнулся и крепко пожал руку Дыку. Все заговорили разом.

— Товарищи!.. Товарищи!..— Мау поднял руку.— Переходим к вопросу о высоте «сто двадцать»... Поставить там пушки очень сложно. Вершина заострена, на ней нет площадки. Можно было бы установить тяжелые пулеметы — не больше взвода. Только вот дадут ли нам пулеметы и успеем ли за ночь оборудовать для них огневые рубежи? Ваше мнение, Фаунг?

— Я сегодня днем осматривал высоту. Почва там каменистая, много скал; рыть окопы будет нелегко. Да и с доставкой туда техники тоже нахлебаемся горя — склоны крутые, сплошь заросшие колючим кустарником. Но общинный комитет и партбюро лесхоза твердо обещали прорубить дорогу для пулеметов. Товарищ Виен сейчас как раз там, на Дровяной пристани, мобилизует в помощь нам население.

— Что касается пулеметов,— взял слово Зиак,— то я звонил в штаб полка и просил сегодня ночью прислать нам пулеметный взвод. Но Хынг еще не дал ответа. Да если он и согласится, пулеметы, наверно, прибудут только к завтрашнему утру. Поэтому я предлагаю собрать имеющиеся у нас в ротах четыре пулемета и прямо сейчас отправить их вместе с расчетами к Дровяной пристани. Выделим их в отдельный взвод, командование можно будет поручить товарищу Хаю.

— Ну что ж, ясно,— улыбнулся Мау,— как, товарищи, все согласны с начштаба? Теперь самое главное — вовремя закончить позиции! Что там у них слышно?

— Сейчас позвоню в роты.

Фаунг поднялся и вышел в соседнюю землянку, где стоял телефон.

— Рассмотрим, товарищи, новую систему огня,— сказал Мау, наклоняясь над картой.

Вдруг в дверях показалась голова телефониста:

— Разрешите доложить, комиссара вызывает штаб полка!

Суан подошел к телефону. На другом конце провода Хынг, командир полка, разговаривал с кем-то.

— Алло! — крикнул в трубку комиссар.— Это я — Суан!.. Хынг, ну как там у вас дела?

— Да как всегда, ничего замечательного...

Даже издалека слышно было, как Хынг смеется.

— Все время разведчики крутятся,— продолжал он.— Рыскали до темноты, искали радары.

— Ты знаешь уже здешнюю обстановку?

— Да. Мау докладывал мне... Слушай, Суан, я приказал подбросить вам снарядов. Согласен немедленно выслать и пулеметный взвод. Автоколонна будет у вас не позднее трех часов утра... И каски тоже доставят!..

— Отлично! У тебя есть какие-нибудь дополнительные соображения насчет завтрашних планов?

— Да нет, ты, если что, сам все решай на месте. Надо только не прекращать ночью наблюдения за воздухом. И пусть солдаты обязательно выспятся. Я думаю, не меньше половины личного состава может отдыхать. Как ты считаешь?.. А ты что, сегодня не вернешься?

— Нет еще.

— Послушай, из округа сообщили, что в вашем секторе сбито два самолета. Один загорелся и упал здесь, прямо около города, второй свалился в море. Летчик выбросился с парашютом... Ты сообщи ребятам, это их воодушевит. А тебе завтра надо возвращаться, послезавтра утром совещание в штабе округа.

— Ладно, завтра вечером буду.

— Да, знаешь, тебя здесь дочка разыскивает.

— Май?.. Она там, у тебя?.. Что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке. По-моему, она собирается вступить в ударную молодежную бригаду и хочет с тобой посоветоваться. Сегодня утром приехала на велосипеде из Ханоя в штаб округа. Чи хотел оставить ее у себя, говорил, что послезавтра совещание, и она с тобой увидится. Но Май, оказывается, срочно ищет тебя, завтра утром она должна возвращаться. Она добралась сюда после обеда, я сказал ей, чтобы ехала к вам с автоколонной. Совсем стала взрослая, я даже не сразу ее узнал.

Суан усмехнулся: «Ну-ну, девчонка с норовом! Если уж что задумает, все равно своего добьется... Шутка ли — от самого Ханоя на велосипеде!.. Ведь это не одна сотня верст. Интересно, сколько ночей она добиралась? Значит, решила бросить школу и идти в ударную бригаду?..»

●

Янки опять развесили осветительные ракеты над шоссе. Всякий раз, когда в небе загоралась ракета, видно было, что на вершине холма и вокруг, на полях, собралось множество народа.

Стучали мотыги и лопаты. Нескончаемой вереницей тащили люди на коромыслах корзины с землей. Издали они напоминали гигантских муравьев. Звенели топоры и пилы; это рабочие с лесопилки валили закрывавшие обзор деревья. Время от времени раздавался крик: «Берегись!» — и тяжелый, массивный ствол с треском обрушивался на землю.

Часов до десяти вечера подходил народ из дальних деревень. Вдруг с большака свернули на холм сразу человек с полсотни, не меньше.

— Откуда, любезные?

— Из Ван-шона! А это никак товарищ Тай? Народу-то собралось — тьма-тьмущая! Нам небось и дела не найдется!..

— Не бойтесь, всем хватит! Вот, землячки, ваша доля: надо проложить дорогу отсюда прямо по склону.— Тай шествовал во главе вновь прибывших, размечая их участок работ.— Там, где узко, расширите насыпь. Она должна иметь в поперечнике шесть шагов, иначе пушки не пройдут!

Как и на любой стройке, здесь больше всего было молодых женщин и девчат. Коромысла поскрипывали у них на плечах, платья на спинах взмокли от пота. Они поднимались цепочкой друг за дружкой на вершину холма, высыпали рыхлую землю около будущих орудийных гнезд и, не останавливаясь, спускались обратно с пустыми корзинами. Так они шли и шли, перебрасываясь шутками и звонко смеясь. Испокон века

земледельцы и пахари Вьетнама перетаскивали на своих плечах землю, возводя огромные плотины, прокладывая каналы, по которым текла в долины живительная влага. И теперь дочери их несут на коромыслах землю и камни, укладывая фундаменты фабрик, насыпая дороги и дамбы, а сегодня — и брустверы окопов, чтобы помочь солдатам, защищающим от врага родное небо...

Дык пришел сразу после совещания. Он давно все проверил и убедился, что работы ведутся правильно. Но в роту возвращаться не хотелось, уж очень здесь было весело. И он расхаживал по будущим огневым рубежам, переходя от одной группы рабочих к другой.

— Эй, военный, взгляните, готов уже этот окоп?

— Да вы ее не слушайте, товарищ командир! Насыпала горсточку земли и рада. Сбегай-ка с корзиной еще раз семь, вот тогда и будет готово!

— Нет-нет,— засмеялся Дык,— так хорошо. Надо только немножко поднять насыпь.

— Ладно, насыпь вам будет высоченная, зато уж вы завтра сбейте хоть одного янки! Не забудьте — мы придем поглядеть, как вы тут будете управляться!

— Послушай, милая, ты что это с места не сдвинешься? Принесла пару корзин и уже умаялась?!

— Ха-ха! Да она просто на военного загляделась!

— Товарищ командир, спели бы нам что-нибудь...

— Эх, жаль, темно, не видать, какой вы из себя будете. Песня вышла бы куда интересней!

— Ну, чего ж вы, дорогой командир, не запеваете? Или, думаете, не оценим?!

— Ишь, что придумали, негодницы! Человек военный, дел у него невпроворот, некогда ему тут с вами шутки шутить!

— Видишь, Бонг, он очень занят, некогда ему петь!

— Да если я запою, вы все уши заткнете и разбежитесь. Кто тогда здесь работать будет?

— Ничего, ничего! Мы от американских бомб и то ушей не затыкаем.

— Ну-ка, вы, сороки, поторапливайтесь! Вас вон уже дожидаются!

— Не забудьте, песня за вами!..

Улыбаясь, Дык глядел вслед девушкам, заторопившимся вниз по склону холма. Он вспомнил работниц из авторемонтного цеха. Они были вот такие же веселые и смешливые.

Когда он впервые пришел на работу к Нга, она пригласила его в общежитие. Их бригада — сплошь молодые девчонки — занимала отдельную комнату. Пожалуй, «комната» в этом случае звучит слишком громко; ведь вместо стен там были просто плетеные перегородки. Кровати с тумбочками у изголовья похожи были одна на другую, как близнецы. Зато кусок стены над кроватью каждая украсила на свой вкус: одна — фотографиями певцов и киноактеров, другая — зеркалом с голубками, третья — полочкой с книгами или веткой бумажных цветов. Все вещи, казалось бы, самые обычные, но почему-то при виде их становилось ясно, что работницы, живущие здесь,— не замужем... Дык, войдя в «комнату» следом за Нга, ужасно смутился. А подружки ее, знай, поглядывали на него да улыбались. Но, в общем, они были девчонки что надо! В обед принесли Дыку и Нга поесть, потом испарились куда-то, оставив их наедине. Вернулись перед самым началом смены и еще притащили для Дыка целую миску сладкого горохового супа. Угощая его, они умудрились в мгновение ока натянуть синие робы, потом нахлобучили кепи и убежали...

Может, сейчас и подруги Нга вот так же роют землю, таскают корзины и насыпают брустверы где-нибудь на зенитных позициях близ Хайфонга...

Неожиданно вспыхнувший в вышине свет выхватил из темноты вокруг Дыка груды земли, кустарники и человеческие лица. Самолеты, поставив гроздь осветительных ракет, кружили над рекой. Люди на несколько минут замерли, вглядываясь в небо.

— Здорово! Они решили посветить, чтоб нам веселее было работать.

— Сами янки нам помогают!

— А что, горит неплохо! Хорошо бы везде устроили такое освещение!..

Самолеты, сделав несколько кругов, ушли. Ракеты медленно опускались на парашютах куда-то в поле.

«Пора возвращаться,— подумал Дык.— Вдруг объявят тревогу, отсюда не добежишь».

Он подозвал офицеров из своей роты. Они спустились с холма и быстро зашагали через поле.

IX

В три часа утра пришла автоколонна из полковых тылов. Суан ездивший проверять, как идут работы на высоте «сто двадцать» и артпозициях на другой стороне реки, задремал. Хоа разбудил его, и Суан сразу услышал доносившийся с большака гул автомобильных моторов.

Зиак с несколькими офицерами штаба дожидался у обочины, чтобы вместе встретить колонну. По кочковатой неровной дороге они проехали до перекрестка. Там, у реки, прижавшись к стволам фыонгов, кроны которых чернели в мутном свете луны, стояли грузовики автоколонны. На дороге возле головной машины несколько солдат и офицеров раскуривали сигареты.

Зиак, не дожидаясь, пока «газик» остановится, спрыгнул на землю и крикнул:

— Где товарищ Дон?!

— Я здесь!

Откуда-то из середины колонны, громко топая ботинками по дороге, подбежал офицер.

— Товарищ начальник штаба, разрешите доложить: автоколонна прибыла в полном составе.

— Пулеметный взвод с вами?

— Так точно. Вон их машины.

Послышался приближающийся гул самолета. Дон обернулся и закричал:

— Эй вы, курильщики! Кончайте иллюминацию!.. Вызовите кто-нибудь командира пулеметного взвода!

— Пускай весь взвод подъезжает! — крикнул Зиак вдогонку отделившемуся от группы человеку.

Дон узнал комиссара, стоявшего позади Зиака.

— О-о, здравствуйте, товарищ Суан! Разрешите доложить: Май, дочка ваша, в хвосте колонны.

— Она вас не обременила?

— Да нет, что вы! Очень веселая и компанейская девушка.

— Много по пути осветительных ракет?

— Верите, товарищ комиссар, как стемнело, все время самолеты прямо висели над головой. Мы бы добрались гораздо раньше, если б не прихолилось то и дело останавливаться и маскировать грузовики.

Из хвоста колонны донесся шум моторов, потом показались автомобили, прикрытые ветками, в кузовах виднелись силуэты солдат в касках.

Офицеры посторонились. Машины, проскочив по большаку, резко затормозили одна за другой. Двигатели продолжали работать, водители ждали приказа трогаться дальше. Из первой машины спрыгнул на дорогу командир взвода и подбежал к Зиаку с докладом.

— Так, значит, пулеметы прибыли,—сказал начштаба.—Прекрасно! Вот лейтенант проводит ваш взвод на ту сторону реки, прямо на позицию. Прибыв на место, разыщите немедленно товарища Фаунга, он поставит вам боевую задачу. Поезжайте сейчас же, времени в обрез. Все ясно?

— Так точно.

Командир взвода козырнул и вместе с одним из штабных офицеров побежал обратно.

— Теперь,— сказал Зиак,— прошу вас, товарищ Дон, помочь мне принять груз. Давайте разберемся, что вы нам привезли?

Они уселись на обочине. Машины пулеметного взвода, включив газ, стремительно рванулись с места.

●

Суан шел вдоль колонны, разыскивая дочь. В ночном небе гудели самолеты. Шоферы кучками сидели и лежали в стороне, под деревьями; некоторые уже похрапывали.

«Кажется, она!..» Позади одного из грузовиков Суан увидел маленькую фигурку в пробковом шлеме с рюкзаком за спиной; обеими руками она принимала от человека, стоявшего в кузове, велосипед. Суан ускорил шаг.

— Май, это ты?

— Папа!

От звука ее голоса сердце у него радостно забилось.

— Давай я помогу тебе!

Он подхватил велосипед и поставил на землю. Май, задрав голову, сказала солдату:

— Большое вам спасибо.

— Ну что, дочка, багаж весь?

— Да, все! У меня ничего и не было, кроме рюкзака.

— Вы когда собираетесь обратно? — спросил солдат.— А то можем вас завтра вечером прихватить.

— Да нет, я сегодня же утром назад. Всего доброго!.. Я сама, отец...

Она взяла за руль велосипед и повела его по дороге.

— Это чудесно, что ты меня отыскала! Наверно, нелегко было, а?

Май засмеялась.

Далеко, в голове колонны, слышался голос Дона:

— Машина номер три, отъезжайте!.. Машина номер три...

Над противоположным берегом реки вспыхнула ракета.

— Сойдем-ка лучше с шоссе; пускай пройдут машины. Ты не устала?

— Вот еще! Я всю дорогу проспала. Когда надо было бежать в укрытие, солдаты еле меня добудились.

Они зашагали по обочине. Мимо проносились грузовики, обвешанные ветками. Поднятая колесами пыль медленно оседала в неровном свете ракет.

Хоа высадил комиссара с дочерью около КП группы и, развернувшись, уехал за Зиаком. Суан зажег фонарь в пустовавшей сегодня землянке Фаунга и сказал:

— Там, в саду, под бананами — бочка с водой. Сходи умойся!

Хорошо еще, осталось немного хлеба и конфет, что Виен дал ему сегодня на пристани. Суан отыскал плоскую металлическую тарелку и разложил на ней угощение. Потом достал термос и пачку чаю — собственность Фаунга — и заварил в кружке чай. Он сел вместе с дочкой около фонаря и, помолчав, сказал:

— Ешь. Наверно, проголодалась?

За то время, что они не виделись, Май коротко остригла волосы, и загоревшее лицо ее казалось незнакомым и как-то сразу повзрослевшим.

Ела она с аппетитом, неторопливо, и без умолку болтала.

— Пришлось выдержать настоящий бой, пока меня согласились отпустить к тебе. Твой командир Хынг и еще Чи хотели, чтобы я осталась у них. Но у меня времени нет! Я им так и объяснила. Я б и сама погостила у вас, очень уж хочется поглядеть, как работают зенитки, только вот некогда. Вообще-то я сегодня уже повоевала! Да ты не смотри на меня так: я подносила снаряды очень осторожно. И еще я гуляла на свадьбе — в деревне, рядом с вашими пушками. Тут самолеты летают, а они идут себе встречать невесту — целых восемнадцать велосипедов! Честное слово, восемнадцать!..

Суан улыбался, глядя на дочь. Он не видел ее после Тета *, с тех пор прошло почти полгода. Ему даже не верилось, что у него уже такая большая и красивая дочь! Он рассматривал ее прическу, платье цвета осенних листьев и удивлялся, как она выросла. Брови у нее длинные, выгнутые и глаза большие — точь-в-точь, как у матери; но рот красивее, да и выражение лица совсем другое — лукавое и веселое.

— А я думал, ты побудешь у меня день-два.

— Не могу. Двадцатого числа я должна уже быть на сборном пункте в Ханое и оттуда — сразу в путь! Потом я обещала Минь завезти по дороге ее письмо и подарок для мамы. Она родилась тут поблизости. Хотела съездить вместе со мной, но не смогла. Мне надо завтра выехать пораньше, иначе не успею.

Май поглядела на отца, словно прося у него прощения, и глаза ее стали совсем печальными.

— Ничего,— успокоил ее Суан,— главное — мы с тобой повидались. Сказать по правде, если б ты и осталась, у меня все равно, наверно, не было бы времени побыть с тобой... Ты что, решила вступить в молодежную бригаду?

— Да. Я еще послала заявление Фронту национального освобождения с просьбой направить меня добровольцем на Юг; написала, что согласна на любую работу. Конечно, я знаю, дело это нелегкое... Правда, папа, было бы здорово пойти воевать на Юг?

— Мы здесь тоже деремся с американцами.

— Ну, там куда интересней!

Суан взглянул ей в лицо. Веселые и озорные глаза ее смотрели твердо и прямо.

— Спасибо, я уже наелась! — она засмеялась, отодвигая тарелку, и Суану показалось, будто из глаз ее брызнули яркие искорки.— Наша бригада уезжает очень скоро. Я думала написать тебе, но ты не успел бы получить письмо до моего отъезда. И я решила, что ты не рассердишься,

* Новогодний праздник по лунному календарю; приходится обычно на январь — начало февраля.

если я прикачу сюда на велосипеде. А то неизвестно, когда еще мы с тобой повидаемся!

Май наклонила голову и взяла отца за руку.

— Мне и у нас в бюро Союза трудящейся молодежи пришлось повоевать! Они настаивали, чтобы я училась дальше. А один так даже сказал, что девушки на трудфронте совсем не нужны. Им, видишь ли, только парней подавай! Чепуха какая-то! Чем, спрашивается, парни лучше нас? Еще неизвестно, кто смелее, а уж трудности всякие женщина всегда переносит легче! Потом они говорили еще, что я у тебя — одна, и поэтому ты меня не отпустишь. Прямо всю душу вымотали! Они, понимаешь, лучше тебя знают, чем я! Но в конце концов они сдались... А что им еще оставалось делать?! Я бы все равно на своем настояла. Знаешь, я очень рада, только вот тебя жалко! Останешься ты у меня совсем один, некому будет о тебе позаботиться.

Она отвернулась, пряча заблестевшие на глазах слезы.

— Молодец! Характером вся в меня!

Суан засмеялся. Но в глубине души он думал, что пройдут, может быть, годы, пока он увидится с дочерью.

Май вытерла глаза рукавом.

— Да я и когда училась, все равно жила далеко и почти ничего для тебя не делала. Раньше я сама мало что умела, а теперь вот могла бы за тобой ухаживать, да ухожу на фронт.— Слезы потекли у нее по щекам.— Но я решила, куда бы нас ни забросило, раз в неделю во что бы то ни стало посылать тебе письмо. И учебу я тоже не брошу. Возьму с собой учебники и все свободное время буду заниматься. А когда выгоним американцев, пойду учиться дальше и постараюсь стать ученым... Ну как, ты согласен?

Суан кивнул головой.

— Я во всем согласен с вами, товарищ Май... Вы уже знаете, куда вас пошлют?

— Еще не знаю, папа,— улыбнулась она,— но, наверно, куда-нибудь далеко. Одних посылают на север, во Вьет-бак *, других — на запад, а кого — и сюда, к вам. Хорошо бы, конечно, чтоб недалеко от тебя. Но я готова идти в любое место, куда призовет Партия!

Они помолчали. Послышался гул самолета. Суан прикрутил фитиль в фонаре.

— Папа, а знаешь, Винь — я тебе про него говорила,— оказывается, очень плохой человек.

— А в чем дело?

— Он, как услыхал, что мы собираемся в молодежные бригады, стал меня отговаривать... «Не ходи,— говорит,— лучше поступай в институт. Надо, мол, учиться дальше...»

— Что ж, он, по-своему, прав. Кто-то ведь должен учиться. Стране нужны специалисты, а после войны их потребуется еще больше.

— Да нет! Это я и сама знаю! Если человек хочет учиться для блага родины — другое дело! А он говорил, что только дураки по собственной воле идут в джунгли, чтобы надрываться, прорубая дороги, и сложить голову под бомбами черт знает где, на чужбине.

— Тогда он действительно плохой человек.

— Узнав, что я все-таки ухожу, он опять заладил свое. А за день или два до того, как я поехала к тебе, он даже предложил выйти за него замуж и настаивал, чтобы мы расписались немедленно, потому что, мол, время военное. Он говорил, что я увлекаюсь романтикой и ничего не смыслю в жизни. У него-де и «высокий культурный уровень», и долж-

* Автономная зона на севере ДРВ, населенная, в основном, национальными меньшинствами.

ность приличная, так почему бы мне его не полюбить? Он обещал сделать так, чтобы меня послали учиться за границу, убеждал, что я стану потом большим человеком... Подонок!

— Что ж ты раньше его так расхваливала?

— Он первое время очень хорошо ко мне относился, приносил книжки почитать, помогал всегда... Откуда я могла знать?!

Суан погладил дочь по голове и улыбнулся, но глаза его оставались серьезными.

— Раскусить человека — дело трудное. Но если сам ты честен и не кривишь душой, тогда легче поймешь и других. Раз уж мы заговорили об этом, я хочу кое-что сказать тебе. Ты теперь взрослая, тебе не раз еще встретятся молодые люди, которые будут говорить о любви. А придет время, ты и сама полюбишь. Постарайся, чтобы к чувствам твоим никогда не примешивался расчет, не наслаивалось ничего низменного, нечистоплотного. Можно, конечно, ошибиться, но нельзя лгать самому себе и другим. Нужно быть верным и честным до конца...

Они долго еще сидели и разговаривали у фонаря. Наконец Суан встал.

— Ложись поспи. А я пойду на командный пункт, у меня дела.

Суан зашел в землянку связистов и вызвал по телефону Фаунга, чтобы узнать, как обстоят дела на высоте «сто двадцать». Оказалось, что пулеметный взвод прибыл; сейчас заканчивают огневые позиции для пулеметов. Фаунг сообщил также, что на огневые рубежи у реки начали перетаскивать пушки. «Единица» перешла уже на запасные позиции. Шестая рота получает снаряды и каски, а потом тоже начнет переводить орудия.

●

Утро было облачное. Дул приятный прохладный ветер. Суан провожал дочь в обратный путь. Они шли прямиком по холмам, в обход моста. По обе стороны от тропы на траве поблескивали паутинки, в которых застряли радужные капли росы.

Май надела свой пробковый шлем и затянула ремешок под подбородком. На плечах у нее была зеленая накидка, на ногах сандалии из черной автомобильной резины. Блестящие никелированные части велосипеда были прикрыты зелеными ветками.

Суан и Май лишь изредка обменивались словами.

— Будь осторожна в пути,— сказал Суан.— Остерегайся самолетов. Сразу нажимай на педали, чтоб поскорее выехать из нашей зоны. По ту сторону перевала уже безопасно.

Май остановилась:

— Ну, ладно, отец, тебе пора возвращаться.

У Суана сжалось сердце. Он сказал:

— Не забывай писать письма. А то ведь ты лентяйка известная...

Май взглянула на появившуюся в волосах у отца седину. Помедлив секунду, она тихонько спросила:

— Папа, ты что же, так и будешь всегда жить один?

— Ну и вопросы ты задаешь отцу! — усмехнулся Суан.

— Нет, я серьезно...

Суан стоял, глядя, как Май катит на велосипеде по склону холма, то исчезая за деревьями, то снова появляясь вдалеке. Она налегла на педали, зеленая накидка развевалась у нее за плечами. Выехав на шоссе, она остановилась, сняла шлем и помахала им над головой. Суан тоже помахал на прощание рукой. Май снова уселась на велосипед и вскоре скрылась за поворотом дороги...

Суан шел обратно, припоминая все, что забыл сказать дочери. А он-то привык считать ее маленькой! Она совсем уже взрослый человек и, судя по всему, человек настоящий и честный, готовый принять на свои плечи любой, самый нелегкий груз...

X

С автоколонной, доставившей ночью боеприпасы, Дык неожиданно получил письмо от Нга. Рано утром его разыскал Дон и, протянув конверт, сказал:

— Я встретил твою Нга в городе Тхань-хоа. Она просила передать письмо прямо тебе в руки; изволь получить.

Нга писала:

«Любимый!

Мне улыбнулось счастье—я повстречала Дона и вот пишу тебе «молнией». И вообще мне кругом везет. Я нашла попутную машину, которая сегодня вечером идет отсюда прямо до Хайфонга. Так что завтра я уже буду дома, и ты можешь не волноваться за меня. Собралась написать длиннейшее письмо, потому что очень многое хотелось тебе сказать, а сейчас не знаю, что же писать дальше? Я до сих пор сама не своя, живу как во сне. Стоит закрыть глаза, и я сразу вижу тебя. Мечтаю снова побыть с тобой хоть одну минуту, просто сказать тебе: «Здравствуй, это — я!»

Разве не чудо, что мы с тобой встретились! Мы ведь родом из разных мест и никогда не видались прежде. Неужели было время, когда мы не знали друг друга? Самое дорогое у меня в жизни — это ты, и ты любишь меня. Ведь теперь я твоя жена. Когда разобьем американцев и снова настанет мир, я всегда буду рядом с тобой и постараюсь, чтобы у тебя была счастливая семья. Пускай мы сейчас в разлуке, но ты всегда со мной, всегда в моем сердце, и я тоже всегда с тобой.

Любимый, ты, наверно, сейчас очень занят — сколько тяжелых дел там у вас, на фронте! Обо мне не беспокойся и не скучай; просто, если у тебя будет как-нибудь время, напиши мне несколько строк. Я желаю тебе доброго здоровья и хорошего настроения. Передай, пожалуйста, от меня привет Тхо и Хюйену. Я, правда, их никогда не видела, но ты столько про них рассказывал, что я их полюбила; и не только их, а всех, с кем ты каждый день вместе идешь в бой. Желаю вам сбить побольше американских самолетов!

Ну, прощай. Целую тебя. Вернусь домой, сразу же напишу, что нового в Хайфонге. Люблю тебя, целую еще тысячу раз! Твоя Нга».

Дык сложил конверт и спрятал в нагрудный карман; потом снова вытащил и перечитал письмо. «У меня тоже самое дорогое на свете — это ты...— думал Дык.— Спасибо, спасибо тебе, Нга! Ну, прощай, мне пора...»

●

Восемь часов... Девять... Все спокойно.

На новых позициях «шестерки» тренируются расчеты. Стволы орудий поднимаются вверх, опускаются, поворачиваются из стороны в сторону вслед за деревянными моделями самолетов, насаженными на длинные шесты. Каждым таким шестом размахивает несколько человек, точь-в-точь как бумажным драконом на празднике.

— Отставить! — крикнул помощник ротного Тхо, поглядев на часы.— Личный состав может отдыхать!

Дык стоял возле пушки, расчетом которой командовал Лай. Солдаты спрыгнули с вращающейся площадки лафета.

— Что-то «джонсонов» не видно,— сказал один.— Уж не случилось ли с ними чего?

— Просто вчера им здорово вмазали!

— Ребята,— ухмыльнулся Лай,— а ну как они прямо сейчас пожалуют!

— Очень даже свободно. Подойдут за облаками и атакуют, безо всяких там кругов и пируэтов.

Дык невольно посмотрел на небо, словно прикидывая, с какой стороны может появиться противник.

— Вы, Лай, должны дать самолету спуститься как можно ниже,— сказал он,— и тогда уж открывать огонь. Пусть остальные расчеты ведут огонь по-другому, пускай кругом вас рвутся бомбы, ваша задача — добиться попадания с первых же снарядов.

— Ясно!

— Ну что, Тат, слышал вчера, как пушки стреляют? Принял боевое крещение?

— Разрешите доложить,— улыбаясь ответил новобранец с оспинами на лице,— на первых порах оно, конечно, чуть-чуть...

— Чуть-чуть страшновато,— договорил за него «писатель» Бинь.

Все расхохотались, а Тат договорил солидным баском:

— В общем, я теперь обстрелялся!

— Правильно, еще несколько налетов, и ты будешь настоящим ветераном.

Дык пошел на КП. «Писатель» продолжал подтрунивать над новобранцем:

— Да-а, Тат, тебя уже ротный хвалит — растешь на глазах!

— Он на вид злой, а сам-то очень добрый.

Этот глубокомысленный отзыв снова всех рассмешил.

Командир расчета Лай, конечно, не знал, долго ли продлится неожиданный отдых. Тем не менее он достал иголку с ниткой и, скинув гимнастерку, сел штопать ее прямо на краю окопа. Иногда он поднимал голову и рассматривал длинные, крытые листьями дома на берегу, рядом с лесопилкой. Каждый день работницы с лесопилки приносили солдатам на коромыслах зеленый чай. Отсюда, с новых позиций, видно было, где они живут.

Интересно, который там дом Туйен? Лай запомнил ее, потому что девочка была очень похожа на его сестренку Хонг. Дома у них с Хонг была большая дружба; самая младшая в семье, она всегда чинила брату рубашки, гладила брюки и во всех семейных неурядицах держала его сторону...

Когда Лай в шестом классе бросил школу и пошел учиться на электрика, отец пришел в ярость. «Ты бы хоть семь классов кончил! — кричал он.— Мне при старой жизни учиться не довелось, а ты должен смотреть вперед! Правительство все вам дает — только учись! Или думаешь, я тебя еще год не прокормлю?» А Лай твердил свое: «Надоело, не хочу больше учиться...» «Дуралей, — горячился отец.— Нынче человек без науки все равно, что рыба без воды!..» Вообще на Лая свалились тогда все несчастья. Он вместе с приятелями дебоширил в классе, и учитель ударил его по лицу. Лай решил ни за что не возвращаться в школу. Но было и другое — Лай видел, как трудно старику отцу прокормить восемь ртов, как еле сводит концы с концами и надрывается в бесконечных хлопотах мать, и он решил поскорее принести в семью заработок. Отец долго не мог примириться с тем, что сын бросил ученье. Поэтому, когда старик возвращался с работы не в духе, Лай, стараясь

не попадаться ему на глаза, проскальзывал на кухню или выходил погулять в переулок. Хонг увязывалась за ним следом. Она молча держалась за рукав его рубашки, точно боялась, как бы брат не ушел насовсем...

Тат и Бинь сидели рядышком и негромко разговаривали. Бинь умудрялся одновременно еще и читать толстенный затрепанный до дыр роман. Тат только что вытащил прямо из бруствера огромный клубень батата — их пушка стояла посреди поля, засаженного бататами,— и с задумчивым видом взвешивал на руке находку:

— Из такого клубня можно сварить целый обед!

Тат огляделся, словно надеясь обнаружить в грудах свежей земли еще парочку бататов.

— Знаешь, Бинь,— сказал он,— кто мастер готовить бататы? Моя старшая сестра. Я сам их не очень любил. Меня дома все баловали, мать с сестрой отдавали мне самые вкусные кусочки, поэтому, если долго приходилось жевать бататы, я бывал недоволен. А вот сестра, за милую душу, лопала их круглый год... Дом наш стоит на самом краю деревни, прямо у железной дороги. Когда я был маленький, мать говорила: «Видишь эту насыпь? По ней ходит поезд...» Откуда мне было знать, что такое поезд? Ведь дорогу разбили еще в начале войны с французами. Да и сестра моя никогда не видела поезда. Я впервые увидал паровоз в кино. А в позапрошлом году нашу дорогу восстановили. Тут уж я разглядел паровоз и вагоны — все как есть. Они теперь ходят мимо нас до самого города...

— Неужели? — усомнился Бинь, по-прежнему глядя в книгу.

— Честное слово! Хочешь верь, хочешь нет, а сестра у меня стала первой свинаркой в округе. Она главная на свиноферме, а свиньи у них— что надо. Когда я уходил в армию, сестра даже заплакала.

— Ты лучше вот что скажи — только подумай сперва,— Бинь осклабился.— У твоей сестры столько же оспинок, как у тебя?

— Иди-ка ты!..— Тат стукнул его по спине.

— Пардон, я пошутил.

— Тат, дай ему еще разок! Для науки! — обернулся к ним Лай.— У него у самого младшая сестра — писаная красавица. Бей, пока не отдаст за тебя! И пусть карточку ее покажет!

— Ну, ладно-ладно! А желающие свататься пусть прежде щедрость свою докажут!..

Лай, расхохотавшись, натянул гимнастерку и снова стал глядеть на лесопилку. По двору ее время от времени проходили рабочие — мужчины и женщины, некоторые с винтовками на ремне. Ветер доносил далекий шум машин, и Лаю казалось, будто он различает жужжание пилы.

●

— Боевая тревога!

Реактивные самолеты с вытянутыми фюзеляжами и короткими широкими крыльями четко выделялись на фоне облаков: Ф-8 * — авиация военно-морских сил. Условия для боя были благоприятны. Облака шли очень высоко, поэтому противник был хорошо виден; и солнце не било в глаза.

Самолеты летели с юга на большой скорости. Они прошли над зелеными горами Чыонг-шон, сохраняя строй и высоту, недоступную для зенитного огня, и потянулись вдоль гор. Можно было подумать, что они пролетят мимо, к какому-нибудь другому объекту.

---

* Реактивный самолет военно-морских сил США.

Но вдруг головной самолет развернулся и выпустил клуб черного дыма как раз над зенитными позициями.

«Намечает ориентир для бомбежки!» — мгновенно понял Дык и крикнул:

— Наблюдать за вторым самолетом!

Самолеты быстро перестроились в кильватер. Следующий Ф-8, долетев до дымовой отметки, лег на крыло и стремительно понесся к земле.

Дык видел, что линия, по которой пикировал самолет, рассчитана очень точно. Но янки не ожидали встретить здесь выдвинутую на новые рубежи «шестерку». С места, где стоял Дык, самолет был похож на черное пятно, которое беззвучно и с невероятной быстротой увеличивалось в размерах.

Наконец раздался рев двигателей. Самолет с каждой секундой приближался. Соседние роты начали бить залпами. Десятки огненных разрывов преградили путь самолету, но он упрямо шел вниз. Четыре тысячи метров... три тысячи пятьсот... А он все не сбрасывает бомб. Пилот, вероятно, решил во что бы то ни стало поразить мост! Дык выбрал подходящий момент.

— Огонь! — закричал он.

Разрывы, словно раскаленная скорлупа, окутали пространство вокруг самолета. Дык заметил, как отделились от него и понеслись к мосту черные капли бомб. И вдруг загрохотало орудие Лая, выпустившего очередью несколько снарядов, как раз когда самолет выходил из пике, подставив под огонь свое белое брюхо.

Точно незримая нить связала командира расчета с Дыком: за какую-то долю секунды Лай, как и Дык, понял, что надо взять самолет на выходе из пике, и прошептал несущейся прямо на них машине:

— Так, теперь тебе крышка!..

— Ребята, спокойней! Наводите точнее!..— крикнул политрук Хюйен, стоявший позади расчета.

«Писатель» сидел на лафете рядом с Лаем. Прильнув к стеклам прицела, он мягко покручивал колеса, перемещавшие ствол; пот, заливавший ему лицо, стекал за ворот. Тат, стоя на земле около пушки, держал в вытянутых руках обойму со снарядами. Услыхав рев двигателей, он задрал голову, разглядывая самолет.

— Тат! Не зевай! — окликнул его политрук.

Лицо Лая побагровело от напряжения, он не моргая следил, как в крестике прицела вырастал силуэт самолета. Он слышал, что Дык скомандовал: «Огонь!» — и соседние орудия уже начали стрелять, но решил выждать еще секунду. Вот сейчас самолет выйдет из пике! И весь сложный расчет, мгновенно выданный нервными клетками мозга, вылился в одном слове:

— Огонь!..

В стекла прицела Лай видел, как хищно заостренные бомбы несутся прямо сюда, ему в лицо. Он заметил, как содрогнулось тело самолета от врезавшихся в него снарядных осколков, и дрожь эта отдалась у него в ногах.

— Первый расчет, молодцы! Дайте ему еще! — закричал политрук.

За ревом самолетов и грохотом взрывов голос Дыка совсем не был слышен, но командиры расчетов видели сквозь дым зажатый в его руке красный флажок, указывавший цель. «Шестерка» вела огонь, не жалея снарядов.

— Горит! Горит!..— крикнул Лай, увидав вспыхнувший в небе самолет.

Ветер затянул рубежи «шестерки» тяжелым черным дымом, валившим из воронок около моста. Люди ничего не видели в густом удушли-

вом облаке. С того берега, где стояла «четверка», слышались частые залпы.

Дык застыл, подняв голову к небу.

Орудийные позиции огласились громкими криками. Им вторили радостные голоса, долетавшие с поля из-под бамбуковых изгородей.

— Падает!.. Падает!..

— Попалась, пташка!

— Ух ты! До чего здорово!

Дык улыбался все шире, чувствуя, как его охватывает горячая волна счастья.

Остроносый Ф-8, заваливаясь из стороны в сторону, судорожно пытался набрать высоту, но вдруг перевернулся и начал падать вниз. Не было видно дыма, он, покачиваясь, словно гигантская подстреленная птица, падал колом, задрав кверху хвост.

Люди кричали, приплясывали, махали руками. Ополченцы, сидевшие в окопах, неподалеку отсюда, забыли даже, что надо стрелять.

Самолет с грохотом врезался в землю, взметнув ввысь оранжевый столб пламени и свистящие обломки металла.

— Ура-а! Еще один!

— Красиво горит, сволочь!..

Подбитый Ф-8, волоча за собой длинный хвост дыма, уходил к морю, стараясь не оторваться от своих...

Минуту спустя Дык пришел в себя.

— Прекратить шум! — скомандовал он.— Всем оставаться на местах! Приготовиться к штурмовому налету!...

На позициях роты сразу стало тихо. Зато вокруг, в поле, крики и шум не умолкали, несмотря на то что на другом берегу реки зенитки еще вели огонь.

Дым наконец разошелся, и стал виден мост. Он был по-прежнему невредим!

Два Ф-8 продолжали бой с батареями на той стороне. Но они больше не осмеливались снижаться, торопливо и неточно сбрасывая бомбы с высоты.

Посреди поля, метрах в шестистах от «шестерки», догорал самолет. Черный дым, смешанный с языками пламени, поднимался все выше и, растекаясь по ветру, свивался в небе гигантскими кольцами.

Пушки на противоположном берегу замолчали. И тогда на поле вдруг выросли фигурки людей. Они сбегались отовсюду к сбитому самолету, и их становилось все больше и больше.

Хюйен подошел к Дыку:

— Ты видишь, сколько народу? Надо, чтобы они сейчас же разошлись. Янки могут вернуться!

В этот момент появился Тай. Придерживая рукой свою огромную шляпу, он бежал наперерез толпе. За ним, немного отставая, торопились девушки — ополченки с винтовками. Тай остановился около самолета; громко крича и размахивая руками, он отгонял любопытных.

●

Следующая тревога началась, как раз когда в шестой роте были работницы с лесопилки, которые принесли солдатам вареные бататы и чай. Хюйен забеспокоился, но сами женщины обрадовались тревоге, как лучшему подарку.

— Давайте мы останемся, поможем в случае чего.

— Нет! — отрезал Хюйен.— Прошу спуститься с холма, там есть убежище.

Он приказал одному из бойцов проводить женщин в укрытие. И тут же раздался голос Дыка:

— Самолеты на бреющем!

Хюйен побежал на КП.

Реактивные машины шли на небольшой высоте изученным маршрутом — вдоль реки к высоте «сто двадцать».

С высоты ударили огненные трассы пулеметов. Хюйен едва успел сбернуться в ту сторону, как головной самолет, разломившись надвое, рухнул в реку, подняв огромный столб воды.

Разрывы зенитных снарядов накрыли почти вплотную шедшие позади машины. Самолеты развернулись и, беспорядочно побросав бомбы, ушли. Черный дым заклубился над белым прибрежным песком.

Все заняло примерно полминуты.

Этот новый удар, нанесенный противнику, был, несомненно, чувствителен.

Прилетел самолет-разведчик и стал кружить над прибрежными холмами.

Потом снова появились истребители-бомбардировщики. Они шли со стороны моря. Сделав круг на большой высоте, они снизились и начали бомбить пулеметные установки. Зенитчики во всех ротах следили за развернувшимся поединком.

Высота была затянута клубами дыма. Но каждый раз, когда самолеты заходили в пике, оттуда долетала частая дробь пулеметов.

Дык, поднеся к глазам бинокль, следил за ходом боя. Самолеты пикировали и сбрасывали бомбы. К небу взлетали фонтаны пыли и дыма. Но бомбы падали на скаты, ни одна еще не попала в вершину. Пулеметчики продолжали вести бой.

Струя свинца хлестнула по брюху самолета. Отвалив в сторону, он с трудом набрал высоту и вышел из боя.

Еще один самолет вспыхнул в воздухе. Вокруг Дыка снова радостно закричали люди.

А реактивщики — звено за звеном — заходили на бомбежку. Пыль и дым заволокли небо. Пулеметы на вершине «сто двадцать» били трассирующими пулями, намертво преградив путь, по которому прежде самолеты выходили на батареи.

Новая группа реактивных машин появилась с запада. Навстречу им повернулись стволы зениток.

Вдруг Дык увидел маленькую фигурку девочки, бегущей между пушек.

— Туйен! Ты куда?

Тхо, стоявший рядом с окопом телефониста, поймал девочку за руку и, столкнув ее в окоп, крикнул:

— Сиди здесь, слышишь!..

«Мухобойки» шли на этот раз без строя, на разных высотах.

Две машины, снизившись, начали обстреливать ракетами и бомбить крытое черепицей здание школы на другом берегу реки.

Еще три самолета, пролетев дальше, тоже стали сбрасывать бомбы.

— Они целят в лесопилку!

Солдаты ругались, стиснув зубы от гнева. Орудия «шестерки» гремели... Залп... Еще залп.

Рядом с домами лесхоза из окопа бил по самолетам пулемет рабочего ополчения. В бинокль Дыку хорошо было видно, как из стрелковых ячеек, разбросанных по полям, ведут ружейный огонь ополченцы. Винтовочные залпы сливались с артиллерийской канонадой.

Около моста «единица» вступила в бой еще с одной эскадрильей, прилетевшей с моря.

Серия бомб разорвалась на территории лесхоза. Загорелись дома. Но пулемет ополченцев по-прежнему вел огонь.

Красный язык пламени распорол небо. Вражеский самолет вспыхнул, как факел. Летчик старался сбить пламя, но оно разгоралось все сильнее, и самолет вскоре взорвался. За секунду до взрыва от него оторвалась черная точка, над которой раскрылся гриб парашюта. Ветер относил его к видневшимся вдали холмам, поросшим лесом. Спускаясь все ниже, он вскоре исчез за деревьями.

Лесхоз горел. Огонь перебрасывался с крыши на крышу. Ополченцы выскакивали из окопов; крестьяне, рабочие выходили из укрытий — все бежали к горящим зданиям. Отсюда, с позиций роты хорошо были видны фигурки людей, бросавшихся в охваченное пожаром здание лесопилки. Они пытались спасти машины.

Туйен поднялась на бруствер и, взглянув на разбушевавшийся пожар, бросилась бежать со всех ног. Около первого орудия ее перехватил Лай.

— Туйен!.. Постой, туда нельзя!

Девочка вырывалась, из широко раскрытых глаз ее текли слезы.

— Пустите меня тушить пожар!.. Пустите!..

— Побудь пока здесь. Улетят самолеты, тогда пойдешь.

Лай обнял девочку за плечи и усадил рядом на краю окопа.

XI

Вечерело, а люди все шли и шли поглядеть на сбитый американский самолет. Когда Суан подошел туда, человек пятьдесят или более того стояли кучками в поле поодаль от обломков. Две девушки с винтовками охраняли обломки самолета, препираясь с чересчур дотошными зрителями и отгоняя их прочь.

Какой-то старик, громко смеясь, говорил соседям:

— Ну что ж, это совсем не плохо! Значит, перед нами реактивный самолет — непобедимый, неуловимый и ни с чем не сравнимый?

— Один, говорят, спрыгнул с парашютом прямо на гору Куйет. Интересно, поймают ли его?

— Почему же не поймают... Куда ему, скажите на милость, деваться? — увидев Суана, старик снова заулыбался.— А-а, товарищ военный, знаете, это совсем не плохо!

Стоявшая рядом женщина обернулась к ним:

— Солдаты сегодня стреляли очень здорово!

— Эй, Суан!

Он огляделся.

— Здравствуйте...

Это была жена Виена.

— Добрый день,— сказал Суан.— Что, тоже пришли посмотреть?

— Я уже давно здесь, с позавчерашнего дня. Сегодня вот просидела весь день в больнице у Лить... А как ваши друзья, что ехали тогда вместе с вами?.. И тот парень, шофер?

— Спасибо, все живы-здоровы.

Они отошли в сторонку и уселись на меже.

— Ну как, вы уже видели мужа?

— Я его теперь, наверно, только на том свете увижу.

— Сегодня, когда кончились налеты, он, по-моему, пошел к товарищу Таю. Загляните туда, может, найдется...

— Э-э, его искать — надорвешься. Поеду домой. А вы когда в дорогу?

— Сегодня вечером.

— Не забудьте заехать на медпункт, взять у Лить посылочку.

— Нет, не забуду...

— Скоро опять в наши края?

— Сам не знаю. Смотря по делам. Во всяком случае, я не буду здесь редким гостем.

— Как приедете, загляните ко мне. А не то я рассержусь.

Она поднялась и взглянула на Суана — глаза ее лукаво поблескивали.

— Не догадаетесь, какая у меня для вас новость!

— Да в чем дело?

— Так и быть... в следующий раз все вам расскажу. Потерпите немного! Зайдете в гости, тогда все и выяснится.

— Вы меня просто пугаете.

— Нет, нет! Новость хорошая... Ну, ладно, я пойду.

Суан вернулся назад. Девушки разрешили ему, как военному, осмотреть самолет. Он глубоко врезался в мягкую песчаную почву. Из грязной воды, заполнившей образовавшуюся после взрыва воронку, торчал только хвост с белыми и синими полосами — цветами американского знамени. В воздухе чувствовался запах горелой резины и краски. Куски металла, изорванного и скомканного, как бумага, валялись по всему полю.

Люди уже начали выкапывать из земли и собирать впрок кое-что из обломков. Суан увидел сложенные у межи электро- и радиоприборы с мотками перепутанных разноцветных проводов, обгорелые остатки карты, кожаную кобуру и шлем от скафандра пилота, к которому припекся изнутри клок рыжеватых волос.

●

Суан пошел обратно пешком. Он был уже недалеко от позиций «шестерки», когда вдруг налетела буря. Горы сразу скрылись за серой дымкой тумана. Ветер закружил и погнал по полям гудящие пылевые смерчи. С моря мчались, громоздясь друг на друга и закрывая небо, тяжелые громады туч, озаряемые вспышками молний. Могучие удары грома сотрясали землю. Хлынул дождь.

Придерживая обеими руками шлем и согнувшись в три погибели от страшного ветра, он, спотыкаясь и падая, еле добрался до расположения роты.

Буря переполошила всех на позициях. Солдаты накрывали брезентом пушки, прятали снаряды, засовывали подальше рюкзаки и другое добро, привязывали покрепче плетеные крыши землянок. Они бегали и перекликались под дождем, как дети.

Добежав до КП, Суан увидел Хюйена, который вместе с телефонистами старался удержать бившуюся на ветру плетеную крышу, сорванную ураганом, и привязать ее к бамбуковым опорам. Заметив комиссара, Хюйен, смеясь, крикнул:

— Давай, помогай! Сейчас весь дом улетит!

Суан бросился к ним и помог обуздать непокорную крышу. Затянув последний узел, они возликовали.

— Милости просим под кров! — прокричал Суан.— В тесноте, да не в обиде!.. Кан, несите сюда все рюкзаки и накройте их сверху куском нейлона!

— Звонил товарищ Мау,— сказал Хюйен, подсев поближе к Суану.— Он просил, как только увижу вас, напомнить, что вы должны быть в штабе.

— Хорошо, пережду непогоду и поеду.

А дождь лил как из ведра. И ветер усиливался. Крыша совсем протекла. Гимнастерка и брюки Суана скоро промокли насквозь. Вода падала на лоб, затекала за ворот и ручейком сбегала по спине. Во всей землянке остались сухими только рюкзаки, прикрытые нейлоном. Снаружи непрерывно грохотал гром.

Через час буря прекратилась так же внезапно, как началась. Суан вышел из землянки. Небо еще было обложено тучами, но дождь перестал. Только вдали, над горами, перекатывался гром.

По окопам бежали ручьи. Выйдя из землянки, Суан наткнулся на Дыка. Ротный, сбросив штаны и рубашку, саперной лопатой копал вместе с солдатами сток, отводя воду из орудийных гнезд.

Суан обошел расчеты, пожимая руки бойцам и поздравляя их со сбитым самолетом.

Когда он садился в машину, на позициях «шестерки» был уже почти восстановлен порядок. Заняли свои места наблюдатели. Безмолвные, словно статуи, они обшаривали биноклями небо. Правда, вблизи они выглядели довольно забавно: в одних трусах, в накидках из парашютной ткани на голое тело и новеньких касках.

— Я уезжаю в полк,— сказал комиссар Дыку.— Как ты есть выздоравливающий, будь осторожен. Кто здоровье сбережет, тот больше и провоюет.

Дык смахнул с лица капли воды.

— А может, останетесь поужинать с нами? Сейчас все будет готово.

— Нет, спасибо. Да, вот еще что: сегодня вы дали янки прикурить, но смотрите не зазнавайтесь; нельзя недооценивать противника.

Глядя на командира роты, похожего в этот момент на мальчишку, Суан рассмеялся. Он крепко обнял и поцеловал Дыка, повернулся и быстро зашагал вниз по склону холма.

●

Ночью, после дождя, на небе высыпали звезды. Сегодня Суан и Хоа ехали в машине одни.

— Хорошо бы в дороге отоспаться.

— А вы поспите... Вам сейчас сон нужнее всего, вон на себя даже стали непохожи от усталости.

— Хоа, не забудь заехать на медпункт...

«Газик» свернул на большак. Суан оглянулся на поля батата, где люди каждый день спокойно и просто смотрели в лицо смерти. Он вспомнил, как Лить плакала на дороге, идущей через эти поля. И хотя случилось это только вчера, ему казалось, будто прошли уже долгие годы, потому что обычно только время отбирает из наших воспоминаний самое дорогое и важное.

Они въехали в уездный центр. По обе стороны улицы моргали керосиновые лампы, стоящие на лотках продавцов фо* и прочей снеди. Из-за неплотно прикрытых ставней общественной столовой слышались громкие голоса, люди сидели за столиками и толпились у прилавка...

Сколько таких уездных городков, наполовину разрушенных бомбами... Но жизнь берет свое! По улицам едут повозки и велосипеды, тянутся вереницы носильщиков с коромыслами на плечах.

«Да, необычная у нас теперь жизнь,— подумал Суан.— Наверно, иностранцам иногда трудно это понять!..»

Машина свернула на проселок и, проехав несколько километров, остановилась прямо посреди поля. Хоа спрыгнул на землю, захлопнул за Суаном дверцу «газика» и, освещая фонариком дорогу, повел комис-

* Мясной суп с лапшой.

сара по извилистой узкой тропинке. Медпункт находился в маленькой деревушке, окруженной густыми зарослями пальм.

У деревенских ворот их остановил часовой и попросил подождать, пока он позвонит по телефону. Хоа, оставив комиссара в караулке, пошел обратно к машине.

Через несколько минут к воротам вышла Лить.

— О, это вы, Суан! Не заглянете ко мне на минуту? Я возьму посылочку в канцелярии; это здесь, рядом... Пропустите, пожалуйста, товарища,— обратилась она к часовому.

Суан шагал в темноте за маячившим впереди белым халатом. Лить выглядела сегодня совсем иначе. Здесь, на медпункте, она была «начальством», а он просто посетителем...

Канцелярия помещалась в крестьянском доме; хозяева жили теперь в маленькой клетушке, уступив обе комнаты врачам.

Лить сняла халат, выкрутила чуть побольше фитиль в лампе, стоявшей на сколоченном из досок столе, и предложила Суану выпить чаю. Она отыскала в углу небольшой сверток и протянула комиссару.

— Здесь немного бобов и арахиса для дочки. Если нетрудно, передайте, пожалуйста, в здравотдел.

— Непременно... Вы здесь и живете?

Суан обвел глазами комнату.

— Молодцы зенитчики, у нас у всех сегодня праздник! Скажите, поймали летчика, который выпрыгнул с парашютом?

— Да. Нам сообщили об этом из округа как раз перед моим отъездом. Много было сегодня раненых?

— Нет, не очень. Только вот в лесхозе двое умерли от ожогов. Легкораненых — человек десять.

Суан поднял глаза и поймал на себе взгляд Лить. Ему показалось, что она слегка покраснела. Он еще раз взглянул на нее. Лицо ее в мерцающем свете лампы казалось особенно красивым.

Лить поднялась из-за стола. Они молча дошли до ворот. Около караулки Суан хотел попрощаться.

— Я провожу вас еще немного,— сказала Лить.

Они прошли до поворота тропинки. Вдруг Суан остановился. Над горизонтом блеснули вспышки зенитных разрывов. Через минуту докатился гром канонады.

— Что ж... Поезжайте,— негромкий голос Лить, казалось, доносился откуда-то издалека.

— Вы долго еще задержитесь здесь?— спросил Суан.

— Пока не знаю. Через несколько дней закончу тут все дела и, может быть, проеду еще по нескольким уездам на западе, возле лаосской границы.

— Там теперь тоже заварилась каша. Дня не проходит без бомбежки.

— А когда вы снова заедете сюда?

— Даже не знаю. Завтра ночью я должен быть в штабе округа. Потом съезжу к мосту Кам, там тоже наши стоят...

Суан почувствовал, как у него тревожно заколотилось сердце. Когда еще он снова встретится с Лить?..

Далекий грохот пушек становился все громче. Суан, помолчав, сказал:

— Мне пора... Всего хорошего, Лить...

— Прощайте,— прошептала она.— Счастливого вам пути...

Суан быстро зашагал через поле. Обернувшись, он увидел, что Лить по-прежнему стоит на дороге и смотрит ему вслед.

Канонада усиливалась. Огненные зарницы пробегали по ночному небу.

ТО ХЫУ

Крупнейший поэт Северного Вьетнама (род. в 1920 г.). Автор сборников стихов «Вьет бак» (1954), «С тех пор» (1961), «Сильный ветер» (1962). Стихи То Хыу неоднократно публиковались в советской печати, в частности в журнале «Иностранная литература».

Зеленая рубашка

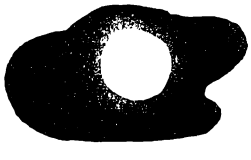
Ты сшила рубашку...
Покрась ее мне:
не ходят в некрашеных
там, на войне.

Да, милая,— в белой
нельзя мне в бою.
Зеленою сделай
рубашку мою!

Как ни было б туго —
укроет от бед
родимого Юга
невянущий цвет.

За край наш спаленный
я встану смелей
под вечнозеленой
любовью твоей.

Перевод с вьетнамского
ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА



НГУЕН ЧУНГ ТХАНЬ

Молодой прозаик, живущий на территории освобожденных районов Вьетнама. За публикуемый рассказ и другие произведения удостоен в 1966 году премии имени Нгуен Динь Тиеу, присуждаемой Президиумом Фронта национального освобождения Южного Вьетнама.

ЛЕС СА-НУ

Рассказ

●

Перевод М. ВАКСМАХЕРА

Деревня лежит в радиусе действия вражеской артиллерии. Обычно обстрел происходит два раза в сутки — или утром и вечером, или в полдень и ночью, а бывает, что и дважды в ночь, часов около двенадцати и на рассвете, с первыми петухами.

Почти все снаряды ложатся на плоскогорье Са-ну, возле большой реки. Лес Са-ну — огромный, в нем десятки тысяч деревьев са-ну. И ни одного не пощадила война. Многие срезаны, как ножом, иные тяжко ранены, исходят кровью, и воздух в лесу пропитан терпким духом древесных соков. Смола течет из раны по стволу, поблескивая в ярком свете летнего солнца, а потом понемногу густеет, темнеет, спекается, и кора затягивается жесткими струпьями.

Пожалуй, из всех деревьев только са-ну так упрямо жизнелюбивы. Вот пал сраженный железом лесной великан, а рядом уже тянутся ввысь три-четыре малыша, устремляя стрелами в небо свои нежные зеленые верхушки. Да, редко встретишь дерево, которое ловило бы солнце так жадно, как их ловит са-ну! И растут эти деревья буквально у вас на глазах и у вас на глазах вбирают в себя свет, тот неповторимый лесной свет, который ниспадает складками, струится полотнищами и пронизан золотистыми каплями смол.

Но едва успевает деревце чуть подрасти, едва дотянется до плеча человеку, как его срезает безжалостный залп. У молодых деревьев соки еще прозрачны, раны не заживают, сочатся, и вскоре дерево-подросток погибает от потери крови.

Однако остаются другие. Выживают те, что успели перейти критический возраст, чьи ветви растут уже вровень с головою взрослого человека, чья хвоя уже густа и курчава. Эти птенцы уже оперились, снаряды им теперь не страшны, раны затянутся, и на смену погибшим собратьям скоро поднимутся в рост новые великаны.

Вот и выходит, что, несмотря на беспрерывный обстрел, лес Са-ну стал еще гуще за последние годы, еще сильнее и крепче, он раздался в плечах и в груди и заслонил собою деревню.

Если смотреть вдаль с плоскогорья Са-ну, видишь только лес да лес, только верхушки са-ну — до самого горизонта...

Уже целых три года воюет Тху в Освободительной армии, но только сегодня, впервые за все это время, ему выдался случай навестить родные места, повидать родную деревню. На берегу реки его встретил маленький Хенг. Это его проводник. Когда Тху уходил из деревни, Хенг был еще совсем мал, едва доставал Тху до пояса. Он даже вязанку дров не мог еще из лесу притащить. Голышом, в одной узенькой набедренной повязке, бегал он тогда по вырубке, где работали взрослые. А теперь он проводник. Теперь у него винтовка, и он гордо несет ее за спиной.

Тху узнавал родные места. Все та же давняя тропа вьется между плантациями маниоки и зарослями водяных бананов, по крутому склону, поросшему густым кустарником, где полно древесных пиявок. Да, все вокруг так привычно и близко Тху... И все же он ни за что не пустился бы в путь по этой тропе без проводника. Каждый ее поворот таит в себе смертельную опасность, на каждом шагу спрятаны ловушки, искусно замаскированные ямы и капканы, из-за каждого куста на незваного гостя нацелена стрела, и каменные глыбы и тяжелые бревна готовы в любую минуту обрушиться на чужака.

Рано повзрослевший малыш Хенг так же немногословен, как все его односельчане из деревни Со-ман. На нем военная фуражка, подаренная ему солдатом Освободительной армии; куртка доходит почти до колен, под ней — неизменная набедренная повязка. Огромная винтовка висит на ремне, и он несет ее с видом бывалого воина. Порою он оборачивается и, указывая глазами на места ожесточенных боев, улыбается с видом заговорщика, словно спрашивая: «Ну, что ты на это скажешь, дорогой Тху?»

Глаза у него блестят, в них светится гордость. Тху в ответ тоже улыбается и кивает головой. Так, ни слова не говоря, но прекрасно понимая друг друга, идут они через лес Са-ну.

Подходят к роднику. Он выбивается из подземного грота и течет по бамбуковому желобу. Хенг останавливается:

— Можешь вымыть ноги. Только не пей! А то сестрица Зит сделает тебе замечание. Нельзя пить холодную воду!

Тху улыбается:

— А что она — в санитарной дружине?

— Да нет же! — возмущается Хенг.— Сестрица Зит — секретарь ячейки, вот как! А еще она политрук отряда самообороны.!

— Ах, вот оно что...

Тху не пьет из родника, он только снимает каску, расстегивает куртку и, наклонившись над желобом, плещет водой на голову и лицо. Ледяная вода обжигает щеки.

— Значит, вот она кто, Зит! Стала секретарем ячейки! — удивляется он.

Честно говоря, ему трудно себе представить, какая она сейчас, Зит, младшая сестра Май.

Когда Май умерла, Зит была совсем еще девочкой. Тху тогда собирался уходить в армию. У Зит не было куртки; в холодные ночи она не ложилась спать, а до утра сидела у огня, чтобы потом, на заре, пойти молотить рис, заменяя погибшую Май. Тху зажигал в поле ветки са-ну — так девочке было светлее работать. Тяжелым пестиком Зит толкла в ступе рис, отделяла шелуху и миску за миской ссыпала в холщовую торбу чистое зерно. Тху относил рис в деревню. Зит работала молча, и глаза у нее всегда оставались сухими; даже когда умерла Май, Зит не заплакала, а ведь даже дедушка не сдержал тогда слез.

Хенг торопит:

— Давай, Тху, скорей! Еще лихорадку схватишь, если будешь так долго полоскаться в ледяной воде. Пошли! Скоро темнеть начнет!

Тху не стал вытирать голову — так и пошел следом за Хенгом, с каской в руке и с мокрыми волосами.

На опушке им преградило дорогу поваленное дерево. Надо было перешагнуть через толстенный ствол. Рядом вился длинный окоп, вырытый партизанами. Когда Тху уходил в армию, дерево еще стояло.

Тху останавливается.

Здесь он впервые увидел Май. Конечно на самом деле они виделись не в первый раз: оба жили в одной деревне и знали друг друга с детства, с той поры, когда матери таскали их за спиной. Но на этом месте Тху впервые увидел Май после своего выхода из тюрьмы, на этом месте он впервые заметил, как она выросла, повзрослела, и здесь она со слезами на глазах взяла его, еще целые и невредимые, руки в свои. Да, она тогда заплакала, и это были слезы уже не ребенка, а девушки, слезы нежности и смущения. При этом воспоминании у Тху все внутри холодеет, глазам становится больно, словно в его тело опять вонзилось острое бамбуковое копье, как тогда, в тюрьме, во время пыток...

А маленькому Хенгу невдомек, какие горькие мысли одолевают сейчас Тху; перелезая через упавшее дерево, мальчик оборачивается и говорит:

— Ну как, братец Тху, давно ты здесь не был, отвык, небось от наших дорог...

Тху перешагивает через ствол. Тропа снова петляет между ям, ловушек, засад. Тху мрачнеет, он шагает сжав зубы. Вдали слышится хлопотливый глухой перестук. Это стучат пестики в деревне.

И он вдруг понимает, что именно этого звука, такого привычного и родного, не хватало ему все эти годы, полные тоски по оставленным краям, не хватало именно звука, которым всю жизнь сопровождается скромный и непрерывный труд женщин и девушек народности штра*, труд его матери, труд Май и Зит, не хватало перестука пестиков, который слышал он с самого раннего детства.

Тху пытается сдержать волнение, но сердце колотится все сильнее, он то и дело спотыкается о корни деревьев. За последним поворотом тропы — его деревня. Забыв об осторожности, он обгоняет маленького Хенга, и тот бежит за ним вслед, стараясь догнать.

— Ловушки! Кругом ловушки! — кричит малыш.— Берегись! Здесь у нас все теперь не так, как раньше! Иди лучше за мной!

В деревню они входят еще засветло. Маленький Хенг снимает с плеча винтовку и, опираясь на нее, как на посох, кричит во все горло:

— Эге-гей! Уважаемые сограждане! Я гостя привел!

Из всех домов выглядывают изумленные радостные лица. Слышится хор шумных восклицаний:

— О небо! О благословение господне! Тху! Да это Тху! Братец Тху! О, маленький Тху! Да, да, он здесь! Конечно, это Тху!

Самые нетерпеливые, не теряя времени зря, пренебрегают бамбуковыми ступеньками и прямо выпрыгивают из дверей на землю. Дома-то стоят на сваях, высоко над землей. Старые бабушки — о господи, бабушка Ленг еще жива! — медленно, кряхтя и горбясь, спускаются по лестницам, громко причитая:

— О сын мой!.. Чтоб тебя черти взяли, сам ты чертенок этакий!.. Не стал дожидаться моей смерти, приехал-таки, пока я жива!..

И вот уже вся деревня плотным кольцом окружает Тху, и вокруг —

---

* Народность, живущая на плоскогорье Конг-тум в Южном Вьетнаме.

знакомые лица. Вот бородатый дедушка Танг со своей неизменной трубкой; только мундштук у трубки стал длинным — Танг смастерил его из обломка сбитого американского вертолета. Вот братец Пре — здорово постарел он за эти годы. Вот сестрица Блом — тоже сдала, поседела. Вот старая Прой — ни одного зуба не осталось у бедной... И детвора, разумеется, тут как тут, мордашки в саже, прокоптились дымом са-ну... Но где же дедушка Мет? Тху ищет его глазами и уже собирается спросить про него, как чувствует на плече тяжелую руку. Тху оборачивается. Да это же дедушка Мет! Крепкий, как всегда, черная блестящая борода наполовину закрывает грудь, глаза искрятся лукавством, на правой щеке блестит давний шрам. Он до пояса обнажен, широкая грудь — что твой великан са-ну!..

Дедушка Мет легонько отталкивает Тху на полшага назад, оглядывает с ног до головы и разражается смехом:

— Ну что ж, явился, значит, а? И автомат при нем! Солдат Освободительной армии! Порядок!

Тху прекрасно понимает, что́ значат восклицания дедушки и его смех. Дедушка Мет никогда не скажет человеку «молодец» или «ты хорошо поступил». «Порядок!» — это высшая похвала в его устах.

Когда говорит дедушка Мет, все вокруг умолкают, его слова звучат как приказ. Несмотря на возраст — ему уже за шестьдесят перевалило,— голос у него могучий:

— На сколько ночей отпустили тебя командиры? На одну, говоришь? Ну что ж, порядок! Увольнительная на одну ночь — пробудешь одну ночь. Увольнительная на две — пробудешь две. Предписания выполнять надо точно. Эту ночь переночуешь у меня!

Никто не возражает.

— Ну вот, порядок! — продолжает дедушка Мет.— А теперь все по домам! Стемнело, можно огонь зажигать, обед готовить. Ребятня пусть идет умываться — да почище, чтоб я больше этой сажи не видел. Ишь как прокоптились! Ну, живо! А то прямо, как артисты в театре, загримировались. Кто плохо отмоется, будет иметь дело со мной. Слышали, что я сказал? Тху, и ты отправляйся к источнику, ноги помой. Не забыл, где у нас в деревне источник? Помнишь еще? То-то же. Тогда — порядок! А то я думал, что ты все позабыл. Попробуй-ка забыть, я тебя в два счета из деревни выставлю. Будешь у меня в лесу ночевать.

Все это, конечно, шутки. Дедушка отбирает у Тху вещевой мешок и автомат и сам ведет его в конец деревни, к источнику. За ними гурьбой увязывается детвора. Несколько девушек, пришедших за водой — Тху узнаёт их, но по имени вспомнить не может,— пропускают их к бамбуковому желобу. Скинув куртку, он подставляет под холодную струю плечи, голову, спину, грудь. Хорошо поплескаться у родного водоема, возле большой каменной плиты со стертыми углами, на которой всегда точит ножи и резаки дедушка Мет.

Старик молча смотрит на широкую спину Тху, всю исполосованную синими шрамами, и по щекам его скатываются две большие слезы. Торопливо, украдкой он вытирает их ладонью. Тху ничего не замечает, но дети смотрят на старика во все глаза.

Над крышами поднимаются сиреневые струйки дыма.

В тот вечер у дедушки Мета была на обед не только мучнистая похлебка из кореньев, приготовленная в бамбуковой миске, но еще и рыба в остром соусе. Это блюдо дедушка Мет подает только в редких случаях, только дорогим гостям из далеких краев. Тху достает сухой паек, выданный ему на дорогу, и предлагает дедушке ложку соли.

— У нас еще осталось с полгаллона соли,— говорит дедушка Мет.— Власти наградили Зит, премировали ее солью во время съезда ударников. Зит разделила всю соль между семьями. Но ее хранят для больных. А твою соль я сейчас попробую.

Старый Мет не солит похлебку, он раздает всем по крупинке, и люди с наслаждением долго сосут драгоценные зернышки, у которых такой восхитительный вкус!

Белый рис щедро перемешан с клубнями водяного банана. Старик поднимает миску и говорит:

— В этом году в деревне собрали хороший урожай. Риса хватит теперь до будущего года. Но его надо экономить, каждая семья должна иметь запас на три года. Ты ведь за революцию? Твой начальник тебе объяснил? Ты знаешь, что окончательный разгром американских империалистов требует времени?

Помолчав, он вдруг спрашивает:

— Пальцы-то у тебя все такие же короткие? Не растут?

Поставив миску с рисом обратно на стол, он гневно повышает голос:

— А в деревне об этом известно? Значит — порядок! Даже если на каждом пальце осталось всего по две фаланги, они могут нажимать на курок. Ты вот сегодня прошел через лес Са-ну. Шел со стороны реки, так? Значит, видел — са-ну по-прежнему растут. Где еще найдешь такие могучие деревья, как наши са-ну? Дерево падает, на его место встает новое, молодое. Пусть враг попробует уничтожить все са-ну! А ты ешь, мой мальчик! Рис штра — самый лучший в наших краях...

К концу обеда из общинного дома доносится звук гонга. Сигнал завершается тремя отрывистыми ударами. И жители деревни тянутся к дому дедушки Мета. Подойдя к дому, девушки поднимаются по ступеням и гасят факелы. Пожилые женщины входят в комнату с горящими факелами и подходят к Тху, чтобы получше разглядеть его. Они долго всматриваются в его лицо, потом бросают факел в очаг. Старики кричат еще снизу:

— Ну, где же он, маленький Тху? Накормил ли его как следует старый Мет?

Голос старой женщины:

— Люди, потеснитесь, дайте место маленькой Зит. Иди сюда, Зит, садись, моя милая.

Тху поднимает голову. Перед ним сидит Зит, ноги подобраны, на них натянута юбка. Тху вздрагивает: он видит перед собой живую Май...

Да это Май! Он просто не верит своим глазам. Зит выросла и стала удивительно похожа на свою покойную сестру. Раньше нос у нее был чуточку вздернут, а теперь он прямой, точеный. Брови густые, глаза огромные, спокойные, ясные... Зит тоже внимательно смотрит на Тху, смотрит долго, пока ребятишки спорят из-за мест: каждый хочет сесть поближе к сестрице Зит. Потом она довольно сухо обращается к Тху:

— Товарищ, у вас есть документ на право возвращения в деревню?

Тху не понимает:

— Какой документ?

— Увольнительная от командования. Без такой бумаги въезд в деревню воспрещен. Местный комитет обязан задерживать тех, кто ее не имеет.

Тху смеется. Его так и подмывает пошутить, сказать, что единственный документ, который есть у него,— это тоска по дому и что он взял да и удрал из части — всего на один день, чтобы с односельчанами повидаться. Но Зит смотрит на него требовательно и сурово, вокруг все выжидающе молчат, и он лезет в карман, достает бумагу и протягивает ее Зит:

— Товарищ политрук отряда самообороны! Явился в ваше распоряжение...

Зит берет документ и рассматривает его в неверном свете огня, пылающего в очаге. Еще несколько голов склоняется над бумагой, кто-то вслух по слогам разбирает написанное.

Зит трижды перечитывает бумагу.

Дедушка Мет спрашивает:

— Ну как, все правильно? В порядке увольнительная?

Зит возвращает бумагу Тху. И только теперь впервые улыбается:

— Все правильно. И подпись командира есть. Но почему только на одну ночь?

И тут же сама отвечает:

— Впрочем, зачем же больше? Повидать людей, поговорить, рассказать — одной ночи вполне достаточно... Мы, молодежь, всегда думаем о тебе!

Маленькая комната заполняется гулом голосов.

— Видишь, сам командир подписал бумагу!

— Да, здорово!

— Эх, всего одна ночь, а завтра и обратно... Жалко, такой короткий у него отпуск...

Густой бас старого Мета перекрывает все голоса:

— Ну ладно, порядок!

Растолкав ребятишек, он подсаживается к Тху, возле самого огня. Выбив трубку о край очага, старательно прочищает ее бамбуковой щепочкой. И наконец, закончив работу, обводит односельчан внимательным взглядом. Все собрались, все на местах, все молча ждут.

И старик начинает рассказ.

На улице мягко шуршит теплый вечерний дождь. Дедушка Мет говорит вроде бы вполголоса, но его всем хорошо слышно.

— Старики эту историю знают. Среди молодых одни знают, другие нет. А уж дети вовсе не слышали о ней.

Он оглядывает малышей, и те, ощутив важность минуты, затаив дыхание слушают дедушку Мета.

— Значит, Тху, наш брат Тху, наконец, снова в деревне!

Он кладет руку Тху на плечо.

— Это и есть братец Тху, о котором я вам столько рассказывал. Вот, сидит перед вами. Он пошел в Освободительную армию, чтобы бить врага. Родители у него давно умерли, его воспитала деревня Со-ман. Жизнь у него была тяжелая, но сердце осталось чистым, как вода в источнике. Сегодня я хочу рассказать вам его историю, а ему говорю: «Добро пожаловать в Со-ман!» Слушайте же, люди штра, мой рассказ. Пусть те, кто имеет уши и в чьем сердце живет любовь к родным горам и к родной стране, хорошенько запомнят мои слова. Меня не будет на свете, а вы передадите мой рассказ потомкам.

Все слушают в глубоком молчании. Слышится только, как журчит источник на краю деревни да шуршит по крыше дождь.

И Тху тоже молчит. Он смотрит на дедушку Мета. В зыбком мерцании пламени старый человек кажется богатырем из древних легенд, которые Тху помнит с самого раннего детства. Он переводит взгляд на Зит. Она того же роста, что была когда-то Май,—в тот день, когда он, выйдя из тюрьмы, повстречал ее у большого дерева на лесной опушке. Теперь дерево лежит поперек дороги, и партизаны устроили за его мощным стволом огневую точку.

Зит внимательно слушает, ее большие глаза задумчивы.

— Старики ничего не забыли. Только покойники уже ничего не помнят, но зато об их делах помнят живые. В ту пору, о которой пойдет речь, в нашем краю хозяйничали американцы и дьемовцы. Они шныряли

повсюду — в лесах, в горах. Бродили по лесу, как дикие кабаны, и штыки у них дымились от крови. Штыки их были такие же красные, как береты на голове. Тху был тогда совсем маленький, едва мне до пояса доходил. Но проворен был, как белка. Да, старики все помнят. И молодые не забывают. Тху тоже не забыл. Он наверняка помнит себя мальчишкой, который был старому Мету по пояс. Мальчишка носил за плечами небольшой мешок, доставшийся ему от матери. Сверху в мешке лежали овощи, а внутри были спрятаны две миски белого риса. Как белка, проскальзывал он сквозь все заслоны и приносил партизанам еду. Девочка, ростом еще меньше, чем Тху, бежала за ним следом. Приподнимет юбчонку, зябликом перескакивает со скалы на скалу и кричит тоненьким голоском: «Тху! Подожди! Подожди же меня, Тху!» Тху оборачивается и сердито шипит: «Тихо, Май! Раскричалась на весь лес, как сорока!» Май хотелось плакать, но она сдерживала слезы, потому что боялась еще больше рассердить Тху...

Да, в самом деле, ничто не стерлось из памяти! Ничто не забывается, все остается, все так отчетливо и ясно, точно происходило вчера. Вот Тху, вот Май, вот старый Мет, вот ответственный партийный товарищ.

Точно все происходило вчера!

Ответственного партийного товарища, который скрывался тогда в лесу Са-ну, звали Кюйет. С тех пор, как американцы и дьемовцы оккупировали эти края, не проходило и дня без налета или облавы. Каждую ночь вражеские псы-ищейки лаяли в лесу, и им вторил лай выстрелов. Но жители деревни Со-ман могли гордиться: за пять долгих лет оккупации ни один партийный работник не был схвачен или убит в лесах, окружающих деревню.

Сначала продукты приносила подпольщикам молодежь. Но враг скоро дознался, в чем дело, и среди молодых пошли аресты. Брат Сут был повешен на ветвях фигового дерева, у въезда в деревню. «Так будет со всеми, кто прячет и кормит коммунистов»,— объявили оккупанты. Они запретили молодежи работать в лесу. Тогда юношей и девушек сменили старики и старухи, а революционное подполье по-прежнему снабжалось продовольствием. Враг опять разгадал секрет. Казнили матушку Нян — отрубили ей голову, насадили на штык, пронесли по деревне.

И тогда настал черед детей. Среди них самыми отважными оказались Тху и Май. Когда Тху работал в поле, с продуктами в лес шла Май. Когда Май оставалась дома и нянчила маленькую Зит, в лес отправлялся Тху.

Бывало, они шли на задание вдвоем и ночевали в лесу: они боялись оставлять товарища Кюйета одного. Кругом враги, того и гляди нападут на след, кто тогда поможет ему скрыться?.. Кюйет говорил:

— Маленькие вы мои, разве вам не страшно? Бандиты могут вас схватить и убить, как брата Сута и матушку Нян!

Тху, прикорнув было к Кюйету, возмущенно вскакивал:

— Дедушка Мет говорит: ответственный работник — это партия, а без партии нет родины!

В лесу Кюйет научил Тху и Май грамоте. Он сплел из бамбука дощечки, натер их сажей са-ну, залил густой смолой. Тху отправился на гору Нгок-линь — она была далеко, путь занял трое суток — и принес целый мешок белой глины, которая прекрасно заменила мел. Май оказалась способнее Тху, за три месяца она выучилась читать, потом писать, а через полгода умела складывать и умножать двузначные числа. У Тху

дело подвигалось хуже: ему не хватало терпения. Дойдя до буквы «игрек», он успевал забыть, что буква «о» с крючочком читается, как «э». Когда Май обгоняла его в успехах, он вскипал, ломал бамбуковую дощечку и на целый день убегал к ручью. Кюйет пытался его утешить, мальчик угрюмо молчал. Май ластилась к нему, но он чуть не набрасывался на нее с кулаками.

Однажды она села возле него на берегу и сказала:

— Если ты не вернешься на урок, я тоже не двинусь с места... А я уже сделала для тебя новую дощечку!

Тогда Тху схватил острый камень и стукнул себя по голове. Пошла кровь, Кюйет перевязал ему рану. Вечером в пещере он ласково обнял мальчика:

— Если американцы или дьемовцы меня убьют, Тху вырастет и займет мое место. Но если ты будешь неграмотным, какой же партийный руководитель из тебя получится?

Наутро мальчик отозвал Май в сторонку:

— Ну, говори, как надо произносить это «о», когда у него есть крючочек? И потом еще про эту букву скажи, которая идет следом,— ну, знаешь, у нее такое пузо толстое!

Май отвернулась, чтобы он не увидел ее улыбки. Она написала на новой дощечке, которую сама смастерила для него, толстопузую букву. Май старалась говорить тихо, голос ее звучал нежно и певуче:

— А ведь ты хорошо запоминаешь уроки! Это буква «б», правда?

— Конечно! Но у меня все равно башка деревянная!

Тху забывал буквы, это верно. Но какой сообразительностью отличался он, когда надо было найти дорогу в горах! Он был связным товарища Кюйета, он поддерживал связь между партийными комитетами общины и окружного центра. Проторенных троп Тху не любил. Когда его окружали враги, он взбирался на высокое дерево, определял обстановку и ускользал у них из-под самого носа. А когда надо было перейти реку, выбирал места с самым бурным течением, бросался вплавь и разрезал волны, как настоящая рыба. Он говорил: «Враг думает схватить нас там, где течение потише, ему и в голову не придет искать нас у водоворотов».

Но однажды Тху собирался уже прыгнуть в воду в самом порожистом месте реки Дак-нанг, чтобы отнести письмо Кюйета товарищам из округа,— письмо, завернутое в лист камыша, лежало у него за щекой,— как почувствовал на затылке холодное прикосновение ружейного дула. Он даже не успел проглотить письма.

Три дня спустя жители Со-мана увидели, как вражеские солдаты тащат связанного по рукам и ногам маленького Тху.

— Покажи, где тут коммунисты, и мы отпустим тебя.

Сбежалась вся деревня. Рядом с Тху выросла фигура дедушки Мета; мальчик едва доходил ему до пояса. Старик сказал звучным голосом на языке штра:

— Смотри, Тху, не срами деревню Со-ман!

Тху понимающе взглянул на него, и Мет проговорил:

— Порядок!

Спина Тху была изрезана ножом.

— Ну, показывай, где коммунисты!

Тху тихо сказал:

— Сперва развяжите веревки. Как я могу на кого-нибудь указать, если у меня связаны руки.

Солдаты развязали ему одну руку. Он ткнул пальцем в собственный живот:

— Вот коммунист!

И снова нож полоснул его по спине, по маленькой спине, которая была не шире заплечного мешка, доставшегося ему от матери. Брызнула кровь. К вечеру она запеклась и почернела, как смола са-ну.

Когда палачи опять привели мальчика в деревню, Май кинулась к нему, обняла и заплакала. Тху сердито сказал:

— Перестань плакать! И учись как следует. Если меня убьют, руководителем станешь ты.

Спустя три года Тху бежал из конгтумской тюрьмы. Раны на спине зажили. Он дошел до лесной опушки и у большого дерева встретил Май. Она взяла его руки в свои, на глазах у нее были слезы.

Он поразился, как она выросла за это время. Она повела его в деревню. В ту ночь все тоже собрались у дедушки Мета — вся деревня, точь-в-точь как сегодня...

Голос старого Мета звучит сегодня, как эхо той далекой ночи.

— Все было, как сегодня. Мы сидели в этой комнате, у этого очага. И дождь моросил, как сегодня. Я сидел вот здесь, Тху здесь, а Май — вот на том месте, где сейчас Зит. Верно я говорю, Тху?

Дедушка Мет говорит верно. Так все и было. Дождь с тем же шорохом падал на широкие листья крыши, дрова са-ну так же пылали в очаге. Вся деревня собралась в этой комнате, чтобы отметить возвращение Тху, бежавшего из Конг-тума. Май сидела напротив него и глядела теми же глазами, какими сейчас глядит на него Зит. Большими черными глазами из-под густых бровей. Только, быть может, глаза эти смотрели чуть-чуть по-другому: не так серьезно, более нежно. Но глаза были так же решительны и спокойны... Старый Мет в тот вечер ничего не рассказывал. Он только попросил:

— Май, достань бумагу товарища Кюйета. Пусть Тху прочтет, а мы послушаем.

Вскоре после ареста Тху товарища Кюйета перевели в седьмой округ. Там и подстерегла его смерть: он наткнулся на засаду, был тяжело ранен и умер в лесу, на руках у товарищей. Перед смертью он написал в деревню Со-ман письмо.

Тху взял у Май бумагу и в свете пламени из очага прочел:

«Мои молодые товарищи Тху и Май, мои соотечественники из деревни Со-ман! Я умираю. Вы остаетесь жить. И вы должны готовить оружие, запасать копья, стрелы, дротики и ножи, должны прятать их в лесу, чтобы их не нашел враг. Настанет день, и оружие вам пригодится. Что касается Тху, он многому научился и заменит меня на моем посту».

Да, в комнате было тогда так же полно народу, и те же лица видел он вокруг. Дедушка Танг, брат Пре, сестра Блом, тетушка Прой, дядюшка Ленг... Вот только Май нет здесь сегодня...

Тху прочел письмо Кюйета, все поднялись и во главе с дедушкой Метом пошли с факелами в лес, к тайникам, за оружием. А Тху опять, как и три года назад, отправился на гору Нгок-линь, только уже не за белой глиной, а за точильными камнями, чтобы оружие было острым и било без промаха. В карьере на вершине Нгок-линь точильных камней хватило бы на добрую сотню вооруженных восстаний...

По ночам в деревне ковали и точили оружие. Днем старый Мет возглавлял полевые работы, люди сажали маниоку и водяной банан.

Но враг, сидевший в форте Дак-ха, пронюхал, что в Со-мане куют оружие. В самый разгар уборки риса, вскоре после рождения первенца у Май и Тху, в деревню нагрянули враги. Карателями командовал Зук — тот самый тип в кроваво-красном берете, который когда-то пытал Тху. Сейчас он в бешенстве вопил:

— Это опять Тху, это он за старое взялся! Больше некому. Если не поймать этого тигра, он нам всю округу перебаламутит!

Старый Мет и Тху увели молодежь в лес. Далеко от деревни уходить не стали, прятались в пещерах поблизости да в густых зарослях, под самым носом у карателей. Четверо суток враги сидели в деревне. Издевались над жителями, как хотели. Крики и плач стояли вокруг. Зук с револьвером в руке грозил:

— Каждый, кого схватят за пределами деревни, будет расстрелян на месте.

Ни одной душе не удавалось уйти из деревни. Только маленькая Зит, юркая, словно ящерица, по ночам ускользала из Со-мана и относила в лес еду. На четвертое утро солдаты выследили и схватили ее. Они поставили ребенка посреди двора и начали стрелять из автоматов. Пули свистели вокруг головы девочки, взбивали пыль у самых ее ног. Сперва она при каждом выстреле кричала, потом глаза ее высохли, и больше ни одной жалобы не услышали от нее солдаты. Она спокойно стояла под дулами автоматов и винтовок. При каждом выстреле все ее хрупкое тело напрягалось, как пружина, но она гордо смотрела на палачей.

Не в силах добиться от девочки ни слова, Зук пошел на последнее средство. Он приказал схватить Май:

— Когда у тебя в руках тигрица с детенышем, тигр сам явится в клетку!

Тху слышал эти слова. Он стоял за густым фиговым деревом, возле источника, и ему хорошо было видно, что делается на площади. Вот солдаты приволокли Май — Тху судорожно вцепился в ствол дерева. За спиной у Май спал малыш, ему и месяца еще не исполнилось. Но все соседи утверждали, что ребенок — вылитый Тху!.. Тху не мог пойти в город за бельем для маленького, он разорвал на части свою куртку, и Май носила в ней малыша...

— Ну, грязная коммунистка, говори, где твой муж! — гаркнул Зук.

Легким движением плеч Май поправила драгоценную ношу и молча посмотрела на Зука.

— Молчишь, проклятая? — взревел тот.

И приказал:

— Поставьте ее сюда!

Один из солдат, толстый, жирный, понимающе посмотрел на начальника, схватил длинный железный прут и, облизнув пересохшие губы, занес его над женщиной. Май закричала, торопливо развязала узел и едва успела спрятать ребенка на груди, как на ее спину обрушился страшный удар.

— Где Тху, говори!

Новый удар пришелся ей по груди, но Май успела перекинуть малыша за спину. Опять удар по спине, но ребенок снова у материнской груди. Удары сыпались градом, Май уже не в силах была кричать. Короткий крик ребенка — и все было кончено. Металлический прут обрушивался на безжизненные тела матери и малыша. Тху медленно вышел из-за дерева. Сам не зная зачем, он сорвал несколько спелых плодов. Он готов был уже ринуться на врагов, как крепкая рука Мета схватила его за плечо:

— Не надо... Тху... Не надо... Лучше я...

Тху отталкивал руку.

— Тху...

Он обернулся, и старик не узнал его: не глаза у Тху, а два пылающих факела. И старый Мет отпустил его плечо. Послышался страшный вопль пришедшей в сознание Май. В два прыжка Тху оказался среди солдат. Зук пустился наутек. Послышались щелчки взводимых курков. Тху обнял Май, прижал к себе тельце ребенка.

— Проклятые людоеды! Вам нужен был Тху? Вот он перед вами! Но спасти Май он уже не мог... Жена и ребенок погибли...

Голос старого Мета звучит устало. Неловким движением смахивает он слезу и продолжает, чуть повысив голос:

— Тху не мог спасти ни жены, ни ребенка. В ту же ночь Май умерла. Ребенок погиб еще раньше, под ударами палача. Жирный солдат попал ему прямо в животик — мать потеряла сознание и не могла его защитить... Помнишь, Тху? Ты не мог спасти Май... А тебя они схватили, связали, потому что ты был безоружен. Я все видел из-за дерева. Тебя связали лианами. Но я не кинулся на помощь, я ведь тоже был безоружен. Я поспешил в лес, к молодым. Вся молодежь скрывалась там. Мы быстро разобрали копья и ножи... Слышали, что я сказал, дети мои? Не забывайте этого никогда. Хорошенько запомните мои слова. Когда меня с вами не будет, ваш долг — рассказать своим детям: враг был вооружен автоматами, а мы — копьями!.. Так, значит, связали они Тху лианами, приволокли в общинный дом, заперли на замок, а сами отправились в дом Броя — свинину жрать. Лежит Тху связанный. Темнеет. И раздумывает он о том, что было и что будет дальше. И сам удивляется своему спокойствию. Вот он о чем думает: «Малыш умер, Май умерла, скоро и я умру. Кто же будет здесь руководителем? Когда партия даст сигнал выступать, кто поведет деревню Со-ман в бой? Дедушка Мет стар. Но есть ведь еще молодежь в деревне! Подрастет Зит. Эта девочка скроена из материала крепкого, сестре своей не уступит. Так что все будет в порядке. Вот только жаль, что я, Тху, не доживу до того дня, когда деревня возьмется за оружие...»

Зук решил не сразу убить Тху. Он развел в очаге общинного дома огонь и велел согнать сюда всех жителей деревни. Потом разрезал лианы, которыми был связан Тху, и сказал:

— Значит, оружие готовите? Куете да точите дротики, копья, ножи? Ну, что ж! Если у вас такая охота браться за оружие, поглядите сперва, чем это может кончиться. Вот перед вами Тху. Взгляните на его руки.

Он сделал знак все тому же толстому солдату. Все было приготовлено заранее. Солдат достал тряпки, пропитанные смолой са-ну, и обмотал ими все десять пальцев Тху. Потом схватил зажженный факел. Но Зук приказал:

— Дай мне! — и отнял факел у солдата.

Тху не кричал. Полными ярости глазами он смотрел на Зука. Зук рассмеялся и помахал факелом перед самым лицом Тху:

— Ну-ка, что за рожа у этого красного, который хочет взяться за оружие? Эх вы, жалкие образины! Разве вы для того рождены, чтобы в руках копья держать! Уж лучше и не мечтайте об этом!

У Тху загорелся палец, потом второй, третий. Смола са-ну вспыхивает, как бензин. Скоро все десять пальцев Тху превратились в факелы. Тху закрыл на мгновенье глаза, открыл их снова. «О небеса! О милосердные предки!» Он чувствовал боль уже не в пальцах, а в самой груди. Во рту была страшная горечь, губы искусаны в кровь. Но он не кричал. Разве не говорил товарищ Кюйет: «Коммунист не кричит, не унижается перед врагами!» Тху ни за что не доставит врагам этой радости. Он не закричит. «Но, бог ты мой, как печет! Внутри все горит! О дорогой товарищ Кюйет! Я заживо горю! — Нет-нет, ты не закричишь, Тху, не закричишь!»

Зук хохочет. Старики повскакали с мест, но солдаты отталкивают их назад.

Вдруг на улице, возле дома, раздаются крики, топот ног. Кто кричит? Тху тихо застонал — всего один раз,— но его стон слился со страшными воплями, донесшимися снаружи. Шум шагов, крики: «Смерть им!» — плаксивые голоса солдат... И звучный голос дедушки Мета: «Руби их, кроши их всех!»

Вот он, Мет, уже в комнате, в руке у него копье, и вот уже Зук валяется на полу. И вся деревенская молодежь уже здесь, и у каждого в руке — острый нож, отточенный на камнях, которые Тху принес с горы Нгок-линь.

Спокойный голос Броя повторяет:

— Тху, Тху! Ты уже очнулся? Погляди, мы их всех перебили! Всех десятерых! Видишь? Так что копья и ножи сослужили нам хорошую службу.

Пальцы Тху больше не горят. А огонь са-ну еще не потух в очаге. Трупы бандитов валяются по углам.

Старый Мет опирается на копье.

— Ну, в добрый час,— говорит он.— Лиха беда начало. Зажигайте огни в домах, разбирайте оружие все — мужчины, женщины, старые, молодые, берите копья, ножи! Окружим деревню ямами, ловушками, западнями!

Раздается гонг.

Всю ночь на плоскогорье Са-ну и в окрестных лесах слышится шум работ, горят костры.

...Заслушались люди. Никто не заметил, что уже поздняя ночь, что дождь усилился и глухо стучит по крыше. Старый Мет смотрит на односельчан.

— Ну, вот и весь рассказ. Деревня Со-ман взялась в ту ночь за оружие и с тех пор не выпускает его из рук. А Тху, как зажили у него руки, ушел в армию. На каждом пальце теперь у него одной фалангой меньше, но это не мешает ему держать кинжал или стрелять из ружья. Пошел наш Тху навстречу Революции. Ведь по ту сторону горы Нгок-линь тоже есть свои зуки, и люди тоже берутся за оружие, чтобы зуков прогнать. Вот наша деревня и послала Тху помогать людям. Но, бог ты мой, как все же долго тебя не было, Тху!.. Подрастают девушки, а женихов-то и нет... Ну, ладно, мой рассказ окончен. Теперь твой черед. Что делал, как жил ты эти три года вдали от родных краев? Расскажи нам, сынок, как ты прославил нашу деревню, сколько убил янки и дьемовцев?

Тху встает, подходит задумчиво к очагу. О чем рассказать односельчанам? Его сердце переполнено нежностью к ним. Он говорит:

— Дедушка Мет, земляки! А ведь я встретился с Зуком!

— С Зуком? Где же?

— В одном форте.

— Убил ты его?

— Конечно!

— Всадил в мерзавца пулю?

— Нет.

— А как же?

Тху снимает с плеча автомат и ставит у стены.

— А вот как. Атаковали мы форт. Солдат перебили...

— Всех?

— Всех. Остался только начальник, он спрятался в подвале, никак не хотел вылезать. Мы уж и гранаты туда кидали — все никак не выкурим. Тогда командир говорит: «Кто пойдет вниз?» Вызвался я. Темно внизу. Но я его все же засек, схватил. Пытался он было стрелять, но я

его живо обезоружил. Повалить меня на землю хотел, тоже ничего у него не вышло. Прижал я его коленом к земле и зажег фонарик электрический. Смотрю — Зук.

— Ну,— говорю,— узнаешь меня, Зук?

Качает головой. Не узнает, мол.

— Погляди на мои руки,— говорю.— Неужто не помнишь? Но оружие я все равно могу держать!

Отводит глаза в сторону.

Я тогда говорю:

— Погляди, у меня тут и винтовка есть, и нож. Но тратить на тебя пулю я не стану, и нож не хочу пачкать. Я прикончу тебя, Зук, голыми руками, теми самыми руками, которые ты мне изувечил. Я тебя просто придушу.

— И придушил? — холодно спрашивает Зит.

— Придушил.

— Но неужели это был тот самый Зук?

— Конечно, тот самый... Впрочем, все зуки одинаковы.

Старый Мет тоже встает и кладет ему на плечо тяжелую руку.

— Значит — порядок! — говорит он и смеется.

И комната опять наполняется гомоном.

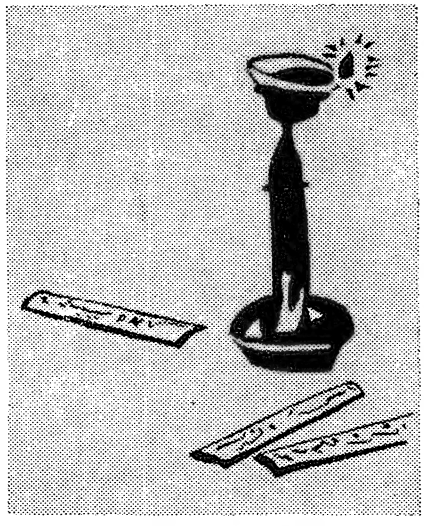
Вражеская артиллерия начинает свой ежедневный обстрел. Снаряды ложатся на плоскогорье Са-ну, возле большой реки. Но в деревне выстрелов никто не слышит — веселый шум голосов сильнее канонады.

Утром Тху уходит. Его провожают старый Мет и юная Зит. Идут лесом. За ночь ранено еще несколько деревьев са-ну. Из ран вытекает смола, густеет, искрится на солнце.

К небу тянется молодая поросль са-ну. Едва выглянув из земли, деревца уже устремляют к небу свои зеленые штыки.

Все трое глядят вдаль. Всюду, насколько хватает глаз,— лес да лес, вершины са-ну, без конца и края, до самого горизонта.

Слово поэтессам Вьетнама



Вьетнамские женщины обрабатывают землю, сажают рис, ткут, разводят шелковичных червей, разматывают шелковые коконы и — поют. Кое-где они даже ходят за плугом в поле, пашут. Раньше и работа в поле, и мелкая торговля всею тяжестью ложились на традиционное вьетнамское коромысло с корзинами, что носят женские плечи.

Они выходили из дома, когда еще не рассеялся утренний туман, и возвращались, когда сумерки уже опускались на землю. А еще раньше, до первых петухов, приходилось готовить еду для семьи.

В день мы дважды едим и оба раза при светильнике.
О милый, что еще остается розовым щекам и черным зубам! *

И все же они цели, они не могли не слагать метких и острых ка зао **:

Тело мое, словно полотнище розового шелка,
колышется среди ярмарки. Как знать,
в какие руки оно попадет?

Во вьетнамской классической литературе четыре крупных поэта, и двое из них — женщины.

Хо Суан Хыонг иронизирует, высмеивает, резко обличает феодальное общество. Стихи ее необычайно чисты и прозрачны, они совершенны по форме, красоту их трудно передать. Но в смехе поэтессы нередко слышны слезы, когда она говорит об участи женщины:

Женская доля — муж да дети,
Нынче и завтра — как было вчера.

Доан Тхи Дьем мастерски владела слогом; помимо того, для своего времени она была женщиной-ученым. Ее поэма «Жалобы солдатки» рассказывает о страданиях женщины, разлученной с мужем, который ушел сражаться с врагами короля-феодала.

Течет вода, но не рассеивается печаль.
Уже мы опустили руки и снова их соединяем.
Отойду на шаг и снова припадаю к одежде мужа.

В старом обществе не признавалось равенство женщин, а на самом деле они играли очень большую роль и в экономике, и в общественной жизни, особенно же в семье. Точно так же в фольклоре и в литературе поэтессы ничем не уступали поэтам-мужчинам.

Я хочу познакомить вас с несколькими стихотворениями современных вьетнамских поэтесс. Они рассказывают об участии наших женщин после Августовской революции 1945 года в войне Сопротив-

* По старинному обычаю считалось красивым покрывать зубы черным лаком. Розовые щеки и черные зубы — метафорическое обозначение молодой женщины.

** Народные песни.

ления против французских колонизаторов и в сегодняшнем Сопротивлении американским империалистам. Три поэтессы — Ван Дай (ум. в 1964 г.), Ань Тхо и Ханг Фыонг занимали видное место еще в движении «Новой поэзии» (1932—1945 гг.). Свежесть и лиризм, пламенная страстность и мечтательность, отличавшие поэтов, которые примыкали к этому движению,— отчасти и их заслуга. После Августовской революции они с рюкзаками за спиной шли в деревни, в отдаленные районы, в воинские части. Побывали среди своих сестер, обитающих и в горах, и на равнине.

Ань Тхо и Ханг Фыонг и сейчас на передовой линии борьбы против американцев.

Новое поколение вьетнамских поэтесс, к которому относятся и Суан Куинь, и Хай Иен, и Хоанг Тхи Минь Кхань, вводит нас в атмосферу свежести и молодости двадцатилетних. В их стихах видится искрящаяся радость будущего.

Наши поэтессы пользуются большой любовью читателей — взыскательной любовью трудящегося и сражающегося народа, которому всегда была дорога поэзия и красота.

СУАН ЗИЕУ, вьетнамский поэт

Ханой

ВАН ДАЙ

На марше

Мы целых три ночи на марше,
на марше,
на марше.
И вот, наконец,
в зеленых джунглях
краткий отдых наступает,
и шелковый ручей
извивается
у самых подошв наших,
и молодая ветка
почки свои раскрывает.
А цветы бан белеют на пригорке,
а цветы май над тропинкою
клонятся ароматные.
О цветы! Мы торопимся в путь,
грозный и горький.
Подождите нас! Распуститесь,
когда мы придем обратно...

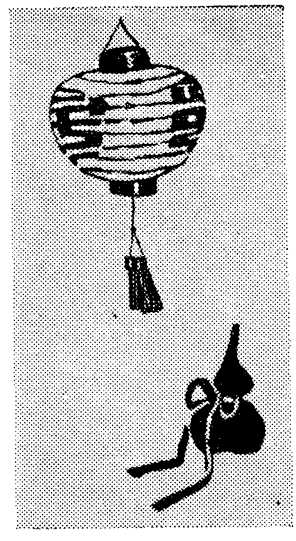
Солдатская куртка

Ветер холодный
мчится и дует с севера.
Где-то солдат бредет под мелким дождем.
На грошовые свои сбережения
покупаю материю,
куртку на вате стегаю
с думой о нем.

Игла летит — стежок за стежком,
и нитка прочна,
но шов неровен,
рука в шитье
еще не точна,
и куртка, пожалуй, еще холодна,
плохая защита от ветра,
но материя куртки на диво прочна,
она
народной любовью согрета.

На фронт посылаю я ватную куртку —
мое шитье.
Как узнать мне имя того,
кто будет носить ее?
...Этой ночью ветер насквозь
продувает жилище,
завывает и кружит.
Мне нечем укрыться теплее,
но я не чувствую стужи...

Перевод ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ



Возвращение

На легком коромысле рис в корзинах
несу домой, в деревню Зиенг-са.
На утренней дороге белеет пальмовая шляпа,
белеют и цветы по сторонам.
Направо и налево, окаймляя поля,
зеленый поднялся маис,
а фиолетовые баклажаны
растут на ближнем берегу реки.
В предутреннем тумане
желтеет свежая солома кровли.
В редеющих вечерних облаках
встают холмы, багряные, как знамя.
Деревня, о деревня!
Сегодня я любимого увижу.
Он ждет меня у дома моего.

Перевод ВЕРЫ ПОТАПОВОЙ

АНЬ ТХО

Кукушка

Посвящается моему отцу

Реки Тхыонг прекрасная вода
и красный цвет растения капока...
А тот, бредущий вдаль, бредет куда?
И почему бредет так одиноко?

Из сада ваев *, о, издалека,
кричит кукушка... Плод летит в ладони —
его краса чрезмерна и сладка,
словно тоска моя об отчем доме.

Как стар отец мой! Как он стар, как стар...
И ваев тех ему горька услада.
Где дочь его? Он ждать ее устал
средь бесполезно зреющего сада.

Был день, когда к ней сватался жених,—
как нравились они один другому!

* Вай — фруктовое дерево.

Был день, когда огромный гром возник.
И в этот гром она ушла из дому.

Уж десять лет тому. Уж десять лет!
Отец мой сед. Ему в дому так скучно.
Но долго ли еще? Дай мне ответ,
кукушка, о кукушка, о кукушка!

Кричи, как встарь, и снова будь права —
там, где цветы в цветенье пребывают,
где та ж река, и те же дерева,
но девушки другие пробегают.

Девушки плетут сети

Мы плетем сети т э —
это те,
что из слабого шелка, для маленькой рыбы.
Мы плетем сети з я —
и так зла
прочность белого нежного рами,
что огромные рыбы не могут ее побороть.

Как зелен луч, летящий в зелень пальм!
И впрямь — как зелен был! Но вот он впал
в иную вспышку: видно, как светлы
не пальм, но ружей сильные стволы —
в них дремлющее золото огня
рука разбудит на исходе дня.
В пакете белом белые бинты
впитать готовы алый цвет беды.
Тех девушек, что днем слагают сеть,
минувшей ночью осеняла смерть.
И новой ночью им вести войну,
а днем их клонит к жизни и ко сну.

Моток за мотком шелка,
шорох: с челноком играет рука —
это для сетей т э.
Клубок за клубком рами,
рано еще: должна быть велика
сеть з я — для крупной морской рыбы.

Как к лицам девушек благоволит муссон!
Он утешает их глаза и щеки.
И сон... как веки привлекает сон...
Но руки их, столь сведущие в шелке,
а также в рами, знают смысл войны.
Вчера за дюною во мгле неточной
тот самолет, за грех его вины,
был ими обращен лишь в дым ничтожный.

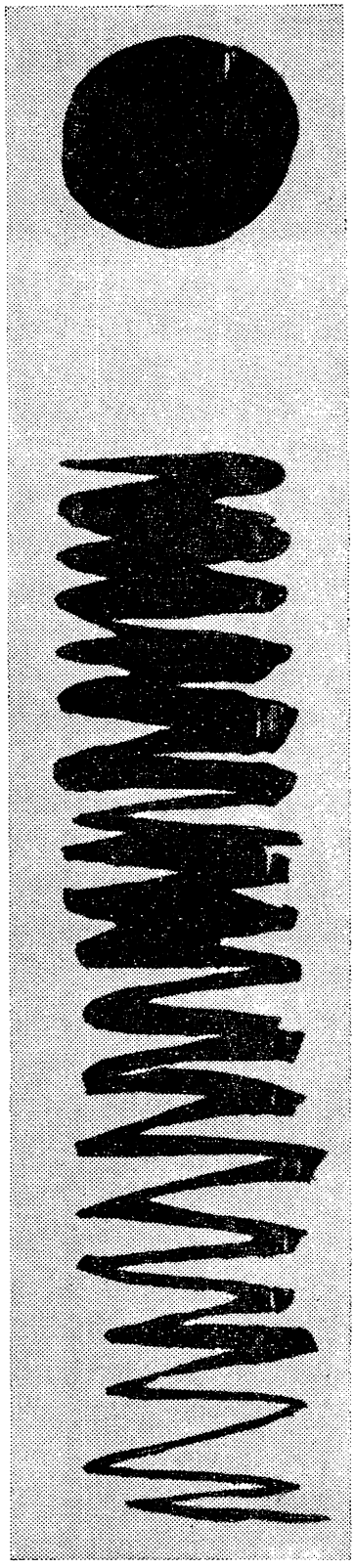
В сети т э прибавился лан шелка.
Увеличилась и сеть з я.
Какое прекрасное лето
синеет над крышей террасы!
Одинаково хороши тень кокосовой пальмы
и шум деревьев филао.

Как мы быстро плетем! Вот зачем это нам:
сети т э вдруг наполнятся рыбою л а м.
Да и кто же не жаждет, вернувшись домой,
насладиться за ужином рыбою м о й?

Сети з я углубляются в море не зря:
рыбы т х у, рыбы н у к не отведать нельзя!
Ну, а краб, что украшен зеленым значком
на железной груди и суровым зрачком?
В рыбу т я влюблены и уста, и глаза:
всем известны ее аромат и краса.
Сети — знак ожиданья, добра и еды.
О, как пахнут они глубиною воды!

Парни, идите к морю с сетями з я.
Парни, идите к морю с сетями т э.
Идите к морю с теми и другими сетями,
в которые мы вплетаем
прохладный лунный свет
и горький запах пороха.

Перевод БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ



ХАНГ ФЫОНГ

Мама учится грамоте

Твоей могиле, мама, тридцать лет.
И я на тридцать лет сегодня старше...
Но для воспоминаний сроков нет:
и ты приходишь в мою память та же,
и так же голубеют вечера,
и птицы небо крыльями линуют,
и на насесте петухи ликуют,
горит очаг... Все будто бы вчера.
Все близко, рядом, не издалека:
я глупые глаза свои таращу,
а ты склонилась над своей тетрадью,
понять пытаясь тайны языка.
Ты складываешь буквы, шевеля
старательными юными губами...
Я засыпаю, шепоту внемля,
приходит ночь, и угасает пламя,
в домах деревни гаснут огоньки...
И волосы твои легли на плечи,
как облака вечерние, легки.
А ты все слоги вдохновенно шепчешь.
Потом, склоняясь нежно надо мной,
ты слушаешь мой полусонный лепет...
На волосы твои остывший пепел,
как годы,
оседает сединой.
Но вдруг, заслышав чьи-то голоса,
ты вздрагиваешь и, тетрадку пряча,
грустнеешь... и опять струится пряжа,
и вновь мои слипаются глаза.

...Сегодня я сама уже седа,
и память о тебе вдвойне печальна:
ты, к букварю тянущаяся тайно,
о мать! Как нелегка твоя судьба!

ХАЙ ИЕН

Звезды — глаза сына

Сын! Ты вернулся из моих объятий
туда, где не найдет тебя война...
И на своей забывшей сон кровати,
как на чужой планете, я одна.
Звезда сверкнула... Да, звезда — не пуля!
Мой маленький! Ты где-то спишь сейчас,
а я, наивно сон твой карауля,
не в силах отвести от неба глаз:
твое лицо я вижу в звездном свете...
О, сколько звезд пронзило небеса!
Как будто бы всех стран, всех наций
дети
в мое окно глядят во все глаза,
глядят лукаво, замышляя шалость...
Но отчего так звезды далеки?
Не ты ли отодвинул их, прощаясь,
на сотни взмахов маленькой руки?
Мой сын! Ты спишь, тебя сразили звезды,
ребячьим сном от яви заслоня...
Но верю я — пройдя года, как версты,
мою звезду найдешь ты за меня.
Вдали от выстрелов, от наших буден
грозных,
твой лагерь спит в настороженной мгле,
ты тоже спишь и видишь сон о звездах
на не остывшей от огня земле.
Твое лицо я вижу в звездном свете,
твое лицо всю ночь в моем окне...
Ты спишь, мой сын, растешь
и, как все дети,
у самых звезд легко паришь во сне.
Расти, мой сын, чтобы хватило роста
достать эпохи нашей небеса!
Смотрю на звезды,
вглядываюсь в звезды,
как сыну повзрослевшему в глаза.

Перевод ИННЫ КАШЕЖЕВОЙ

ХОАНГ ТХИ МИНЬ КХАНЬ

* * *

Руки мои обессилят, устанут,
станут замедленными шаги.
Лоб мой исчертит жестокая старость,
и зрение тоже начнет шалить.
Не испытаю ни грусти, ни боли:
на сад мой цветущий спустилась мгла,
но жизни дала я намного больше,
чем у нее, быстротечной, взяла.
Я утром жила так светло и жадно,
что вечером мне ничего не жалко.

Перевод ТАМАРЫ ЖИРМУНСКОЙ

СУАН КУИНЬ

Деревья на дороге

Давно все это было, так давно...
Вот я гляжу в вагонное окно
и вижу, как одно во всей округе
печальное худое деревцо
от поезда скрывается в испуге
и дождь осенний бьет ему в лицо.
— Отец! Там дерево бежит, гляди!
Оно, наверно, поезда боится.
— Да что ты, дочка! Это поезд мчится,
а дерево осталось позади.

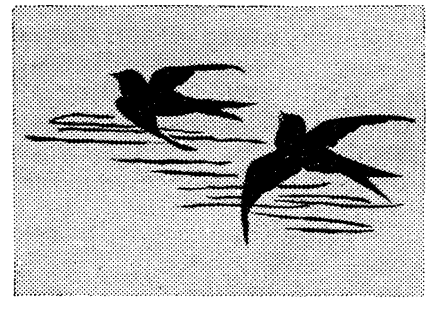
Тоскливо дереву, когда пуста дорога,
и одиноко поезду в пути...
О, если бы деревьев было много
и поезд мог их дружбу обрести!
Они бы поезд шелестом встречали
и, если он скрывается вдали,
не мучились бы так и не скучали
и долго вспоминать его могли.

С тех пор прошло не мало и не много —
пятнадцать лет, а кажется — столетий.
И снова та же старая дорога,
и снова в окна смотрят чьи-то дети.
И звонкий крик: — Сюда бегут деревья!
Они, наверно, поезд мой встречают!

Бегут деревья, полные доверья,
и ветками блестящими качают.
В их радостном привегливом сплетенье
ликует поезд — он не одинок.
И мать ребенку говорит: — Сынок!
Здесь прежде не было такой прохладной
тени.

Я слышу голос поезда вдали
и смех деревьев, звонкий и влюбленный.
Хранят ладони аромат земли,
ликующей, цветущей, обновленной.

Перевод Т. МАКАРОВОЙ



АНЬ ДЫК

Молодой писатель-прозаик, член Правления Освободительной ассоциации культуры Южного Вьетнама. Автор романа «Земляная гора», книги новелл «Письма с мыса Ка-мау» и др. В 1966 году получил премию имени Нгуен Динь Тиеу.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Рассказ

●

Перевод С. ТАРХАНОВОЙ

Это было к исходу года Дракона *, примерно на двадцать третий день двенадцатого лунного месяца, за неделю до новогоднего праздника Тет. Редактор нашей газеты товарищ Динь сказал мне:

— Послушай, ты не хотел бы съездить в Сео-дыок? Ведь тамошние жители своими силами уничтожили «стратегическое поселение». Можно будет написать очерк о том, как наши соотечественники, недавно вырвавшиеся из когтей врага, отпразднуют Новый год. Заодно уладишь ту старую историю с лодкой.

— Ну что ж, охотно поеду,— ответил я.

И на другой день стал собираться в путь. Сердце мое пело от радости.

По привычке газетчика я заранее рисовал себе свой приезд в Сео-дыок. Я увижу моих давних друзей, тех, кто, невзирая ни на какие трудности, продолжает борьбу с врагом. Одна за другой вставали передо мной волнующие картины: вот жители освобожденного села бросаются целовать стволы деревьев, с корнем выкорчеванных врагами из земли; кругом ни одного дома, повсюду валяются обрывки колючей проволоки. С реки доносится плеск воды, ритмичные удары весел...

Конечно, думал я, в моем очерке об освобождении Сео-дыока я обязательно все это опишу.

А между тем, дорогие читатели, есть одно дело, о котором я еще ничего вам не рассказал. Оно касается той истории с лодкой, которую Динь велел мне уладить. Как вы думаете, отчего Динь так на этом настаивал?

Поверьте мне, дорогие друзья, уже много лет из-за этой самой лодки меня мучает совесть! Да и не меня одного, но также и Диня, редактора нашей газеты. Понимаете ли, несколько лет назад мы с ним взяли лодку у наших земляков из Сео-дыока и до сих пор не смогли ее вернуть...

В тот год жителям Сео-дыока приходилось очень трудно.

---

* Лунный календарь во Вьетнаме состоит из повторяющихся двенадцатилетних циклов, в которых каждый год носит наименование какого-либо животного (год Дракона, год Мыши, год Обезьяны и т. п.). В текущем цикле год Дракона приходится на 1964 год.

А мы, газетчики, поначалу скрывались в окрестностях села, но когда противник создал отряды так называемой «гражданской обороны», которые проводили одну облаву за другой, мы больше не могли там оставаться. Мы ушли в джунгли, где основали нашу редакционную базу: у нас был старенький радиоприемник и допотопный ротатор. Чтобы не умереть с голоду, мы питались речными ракушками. И все-таки ухитрялись писать и печатать короткие статьи, содержавшие важные новости.

Так и шла работа месяцев пять или шесть, вплоть до самого конца пятьдесят девятого года. А потом мы получили приказ перебраться в другой район, где мы должны были создать нечто вроде походного агентства печати.

Нам предписывалось поздно вечером спуститься к реке, где будет ждать лодка. Взвалив на спины аппаратуру, мы с трудом выбрались из леса и вышли на берег, оба промокшие до нитки. Там спрятались в кустах и стали ждать. Но ждали напрасно: никто за нами не приезжал. Прошел час, за ним другой, и по-прежнему — ничего. Нас уже била нервная лихорадка. Уйти отсюда по суше не было никакой возможности, а ведь в приказе ясно сказано, чтобы мы уходили немедленно. И все это происходило в ночь на двадцать восьмой день последнего месяца года, накануне Тета. Согнувшись под тяжким грузом, мы брели вдоль реки, то поднимаясь вверх, то спускаясь по берегу вниз, и ждали, ждали...

Тут Динь возьми и скажи:

— Боюсь, что ребята, которые должны были приплыть за нами, попали в засаду!

Я ответил не сразу:

— Может быть... Но обождем еще немного...

Кто знает холодный, пронизывающий туман наших ночей, венчающих старый год? Пустынные, унылые берега! Ночь так темна, что не видно ни зги! Холод пробирает до костей, но мы не смеем закурить; донимают москиты, но мы не смеем даже хлопнуть себя по щеке. Прячась в кустах, пожираем глазами реку. И по-прежнему — ничего.

Наконец Динь говорит шепотом:

— Теперь, Бай, больше нет никакой надежды! Надо идти в село достать лодку. Другого выхода нет.

Я согласен. Кидаюсь исполнять приказ.

Динь торопливо шепчет:

— Гляди в оба, друг! Что, если тебя схватят?!

С гранатой в руке я неслышно выбираюсь из мокрых кустов.

У кого попросить лодку? Первой приходит на ум семья дедушки Тама. Эта семья непоколебимо верна Партии и Революции — она сохраняла эту верность в самые тяжкие, страшные времена.

Дедушке Таму почти что сравнялось семьдесят, но он еще крепкий старик. И единственный из жителей Сео-дыока до сих пор носит длинные волосы.

Там поселился в Сео-дыоке в те времена, когда дикие кабаны забегали чуть ли не на окраину села. Тигры подстерегали первых поселенцев, и каждую ночь та самая птица, что всегда провожает на охоту тигра, зловеще кричала: «бооонг, крааа, крааа...» Без преувеличения, дедушка Там — ходячая история нашего края. Он замечательный охотник, всегда возьмет дикого кабана или ласку, и нос у него такой чуткий, что ему достаточно поутру понюхать речную воду, и он сразу скажет, какие звери приходили ночью на водопой. Подчас от него самого веет всеми запахами нашего леса, горячей, плодородной земли, ароматом растений и моря...

...А вот, наконец, и откос, под которым спрятана лодка старого Тама. Я ощупью пробираюсь к ней. Нащупываю весла — смотри, они уже в

уключинах! Сейчас пойду к дедушке Таму и попрошу у него лодку. Вдруг раздается громкий злобный лай. Я застываю на месте. Слышу чьи-то быстрые шаги.

— Кто идет? — кричит дедушка Там.

А я отвечаю совсем тихо:

— Это я!

Дедушка подбегает ко мне в темноте, обнимает за плечи. Говорит:

— Только что закончил обход отряд «гражданской обороны».

Я торопливо объясняю, что с нами приключилось, и прошу разрешения взять лодку. Дедушка Там отвечает, не задумываясь:

— О чем толковать, сынок, бери!

Возвращаюсь к берегу, спускаюсь к лодке. Отвязываю железную цепь, а она вдруг как звякнет! И тут как назло слышатся чьи-то тяжелые шаги... Дедушка Там предостерегающе кашляет.

Я сразу осознаю опасность: видно, вернулся патруль. Крепко сжимая в руках лодочную цепь, сдерживаю дыхание, сердце бешено колотится. Наконец, патруль уходит. Я осторожно высвобождаю цепь, вывожу из-под откоса лодку и плыву к берегу, где меня ждет Динь.

И вот в эту непроглядную ночь, в эту последнюю ночь старого года мы с Динем покидаем Сео-дыок в лодке старого Тама. Я шарю по дну в поисках второй пары весел и вдруг обнаруживаю под рулем четыре огромных, горячих рисовых пирога да еще две пачки самого лучшего чаю. Чудеса! И зачем понадобилось прятать в лодке такую прорву пирогов и чая! Уж не о нас ли позаботился старый Там?!.

Так мы и расстались с Сео-дыоком. Вернуть старому Таму его лодку нам не удалось. Во-первых, в ту пору всеобщего восстания * мы были заняты более важными делами. Во-вторых, противник вдвое увеличил число сторожевых постов вокруг Сео-дыока, и солдаты врага стали еще бдительнее и злее. А потом Сео-дыок силой превратили в «стратегическое поселение», и долго мы не имели оттуда никаких вестей...

Только сегодня я, наконец, смогу вернуться туда. Редакция снабдила меня деньгами, которые я должен передать старому Таму в уплату за лодку...

Так получилось, что я, как и в тот раз, прибыл в Сео-дыок на двадцать восьмой день последнего лунного месяца, накануне новогоднего праздника Тет... В деревнях, тянущихся вдоль реки, царило праздничное оживление. На берег высыпали женщины и девушки, занятые мытьем посуды, они весело болтали и смеялись. Ребятишки пели, водили хороводы. А сколько народу толпилось вокруг печей, где готовили к пиршеству лапшу. Сумерки сгущались, но даже в темноте я различал ослепительно белые пучки лапши, свисающие с краев огромных глиняных горшков. Над домами поднимались клубы горячего дыма... Все это я увидел. И еще я увидел колючую проволоку. Но она нигде не валялась обрывками, о нет! Туго натянутая проволока опоясывала всю деревню.

А вот и тот самый откос... На шесте, вбитом у воды, табличка с надписью. Читаю: «Мы защитим наше село или умрем!» Тревога в моем сердце утихла. Да, наши люди превратили Сео-дыок в свое собственное «стратегическое поселение»: сюда не ступит нога врага!

Ночь спускается медленно. На крышах уже заплясали отблески огней, в каждом доме готовят сейчас пироги!

Мрак густеет, но все равно я в любой темноте отыщу причал у дома старого Тама, где несколько лет назад отвязал лодку. Гляжу — передо мной вырастает высокая насыпь, в ней четыре глубокие бойницы. И лодочный навес тоже обнесен колючей проволокой. Я причаливаю к берегу

---

* Имеется в виду вооруженное восстание в Южном Вьетнаме в 1960 году.

и привязываю лодку. И снова, как тогда, в моих руках громко позвякивает железная цепь. Но сердце бьется спокойно.

На этот раз я нарочно бренчу цепью — пусть старый Там готовится встретить гостя. Освобожденная земля... Свобода... Эти слова сейчас для меня — осязаемая реальность. Свобода — это значит, что я могу свободно, не таясь, звенеть лодочной цепью. И так же свободно, неторопливо я поднимаюсь по тропинке. И, наконец, свободно и открыто ступаю на порог дома, вокруг которого некогда так упорно кружили вражеские патрули...

Нет, это не старый Там. Это его сын Хай Кан, и с ним несколько бойцов!

Они сидят посреди комнаты на топчанах и ужинают. Рядом лежит оружие.

Вхожу. Они не сразу меня узнают. Лишь минуту спустя Хай Кан, вскрикнув, бросается обнимать меня. Удивленно моргая, он восклицает:

— О небо! Это же наш Бай!

— Да, братец Хай, это я!

— Сколько уже лет, как ты уехал из Сео-дыока! Где же ты был все это время?

— Работал, братец Хай, воевал! А вы-то как? И где же дедушка Там?

— Отец?

Одно только слово произнес Хай Кан и сразу смолк.

Он долго молчал.

— Отец умер,— произнес он тихо.

Дедушка Там умер! Боль лишила меня дара речи. И Хай Кан так же безмолвно стоял рядом. Потом он потянул меня за рукав, приглашая сесть на топчан.

Кто-то крикнул нам из глубины комнаты:

— Вот что, о прошлом поговорим после! А сейчас пусть он выпьет и закусит с нами!

Сажусь на топчан. Только теперь я узнаю старых знакомых. И того, кто сейчас говорил, я тоже знаю — это дядюшка Ты Дыонг.

В те дни, когда в Сео-дыоке хозяйничал враг, дядюшка Ты Дыонг служил в отряде «гражданской обороны». Однажды, во время вражеской облавы на нашу лесную базу, дядюшка чуть не наступил мне на спину, но быстро нашелся и, желая во что бы то ни стало меня спасти, прошептал: «Лежи тихо, не шевелись!»

Да, я знаю всех, кто сейчас сидит в этом доме за мирной трапезой. Почти все они по принуждению служили в отряде «гражданской обороны». Это они гонялись за мной и моими друзьями, свирепо размахивая палками, но в то же время именно они были самыми верными нашими защитниками. Они пережили вместе с родным селом самое тяжелое в его истории время, долго были они пленниками, томящимися за колючей проволокой. Зато теперь они стали настоящими партизанами, отважными бойцами, которым то же самое заграждение из колючей проволоки служит защитой.

Они угощают меня рисовой водкой— прозрачной и чистой, как в лучшие дни Сео-дыока. Я гляжу на пузырьки в моем стакане и с грустью вспоминаю дедушку Тама.

Отчего он умер, я так и не знаю. Братец Хай Кан ничего мне не сказал.

— Пей, Бай, дорогой! — раздается чей-то голос. Я медленно, маленькими глотками пью крепкую водку. Но вот к моему стакану снова тянется рука с бутылкой.

— Не надо,— говорю я, придерживая руку приятеля,— мне скоро уходить!

— Куда ты пойдешь? Ведь сегодня Тет! Где ты будешь мыкаться в такую ночь?

И Хай Кан стал горячо убеждать меня:

— Посиди с нами, Бай, дорогой! Заночуй у меня, и я расскажу тебе, как погиб отец...

Скромный новогодний ужин длился недолго. Один за другим ушли бойцы: кто — сторожить дороги, кто — охранять село.

Накормив меня, жена Хай Кана сказала мужу:

— Я иду на женское собрание. Нам надо решить, как завтра доставить новогодние подарки бойцам. А ты посиди дома, поговори с Баем.

Она ушла, и мы остались с Хай Каном одни. Он долго молчал. И, наконец, начал неторопливый рассказ:

— В ту ночь, когда ты пришел за лодкой, отец как раз задумал отвезти вам — на вашу лесную базу — пироги и чай. Он сильно тревожился за вас, боялся, не приуныли ли вы там под Новый год. Жена моя, по случаю Тета, как раз приготовила рисовые пироги. Отец отнес все в лодку и спрятал под досками. Он решил, как стемнеет, съездить к вам и порадовать гостинцами. Он не ожидал, что вражеский патруль будет кружить вокруг нашего дома до поздней ночи...

— Вот, значит, отчего пироги были еще совсем теплые! — воскликнул я.— Знаешь, братец Хай, мы очень виноваты перед твоим отцом. Ведь мы не вернули лодку... Конечно, теперь дела не поправишь, но мне велено передать тебе деньги, чтоб возместить убыток.

И снова Хай надолго умолк. Потом так посмотрел на меня, что я понял — история с лодкой нисколько его не занимает.

— Бай, дорогой,— заговорил он, наконец,— отец умер ровно год назад. Враги принуждали тогда всех перебираться в «стратегические поселения». Никто не хотел уходить из родных мест. А наш дом — сам знаешь — стоит прямо у входа в село, он всегда первым попадается на глаза, и потому они особенно наседали на нас, требуя, чтобы мы ушли. Наверно, раз десять вваливались они к нам, но отец всякий раз находил предлог, чтобы отвертеться.

А нам отец говорил:

— Наш дом — первый у входа в село. Поэтому и семья наша должна быть для всех примером.

И в самом деле. Мы не уступали, и никто в селе не уходил. Вражеские солдаты всякий раз требовали, чтобы мы убрались подобру-поздорову. А отец отвечал:

— Нет, никуда мы не пойдем.

Однажды к нам нагрянул большой отряд. Солдаты кричали и уже приготовились было ломать дом. А отец взял отточенную кривую саблю и встал посреди комнаты...

— Я не шучу,— спокойно сказал он солдатам,— тому, кто посмеет выломать хотя бы одну балку, я тут же снесу голову.

И никто из солдат не посмел тронуть дом.

Видя, что с нами шутки плохи, враги ворвались во двор к тетушке Шау Он. Они думали, что вдову им легче будет запугать. Но к их удивлению, тетушка Шау Он тоже наотрез отказалась покинуть родную деревню.

Тогда солдаты решили спалить ее дом. А тетушка Шау собрала вокруг себя всех своих внуков, самого маленького взяла на руки и заявила:

— Что ж, заодно сожгите и меня с ребятишками! — Услыхав эти слова, солдат, уже готовившийся поджечь дом, растерянно опустил зажженный факел. Вот так и на этот раз врагам пришлось уйти из нашего села несолоно хлебавши.

Узнав об этом, начальник района Лонг Док чуть не задохнулся от злобы. Он прогнал начальника гарнизона в Сео-дыоке и назначил на его место другого. Нового начальника звали Дом, это был отъявленный негодяй.

— Неужто и мне терять место из-за каких-то там жителей Сео-дыока! — завопил он. И на следующий же день, после того как его назначили, пришел в село со взводом солдат. Завидев их еще издалека, отец не сдвинулся с места. На этот раз он ждал приближения врагов с какой-то особой торжественностью. Я понимал, что нам предстоит суровая схватка — жестокость Дома всем была известна. И потому не отходил от отца и не отрывал глаз от топора, спрятанного за дверью.

Солдаты идут к деревне... Наш дом первый, нам первым предстоит бой.

Еще даже не ступив во двор, Дом схватил свой кольт и выстрелил в воздух.

— Кто здесь хозяин? — заорал он.

— Я,— сухо ответил отец.

Начальник гарнизона ринулся в дом.

Он оглядел нас обоих и, поигрывая револьвером, спросил:

— Ах, так вы хозяин? Знаете, наверно, какое у меня к вам дело?

Отец поднялся с топчана.

— Это совсем не важно, какое дело. Все можно уладить. Вот только обождите немного!

Начальник гарнизона решил, что отец его испугался. Подмигнув солдатам, он уселся на топчан, скрестил ноги и закурил ароматную сигарету.

— Что ж, отлично! Старик соберет свои вещи. У вас что, и лодка есть?

— А как же!

Но отец вовсе не думал ни собирать вещи, ни готовить лодку. Открыв шкаф, где хранились его молитвенные принадлежности, он достал длинный халат из черного шелка. Обычно отец облачался в него только по праздникам. Но тут он медленно надел его на себя и бережно оправил складки.

Потом, вскинув руки, отец распустил свои длинные волосы.

Солдаты глазели на эти приготовления, ничего не понимая.

Но отец даже не смотрел в их сторону. Одна только мысль занимала его. Он взял несколько благовонных палочек и приказал:

— А ну-ка, Хай, зажги огонь!

Я дрожащими пальцами зажег спичку. Палочки горели, а отец, став на колени перед алтарем наших предков, зашептал слова молитвы:

— О предки мои! О родичи! О тени павших героев! Этот дом, эта земля принадлежат и вам, о предки мои и родичи! Революция сделала меня человеком, и вот сюда пришли эти люди, они хотят заставить меня покинуть родной дом. Я хочу быть достойным даров моих предков, даров революции. И потому хочу умереть здесь, в моем доме, у вас на глазах, мои предки и вы, мои родичи, герои революции...

— Эй, старик, замолчи!— взревел начальник гарнизона, не вынеся этой сцены. Но отец уже кончил поклоны и молитву.

Схватив саблю, стоявшую в углу комнаты, он резко повернулся лицом к врагу:

— Я уладил свои дела. Говорите, что вам от меня нужно?

Начальник гарнизона побледнел как полотно и от страха не мог выговорить ни слова. Вскинув револьвер, он прицелился в отца... А отец замахнулся на него саблей. Опрометью кинувшись к двери, я схватил спрятанный за ней топор. Солдаты щелкнули затворами ружей...

Отец приблизил острие сабли к груди Дома. Начальник гарнизона попятился. Рука его, державшая револьвер, задрожала. И вдруг он вскинул кольт. Грянул выстрел.

По лицу моего отца текла кровь, но он продолжал надвигаться на врага. Тот вдруг выронил кольт, взревел от ужаса и уже повернулся было, чтобы бежать. Но разве мог я допустить, чтобы он бежал? Я метнул в него топор... Он плашмя рухнул на пол...

Хай Кан умолк. Взяв со стола бутылку, он наполнил стакан. Водка перелилась через край. Хай Кан поднял стакан, разом опорожнил его и снова впился взглядом в ночную тьму. Тень его неподвижно лежала на стене дома. Я тихо спросил:

— А что же солдаты — не стреляли?

Хай Кан покачал головой.

— Нет, не стреляли. И мне тогда тоже было не до них. Бросив топор, я кинулся к отцу, приподнял его... Но отец уже перестал дышать... Один из солдат протянул мне отцовскую саблю и сказал:

— Беги, мы все сделаем, как надо!

Я поглядел на него в замешательстве. Но другие солдаты тоже стали меня торопить:

— Беги, ну беги же, скорей!

Они подняли тело моего отца и прислонили к стене, рядом положили топор. Тут только я понял, что у них на уме, и, прихватив саблю, ринулся в сад. Я успел убежать довольно далеко, когда они закричали:

— Люди! Сюда, люди! Старый Там зарубил господина начальника гарнизона.

Братец Хай Кан поднял руку, потер грудь:

— Меня схватили лишь через месяц. Но никто и не подозревал, что начальника гарнизона убил я. Об этом знали только его солдаты... Когда я вышел на волю и вернулся в село, я увидел, что все оно оцеплено колючей проволокой. Оказывается, после смерти отца никто из жителей не согласился уйти отсюда. Тогда враги привезли тонны колючей проволоки и превратили наше село в «стратегическое поселение». Не было врагам покоя здесь весь этот год — то демонстрация, то саботаж... Сколько раз им приходилось присылать целую роту, чтобы усмирять моих односельчан!.. Но под конец...— на мгновение Хай Кан остановился.— А скажи-ка, знаешь ты, как мы разрушили это самое «стратегическое поселение»?

— Слыхал кое-что, но толком не знаю!

Хай Кан рассмеялся:

— Здесь мы по-своему справились с врагом. Разрушили все его сооружения среди бела дня!

— Неужто среди бела дня? — спросил я.

Хай Кан кивнул головой.

— Вот именно! Иначе было нельзя. Возьмись мы за это дело ночью, нам бы не провести в село наших бойцов.

— Бойцов? Это каких же бойцов?

— Известно каких — бойцов нашей Освободительной армии. Без них нам бы не справиться с врагом! Понимаешь, разрушить «стратегическое поселение» — так вот просто — невозможно! Надо еще вывести из строя гарнизон! Вот мы и связались с местными силами Освобождения! Самое трудно было провести наших бойцов в село.

— Как, вы спрятали наших бойцов в самом селе?

— Ну, конечно! Если хорошенько пораскинуть мозгами, это не так уж трудно, как кажется. Все семьи, которым мы предложили спрятать бойцов, согласились помочь. Они говорили только одно:

— Хорошо бы наша затея удалась!

А я говорил им:

— Не бойтесь! Уж если мы что затеяли, все будет хорошо!

— Ну, если так,— сказали односельчане,— то мы спрячем наших бойцов за пологи от москитов, они выйдут оттуда и начнут стрелять, а мы тем временем разрушим «стратегическое поселение».

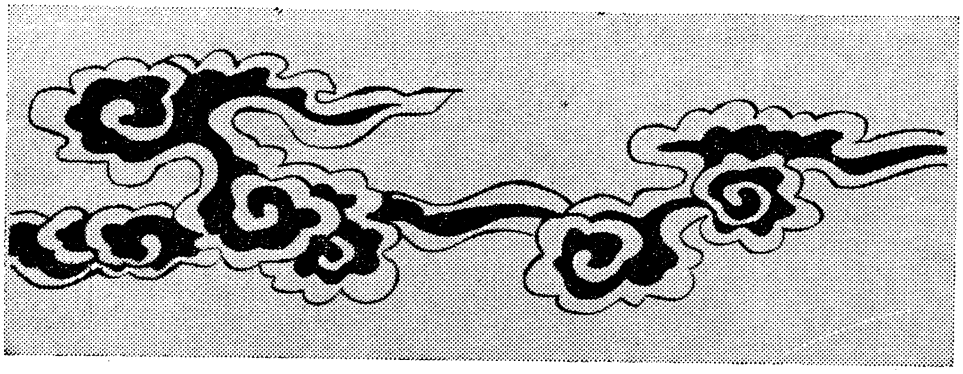
И той же ночью мы провели наших бойцов в деревню. Наутро солдаты вышли из караульного помещения и стали гордо прогуливаться по селу. Тут-то наши бойцы и встретили их яростным огнем. Попадали враги там и сям, кое-кто побежал назад, к караульному помещению, но не тут-то было. Мы велели солдатам сдаться. Потом разрушили караульный пост и все вражеские укрепления, можно сказать, смели с лица земли. А село, понятно, трогать не стали. Теперь село наше, в наших руках, зачем же нам его разрушать!

Хай Кан умолк.

Вернее, он давно уже умолк. Но я гляжу в густой ночной мрак и по-прежнему слышу его голос. Выстрелы, прогремевшие среди бела дня, и вопли охваченных ужасом врагов, и голос старого Тама: «О предки мои! О родичи! О тени павших героев! Этот дом, эта земля принадлежат и вам, о предки мои и родичи! Революция сделала меня человеком...»

Я слышу этот голос, эти слова! И кажется, будто земля у моих ног пылает огнем и на ней выступает алая кровь. Кровь старого Тама...

Я оборачиваюсь — рядом со мной Хай Кан. И Хай Кан становится на колени перед алтарем своих предков. Перед тем самым алтарем, где молился его отец... И я снова слышу запах благовоний... И в эти мгновения уходит старый год и начинается новый...



Строки гнева и надежды

МАРТИН КАРТЕР (ГВИАНА)

Красота моей любимой

Если бы я захотел,
Я живописал бы ночь —
Звездную карту над бездной морской,
Бездну морскую в сиянье звезд,
Сравнил бы любимую с нежным цветком,
Который свет излучает в ночь.

О, если бы я захотел,
Я мог бы тотчас закрыть глаза
И все эти образы вызвать в душе.

Но нынче новые времена,
И где бы я ни шагал,
Восстанье всюду идет со мной,
Словно благословенье:
Борьба в Малайе,
Борьба во Вьетнаме,
Борьба в Индостане.
Борется Африка,
Мой старший товарищ.

Как старший товарищ, рядом со мной
Ветер свободы.
И с чем сравнить красоту любимой?
Да с ликованием всей земли,
Освобожденной от рабства!

ДЖУДИ МАЙЛС

Самосожжение

В голосе диктора холод
Наигранного коммерческого ужаса:
«Вьетнам. Еще один буддийский монах
Сжег себя в знак протеста...»
На экране телевизора все расплывается
И скачком входит в фокус.
В потрясенном сознании
Одна мысль: прочь отсюда!

Здесь покой, здесь ничто не тревожит
Свежие стружки солнца на склонах холмов,
Здесь в жертву огню мы приносим
Только ветки деревьев,
Здесь окаймленное морем небо
Полыхает лишь от лучей заката —
Здесь я не радуюсь миру.
Я думаю о тех, о других.
Я уповаю на то, что их вера
Не ослабнет и поведет их на новые подвиги.
А наша вера носится в воздухе,
Словно пыль в бесконечную засуху,
Когда все позабыло о смене времен года.

Вероятно, они могли бы
Принести в жертву что-нибудь
Более благовонное, чем горящая плоть,
Но в итоге ведь пламя сжигает все,
Кроме любви к свободе

Да светлой стальной веры
В то, что другие люди
Достойны твоей жертвы.

Поэтому
В той далекой стране
Обычная урна обычного праха —
Бессмертная сила, которая заставляет
Хоть одного человека,
Не щадя своей жизни, искать
Более честный и более мирный мир.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

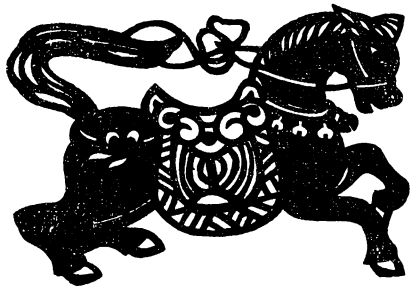
ВОЛЬФГАНГ ЕНИГ (ГДР)

Триолеты воспоминаний

Посвящается Мон Ха, которая вернулась во Вьетнам.

В твоих глазах, наполненных печалью,
На самом дне мерцал зеленый свет,
Как цвет весны — зеленый мягкий цвет.
Твои глаза, что полнились печалью,
То ненависть, то нежность излучали.
Но на лице давно улыбки нет.
В твоих глазах, наполненных печалью,
На самом дне мерцал зеленый свет.
По улицам бродили мы с тобою,
Что солнцем разукрашены на диво
И пестротою детворы счастливой.
Но в небе — нарушители покоя,
Но под асфальтом — гнойные нарывы.
А мы брели по улицам с тобою,
Что солнцем разукрашены на диво ..

Перевод К. БОГАТЫРЕВА



М. БАРЗАНДЖИ (ИРАК)

Патриоты Курдистана вьетнамскому народу

На Востоке,
Там, где мысли всех о борющейся стране,
На Востоке,
Где мудры до неба пагоды,
Лязг оружия
Оскверняет,
Уродует
Чистоту прудов
Застенчивых,
Заплаканных.
Вой шрапнели...
Где ж вы, духи добрые?!
Земля умирает под подметками,
Страх в дворцы стучится бетонные,
Ужас рвет сердца,
Вцепившись хваткой мертвою,
Хижины в огонь оделись,

Вздрагивают соломенными
крышами...
Две сражаются идеи —
Новая
И старая, отжившая.
Различны виды здесь огня
И смерти,
Две разные сражаются идеи
Во Вьетнаме,
Обагренном кровью.

Бой идет,
И мир тому — свидетель.
О, народ Вьетнама,
Ты — в бою разведчик!
Мы в одном строю идем
И ощущаем твои дружеские плечи,
И глаза светлы твоим огнем.
И каждый шаг твой,
И каждый выстрел,
И каждое звено цепей
Разорванных,
И каждый коршун,
Снятый с высоты,
И крепость каждая,
Тобою взятая,—
Все это в наши души
Вселяет радость.
И поле битвы,
И твоя гордость —
Все это
Приближает час
Восхода.

Перевод ЛЬВА ХАЛИФА

МАНУЭЛЬ НАВАРРО ЛУНА (КУБА)

Ода Южному Вьетнаму

Вперед,
Южный Вьетнам!

Избороздили лоб твой борозды
гнева.
Черные раны твои, рваные
по краям,
Стали траншеями, глубокими,
как твое небо.

Кто может убить народ?
Яростен пульс его крови!
Солнца не скроешь.

Южный Вьетнам,
Вперед!

Там, в глубине джунглей и лет
Начиналась твоя отвага...
И бамбук — неплохая шпага,
Если другой нет.

Ты лицо свое открываешь нам,
Приоткрывая былое
В лицах Чьеу, Куанг Чунга,
Ле Лоя...*

Вперед,
Южный Вьетнам!

Узнает Донг-най, услышит Меконг,
А с ними — знамена
золотозвездные,
Как салютом взорвется в воздухе
Долгожданной победы гонг!

Это время придет.
И история впишет в графу
Новое грозное врагам
Дьен-бьен-фу...

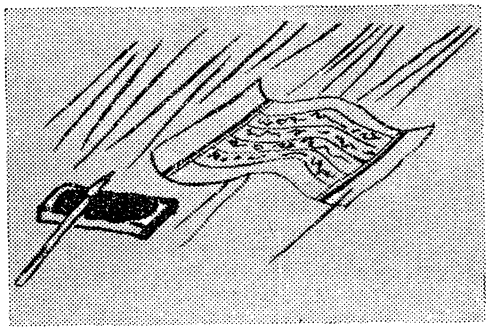
Южный Вьетнам,
Вперед!

Перевод РИММЫ КАЗАКОВОЙ

---

* Герои национально-освободительной борьбы вьетнамского народа в прошлые века.

ЭЛЬ ИНДИО НАБОРИ



Элегия о Нгуен Ван Чое

Нгуен Ван Чой — это имя
напоминает полет красивый
экспресса, что, словно птица,
в будущее стремится.

Когда думаю об отваге,
твое имя звучит командой
в четыре шага:
Нгу...ен Ван Чой!
Я вижу, как во Вьетнаме,
где каждый солдат — герой,
их в бой ведут капитаны
и слышу сквозь канонаду:
Нгу...ен Ван Чой!

Как видишь, тебя не убили —
вместе с народом имя
летит под трепещущим флагом
военной песней в четыре шага.

Это Тейлор и Макнамара —
уже мертвецы, хоть сегодня
они, развалившись, пьют виски,
пьют, будто кровь
убитых детей и женщин.

Хоть мост Конг-ли, что ты заминировал,
не бросил в воздух с огромной силой
наемников, пушки, танки
вместе с ненавистными янки,
История обязательно сделает это.

И тогда на нашей планете,
вымытой и очищенной,
не останется больше хищников,
ненасытных и алчных,
что питаются детским плачем.

На месте казни твоей, орошенном
кровью,
там, во дворе тюрьмы Ти-хоа,
вырастет огромное дерево,
его корни разрушат тюремные стены,

и на ветвях, высоких и гордых,
поднимется флаг твоего народа,
свободный и независимый.
Это случится скоро!

Нгуен Ван Чой, твое имя
напоминает полет красивый
экспресса, что, словно птица,
в будущее стремится.

Перевод ЮРИЯ ИСАЕВА

ГАЙТАВ ЦЭВЭГМИДИЙН (МОНГОЛИЯ)

Уничтожить войну!

Война!
Что это значит — война?
Кому она
и зачем нужна?
Война — лафетов зеленых ряд?
Шеренги шагающих в марше солдат?
А может быть, это смертельный яд?
Война — это ад!
Война — это трупов застывших толпа...
Война — это голые черепа,
скелеты и остовы
бывших домов,
и тысячи тысяч
могильных холмов,
и тысячи тысяч
внезапных смертей,
предсмертные хрипы
и стоны детей.
Оплавленный камень...
Под ним навсегда
шумливые прежде
уснут города.
Война —
костылей и протезов стук,
несчетные числа
потерь и разлук...
Империалистам
война нужна,
их совесть,
как вьюжная ночь, черна.
Они на людей похожи с лица,
но волчьи,
волчьи у них сердца.

Они отливают орудия смерти,
как будто бы бозы-пельмени вертят.
Легко,
будто кашу простую варят,
жизнью и смертью
они базарят.

Люди! А мы —
мы слабые, что ли?
Мы не дадим
разбойникам воли.
Руки им скрутим,
их свяжем, стреножим,
замыслы их
разобьем, уничтожим.
Сильны мы, могучи,
а гнев наш — неистов:
позорны деянья
империалистов!
Все громче, наглее
безумцев угрозы,
военные базы — не мирные бозы.
Все ближе война,
она уже рядом,
там пули и бомбы
сыплются градом.
Войны не хотим мы.
Мы против войны.
Мы, люди,
войну уничтожить должны!

Перевод
ГЕННАДИЯ ЯРОСЛАВЦЕВА

ХАЛИНА ПОСВЯТОВСКАЯ

(ПОЛЬША)

Вьетнам 1965

I

к счастью
родители меня наделили
быстро сгорающей плотью
достаточно капнуть бензина
в легкие складки платья
достаточно крошки серы
на темной спичечной головке

не говори о любви
не говори о запахах леса
о моих молодых волосах
о руках моих

я запалила этот костер
дабы осветить всю землю

я на ощупь шла и в потемках

не говори о руках моих
не вспоминай о лесе

гляди
я горю от любви

II

не знаю зачем я такое сделала
мать была у меня и отец
а младший братишка шалил по дороге в школу
я любила животных дружила даже со звездами
оплакивала каждый умерший цветок

для чего для чего я сделала это

обо мне написали газеты
один репортер успел даже сфотографировать
мои догорающие останки
от меня осталось не много
пригоршня
две

мать не смогла прочесть мое имя на пепле
братишка топтался нетерпеливо
и видя что она ослепла от горя
сбежал
уличный метельщик посыпал песком
темное пятно на тротуаре

до сих пор не знаю зачем

я отсутствую я упрятана в ветер
никто не желает меня замечать
никто никогда не гладил мои волосы
а они у меня мягкие и сияющие
как летний день
губы созданы для поцелуев

III

давным-давно
мою детскую веру
убила жестокость

я могла бы сочинить пьесу
или стихи
могла бы вырастить нескольких детей
научить их ненависти

могла бы войти в собственный дом
распахнуть окно
вдохнуть вечерний воздух
послушать о чем заболтались листья

я могла улыбаться людям
говорить доброе утро
говорить до свиданья
говорить какое у вас красивое платье

могла приучить зеленоглазого кота
ходить за мной по пятам
и возможно он умер бы от печали
когда бы я умерла

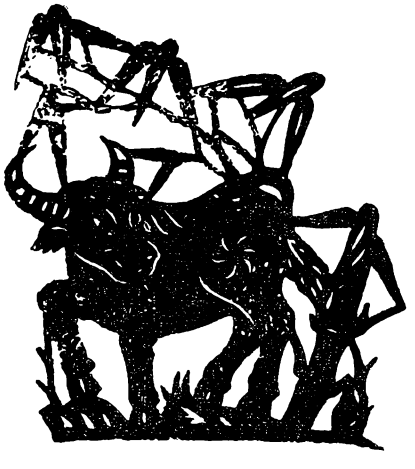
давным-давно
я пережила все это
в кратчайшее из мгновений
а после стала ничем

убаюкайте вашу совесть
не глядите в догорающий жар

Перевод АСАРА ЭППЕЛЯ

ДОРА ТЕЙТЕЛЬБОЙМ

(США)



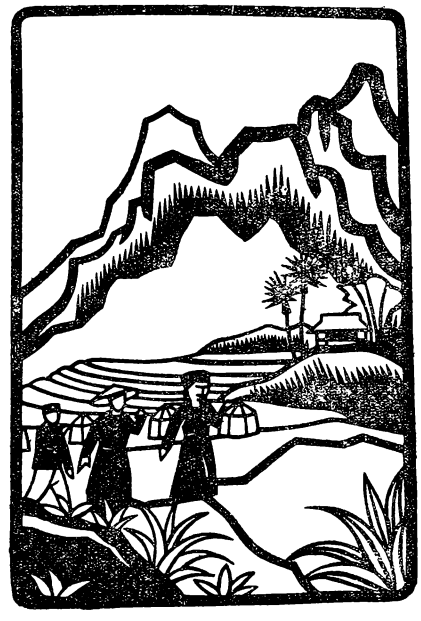
Живой факел

Кто
На берегу Потомака, в порту затонувшего
смеха,
Меж кораблем подплывшего вечера и
огромным металлическим сфинксом,
Кто
Преградил неожиданно путь
Стальному потоку,
И граду шагов,
И бензиновой крови, и гранитному сердцу,
И безумию в целлофановой упаковке?

Какое
Странное зеркало галлюцинаций
Принесло сюда из Вьетнама,
Из Да-нанга, из Кан-тхо
Красные отблески крестьянских хижин,
Где в пламени лопаются
Глаза детей,
Где стелется дым над пожарами джунглей?

Какие
Могучие ветры
Вернули из Тхан-чи, из Шок-чанга
Рой разъяренных пчел,
Огненных пчел,
Собирающих черный отравленный мед
Со свинцовых цветков,
Какие могучие ветры отогнали их
в собственный улей,
Спрятанный под землей?
Какие антенны
Сумели поймать крики боли и ужаса,
Рвущиеся из Сайгона, из Шолона и Тяу-дока,
Эти крики распятых вьетнамских детей,
Чтобы их бросить
К воротам Белого дома,
Под ноги охране, в лес железобетона,
В урну серого утра,
Когда золотая глотка
Отрыгает груды костей?
Это отец,
Он пришел сюда с ребенком в руках,
Пришел, чтобы вспыхнуть как факел.
Огонь пожаров Вьетнама
Зажег его сердце,
И жаркому пламени
Стало тесно в его груди,
И от жаркого пламени
Стало больно его глазам,
И в пальцах едкого дыма
Стала рваться нить его жизни,
И огромный поток огня
Через двери и окна хлынул наружу,
И ветер
На равнинах времен
Раздувает горячие угли,
И на теле нынешней ночи,
Как на стене Балтасара,
Проступают грозные письмена.
На Берегу Потомака,
В алюминиевых сетях
Пляшут пленные искры —
Это горит
Совесть страны,
Горит, горит, горит
Заживо.

Перевод М. ВАКСМАХЕРА



ШАРЛЬ ГРИВЕЛЬ (ФРАНЦИЯ)

Война показывает нам клыки

Стихи, посвященные безмолвным свидетелям войн и убийств, совершенных в наши дни во Вьетнаме и в других странах.

Война, окровавлены в крик твои руки,
война, твои руки хватают, как клещи,
война,
я слышу огонь бесноватый твоих
безмолвных орудий,
полночную пляску
натравленных на добычу солдат,
этих собак на стойке.
Вздымаются локти, чтоб вон убирались они,
но безуспешно.
Они глядят на вас так, как пьяница смотрит
на влажный очерк своей руки в глубине
бутылки;
убийца решает вашу судьбу, он занят только
ножами.
Война —
становитесь к стене и дадут вам свободу;
покрытая кровью военная техника —
вот вам и все,
я слышу, сдаются в ночи оцепенелые пальцы;

осевшая лошадь, бездушное тело,
уже не поднимется;
споткнувшись, женщина упала,
ее искаженное болью лицо
уткнулось в лужу,
она прижимает к себе ребенка
и гаснет.

■ ■ ■

Добрые люди, я расскажу вам,
как пресловутый этот комфорт,
захребетник свирепый, высасывал деньги,
и мир простодушный в блаженных
слепых городах
умножал изобилье,
меж тем как стяжательство,
жадность в дозоре,
кружилось, как мул у колодца,
вам, добрые люди,
зажатые ночью,
я белые метры катящихся дней покажу,
подобные савану мертвых.

■ ■ ■

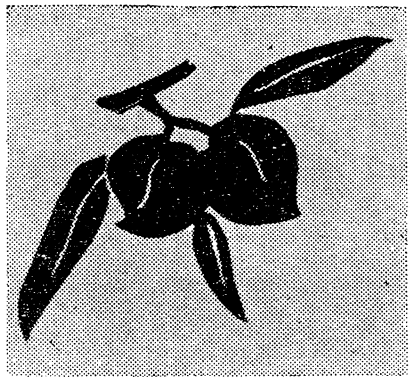
Бойцы пехоты,
вас дьявол создал,
во все концы послал он вас погибать,
чтобы леса разносились в щепы,
чтобы дома превращались в щебень,
чтобы мертвые падали на потолок.
Солдаты безмозглые,
мясо для бойни,
еще до рожденья себе завербованы вы
в палачи,
бездушные роботы,
вы хуже худших ваших врагов;
бросают вас в мясорубку, полки за полками
и вами торгуют, а вам невдомек!
Солдаты-ничтожества,
даже тогда,
когда солнце палит и зноем вас давит,
иль небо, смерзаясь и прыгая,
лижет гору составленных ружей,
вы — роботы
даже тогда,
когда травы, рыжея, висят, как из глотки
язык, распухший от жажды,
и даже тогда,
когда, хлюпая, брызжут под вашей ногой
перегноя тяжелые сгустки.
Шуты,
из травы, из живой, я кричу вам: живите!
В грязи
колени друзей подгибаются не для молитвы!
В авто спешит генерал,
триумф с золотыми руками вам
аплодирует стоя;
какой ни была бы наивность
под шелухою отваги,
вас пожирает машина,
техника гонит в огонь.

■ ■ ■

Эй, вы,
с перерезанной глоткой,
затоптанные сапогами,
друзья-солдаты,
идущие маршем в могилу

по чреву широкому земли, лелеющей всходы,
несущие против воли пучки
смертоносных огней,
поющие наперебой песню тел,
расчлененных навеки,
война — это вам не игра,
я над вами смеюсь,
но иду вслед за вами.

Перевод В. ЛЕВИКА



ТОСАБУРО ОНО (ЯПОНИЯ)

Подводное землетрясение

На ветках деревьев
залпом
тяжело распускаются почки
в клубах дымящегося дождя...
Пламя цветов ка́нна —
огненно-красный вихрь,
вобравший в себя
все пожары земли и неба!
Ты заставляешь почувствовать
аромат расцветающей жизни
в эти долгие, долгие часы,
когда кажется, что ничего
не происходит на свете...
Сейчас время дождей —
скорее, сезон смерти.
В опустошенной рыбацкой де́ревне —
конечной точке моей поездки —
я увидел море
с необычно вздувшейся грудью.
Позже я понял —
это следы подводного землетрясения,
случившегося далеко-далеко отсюда,
и моя душа встрепенулась.
«Революция!» — промелькнуло в уме.
Наш земной шар не так уж велик,
и, если в одной его части
происходят события,
волны отзвуков
растекаются по поверхности,
вздувшейся, как грудь моря.
...Я лечу над горами Индокитая
и смотрю сверху вниз
сквозь круглое стекло вертолета,
кружащего
в поисках базы Вьет-конга...
Сплошное древесное море
расстилается подо мной.
Огромное древесное море,
полыхающее в разгаре лета,—
неужели это и есть «природа»?
О деревья, цветущие пламенем!
Я продираюсь сквозь джунгли,
объятые пламенем.
Я хорошо знаком
с огненным цветом канна...

ЮДЗУРУ КАТАГИРИ

Ненависть

Когда пытают вьетконгца —
меня пытают.
Когда убивают вьетконгца —
во мне что-то доброе убивают,

и рождается ненависть,
слепая ненависть.

Говорят: «Это нужно,
чтоб сохранить...»

Что сохранить?
Ненависть и убийства?!

Когда пытают вьетконгца —
меня пытают.
Когда убивают вьетконгца —
во мне что-то доброе убивают...

Перевод АНАТОЛИЯ МАМОНОВА

Мастера культуры отвечают.

МЫ С БОРЮЩИМСЯ ВЬЕТНАМОМ

Солидарность с народом, отстаивающим свою независимость,— закон совести прогрессивного человечества. Верность сил демократии этому закону не раз подтверждена историей освободительной борьбы.

Американская агрессия во Вьетнаме вызвала и продолжает вызывать негодующие отклики и в СССР и за рубежом.

XXIII съезд КПСС в заявлении по поводу агрессии США во Вьетнаме призвал сторонников прогресса и демократии, честных людей во всех уголках земного шара, которым дороги мир, справедливость, свобода и независимость, «возвысить голос протеста, еще активнее выступать в поддержку борьбы вьетнамского народа за независимость, свободу и спасение своей родины».

Строки, присланные советскими и зарубежными мастерами культуры в ответ на просьбу редакции,— еще одно свидетельство солидарности с народом борющегося Вьетнама.

Анна Зегерс

(ГДР)

У нас побывал делегат из Южного Вьетнама. Он сказал: если нам придется воевать против американских агрессоров еще пять лет — будем воевать пять лет. Если нам придется воевать еще пятнадцать лет — будем воевать пятнадцать лет. Если нам придется воевать еще пятьдесят лет — будем воевать пятьдесят лет.

Что это означает? Это означает, что люди борются против несправедливости, если надо — часть своей жизни, если надо — всю жизнь целого поколения, если надо — и в следующем поколении.

Исторический прогресс требует от них, чтобы они отстояли исторический прогресс — плотью и кровью.

От нас требуется, чтобы мы в меру наших творческих сил обнародовали их действия.

Юность всех стран жаждет правды без прикрас, без обмана. Хватит ли наших творческих сил, чтобы отобразить то, в чем заключается вьетнамская действительность сегодня, и то, чем она станет завтра? Сопротивление народа, полного решимости жить по своей воле, сообразуясь с традициями своей страны, противодействуя жадным, изощренным в разбое захватчикам. Будет ли способность к изображению происходящего соответствовать стремлению к неприкрашенной правде жизни?

Эдуардас Межелайтис

(СССР)

Который год уже само слово «Вьетнам» является для меня символом непреоборимой веры, бесконечной гордости, огромной боли. Который год на страницах газет прежде всего ищешь: что во Вьетнаме, как там, во Вьетнаме? Который год, просыпаясь, ловишь в эфире слово «Вьетнам». Который год, стиснув зубы и до боли сжав кулаки, видишь кадры кинохроники — пылающие джунгли, разрушенные каркасы бамбуковых хижин, горе в глазах женщин и детей. И смерти, смерти, смерти...

Наглое беззаконие, беспримерная жестокость — против человека, желающего быть хозяином в своем доме. Сверхзвуковые бомбардировщики, напалм, газы, сотни тысяч вышколенных, обученных убийству молодчиков — вся мощь ультрасовременной техники смертоубийства — против крестьянина с рисовых полей дельты Меконга, против сайгонского пролетария или рыбака с побережья... Против Человека.

И я верю, я знаю: этот человек, мой брат из далекого Вьетнама, непобедим и бессмертен. Ибо имя ему — народ! С ним будущее, с ним правда, с ним человечество.

Хорхе Саламеа

(КОЛУМБИЯ)

Империалистическая война Соединенных Штатов против народа Вьетнама вызывает во мне боль, гнев и возмущение.

Это одна из самых несправедливых, самых подлых, самых жестоких агрессий великой державы против народа другой страны.

Более всего, однако, меня тревожит неонацистский характер этой агрессии. В ходе этой войны повторяются гитлеровские методы завоевания и истребления других народов.

Снова капитализм финансирует войну, которую на этот раз ведут милитаристы Пентагона.

Снова молодежь подвергают специальной обработке, превращающей людей в орудие убийства, в зверей, ослепленных ненавистью. Снова теория о расовом превосходстве — на этот раз североамериканцев над вьетнамцами — разжигает ненависть человека к человеку. Снова истребляют гражданское население, уничтожают урожаи, разрушают пути сообщения, стирают с лица земли города и деревни. Снова массовыми бомбардировками пытаются терроризировать маленький мужественный народ. Снова уничтожают духовные и культурные ценности страны, разрушают памятники старины, гибнут прекраснейшие произведения искусства! Снова международные соглашения превращаются в ничего не значащие клочки бумаги.

Снова миру угрожает страна, которая, забыв о том, что была когда-то участницей борьбы народов против нацизма, ныне в своих действиях применяет методы прежнего противника. Теперь уже трудно кого-либо ввести в заблуждение относительно того, что происходит во Вьетнаме. Нет разницы между агрессией гитлеровских орд против польского народа — достаточно и этого примера — и агрессией североамериканских вооруженных сил против Вьетнама. Такое повторение истории грозит неисчислимыми бедствиями народам Азии, Африки, Латинской Америки, да и той же Европы.

Когда с цепи срывается нацистский зверь, никто не может чувствовать себя в безопасности, и только объединение всех народов может положить конец агрессии, сегодня направленной на Вьетнам, однако свою пятую колонну вербующей и в Индонезии, и в Гане, и в Санто-Доминго, и протягивающей свои щупальца к другим странам пяти континентов.

Долг честных людей всего мира — осознать, разоблачить и остановить этот процесс перехода североамериканского капитализма к наиболее острой, наиболее опасной, хотя и безнадежной стадии развития — к неофашизму: именно о нем сигнализирует развязанная американским империализмом агрессия во Вьетнаме.

Николай Тихонов

(СССР)

То, что делают американские агрессоры во Вьетнаме, те ужасы, которым они подвергают мирный, свободолюбивый вьетнамский народ, известны всему миру. Человечество не может равнодушно смотреть на эти злодеяния, которые с холодной жестокостью творит военная и финансовая клика США, все расширяя и расширяя свои преступные действия. Во всех странах растет решительный протест против действий американских убийц, вооруженных до зубов передовой техникой истребления.

Они пустили в ход весь арсенал смерти, кроме ядерного оружия. Ураган снарядов проносится над вьетнамской землей. Тысячи бомб падают на мирные города и селения, уничтожая школы, больницы, плотины, мосты, санатории, фабрики и заводы, дороги и поля. Газы отравляют население. Напалм огненными смерчами скручивает дома, хижины и джунгли. Ядовитые опрыскиватели обнажают деревья и кусты от листьев, отравляют посевы, сады, рисовые поля. С людьми поступают самым зверским образом, применяя изощренные пытки. И все это делается с цинической усмешкой распоясавшегося разбойника, который не боится ничего и никого и, как ему кажется, может действовать безнаказанно.

Это жестокая ошибка! Возмездие уже пришло на головы рядовых агрессоров, и количество гробов, которые привозят самолетами в США из Вьетнама, все увеличивается. Но возмездие, справедливое возмездие придет и для высоких сановных организаторов, строящих свои расчеты на реках крови и долларах, что потоком текут в бездонные карманы фабрикантов бомб, ядов, газов, оружия.

Нельзя сегодня безнаказанно нарушать все человеческие законы на земле! Нельзя безнаказанно уничтожать целый народ! Агрессоры полной ценой заплатят за свои кровавые дела во Вьетнаме! Рано или поздно их настигнет возмездие, справедливое возмездие.

В. Тендряков

(СССР)

Не могу забыть. В 1943 году возле украинского села Циркуны мне пришлось видеть двух девочек — лет шести и восьми,— покорно сидевших у трупа убитой матери. С их истощенных лиц на нас глядели остановившиеся детские глаза, сухие, без слез. Что может быть страшнее горя, когда дети уже не в силах плакать?

И это снова повторяется на земле. Могущественное общество, которое посылает в космос корабли, в своих институтах и лабораториях двигающее вперед науку, общество, считающееся высококультурным, кичащееся своим богатством, своим высоким уровнем жизни, своим демократизмом, обрушилось на беззащитный народ. И снова дети у трупов матерей. Снова детское горе без слез!

Разрешите спросить вас, рядовой гражданин США: тебе от крови, от трупов в далеком Вьетнаме, от детского горя без слез будет лучше жить? Нет, нисколько! Так ради чего? Есть ли этой войне оправдание?

Арман Лану

(ФРАНЦИЯ)

Писатель, рассматривающий жизнь сквозь призму произведения, над которым он трудится в данный момент и которое поглощает все его мысли и чувства, заслуживает, на мой взгляд, снисхождения.

Вот уже двенадцать лет, как я работаю над биографией писателя, высоко оцененного Толстым и Тургеневым, которого русские называют «французским Чеховым». Я пишу книгу о Мопассане. Казалось бы, какое это имеет отношение к событиям во Вьетнаме? И однако...

Во Франции, как и в других странах, Мопассана часто пытались изобразить певцом пустого, ничтожного общества и главного украшения его — Парижанки. Возможно, что это на самом деле так. Более того, писатель часто бывал слишком снисходителен к этому обществу. Но Мопассан не только в этом. В многочисленных рассказах, среди которых такой шедевр, как «Пышка», он выступает страстным поборником сопротивления немцам, вторгшимся во Францию в 1870—1871 гг. Этот человек, ненавидящий войну, участником которой он был в двадцать лет, не хотел покориться врагу и жить на коленях. Всю свою жизнь он обличал прусский милитаризм. Но что еще важнее — Мопассан, подобно Вольтеру в XVIII веке, был единственный большой писатель, который выступил против колониализма в пору его бурного развития. Во всей французской литературе того времени вы не найдете писателя, который бы с подобной резкостью осудил колониальную политику. Эта тема звучит в «Милом друге», созданном во время завоевания Туниса. (В романе описывается порабощение Марокко.) Можно привести множество высказываний Мопассана по этому вопросу. Каждая строка в них дышит негодованием. В 1881 году Франция, продолжая укреплять завоеванные позиции в Западной Африке — Сенегале, Гвинее, Береге Слоновой Кости,— начала проникновение в Нигерию, в то время как в Индокитае полковник Ривьер завоевывал Тонкин. В августе 1883 года после подавления восстания местного населения был взят Гуэ и состоялось превращение Аннама * в протекторат Франции. Таким образом были созданы предпосылки, на основе которых впоследствии сложилась современная колониальная система.

Мопассан едет в Тунис. Причины?

«Говорят, что мусульманское население готовит восстание... Крайне интересно увидеть арабов именно в этот момент, попытаться понять их душу, о чем нимало не беспокоятся **колонизаторы»**.

Употреблено именно это слово. В письме от 20 августа 1884 года он открыто возмущается лицемерием колонизаторов и военной верхушки.

«То, о чем я рассказываю,— не единичный случай. Нет ни одного офицера, служащего канцелярии по делам местного населения, который бы так не думал и не высказывался бы подобным образом. Они рассматривают туземцев как естественную добычу солдата». Писатель клеймит колониальную администрацию и туземных вождей, сотрудничающих с завоевателями.

В сентябре 1883 года в самом начале Тонкинской кампании Мопассан публикует в издании «Жиль Блаз» хронику под названием «Война». На этот раз его гнев направлен на министра Жюля Ферри, который за два года перед этим был начальником писателя по работе в области общественного просвещения.

«Бравый моряк, смеясь от удовольствия... рассказывал мне о пленных, посаженных на кол вдоль дороги для развлечения солдат (это было во время китайской кампании), о забавных гримасах казненных, об убийствах, совершаемых с целью устрашения населения, по приказу высше-

* Ныне Центральный Вьетнам.

го начальства, о систематических ограблениях жилищ местных жителей на глазах у испуганных детей, совершаемых завоевателями с полным сознанием своей высокой миссии».

Мопассан был возмущен, и его возмущение делает честь всему человечеству.

11 декабря в разгар работы над «Милым другом» писатель возвращается к теме колониальных войн.

«Перед нами китайская деревня. Чтобы ее захватить, мы убьем пятьдесят тысяч китайцев и загубим жизни десяти тысяч французов. Эта деревня нам совсем не нужна... Самое поразительное, что народ не восстает против такого правительства».

А вот еще более резкие строки:

«Военные — это бедствие для человечества. Начинается война. В шесть месяцев генералы разрушают плоды двадцатилетнего человеческого труда и терпения, плоды творческих усилий человеческого гения... Что ж, если правительства присвоили себе право предавать смерти народы, нет ничего удивительного в том, что народы время от времени считают себя вправе предавать смерти правительства».

Поистине поразительный призыв к восстанию в устах буржуазного писателя...

Вот что я читал, когда пришла телеграмма из журнала «Иностранная литература». Сначала я решил просто процитировать эти яркие тексты. Но в это время я узнал из газеты, что один молодой американец, ссылаясь на процесс в Нюрнберге, отказался воевать во Вьетнаме.

Этот юноша, Дэвид Митчел, повторил слова главного американского обвинителя Джексона, адресованные фашистским военным преступникам: «Долг каждого перед человечеством превыше его обязанности подчиняться законам государства, гражданином которого он является».

Это заявление перекликается со строками другого разгневанного человека — Мопассана, — написанными восемьдесят лет назад. Остается только пожелать, чтобы у американских солдат, воюющих сегодня во Вьетнаме, ушло меньше времени на то, чтобы осознать эту истину.

Валерий Петров

(БОЛГАРИЯ)

Совсем недавно я видел на голубом экране, как Нгуен Тхи Бинь, красивая и скорбная, разворачивала красное знамя — свой дар XXIII съезду. Не впервые я присутствовал на подобных церемониях, но не помню, когда еще был так взволнован.

Да, мы — с борющимся Вьетнамом, это ясно. Но нередко о том, что в этой далекой стране совершается отвратительное варварство, нам говорит только рассудок. Грохот бомб и материнский плач доходят до наших сердец, приглушенные расстоянием, которое нас разделяет, как бы подчиняясь обыкновеннейшим законам акустики. Мне кажется, что-то происходит в последнее время с человечеством и с его отношением к цене человеческой жизни. Мы не можем себе позволить послать в космос человека на верную смерть, беспокоимся о судьбе несчастного, потерпевшего кораблекрушение, и в то же самое время часто спохватываемся, что принимаем без должного содрогания сообщения о репрессиях, о напалме, об уничтожении тысяч и тысяч человеческих жизней. Думаю, что бороться с этой атрофией чувств — важный долг писателей, деятелей культуры в настоящее время. Мы должны стать рупором, пробуждающим совесть, мобилизующим к действию. С каждым, наверное, случалось такое: едешь в трамвае или разговариваешь с приятелем и вдруг чувствуешь, что тебе грустно, неизвестно почему; какое-то чувство печали, вызванное — потом вспоминаешь — полузабытым вчерашним инцидентом, не покидает тебя... Может быть, кому-нибудь это покажется излишне сентиментальным, но я думаю, что все мы должны испытывать нечто подобное, что мы не в праве предаваться безудержному веселью, не в праве быть счастливыми сполна до тех пор, пока где-то на земном шаре существует страна, утопающая в крови и слезах, терзаемая самыми циничнейшими агрессорами.

Чего стоят все выверты американских комментаторов, когда одного взгляда на глобус достаточно, чтобы доказать: войскам США нечего делать на земле, отстоящей от их страны на тысячи километров по морю! И когда все документы о войне во Вьетнаме говорят об одном — это фашизм, грязный фашизм! — что иное могут означать такие сверхновые термины, как «эскалация», если не давно известное, сверхстарое движение вниз по ступеням позора и преступлений! Эти храбрецы атлетического вида, с засученными рукавами, с сентиментальными медальонами на груди, что они делают тут, на чужой земле? Зачем они завязали глаза взъерошенному парню? Чтобы он не смотрел в глаза своей смерти или потому, что они сами боятся увидеть свою собственную смерть в его огненном взгляде? Я был в Америке, помню Вашингтон — это уютный город с белыми памятниками и музеями, пушистые белки беспечно пере-

бегают через тихие улицы. Что греха таить — живется там неплохо. А Вьетнам далеко, он лишь «форпост свободного мира», там могут пылать города, умирать женщины и дети. Но я не сомневаюсь в победе вьетнамского народа. Придет время, и перед судом истории маленькая страна Азии станет «местом преступления», неопровержимой уликой, перед которой виновники напрасно будут прятать свои лица.

Бороться, чтобы покончить с войной во Вьетнаме,— сегодня наш высший долг. И это не только ради них, наших вьетнамских братьев, но и ради нас самих. Молодой вьетнамец с завязанными глазами ждет смерти. Ему, увы, сейчас уже безразлично, какие чувства вызывает в наших сердцах его маленькая фотография. Но это очень важно для нас, живых. Потому что силой нашего протеста против бесчеловечной агрессии мы защищаем свое право называть себя цивилизованными людьми.

Лев Ландау

(СССР)

Беспредельна разбойничья наглость американцев, беспредельны мужество, стойкость вьетнамского народа. Все остальное, что я мог бы сказать, подтвердило бы эти два факта.

Ольга Берггольц

(СССР)

Дорогие вьетнамские женщины и дети! Я бы хотела забрать вас всех к себе в Ленинград, загородить собою! Можно ли против вас воевать, не будучи людоедом?

Алан Маршалл

(АВСТРАЛИЯ)

Война, развязанная во Вьетнаме, обрушилась на страну и народ, который ничем не угрожал нациям, сеющим смерть на его земле. «Преступление» вьетнамцев состоит лишь только в том, что они хотели сами выбрать себе правительство.

Долг писателей — донести до газетных страниц все крепнущий голос протеста народов мира, присоединив к этому хору свое решительное «нет» войне.

Ведущие писатели Америки и Англии уже выступили с осуждением политики американской администрации и призывом к миру, среди них — Роберт Лоуэлл, Артур Миллер и Грэхем Грин.

Я поддерживаю позицию австралийских писателей, выразивших глубокую тревогу по поводу продолжающегося истребления людей, — Мориса Уэста, Джорджа Джонстона, Джуды Уотена, Джона Моррисона, Фрэнка Харди, Катарины Сусанны Причард.

Выступая против бесчеловечной войны, мы выражаем чувства большинства австралийцев. Фотографии зверств, газетные репортажи о деревнях, стертых с лица земли, о сожженных рисовых полях, об убитых и замученных женщинах и детях — все эти факты выстраиваются в картину чудовищного произвола, перед которой цепенеешь от ужаса.

Война во Вьетнаме должна быть остановлена не только потому, что это преступление против вьетнамского народа, но и потому, что это преступление против всего человечества.

Иштван Шимон

(ВЕНГРИЯ)

Не скрою, я страшусь войны, одна только мысль о ней вызывает во мне ужас. Это она украла у меня самые прекрасные и неповторимые годы молодости, причиненные ею страдания навсегда оставили след в моей душе. Должно быть, именно поэтому я уже никогда не обрету ощущения того, что война давно окончилась. Всякий раз, когда я встречаю в газетах сообщения о военных столкновениях, я вновь и вновь переживаю испытания, выпавшие на долю других людей. Переживаю даже тогда, когда такие сообщения касаются не столь уж близких для меня народов. И естественно, что эти чувства намного сильнее, когда речь идет о моих близких друзьях.

Дело, прежде всего, не в физически ощутимых представлениях о войне — географическая удаленность Вьетнама может в какой-то мере притупить жуткие сцены бомбежек и человеческих страданий. Значительно сильнее чувство попранного человеческого достоинства, вызванное сознанием собственной беспомощности. Такое ощущение появляется у человека, когда в силу внешних обстоятельств его стремление помочь попавшим в беду может быть реализовано лишь частично. Его мучает сознание своей вины: а все ли он делает, что в его силах?

Эти внутренние переживания гнетут меня все больше и больше. Незабываемые воспоминания тысячами нитей связывают меня с Вьетнамом и

вьетнамскими друзьями. Девять лет назад я был гостем этой прекрасной маленькой страны, пленяющей не только красотами своей природы, так мало похожей на пейзажи моей родины, но и каким-то естественным внутренним гуманизмом своего народа. В наши дни эпитет «миролюбивый» мы употребляем порой, не отдавая отчета до конца в полном его значении — принимая уже за некое «клише». Но я уверен, что в отношении Вьетнама этот эпитет сохраняет всю свою свежесть и полностью соответствует своему содержанию. Знаю, что такое впечатление сложилось у меня именно потому, что я познакомился с вьетнамцами, с Демократической Республикой Вьетнам вскоре после завершения героической борьбы, в период передышки, когда весь народ был поглощен упорным и творческим трудом. Он с радостью демонстрировал перед друзьями свое сокровенное стремление к миру. Чувствовалось, что в этом раскрывается подлинное существо человеческой и национальной натуры вьетнамцев. Это стремление светилось в их глазах.

Боюсь, что из-под моего пера выходят более патетические фразы, чем хотелось бы. Но именно там, во Вьетнаме, я от всего сердца восхищался и по-настоящему понял, что значит мир и что такое человеческое миролюбие. Может быть, эти чувства еще резче обостряли повсюду бросающиеся в глаза контрасты — мрачные развалины на заднем плане, напоминавшие о войне, что прокатилась по вьетнамской земле. И теперь снова пламя войны бушует на юге страны. Но взрывы американских бомб в мирных селах, трупы невинных жертв, страдания раненых — все это не может стереть из моей памяти другую картину: мирный труд под ослепительной голубизны вьетнамским небом в пору уборки риса. Почему? За что? — вопрошают мой разум и сердце с тревогой и гневом, гневом по адресу агрессоров.

Меня охватывает чувство невыразимого презрения и даже отвращения, когда я сталкиваюсь с великодержавным высокомерием по отношению к малым народам, и я квалифицирую как преступление малейшее насилие по отношению к ним. Американская агрессия во Вьетнаме представляется мне позором для всего человечества. Больше того, Соединенные Штаты, по-моему, ведут абсолютно бессмысленную войну против вьетнамского народа и — это нельзя не почувствовать — в сущности, против всего мира.

Тяжелые воспоминания военной юности, искренняя солидарность с вьетнамскими друзьями и ненависть к агрессору сливаются в моем сердце в твердую веру: я от всей души верю в победу справедливого дела, верю, что мои вьетнамские друзья скоро снова будут творить и строить свою жизнь под благодатным и мирным солнцем своей родины.

Роман Кармен

(СССР)

Семь месяцев провел я с кинокамерой в сражающемся Вьетнаме. Это было в 1954 году. Сотни километров я и мои товарищи операторы Евгений Мухин и Владимир Ешурин прошагали по узким тропам в джунглях, переправлялись на плотах через реки, шли по горам, ночевали в крестьянских бамбуковых хижинах и снимали, снимали, жадно фиксировали на пленку эпизоды борьбы сражающегося за свободу народа.

Мы снимали в лесах Северного Вьетнама то, что мир назвал «чудом джунглей», — заводы, университеты и школы; снимали художников, рисующих в джунглях полотна и плакаты, призывающие к борьбе; писателей, пишущих книги; типографии, где печатали эти книги; ученых, делающих из побегов бамбука пенициллин; инженеров, создающих минометы из водопроводных труб. Нас потряс массовый подвиг народа, неистово сражавшегося с колонизаторами.

Помню, я снимал колонну пленных французов, растянувшуюся на несколько километров. Они сдались в плен в Дьен-бьен-фу. Ночью в лагере военнопленных я беседовал с человеком в выцветшей военной гимнастерке. Его лицо с хищным профилем выражало безнадежность и усталость. Человек этот был генерал де Кастри — командующий разгромленным и плененным гарнизоном крепости Дьенбьен-фу. Лил тропический ливень. На столе — крепкий вьетнамский кофе и бутылка трофейного «дюбонне». Генерал, вначале настороженный и сдержанный, вдруг озлобленно заговорил о полной безнадежности колониальной войны, о море ненависти, которой окружены затерянные в этой стране, отдаленные друг от друга бетонные форты солдат, о недальновидности правителей Франции, продолжающих вопреки здравому смыслу войну во Вьетнаме. Помню, генерал сказал в заключение:

— Многие из нас раньше считали, что эта война — во имя интересов Франции. Трагическая ошибка! Я поехал во Вьетнам убежденным, что еду освобождать вьетнамский народ, но только когда тысячи французов погибли в этой войне, когда многие семьи надели траур, люди начали задумываться...

Соглашение в Женеве остановило кровопролитную войну. Закончилась многолетняя борьба, о которой вьетнамский народ всегда будет вспоминать, как об одной из славных страниц своей истории.

Но каким же недолгим был завоеванный народом мир! Снова посыпались бомбы на города и села Вьетнама. Снова шагает убийца с автоматом, с закатанными рукавами и жвачкой во рту по руинам деревень! Американские колонизаторы не чета своим битым предшественникам. У тех не дотянулись руки до химических баллонов. Новое нашествие убийц на вьетнамскую землю несравнимо с прошлой войной по своей жестокости. Но так же, как и в те годы, не склоняет голову перед завоевателями гордый, свободолюбивый народ Вьетнама. Народ Вьетнама — удивительный сплав мужества, веры в окончательную победу, отваги и воли. Передо мной сегодня проходят сотни лиц моих вьетнамских друзей — солдат и писателей, инженеров и крестьян, киноработников и военных руководителей, все они сейчас в строю, под огнем. Они знают — с ними весь мир честных людей, у них миллионы друзей. Мы, современники, видели и испытали много страшного. Стояли с обнаженными головами у рвов Керчи и Бабьего Яра, замирали от ужаса, впервые увидев крематории Майданека и Освенцима.

Но мы были и в Нюрнберге. Пусть помнят о виселицах Нюрнберга нынешние враги человечества, сеятели смерти на мирных землях Вьетнама.

Эрвин Штриттматтер

(ГДР)

Меня тревожит, что американцы, которые двадцать лет назад судили немецких военных преступников, теперь сами совершили незаконное нападение на Вьетнам и действуют варварскими методами, когда-то осужденными ими.

Я прихожу к выводу, что в общественной жизни Америки заняли господствующее положение те, кто, как в былые времена наши промышленники, наживаются на войне.

Я хорошо знаю таких дельцов или, точнее, их дела. Одержимые жаждой наживы, они нападают на мирные народы, унижая и уничтожая их. Они унижают и уничтожают и собственный народ, лживыми лозунгами толкая его на борьбу за неправое дело.

Я стреляный воробей, так говорят у нас в народе. И я, как писатель, буду бороться с этими нелюдьми и с этой несправедливостью до тех пор, пока я жив.

Борис Стрельников

(СССР)

Двенадцать лет назад редакция газеты «Комсомольская правда» направила меня своим специальным корреспондентом в Демократическую Республику Вьетнам. В то время крупные вьетнамские города были еще заняты оккупантами, правительственные учреждения республики размещались в труднодоступных джунглях, а в долине Дьен-бьен-фу на месте недавнего сражения еще горел подожженный снарядами лес.

10 октября 1954 года в группе журналистов я сопровождал войска Народной армии, вступавшие в освобожденный Ханой. Мы ехали на американском «виллисе». Впереди шли трехтонные американские «форды» с солдатами знаменитой 308-й дивизии патриотов. Многие бойцы были вооружены американскими автоматами. На бортах «фордов» белели надписи: «Взят в бою под Дьен-бьен-фу», «Захвачен партизанами под Сон-ла», «Трофей победы под Нам-динем».

Уже тогда Америка вела необъявленную войну против вьетнамского народа. В долине Дьен-бьен-фу я видел разбитые американские танки «шерман», вертолеты «сикорский», корректировщики «дакота» и бомбардировщики Б-29. Я видел штабеля фугасных и напалмовых бомб с клеймом «Made in USA».

Воля народа к свободе и независимости оказалась сильнее армии оккупантов, сильнее американского оружия и американских «советников». Еще в 1953 году американский генерал Кларк, побывавший на оккупированной территории Вьетнама с «особой миссией», в страхе сказал о партизанах: «Они всюду. Они впереди и сзади, справа и слева. Они проникают сквозь стены, потолки и полы».

Новый, еще более наглый этап колониальной войны американского империализма против вьетнамского народа застал меня в Соединенных Штатах Америки. Снова падают бомбы на многострадальную вьетнамскую землю, и каждый вечер американцам показывают по телевидению, как пылают бамбуковые хижины крестьян, как рыдают вьетнамские матери над убитыми детьми. Я видел кадры, снятые американскими операторами.

от которых стынет кровь. И тогда я думал: «Америка, Америка! Да есть ли у тебя совесть?!»

Есть! Вот она вспыхивает живым факелом у небоскреба ООН: американец сжигает себя, протестуя против войны во Вьетнаме. Совесть Америки бушует у ограды Белого дома. «Позор убийцам!» — скандируют демонстранты. «Не играйте с огнем, мистер президент!» Я видел известных американских писателей, поэтов, художников и артистов, в знак протеста против «грязной войны» отклонивших приглашение президента США на фестиваль искусств в Белом доме. Я видел студентов, бросающих в лицо представителям правительства гневные слова: «Вы лжецы и лицемеры!»

Ежедневно из американских портов уходят в море корабли с морской пехотой. Ежедневно с самолетов, прибывших из Сайгона, сгружают цинковые гробы, покрытые звездно-полосатыми флагами. Старый нью-йоркский почтальон однажды сказал мне: «Никогда еще со времени прошлой войны я не видел столько испуганных женских глаз. Они почти за каждой дверью, в которую я звоню».

Америка в тревоге. Но вместе с тревогой растет гнев народа. Честная Америка вместе с теми, кто выступает против агрессии во Вьетнаме вместе с миллионами людей всего земного шара.

Ян Пиларж

(ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

«Зарубки» шестидесятых годов двадцатого столетия: американские бомбы, падающие на Вьетнам над 17-й параллелью, преднамеренно необъясненное убийство президента Кеннеди... И то и другое показательно для определенной фазы американской политики, характеризует моральный облик тех, кто сегодня управляет этой развитой страной и с позиции силы присваивает себе право выступать в роли «морального защитника» человечности и свободы в мире.

Не переставая изумляться, я слежу за выступлениями нынешнего президента США, в которых он старается подыскать аргументы, оправдывающие агрессию. Хотя над инсценировкой и редактурой его выступлений трудится целый штаб психологов, психоаналитиков и философов, хотя президент снимает очки и подносит к глазам лупу, пристально вглядываясь в своих слушателей, хотя у него имеется про запас и такой козырь, как дочка, которая в конце выступления бросится ему на шею с возгласом: «Ты прекрасно говорил, папа!» — вся эта хитроумная режиссура не меняет смысла происходящего, не прибавляет ему ощущения естественности, правдивости или исторической неизбежности.

В сегодняшней Америке среди интеллигенции, студенчества и служителей церкви немало таких, которые научились отличать ложь от правды. Им стыдно: чувство вины перед миром и перед историей заставляет их выражать протест, если уж они не осмеливаются действовать. Нужно, чтобы все голоса протестующих слились воедино, в общий хор людей разных стран, рас и убеждений. Мы должны отделять Америку, которая убивает своих и чужих, от Америки ученых, умельцев и простых, немножко равнодушных людей. Для нас события во Вьетнаме — лишнее доказательство закономерного развития американского империализма, который ради своей выгоды не останавливается ни перед чем. Но нам мало констатировать факт. Эпоха гуннов давно минула. В наш век, в котором люди научились укрощать стихии и разгадывать тайны жизни и космоса, раз и навсегда должны быть разрушены иллюзии, согласно которым сильное, большое государство может безнаказанно на глазах у всех уничтожать малые народы, которые хотят жить по-своему.

Трагедия Вьетнама, столько раз повторенная в истории, не дает нам спать. Болят сердца, открываются старые раны. И когда-то заданный М. Горьким вопрос «С кем вы, мастера культуры?» требует ответа от всех нас, безотносительно к национальности и мировоззрению каждого.

В. Озеров

(СССР)

Вспоминается один вечер в Ханое. В номере гостиницы, где мы жили, собралась группа писателей. Разговор шел о разном — шумный, веселый, непринужденный. О разном? Это и так и не так. В общем, все, о чем мы тогда говорили, вращалось вокруг одной темы: поэзия и революция.

Нгуен Хонг, автор известного советским читателям романа «Воровка», рассказывая в тот вечер о своей стране и литературе, имел право заявить:

— Есть поэты, которые пишут от своего имени. А есть великие поэты, чьи имена неизвестны, это — наш народ.

Революция, социализм, освобождение Юга — вот главные темы вьетнамской литературы. Сообщения дру-

зей о литературных делах звучат как новеллы о героической борьбе народа.

...Годы освободительной борьбы. В партизанском отряде, рассказывает секретарь ЦК Партии трудящихся Вьетнама, поэт То Хыу, было только одно орудие — его прозвали «слон». А враги думали, что у нас много артиллерии: мы за ночь на руках перетаскивали «слона» с одной позиции на другую. В джунгли пришли поэты, они стали проситься в боевые операции, хотели принять участие в переноске орудия. Однако бойцы не согласились: «Вы умеете писать стихи и песни, ну и делайте свое дело, как мы делаем свое».

В этот трудный час, когда вьетнамский народ героически бьется с вооруженным до зубов врагом, по-новому думаешь о том, что видел и слышал в Ханое. Многие тысячи километров, разделяющие советских и вьетнамских людей, не помеха для братства сердец и душ. О том, какова настоящая дружба, прекрасно сказал поэт — участник наших ханойских встреч:

— У нас есть маленькая флейта дан-моб. У нее удивительная особенность. Когда жених играет для невесты, никто вокруг не слышит звуков флейты, ее мелодия достигает слуха одной той, для кого предназначена. Девушка слышит все, что играет для нее любимый. Не так ли через десятки тысяч километров, через просторы равнин и горные хребты слышим друг друга мы — вьетнамцы и наши друзья советские люди, «лиенсо» на нашем языке.

Да, дорогие друзья, мы слышим ваш голос, биение ваших сердец, мы знаем, что ваша вера в победу сбудется, и готовы сделать все для того, чтобы приблизить эту победу.

Кара Караев

(СССР)

Я хорошо знаю музыку вьетнамского народа, которую долго и внимательно изучал по магнитофонным и нотным записям, в большом количестве привезенным из Вьетнама известным кинорежиссером Романом Карменом, к фильму которого «Вьетнам» я написал музыку и симфоническую сюиту. Этот «звучащий материал» и позволил мне представить далекую и чудесную страну и ее замечательный народ, черты его характера, его лирическую и героическую душу.

Тонкая и хрупкая мелодия лирических песен, активность и жизнерадостность музыки трудовых песен, суровость старинной ритуальной музыки, капризная ритмика разнообразных и характерных танцев говорят о богатстве и многообразии большого внутреннего мира, о духовном богатстве народа.

Освободительная борьба внесла новые качества в его музыкальное искусство: волевой маршевый ритм, интонации революционных песен,— на борьбу за свободу своей Родины и за честь своего народа поднялись и музыканты, чьи творения вдохновляют бойцов Народной армии в их борьбе с американской агрессией.

Нет! Народ, создавший такую прекрасную музыку, поработить нельзя.

Божидар Божилов

(БОЛГАРИЯ)

Можно ли рассуждать об отношении к справедливой борьбе вьетнамского народа, простом сочувствии ему? Единственная позиция — это гнев, гнев мыслей, гнев чувств, гнев действия, и в результате — неизбежная победа, неминуемая, как возмездие.

Сергей Бородин

(СССР)

В письмах из Ханоя, из Хайфонга, из Виня, во всех письмах, которые я получаю от друзей, в углу первой страницы наверху, обведенная кружком, красуется цифра — это число американских самолетов, сбитых во Вьетнаме к моменту, когда писалось письмо. По этой цифре можно твердо определить дату.

Во многих городах Вьетнама есть у меня друзья, и, когда я говорю об этой далекой стране, о том или другом городе и селении, я вижу тех или других людей, с которыми разговаривал, делился чашкой риса в джунглях, пробираясь к древнему храму, плыл в узкой лодке по ночной реке, чьи рассказы о будущем слушал с такой жадностью.

Скромный худощавый шофер Хао, с которым мы проехали сотни километров по узким проселочным дорогам, нетерпеливо ждал дня, чтобы перешагнуть порог родного дома в одной из деревень на Юге, где еще живы были его отец и двое братьев.

Молчаливые старухи в маленьких лавчонках на берегах рек угощали нас густым зеленым чаем. Вокруг

бегали быстроглазые внучата, они разглядывали нас из-за спин своих бабушек. А бабушки, разговорившись после нескольких чашек чая, вздыхали о родителях этих малышей: сын старухи или ее дочь не могли пробраться с Юга сюда, к своим детям. Позже я узнал, что американцы разбомбили все эти убогие лавчонки у переправ и все эти люди погибли.

Один из самых дорогих мне друзей — писатель Тхань Тинь, автор замечательных новелл и знаток вьетнамской истории, много лет живет одиноко в комнате, похожей на келью, сплошь заставленной изделиями народных мастеров, из которых многие работали на Юге. Одиночество Тхань Тиня вынужденное — его жена, его дети живут в Гуэ, в древнем городе Южного Вьетнама.

На самой границе с Южным Вьетнамом, неподалеку от знаменитого моста, по которому давно уже никто не ходит, высится большая католическая церковь, построенная по всем законам готической архитектуры. На запустелом дворе перед порталом бродят куры. Чахнут цветы в горшках. Семилетний мальчик нянчит трехлетнюю сестренку. Меня поразила тоска в глазах мальчика. Что с ним? Здоров ли? Здоров, но они здесь остались двое — он и сестренка. Большинство жителей, все католики из этой деревни, поддавшиеся посулам или угрозам, несколько лет назад ушли на Юг. Но мать этих детей не пожелала покинуть свою родину. Муж ушел с католиками. Дети остались с матерью. Несколько месяцев назад она умерла. Детей поддерживают соседи. Но отец не может прийти за своими детьми: мост непроходим, по обе стороны стоят солдаты. По обе стороны моста на высоких шестах висят флаги: красный — Северного Вьетнама, желтый, исчерченный красными полосами,— Южного Вьетнама.

Страна разделена, и американцы рассуждают о том, что будет справедливым увековечить этот разрыв, что Северный Вьетнам не имеет никакого отношения к Южному. Это ложь. Это выдумка пентагонских недоучек: страна едина, народ Вьетнама един, семейные и дружеские узы вьетнамцев не разделены ни мостом, ни флагами.

И на южной стороне тоже лежат такие же руины храмов-памятников, разрушенных и сожженных американцами, но нерушимых в памяти народа, ибо это памятники в честь былых побед над вторгшимся врагом. И народ верит, что вскоре поставит великий памятник во славу еще одной победы, и поставит его здесь, где был мост, разделивший два берега, разорвавший единую страну на две части, и где тосковал одинокий мальчик, которого убил американский пилот.

Артюр Адамов

(ФРАНЦИЯ)

Вот что хотелось бы мне рассказать в ответ на вашу телеграмму. В феврале 1965 года, получив американскую визу, я прибыл по приглашению Корнуоллского университета в США, в качестве почетного гостя, для прочтения там цикла лекций по литературе.

Я приземлился на аэродроме Кеннеди в девять часов утра как раз перед «эскалацией» Джонсона и, естественно, принял участие во всех мирных и не совсем мирных демонстрациях против, здесь мне хочется повторить меткое французское выражение, «грязной войны» во Вьетнаме и против мистера Джонсона. Сначала нас было 140 человек, бурно выражавших свой протест в Итаке, местечке, расположенном совсем близко от университета, и нас было немногим больше в самом Нью-Йорке. Теперь, как известно, количество наших единомышленников в Нью-Йорке достигло примерно 50 000 человек. Не так уж много по американским масштабам, но по сравнению с крайне слабыми проявлениями антивоенных настроений, даже среди интеллигентских кругов, во время войны в Корее — это большой прогресс.

Мы приветствуем наших мужественных американских друзей, которые рвут свои военные билеты. Мы приветствуем юношей и девушек, студентов университета, которые вместе с нами выражают возмущение гнусной и недостойной войной во Вьетнаме. Мы приветствуем героических бойцов Северного и Южного Вьетнама и всех тех, кто в разных странах, и прежде всего в Советском Союзе, поддерживают их в борьбе против «этих мистеров», которые летают так высоко, что не могут разобрать, где аэродромы и где госпитали. Да здравствует пролетарский интернационализм!

ПУБЛИЦИСТИКА

К СЕВЕРУ И К ЮГУ от 17-й параллели

Цель публикуемой ниже подборки дневников, репортажей, статей — «остановить» на страницах журнала несколько характерных кадров эпопеи, развертывающейся на протяжении последних лет к северу и к югу от 17-й параллели.

В качестве «операторов» мы привлекли писателей и журналистов разных стран мира. Есть в этом монтаже и «голос за кадром» — тексты нашей подборки комментирует советский литератор М. Н. Ткачев, неоднократно бывавший в ДРВ.

Мы ждали парома на берегу реки. Рядом с причалом уходили под воду разрушенные фермы бетонного моста. На торчащих над водой блоках красно-синими буквами были начертаны различные правила санитарии и гигиены.

Надоедливый мелкий дождь загнал нас под навес. Там сидел мальчишка лет двенадцати — у ног его лежала холщовая школьная сумка — и читал с увлечением книгу. Я наклонился и прочитал на обложке: Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна».

Почти в ту же минуту из домика КПП выбежал человек и гулко ударил в подвешенное к ветке баньяна автомобильное колесо. Тотчас откликнулись барабаны и гонги в соседней деревушке. «Тревога!»

На большой высоте шло звено реактивных самолетов.

— Товарищи, прошу всех в укрытие! Быстрее! — сказал начальник переправы.

Мы встали. Мальчик, отстегнув две верхние пуговицы на рубашке, сунул за пазуху книжку и побежал к вырытой неподалеку щели.

Маленький вьетнамец уносил в убежище книгу великого американца.

На скамейке под навесом осталась забытая им шляпа из пальмовых листьев...

Почему-то именно этот случай вспомнился мне прежде других, когда я перелистывал подготовленную журналом подборку очерков о Вьетнаме. По преимуществу это дневники — документально точные свидетельства очевидцев. История выносит свой приговор не только на официальных судебных процессах, есть трибунал человеческой совести, суд памяти, суд потомков. И в архив этого суда как обвинения против всех, кто затеял и вел грязную войну во Вьетнаме, войдут страницы, написанные об этой войне честными литераторами мира.

Кон-ко — островом Трав — нарекли в старину рыбаки и лоцманы парусников этот небольшой зеленый клочок суши, скрытый, если пытаться увидеть его с берега, за синей кривой горизонта. Сегодня Кон-ко, лежащий напротив устья пограничной реки Бен-хай, стал крепостью. Там, как на Мамаевом кургане, трудно набрать горсть земли без колючих осколков железа. По острову змеятся траншеи, люди стараются не выходить на поверхность. В небе над Кон-ко висят американские самолеты, у берегов его крейсируют американские корабли, готовые открыть огонь по каждой маленькой человеческой фигурке. Так что поездка писателя Нгуен Кхая на остров Трав уже с самого начала не похожа была на обычную «литературную командировку». Нгуен Кхай мой ровесник, ему немногим за тридцать; мы познакомились в Москве на Всемирном фестивале молодежи, когда он не был еще автором стольких книг и почтенным отцом семейства. И я очень ясно представляю себе, как долговязый флегматичный Кхай пробирается, согнувшись, по окопам или записывает с присущей ему обстоятельностью рассказы солдат. Репортажная манера, свойственная почти всем произведениям Кхая, оказалась особенно уместной в его книге очерков о героях Кон-ко «Они живут и сражаются», само название которой очень точно передает авторский замысел. В ней не только батальные зарисовки, но и картинки нелегкого блокадного быта, жизни людей, принесших с собой из «гражданки» свои профессии и пристрастия, скажем, к рисованию или музыке, кулинарии и парикмахерскому делу, нашедшие неожиданное применение здесь, на острове, оторванном от Большой Земли.

Остров Трав не одинок, есть, например, уже дальше к северу, остров Бать-лонг-ви (Хвост Белого Дракона), в 160 километрах от морских ворот Республики — порта Хайфонг, рыбацкий остров чуть побольше Кон-ко, где сбиты уже почти два десятка самолетов, и много других маленьких крепостей с древними поэтичными названиями, преградивших захватчикам путь к берегам Вьетнама.

НГУЕН КХАЙ

НА ОСТРОВЕ ТРАВ

Стоя на песчаной косе и всматриваясь в морскую даль, я неясно различал зеленоватую скалу, вздымавшуюся над волнами у самого горизонта. Это и был Кон-ко, остров Трав. Перед моими глазами среди безбрежного моря, почти неприметный, возник прославленный остров-твердыня, остров-крепость. Я потратил десять дней, чтобы добраться до этой песчаной косы, но долгожданный остров все же выплыл передо мной как-то вдруг; показалось невероятным, что он так близок, что, приглядевшись, уже можно рассмотреть его очертания, его силуэт: сначала высокий выступ, полого спускающийся вниз, затем прямую горизонтальную черту и еще один выступ, только пониже. Кажется, что заметна даже тонкая белая полоска каменистого берега.

Отсюда видно, как над выступами клубятся, исчезая, черные дымки, а среди шума морского прибоя слышен резкий свист падающих бомб и их разрывы; когда по ночам вражеские корабли обстреливают Кон-ко, снаряды прочерчивают огненные трассы.

Признаться, у меня уже давно сложилось в воображении свое представление об острове Кон-ко, мне виделись боевые позиции наших войск, земля, изрытая ходами сообщений, деревья с расщепленными стволами, обуглившиеся сучья; весь остров распахан бомбами и снарядами — не осталось ни одного нетронутого клочка земли. А солдаты острова представлялись мне с почерневшими, обросшими щетиной лицами, в рваных, торчащих клочьями мундирах; они беспрестанно перебегают с одной позиции на другую и кричат осипшими голосами.

Передо мною был остров, покрытый буйной зеленью. А всего лишь прошлой ночью на переправе Куан-хау один политработник из Винь-линя совершенно серьезно заверял меня, что если до начала военных действий остров с берега казался зеленым, то теперь он только наполовину зеленый, а наполовину — красный. Ну и воображение же у этого политработника!

Глава из книги Нгуен Кхая «Они живут и сражаются». Как и последующие материалы этой подборки, печатается с сокращениями.

...Нас разбудили еще затемно. Но как длинна была эта первая ночь, проведенная на острове Кон-ко! Наскоро ополоснув лицо, приступаем к завтраку. Разгорается заря. Протягиваю руку товарищу Тину — накануне в темноте я его не сумел разглядеть.

Тину лет двадцать пять, двадцать шесть. Резкие черты лица, удлиненные черные глаза, ладная фигура. И голос, удивительно соответствующий внешности: спокойный и неторопливый.

Оглядываюсь вокруг: мы в лесу. Над нами низкими широкими зонтами листва раскидистых бангов, сквозь которую просачиваются лучи утреннего солнца; деревья могучие, почти такие же, как на Большой Земле, только сучья, пожалуй, отстоят далеко друг от друга и стволы кажутся толще, а крепкие плотные листья — заостренней. Растущие здесь дикие ананасы выглядят худосочными, хотя плоды их красноватые, округлые и большие, величиной с кокосовый орех, «глазки» на кожуре смотрят из глубины — бери нож и выковыривай по-одному. Место это укромное. Узенькие тропинки петляют в зеленой чаще. Нас поселили возле путей, ведущих из зон «Ха-донг А» и «Ха-донг Б». Небольшие группы бойцов в стальных касках и маскировочных накидках нередко из окрашенного в зеленый цвет парашютного шелка направляются куда-то с лопатами и кирками. Бойцы здороваются с нами, с любопытством рассматривают киносъемочную аппаратуру, которую привезли с собой наши операторы.

— Здесь пропасть интереснейших сюжетов,— замечает кто-то из бойцов.

— Будете снимать, не забывайте о саперах,— в шутку вставляет другой.

— Скоро опять посмотрим фильм о Кон-ко. Только вот где его показывать? — подхватывает третий.

Потом я узнал, что раньше из военного округа сюда, на остров, каждый месяц привозили передвижку. Кинозалом служила столовая: окна и двери плотно завешивались, и сеансы происходили днем. Зрителей обычно набиралось несколько десятков, а иногда их бывало всего лишь двое-трое. За несколько дней кинопередвижка прокручивала фильмов пять-шесть, и полнометражных и короткометражных. Теперь же устраивать сеансы днем нельзя, ночью тоже небезопасно: прежде чем собрать в одном месте десяток человек, приходится все тщательно обдумывать. Но, если будет передвижка, найдется и способ устроить просмотр.

Все утро Тин занимался только нами. Он подробно проинструктировал нас, как следует вести себя на острове, как передвигаться, где находить укрытие, как маскироваться. Когда я робко осведомился у него, не найдется ли где-нибудь воды, чтобы хоть как-нибудь умыться, то услышал ошеломляющий ответ:

— Воды-то? Найдется. Вон сколько там озер! Но надо соблюдать осторожность.

Потом распорядился:

— Пойдете по двое. Там — белая зона. Каждый должен захватить маскировочную накидку.

Действительно, «озера» оказались совсем неподалеку, всего в нескольких десятках метров. Три огромные воронки от бомб, соединенные между собой ходами глубиной метров до пяти-шести и шириной около десятка метров. Листья на деревьях вокруг осыпались, засохли и почернели. Тропинка вьется между нагромождениями больших и малых камней. Там, где стирают и купаются,— превосходная каменная площадка. Вода мутно-голубая, непроточная, немного солоноватая. Мы забрались в это «озеро» по шею.

— Смоем пыль Большой Земли и станем настоящими бойцами острова Трав,— сказал кто-то.

Мы уже успели ощутить своеобразный вкус жизни на острове. Успели отведать риса, сваренного здесь, он был белый и очень клейкий и немного напоминал поджаренный. Попробовали островной водицы, выпили островного чаю, он показался чуть-чуть солоноватым. Чаю напились вволю, хотя перед приездом на остров договаривались друг с другом, что будем экономными в питье, и даже установили норму: бидончик на человека. Оказывается, на Кон-ко есть источник пресной воды, она не вполне пресная и не такая мягкая, как на Большой Земле, но зато — своя, островная, пей, сколько угодно, мойся и стирай, если не лень совершить дальнюю прогулку к источнику. На острове в изобилии то, без чего нельзя обойтись,— вода, рис, боеприпасы, и это значит, что можно годами жить и оказывать сопротивление американским захватчикам даже в том случае, если связь с Большой Землей будет прервана.

Барахтаясь в «озере», мы вдруг услыхали шум моторов: со стороны моря к острову приближались самолеты. Появление самолетов над островом Трав куда более опасно, чем над Большой Землей. Боец, проходивший по краю воронки, набросив на плечи для маскировки развевающуюся накидку из парашютного шелка, укрылся за стволом обгоревшего дерева.

— Спокойно, товарищи,— сказал он нам.— Они пролетят мимо.

Бомбардировщики Б-59, отливающие серебром, словно горный ручей, в самом деле пронеслись над островом в направлении Большой Земли. Едва мы вернулись к себе, как опять послышался шум приближающихся самолетов. Тин громко крикнул:

— Немедленно в укрытие! Будет жарко!

Рокот моторов слышался уже над самой головой, он смешался с грохотом взрывов, доносившихся с восточного берега. Тин выпрыгнул из траншеи.

— Опять бомбят тот же самый район,— сообщил он.

Сказал он это совершенно невозмутимым тоном. Бойцы, проходившие по ходам сообщения, осведомлялись: «Где бомбят?» — и голоса их тоже звучали спокойно. Обстрелы и бомбежки с военных кораблей и вражеских самолетов за последние полгода стали обычными в жизни островного гарнизона. Никого здесь не удивляло больше, что бойцы готовят пищу, обедают, таскают из источника воду, несут службу, разучивают песни или читают письма от родных в то самое время, когда рвутся бомбы по тонне весом, падают бомбы замедленного действия, грохочут ракеты. Случаются и спокойные дни, но и тогда я чувствую, что не все в порядке, меня охватывает какое-то беспокойство. Невольно спрашиваешь себя: «Что они еще задумали?»

Для меня первый день на острове был первым днем настоящей войны, и это после одиннадцати лет мира. Но я попал на фронт шестью месяцами позже бойцов, защищающих Кон-ко. Уже полгода назад они узнали, что такое война, и это дало им право рассказывать новичкам волнующие истории, которые за эти двести дней случились с их друзьями или с ними самими. Первый день на острове мы, разумеется, чувствовали себя новичками, хотя в боевой жизни Кон-ко было нечто знакомое. Спать в лесу, под дождем, так, как в прошлую ночь, под рокот моторов рыскающих вокруг вражеских кораблей — для многих из нас не впервой. Эта ночь напомнила мне другую — на перевале Тхунг или в Кхау-вок, на дороге номер шесть у подножия Фа-дина. Последние выстрелы нашей освободительной войны против французских колонизаторов отгремели десять с лишним лет назад, но на этом острове в это утро их эхо слышалось необыкновенно ясно. В это утро Лыонг Нгаук Чак, товарищ из нашей группы, привычно работая киркой, готовил себе постель поудобнее. Точными движениями он переворачивал камни, складывал их в сторонке, сверху же для пущей роскоши обкладывал свою постель обломками кораллов — дело у него спорилось. Художник Куан Тхо, выкупавшись вместе с нами в «озере», сначала исчез, а потом вернулся, опоясанный целым ворохом лиан; Тхо сожалел, что не обнаружил на острове сочных сладких лиан, которыми ему доводилось лакомиться в древних джунглях возле вьетнамо-лаосской границы. А Ши Хань, тщательно присматриваясь к низкорослым гладким деревьям, прикидывал, как сделать из них изящную и удобную кровать. Мы еще не забыли привычек, выработанных во время войны Сопротивления. Да и как их можно забыть, если наша Родина уже два десятка лет не знала ни одного дня, который можно было без оговорок назвать по-настоящему мирным.

Мы познакомились и подружились с ветеранами Кон-ко. Товарищ Фо оказался радушным хозяином. Он щедро угощал нас сигаретами марки «Дьен-бьенфу», мы же опасливо тянулись к пачке: до нас доходили слухи о том, что на острове с куревом очень туго. Однако Фо подбадривал нас:

— Чего-чего, а сигарет хватает, курим только «Тханг-лонг» * и «Дьен-бьенфу» по донгу за пачку. Вам-то, наверно, не часто приходится так роскошествовать. Курите, у нас этого добра полным-полно!

Мы по доверчивости принимали его слова за чистую монету и, не стесняясь, курили — до тех пор, пока не узнали, что Фо с великим трудом собирает по сигарете у всех своих друзей на острове, чтобы доставить удовольствие «литераторам и художникам», протягивая им каждый раз «почти не начатую пачку».

В ту ночь, когда три вражеских военных корабля засыпали остров снарядами и минами, мы спустились в укрытие, Тин и Фо — следом за нами. Фо расположился у самого выхода, на его круглом лице мелькали отсветы трассирующих пуль.

— Ну и стреляют же они: боеприпасы переводят!...— сказал он.— Вот когда начнем стрелять мы, тогда только держись.

Прислушиваясь к грохотавшим разрывам, Фо давал пояснения:

— Это стошестимиллиметровка — всего-то и делает вмятины с куриное гнездо... Это восемьдесят один миллиметр — так себе, ничего особенного... Сорокамиллиметровый снаряд, пятидесятимиллиметровый... Просто игрушки... А ведь мы первые люди в Северном Вьетнаме, которые слышат грохот американских пушек, бьющих прямой наводкой... Только зря они стараются, переводят снаряды. Ничего, будет еще ночь, когда мы им покажем!

Однако позже Тин оценил все совершенно иначе:

— А ночью обстрел был сильный. Снаряды сыпались густо.

Фо никогда не ложился спать в полдень и без конца «наводил на себя лоск». Он целых полчаса отмывал свои тапочки. Стирал в соленой воде, обязательно взбивая мыльную пену. Затем принимал ванну. Сначала Фо намыливался туалетным мылом. Потом окунался. Опять намыливался. Опять окунался. Чтоб ходить на «озеро» вместе с Фо, надо было иметь крепкие нервы. На Большой Земле, разумеется, можно стирать и мыться сколько угодно без всякого риска,

* Тханг-лонг — старое название Ханоя, означает «взлетающий дракон».

иное дело здесь, в воронке от бомбы, на острове Трав, среди выжженной, превращенной в пустыню земли. Но Фо, тем не менее, готов был подвергать себя опасности часами, для него это были часы наслаждения. Несмотря на самую жуткую жару, он никогда не разрешал себе разгуливать по острову в трусах и майке. Фо всегда ходил в гимнастерке и форменных брюках, застегнутый, обутый — все как положено. Носки у него сверкали белизной. Впоследствии я признался себе, что у меня самого не хватило бы духу так следить за собой. Удовлетворение своих личных потребностей я откладывал до возвращения на Большую Землю: вернусь на Большую Землю — постригусь; вернусь на Большую Землю — вымоюсь в настоящей пресной воде в полное свое удовольствие. Другое дело — Фо. Остров — его дом, Фо убежден, что в собственном доме надо быть подтянутым и аккуратным. Из разговоров с Фо узнать об истинном положении вещей на острове было невозможно.

— Как у вас с обмундированием? — спрашиваю я его.

— Прекрасно, у меня, например, два новехоньких комплекта в запасе.

— А с обувью?

— У меня лишняя пара лежит.

— С питанием, кажется, трудновато?

— Ничуть не хуже, чем на Большой Земле. Нам везет. Крабов едим вволю, съедобных трав в лесу полно. Как видите, витаминов вполне достаточно.

Фо не хотел, чтобы мы знали обо всех невзгодах, которые выпадали на долю бойцов Кон-ко, не хотел, чтобы мы делили с ними эти невзгоды.

Однажды в полдень Фо вернулся со строительства укреплений и привел с собой какого-то бойца, тот держал в руке маленький сверточек. Фо представил нам его: товарищ Ап, наблюдатель, самый модный из самодеятельных парикмахеров на острове. Собственно, мы еще не успели особенно обрасти, да к тому же на Кон-ко немало людей, умеющих обращаться с бритвой и ножницами, можно было воспользоваться услугами любого из них. Но Фо хотел, чтобы его друзей постригли на Кон-ко ничуть не хуже, чем на Большой Земле. Ап еще моложе Фо, ему восемнадцать лет.

— Я не самый модный, я, пожалуй, на втором месте. Вот зенитчик Нги — это был классный мастер. Но он погиб в первом же бою.

Фо тихо добавил:

— Этот Нги сочинял песни, славно у него получалось, и пел. Спортсмен он тоже был отличный. Все мы горюем о нем.

Ап разложил свое хозяйство: бритву, щипцы, машинку для стрижки; потом усадил меня на каменную глыбу — положение мое было не самым устойчивым,— прикрыл куском парашютного шелка. В армии Ап с семнадцати лет, через несколько месяцев после того, как он надел солдатский шлем со звездой, его отправили на остров драться с врагом.

— Я был меньше всех ростом, когда только что прибыл на Кон-ко; встав на носки, с трудом дотягивался до плеча товарищей,— рассказал Ап.— А теперь вытянулся — рост у меня метр шестьдесят. Не иначе, как здешний климат помог, очень он здоровый.

Через несколько дней Апа перевели в «кормильцы» гарнизонного штаба. Обеспечивать питанием бойцов и командиров — всегда дело хлопотное, оно обычно поручается самым расторопным и старательным солдатам. Но доставать провизию и готовить на острове, особенно на острове Трав,— необыкновенно тяжелая задача. По утрам, когда еще едва различимы лица людей, я не раз, отправляясь в подразделения, замечал Апа, пробирающегося по ходам сообщения с двумя бадьями, полными воды. По этим узким траншеям ходить трудно, с непривычки можно крепко удариться о камень или сломать палец на ноге. В ходах сообщения темно — над ними нависает густая листва, громоздятся камни и скалы; внутри очень тесно, приходится целые километры почти на ощупь тащить тяжелые бадьи с расплескивающейся водой. А ведь для того, чтобы сварить рис три раза в день да обеспечить людей питьевой водой, требуются десятки ведер. Ап совершал свои нелегкие рейсы туда и обратно, а над его головой пролетали самолеты противника — то в сторону моря, то в сторону Большой Земли; время от времени они вдруг пикировали вниз и минут десять гонялись за какой-нибудь крошечной лодчонкой рыбака. Набирая воду, надо было следить, как бы не угодить под бомбу; сгибаясь под тяжестью полных бадей, стараться не наступить на острые осколки; ощупывать ногой каменное дно траншеи и непрестанно наблюдать за небом. Пот струился по лицу, по всему телу. Дотащив воду до своей кухни, Ап облегченно вздыхал.

Во время моего пребывания на острове вражеские корабли почти каждую ночь кружили возле Кон-ко, то, приближаясь к острову, начинали обстрел, длившийся полчаса или пятнадцать минут, то отплывали подальше и продолжали свое кружение по морским волнам. Однажды вечером после очередного обстрела мы сидели и болтали на краю траншеи и вдруг заметили какую-то тень, маячившую при свете убывающего месяца. Тень приблизилась к нам.

— А сегодня они что-то рано отправились на покой.

Это был Ап, в руке он держал корзину, из которой доносились шорохи: по стенке из бамбуковой дранки били своими клешнями крабы. Каждый вечер, как только отплывали вражеские корабли, Ап с корзиной в руках нырял в чащу и, прислушиваясь к шелесту лапок, семенящих по сухой листве, по-одному вылавливал крабов до тех пор, пока корзина не становилась тяжелой. А на следующий день мы лакомились чудесным супом из крабов, сверкающим золотистыми переливами, крабами с жареными побегами дикого банана, крабами с перцем и солью. Все это очень вкусно, но порой деликатесы просто застревают в горле, и думаешь, что лучше бы есть сухой рис с солью. Ведь они слишком дорого достаются: не только изнурительным трудом, но и смертельным риском.

Как-то раз я пошел за обедом на кухню. Ап выглядел очень обеспокоенным.

— Опять все те же крабы,— невесело улыбнулся он.— Знаю, они вам порядком надоели, но придумать больше ничего не могу. Вы уж меня извините...

В первые дни мы наведывались во все подразделения, дислоцированные в разных концах острова. По дороге мне часто попадались навстречу два бойца, которые были неразлучны, всегда ходили только вдвоем. Один — довольно высокий, светлокожий, второй — на голову ниже ростом и смуглый. У обоих на боку висело по огромной брезентовой сумке. Однажды они вдвоем тащили какую-то железную болванку. Каждый день мы то и дело сталкивались друг с другом нос к носу, и каждый раз высокий вежливо приветствовал меня, а низенький улыбался, как старому знакомому. В каком они подразделении служат и как их зовут, я не знал. Мое неведение продолжалось вплоть до того прекрасного утра, когда к нам прибежал командир местных саперов и сообщил радостную новость: бойцы его подразделения впервые на острове сумели обезвредить, не взрывая, бомбу замедленного действия. Командир саперов назвал тех, кто совершил этот подвиг. Их имена были Кханг и Дак. На вопрос, где я смогу их найти, командир ответил:

— Этим ребятам на месте никогда не сидится. Я сейчас пошлю кого-нибудь, чтобы их разыскали.

Мы уже отобедали, когда, наконец, явились долгожданные саперы в сопровождении своего командира. Оказалось, что это те самые неразлучные друзья — высокий и низенький,— которых я все время встречал на дорогах Кон-ко. Высокого звали Кханг, а низенького Дак. Кханг сделал подробный доклад о произведенной ими операции, которая одновременно была и исследовательским экспериментом. Оба они попали на остров как раз в то время, когда боевая обстановка сделалась особенно напряженной. Они прошли обучение в специальной школе, но оно продолжалось только три месяца. Профессиональных познаний у друзей было совсем немного, а задача, решение которой они добровольно взяли на себя, оказалась чрезвычайно сложной.

Для начала они обдумали способ обезвреживания обыкновенных невзорвавшихся бомб — вывинчивали взрыватели. Это им удавалось. Затем подступились к неразорвавшимся ракетам — вывинчивали взрыватели, извлекали взрывчатку. Так они одержали вторую победу. На очереди оказались бомбы замедленного действия. Прежде всего, было очень трудно засекать, куда противник сбрасывает бомбы. Обычно это делалось под прикрытием дымовой завесы. Коварные бомбы могли попасть в старую воронку, или укрыть свое ядовито-зеленое тело в диких зарослях, или застрять в расселине между скалами. Они могли взорваться и через пятнадцать минут, и через несколько часов, а иногда и по истечении целой недели. Обезвреживать эти чудовища — дело необыкновенно рискованное. От саперов острова Кон-ко требовалось, чтоб они находили бомбы, эвакуировали людей и технику за пределы опасной зоны, ожидая, что бомбы взорвутся сами по себе, но когда это произойдет, было тайной, которую стальные страшилища хранили с завидным упорством. Командир саперов, разумеется, не приказывал Кхангу и Даку обезвреживать бомбы замедленного действия. Они взялись за это сами и приступили к делу, никого не поставив в известность.

Бомба замедленного действия, с которой они начали свой опыт, упала в расположение их подразделения между зонами «Ханой» и «Ха-нам» в старую глубокую воронку, восьмиперый хвост бомбы торчал наружу. Поскольку эксперимент проводился в неофициальном порядке, Кханг и Дак работали по ночам, при свете луны. Ждали, пока луна взойдет, и, пользуясь увеличительным стеклом, собирали тусклые лучи в пучок. Сначала они осторожно подкопали бомбу с помощью лопаты и лома, уложили на земле плашмя, потом извлекли из хвостовой части взрывчатку, тем самым немного уменьшив опасность. Обезвредили взрыватель. Теперь оставалось извлечь взрывчатку из головной части и снять боеголовку. Прошел час-другой, бойцы обливались потом, но ловкие и терпеливые руки Кханга все еще никак не могли покончить с этим нелегким делом. Любое неосторожное движение привело бы к взрыву. Однако в конце концов тайна хитрого устройства, предназначенного для уничтожения людей, была разгадана. Это случилось уже на рассвете. Мне припомнилось, как однажды ранним утром я встретил двух друзей в ходах сообщения на одном из поворотов в зоне «Ханой». Лица их были покрыты потом, на них налип краснозем, мундиры находились в пла-

чевном состоянии. Один нес на плече длинный лом, второй лопату. Они молча шли друг за другом. Мы поздоровались, как всегда, и разошлись в разные стороны. Не в это ли самое утро весть об их подвиге разнеслась по острову Трав?..

Из всех вьетнамских писателей Нгуен Туан несмотря на его годы, наверно, самый непоседливый. Он любит путешествовать по отдаленным и труднодоступным районам. На сувенирах, которые он привозит оттуда друзьям, стоят почтовые штампы местечек, которые и на карте не сыщешь,— штампы эти для достоверности. Справедливости ради заметим, что путешествует Туан по Вьетнаму давно: до революции иногда по этапу во французскую тюрьму, в войну Сопротивления — солдатскими дорогами в джунглях.

Туан хочет написать книгу о новых дорогах Республики, о людях, строящих шоссе и мосты, по которым в самые затерянные уголки Севера приходит новая жизнь. Я видел его записные книжки послевоенных лет — целый архив, кстати, единственное, что он, уезжая из дому, наказывает жене в случае бомбежки уносить с собою в убежище. Легко понять, какой болью отзывалась в сердце писателя каждая американская бомба, падавшая на дороги и переправы Вьетнама. Ведь они разрывали в клочья страницы еще не написанной повести, убивали его будущих героев. Нгуен Туан опять отправился в путь, чтобы писать о людях, защищающих дороги Вьетнама и отстраивающих их заново под огнем.

Понятен и острый интерес писателя к моральному облику тех, кто бомбит, кто, без объявления войны вторгшись во вьетнамское небо, сеет разрушение и смерть. Новая книжка Туана «И грабители, и нищие» объясняет, почему его в Ханое называют «специалистом по американским летчикам». В острой гротескной форме рисует он портреты «упавших с неба» реактивщиков, в карманах которых вместе с текстом «молитвы пилота» лежат трафаретики с указанием объема бедер и бюста оставшихся за океаном жен и любовниц (дабы не промахнуться, приобретая им барахло). Каждая страница этой книги вызывает не только гнев и возмущение преступлениями, чинимыми янки в мирной и никому не угрожавшей стране, но и гордость за людей Вьетнама, исполненных человеческого достоинства и стоящих во всем, что касается морали и чести, на много голов выше «рыцарей» «свободной и цивилизованной» Америки!

НГУЕН ТУАН

И ГРАБИТЕЛИ, И НИЩИЕ

Писателю Ань Дыку (Южный Вьетнам)

В провинции Нинь-бинь устроено сейчас нечто вроде выставки обломков различных видов американских самолетов; на этом «американском кладбище», расположенном под открытым небом рядом с главной дорогой провинции, можно увидеть любые образцы изделий металлургического производства янки, любые виды сплавов. Климат Юго-Восточной Азии, дождь и солнце еще не смогли совсем стереть с этих скрученных, рваных кусков, сплющенных в сплошную дюралевую массу, опознавательные знаки военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

В Ханое, нашем Тханг-лонге, с его тысячелетними традициями тоже демонстрируются американские «авиатрупы».

В сводчатой комнате моего дома на письменном столе лежит американский флаг. Шелковистый кусок нейлона ослепительной белизны размером с носовой платок (да, да, тот, которым утирают нос). На этом военном трофее в два с половиной ампана длиной (25 см) и в полтора ампана шириной (15 см) такие же красные продольные полосы, как и на нгодиньдьемовском флаге, и еще масса звезд. На платке вверху — национальные цвета Соединенных Штатов Америки, а ниже

квадратами — текст на четырнадцати языках. Да, мой друг Ань Дык, на таиландском, на лаосском, бирманском, малайском, китайском (на пекинском диалекте и на народном китайском), конечно, на английском, французском, немецком, вьетнамском и т. д. Разные языки, разные алфавиты, а смысл слов один и тот же.

Во вьетнамском квадрате этот чисто американский текст выглядит так: «Я американский гражданин. Я не говорю по-вьетнамски. Мне не повезло, я вынужден просить вас, почтенный господин, помочь мне найти пищу и убежище, я прошу также вашей защиты, почтенный господин. Потом я просил бы почтенного господина связать меня с теми, кто сможет защитить и репатриировать меня. Наше правительство найдет способ оплатить услугу почтенного господина».

Странная и неуклюжая вьетнамская проза, такой пишут американцы, изучающие наш язык (или, точнее, тот вьетнамский язык, которому их учат лакеи-переводчики).

Где я подобрал платок? Из чьих рук он выпал? Товарищ Ань Дык, такие платки еще одно свидетельство «гуманизма à la янки», хорошо выглаженные и тщательно сложенные, лежат в карманах тех, чья воздушная карьера закончилась на земле Северного Вьетнама.

На комбинезоне летчика-янки более десятка карманов, назначение всех не угадаешь, и я не знаю, в котором из них лежал этот платок, но я знаю, что он упал с неба над Северным Вьетнамом, а Северный Вьетнам весь как один поднялся против американских агрессоров. С тех пор как уже почти два года в Северном Вьетнаме идет соревнование по истреблению воздушных пиратов, немало таких платков сгорело вместе с самолетами и летчиками. Остающиеся в живых и выбрасывающиеся на парашютах бандиты попадают к нам вместе со своими платками.

Что ж, поговорим немного об этой... платочной литературе, с образцом которой я только что вас познакомил. Воздушный пират (а есть еще и морские), очутившись на земле, обычно показывает этот платок, думая, что пестрый лоскут легко разрешит все его проблемы. Ведь это нечто вроде рекомендательного письма на нейлоне, а заодно и предусмотрительно заготовленный «счет за услуги». Американский реактивщик только что выпустил ракеты, пламя и дым на горизонте свидетельствуют о совершенном им преступлении, а литературный опус на платке представляет его вам как гражданина США, которому «не повезло»!..

В этом духе янки говорят с солдатами, мужчинами и женщинами, стариками и детьми Вьетнама, которые ловят их повсюду — в лесу, на рисовых полях, на реках... Потрясающе, не правда ли, товарищ Ань Дык?.. Таков опасный субъективизм многих американцев: они твердо убеждены, будто повсюду их обожают, они верят в это, как в свою технику, они думают, что при большом количестве долларов и бомб им все позволено и все будет о'кей.

«Наше правительство найдет способ оплатить услугу почтенного господина...» — во французском квадрате нейлонового платка это выглядит еще более цинично: «Мое правительство вас вознаградит!..» Каким образом и в какой мере? Вознаградит, вероятно, долларами, ведь янки привыкли смотреть на все с точки зрения наличных денег, не так ли? Или, быть может, наградит титулами: званием советника, званием лакея? Или назначит преподавателем вьетнамского языка в высшей школе шпионажа в Калифорнии?

Или лучше всего вознаградить натурой? Представьте себе целый транспорт с консервами: консервированные рыба, фрукты, мясо, консервированная печенка, консервированные... мозги!

И целый склад транзисторов для того, чтобы всю жизнь потрясать никелированной американской антенной и набивать себя сенсационно лживыми и абсолютно «свежими» новостями «Голоса Америки»...

Недавно в Северном Вьетнаме мы «поджарили», а так бывает каждый день, одну американскую «птичку», от которой остались часть клюва, кусок крыла и часть хвоста — так-то вот! 4 июля 1965 года — не через двенадцать, а только лишь через одиннадцать месяцев (даже без одного дня) с тех пор, как американская авиация творит преступления в Северном Вьетнаме, — мы сбили триста шестьдесят пятый и триста шестьдесят шестой вражеский самолет. (Эти два упали в провинции Нам-динь, которая установила дружбу с провинцией Митхо у Вас на юге.) Северовьетнамские провинции начали соревнование за пятисотый американский самолет, а сейчас эту круглую цифру намного превзошли.

Количество американских самолетов, сбитых стрелковым оружием, силами самообороны, зенитной артиллерией или авиацией Северного Вьетнама, сообщается регулярно. Газеты публикуют цифры, а если вы забыли прочитать газету, то каждое утро при входе в любое учреждение на доске профсоюзных объявлений вы видите эти цифры, отчетливо написанные цветным мелом.

На моем письменном столе все еще лежит платок — пропуск или даже фетиш сбитых в небе Северного Вьетнама американских летчиков, лежит на своем месте этот кусочек нейлона, на котором отпечатаны национальные цвета Америки и строки американской прозы на вьетнамском языке, не знающие себе равных по

глупости, бесстыдству и цинизму: «Я американский гражданин. Мне не повезло, я вынужден просить вас, почтенный господин, помочь мне найти пищу и убежище, я прошу также вашей защиты, почтенный господин...»

Возможно, эти летчики и верят в лживые заверения своих начальников и думают, что все члены кооперативов дельты, побережья и плоскогорья, все вьетнамцы при каждом пролете американского самолета с разинутыми ртами глядят в небо, почтительно приглашая этих «небесных гостей» к праздничному столу с тремя мясными блюдами*, паштетом, бифштексом с кровью, холодной курицей, кофе, виски с содовой, кока-колой и чем там еще?..

Если б эти платки не попали к нам и если б мы не видели своими глазами, как в наших лагерях размахивают ими, выпрашивая рис, можно было бы предположить, что я придумал все эти истории из ненависти к американцам, для того чтобы посмеяться над ними.

Мания величия неминуемо приведет американских империалистов к гибели. В этой войне они увязают все больше и больше, здесь их ждет поражение, дорогой Ань Дык.

...Я открыл еще одну черту американских империалистов: это одновременно и грабители, и нищие! Они нагло нарушают чужие воздушные и сухопутные границы, но, как только это бандитское нападение им не удается, они меняют тон и заводят песню бывалых босяков: «Я прошу вас, почтенный господин, почтенная госпожа, накормить меня...»

Я вообразил американского летчика, который, освободившись от парашюта, надевает на голову шляпу (нет, конечно, не из соломы, а из специально обработанного нейлона) и выходит из вьетнамских джунглей. Шляпа этого нищего выкрашена в национальные цвета Соединенных Штатов Америки с полным набором всех пятидесяти звезд. (Кажется, совсем недавно к американскому знамени добавили еще одну звезду, и сейчас их уже 51, не так ли, дорогой Ань Дык?) На плече у него сосуд, не из тростника, а, разумеется, из нейлона, внутри которого надежно спрятан передатчик небольших размеров. Он затягивает переведенную на четырнадцать языков песню бродяги: «О, мы, американцы, несчастны на этой земле...» В одной руке у него кружка, тоже из нейлона, другой он опирается на палку, разумеется, тоже из нейлона. Вот вам новый образ нашего нейлонового века. И бандит, и нищий, спекулирующий звездным флагом Вашингтона... Народ Америки, студенты, преподаватели, рабочие, писатели и художники с каждым днем все яснее осознают, что американские милитаристы, таскающие за собой повсюду святое национальное знамя Америки, ведут подлую игру в грабителей и нищих. Против американской агрессии во Вьетнаме демонстрируют в Соединенных Штатах.

Все настоящие американцы объединяются под единым лозунгом: «Пусть те, другие американцы покинут Вьетнам немедленно и навсегда!»

Хосе Родригес Элисондо — двадцатилетний чилийский адвокат и журналист — побывал в ДРВ в составе делегации Международной Ассоциации юристов-демократов. Написанный им репортаж о Вьетнаме — это обвинительный акт, доказывающий по пунктам состав преступления: бомбардировки школ, бомбардировки больниц и госпиталей, химическая война... И автор сразу приводит правовой прецедент — Нюрнберг, с беспощадной логикой юриста заставляя выступить свидетелями обвинения не только двух капитанов ВВС США, но и небезызвестную газету «Нью-Йорк таймс».

Элисондо с максимальной отдачей использует эмоциональное звучание и логическую значимость отобранных им фактов. И только в одном случае он, мне кажется, увлекся чисто эмоциональной стороной вопроса. Я имею в виду его рассказ о разрушенной пагоде. Разумеется, бомбардировки храмов можно оценивать и только с точки зрения морали, но люди должны знать, что именно обращают в развалины взбесившиеся реактивщики.

К сожалению, шедевры искусства, созданные народами Вьетнама, не вошли еще прочно в «эстетический обиход» человечества. А ведь отлитые 2500 лет назад чеканные бронзовые барабаны донгшонской культуры не уступают античной бронзе Европы, а великолепные статуи Западной пагоды, высеченные безвестными вьетнамскими мастерами, достойны стать рядом с творениями их современников, скульпторов Ренессанса. Древние пагоды Вьетнама неповторимы по строгости и чистоте своих пропорций и точному композиционному

* По старому обычаю гостю предлагали три блюда — телятину, свинину, козлятину.

слиянию с пейзажем. В центре вьетнамской столицы почти девять веков стоит, поднимаясь из озера, как цветок лотоса на своем стебле, Пагода на одной колонне; среди рисовых полей и садов провинции Тхай-бинь ажурными ярусами возносится к небу звонница пагоды Кео с ее многоголосыми колоколами; на лесистых холмах Нге-ана * высится Павлиний храм короля Ан-зыонга с прекрасными анфиладами лестниц и арок; вот уже почти тысячу лет радуют взоры людей диковинные драконы и цветы на красных лепных кирпичах пятнадцатиметровой башни Бинь-шон в провинции Винь-фук...

Я пишу эти строки и чувствую, как тревожно сжимается сердце, ведь любой из памятников Вьетнама может стать мишенью для американских бомбовозов, как это случилось с храмом Док-лой (что значит «Удар грома») близ города Виня. Четыре раза проезжал я через Винь и неизменно останавливался у Док-лоя полюбоваться деревянными барельефами. На массивных розоватых панелях тропического дерева вырезанные древними мастерами — с характерной для вьетнамского народного искусства лаконичностью и мягким непритязательным юмором — важно шествовали слоны с веселыми всадниками на спине, парень тащил за узду пузатого коня. В неясном свете благовонных палочек фигуры на стенах оживали и двигались... В пятый раз, в январе этого года, я нашел на месте Доклоя груду развалин. В обломках черепицы и деревянных стен рылся старик — хранитель храма, мой давний знакомый. Увидев меня, старик зарыдал. Он не мог себе простить, что во время бомбежки ушел в убежище. Как будто его воля могла противостоять слепой мощи тротила!..

* Нге-ан — провинция ДРВ.

ХОСЕ РОДРИГЕС ЭЛИСОНДО

О ТОМ, ЧТО Я ВИДЕЛ

Человек поднимается с рассветом, чтобы отправиться на работу с винтовкой на плече... У этой женщины не осталось никого — муж казнен французами во время движения Сопротивления, две дочери на Юге... Молодая девушка, одетая в милицейскую форму, приветствует нас рукой, на которой не хватает трех пальцев, лицо ее обожжено напалмом...

Ханой — преддверие всего, что увидишь после. Это не город, а скорее гигантское поле для игры в гольф с лунками бомбоубежищ. Каждый храм, каждая больница, каждая школа имеют собственное одно или два бомбоубежища. Город пожертвовал своей красотой: куда ни посмотришь — везде изрытые улицы и площади. Бомбоубежища — один из видов обслуживания, которым гостиницы обязаны обеспечить своих гостей ради их безопасности. Нередко оно оказывается поважнее, чем парикмахерская или киоск сувениров.

Без устали повторяется одна и та же фраза. Ее произносит премьер-министр и фабричный рабочий, преподаватель университета и крестьянка — боец народной милиции:

— Если потребуется, мы будем драться пять, десять или пятнадцать лет. Если будет нужно покинуть город, мы оставим его и будем драться в джунглях.

Говорят служители церкви

«Добро пожаловать в наш дорогой Вьетнам. Для нас большая честь принять вас на нашей земле, которую сегодня топчут американские империалисты».

Нет, это не приветствие политического руководителя. Как бы невероятно это ни казалось, фраза исходит из уст Хо Тан Биена, священника церкви Святого воскресения, расположенной в самом центре Ханоя.

Я попросил встречи с католическими священниками, так как знал, что недавно состоялся съезд, на котором была определена позиция вьетнамских католиков. Определена ясно и категорически: бороться против захватчиков до конца.

Пришли восемь священников, кроме них — один «мирянин», член Национального комитета по связи с католиками — патриотами Вьетнама. Из восьми священников четверо были южане.

Хо Тан Биен – кроткий старик с мягкими манерами,— посматривая поверх стекол очков и иногда грустно улыбаясь, рассуждает о войне:

— Воевать — значит убивать, такова горькая правда. Однако на Юге война приобретает особенно жестокий характер. Обстоятельства привели к тому, что весь наш народ, включая и католиков, готов к борьбе. Нас вынудили к этому. Большинство наших верующих решило принять участие в вооруженной борьбе, каких бы жертв она ни потребовала...

На Юге, где нет свободы, невозможна и свобода исповедовать религию. Французы раньше, а американцы теперь выставляют себя защитниками религии, но тем не менее занимают своими войсками церкви, убивают прихожан, арестовывают и убивают священников. Мы, южане, по своему опыту знаем, что они убивают всех подряд. Их зверства невероятны. Я вспоминаю, как пьяные солдаты поспорили между собой, какого пола ребенок в животе у беременной женщины. Вы можете догадаться, чем закончился этот спор. Поэтому у нас только два пути: либо мы позволим убивать себя, либо мы должны бороться с захватчиками.

Остальные священники утвердительно кивают после каждого слова Хо Тан Биена. Аргументы, которые он приводит, им доводилось слышать не раз, но они испытывают потребность слушать и повторять их вновь и вновь. Слово берет другой священник. Он тоже с Юга. Темпераментный, резкий, возмущенный, он тоже говорит о готовности народа бороться столько лет, сколько потребуется, умереть, если будет нужно.

— Вы, юристы, борющиеся с помощью права, должны во всем мире говорить твердым голосом. Вы должны говорить правду обо всем, что видели во Вьетнаме. Вы должны помочь нам всеми средствами, чтобы победить захватчиков. Велика ненависть наша...

Убивают даже прокаженных

В шестом номере «Вьетнамских исследований» помещена краткая заметка, которую небезынтересно воспроизвести:

«В последние месяцы американская авиация наносила удары по медицинским и санитарным центрам ДРВ. Речь идет об определенной политике, преследующей цель уничтожить самые замечательные достижения социализма в Северном Вьетнаме. Вот список главных учреждений, которые были разрушены или повреждены». И ниже следовал сухой перечень страшных преступлений.

Они покажутся невероятными тем, кто хотел бы принять заверения Белого дома, будто американская авиация бомбит только военные объекты. Уже в Москве, когда я возвращался из Ханоя, один видный чилийский медик говорил мне, что этого не может быть, ведь это нарушает все международные конвенции.

Тем не менее во Вьетнаме мне довелось получить еще более потрясающее доказательство того, что это — действительность.

В Куинь-лап на берегу моря находилась колония для прокаженных, одна из лучших в Юго-Восточной Азии. Две тысячи больных людей жили в этом изолированном городке со своими школами, клубом, театром, детским лагерем. Колония заслуженно славилась тем, что во многих случаях больные излечивались от страшного недуга.

Я привожу сообщение Общества дерматологов ДРВ:

«...13 июня 1965 года прилетели самолеты и более часа безжалостно бомбили и расстреливали из пулеметов несчастных прокаженных. Самолеты, обладающие сверхзвуковой скоростью, преследовали больных людей и, разумеется, легко их настигали. Итог: 120 убитых за один налет. В последующие дни самолеты повторили нападение, и не один, не два раза, а в общей сложности четырнадцать раз. Более того: группа прокаженных, спасшаяся во время первых налетов, нашла временное убежище в санатории, эвакуированном километров за семьдесят от этого места. Но и там американские самолеты настигли их, врачи и санитары погибли...»

Такое и на страницах Кафки показалось бы, пожалуй, неправдоподобным...

Remember * Нюрнберг

Ричард Пауль Кейрн, капитан американских военно-воздушных сил, родился в Экроне (Огайо) 29 июля 1924 года. Во вьетнамской войне он участвовал в качестве члена эскадрильи № 47 тактической авиации, базирующейся в Убоне, Таиланд. В настоящее время его вынужденная резиденция — где-то в Демократической Республике Вьетнам.

* Помни (*англ.*).

Высокий, ростом почти два метра, с серо-зеленым лицом и бегающим взглядом, он появился перед нами аккуратный и подтянутый. Капитан нервно курил. Вьетнамские солдаты посадили его за маленький, расположенный против нашего стол и так же, как и нам, подали ему чай и фрукты. Он рассказал, что вылетел из Таиланда, когда атмосферные условия были неблагоприятными. Когда летел в указанной ему зоне в Северном Вьетнаме, в самолет попал снаряд, и он вынужден был прыгнуть с парашютом. Ранен в колено, лицо обожжено вспыхнувшим бензином. Когда он приземлился, его подобрали местные крестьяне и отвели в сельскохозяйственный кооператив, чтобы перевязать раны. Затем его отправили в лагерь военнопленных, где постепенно восстановилось его здоровье.

— Какие объекты вы должны были бомбить?

— Я не бомбил, а прикрывал другие самолеты. Я вылетал только два раза, и оба — с задачей осуществлять прикрытие.

— Расскажите нам, что вы думаете о войне и каково ваше мнение о вьетнамском народе.

— Люди со мной обращались очень хорошо. Я мало что знаю о войне... Не знаю, почему мое правительство ведет ее... О народе у меня очень хорошее впечатление.

— Какое объяснение дали вам, когда вы вылетели на задание?

— Мне давали не объяснения, а приказы.

— Для того чтобы одна страна могла бомбить военные объекты другой страны, должно быть состояние войны. Состояние войны должно быть утверждено американским конгрессом, согласно конституции Соединенных Штатов... Знаете ли вы о подобном законе или о том, что конгресс вашей страны утвердил это?

— Ничего не знаю. Я не разбираюсь в законах.

— А в приказах, которые вы получаете, вы можете разобраться? Проанализировать их, правильные они или нет, гуманные или бесчеловечные?

— Когда я получаю приказы, они исходят от моего командования, а оно назначается правительством, как я полагаю, в соответствии с законами моего правительства. Я же должен только подчиняться моему правительству.

— Знаете ли вы, что нацистские военные преступники давали точно такие же ответы в Нюрнберге?

— Да, я помню это.

— Нам кажется странным, что офицер не понимает причин войны...

— Я действительно не понимаю, из чего исходило мое правительство. Я далек от политических проблем, это компетенция моего правительства.

— Американцы утверждают, что они живут в демократическом государстве. Однако вы, офицер военно-воздушных сил, не знаете, объявляла ли ваша страна войну Вьетнаму или нет. Вы видите, как умирают ваши соотечественники, но говорите, что все это политические проблемы, относящиеся к компетенции главы государства. Скажите нам, как может осуществляться демократия в стране, если американцы не знают, почему убивают и умирают во Вьетнаме?

После этого вопроса Кейрн заметно изменился в лице. Бормоча, что недостаточно хорошо понял, он попросил повторить вопрос. Глотнул дым своей сигареты, подумал немного, а затем ответил:

— Насколько я знаю, когда народ считает, что правительство ошибается, он требует перемен. Я думаю, что большинство народа верит правительству. Для того чтобы окончилась война, народ должен ясно продемонстрировать свою волю, потребовать смены правительства. В настоящий момент я действительно не знаю, хочет народ войны или нет, потому что я уже давно не был в своей стране, на родине.

Вот строки из письма капитана Эдвина Шенка своей жене, опубликованного в «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» 4 мая 1965 года:

«...никогда еще за всю свою жизнь я не чувствовал себя таким одиноким, несчастным, разочарованным и подавленным. Мне стыдно за мою страну. В этой стране мы не можем поднять лица, потому что у нас нет его. Мы деремся и умираем, но до этого никому нет дела. Они обманули мою страну в отношении нас».

Капитан Шенк погиб в бою 24 марта 1964 года.

Рассказ о поцелуе и другие истории

Мы пересекаем мост через Хам-жонг, что в переводе означает «Челюсть дракона».

Местное население организовано для его защиты, все участвуют в борьбе с самолетами. Жизнь каждого висит на волоске, судьба людей зависит от моста. Люди понимают, какое большое значение имеет он для поддержания связи с остальной частью страны.

Хоанг Тхи Хюэ, председатель сельскохозяйственного кооператива зоны и командир народного ополчения, рассказывает нам об особых методах борьбы с врагом, выработанных опытным путем.

— Мы должны стрелять, максимально экономя боеприпасы. Самое лучшее для этого — выждать, когда самолеты начнут пикировать. Команда опытных стрелков вынуждает пикирующие самолеты подниматься выше — они становятся более удобной мишенью для артиллерии. Наши товарищи совершенно избавились от страха. Мне помнится, как товарищ Тин спокойно стреляла, хотя пули вражеского пулемета падали от нее в трех метрах.

Хоанг Тхи Хюэ — крестьянка. Трудно сказать, сколько лет этой застенчивой милой женщине. Меньше всего ее облик укладывается в привычное представление о воине. Майор Фан Ван Ной рассказывал нам, что под непосредственным руководством этой крестьянки было сбито двадцать пять самолетов над мостом и что ее девушки из ополчения — самые обстрелянные в этом районе.

Командир со спокойной гордостью представляет нам своих ополченцев. «Обстрелянными» оказываются девушки лет 18—19, ростом чуть повыше своих винтовок. Среди них Нго Тхи Туйен — самая знаменитая героиня Тхань-хоа. Ее глаза блестят, когда она рассказывает о том, как под огнем противника несла на коромыслах 96 килограммов боеприпасов. Подвиг, за который она удостоена награды дяди Хо. При этом сама Туйен весит не более 48 килограммов.

Хук — красивая, хрупкая деревенская девушка, командир небольшого отделения. Ее застенчивость исчезает, когда она начинает говорить о военных делах. С лукавой улыбкой она рассказывает, как ей доводилось брать в плен летчиков, вынужденных приземляться в этой зоне... «Они такие большие и такие жалкие, когда молят сохранить им жизнь».

— Не возникает ли у тебя желания поиздеваться над ними?

— Если они варварски обращаются с нашими пленными, это еще не значит, что и мы должны поступать так же,— отвечает она.— Мы знаем, что судить их поручено властям.

— А здешнее население понимает это?

— Все знают это прекрасно. Если летчики не сопротивляются, никто им не делает ничего плохого.

Встреча наша заканчивается импровизированным празднеством. Крестьяне хором поют песни и преподносят нам фрукты. Девушки-ополченки дарят самодельные серебристые кольца. Они сделаны из обломков самолетов, сбитых в этой зоне,— их ценность неизмерима. Французский делегат Жан Нордман, человек, закаленный в героическом Сопротивлении нацистам, не скрывает своего волнения. Он произносит яркую речь. Мы следуем его примеру, у каждого есть что сказать. После выступления француз обнимает и целует Хоанг Тхи Хюэ в обе щеки. Приглушенный возглас удивления указывает на то, что произошло что-то необыкновенное... Одна из девушек убегает раньше, чем наступает ее очередь обниматься. Совершенно очевидно, что объятия и поцелуи во Вьетнаме непривычны.

Когда последний из нас заканчивает свой круг приветствий, зрителей собирается уже целая толпа.

Смеркалось, когда мы подъезжали к другому местечку этой опустошенной провинции. Мы решили посмотреть, что осталось от одной исторической буддистской пагоды после бомбежки.

Толпа ребятишек, как и всюду, встретила нас, хлопая в ладоши.

Пагода с ее скульптурами была грудой развалин, как и окружающие ее дома.

Невероятно тощая старуха поджидала нас у входа в пагоду. Она размахивала обрубком левой руки. Это была смотрительница храма.

Бомбы оставили эту женщину без крова, из ее раны сочилась ненависть.

Вместо заключения

Несомненно, война во Вьетнаме ставит перед миром проблему его совести. Только люди, лишенные чувства исторической перспективы, могут остаться безучастными к тому, что происходит в этой маленькой стране Юго-Восточной Азии.

Валери с большой иронией сказал, что политика — это искусство мешать людям вмешиваться в то, что их касается. Во всяком случае, фашистские пропагандисты добивались именно этого.

В течение долгой ночи нацизма многие немцы ели, спали и влюблялись, в то время как в Освенциме, Бухенвальде и Дахау фабрики смерти работали на полную мощь. Самое большее — они жаловались на дурной запах.

Тот, кого сегодня это удивляет, пусть заглянет в собственную душу. Ведь и сегодня происходит подобное. Кто считает, что это преувеличение или пристраст-

ное утверждение, пусть полистает несколько старых газет. Например, «Нью-Йорк таймс» по поводу нацистских бомбежек в Норвегии писала 10 мая 1940 года:

«...они налетели на долину, облетели этот район и вернулись снова. Они знали, что делают. Знали, что разрушали жилища в беззащитной деревне и убивали жителей, которым не удалось найти убежище. История воздушной войны такого рода повторяется, и не раз.

Речь идет не о случайной жестокости. Это запланированные, разработанные методы атак. Так действуют воздушные гангстеры. Возможно, они добьются временного преимущества. Но добьются они его, бросив вызов всему миру, который однажды, рано или поздно, уничтожит их».

Кровь, которую проливает Вьетнам, взывает ко всем свободным людям мира. На карту поставлено право малых стран на самоопределение. Право управлять своей судьбой без опекунов и покровителей.

Вьетнамцы знают, что все свободные люди поддерживают их. Однако необходимо, чтобы эта поддержка демонстрировалась с большей мощью, чтобы ее эхо раздавалось в Белом доме.

В отношении Вьетнама право на молчание не дано никому.

Французский журналист Жан-Эмиль Видаль напечатал в начале года на страницах «Юманите» серию репортажей из Северного Вьетнама. Они сразу заинтересовали меня, потому что я проезжал по тем же самым местам почти одновременно с ним, а в некоторых описанных им пунктах побывал ранее. Так же как и он, мы стояли, стиснув кулаки, у развалин педагогического института во «вьетнамском Ковентри» — городе Вине, а вокруг нас в наполненных водой бомбовых воронках плавали обгоревшие страницы из учебников по филологии и математике и студенческие работы, на которых можно было еще разобрать имена их авторов и сделанные красными чернилами пометки профессоров. Нам тоже довелось выслушать не одну исповедь людей, раненных во время бомбежек, и врачей, потрясенных варварством реактивщиков.

Но Видаль не только с большой достоверностью изобразил страшные последствия воздушной войны, ему удалось очень точно показать всю панораму сегодняшней жизни Севера, где народ одновременно воюет и трудится, где пахарь идет за плугом с карабином за спиной, где в цеху шелкоткацкой фабрики в Нам-дине — а большинство рабочих там женщины — стоят составленные в козлы винтовки, где прямо среди рисовых полей смотрят в небо стволы зениток. И становится понятно, почему в репортажах Видаля столько цифр: они — не просто статистика, это математически точное доказательство жизнеспособности нового уклада жизни и непобедимой творческой силы народа; эти цифры, показывающие количество выловленной рыбы и снятого с полей риса, не менее волнующи, чем число сбитых американских самолетов.

С особенным интересом прочитал я страницы, посвященные сельскому кооперативу «Дай-фаунг» («Большой ветер»). Мне довелось дважды побывать там, и среди людей, перечисленных Видалем, я нашел имена моих друзей. Наверно, советскому читателю будет любопытно узнать, что кооператив «Дай-фаунг», явившийся зачинателем всенародного соревнования, имеет и еще одно название — «Вьет-со хыу нги» («Вьетнамско-советская дружба»). В кооперативе есть своя печь для обжига кирпичей и черепицы. Девчата и парни, работающие на ней, устроили когда-то для нас самодеятельный концерт, пели свои песни и наши, советские. На прощание они подарили нам по кусочку черепицы с оттиском их «фабричной» марки. Я бережно храню до сих пор плашку прокаленной докрасна глины со словами «Вьетнамско-советская дружба»...

ЖАН-ЭМИЛЬ ВИДАЛЬ

ВЬЕТНАМ ГЕРОИЧЕСКИЙ

«Игрушки» Джонсона

Нам сообщили, что две бомбы попали в дом кооперативного портного Чан Ван Кюйена. Один из его шести детей, мальчик десяти лет, был убит, другой ранен.

Солнце сияло вовсю, когда мы вышли и направились к местной больнице, которая была эвакуирована в связи с бомбежками и помещалась теперь в 5 км от деревни, где мы находились.

Дети доили буйволиц, следя за тем, чтобы животные не щипали побеги риса. На кооперативных полях, пересеченных оросительными канавами, с десяток крестьян вели подготовку к севу. На пороге дома какая-то женщина мастерила шляпу.

В деревне расположена часть больницы Ха-тинь — с десяток соломенных хижин, разбросанных среди банановых деревьев и надежно укрытых за высокими бамбуковыми изгородями. В каждом домике — двенадцать коек, рядом — врачебные кабинеты, операционная, пункт неотложной помощи, все тщательно замаскировано, везде чистота и порядок.

Меня провели в палату, где лежал маленький Чан Ван Тунг, 13-летний сын портного Кюйена, брат десятилетнего мальчика, убитого прошлой ночью. Смерть настигла его во сне. Одна из сброшенных бомб взорвалась рядом с домом и разрушила его. Отец тоже был ранен и находится теперь вместе с сыном. У Тунга перевязана голова, левая рука и правое бедро.

Медсестра показывает мне шестимесячного младенца, которого держит на руках: он был ранен 7 сентября осколками от бомбы, задевшими обе руки и ноги. Один палец у него оторван. Его мать погибла в тот же день. И вот он передо мной, этот маленький человечек, морщит личико и плачет. Врач берет его на руки и садится на постель Тунга.

Кюйен ловит меня за руку, указывает пальцем в угол и говорит:

— Джонсон.

Там валяются три маленьких цветных предмета. Я нагибаюсь: это безделушки из пластмассы. Куколка ростом в 7—8 см, имеющая вид типичной рекламной красотки — острые груди, широкие бедра, округлые ляжки и цветастая юбка; миниатюрная бело-голубая дамская сумочка и машина с откидным верхом.

Копеечные побрякушки вроде тех, что вкладывают у нас в коробки с кофе или пакеты с сухарями. Вот они — эти игрушки, которые сбрасывают американские самолеты вместе с бомбами и напалмом. Эта комедия, отдающая садизмом, вызвала здесь бурю ненависти.

Папаша Кюйен подбирает эти гнусные сувениры, швыряет их в свою шляпу и кладет на кровать перед сыном. Я фотографирую мальчика. Как бы я хотел, чтобы эту фотографию сунули под нос президенту Джонсону в то время, как он с такой беззастенчивостью разглагольствует перед микрофонами о миссии своих парней во Вьетнаме!

Папаша Суан, командир лодки

Я познакомился с папашей Суаном, 53-летним рыбаком. У него черненые зубы, три волоска на подбородке и множество ран на ногах и животе, которые он показал мне, а на левой руке недостает одного пальца.

Вот его рассказ, который я передаю так, как слышал:

«Я внук и сын рыбака, и мои родители всегда жили в нищете. Лодка моего отца была так мала, что в ней могли поместиться только один взрослый и двое детей. И сколько бы мы ни рыбачили, денег у нас не прибавлялось...

У меня было тринадцать детей, остались три дочери и девятилетний сын. Семерых унесли болезни во времена колониализма, а двое других были убиты во время Сопротивления. Мои три дочери работают: одна на рисовой плантации, вторая на кирпичном заводе, третья делает сети. Мой мальчик ходит в школу; что касается меня, то я командую лодкой. И мы счастливы. Мать может спокойно оставаться дома...

Ну, вот. 6 июня мы вышли в море в 3 часа утра, всего 46 лодок, я сидел за рулем. Около семи мы прибыли на место лова. Мы уже несколько раз вытаскивали сеть, рыба шла хорошо. Два старика с моей лодки — всего нас пять человек,— устроившись на корме, принялись за завтрак.

Восемь американских самолетов прошли над нами и направились в сторону Данг-хоя. Но тут со всех сторон затрещали зенитки. Самолеты сразу же повернули назад, но два из них задержались над нами и обстреляли из пулеметов, наверно, чтоб отомстить.

Два старика с моей лодки были убиты. А ведь у нас говорят: «Само небо охраняет нашу трапезу»; когда хорошо поработаешь, надо подкрепиться, чтобы продолжать; мы трудимся и никому не причиняем зла. Два моих старых товарища погибли, один молодой рыбак тяжело ранен, другой — легко, а я лишился пальца и получил тринадцать ранений.

На других лодках, которые были далеко от нас, они убили двоих и ранили одиннадцать человек.

Нужно было выбираться отсюда, а как? Сеть была в воде, якорь закреплен. Мачта и руль разбиты, а парус напоминал решето. Вместе с малышом, который чувствовал себя вполне здоровым, мы стали вытаскивать сеть. Я мог работать только правой рукой, а левой кое-как закреплял сеть. А обычно сеть тянут впятером. Мы совсем выбились из сил, нам ведь надо было поднять не меньше сорока килограммов рыбы. А всего в нашей лодке ее было что-то около пяти центнеров.

В то время как я вытягивал якорь, малыш пытался оказать помощь раненому и из обрывков паруса наложил ему повязку.

А потом мы оба взялись за весла. Я должен был лечь на бок, чтобы иметь возможность грести. У меня уж совсем не было сил.

Я увидел, что на лодке старого Эка, которая была ближе всех к моей, дело тоже плохо, потому что он поднял на мачту свой плащ из листьев латании, словно сигнал бедствия. И правда — на его лодке был один убитый и трое тяжелораненых.

Наконец наши товарищи, пострадавшие меньше нас, добрались к нам и оказали помощь. Я уже не мог двигаться.

Тут прибыл фельдшер из кооператива с перевязочным материалом и сывороткой. К 11 часам вернулись все лодки с четырьмя убитыми и четырнадцатью ранеными на борту. Очень скоро прибыли врачи из больницы...»

В больнице он каждый день спрашивал, отремонтированы ли лодки и возобновился ли лов рыбы. Молодежь из деревни стекалась к больнице, чтобы отдать свою кровь раненым, и все они были спасены.

Четырех убитых рыбаков хоронили в ночь с 6 на 7, и ветер ненависти пронесся над побережьем. Никакого страха! На рассвете 35 лодок вышли в море. Остальные были еще в ремонте, но все рыбаки хотели отправиться на лов, и они едва не перессорились из-за этого...

Теперь в каждой лодке есть добровольцы народного ополчения, вооруженные автоматами, и они пускают их в ход, если самолеты приближаются на расстояние выстрела.

С тех пор американцы еще не раз нападали на рыбаков, но жертв не было.

В 1964 году рыбная ловля дала кооперативу доход в 332 800 донгов. А к концу июня этого года кооператив получил уже 255 700 донгов.

Каждая корзина рыбы, доставленная на берег,— это маленькая победа над американцами. Но из этих маленьких побед, из скромных подвигов простых тружеников слагается сила и величие Вьетнама.

Тень Герники

Шесть часов утра. Туман еще скрывает подножия странных гор, отвесной стеной вздымающихся среди полей, в океане спелого риса. Мы направляемся к развалинам больницы № 61, туберкулезной лечебницы на 500 коек, открытой в 1962 году близ Тхань-хоа.

Мы проходим под разрушенным порталом, на его столбах — знак Красного Креста, который был также нарисован на крыше. Только пение птиц нарушает кладбищенскую тишину этого места.

Налево от входа, среди хаотического нагромождения, оставленного взрывом, валяется белая санитарная машина с задранными к небу колесами. Перед конторой с пробитой крышей, вокруг прямоугольного бассейна ветер играет разбросанными по земле, разорванными бухгалтерскими книгами, больничными карточками, рецептами. Чуть подальше — развороченный рентгеновский кабинет и лаборатория с печально накренившимися деревянными шкафчиками.

Вокруг воронок от бомб, уже начинающих зарастать травой,— эмалированные тарелки и белые абажуры. Аптека была разрезана пополам угодившей в нее 200-килограммовой бомбой, и среди этого развала высится опрокинутый холодильник, в котором раньше хранились лекарства. Рядом с разбитой кухней валяются трехколесные тележки, в которых развозят еду больным.

По обе стороны аллеи — развалины, стены с зияющими оконными проемами, обвалившиеся крыши: здесь были палаты для туберкулезных больных. На одной из аллей рабочие накладывают на ручные тележки черепицу, которую еще можно будет пустить в дело...

Американцы выполнили эту «миссию» в три приема. 8 июля в 8.20 прилетели восемнадцать самолетов, которые сбросили сто пятьдесят бомб на больницу и окрестности.

К счастью, во Вьетнаме уже извлекли уроки из многочисленных американских «миссий», проводившихся в других больницах, и с недавнего времени дирекция эвакуировала больных в убежища, устроенные поблизости в горах.

8 июля в больнице было пять убитых: один больной, один врач, одна медсестра и два санитара, но в окрестностях было убито сорок и ранено двадцать шесть человек. Часть больничных зданий серьезно пострадала; кроме того, было разрушено двадцать четыре дома по соседству. Был сбит один самолет, а два других повреждены.

Пираты вернулись 14 июля в 19.15. Бомбежка продолжалась всю ночь. Но к этому времени больница была полностью эвакуирована. Один человек был убит, двое ранено; разрушен один дом.

21 августа в 11.15 американцы явились, чтобы завершить разрушение. Восемь самолетов сбросили шестьдесят бомб, убив восемь прохожих, пять буйволов и разрушив еще семь домов.

Налеты на больницы, как и на школы, отнюдь не носят случайного характера: американские самолеты специально выискивают их, больницы легко опознаваемы, все они строятся по единому архитектурному проекту, на открытом месте и отмечены знаком Красного Креста. Это такие доступные, безопасные объекты!

Я мог бы привезти полные чемоданы осколочных бомб. Мне повсюду предлагали их. Одна из них была подобрана во дворе школы первой ступени в Куангфуке 2 марта прошлого года. Американцы сбросили здесь больше тысячи таких бомб. Пока самолеты кружили над окрестностями, высматривая объекты, дети успели добежать до убежища. Тем не менее многие были ранены. После этого американцы сбросили 200-килограммовые бомбы, и в результате взрыва школьников засыпало землей. Их удалось откопать, прежде чем они задохнулись, но кое-кто был ранен.

В провинции Тхань-хоа они бомбили ясли кооператива Чыонг-шон: пятьдесят убитых и раненых, в основном, разумеется, маленькие дети.

Американцы подвергли бомбардировкам 33 школы в провинции Тхань-хоа, 28 — в Нге-ане, 18 — в Куанг-бине, а в целом по Республике к концу октября — 121 школу.

Подобно больницам, школам пришлось покинуть свои дома из кирпича и черепицы, построенные по всей стране, и укрыться в соломенных хижинах, разбросанных по деревням.

Это потребовало огромных усилий. Но все дружно взялись за дело — крестьяне и учителя, профессора и студенты. Обучение было организовано так хорошо, как только это возможно в подобных условиях, с той изобретательностью, которую не раз проявлял вьетнамский народ в трудные минуты — увы! — столь многочисленные в его истории.

В нынешнем учебном году 2 910 000 детей посещают школы, то есть на 280 000 человек больше, чем в прошлом году.

Школы и высшие учебные заведения Ханоя были эвакуированы в горные районы и размещены по деревням, где школьники, студенты и профессора в свободное от занятий время работают в подсобном хозяйстве (занимаются садоводством, разводят свиней). Опыт, вынесенный из борьбы с французскими колонизаторами, еще не забыт народом!

В Вашингтоне перед микрофонами произносят благодушные речи о мире, справедливости и свободе.

Но здесь самолеты с буквами US вызывают другие ассоциации: в памяти возникает имя Герники и рисуется зловещая тень Гитлера.

Опрокинутое табу

Со времени нападения американцев на Северный Вьетнам в жизни народа произошли чрезвычайно важные социальные сдвиги — речь идет о движении женщин, получившем небывалый размах по всей стране.

Женщины заменили мужчин не только за плугом и бороной, на рыболовных баржах и за токарными и фрезерными станками — они приняли на себя руководство кооперативами и производственными группами.

Одна из женщин смотрит за детьми из пяти-шести соседних домов, другая готовит обеды в сезон полевых работ.

В настоящее время десять тысяч женщин учатся на экономических курсах для руководителей кооперативов.

Вернемся, однако, в рыболовецкий поселок в Куанг-бине, где мы уже познакомились с папашей Суаном.

Тут мы встретились с молодой женщиной Чыонг Тхи Вем. Ей 21 год, замужем с 1962 года, детей не имеет: решила отложить радости материнства до лучших времен.

Чыонг Тхи Вем помощница старосты рыболовецкой артели, которая отличается от обычных своим составом: 22 женщины и 9 старых рыбаков, играющих в основном роль советчиков. Артель была создана по инициативе Вем.

Когда она стала обсуждать со своими подругами эту идею и в поселке узнали, что женщины собираются выйти в море на рыбную ловлю, эту новость встретили смехом:

— Вы видели когда-нибудь рыбу, пойманную женщиной?

Но Вем продолжала встречаться со своими подругами, и кое-кто из старых рыбаков согласился помочь им. Она представила дирекции кооператива список фамилий:

— Вот артель. Теперь нам нужны лодки.

Им дали три лодки. Этого было достаточно. Что касается сетей, то тут начались затруднения. Сети, правда, были, но они остались с прошлого сезона и пришли в негодность. Их надо было починить и покрасить. Починка не составляла особого труда: ведь они были дочерьми рыбаков. Женщины работали, усевшись в кружок около стариков-советчиков, показывавших, как привязывать грузило, как складывать сети и другие, не требующие особой мудрости, приемы, которые, однако, куда легче перенять, чем изобрести.

Оставалось покрасить сети. Для этого надо было достать коренья куста сим. очень редко встречающегося на побережье, где в нем так нуждаются. За целый день один-два человека едва могут набрать корзину сима. А для того чтобы покрасить сети, нужно очень много корешков.

— И вот мы отправились почти всей артелью — 22 женщины и 4 старика,— а вечером вернулись с 22 корзинами сима,— рассказала Вем.— Уж и потрудились мы в тот день!..

Сети были покрашены и выставлены для просушки. Они выглядели превосходно, и женщин стали хвалить за их работу, а насмешки, можно сказать, запутались в сетях...

И вот настал день первого выхода в море. Три лодки отчалили от берега, в каждой было семь женщин и три «советника».

— Мы не учли морскую болезнь,— говорит Вем.— Почти всех нас стало рвать. Наши старики превзошли самих себя, помогая нам закидывать сети и маневрировать. Когда мы начали вытаскивать сети, полные рыбы, нам стало совсем плохо. Однако мы подбадривали друг друга — мы знали, что не можем вернуться без приличного улова. В первый день мы привезли примерно по сто килограммов на каждую лодку. Это было не так уж много, но начало было положено, и мужчины поняли, что мы можем рыбачить.

На следующий день все три лодки опять вышли в море, хотя погода была неспокойной. Еще много дней женщины мучились от морской болезни. Некоторые не могли проглотить даже щепотку риса. Для них стали брать сахар, чтоб они могли подкрепиться во время работы. Но шли недели, и женщины привыкали к морю, и теперь с их лодок доносились веселые возгласы и песни. В Куанг-бине песня — постоянный спутник жизни.

А в один прекрасный день до слуха мужчин долетели даже такие слова:

Парни у нас ловкие.
Но девушки не уступят им,
И к концу года у нас
Будет переходящее знамя
соревнования...

Теперь женщины этой артели умеют ставить парус, нырять, плавать и вытаскивать сети. Нередко случается, что самолеты кружат над лодками, но рыбная ловля продолжается.

6 июня американцы совершили варварский налет, о котором мы уже рассказали выше.

— Самолеты появились внезапно и сразу же открыли пулеметный огонь,— рассказывает Вем.— Я приказала прыгать в море. Когда я выплыла на поверхность, то увидела, что мачта моей лодки сломана и парус продырявлен.

Две девушки были ранены в голову, правда, легко. Мы перевязали их, а потом вытащили сети и вернулись на берег с корзинами рыбы. Тут мы узнали, что 4 человека убито и 14 ранено. Вечером мы собрались и единодушно решили продолжать рыбную ловлю, несмотря на американцев.

Но некоторые матери боялись за своих дочерей и не хотели отпускать их. Две девушки ночевали в лодках, чтобы уж наверняка выйти на рассвете в море

вместе с артелью. Одна из тех, кто был легко ранен в голову, осталась дома до утра. Потом она пришла ко мне: «Моя мать не хочет дать мне риса, чтобы помешать уехать». Я дала ей рис. И мы вышли в море в полном составе.

Большой ветер

В 1965 году Демократическая Республика Вьетнам собрала небывало высокий урожай. Я приехал в кооператив «Дай-фаунг» («Большой ветер»), чтобы познакомиться с достижениями сельского хозяйства — важнейшим, хоть и не особенно броским свидетельством провала американской эскалации в Северном Вьетнаме.

День и ночь кружат над провинцией Куанг-бинь и зоной Винь-линь американские самолеты, сбрасывают бомбы, обстреливают деревни. Но несмотря на причиненный ущерб и потребности обороны, в нынешнем году здесь добились такого высокого урожая, какого еще не знала история, превысив рекорд 1963 года и получив в среднем более 20 центнеров риса с гектара во время осенней жатвы.

Кооператив «Дай-фаунг», над которым постоянно летают воздушные пираты, много раз подвергавшие его бомбежке, поднял урожайность риса до 24 центнеров с гектара. Я решил выяснить, каким образом.

Этот район был очень бедным во времена колониального гнета. Голод свирепствовал вовсю. Последний раз, в 1945 году, за четыре месяца от голода погибло полсотни человек на месте и столько же из числа тех, кто покинул родные края в поисках какой-нибудь еды. Нищих было бессчетное множество. Чтобы уплатить налоги, крестьяне продавали молодую рассаду риса — это было разорение. Бедняки вынуждены были даже продавать своих детей феодалам, чтобы уплатить долги. В маленьком музее кооператива выставлены эти купчии. Старики еще помнят историю Бао, у которого не было штанов одеть на свадьбу, пришлось ему по этому случаю одолжить их у соседа.

Чесотка и трахома были настоящим бедствием. Некоторые деревни, как, например, Май-фыок, практически опустели в результате эпидемий. На всю общину, насчитывавшую в то время 5000 жителей, приходилась лишь одна школа, здесь училось около сорока учеников — сыновей феодалов и крупных собственников. Все остальное население было неграмотным.

В 1954 году в стране начали проводить аграрную реформу. Самые бедные семьи, тоже получившие землю, попытались заработать хотя бы немного денег. Но как? В здешних краях часты тайфуны, и рисовые плантации страдают от хронических наводнений. Река, разливаясь, постоянно затопляет поля, а порой сюда доходит даже морская вода: часть земель расположена ниже уровня моря.

«Нужны были плотины и осушительные каналы, — рассказывает председатель, — иначе нельзя было справиться с нищетой. Построить плотины можно только объединенными силами. Нелегко было убедить в этом крестьян. В 1958 году в общине было 950 дворов, и только 23 из них — в кооперативе. Но мы взялись за дело; навели порядок на наших рисовых полях и добились лучших урожаев. К нам присоединились бедняки — сначала 10 семей, потом 50 и наконец почти все. К концу 1959 года было 9 кооперативных хозяйств — 600 дворов.

В августе 1960 года на одном из собраний мы приняли решение слить девять маленьких кооперативов в два больших, которые могли бы провести необходимые дренажные работы на затопляемых землях и распахать земли на склоне горы.

В том году мы построили плотины и каналы (объем земляных работ составил 106 300 кубометров) и подняли 300 гектаров целинных земель на склоне горы, присоединенных к кооперативу. Те 30% дворов, которые еще не вступили в кооператив, попросили принять их, просто потому, что доходы у нас были выше.

В апреле 1961 года мы решили слить оба кооператива в один и дали ему имя «Дай-фаунг», как называлась в старину наша община».

С тех пор, в результате тщательного планирования производства, доходы кооператива из года в год возрастали.

Крестьяне получали все больше продуктов: в 1961 г. — на сумму 535 130 донгов, в 1962 г. — на 574 270, в 1963 г. — на 708 500, в 1964 г. — на 780 900 донгов.

В 1964 году на район обрушились один за другим страшные тайфуны. Поэтому предпринятые в 1963—1964 гг. обширные работы по строительству каналов и плотин так же, как и создание маленьких местных мастерских и улучшение инвентаря, не дали в 1964 году всех ожидаемых результатов.

Но зато они дали свои плоды через год: за первые шесть месяцев 1965 года членам кооператива «Дай-фаунг» было выдано 608 000 донгов.

...Прогуливаясь по деревне, я увидел какое-то сборище. Под просторным, крытым соломой навесом сидели на скамьях крестьяне. Я подумал, что идет собрание. Но это были агротехнические курсы. Перед классной доской стоял молодой человек и объяснял собравшимся — старым и молодым крестьянам, благого-

вейно внимавшим ему,— как улучшить качество семян. Все утро не прекращались налеты. Но люди, собравшиеся здесь, продолжали учиться: они хотели знать, каким образом добиться лучшей жизни. Около навеса с криками и смехом носились дети. Время от времени какая-нибудь мать, рассердившись, поднималась со своей скамьи и шла утихомирить детвору.

Этот краткий рассказ позволяет понять, что́ защищает народ Северного Вьетнама и в чем источник той железной стойкости и силы духа, с которыми мы встречаемся повсюду. А между тем повседневная жизнь полна трудностей. Мыло стало редкостью и спички тоже: белье стирают, как в старину, с золой, а для поддержания огня пользуются сплетенными из соломы лучинками. И никто не ворчит, если надо пойти к соседке и принести в совке горящие угольки.

Люди полны решимости защищать от агрессоров то прекрасное здание новой жизни, которое они построили, можно сказать, голыми руками. Молодежь, вступившая в народную милицию, прекрасно владеет легким оружием. И если враг посмеет ступить на землю страны, ему придется иметь дело не только с хорошо оснащенной армией, но с вооруженным народом.

У каждой семьи в доме стоит глиняный кувшин, куда бросают одну или несколько пригоршней риса в день, чтобы помочь созданию фонда безопасности на случай, если агрессоры продвинутся дальше. И люди с гордостью показывают, сколько риса им удалось отложить.

К тому же в провинции создается местная промышленность — маленькие фабрики, которые не сможет обнаружить враг. Они скоро начнут выпускать спички, мыло и ряд других товаров.

Социалистическая система позволяет стране с исключительной быстротой приспособиться к новым условиям, возникшим вследствие американской агрессии.

Молодой японский прозаик Такэси Кайко, которому его романы, эссе и новеллы принесли широкое признание на родине и за ее пределами, много и плодотворно сотрудничает в прессе. В конце 1964 — начале 1965 года он вместе с фоторепортером Акимото побывал как корреспондент еженедельника «Сюкан асахи» в Южном Вьетнаме. Результатом этой поездки явилась книга «Записки о вьетнамской войне», отрывок из которой печатается ниже. Этот репортаж, объективный и точный, написанный человеком, проведшим более трех месяцев в Сайгоне и на той сравнительно небольшой территории Юга, где хозяйничают американцы, перетасовывая колоду маленьких генералов в тщетной надежде вытащить, наконец, козырную карту.

Кайко, оговоримся сразу, вовсе не коммунист, но стремление быть честным в своих оценках помогает ему не только верно понять характер войны на Юге, где восставший народ сражается против захватчиков любым оружием «от каменного века — до атомного» и где фронт везде — от военных аванпостов до сайгонского отеля «Мажестик», но и прийти к единственно правильному выводу о неизбежности победы освободительных сил.

Публикуемая журналом глава «Агония укрепленного поста Бенкат» показывает лишь один из островков, окруженных бушующим морем народной войны, но она правдиво передает царящую в стане сайгонских марионеток и их покровителей янки атмосферу безысходности, неразберихи и страха и объясняет многие причины непрекращающегося политического и военного кризиса, причины того, почему офицеры и солдаты южновьетнамской армии все чаще выступают против «правительства» в Сайгоне.

ТАКЭСИ
КАЙКО

АГОНИЯ УКРЕПЛЕННОГО ПОСТА БЕН-КАТ

Бен-кат — сельский городишко в 52 километрах к северо-западу от Сайгона. Через него проходит государственное шоссе № 13. Городок настолько мал, что пешком по этому шоссе его можно пройти насквозь минут за пять. Останавливающийся здесь автобус выплевывает двух-трех человек, проглатывает столько же новых пассажиров и с умопомрачительной скоростью исчезает в джунглях. После шести вечера движение прекращается, и до утра город прячется в заграждения из колючей проволоки. Сверху, с вертолета, кажется, будто и городок, и укрепленный пост плывут в море джунглей и каучуковых плантаций Джунгли бескрайним морем листвы покрывают всю землю до горизонта, а посадки каучуковых деревьев разбиты так же аккуратно, как чайные плантации в Японии. Создается впечатление, будто городок и деревня тонут в этом море, а вертолет — всего лишь маленькая лодчонка.

По военной терминологии эти места находятся у конца зоны С и в начале зоны Д — примерно на границе между ними. Зона Д — самый опасный район в Южном Вьетнаме, здесь, под покровом джунглей, земля пронизана паутиной тоннелей. Пост Бен-кат — военная база. Она защищает шоссе и преграждает путь вьетконговцам, которые спускаются на юг и беспрестанно обстреливают из минометов и безоткатных орудий джунгли вокруг Бен-ката.

На этой базе я и фоторепортер Акимото побывали дважды. В общей сложности мы прожили в казармах более двух недель, участвовали в военных операциях, но каких-либо особых оснований для выбора именно этого укрепления у нас не было. Как-то раз я зашел в пресс-отдел американского военного командования на улице Ле-Лоя в Сайгоне и сказал, что мне хотелось бы узнать, что такое война. Мне ответили: «Ю ар уэлкам, сэр!»* и направили в это укрепление. Вот, собственно говоря, как все это началось. Прежде, не разобравшись еще как следует в обстановке, я несколько раз спрашивал майора Моэна из пресс-отдела, где же находится передовая линия, и всякий раз он отмахивался от меня. Добравшись, наконец, до самой «передовой линии», я продолжал расспрашивать, где же идет война, где проходит линия фронта. «Если б мы знали где, нам бы не приходилось так мыкаться»,— с упреком отвечали мне. Как-то в моем присутствии отчитали журналиста из Стокгольма с неприятно безбровым, как у осьминога, лицом за то, что он тоже допытывался, где передовая. Всем без исключения приходилось хотя бы один раз задавать этот сакраментальный вопрос. Но линии фронта нет нигде. Нет! Вся территория страны — фронт. Вот в чем особенность войны в этой стране. И если Бен-кат — передовая, то гостиница «Мажестик» в Сайгоне тоже на линии фронта: она в любой момент может взлететь на воздух. Война неустанно перекатывается с места на место, как шарик ртути. Неизвестно, когда и где взорвется пластиковая бомба, неизвестно, когда и откуда прилетит пуля снайпера. Иногда умирает только один человек, иногда — сразу гриста. Иногда бой длится всего десять-пятнадцать минут, иногда ожесточенное сражение тянется неделями. Иногда человека прокалывают пикой, устанавливаемой в западне на тигра, иногда люди гибнут от ракет сверхзвукового самолета. Здесь применяются все виды оружия — и века каменного, и века атомного. Одним словом, в ход пошло все: вся территория страны, все население, все оружие. Круглый год, днями и ночами, война, как огромное живучее чудовище с превеликим множеством небольших голов и ножек, судорожно мечется по этой маленькой стране.

В штабе американского командования во Вьетнаме нас встретили с приторной любезностью. Тут же за несколько минут заполнили бланки удостоверения личности и, протянув какую-то бумажку, попросили расписаться. Я, не глядя, черкнул свою подпись. Но позже внимательно прочитал, что там было написано: «Я, такой-то, отказываюсь от каких бы то ни было претензий на случай моего ранения или смерти». По правде говоря, мне стало не по себе, но делать уже было нечего.

Когда американский солдат погибает здесь, его тело, удалив внутренности, бальзамируют и в гробу, накрытом звездно-полосатым флагом, через Манилу отправляют в Сан-Франциско. Однажды, когда японский фоторепортер Окамура**, которого прозвали «генералом», стряхнул остатки полуденного сна, его осенила мысль сфотографировать штабели заготовленных гробов. Новехонькие, поблески-

* Здесь: к вашим услугам *(англ.)*.

** Отрывок из дневника Окамуры напечатан в «Иностранной литературе» № 12, 1965 г.

вающие на свету гробы, сложенные в огромном складе где-то в аэропорту, вызвали в стриженной по-солдатски голове Окамуры настойчивую ассоциацию с мебелью, аккуратно расставленной в одном из салонов шикарного сайгонского универмага. Вскочив с кровати, он быстро зарядил свою «лейку» и торопливо зашагал по тамариндовому бульвару к американскому штабу. Окамура обратился за содействием к знакомому пресс-офицеру, тот сначала заорал: «Скотина!», но потом все-таки сделал единственный в своей жизни благородный поступок — дал разрешение.

Когда я попросил майора Моэна посадить нас на вертолет, он заулыбался, как девушка из «Эр-Франс», принимающая заказы на билеты: «Ю ар уэлкам, сэр!»

— Пост Бен-кат лежит по пути в Тэй-нинь. Там жарко. Будто варишься в котле. Поедете туда? На сколько дней предполагаете задержаться там?

— Не знаем. Останемся до тех пор, пока не увидим что-нибудь.

— Хорошо! Сейчас позвоню на аэродром. Ждите нас завтра утром, в полодиннадцатого у входа в отель. Я заеду на машине. Договорились? Гуд бай!

С оглушительным ревом прогреваются реактивные моторы вертолета ИН-1В. Два пулеметчика тащат пулеметы с патронными лентами и устанавливают их у входов в вертолет. Майор говорит «гуд бай», жмет нам руки и, улыбаясь, возвращается в Сайгон. Точность. Любезность. Бензин. Добрые намерения. Чистосердечие. Сталь. Изобилие. Война. Is this America? *

Всякий раз, как я лечу на «чоппере» **, меня охватывает чувство непрестанной тревоги. За последнее время вьетконговцы, скрывающиеся в море листвы, достали превосходные винтовки американского производства и беспощадно палят из них. Говорят, у них есть даже 57-миллиметровые автоматические зенитные пушки, чтобы сбить вертолет, и при метком выстреле достаточно одного снаряда,— он протыкает металлический корпус легче, чем гвоздь виниловую пленку. Сайгонские газеты ежедневно переполнены сообщениями о сбитых вертолетах.

Два пулеметчика в пуленепробиваемых жилетах привязывают к ягодицам специальные тарелки, которые должны защитить их от пуль, и, положив пальцы на гашетки пулеметов, неотрывно вглядываются в листву и грязь внизу. В любую минуту они готовы ответить на стрельбу. С момента взлета до посадки в месте назначения их пальцы не отрываются от гашеток. Дверцы вертолета закрываются только в полете над теми районами, где совершенно нечего опасаться. Ветер продувает так, что чувствуешь себя промерзшим насквозь. Каждое мгновение я со страхом жду, что вот-вот 57-миллиметровый снаряд пробьет металлический пол и воткнется мне в зад или же ранит в грудь. В левом нагрудном кармане у меня — томик Чехова, купленный в сайгонском книжном магазине. Сижу впритык к спине пулеметчика в пуленепробиваемом жилете. Прикроет ли томик Чехова мое сердце? Поможет ли мне фляга с водой, поставленная между ног? 57-миллиметровый снаряд проходит сквозь стальную плиту, как будто она — желе...

Сваливаемся с неба. Нас радушно встречает майор Лой Дж. Янг, уроженец поселка Нью-Уэлтон в штате Луизиана. Ведет в небольшой барак — офицерскую спальню, показывает кровати с москитными сетками, где мы будем спать, дает каждому полотенце, кусок мыла, рубашку, даже пару трусов. И дарит нам обоим по свитеру, сказав, что подарок куплен в Гонконге, когда он был там в отпуске. Янг очень внимателен. Стоит мне о чем-то задуматься, как он, не говоря ни слова, приносит пиво, сок, кока-колу, виски, бренди и говорит: «Пей! Пей!» Приехав на пост вторично, я привез ему купленные в Сайгоне виски «Джонни Уокер» с черной этикеткой, маслины, колбасу салями, японских устриц и несколько десятков открыток с голыми женщинами. Открытки я купил на улице Кортина за триста пиастров, хотя запросили за них тысячу пятьсот, расхваливая: «Фурэнчи гару намбар ван!» *** «Первоклассными француженками» были только три, все остальные — японки. «Стучись! И я тебе отворю!» «О ангел! Взгляни на родные места!» «Крепи боевую мощь! Генерал Уэстморленд» ****. «Родина! О, родина!» Сержант Ласс и капитан Раск хохотали до упада, когда я писал эти фразы на обороте...

Укрепленный пост, с трех сторон окруженный джунглями, а четвертой всматривающийся в то, что происходит на шоссе, вооружен, как говорится, до зубов. Здесь находится двенадцать танков М-24, семь безоткатных орудий калибром 105 и 155 миллиметров, а в разбросанных повсюду окопах установлено несколько минометов. Кроме артиллерийской и танковой частей в Бен-кате дислоцированы четыре батальона пехоты и несколько отрядов специального назначения. В январе они семнадцать раз входили в «соприкосновение» с Вьет-конгом. За ночь, случалось, 105- и 155-миллиметровые орудия выпускали по очереди до ста тридцати снарядов. Бывало, всю ночь напролет били минометы, иногда вьетконговцы целыми днями бродили вокруг, но не нападали, наверно, потому, что несколько их регулярных батальонов отправилось на юг для участия в боях под

* И это Америка?

** Армейская кличка вооруженного вертолета (англ. chopper — нож мясника).

*** «Первоклассные французские девочки!» *(Ломан. англ.)*

**** Командующий вооруженными силами США в Южном Вьетнаме.

Бинь-зиа. Неоднократно поступали донесения, что вьетконговцы распространяют среди крестьян окрестных деревень слухи о чрезвычайной операции в канун лунного Нового года, который здесь наступает второго февраля. Болтают, что они подъедут к воротам поста на грузовиках и атакуют с фронта. Майор Янг несколько раз повторил:

— Вряд ли это так. Укрепления у нас хорошие, и вьетконговцы прекрасно это знают. Не думаю, что они прикатят на машинах, но вполне допускаю, что до Нового года они что-нибудь предпримут. Это — умные, осторожные и храбрые парни... Раз уж они сказали, то, наверно, так и будет.

Когда мы в феврале, после вьетнамского Нового года, снова приехали в Бен-кат, обстановка там совершенно изменилась. Поблизости происходили перемещения не то трех, не то четырех вьетконговских батальонов, которые не только пробирались на юг, но и явно нацеливались на укрепленный пункт. Поэтому оборонительные сооружения были усилены, поставлены три ряда колючих заграждений, многие участки заминированы электрическими минами, которые называются, кажется, «креймор». Эти небольшие зеленые коробки новейшего типа, говорят, взрываются с ужасной силой. В каждый окоп тянутся электрические провода с включателем. Нам тоже выделили окоп: в яме валялись дымовые шашки, осветительные ракеты, ручные гранаты, автомат и пулемет — даже ноги некуда было поставить. «Если вьетконговцы, прорвавшись через огневой рубеж и проволочные заграждения, ринутся на вас лавиной, нажмите в самый последний момент включатель мины «креймор», но до этого не смейте даже дотрагиваться до него»,— приказали нам. Ежевечерне, часов около двенадцати, почти все американцы в полном боевом снаряжении забираются в окопы и проводят там всю ночь. Когда лейтенант Хьюз в пуленепробиваемом жилете, увешанный гранатами, с ножом, пистолетом и автоматической винтовкой, с карманами, до отказа набитыми обоймами с патронами, с трудом поднялся на ноги, мне показалось, что он стал, по крайней мере, в три раза толще. Так он и растворился в темноте — похожий на ходячий склад оружия.

В одежде и ботинках мы валяемся на кроватях под москитными сетками в ожидании событий. В темноте кричат ящерицы гекко. Иногда они засыпают и шлепаются с потолка. Чиркнув зажигалкой, смотрю, как эти хитрецы улепетывают, виляя серо-коричневыми хвостиками.

Майор Янг говорит, что процентов девяносто горожан и крестьян — вьетконговцы или сочувствующие им. Он убежден, что среди солдат тоже есть вьетконговцы. Неизвестно, правда, кто именно, но они наверняка есть. Из города иногда приходит парикмахер и, подстригая солдат, внимательно слушает, о чем они болтают, а вернувшись в город, наверно, докладывает обо всем, что видел и слышал. Когда у солдат-вьетнамцев туго с деньгами, они без зазрения совести продают патроны вьетконговцам. А денег у них никогда нет.

— ...Похоже, что каждую ночь вы спите на мине?

— Да, сэр!

— Выходит, что солдат убивают пулями, проданными ими же самими?

— Да, сэр!

— ? ? ?

Обстановку внутри укрепленного поста вьетконговцы, по-видимому, знают досконально. Им, должно быть, уже сообщили, что два японца приехали сюда и живут тут. Когда нам сказали об этом, «два японца» растерянно уставились друг на друга.

Вьетконговцы, если понадобится, запросто могут за день сделать переход в двадцать-тридцать километров. В «хошиминовских» сандалиях, сработанных из автомобильных покрышек, они бегают, как кошки,— быстро и неслышно. Там, где есть твердая почва, они, как кроты, роют тоннели. В джунглях на глубине трех-пяти метров они выкапывают подземные ходы примерно в метр диаметром. Вырытую землю разбрасывают тонким слоем в густых зарослях. Подземная дорога, обычно имеющая бесчисленные ответвления и отдушины, тянется километра три-четыре, а иной раз — до одиннадцати километров. Поражает одна вещь: земля утрамбовывается так плотно, что удается обойтись без единой подпорки. Вьетнамец, командир танковой части, посвящал нас в науку строительства тоннелей. Проходивший мимо барака ветеран — рядовой Лайон, выходец из Нью-Йорка, специалист по электротехнике — сказал, что тоннели эти — настоящее чудо. А танкист вспомнил, как он однажды заложил заряд взрывчатки, чтобы взорвать тоннель, но обрушился только вход, а все прочее осталось в целости и сохранности. Тогда бросили несколько слезоточивых гранат и попытались вентилятором загнать газы внутрь, но из тоннеля даже ни одной крысы не удалось выкурить. Один из солдат, обвязав вокруг пояса веревку, пострелял на всякий случай в тоннель из автомата и полез туда, но воздух там был такой затхлый, что он, не вытерпев и десяти минут, выскочил обратно.

— ...Непонятно, как вьетконговцы живут в этих норах,— с изумлением качает головой танкист. Сам он в армии с шестнадцати лет. Когда он рассказывает

о боях, в его узеньких глазах вспыхивают опасные огоньки. Но и этот вояка в отчаянии махнул на все рукой.

Командир полка подполковник Нгуен Ван Тыу похож на тюленя, у него пятнадцать детей — девять от официальной жены в Далате и шесть от неофициальной в Сайгоне. Недавно он мне сказал, что в каком-то городе (в каком — я забыл) собирается жениться еще на одной. Несмотря на все это ему почти каждый вечер откуда-то приводят в казарму молодую женщину.

Приехав в Бен-кат первый раз, я пошел к нему представиться, но его комната с неделю назад во время обстрела поста из джунглей была вдребезги разбита партизанской 81-миллиметровой миной. Пробив крышу, мина разнесла в щепки и спальню, и уборную, но хозяину удивительно повезло: он не получил ни одной царапины. У стены в несколько рядов уложены мешки с песком. Плотник с грохотом заколачивал дыру в потолке листами жести, а посреди комнаты важно восседал господин «силач». Он то ругался по-английски с ужасающим французским прононсом, то вдруг принимался громогласно хохотать.

— Может, и этот плотник — вьетконговец. Они опять влепят сюда мину — он им непременно сообщит обо всем, что тут творится. Надеюсь только, что я и на этот раз легко отделаюсь...

Нгуен Ван Тыу рассказал мне одну историю:

— ...Они выроют тоннель в одиннадцать километров, а мы и не подозреваем об этом. Что поделаешь? Я, как только приеду на новое место, сразу же начинаю искать тоннели. Как-то раз они прорыли подземный ход под стенами поста, под казармами и вдруг высунули головы прямо посреди пола в штабе. Случилось это средь бела дня. Верно, они перепутали день и ночь. Я тут же схватил одного. Хорошо еще, что все произошло днем, а то они поставили бы заряженную мину и мы взлетели бы на воздух. Наверно, так они и задумали. Никогда не знаешь, что они сделают.

Летел я над джунглями на вертолете и думал со страхом, что вот-вот 57-миллиметровый снаряд пробьет мне дырку сзади, а тут, оказывается, и на земле приходится волноваться, что тебя достанут снизу. И способа никакого нет помешать этому: не помогают ни взрывчатка, ни слезоточивые газы.

На укрепленном посту живет более двадцати американцев — офицеров и солдат, а также южновьетнамские пехотинцы, артиллеристы и танкисты. У американцев в бараках пол цементный, кровати пружинные с москитной сеткой, уборная с канализацией, душ с горячей и холодной водой, так как им привозят баллонный газ. У них есть отдельный барак с буфетом, где холодильник со льдом битком набит бутылками с кока-колой, французским соком «Сэги» и французским пивом «Ла Рю». За льдом в городок ездят на джипе с автоматами в руках. У американцев есть и барак-столовая. Там стоит огромный электрический холодильник. Повар-вьетнамец с бледным, печальным лицом водяного, только что вынырнувшего из воды, подает тарелки с едой, а после ужина столь же печально тащит их обратно. Ужин кончается, и, лишь солнце скроется за рощей, слышится крик:

— Муви та-а-айм! *

Огромный дизельный электрогенератор стучит круглые сутки, поэтому можно смотреть кино. Показывают два фильма подряд — художественный и спортивный, причем каждый день новые. Их ежедневно доставляют на «чоппере» из Сайгона. Жанры самые разные — фильмы «ужасов», комические, музыкальные, серьезные, в общем, всякие. Солдаты, кое-кто голый по пояс, кое-кто в одних трусах, сидя в темноте, прямо из бутылки тянут кока-колу или «Ла Рю» и смотрят кино, выкрикивая непристойности. Во время любовных сцен стоит гогот. Подают реплики, шум такой, что ничего не слышно, но и тогда, когда мы смотрим кино, бесцеремонно грохочут 105- и 155-миллиметровые пушки и 81-миллиметровые минометы. Смотрю я на экран, где вот-вот начнут целоваться, а в это мгновение поднимает шум 105-миллиметровка: «Бух! Бух! Бух! Бух!» — и экран трясется. Американцы к этому привыкли, а я от неожиданности вскрикнул: «Вот черт!» Они обернулись и захохотали.

Вдали, в джунглях, в темноте, фонтаном взлетели деревья и земля. Кто-то умер...

В бараках вьетнамских солдат все по-иному, хотя они и находятся рядом с американскими. Там нет ничего: ни пола, ни входных дверей, ни душа, ни уборной. Позади окопов в землю воткнуты гильзы 155-миллиметровых снарядов — туда ходят мочиться. Нет ни москитных сеток, ни матрацев, ни книг, но книги и не нужны, их все равно нельзя было бы читать — нет электричества. В американских бараках светло до отбоя — до десяти часов вечера горят люминесцентные лампы, демонстрируется кино, а совсем рядом, в десяти метрах, в бараках для южновьетнамцев — темнота. На столе у офицера лежит карманный фонарик, и все — другого освещения нет. Для спанья — топчаны из неоструганных досок, на них — нищие солдаты нищей страны, в темноте слышится их животный храп. Загон для животных — вот что такое, в сущности, этот сарай, набитый людскими

* Киносеанс *(англ.)*.

телами и военным снаряжением — автоматами, касками, патронами. На стене — маленький буддийский алтарь, грубо сделанный из картона. На нем всегда горят свечи и курятся благовония. Солдаты — по-настоящему верующие буддисты. Военный бонза, подчиненный своему управлению в Сайгоне, пользуется у них большим авторитетом, чем подполковник «силач», который как-то проговорился мне об этом сам — признался, что не может одолеть бонзу.

Вьетнамские солдаты моют в тазу и лицо, и руки, и тело. Собираясь на фронт, в том же тазу кипятят чай, который разливают по флягам. Радость жизни для них в том, чтобы есть и спать. Выдастся свободная минута — они, сгрудившись вокруг таза, жуют. Вечером, услышав крик: «Муви тайм»,— сбиваются в кучу у американского барака и, стоя или сидя, затаив дыхание и расплющив носы о железную сетку, прикрывающую окна от москитов, смотрят «Романс Южный морей» с участием Джона Уэйна, или музыкальную драму, действие которой развертывается среди нью-йоркских небоскребов, или же «Лолиту». Когда они входят в барак, американцы не замечают их, обычно вьетнамские солдаты часами сидят или стоят возле барака и смотрят кино. Во время любовных сцен тоже причмокивают и подают реплики, а после окончания фильма потихоньку расползаются по баракам и укладываются в темноте спать. И только печальный голос ящерицы утешает их. Кроме этого у них ничего нет. Совершенно ничего! Американские солдаты служат во Вьетнаме один год. Они только и знают, что считать: «Эх, осталось еще столько-то месяцев, и я вернусь в США!» Они-то могут считать дни по пальцам, а южновьетнамские солдаты — нет. Их воинская повинность — бессрочная. Избавиться от мук они не могут, пока не станут калеками или же не погибнут в бою. Число дезертиров и тех, кто переходит на сторону Вьет-конга, увеличивается с каждым днем.

— Не кажется ли вам, что это явное неравенство сказывается на их боевом духе? Или, по-вашему, это означает всего лишь то, что вы живете по-американски, а они — по-вьетнамски?— спросил я однажды майора Янга возле туалета. Я только что вернулся из барака, где пил пиво с вьетнамским офицером. Янг, кивнув утвердительно головой, приглушенным голосом ответил, что, по его мнению, все это не очень-то хорошо, но тут же добавил шепотом, что поделать ничего нельзя, так как на этот счет существует соглашение между обоими правительствами. Дни, что я прожил вместе с американцами, меня научили многому... Я поражался, как открыто, ничего не боясь, они высказываются против войны. Мне, знавшему лишь старую японскую армию, было удивительно слышать речи сержанта Бойчека. Как-то вечером, увидев, что этот похожий на бонзу толстяк распределяет ящики с патронами по окопам, я подошел к нему поболтать. На рассвете следующего дня мы должны были принять участие в патрулировании шоссе для охраны транспортной колонны. Днем, после обеда, он сказал, что если нам охота получить какое-нибудь оружие, он даст все, что угодно. На левой руке у него вытатуирована голая женщина, ему тридцать четыре года, но на вид можно дать все сорок, потому что у него густые усы. Это настоящий ветеран, из тех, кто знает, чем пахнет война. В разгар боя, когда вокруг жужжали пули, он не одевал каски. В джунглях усердно охранял меня и Акимото.

— Мы решили обойтись без оружия.

— Да?

— Взяв оружие, вынужден кого-то убивать.

— А не возьмешь оружия, тебя самого убьют.

— Может быть и так.

— Такова уж война...

— Что бы там ни было, мы решили не брать оружия.

Сержант засмеялся басом и сказал, что ничто не спасет от вьетконговцев, даже и это — он показал на свою татуировку. Всматриваясь в каучуковые плантации, он стал рассказывать, как дважды воевал в Корее. Пробыл там в общей сложности тридцать месяцев.

— Корея очень бедная страна, но Вьетнам тоже чертовски беден. Есть здесь и богачи, и беднота. Богачи в Сайгоне продолжают загребать деньги, а бедняки только беднеют. Взгляни-ка завтра на ближайшие деревни. Не увидишь ни одного молодого парня: все или к вьетконговцам ушли, или забраны в солдаты правительством. Поля зарастают и дичают. В этой стране крестьяне и без войны не могли прокормить себя. Поэтому они бегут к коммунистам. Да иначе, наверно, и быть не может...

Я считаю, что демократия лучше. Но я не могу винить нищих крестьян этой страны за то, что они склоняются к коммунизму. За что мне винить их? Крестьяне ни черта не знают — ни демократии, ни коммунизма. А я толком не знаю Вьет-конг. Но во Вьет-конге, наверно, есть что-то такое, к чему тянутся крестьяне Поэтому он все расширяет свое влияние. Я считаю, что в конце концов в этой войне победят вьетконговцы и Индокитай попадет в руки коммунистов. Не думаю, чтоб это было к лучшему, но что поделаешь... Может быть, я ошибаюсь, может быть, я «коммунист», но это мое личное мнение...

За два с половиной года в Корее сержант понял: присматриваясь к Азии, надо замечать тех, кто в н и з у. Сержант не занимался, как лейтенант Хьюз, формированием солдатских мыслей с в е р х у, читая им книжонки из серии «промывание мозгов», и это, очевидно, объяснялось обретенным в Корее горьким опытом. Но при этом он был убежден, что все вьетконговцы — коммунисты. Я ему сказал, что, вопреки обычным представлениям, среди вьетконговцев неожиданно мало коммунистов, а большинство составляют националисты и левые группы либералов. Но он, покачивая головой, не желал признавать этого:

— Может быть, сейчас так и есть, как ты говоришь, но скоро они все станут коммунистами. Во всяком случае, я так думаю. Э-э-э, да теперь все равно!

Позже, в китайском ресторанчике, когда мы пили сухое мартини, сержант, хватив лишнего, орал:

— Почему нас, американцев, так ненавидят?..

По ночам на укрепленный пост наваливается тягостное ощущение одиночества и опасности...

Майор Янг тоже участвовал в корейской войне, видел Азию и никак не может избавиться от мысли, что вьетнамцы ненавидят все иностранное. По его мнению, виноват во всем французский колониализм. Он считает восьмидесятилетнее колониальное господство Франции источником всех здешних зол — и эгоизма, и приверженности к террору, и стремления к предательству, и привычки к борьбе за власть, и использования во вред своего служебного положения, и безграмотности, и нищеты...

В ту ночь, когда рыдали ящерицы, я спросил его:

— В этой стране богатая молодежь — и юноши, и девушки — мечтает удрать в Париж, а бедняки — спрятаться, хотя бы на чердаке. Все говорят, что генералы дерутся за власть и мечтают накопить побольше денег — так оно и есть! Не лучше их и политиканы. А крестьянам жрать нечего. Хоть вы и говорите, что Америка борется за «свободу», но вы-то сами, те, кто здесь, за что боретесь?

Глотнув «Ла Рю» из горлышка, я поставил бутылку на пол. Майор Янг, отпив глоток, ответил глухим голосом:

— Вы абсолютно правы. Я хорошо понимаю, что вы хотите сказать. И я знаю ответ на ваш вопрос, но отвечать не хочу и не могу.

— Вы не хотите вмешиваться в политику, потому что вы — военный?

— Это только одна из причин.

По выражению лица майора было видно, что ему хочется добавить что-то еще, но он замолк и, подперев кулаком щеку, угрюмо уставился в пол. Мне показалось, что на плечи его навалилось «государство», и он вглядывается в свое собственное будущее — перед его глазами ясно вырисовывается картина: он погибнет, как собака, в безвестных джунглях вместе с молодыми вьетнамскими крестьянами.

— Как бы там ни было...— прошептал отец двух сыновей и дочери, живущих в штате Луизиана,— как бы там ни было, в Бен-кате и ночь длинна, и день длинный — нервы сдают от ожидания. Я здесь уже три месяца пробыл, осталось девять.

Он рухнул на кровать. Возле его кровати, как всегда, аккуратно — чтобы можно было сразу схватить и бежать — разложены: автомат «кольт АР-15», солдатские ботинки, шлем, фляга, пуленепробиваемый жилет и гранаты. Ежевечерне он раскладывает их в этом порядке и только затем ложится спать. Чтоб его ночью узнали свои, повязывает руку куском полотна. Этой ночью — белая повязка на левой руке...

Янг думает — и часто говорил мне об этом,— что у себя в стране американцы живут в «обществе благоденствия» и поэтому проявляют безразличие к тому, кто правит ими. Молодые сыновья Америки погибают здесь, как собаки, а дома большинство американцев ничего не знает об этом. Они не имеют никакого представления о вьетнамской войне, воспринимают ее лишь как продолжение корейской: в Азии, думают они, всегда неспокойно.

Я сказал:

— ...Странно: и в «Таймсе», и в «Ньюсуике», и в «Лайфе», а также в газетах «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс» — почти в каждом номере появляются статьи о вьетнамской проблеме, не так ли? Объясните, пожалуйста, почему же люди ничего не знают? Ведь американцы здесь воюют не первый год?

Майор Янг досадливо щелкает языком и уныло опускает голову:

— Американцы ничего не читают.

— Не читают?

— Не читают. Даже школьные учителя читают недостаточно. Это показали цифры недавних опросов. Даже педагоги не читают столько, сколько нужно, понятно? Откуда же им знать? Э-э-э, да вы ведь еще ни разу не были в Америке. Американцы не читают.

Внезапно, разорвав ночную тишину, загрохотало безотказное 155-миллиметровое орудие, задрожала земля, и несколько снарядов друг за другом полетело на юго-запад в темноту. В промежутках между выстрелами майор Янг кричал:

— Мы одиноки здесь. Мы умираем здесь, а там никто не знает об этом, знают лишь очень немногие!

...Американец, будь он майор или сержант, ест одну и ту же пищу и в одной и той же столовой, но у вьетнамцев — солдат и офицеров — пища разная. Солдаты из иностранных слов знают лишь «о'кей», «намбар ван», но офицеры почти все говорят по-английски и по-французски, хоть и на ломаном языке. Я часто бывал в их бараке, пил с ними чай, пиво и даже обедал.

Помню двадцативосьмилетнего лейтенанта-пехотинца — густобрового, с острым взглядом, крупными губами и длинными бачками, в общем, красивого парня. Им владело чувство неполноценности, и он всем, будь то американец или японец, грубил: «Ты не хочешь разговаривать с вьетнамским офицером?! Я точно знаю, что это так!» Или же говорил: «Ты ко мне пришел потому, что тебе днем не спится». Он задавал каверзные вопросы, на которые трудно ответить, и был полон какого-то странного упорства. Весь какой-то искореженный, беспокойный, мятущийся... Ежедневно он выпивал по десяти бутылок пива «Ла Рю». Я спросил, отчего он так много пьет. Сначала он уклонился от прямого ответа, сказал, что, дескать, плохая вода и что-то еще в этом духе, но в конце концов шепнул мне на ломаном английском: «Military service... unlimited... no vacation»*. Потом, чуть не рыдая: «One day, I die» **.

Этот лейтенант говорил мне:

— Артиллерия, пушки — стреляй. Сто пять. Сто пятьдесят пять. В джунгли и деревни. С утра до ночи стреляй. Всегда стреляй. Вьет-конг умирай, крестьяне вместе умирай. Умирать крестьяне, не Вьет-конг. Живой крестьянин становится Вьет-конг. Артиллеристы старайся, старайся и делай много врагов. Это секрет, ты не говори. Иди домой, Япония, ты писать газета. Ты писать правду.

Настойчиво, несколько раз повторял он мне это. Несправедливая и слепая жестокость, о которой он говорил,— факт. И не только здесь— это происходит по всей стране, начиная с реки Бен-хай и кончая мысом Ка-мау. Стреляют из пушек — не разбираясь куда, бросают бомбы с самолетов — куда попало и не делают из этого никакого секрета; об этом знают все — и политиканы, и журналисты, и монахи. Если подробно писать обо всех таких случаях, этими сообщениями можно заполнить все японские газеты, не останется даже места для карикатур.

Командир, читавший нам «лекцию» о тоннелях, год занимался в американском офицерском училище, изучая танковое дело. Каждый раз, когда этот офицер пил со мной чай или пиво, он заводил разговор о целях войны. Говорил, что, если Вьетнам захватят коммунисты, то в их руки попадет сразу вся Юго-Восточная Азия: Таиланд, Лаос и Камбоджа. Случись это, Японии, которая расположена не так уж далеко, придется быть настороже.

Но вот однажды я стал расспрашивать его, почему и в городе, и в деревне все, кого я встречал — интеллигенты, крестьяне, солдаты,— говорили мне, что устали. Говорили — «фини» (конец) или «намбар тэн» (хуже быть не может). И он вдруг утвердительно кивнул головой:

— ...По правде говоря, если буду жив, сам уйду из армии в будущем году. Я уже шестнадцать лет беспрерывно воюю. Это очень долго. Хочу вернуться в деревню и выращивать бананы и кокосовые пальмы. Дома у меня большой кусок земли.

Так внезапно и таким проникновенным голосом произнес он это, что я поразился резкой перемене. А он рассказывал о своем доме, о рисовых полях, о буйволах на южном Меконге, из глаз его исчезла жажда убийства, и они превратились в добрые крестьянские глаза, смахивающие на кроличьи. С тех пор он перестал твердить о целях войны против коммунизма. Видно, исчерпал все аргументы.

Среди тех, с кем я разговаривал, только лишь младший лейтенант-пехотинец, ушедший из ханойского пригорода на Юг после Женевских соглашений 1954 года, без конца повторял, что всех вьетконговцев надо во что бы то ни стало перебить. Отец его сейчас врач в Сайгоне. В армии их было четыре брата, и все — офицеры. Один из них во время очередной операции застрелил из пистолета человека, о котором говорили, что он — вьетконговский генерал и младший брат генерала Миня, личности, весьма влиятельной в Южном Вьетнаме. В конце прошлого года убийцу самого убили в боях у Бинь-зиа.

— Я разделаюсь с ними!— почти кричал в наступающих сумерках младший лейтенант. И бил себя кулаками в грудь.

А пожилые офицеры в один голос говорили мне по-французски, что устали. И ни слова — о войне. Говорили только о том, что у них много детей, или о том, как трудно жить, о своей собачьей доле...

Доверялись мне, видимо, потому, что я — японец, лицо нейтральное. Откровенно, не взирая на то, что рядом стоит командир, признавались, что воевать не хотят. И сам командир кивал головой и даже не пытался остановить их...

---

* Военная служба... бессрочная... без отпуска *(англ.)*.
** Когда-нибудь я умирай *(англ.)*.

Кто не помнит, как Василиск Бородавкин, двенадцатый градоначальник славного города Глупова, выступил торжественно и внезапно в свой первый «поход за просвещение»; как проблуждал он более недели по городскому выгону, тщетно пытаясь правильной осадой и штурмом взять Навозную слободу; и как, наконец, достигнув цели всего предприятия, разрушил две избы и пленил нескольких обывателей, после чего возвратился с победой, утопив в болоте всю артиллерию и потеряв половину солдат, перебивших друг друга по пьяному делу...

Стратагемы, подобные этой по величию замысла и совершенному отсутствию результатов, вносят время от времени «наполеоны в хаки» в боевые анналы Пентагона. Конечно, скажем, у генерала Уэстморленда есть многое такое, что глуповскому градоначальнику даже не снилось: «летающие крепости», танки-амфибии, электронные мозги; да и солдат у него поболее. И потому, ежели Бородавкин выходил на бой за «просвещение» всего четыре раза, то генералы сражаются за «прогресс» более часто. Не смущаясь нисколько бесплодием своих усилий, они, едва закончив одну неудачную кампанию, тотчас начинают следующую. Ибо американский генерал, вроде как биржевой маклер, не должен бездействовать: это может произвести дурное впечатление и понизить курс акций.

Но человечество не должно оставаться в неведении насчет операций янки в генеральских мундирах, потому что они разыгрывают их сегодня не на тактических ящиках Уэст-Пойнта.

Игра «военного гения» Макнамары, Уэстморленда и иже с ними оплачивается тысячами жизней. Гибнут не только вьетнамцы; канонада, от которой дребезжат стекла в Сайгоне, отдается погребальным звоном в самой Америке. Человечество должно узнать о каждой такой операции, потому что если сегодня бомбы рвутся на рисовых полях Вьетнама и напалм сжигает дома вьетнамцев, то завтра американские генералы могут применить свой военный талант в другой стране, на другом континенте, очень уж схожи их «глобальные идеи» с бородавкинским безумным проектом о «вящем армии и флотов по всему миру распространении...»

Люди должны знать правду!

Внимание, читатель: говорит итальянский журналист Франко Праттико. Операция «Crimp»!

ФРАНКО ПРАТТИКО

ДВА СПОСОБА УМИРАТЬ

В настоящее время в Южном Вьетнаме находится более двухсот тысяч американских солдат. Ежедневно кто-то из них погибает в борьбе с партизанами. Они умирают, не зная даже, зачем послали их в эти предательские лесные заросли, на эти рисовые плантации. Партизаны тоже умирают, но их жизнь, борьба, смерть имеют для них совершенно точный смысл: освобождение родины от иноземцев.

«To crimp» по-английски означает многое. На старом военном и морском жаргоне это значило завербовать силком или обманным способом в солдаты или матросы. В наши дни повара так говорят о только что пойманной и свежевыпотрошенной рыбе. Парикмахеры лондонского Веста так именуют завивку волос. Трудно предполагать, что американские стратеги злополучной вьетнамской войны особенно вдавались в филологические тонкости, обозначая словом «crimp» операцию, целью которой являлось уничтожение «железного треугольника» — обширной лесистой местности, раскинувшейся между рекой Сайгон и камбоджийской границей. Быть может, точный смысл этого термина в применении к одной из многих подобных операций прозвучит как «окончательная» после того, как ее проведут в жизнь с благословения Пентагона и Вашингтона, а все допущенные в ходе ее грубейшие ошибки станут явными только тогда, когда наступит пора подводить итоги.

Стало быть, «Crimp». Восемь тысяч человек, и среди них тысячи «Royal Australians», отряды 173-й авиатранспортной бригады США (так называемые «para»), подразделения первой пехотной дивизии, бронированные средства, воен-

но-воздушные силы. По словам присутствовавшего во время операции европейского корреспондента, было решено проводить все чертовски всерьез, поэтому не было допущено участие отрядов сайгонского марионеточного правительства.

Операция «Crimp» началась так: с баз, окруженных минными полями и оплетенных колючей проволокой, в воздух поднялись двести вертолетов, которые обрушились на берега реки Сайгон, подобно рою пятнистой, свирепой саранчи. В то время как вертолеты, жужжа, опускались на землю, сотни тяжелых бомбардировщиков («летающие крепости» с базы Гуам) облетали всю зону, плацдарм будущей операции. Эта зона с некоторых пор стала предметом страха и ненависти американского командования. Это зона Биен-хоа и Бен-кат. Это сотни населенных пунктов. Это зона, где южновьетнамские патриоты поражали насмерть, а затем бесследно исчезали. Это зона, где, по сведениям американских информаторов, расположен эпицентр наступательной системы патриотов в окрестностях южновьетнамской столицы (Сайгон расположен в сорока-пятидесяти километрах от реки того же наименования). Итак, «летающие крепости» начинают боевые действия в то время, как наземные войска высаживаются из вертолетов. Вся зона перепахана взрывами, леса, возможно, прикрывающие врага, буквально перевернуты тротилом, сожжены, уничтожены. Наконец путь свободен. Отряды «освободителей» могут осуществить свое вторжение в «железный треугольник». Начинается тщательное прочесывание местности. В шлемах, замаскированных ветками, с ручными пулеметами, затаив дыхание движутся американские солдаты в неестественной тишине, наступившей после бомбардировки. Взрывчатка все исковеркала: солдаты ступают по изуродованным деревьям, на земле валяются мертвые птицы, природа потеряла свой нормальный вид. Так прокладывает себе путь американский солдат. Он идет убивать вьетнамцев, убивать их как можно больше. Под знаменем со звездами и полосами совести нет места. Даже растерзанные бомбами птицы и змеи кажутся врагами. Это царство страха, превращенное «летающими крепостями» в царство смерти. Каждый взрыв несет бодрость и утешение высаживающимся из вертолетов и ожидающим момента переправы через илистую реку американским солдатам. Хотя, как утверждают западные корреспонденты, в этой войне и нет места ненависти, зато для агрессора в ней очень много страха, а ведь известно, что страх нередко опаснее ненависти.

В этом мире дымящихся призраков продвигаются восемь тысяч американских и австралийских солдат. Они должны повстречать и рассеять «главные силы» южновьетнамских партизан этой зоны. Но им кажется, что вокруг них пустота и безлюдие... Вдруг откуда-то сбоку раздается одиночный выстрел, свидетельство присутствия кого-то неуловимого, чьей-то невидимой разящей руки, которая наносит удары и поражает даже тогда, когда кажется, что ее вообще не существует. Постепенно ощущение безопасности, рожденное массированной бомбардировкой, покидает части, подготовленные для борьбы против партизан. Отряд чувствует, что он обнаружен вражескими стрелками, поэтому ему отнюдь не весело, когда на его пути встречается бесформенная груда окровавленных лохмотьев и среди них лицо женщины или ребенка с широко раскрытыми глазами... Мало помогает то, что солдаты хорошо знали, навстречу чему они шли и что им предстояло совершить...

«Мозг» операции, его командование, лихорадочно собирает данные. Что-то не функционирует. Отдельные стрелки — это не та организованная сила, которую ожидали встретить уже наполовину уничтоженной бомбардировками. Войска продолжают продвигаться в поверженных джунглях.

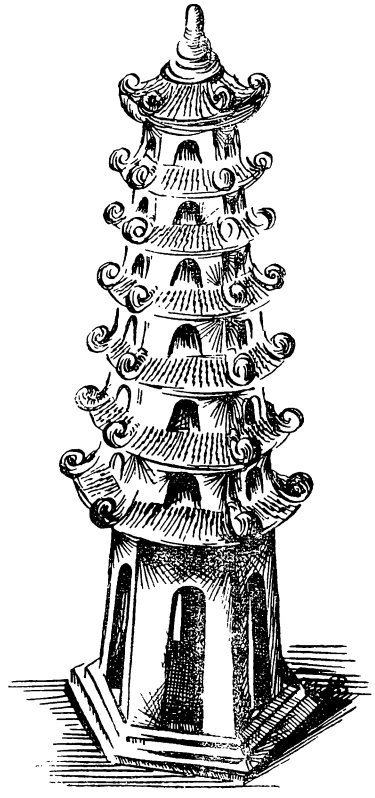
И вот открытие, великое открытие, плод операции «Crimp». Между сожженными напалмом деревьями виден гигантский, углубляющийся в почву просвет — вход в сеть подземных галерей, вырытых рукой человека, гигантский муравейник, величиной с нью-йоркский метрополитен. Восемь тысяч человек развивают бешеную деятельность. Необходимо обнаружить остальные входы этой подземной крепости, блокировать их, захлопнуть в западне этих чертовых партизан. Один за другим были найдены все выходы. Труд, достойный строителей пирамид,— так тщательно и терпеливо сооружена сложнейшая сеть запутанных подземных галерей и помещений, куда не проникают даже корни гигантских деревьев. Теперь это уже не вооруженные призраки джунглей, это люди, которые могут погибнуть, чье убежище открыто и которых ожидает смерть в западне. Восемь тысяч недругов ведут против партизан борьбу по всем правилам охоты на лис. Готовьте газ! Во все входы пущен газ, удушливое облако распространяется по галереям. Но известно, что вьетнамцы выносливы, надо направить против них все, что возможно, ничего не должно быть упущено. Как убивают крыс, когда они кишат в подземельях? Черт возьми, американцы — опытные дератизаторы. тут требуется вода. Насосы нагнетают воду из реки. Всех утопить не удалось, но работа проделана неплохая. Вот ее первые результаты, которым, оказывается, суждено остаться последними. Один за другим, с поднятыми вверх руками из подземелья выходят двести шестьдесят ужасных врагов. Нет, перед глазами американских «парней» возникают не бойцы освободительной армии Южного Вьетнама, а женщины, дети и старики. На их лицах застыл ужас, в их ушах еще грохочут взрывы, разрушившие селения,

где они жили. Когда все вышли, командование США дало распоряжение взорвать динамитом галереи. Но для этого не хватает динамита, да и времени явно недостаточно. Агрессоры нервничают все больше. Очи видят: для того чтобы взорвать всю систему подземных укреплений, потребовались бы недели и понадобились бы целые пароходы, груженные динамитом. А вьетнамских партизан нет и следа. А может быть, это они — эти женщины, эти дети, эти старики с трясущимися головами? Что же касается этих молчаливых и грустных женщин, то на слова переводчика о том, что американцы их спасли и что теперь они со своими детьми могут следовать за своими «избавителями» и обрести во владениях США «помощь и безопасность»,— все, как одна, решительно и бесстрашно отрицательно качают головами. Они никуда не двинутся отсюда, со своей земли. Чтобы их увести, понадобилось бы применить силу. Так что же, значит, это они — вьетнамские бойцы Сопротивления? Или же это те ребята с темными живыми глазами? Возможно, эти крестьянские дети карабкаются на обугленные деревья и берут врага на мушку ружей, вырванных из окоченевших рук убитых американцев, хотя они знают, что это грозит им смертью? Несколько убитых бойцов Сопротивления, двести шестьдесят пленных стариков, женщин и детей, «подземная фортификационная система», которую даже разрушить не удалось, так как она устояла против бомбардировок и динамита, а ведь строили ее без помощи мощных бульдозеров, просто руками и заступами. А сейчас нужно поворачивать назад, и делать это быстро, ибо опаленный лес полон шорохов и странных звуков и враг, настоящий или его призрак, может появиться с любой стороны, хотя бы из-за этой бесформенной кучи кустарников; он может скрываться за трупами животных, может возникнуть из реки, как некое водяное божество, или же из-под земли, как человек-крот. И удар этих людей поражает всегда. Каждый одиночный выстрел по отходящим восьми тысячам человек — это удар погребального колокола. И каждый из восьми тысяч может стать мишенью. Теперь сами офицеры заставляют двигаться быстрее, выкрикивают слова команды, подгоняют. Скорее, скорее, «операция» закончена, нужно беречь силы, так как через два дня начнется операция «Матадор». Два парня несут на носилках искалеченное тело своего лейтенанта, попавшего в ловушку партизан. Длинные бамбуковые стрелы пронизывают его насквозь, стон медленно замирает, на губах красноватая кровавая пена: ты получил сполна свою плату, лейтенант! Там, далеко, на другом краю океана, сенатор-республиканец, представитель самой непримиримой правой, заявил в надгробном слове одному из редакторов «Юнайтед стейтс ньюс энд уорлд рипорт»: «Когда гроб с телом американца, умершего там, прибудет в его провинциальный городок, то местная газета напечатает в заголовке «Джо дома», «Джо вернулся домой». И когда пастор произнесет слова заупокойной службы перед собравшимися ветеранами и женщинами, очень многие отцы и матери скажут: «То же самое могло случиться и с моим мальчиком...»

Другой политический деятель задал такой вопрос: что произойдет, когда в Соединенные Штаты прибудут первые десять тысяч гробов? Стоит также спросить, что думают и что чувствуют две сотни тысяч американцев, которые живут на этой чужой земле лишь для того, чтобы угнетать народ, о котором они ничего не знают, который не вызывает у них никакого чувства, кроме разве дрожи страха, схватывающей их в джунглях и на рисовых плантациях, перед лицом чужой природы и молчаливых в страдании людей, которых не согнули двадцать лет войны.

Что они думают, сообщил недавно один журналист. Он имел возможность присутствовать при отправке экспедиции, целью которой было уничтожение одного южновьетнамского поселка, предполагаемого гнезда партизан, с борта гигантского авианосца. Можно представить себе, как величествен авианосец по сравнению с группой жалких лачуг, затерянных в джунглях или среди рисовых полей! На его борту имеется даже электронный мозг, неустанно, день и ночь, вычисляющий направление. Каждая сброшенная бомба, несомненно, стоит дороже целой деревни. Так что же думают об этом пилоты? Ничего, отвечает журналист, у них в головах нет абсолютно ничего. Они просто выполняют работу, за которую им платят. А если что-либо и случается, то это ведь всего лишь происшествие во время работы. Их наземные коллеги иногда видят врага лицом к лицу. Случается это даже тогда, когда они совсем не ожидают его увидеть. Это может быть вон тот прохожий, который завернул за угол в самом центре Сайгона или даже на этой укрепленной площади. Это может быть официант из ресторана, или служащий большого отеля, или таксист, или женщина с как бы нарисованной улыбкой на фарфоровом личике Целое море лиц, от морщинистого крестьянина, неподвижно стоящего среди рисового поля и никак не реагирующего на продвижение войск, вплоть до этого часового марионеточного правительства, который, возможно, по ночам использует врученное ему американцами ружье для совершенно непредвиденных ими целей. А тем временем операции сменяют операции. Их изучают на столах Пентагона — стратегически они совершенны. Затем их детализируют, и все до последней мелочи рассматривается экспертами, специалистами по антипартизанской стратегии, изучившими труды Мао Цзэ-дуна и видевшими фильм «Чапаев». И наконец дело попадает в руки оперативной команды, они инструктируют

своих самых отчаянных «головорезов». Как будто бы ничего не упущено. Но и операция «Матадор» кончается ничем. Вокруг Плей-ку, где расположена база США, партизан не было, разве что в момент отхода войск. В Куанг-нгае, гигантской воздушной базе США, в руках американцев остался только периметр самой базы, вокруг которой медленно сжимается кольцо осады партизан. И несмотря на трогательные речи, произносимые на площадях Миддл-Веста, один за другим погибают «парни». Можно сказать, что «они умерли за Америку»? Даже в самих Соединенных Штатах было весьма не много таких, кто посмеет утверждать что-либо подобное. Двести тысяч американцев, находящихся в настоящее время во Вьетнаме, не смогли бы сказать, за что они погибают и почему они убивают. «Мы делаем свою работу»,— отвечают пилоты бомбардировщиков. «Меня послали сюда»,— отвечают солдаты. Это война без славы и без героев. В ней только грязь, стыд, насилие, страх. Это война не против невидимого врага, но против селений с хижинами из хвороста, против школ, которые сжигают, чтобы они не послужили убежищем партизанам, против женщин, потому что они помогают мужчинам, против риса, потому что он насыщает голодных. Это «работа» американских военных сил во Вьетнаме, это грустная работа. Что же касается американского военного командования, то оно вкупе со своими учеными прихвостнями пытается измыслить новые занимательные наименования операциям против партизан. Делается это потому, что занимательное наименование делает более приятным то, что следует сделать. А поэтому требуется, чтобы хороший командир позаботился о том, чтобы поднять дух войск. Боб Хоуп и Кэрол Бейкер устраивают спектакли на взлетных дорожках аэродромов, джунгли горят от напалма, подземелья, вырытые ногтями, пустынны, но имеются еще трофеи — несколько мешков риса, которые можно пинками сбросить в реку. Позади тебя, американский солдат, горят селения с хижинами из веток и хвороста. Сколько стоил бензин, который тебе понадобился, чтобы уничтожить эти «подозрительные трущобы»? А ведь того, что тебе платят, хватило бы, чтобы весь день целиком кормить всех этих людей с такими истощенными лицами, всех тех, кто смотрит на тебя и не желает даже притрагиваться к твоей плитке шоколада.



С корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Тер-Григоряном мы однажды проехали вместе чуть не весь Северный Вьетнам — от Ханоя до 17-й параллели. Мне бросилось в глаза, с каким интересом относился он тогда к народным ремеслам, всему тому, что на ученом языке зовется прикладным искусством. Он восхищался тонким плетением и плавными формами крестьянских корзин или нехитрой керамикой в придорожной харчевне. Любовью к творениям мастеров из народа, делающих прекрасное «повседневным», проникнута и его публикуемая в журнале статья.

А. ТЕР-ГРИГОРЯН

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ТРАДИЦИИ

Прощаясь, командир батареи полез в карман гимнастерки, и в руке у меня оказалась небольшая металлическая пластинка.

— На память обо всем, что видели,— пояснил он.— Тут у меня один солдат делает такие сувениры. Благо, материала сколько угодно — не жалуемся. Американцы поставляют.

Он повторил эту распространенную здесь армейскую шутку и улыбнулся печально и как бы виновато. Было темно, и я не стал разглядывать подарок. А через полчаса в кювете у переправы, когда над нами повис на парашюте американский «фонарь», понял, что огненные пунктиры, прошившие небо чуть юго-восточнее нас,— дело рук капитана и его ребят. И вытащил пластинку. На кусочке дюраля — детали сбитого самолета — выгравирован лаконичный рисунок... Зенитный расчет у реки и падающий в нее хвостатой кометой горящий бомбардировщик. Энергичные короткие штрихи, разлапистый банановый лист на переднем плане, спокойная ширь реки, одинокий парус вдали. Дата на обороте все объясняла — изображенный самолет был сбит зенитчиками на прошлой неделе.

Позже мне приходилось видеть, как зенитчики награждали подобными сувенирами делегации рабочих, студентов, артистов, появляющиеся на передовой. И всякий раз неизвестный художник изображал какой-то момент боя. И всякий раз меня поражала продуманность композиции, простота и поэтичность рисунка. Я уверен, что ни один из этих людей не был не только профессионалом, но и сколько-нибудь определившимся любителем. Кажется, что любовь к красивому, владение карандашом, кистью, резцом едва ли не каждому вьетнамцу даются от рождения.

В любой ханойской лавчонке вас поначалу удивит обилие видов различных художественных изделий: несколько кусочков высушенного бананового листа на черном картоне — и ваше воображение безошибочно угадывает группу девушек с веерами; три бамбуковых стебля разной толщины — и на вас смотрит хитрющая, никому не доверяющая лиса; два крошечных брусочка лака — стоптанные деревянные сандалии вьетнамской женщины, словно оставленные ею у порога на чистых каменных плитах ханойского дворика; гнутая искусными пальцами проволока — и перед вами как живая пучеглазая цикада с дрожащими крыльями, «как живая», но более тонкая и изящная, чем живая. А солома? Горы затейливых корзин, шляп, сумок, циновок окружают человека не только на базаре, но и на подступах к нему и в любом людном месте. И на каждой вещи отпечаток искусства, к каждой прикоснулась волшебная палочка народной традиции, сообщившая простому ремесленному изделию заряд поэзии. Все это делается вручную, в больших количествах и носит характер предметов массового потребления. Удивляет изобретательность авторов, обилие материалов, из которых создаются стройные олени, мудрые буйволы, изящные птицы. Это, очевидно, тоже один из принципов традиции. Не случайно вьетнамские художники-профессионалы владеют многими видами техники, создают шедевры не только с помощью масла и акварели, но и с помощью лака, шелка, древесной коры и листьев (живописью по лаку и шелку Вьетнам славится не первый век, а пейзажи, сделанные из коры и листьев крупными мастерами, вызывают у посетителя художественного салона у озера Хоанг Кием большой интерес).

Тогда, под Винем, рассматривая дюралевую картинку-сувенир, я подумал о том, что война не смогла отрешить людей от постоянного художественного поиска.

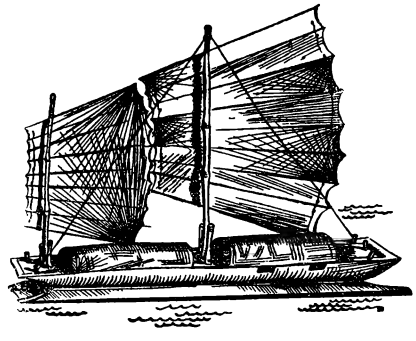
В этот свой приезд я как-то забыл о ханойских лавках, мастерских, рынках художественных изделий — жизнь прифронтового города заполняет время журна-

листа совсем другими заботами. Кусочек заокеанского металла вдруг заставил меня, когда мы вернулись в город, заглянуть в знакомые места.

Половина седьмого. По улице, ведущей к рынку Тьо Хоа-бинь, где можно купить решительно все — от древней бронзовой фигуры до висячего цветочного горшка из кокосовой скорлупы,— идет трамвай, движется поток велосипедистов, спешат прохожие. Война — город начинает жить очень рано, основная работа — утром и вечером, днем приходится думать об обороне. У порога ветхого строения — мастерской резьбы по слоновой кости — сидит старик с седенькой бороденкой и туго обтянутым блестящей смуглой кожей черепом. Не обращая внимания на снующих мимо людей, велосипедистов, рикш, он работает: зажав пальцами ног кусок слонового бивня, режет на нем какой-то рельеф. Это, очевидно, будущая лампа-ночник. В нескольких шагах от него другой старик сосредоточенно полирует бамбуковую пластинку. На ней уже напружинил тело свирепый дракон. Прохожу еще немного — мастерская изделий из лака на прежнем месте. Женщина покрывает черным лаковым раствором огромную деревянную тарелку. Когда раствор через несколько дней высохнет, тарелку покроют лаком снова. И так будет шесть или семь раз. Потом художник из той же мастерской нанесет на тарелку гуашью крутые скалы залива Ха-лонг, красное закатное небо, лодку с дырявым парусом. И снова женщина несколько раз закрасит все это черным лаком и бесконечно долго будет протирать тарелку тряпкой, пока не проступит рисунок — яркий, удивительный, какой-то новый, как богатырь, искупавшийся в волшебном водоеме.

После бомбежек, разрушений, обстрелов, трассирующих снарядов и горящих грузовиков, школьников, занимающихся по ночам при свете коптилок, женщин, потерявших детей, душных окопов, усталых улыбок ополченцев, заступающих в смену,— все это вдруг показалось мне чем-то удивительно вечным, неистребимым, прочным.

Так оно и есть, наверно. Народ не перестает быть художником и тогда, когда ему приходится быть солдатом. Только кисть его становится более строгой: к чистой красоте залива Ха-лонг приходится добавлять хищный профиль летающего разбойника.



Из работ вьетнамских мастеров

В одном небольшом этюде невозможно показать все богатство и прелесть декоративного искусства Вьетнама. Ведь есть еще и новогодние фонари из папье-маше, слюды и фольги — рыбы, драконы и птицы со свечками в брюхе — на улице Бумажных изделий в Ханое; и глиняные свиньи-копилки с разноцветными кругами на брюхе и томными глазами в длинных черных ресницах; и игрушки из цветного теста близ ханойского рынка Донг-суан — конные витязи с оружием и знаменами, белые, зеленые и красные; ладьи, зеленые, желтые, белые, голубые, с гребцами и флагами; малиновые буйволы и синие антилопы с красными ротиками. Есть игрушки из глины и дерева, и узорные ткани народностей, живущих в горах, и многое-многое другое...

Несколько лет назад в Ханое было создано специальное Училище декоративного искусства, которым заведует талантливый художник Нгуен Кханг. Там представители разных народностей Вьетнама постигают завещанные предками тайны ремесел.

Мне хочется только остановиться немного на народном лубке Вьетнама. Лубки называют еще «новогодними картинками», так как, согласно старинным обычаям, их дарят друг другу к празднику Тет, лунному Новому году, что в известной мере определило и тематику лубка. Нередко они являются как бы своеобразными пожеланиями: так, стилизованный младенец с петухом — пожелание славы и почестей, младенец с гусем — пожелание богатства и процветания; свинья с поросятами или курица с цыплятами символизируют семейные радости и т. д. Изображаются на лубках боги домашнего очага и прочие духи. Поскольку главным центром изготовления лубков была издревле деревня Донг-хо (в провинции Бак-нинь), то в лубках преобладала деревенская тема и символика. Однако были здесь и другие темы: «историческая», к которой можно отнести, скажем, изображения славной воительницы Чиеу, восседающей на боевом слоне, или императора Динь Тиен Хоанга, который, по преданию, ездил в детстве на буйволах вместе с крестьянскими мальчишками; «трудовая» — сбор кокосовых орехов); «бытовая» — сцена ревности: первая жена, завидуя молодости второй, грозится отрезать у нее косу, а муж тщетно пытается их примирить. Изображались на лубках и дворцовые турниры, и воины на слонах. Особенно интересны сатирические лубки: «Мышиная свадьба», где на нижнем поле процессия мышей досконально воспроизводит пышный ритуал свадебного шествия, а на верхнем — мыши подносят взятку коту, услаждая его слух игрой на музыкальных инструментах, дабы он не съел новобрачных; и «Уроки ученой Жабы», пародирующие занудную, бессмысленную зубрежку в конфуцианских школах.

Жители Донг-хо в старину не имели земли, они жили в основном своим ремеслом, которое возникло еще в средние века. По наследству в семьях передавались секреты мастерства. Бумагу для лубков, мягкую и волокнистую, тоже варили в Донг-хо. Техника лубка вкратце такова: на бумагу широкой кистью наносится фон (белый, лимонно-желтый, оранжево-красный) из краски, смешанной с толченым перламутром. Фон дает не только цвет, но и своеобразную штриховую фактуру с отливающим блеском. Затем с деревянной доски оттискивается черный контур изображения и цветное его заполнение. Здесь появляются новые цвета — черный, коричневый и зеленый, реже — фиолетовый и красный. Краски, необычайно яркие и стойкие, приготовляли сами мастера из различных растений и минералов.

В ДРВ начата большая работа по возрождению древнего искусства лубка. Народные мастера преподают сейчас в ханойском Институте изобразительного искусства, созданы специальные мастерские. Вьетнамские лубки и репродукции с них можно все чаще встретить за рубежом, во многих странах им посвящены специальные исследования и книги.

Пастушок, играющий на свирели *(лубок)*

Сбор кокосов *(лубок)*

Турнир *(лубок)*

Пять тигров — повелителей сторон света *(лубок)*

Праздничное шествие *(лубок)*

Трудно, в особенности не будучи специалистом, охарактеризовать в нескольких строках современное изобразительное искусство Вьетнама, вобравшее в себя прекрасные традиции классики и все разнообразие народного творчества. Надо отдать должное вьетнамским художникам — они оказались выше иногда возникающей в странах, подвергавшихся колониальному гнету, идеи неприятия всего «западного» и сумели позаимствовать многое из сокровищницы европейского, и в частности французского, искусства. Гармоническое

слияние всех этих элементов и легло в основу нынешнего искусства Вьетнама, неподражаемого по своим колористическим приемам, изяществу и пластичности.

Уже в середине тридцатых — начале сороковых годов на проходивших в стране художественных выставках вьетнамские художники заявили о себе как зрелые мастера. Появляются интересные работы маслом и акварелью, графика. Но наиболее значительным событием того времени явилось превращение лака из чисто декоративного жанра в «ветвь» станковой живописи. С тех пор художники Вьетнама проделали огромную работу, обогатив новыми цветами скупую прежде палитру лаковой живописи, добившись изумительного соответствия самого материала и изобразительной манеры. На мой взгляд, и до сего дня лак остается самым своеобразным и значительным явлением вьетнамского искусства, хотя бесспорны и успехи, достигнутые в других живописных жанрах. Пожалуй, менее значительны достижения в области скульптуры; оно и понятно, ведь профессиональная скульптура еще совсем молода.

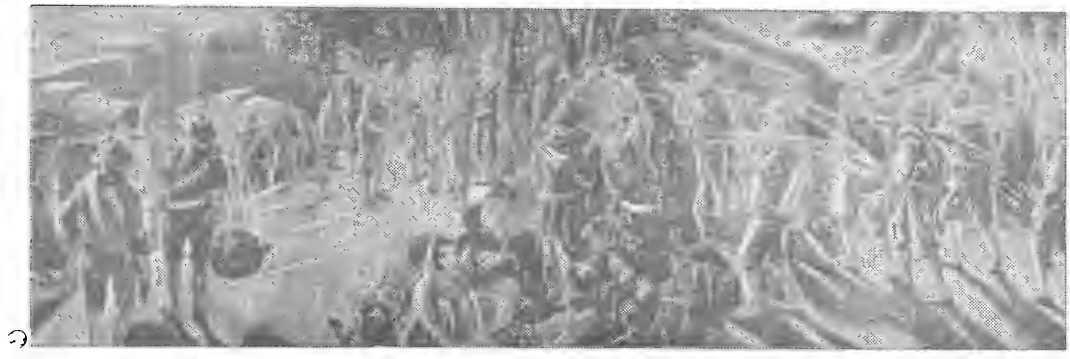
Надо сказать, что искусство Вьетнама прошло отличную школу гражданственности. Лучшие художники, когда началась война

ФАМ СУАН ТХИ

Горсть земли с Юга *(гипс)*

ЗЫОНГ ХЫОНГ МИНЬ

Подъем орудия *(лак)*



НГУЕН НЬЫ ХУАН. На перевал Хай-ван *(акварель на шелке)*

Сопротивления, ушли вместе с отрядами Народной армии в джунгли. Они работали в газетах и боевых листках, писали плакаты и карикатуры, проводнли передвижные выставки, оформляли учебники. А когда надо было, брались за оружие н становились в траншеи рядом с бойцами. Многие из них остались лежать в безымянных солдатских могилах.

И сегодня, когда независимостн Вьетнама вновь угрожает враг, художники слова разъехались по стране, туда, где ндут бои, где людн под бомбами восстанавливают мосты, стоят у станков и выходят за рыбой в море. Каждую неделю в ханойской газете «Ван нге» печатаются репродукции картин, рисунки, гравюры — боевые рапорты художников с линии огня. На Юге Вьетнама честные н любящие родину художники уходят из Сайгона и других городов, где всем заправляют амернканские «меценаты» и их местные прихвостни, в освобожденные районы. У художников и на Севере, и на Юге одна главная тема — народ, его нелегкнй труд, ратный н мирный, любовь к родной земле, потому что искусство Вьетнама едино, как и его народ.

М. ТКАЧЕВ

НГУЕН ЧОНГ КИЕМ. Мимо родного дома *(акварель на шелке)*

НГУЕН ВАН ЛИ. Партизанка с Юга *(гипс)*

Шутливые строфы

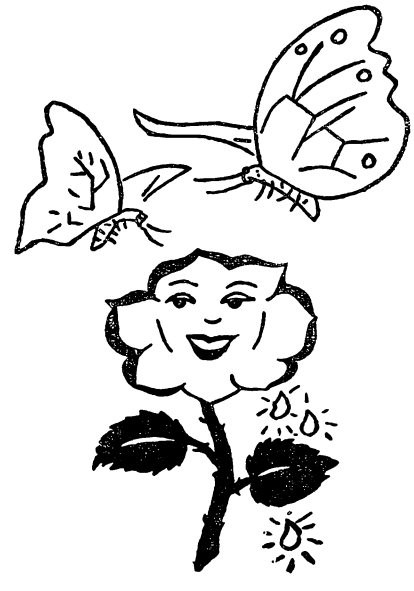
ФАМ | ПОСВЯЩАЕТСЯ
ХО | МАЛЕНЬКОМУ ЛЕНИНГРАДЦУ ЛЕВУШКЕ БИРБРАИРУ

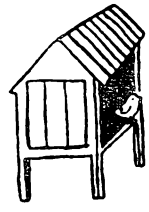
Глупые жеребята

Новыми подковами
папа-конь
Из дороги каменной
высекал огонь.
Вдруг он слышит крики
жеребят:
— Папа! Папа, ноги
у тебя горят!

Неопытная пчела

В первый раз пчела нектар
собирала
И увидела цветок
алый.
Понеслась она к цветку
что есть мочи,
В улей меду принести
хочет.
Долго шарила пчела,
хлопотала;
Не нашла нектара,
только устала.
— Эх, напала я,— жужжит,—
на урода!
Толстый, важный, а совсем
нету меда.
Ей в ответ цветок вздыхает
протяжно.
— Я не важный,— говорит,—
я — бумажный...





Благодарный щенок

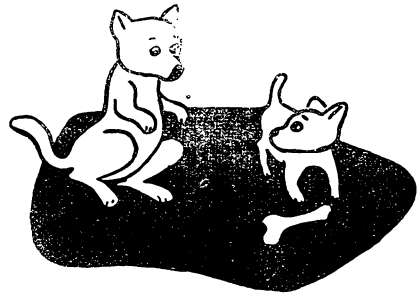
Считая, что у всех на свете
Любимое лакомство — мясо,
Черный щенок своему брату
Сказал, как папа, басом:
— Знаешь, теленок самый добрый,
Он мясо всегда оставляет нам,
А сам жует, даже страшно
подумать,
Траву, бродя по лугам,—
Зеленую и невкусную,
Как я ему сочувствую!

Про мышкиного кузена

Мышь, обожавшая все красивое,
Где-то нашла кусочек пирожного.
Сразу кузена она попросила
Кусочек обгрызть по краям
осторожно
И сделать овальным, как на
витрине
В кондитерском магазине.

Кузен то справа, то слева кусал,
Увлекшись нелегким делом —
Уж очень сложная форма — овал,—
Так весь кусочек и съел он.
Мышь поняла, что кузен плут,
И подала на него в суд.

Вольный перевод М. ТКАЧЕВА



МОРИС УЭСТ

Австралийский писатель, лауреат нескольких литературных премий (род. в 1916 г.). Известность принесла ему документальная книга о трущобах Неаполя «Дети солнца», а также романы «Адвокат дьявола» и «Дочь молчания». Роман «Посол» («The Ambassador») вышел в 1965 году. Редакция публикует его в журнальном варианте со статьей С. Дангулова.

ПОСОЛ

Роман

Перевод с английского
Н. ТРЕНЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

Глава 1

Как дипломат, я пользуюсь хорошей репутацией. Провожая меня в отставку, президент в своем прощальном письме назвал меня «выдающимся и достойнейшим дипломатом, чья деятельность принесла большую пользу Соединенным Штатам Америки». Я отнесся к этим комплиментам не без иронии, но с сознанием, что, во всяком случае, я их заслужил.

Я проработал в государственном департаменте тридцать пять лет, и десять из них был послом. Я получил свою долю назначений в гиблые места и принял все подкинутые мне твердые орешки. Даже мои недруги вынуждены признать, что промахи мои были не слишком вопиющими и что на моем счету — один-два заметных успеха.

Кое-кто из друзей уверяет, что решение оставить дипломатическую службу в зените своей карьеры — самый тонкий ход, какой я когда-либо делал. Они говорят, что, с одной стороны, я в большом фаворе у президента, который в случае необходимости всегда может призвать меня на службу, а с другой стороны, я волен как угодно строить собственную политическую карьеру.

Друзья, разумеется, считают, что я гонюсь за карьерой, и мне обидно, что они приписывают мне такую расчетливость. Впрочем, на что мне, в сущности, обижаться? Я всегда был известен своим хладнокровием в любых переговорах, а в дипломатии немало ценится умение быть жестоким. Если я изменился внутренне, мои друзья вряд ли имели случай или время это заметить. Да и как могли они знать, что происходит в сознании Максуэлла Гордона Эмберли, когда и сам он понял это так поздно?

Соблюдая все условности дипломатической службы, я обставил свой уход по-библейски пристойно. После смерти Фунг Ван Кунга я выждал на своем посту целый год — срок более чем достаточный, чтобы доказать непричастность американского правительства к этой смерти или снять с него всякую ответственность за ее последствия. Затем я, как положено, отправился в Вашингтон приложиться к ручке и потолковать о новом назначении. После этого я поехал в Нью-Йорк и лег в клинику на исследование. Через три недели я мог заявить, что ухожу в отставку по причине плохого здоровья.

А на самом деле? Чтобы выяснить это, я и приехал сюда, к древнему храму Тенрю-джи — храму Небесного Дракона близ Киото в Японии.

Сейчас осень, и священные каштаны у ворот горят красным пламенем на темном фоне высоких сосен. Небо похоже на перламутровую раковину, а опавшие листья тихо покоятся в прудах, на разрыхленном граблями песке дорожек, на камнях и ярко-зеленых пятнах мха.

Иногда я вхожу в сад и гляжу, как монахи ухаживают за растениями, терпеливо, скрупулезно, «претворяя каждую травинку в Золотого Будду». Иногда я сижу в домике Мусо Сосеки, скрестив ноги на соломенной циновке, попиваю чай, который он подает мне с ритуальной торжественностью, и в созерцательной задумчивости веду с ним диалог по способу, который называется м о н д о.

— Зачем вы сюда пришли?
— Искать ответа.
— Почему вы его не нашли?
— Потому что ищу.
— Как вы его найдете?

— Только перестав искать.
— Где вы его найдете?
— Нигде.
— Когда вы его найдете?
— Никогда.

Стиль диалога похож на стиль этого храма, и дома, и сада. Все лаконично, иносказательно, стройно и протяженно до бесконечности, как эта циновка, на которой мы сидим,— она будто течет за порог и сливается с песком на дорожках, с рябью на садовом пруду, где всколыхнулся зеркальный карп...

Мусо Сосеки — монах школы дзен. Кроме того, он поэт, садовник, в совершенстве владеет каллиграфией и искусством печатания с деревянных форм. Иероглифы, которыми пишется его имя, означают «Окно, открывающееся в мечту». Ему семьдесят пять лет, но весь он крепкий, смуглый, обветренный, как древний камень. Лицо его исполнено спокойной доброты и веселого юмора. Он согласился взять меня в ученики и, наставив меня на путь дзен, подгонять, подталкивать, шпорить, приближая к интуитивному познанию и духовному просветлению — сатори.

А просветление мне необходимо, крайне необходимо. Я только жалею, что не дождался его три года назад, когда, после кончины моей жены, меня впервые привез сюда Джордж Гротон.

Я был тогда послом — верховным жрецом в токийском дипломатическом действе. Взгляните на карту, отметьте векторы политических сил в Азии — и вы поймете характер и масштабы моего влияния. Мне кажется, я справлялся неплохо. У меня есть чувство языка, вкус к экзотическим обычаям и ухо, чуткое к минорным тонам. А это качества, весьма ценные в условиях особой, непостижимой цивилизации. Все остальное, чем я обладаю, не дано мне от природы — это дар Габриэллы.

Она была наделена обаянием, тактом, чувством юмора и ясной гармоничностью, которая перелилась из ее жизни в мою. Когда она умерла, гармония распалась на вопиющие диссонансы. Каждая трещина во мне, каждая моя слабинка сразу же дали о себе знать.

Я никогда не был особенно привержен к какой-нибудь религии и, будучи счастлив с любящей женщиной, никогда не ощущал необходимости искать опоры в пламенной вере. Однако я не был лишен религиозного чувства. Я не презирал богослужений. Мне даже нравилось бывать в церкви, когда того требовал долг службы. В остальном же мне вполне хватало того утешения, которое давали мне мои домашние боги и жрица, служившая им и мне.

А когда ее не стало, все мои святыни сразу рухнули, и мне хотелось закопать их глубоко в землю, подальше от чужих глаз. Я не принимал никаких соболезнований. Откуда-то взялись во мне резкость, придирчивость, даже деспотизм. Для подчиненных я стал невыносим, коллеги от меня отдалились. Только японцы, склонные к шизофрении, казалось, прекрасно понимали, что мне необходимо пережить этот период целительного безумия.

Из соотечественников же один лишь Джордж, совсем еще юный третий секретарь посольства, оказался достаточно проницательным и понял, что со мной происходит. Его не смущал мой гнев, не раздражал надменный тон. Он был усерден, добродушен и нисколько меня не боялся, этот неловкий, сутуловатый верзила в очках, с копною рыжеватых волос. В редкие минуты умиротворения я ловил себя на мысли о том, что хорошо бы иметь сына, похожего на Джорджа Гротона.

Однажды среди ночи, во время его дежурства, пришли какие-то телеграммы, и ему пришлось разбудить меня. Я много выпил перед сном, и настроение у меня было отвратительное. Я был нестерпимо груб с ним. Он глубоко втянул в себя воздух, подошел ближе и, глядя мне прямо в лицо, сказал:

— Сэр, вы губите себя и мешаете наладить работу посольства. Если вы никому не даете помочь вам, так позвольте хотя бы нам делать свое дело как следует.

Я онемел, глядя на него с открытым ртом. А он пожал плечами и улыбнулся мне обезоруживающей улыбкой.

— Вы можете отослать меня на родину, если хотите, сэр, но кто-то должен был сказать вам это.

— Почему именно вы, Гротон?

— Миссис Эмберли всегда была добра ко мне. Перед смертью она взяла с меня слово заботиться о вас.

Мне стало так стыдно, что я ничего не нашелся сказать. Взяв телеграммы, я заперся в своей комнате и плакал там, как ребенок. Наутро я написал Гротону коротенькую сдержанную записку с благодарностью и извинениями. Через неделю он предложил мне поехать с ним и другими

служащими в Кураму, на ежегодный праздник огня. А так как Курама совсем близко от Киото, вполне естественно, что мы заехали в храм Небесного Дракона, а там я неизбежно должен был встретиться с Мусо Сосеки.

Если бы Гротон не погиб, из него вышел бы крупный дипломат. Он был человек прямой и все проблемы атаковал в лоб, при этом у него хватало деликатности и простоты душевной, чтобы следовать извилистым путем чужой мысли. Когда я увидел его, зверски убитого в Сайгоне, я заплакал во второй раз. И с тех пор не пролил ни единой слезы ни о мужчине, ни о женщине.

Мусо Сосеки принял меня тогда с любезной непринужденностью человека, который в полном ладу с самим собой, с историей и своим миром.

— Природа человеческого горя, мистер Эмберли, лежит в чувстве отчуждения от естественного порядка вещей, царящего во вселенной. Сатори приводит к просветлению разума, ощущение своей сущности и сущности вселенной проясняется и восстанавливается сознание подлинных связей и единства со вселенной.

Мое горе было таким свежим и таким острым, что я ухватился за эти слова и попросил его растолковать их. Он отказался с улыбкой и добавил:

— Приходите еще, мы будем пить чай и беседовать молча.

Я вернулся в Токио с таким чувством, будто мне приснился спокойный и чудесный сон. Я написал Мусо Сосеки, поблагодарил за любезность и попросил позволения навестить его еще раз. Через десять дней пришел ответ — маленький шедевр каллиграфии на сделанной вручную бумаге. Старик предлагал мне свой дом, свою дружбу и то, что он назвал «мелкими и ничтожными плодами моего зимнего урожая». Он приглашал меня приехать в любое время и пожить у него в качестве гостя.

С тех пор при каждой возможности я приезжал к Мусо, иногда один, иногда с Гротоном. Мусо внушил мне, что дзен практически представляет собою слияние с природой и, в сущности, является подготовкой человеческого организма к высшей стадии самопознания.

Гротон оказался человеком не только умным, но и тактичным: приведя меня к моему наставнику, он решительно уклонялся потом от всяких разговоров о том, что нас теперь с ним связывало. Он просто дал мне понять, что в Токио нас разделяют формальности дипломатической службы, а в Киото мы разделены тем тайным, что совершалось в каждом из нас. Когда я однажды поблагодарил его за то, что он для меня сделал, он только улыбнулся и сказал, совершенно в духе дзен:

— Когда мы молчим, мы — одно; когда разговариваем — нас двое.

И это тоже мне пришлось вспомнить много времени спустя, когда мы с ним ожесточенно спорили о политике, которую я проводил в Сайгоне.

Мусо Сосеки не принуждал меня к тренировке. Иногда он давал мне для раздумья какое-нибудь из тех с виду бессмысленных предложений-загадок, которые называются к о а н.

К одной из них он возвращался с мягкой настойчивостью:

— Как вы поступите, если они вас попросят убить кукушку?

Первый раз я попросил Мусо уточнить условия загадки. Кто такие, например, эти «они»? Что за кукушка и почему меня попросят убить ее?

Мусо с улыбкой отклонил мою просьбу.

— Вы, Эмберли-сан, сами должны мне сказать, что это значит.

И вот помимо моей воли вопрос Мусо стал меня преследовать, тревожить и отвлекать от формальной и зачастую грозной логики практической дипломатии. Он будоражил меня, как сюрреалистическая картина, где каждый символ ясен, но все в целом — абсолютная тарабарщина, к которой не подступиться без ключа.

Однако постепенно я начал понимать, куда и как меня направляют: к состоянию неверия в себя, к неудовлетворенности всем очевидным, в сферу безмолвного общения. А поняв это, я почувствовал также, насколько я далек от подступов к цели.

И вдруг весь процесс моего перевоспитания разом оборвался, а меня безвозвратно отбросило назад, к прежним реальностям — или, быть может, иллюзиям? — дипломатической службы. Из Вашингтона прилетел Фестхаммер и вручил мне официальную просьбу государственного секретаря, подкрепленную дружеской запиской от президента. Не соглашусь ли я оставить свой пост в Токио и принять назначение в качестве чрезвычайного посла в Южном Вьетнаме?

Нет на свете человека, менее похожего на последователя учения дзен, чем Рауль Фестхаммер. Он — типичный прагматик. В его руках каждый факт грозен, как рапира. Некоторые называют его типичным оппортунистом, но я слишком уважаю его, чтобы осуждать так, походя. Он — человек хладнокровный, умеющий спокойно взвесить все «за» и «против». Его доклады о политической обстановке являются образцами упражнений в тактической

логике. Он мало пьет, не курит и неистово жаден до хорошеньких женщин. Он ненадежный друг и опасный враг, но в работе точен, как банкир. Личное общение с ним меня ничуть не привлекает, но за верность его политических оценок я мог бы поручиться своей карьерой — именно этого он сейчас от меня и хотел.

— ...Мы впутались в заваруху, Макс. В паршивую, неблагодарную заваруху. Мы называем это подрывной войной, но по сути дела это гражданская война. Сын против отца, семья против семьи. Мы влезли в это потому, что хотим удержать плацдарм в Юго-Восточной Азии и отрезать Китаю доступ к южной «рисовой чаше» и морские пути в Африку. Если Южный Вьетнам падет, Таиланд будет взят в клещи, а Сингапур окажется под угрозой. Мы дали тридцать тысяч человек и один бог знает сколько миллионов долларов, и все же мы только «советчики» без решающего голоса в проведении военных операций.

Мы поддерживали Фунг Ван Кунга и его родственников, потому что они все-таки были самыми лучшими и сильными правителями из всех возможных. Они и сейчас самые лучшие, только отбились от рук: не желают больше прислушиваться к разумным доводам, ведут себя так, будто у них прямая телефонная связь с господом богом. Они — католическое меньшинство в стране буддистов. Но вместо того чтобы наладить дружбу с буддистами, они притесняют их, как только могут. Они хватают студентов — и юношей, и девушек — и бросают их в принудительные трудовые лагеря. Они восстановили против себя столицу и теряют влияние в деревне. Среди военного командования нет единства, и, несмотря на десять тысяч укрепленных деревень и огромное преимущество в оружии и технике, Вьет-конг выигрывает каждый раунд... Макналли был хорошим послом, но мы дали ему неправильные инструкции. Мы велели ему завязать дружбу с Фунг Ван Кунгом, действовать обаянием и убеждением. А теперь его обаянием уже не возьмешь.

Так мы больше не можем работать. Нам придется вести свою линию жестко и в случае чего просить наше правительство применить финансовые санкции. Я дам вам прочесть уйму всяких документов, и вы поймете, почему мы должны назначить туда сильного человека, Макс. Тут не будет премий. Выиграете, проиграете или будете тянуть свою лямку, все равно ничего, кроме передряг, вас не ждет... Там, у нас, все надеются, что вы согласитесь.

Я просидел над документами сорок восемь часов, а затем согласился. Позже, когда я стал подводить итоги и взвешивать вину, которая лежит на мне, я задался вопросом, какой долей этой вины я обязан именно той минуте.

Во мне тогда заговорила гордость — а кто не гордился бы правом сказать: «Я здесь от имени великого народа. Выбор пал на меня, потому что я силен и проницателен, и ссориться со мной опасно». Но за гордостью таился страх, потому что смерть Габриэллы доказала, как немного во мне силы, а Мусо Сосеки заставил меня усомниться в моей мудрости, а Джордж Гротон — устыдиться приступов гнева. Но кроме гордости и страха было что-то еще: меня принуждали пожертвовать созерцанием ради действия, отложить решение своей судьбы, взяв на себя право решать за миллионы безымянных людей.

Однако такова была моя служба, а я дал присягу нести ее. Ей посвящена вся моя жизнь. Меня призывает сам президент. Я не имею никакого права припутывать мои личные проблемы к делам государственным. Мне пришлось признать, что во мне живут два человека. И эти двое — совсем разные, несовместимые. Тот «я», которого я знал в саду храма Тенрю-джи, был совсем иной, чем тот, который так уверенно вел гамбитную игру держав. И мне оставалось только примириться с тем, что я всегда буду жить двойной жизнью, и отказаться от всяких попыток соединить этих двух воедино.

И все же я не мог побороть тайную тревогу и дурные предчувствия. Кто знает, как долго мне удастся удержать это хрупкое равновесие между двумя существами в столкновениях с враждебным окружением? Мусо Сосеки научил меня уважать мое сокровенное «я», но ведь со мной не было Габриэллы, которая любила меня и умела создать гармонию между моим внутренним и внешним миром.

Поэтому я ухватился за Джорджа Гротона. Я спросил, не хочет ли он поехать в Сайгон в качестве моего помощника по особым делам. Он улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, поблагодарил за доверие и согласился. А потом с видом полного простодушия спросил, не намерен ли я перед отъездом из Японии повидаться с Мусо Сосеки. В суматохе дел и совещаний с Фестхаммером, в потоке телефонных переговоров с Вашингтоном я совсем об этом не подумал. Гротон пояснил, что существуют особые

правила вежливости — вежливость ученика по отношению к учителю, похожая на вежливость сына по отношению к отцу. И снова мне стало стыдно за свою небрежность, и я обещал, что, как только кончится процедура дипломатических прощаний, я проведу последний день с Мусо Сосеки в храме Небесного Дракона.

В воздухе уже тянуло зимним холодом. Потух пламень священных каштанов у ворот храма. Листья их облетели, скалы оголились, а вода в прудах стала серой и унылой. Мусо Сосеки принял меня в своем доме; он плотно задвинул створки, и мы оказались отгороженными от всего мира на крошечном островке света и тепла. Когда я сказал, что меня переводят, он медленно кивнул и произнес:

— У каждого человека своя тропинка. Он должен идти туда, куда она его ведет. Однако я думаю, что принимать это назначение в такую пору вашей жизни — большой риск.

Я рассмеялся и сказал, что риск в дипломатической карьере — дело обычное. Он нахмурил брови и покачал головой.

— Я думал не о вашей карьере, а о вашем духовном мире. Вы начали сознавать несовершенство своей жизни. У вас может появиться искушение требовать невозможного совершенства от обстановки, с которой вы столкнетесь. Вас посылают, чтобы вы добились каких-то сдвигов. Какие же они, эти сдвиги, которых от вас ждут? Окончание гражданской войны? Искоренение коммунизма в Южном Вьетнаме? Конец существующего режима? — Он поднял маленькую тонкую руку, не давая мне заговорить.— Нет! Не отвечайте! В области просветления — вы мой ученик. В области мирских дел — вы американский посол. Вы не должны говорить со мной о государственных делах... Но проблемы политики — это лишь усугубление проблем отдельной личности, и мы стараемся разрешить их тем же путем, то есть ставя перед собой какой-то предел, достижение которого будет означать «успех». Так, генерал говорит: «Если я выиграю войну, это будет наш — и мой личный — успех». Он не думает о том, что война — это жестокое, не знающее предела истребление и что потом необходим новый этап созидания, чтобы хаос превратить в порядок, а рыдания — в улыбки. Вы понимаете, друг мой, о чем я говорю?

— Понимаю. Но это ничего не поясняет. Я очень хорошо сознаю свое положение — положение профессионального дипломата. Я не волен ставить пределы своим действиям — я должен действовать как можно лучше, чтобы достичь пределов, которые поставлены передо мной другими.

Мусо Сосеки улыбнулся и покачал головой.

— Это верно только отчасти. Вас призывают туда рекомендовать, советовать; таким образом, вы можете реально помочь, лишь предложив то, что потом будет предложено вам.

— Вы правы. Но я даю советы под давлением событий дня — чумы, голода, войны и колебаний на бирже. Я должен напоминать себе и всем тем, с кем я имею дело, что перемена не всегда означает улучшение. Если мне не удастся их в этом убедить, мне могут дать приказ совершить перемену, в которую я не верю. С другой стороны, перемена, в которую я верю, может породить только другую чуму и другие войны.

— И вы довольны таким положением, которое, в сущности, и определяет всю вашу профессиональную деятельность?

— Я принимаю это как реальность — неизбежную реальность моего существования. В этом смысле я должен быть доволен.

— Неизбежную потому, что это так и есть, или потому, что вы так хотите?

— Если бы я знал, что ответить!

— Хотеть знать — это еще мало. Нужно заставить себя искать ответ.

Мне сделали выговор, и я понял это. И пришлось проглотить обиду, потому что этот человек — учитель, а я ученик. Но переварить такое было трудно, потому что в другом плане я — большой человек, призванный президентом великого государства повернуть, если я смогу, ход истории. Гордость моя требовала, чтобы я вырвался из рабства у этого старого мистика. Другой же голос кричал: «Останься! Без него ты погубишь себя совсем!»

Мусо Сосеки долго молчал. Глаза его неподвижно смотрели в невидимый отсюда сад. На морщинистом лице застыло выражение созерцательного покоя. Я поймал себя на том, что тоже привожу себя в то физическое и умственное состояние, которое необходимо для созерцательных размышлений. Я засмотрелся на маленькую струйку теплого воздуха, дрожавшую над жаровней с углем. Мысли отвлекались от логики предыдущего разговора и свободно парили, следуя за ассоциативными толчками.

— Очень сожалею, что вы не ответили на вопрос о кукушке,— вдруг сказал старый монах.

— Я много думал о нем — и все-таки до сих пор не понял.

— Даже сейчас не понимаете?
— Даже сейчас.
— Тогда давайте еще раз поищем ответ. Скажите, зачем вы приехали ко мне?
— Послушать молчание.
— И вы слышите молчание?
— Порой слышу.
— Слышите вы кукушку?
— Как я могу ее слышать? Когда наступает зима, кукушка молчит.
— Но вы приехали послушать молчание. Почему же вы не слышите молчания кукушки?
— Я не могу спросить ее почему.
— Но вы целый год ждете ее голоса?
— Да.
— А когда слышите, вы понимаете, что пришла весна?
— Да.
— Значит, вы понимаете кукушку?
— Да.
— Вы боитесь, что она вас не поймет?
— Я знаю, что она меня не поймет.
— Вы убеждены или вам не хочется проверить, так ли это?
— Мне не хочется проверять.
— Почему?
— Потому что я никогда не верил кукушке.
— Вы думаете, кукушка простит вас?
— Надеюсь, что простит.
— А как вы поступите, когда вас попросят убить кукушку?
— Почему кто-то станет просить, чтобы я убил кукушку?
— Потому что она не хочет куковать зимой.

Вот так-то: я опять всего лишь новичок, я опять стою перед глухими воротами, хотя мне и казалось, что я уже в них вошел. Старик, очевидно, понял мое смущение — он тотчас же оставил формальный тон мондо и ласково заговорил:

— Помните: вы ищете самоуглубленности. Она не даст вам точного ответа на все то внешнее, с чем вы сейчас связаны. И не укажет, как лучше исполнять обязанности посла, не разрешит одну проблему путем превращения ее в другую. Но она докажет вам, что тайна жизни, умение сохранить свое «я» и совершенствование зависят от отдельной личности, а не от массы. Таким образом, все, что в вашем деле или еще чьем-то направлено на благо, должно осуществляться с помощью и благодаря самопознанию отдельных личностей...— Он внезапно умолк и улыбнулся мне одной из своих редких улыбок.— Впрочем, я вас только запутаю. Мудрость — как цветок, который раскрывается, когда мы на него не смотрим. Пишите мне, прошу вас. Я буду о вас думать. А когда вернетесь, приезжайте ко мне.

— Непременно приеду. И благодарю вас за все.

Итак, ответ не найден. Никакого просветления, только еще сильнее стали и дурные предчувствия и тревога. Но одно я понял: в моих отношениях с Мусо Сосеки есть что-то настоящее и он, учитель, уже крепко сопряжен с моей жизнью, как и я с его.

Много воды — и много крови — утекло после той зимней беседы с Мусо Сосеки. Сейчас я опять в саду Тенрю-джи; я пытаюсь как-то осмыслить мои явные победы и внутренние предательства. И меня немало удивляет, что когда-то я был так глубоко растревожен странным вопросом о кукушке и почти не обеспокоен последними словами Фестхаммера перед моим отъездом в Сайгон:

— Сейчас в любой день, Макс, кто-то может свергнуть Фунг Ван Кунга и его родню и учредить новое правительство. Но сначала вас спросят, как вы к этому относитесь и насколько вы готовы поддержать этих людей от имени Соединенных Штатов... И загвоздка в том, Макс, что вам придется дать ответ, а потом оправдать его перед госдепартаментом и президентом... Ну, желаю удачи. Счастливого пути!

●

В сотне миль от вьетнамского побережья наш самолет встретили истребители-бомбардировщики и, окружив нас тесным строем, сопровождали до конца полета. Первое, что мы увидели на вьетнамской земле, была дельта реки Меконг, которая веером расходится на сотни миль среди рисовых полей и тропических плантаций, деревушек с крышами из пальмовых листьев, дамб, каналов и наконец сливается с гладкими мелкими водами отмелей Астролябии.

Мы полетели этим путем, чтобы я мог составить впечатление о военной обстановке. Район дельты был ареной самых ожесточенных боев за всю войну. Река Меконг — это путь, по которому через Лаос и Камбоджу доставлялись оружие и боеприпасы партизанским отрядам. Груз этот прятали под мешками с рисом и связками бананов. Его перевозили на лодках женщины и дети, старейшины рода и кхмеры с границы. Тем же путем — по реке, по ее притокам и заводям — приходили и уходили партизаны. Они чувствовали себя свободно, как животное в естественной для него стихии, ибо кто способен читать в сердце маленького смуглого человека, сажающего рис, плетущего пальмовое волокно или продающего сладкий сахарный тростник на деревенском базаре?

В крытых пальмовыми листьями деревушках с прочным семейным укладом жизни жестокая трагедия гражданской войны проявилась в своей простейшей и грубейшей форме. По ночам крестьяне вместе со своим скотом укрывались за высокими частоколами из бамбука. Каждая семья приносила фонарь, освещавший изгородь, и выставляла часового, чтобы охранить себя от вьетконговцев, которые пробирались в деревни через рисовые поля и заросли бамбука. Но человек наверху частокола и человек внизу, на болоте, были родными или двоюродными братьями. Поэтому иногда фонарь задували, и из-за частокола высовывалась рука, помогая нападавшему взобраться. Иногда им передавали рис или лекарства для раненых. Иногда устраивалось краткое перемирие, чтобы партизаны могли передохнуть где-нибудь в чаще бананов, а деревенские жители — спокойно отоспаться за своим частоколом.

Для военного командования это было сущим кошмаром. Для деревенских жителей это было естественным приспособлением к обстоятельствам, ибо чего же еще можно было ждать от крестьян дельты, если рушился многовековой родовой строй.

Мы кружили над тропической яркой землей на безопасной высоте в пятнадцать тысяч футов. Майор военно-воздушных сил, указав на маленький городок, прокричал мне в ухо, что это Ча-винь. Над ним, как неуклюжие птицы, парили вертолеты. Мы увидели огненную полоску ракет и крохотную вспышку орудийного залпа, а потом дымки над лилипутскими куполами деревьев, но людей разглядеть не могли — только какие-то кучки муравьев. Мы не слышали никаких звуков, кроме воя нашего реактивного двигателя. Мы были боги, витавшие в эмпиреях и взиравшие сверху на ничтожную суетню человеческой вражды, которую завтра смоет ленивая река, засосут рисовые болота или поглотят джунгли. Мы покружили еще минут десять, потом повернули на север, и началось медленное скольжение вниз, к Сайгону.

Над аэродромом наши конвойные отстали от нас, и мы спикировали на посадочную полосу — признаться, чересчур круто, чтобы испытывать при этом приятное ощущение. Тот же майор довольно кисло пояснил: Вьет-конг действует даже на окраинах города, и бывает, что самолеты на посадке обстреливают из винтовок.

Самолет покатил по бетонной полосе; когда он остановился, дверца распахнулась, и мы оказались в военном лагере. По окружности летного поля стояли вертолеты и истребители. Нас ждал американский почетный караул и строй вьетнамских парашютистов в маскировочной одежде и в беретах. Возле министра иностранных дел стояли генералы в парадной форме. Представителей нашего посольства сопровождала группа военных во главе с главнокомандующим генералом Толливером.

Когда мы сошли вниз, на бетонную площадку, Джордж Гротон успел шепнуть мне:

— Вас принимают как военного генерала, а не как посла. Интересно, кто это срежиссировал?

Рауль Фестхаммер, мелькнула у меня догадка. У него всегда был талант к дипломатическим спектаклям. Но раздумывать было некогда. Рядом уже стоял заведующий протокольным отделом, который быстро провел меня через процедуру обмена приветствиями. Приветствия были достаточно сердечными, но вся церемония совершалась быстро, почти торопливо. Чувствовалась напряженность, скрытое стремление как можно скорее увезти меня с аэродрома и благополучно доставить в посольство. Каждый мой шаг сопровождал вооруженный телохранитель. Рядом со мной в машину сел генерал Толливер, а когда мы выехали из аэропорта и покатили по широкой аллее, ведущей в город, то впереди нашей машины, по бокам и сзади мчались вооруженные мотоциклисты.

После деликатной церемонности, окружавшей меня в Японии, все это было похоже на грубую встряску, и я вдруг понял, что реагирую на нее самым неожиданным образом. Меня охватило возбуждение — странное, почти чувственное возбуждение, словно этот парад оружия, эта атмосфера

риска и физической опасности были проверкой моей мужественности. Я был рад, что меня приняли как военного, без учтивостей, полагающихся политическому деятелю. Я здесь для того, чтобы действовать, чтобы пустить в ход некие силы, а затем направить их к желанной цели. Я обязан внушать уверенность и мужество, и должность моя сама по себе является патентом на власть. Это были головокружительные, восторженные минуты. Солдаты Толливера огораживали меня стеной, как священную особу, а мне хотелось встать во весь рост и показаться народу, ибо я тот, кто нес им освобождение!

Затем я стал смотреть на людей, и это меня мгновенно отрезвило. Они не обращали никакого внимания ни на меня, ни на мою зловещую кавалькаду. Они не собирались толпами, не размахивали флагами, не кричали «осанна» новоявленному освободителю. Они бросали в нашу сторону косые взгляды и отводили глаза. Казалось, их маленькие, умные лица были вырезаны из тикового дерева.

Мимо рысцой трусили кули, неся на костлявых плечах бамбуковые коромысла с корзинами на концах. Монах с выбритой макушкой, в шафрановых одеждах протянул женщине чашу для подаяния — она положила туда рисовую лепешку и какие-то фрукты. По тротуару плелась пожилая китайская а м а, ведя за руки чистеньких, прелестных, как куколки, детей. На перекрестках ловко управлялись постовые полицейские с каменно-неподвижными лицами. Студенты везли на задних сиденьях своих мотоциклов девушек, ярких, как птички, в шелковых платьях и длинных штанах. Хозяйки восседали в колясках велорикш, как изящные древние принцессы, их лица под шляпами из плетеных пальмовых листьев были спокойны, пожалуй, даже надменно-презрительны.

Я не видел в этих людях враждебности. Они были насторожены, безучастны, равнодушны к тем, кто, в конце концов, ничего не мог изменить в коренном укладе их жизни. На их исторической памяти приходило и уходило такое множество «владык» — китайцы, монголы, португальцы, голландцы, англичане, французы, японцы и, наконец, американцы... Впрочем, это «наконец» весьма относительно, потому что в Азии ничто не имеет конца. Причиной тому огромность континента и сложный его состав. Постоянному перемещению племен здесь способствовало обилие горных массивов, страх гулких пустынь, заманчивость урожайных полей риса в дельтах рек, соблазнительные острова, изобилующие пряностями, и побережья, усеянные драгоценностями.

В Азии всегда маячит «завтра», потому что мужская сила — гордость мужчины, а плодовитость почетна для женщины, и несмотря на голод, холеру, дизентерию и оспу, племена разрастались, и Срединная империя все выпячивала свои границы и протягивала жадные щупальца к рисовым полям и путям, ведущим к морю, где лежат Южные острова. В отблеске этих «завтра» город Сайгон, с его тенистыми бульварами, комфортабельными виллами, с налетом старомодной французской элегантности, показался мне таким же недолговечным и таким же неуместным в этой стране, как и я сам.

Внезапно впереди мелькнуло что-то яркое, какие-то движущиеся фигуры. Ярдах в пятидесяти я увидел ярко-синюю черепицу, загнутые кверху края крыши и золотую резьбу пагоды. От входа шли три монаха — двое молодых поддерживали под руки старика. Они дошли до конца дорожки, двое молодых расстелили коврик и усадили на него старика. Рядом, так, чтобы он мог достать рукой, молодые монахи поставили глиняный сосуд. Почтительно поклонившись, они скрылись в пагоде, а старик сидел, как одинокое изваяние, устремив взгляд на нашу приближавшуюся машину.

Мы еще не поравнялись с ним, когда он поднял глиняный сосуд и вылил содержимое себе на голову, как бы совершая ритуальное омовение. Жидкость потекла по его лицу и плечам, пятнами расплылась по желтой его одежде и по коврику, на котором он сидел. Потом, очень неторопливо, он поставил сосуд, пошарил в складках одежды и вытащил обыкновенную зажигалку. Он щелкнул колесиком, раздался приглушенный взрыв, и все его тело охватил огонь.

Теперь мы с ним поравнялись. Меня обдало жаром и запахом горящего мяса. Люди закричали и бросились к нему, полицейские отпихивали их дубинками и прикладами винтовок. Наш шофер дал газ — я почувствовал, как машина рванулась вперед. В последнюю секунду я успел увидеть лицо старика. Оно было залито и увенчано пламенем, но веки его были сомкнуты, губы раздвинулись в улыбке Будды, он сидел молча, не шевелясь, и ждал, пока его пожрет огонь.

Я стал свидетелем мученичества, и это зрелище доставило мне мало удовольствия. Страшен был вид человеческого тела, умерщвляемого огнем. Похоже на кошмар было дикое возбуждение толпы вокруг жертвы. И эта сверхъестественная одухотворенность в экстазе монаха и в победе его воли над болью, раздирающей мышцы и нервы. И тошнота, подступившая у меня к горлу, когда я понял, что это ритуальное самоубийство было устроено специально для меня и что из-за халатности или неведения полиции меня сделали соучастником этого действа.

Глава 2

Я еще не пробыл и часа в этой стране. Я еще не успел переступить порог посольства, а уже был публично и непоправимо втянут в религиозную борьбу в Южном Вьетнаме. И вполне вероятно, что еще до того, как я отвезу свои верительные грамоты во дворец президента, мне придется выдержать серьезное испытание, ибо мировая пресса будет настаивать, чтобы я высказался по поводу мученика-буддиста и католического правительства.

Я был взвинчен и поэтому зол — и довольно грубо напустился на Толливера:

— Какого черта, генерал, почему меня впутали в это? Кто отвечает за безопасность?

Толливер был не менее рассержен и резко ответил:

— Посольство, Центральное разведывательное управление и дворец. Мое дело — обеспечить почетный караул и сопровождающую охрану. Я это выполнил. Безопасность должны были обеспечить вьетнамцы по консультации с ЦРУ. А ЦРУ одобрило принятые ими меры.

— Но слушайте, это черт знает что! Буддисты уже сколько времени грозились устроить такого рода демонстрацию. Об этом писалось во всех газетах. И в посольских донесениях тоже. Наверняка кто-то подсказал, что сегодня самый подходящий день для такого спектакля.

— Они все были предупреждены,— язвительно заметил Толливер.— Знала пресса. Знал дворец. Знало ЦРУ. Это открыто обсуждалось на последнем инструктивном совещании. Но Гарри Яффа заявил, что гарантирует вашу безопасность. Он там, в ЦРУ, главный начальник, попробуйте-ка с ним спорить! А кроме того, у меня на шее война, и сейчас стало уж слишком много фронтов.

— Кто же особенно хотел вовлечь меня в эту историю?

— Все,— резко бросил Толливер.— Буддисты — потому что им важно устроить публичное представление, чтобы показать, до чего их довели. Дворец — потому что там надеются, что вас оттолкнет это проявление примитивного фанатизма. Пресса — потому что их обвиняют в том, что они сгущают краски, описывая войну из бара «Каравелла», а тут они смогут использовать действительный факт. И ЦРУ — потому что оно добивается смены правительства, а такого рода случай очень удобен, чтобы склонить вас к этой мысли.

— А что армия, генерал? Я говорю о вашей армии. Какова ваша позиция?

— Наша позиция — по колено в болотах дельты,— разъярился вдруг Толливер.— Ведем войну, которую выиграть не можем, а проиграть не смеем. Мы лишены права действовать самостоятельно. Мы здесь советчики и поставщики. Теоретически мы не имеем права выпустить ни единой пули, пока ничто не угрожает нашей жизни непосредственно. Если мы возьмем на себя руководство военными действиями, мы тотчас же превратимся в капиталистических колонизаторов, как французы. Если мы предпримем широкое военное наступление на Северный Вьетнам, это будет означать эскалацию и, возможно, военное столкновение с Китаем. Если победим на своей территории, мы окажемся победителями, окруженными вакуумом. Если мы умоем руки и предоставим вьетнамцам самим вести свою войну, мы потеряем не только свой престиж, но и плацдарм и все южные полуострова Азии... Ваш буддист очень для меня важен, это верно. Он — символ раскола и недовольства в нашем собственном лагере. Но не я организовал эту демонстрацию мученичества. Хватит с меня своих мучеников...

Я извинился перед ним; в ответ он пожал плечами и устало улыбнулся.

— Здесь у каждого имеется свой вариант правды. Но если вы хотите узнать настоящую правду, вам придется выуживать ее из болот дельты. А они сейчас здорово топкие.

— И говорят, пропитаны кровью.

— И пропитаны кровью. Надеюсь, вы урвете время, чтобы посмотреть своими глазами.

Тут мы свернули в ворота посольства, где мне, точно какому-то сатрапу, предстояло прятаться за штыками стражи.

Джордж Гротон охарактеризовал оказанный мне в посольстве прием одной горькой фразой:

— Кучка гробовщиков снимает с нового клиента мерку для савана.

Я тоже почувствовал могильный холод, но был подготовлен к этому больше, чем Гротон. На дипломатической службе к реформаторам и «аварийным монтерам» относятся подозрительно, в особенности когда их переводят со спокойных и почетных постов. Кроме того, мой предшественник Макналли был человеком общительным и в посольстве его любили. У меня же всегда была репутация суховатого и замкнутого начальника, а в последнее время поговаривали и о моей придирчивости. Поэтому ничего удивительного, что меня встретили сдержанно.

Впрочем, причины были куда сложнее, чем хороший или плохой характер посла. Это был трудный пост: мои служащие и их семьи жили в атмосфере риска и ежедневной опасности. На улицах завязывались бои. В барах, в кино и на рынках рвались бомбы. В велосипеде, прислоненном к обочине тротуара, могла быть спрятана взрывчатка. Детей возили в школу по заранее разработанному маршруту, под вооруженной охраной. Ворота запирались на ночь, и отец семейства спал с заряженным револьвером под подушкой. Воскресная прогулка на машине миль за пять от города могла окончиться встречей с сидящими в засаде вьетконговцами. Уличный торговец рисовыми лепешками мог оказаться переносчиком контрабандного оружия или партизанским агентом. Поэтому — осторожнее со всяким новоприбывшим, который надеется изменить лицо Азии с помощью смелых жестов и новой мягкой политики, придуманной в Вашингтоне.

Весь штат посольства осуждал прежнюю, провалившуюся политику; все порожденные ею опасности они вынесли на себе, но им же придется расхлебывать и последствия новой политики. А потому они имели право подвергнуть меня испытанию, и я должен оправдать себя в их глазах, прежде чем рассчитывать на их преданность. Я чувствовал себя так, будто меня раздели догола, когда занял свое место во главе длинного стола и стал ждать, пока рассядутся мои коллеги. Все это были люди, которые сражались на переднем крае, пока я предавался созерцанию в саду Мусо Сосеки. Моими устами с ними будет говорить сам президент, но у них вполне может создаться впечатление, что его слова исходят из пасти библейского осла.

Пока еще не улеглась легкая суматоха вокруг стола, Джордж Гротон пододвинул мне записку, написанную китайскими иероглифами: «Гарри Яффа, ЦРУ,— человек сильный. Трения между ним и Мэлом Адамсом, первым секретарем. Остальные настроены по-разному».

Я скомкал записку и сунул ее в карман.

Мэлвилл Адамс сидел справа от меня — человек лет под пятьдесят, худой, с невеселым лицом и внешностью ученого. На дипломатической службе он был давно; его уважали за строгую объективность и мужественную стойкость убеждений. Были и такие, кто считал, что для ответственных назначений он слишком черств по натуре, но я видел его за работой в Хельсинки и Аргентине и всегда относился к нему с уважением.

Примерно у середины стола сидел Гарри Яффа, похожий скорее на модного хирурга, чем на начальника центральной разведывательной организации в Южном Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Маленький, пухлый, энергичный, он сиял благодушием. Руки у него были выхоленные, с отличным маникюром. Шелковая рубашка с монограммой, вышитой голубыми нитками на левой стороне груди, была прекрасного покроя. Голос у него был мягкий, манеры вкрадчиво-обаятельные. О нем говорили, как о человеке хитром, безжалостном, лишенном какой бы то ни было щепетильности. Если мне предстоит контролировать его деятельность, надо бы узнать его получше, но я подозревал, что более близкое знакомство не доставит мне никакой радости.

Я оглядел остальных моих сотрудников. Все они прилежно изучали лежавшие перед ними листки сводок, отпечатанные на машинке. Настало время сделать мой первый ход.

— ...Я хотел бы обойтись без формальностей, джентльмены... Вы уже давно управляете этим хозяйством, и я полностью рассчитываю на вашу информированность, советы и помощь. Очень надеюсь, что вы будете со мной откровенны, и я тоже намерен быть совершенно откровенным с вами.

Глаза их были опущены, лица непроницаемы. Все это закаленные профессионалы. Вступительная часть их не интересовала, они не верили ни одному ее слову. Они хотели услышать подлинный текст инструкций, полу-

ченных мною в Вашингтоне, и терпеливо ждали. Я изложил их коротко и прямо.

— Я здесь являюсь орудием для осуществления новой политики по отношению к правительству Южного Вьетнама. Госдепартамент поручил мне предъявить ему следующие требования: преследование буддистов и репрессии против студентов должны быть немедленно прекращены. Фунг Ван Кунг должен пойти на все необходимые уступки, чтобы восстановить в своем правительстве единство между политическими деятелями и военными. Он и члены его правительства обязаны впредь воздерживаться от нападок на политику Соединенных Штатов. Если он не согласится на эти условия, я уполномочен пригрозить ему санкциями, которые последуют немедленно,— прекращением денежной помощи и постепенным выводом наших войск.

За столом вдруг пробежал шорох оживления.

— А если Кунг не послушается,— резко спросил генерал Толливер,— будут эти санкции применены?

— Можете положиться на мое слово, генерал, будут. Через несколько дней вы получите из Пентагона подробные инструкции относительно эвакуации ваших солдат.

Толливер поблагодарил и больше не раскрывал рта. Старый, хитрый служака, он не желал ввязываться в политическую игру наравне с профессионалами. Он уже сыграл свою партию в этом оркестре. С остальным можно подождать, пока я не пойму, как мне необходимы вооруженные люди. Следующий вопрос задал Мэл Адамс:

— Будут ли опубликованы эти условия, сэр?

— Это зависит от результатов моей беседы с Фунг Ван Кунгом, которая состоится завтра утром.

— А до тех пор какую информацию вы предполагаете дать прессе?

— Никакой, пока я не вручу верительные грамоты президенту. Я вижу, вы назначили сегодня на пять часов пресс-конференцию. Я хотел бы ее отменить.

— Нужно ли объяснять им почему?

— Да. Объясните, что я обязан соблюдать дипломатический этикет. Скажите, что я буду к их услугам завтра, в два часа дня... Кстати, о прессе, джентльмены: я полагаю, что прежде всего меня попросят высказаться по поводу сегодняшнего самоубийства буддийского монаха. Сейчас я еще не знаю, что мне сказать для печати. Однако вам я хочу сделать заявление, джентльмены, которое должно остаться между нами. По-моему, этот случай доказывает плачевное состояние нашей службы безопасности. Я хотел бы знать, кто отвечает за это.

Наступила короткая, напряженная пауза. Затем Гарри Яффа масленым голосом ответил:

— Я уже расследовал этот инцидент, сэр. Мнение мое таково, что вся ответственность ложится на плечи вьетнамцев. Мы знали, что может произойти нечто подобное. Последние две недели город был полон слухов. Мы детально обсуждали меры безопасности с дворцом. Мы договорились, что они поставят четырех часовых у ворот пагоды. Два моих агента дежурили на другой стороне улицы... За пять минут до появления вашей машины часовых сняли. Один из моих агентов тут же пошел за начальником караула. Пока он с ним препирался, вывели монаха... Тут уж ничего нельзя было поделать, все произошло слишком быстро.

— А второй ваш агент, мистер Яффа?

— Это секретный работник без всяких полицейских или военных полномочий. Если бы он попытался вмешаться, могли быть неприятности похуже...

— Стало быть, послу плюнули в лицо в день его приезда, а дворец еще раз доказал, что ему нет дела до буддистов. Так это нужно понимать?

Яффа чуть заметно усмехнулся моей наивности.

— Все немного сложнее, сэр. Буддисты засчитали очко в свою пользу.— Он порылся в лежавших перед ним бумагах и вытащил листок с напечатанным на машинке текстом. Пройдя по рукам, листок этот наконец дошел до меня.— Это перевод письма, написанного нашим мучеником перед смертью. Оно уже циркулирует по пагодам и среди буддистов-мирян.

Письмо я прочел про себя; остальные молча ждали. Это был во всех отношениях замечательный документ — последняя заповедь человека накануне добровольного ухода из жизни. Перед моими глазами снова встал образ старого аскета, неподвижного, безмолвно улыбавшегося, даже когда его сжирало пламя. Помимо воли я был тронут простотой и страстностью его последних слов... «Прежде чем я закрою глаза, чтобы предстать перед Буддой, я имею честь обратить свои последние слова к президенту Кунгу. Я

прошу его быть добрым и терпимым к своему народу, даровать ему истинное равенство религии...»

Я положил листок на стол и снова повернулся к Яффе.

— Это документ взрывчатой силы, мистер Яффа.

— Согласен, сэр.— Тон его был подчеркнуто официален, но я уловил в нем скрытую иронию.— И в связи с этим возникает вопрос, который рано или поздно должен быть задан на нашем совещании. Предусмотрел ли Вашингтон все последствия вашего ультиматума президенту?

Вот оно. Вопрос был брошен, как острый нож, вонзившийся передо мной в стол; это — вызов, и я должен его принять. Любопытно, неужели этот пухленький, круглый человечек оказался самым смелым — или самым расчетливым? А может быть, мои коллеги сговорились, чтобы он выступил от имени всех? Или он бросил вызов и остальным, с позиций какой-то тайной силы? Я чувствовал себя так, словно меня вымапили с твердой почвы и завели в трясину с болотными огнями. Я решил отступить на шаг-другой и дать первый бой на своей территории.

— Вашингтон кое-что предусмотрел, мистер Яффа. Тем не менее государственный секретарь просил меня проверить эти расчеты на месте, выслушав мнение здешних сотрудников. Поэтому позвольте мне задать каждому по очереди один и тот же вопрос. Что, по-вашему, произойдет, когда я предъявлю наши требования президенту?

●

Закончив совещание, я вдруг почувствовал себя одиноким и беспомощным... Ничего мне так не хотелось, как сбросить с себя всю ответственность и бежать, бежать от этой напряженности и этих интриг.

После краткого, почти чувственного возбуждения в первые минуты приезда это было похоже на тоскливую пустоту, которая наступает после акта любви. Похоже и непохоже, потому что кроме тоски я испытывал страх и ощущение опасности — словом, отчаяние, которое в один прекрасный день заставит меня кончить эту скверную комедию и начать жизнь сначала. И хотя опасность была для меня почти осязаемой, я заставил себя не думать о ней, потому что мне нужно было улыбаться, поблагодарить моих коллег и закрыть совещание, соблюдая все правила вежливости и притворяясь уверенным в себе.

До обеда оставалось всего два часа, и я попросил, чтобы меня сейчас же отвезли в дом, где мне предстояло жить. Гротон должен был подождать в посольстве, пока отпечатают протокол совещания, а потом немедленно доставить его мне. Мэл Адамс будет обедать с нами и расскажет о деятельности посольства.

Подошел Яффа с просьбой уделить ему две минуты для разговора с глазу на глаз. Он принес мне подарок — автоматический револьвер на черной кожаной перевязи. Он попросил меня никогда не расставаться с револьвером, днем держать в ящике письменного стола, а ночью класть под подушку. Заодно он посоветовал держаться подальше от раскрытых окон и ездить только с охранником, которого он ко мне приставит. Напрасно я искал на его гладком лице следы насмешки — ее не было и в помине. Сказанные на прощание слова были разумны и уважительны:

— Тут вы должны доверять мне, сэр. Безопасностью ведаю я. И ваша безопасность — на моей личной ответственности. Это город убийц. Пожалуйста, делайте все так, как я прошу.

Поблагодарив, я обещал, что не подведу его. Затем он попросил разрешения проводить меня в машине домой и показать кое-какие меры предосторожности, которые в целях моей безопасности он там установил. Отказать ему было бы неудобно, да кроме того в нем произошла такая быстрая перемена, что я был невольно заинтригован. На совещании он был ироничным, хитрым и напористым полемистом. Наедине со мной он держался вежливо и почтительно. Фатовство спало с него, как маска, и я увидел то, что видел Гротон,— человека сильного, внушающего либо уважение, либо недоверие. Пока мы ехали к моему дому в жарких дремотных сумерках, Яффа прочел мне краткую, но довольно ядовитую лекцию о городе Сайгоне.

— ...Он не лишен своеобразного очарования, не так ли? Восточные актеры в декорациях французской провинции. Впрочем, драма здесь разыгрывается чисто азиатская. Все не то, чем кажется. Взгляните на эту улицу. Тут три полицейских и четыре гвардейца, но это еще не все. Тот малый, что катит тачку,— один из контрразведчиков Кунга. А вон на том углу — второй. Эта женщина в окне работает на меня... Город закручен таким винтом, что тут нельзя ни выпить, ни поесть, не наткнувшись на тайного агента полиции. А выглядит мирно, правда? На самом деле все бурлит. Вполне возможно, что тот человек на велосипеде — вьетконговец. Вон тот таксист,

быть может, прячет под откидным сиденьем гранату... Этот народ, так или иначе, воюет беспрерывно почти две тысячи лет. Очень искушенная раса — и очень неподатливая. Китайский лак на вьетнамском бамбуке... да еще французы подбавили своего лоску. Вон там — Шолон, китайский город. Там китайцы торгуют, плодятся, дают деньги в рост — и снова плодятся и спокойно ждут часа, когда их похоронят рядом с могилами предков. У них есть человек, с которым вам стоит когда-нибудь познакомиться; это — Китаец Номер Один. Он крупная фигура, но редко показывается на людях, а имя его никогда не упоминается вслух. Он велит своим терпеть и молчать, а сам прислушивается, откуда ветер дует.— И тем же тоном Яффа добавил: — Вот что, по-моему, следовало бы делать и вам, сэр. Немного прислушаться к ветру. Он говорит на ином языке, чем тот, что вы слышали на совещании.— И, не дав мне вставить слово, он продолжал: — Самосожжение этого буддиста — только начало. Затевается что-то крупное, я сам еще не знаю, что именно. Но это может случиться даже нынче вечером. А если не нынче, то через день-два. Я узнаю об этом за полчаса и тогда сообщу вам.

Я попытался выжать из него подробности, но он отвечал так туманно, что я начал сердиться, и он это заметил.

— Давайте будем откровенны друг с другом, сэр,— твердо сказал он.— Давайте уясним себе наши функции. Вы — официальный представитель Соединенных Штатов. Мне приходится служить в другом качестве: я использую любую возможность для достижения своих целей. Я должен делать иногда такое, чего вы никогда не сможете одобрить, поэтому лучше, чтобы вы об этом не знали. Мне приходится убивать мужчин и подкупать женщин. Мне приходится затевать один заговор, чтобы обеспечить успех другого. Мне приходится принимать меры, которые обеспечили бы ваш успех и гарантировали бы вас от провала. Если для успокоения вашей совести нужно, чтобы я вам лгал,— я могу и это. Тут я большой мастак, хотя предпочитаю не лгать, если в этом нет необходимости. Надеюсь, я объясняю достаточно ясно?

— Очень ясно, мистер Яффа, за исключением одной мелочи. Как насчет вашей собственной совести?

— Это роскошь, сэр. Я давно уже понял, что не могу себе этого позволить.

На этом, волей-неволей, наша частная беседа и закончилась. Мы подъехали к моей резиденции, большой оштукатуренной вилле, обнесенной высокими стенами с колючей проволокой и битым стеклом наверху. У железных ворот стояли на часах два солдата морской пехоты. Еще двое патрулировали вдоль стен. За воротами помещалась небольшая караульная будка. Когда наш шофер просигналил клаксоном, еще один морской пехотинец распахнул решетчатые ворота, и часовые стали навытяжку, пока мы въезжали в огороженный сад.

Сад пылал буйными тропическими красками и источал пряный запах красного жасмина, но после спокойного, тонко обдуманного порядка в моем японском саду мне в этой пышности чудилась какая-то нездоровая перенасыщенность, утомленность, как в красивой, но бурно пожившей женщине...

А Яффа уже скороговоркой объяснял:

— Половина вашего домашнего штата — американцы. Ваш личный секретарь — Энн Белдон; дворецкий — Хэмфри, старый вирджинец, отлично знает свое дело. Домоправительница — миссис Брендан. С остальными познакомитесь постепенно. Кухонный персонал, уборщики и садовники — все вьетнамцы, три семьи, которые живут на этой территории, позади дома. Таким образом, они всегда у нас под надзором и ограждены от всяких угроз или соблазнов. Ваши личные комнаты выходят на реку. Мы проверили оттуда поле обстрела — шансов на то, что вас может подстрелить снайпер, очень мало. И все-таки попрошу вас помнить, что этот маленький шанс всегда существует. По всему зданию проведена сигнальная система тревоги, а часовые прошли специальную тренировку — впрочем, сейчас незачем утомлять ваше внимание такими подробностями. Ваш личный телохранитель — Билл Славич, отличный стрелок и специалист по дзю-до. Он живет тут же. Теперь, если угодно, войдемте в дом, сэр.

Он спокойно провел меня через церемонию представления, и я не без удовольствия отметил, что у Энн Белдон приятная внешность и, видимо, приятный характер и что мой телохранитель похож скорее на выпускника военной академии, чем на профессионального боксера, чего я, по правде говоря, боялся. Быть может, я в этом отношении сноб, но я мгновенно проникаюсь неприязнью к навязанным мне людям, и мое самолюбие было бы уязвлено, если бы телохранитель смахивал на быка.

Но вот, наконец, я остался один, в большой, полной воздуха и света комнате, выходящей окнами на реку и плоские зеленые пространства дель-

ты за нею. В гаснущем свете сумерек пейзаж был прекрасен и странно спокоен — почти нереален, как задник декорации в балете.

Даже не верилось, что всего в десяти милях, на расстоянии, которое я мог отсюда охватить взглядом, неделю назад шел решающий бой — бой, в котором сражалась почти тысяча человек: части Вьет-конга, войска армии президента Кунга и наши — американцы. Еще труднее было поверить, что этой же ночью, когда тропическая тьма быстро спустится на землю, вьетконговцы опять зашевелятся и опять будет налет на какую-то деревню вдоль каналов.

А прежде чем взойдет солнце, прежде чем вылетят разведчики-вертолеты, вьетконговцы исчезнут, спрячутся на опушках джунглей или смешаются с толпой на деревенском базаре.

Раздеваясь и принимая ванну, я обдумывал сегодняшнее совещание, стараясь найти среди перепутанных нитей дискуссии одну такую, которая провела бы меня по лабиринту к чудовищу — если оно вообще есть,— которое живет в его центре. Но каждая ухваченная мною нить заводила меня в тупик и обрывалась; приходилось возвращаться обратно и начинать сначала.

Для генерала Толливера, например, положение было простым и ясным. Идет война, в которой он должен сражаться, но которую не может выиграть. Он выйдет из нее с лишней звездочкой на погонах и вручит нашему правительству корпус испытанных в бою ветеранов. Потери американцев невелики, в конечном счете они вполне стоят той выгоды, которую дает приобретение боевого опыта. Для Толливера вьетнамцы на войне — только обуза. Их верховное командование расколото политическими интригами. Офицеры плохо обучены. Солдаты подавлены и деморализованы. Вся эта кампания — пустая и вреднейшая трата материальных средств, живой силы и боевого духа.

Мэл Адамс настроен не менее пессимистично. Политическая обстановка — сплошной ералаш. Правительство Кунга — обветшалая диктатура, сочетающая в себе этику мандаринов, интриги военачальников, происки тайной полиции и старомодный галльский католицизм. Сам Кунг — способный политик, но он утратил симпатии городского населения и не обладает такими личными свойствами, чтобы объединить вокруг себя крестьян. Он отгородился от народа и окружил себя приспешниками, которые оправдывают самые дикие его сумасбродства. Он — католик и в союзе с богом. Понимает, что допустил промашку с буддистами, но для него признаться в этом — значит уронить свое достоинство. Поэтому он выбрал опасный путь репрессий и тактики «разделяй и властвуй». Мой ультиматум будет для него ударом. Если он проникнется доверием ко мне, быть может, я сумею кое в чем его переубедить. Если уж не удастся переубедить, волей-неволей он будет свергнут и устранен.

А в кулуарах уже ждал своей очереди Гарри Яффа с готовым способом устранения. Генералы созрели для восстания. Они дожидаются только знака от Соединенных Штатов и за одну ночь свалят Кунга. Действуя в согласии, генералы могут создать стабильное правительство, опирающееся на военную силу. Они могут реорганизовать ведение войны... Поэтому мой ультиматум должен быть опубликован в ту же минуту, как только я вручу его президенту. И составлен он должен быть в такой форме, чтобы генералы увидели в нем одобрение своих планов...

Итак, значит, чудовище в центре лабиринта все же существует. Оно зовется Кунгом, и для того, чтобы сплотить страну и выиграть войну, мне стоит лишь разрешить генералам отрубить чудовищу голову. Все было восхитительно просто и заманчиво как в сказке. И как в сказке походило на реальность. Но где же настоящая правда? Толливер сказал, что ее можно выудить из болот дельты. Мусо Сосеки призывал меня искать ее во внутренней сущности вещей.

«Как вы поступите?— спрашивал он.— Как вы поступите, если они вас попросят убить кукушку?»

Смысл вопроса стал мне теперь понятен, но как на него ответить — совсем не понятно. Я выключил свет, подошел к окну и опять стал вглядываться в темные пространства дельты. Там, в пальмовых хижинах, в биваках на краю джунглей, будет вынесен приговор моим поступкам.

Во всем есть простая внешняя оболочка и сложная внутренняя сущность. Вот староста деревни — он же князь, первосвященник и высший апелляционный суд. Вот чьюнг-ток — вождь клана, который блюдет культ предков и незапятнанность алтарей. Он следит за могилами, пишет летопись клана и является опекуном его неотъемлемой собственности. Вот семья, объединившая три поколения, все живут под одной крышей, у всех общий кошелек и общая чаша с рисом. Они сплочены и привязаны к земле общими корнями, как бамбук, и как бамбук, они раскачиваются, гнутся и выдерживают жесточайшие бури.

Это очень уживчивые люди, рабы древней учтивости. Приди к ним христианский священник, буддийский монах, конфуцианец или заклинатель-таоист, они будут слушать их с одинаковым вниманием и охотно разделят с ними рисовую лепешку. А потом вернутся в свой мир, населенный блуждающими душами и духами, которые охраняют деревья, скалы и заросшие лилиями пруды.

Для них не существует чудовища в центре лабиринта, для них есть только некий мандарин, живущий в далеком дворце, в городе Сайгоне; он издает указы, которые вежливо выслушивают и вежливо забывают еще до захода солнца. А может быть, чудовище для них — мы, высокие белые варвары, длинноносые и голубоглазые, которые ничего не знают о духах и торгуют порошками, ядовитыми жидкостями для истребления гусениц и ружьями, чтобы убивать их братьев-вьетнамцев.

В дверь постучали; вошел Джордж Гротон с протоколом совещания, возбужденный и раскрасневшийся, как школьник. После мрачного одиночества мне было приятно слушать его оживленный рассказ.

— Все как в «пугательных» боевичках, что писали раньше, а теперь уже не пишут, потому что никто им не верит. Пока печатали протокол, я пошел выпить чего-нибудь в «Каравеллу». Мне казалось, что я сейчас увижу у стойки папу Хемингуэя в походной форме. Корреспонденты шептались по углам и, коверкая французский язык, диктовали по телефону таинственные послания. Кто-то уронил в коридоре бутылку содовой воды, и два вьетнамца в углу схватились за винтовки... Потом все засмеялись, но выглядели довольно глупо... Чувствуется, что в городе назревают события, но никто не знает, какие именно. Потом прибрел один из молодчиков Гарри Яффы, подсел ко мне и все старался выведать что-нибудь про вас и про то, что вы думаете. Я сказал, что мое дело маленькое, я только мальчик на побегушках. Сейчас внизу встретил вашу секретаршу, сэр. Такой цветочек! — Он покраснел, и вид у него тоже стал довольно глупый.— Простите, сэр. Я чересчур разболтался, правда? Но знаете, так действует этот город — как хорошая доза кофеина!

Мы оба рассмеялись.

— А молодчик Гарри Яффы не подарил вам револьвера?— спросил я.

— Нет, сэр. Но он назвал мне бары, которые здесь считаются лучшими. И еще сказал, что если мне вздумается поспать с местными девицами, то надо надевать панцирный жилет.

— Широкая осведомленность.

— Он это всячески подчеркивал. Мы — новые метлы. Все ждут, что мы вычистим старый навоз и каждому предоставим уютное, чистенькое стойло,— сухо сказал Гротон.— Если посол будет подыгрывать ЦРУ, все пойдет как по маслу... Кстати, Мэл Адамс просил вам передать, что он хотел бы привести гостя к обеду — папского легата. Его отзывают в Рим, он будет докладывать о ситуации Ватиканскому государственному секретариату. Он уезжает завтра утром. Адамс говорит, что беседа с ним может послужить хорошей подготовкой к завтрашней встрече с Кунгом... Адамс мне нравится. Он, по-видимому, человек порядочный. И кажется, не станет паниковать зря.

Так мы болтали, перескакивая с одного на другое, пока я не кончил одеваться, и я еще раз поразился контрасту между мальчишеской горячностью Гротона и его быстрой, острой интуицией. Кроме того, он обладал врожденным чувством такта. Не фамильярничал во время наших частных разговоров и на людях держался скромно и почтительно. Не могу сказать, как я нуждался в его преданности. Я надеялся, что взамен смогу передать ему свой опыт, знание тонкостей дипломатической службы. Сойдя вниз, мы застали в столовой Мэла Адамса и коренастого итальянца в сутане. Адамс представил мне итальянца как его святейшество монсеньера Анджело Висконти, папского легата в Южновьетнамской Республике.

Он оказался идеальным гостем — был остроумен и изъяснялся по-английски с экзотическим изяществом. Великолепный дипломат папской курии, он твердо знал, что торопливость — далеко не лучший способ решения срочных проблем и что самые важные разговоры происходят между десертом и сыром. У него был большой запас забавных историй, вывезенных из полудюжины стран, и после такого напряженного дня это светское развлечение было для нас сущей благодатью. Затем он благодушно дал мне понять, что теперь он всецело к моим услугам, и я принялся расспрашивать его. На мои прямые вопросы он отвечал с богословской точностью.

— Скажите, ваше святейшество, можно ли считать католическую церковь в Южном Вьетнаме в какой-то мере ответственной за репрессии и жестокости, применяемые к буддистам, которые составляют восемьдесят процентов населения?

— Ответственность за это несут архиепископ Гуэйский и президент, с

которым он тесно связан. Архиепископ сделал невероятную глупость, добившись от правительства запрета вывешивать флаги в день рождения Будды. Это вызвало бунт. Девять человек были убиты полицией. Однако архиепископ и президент заняли непримиримую позицию. Последовали новые беспорядки и новые аресты. А теперь вот видите — буддистские мученики... Однако и Ватикан, и католическая церковь в Южном Вьетнаме заявили о своем несогласии с репрессиями. Было опубликовано письмо архиепископа Сайгонского и послание самого папы Павла VI. Я смело могу утверждать, что, за исключением деревенского духовенства в некоторых провинциях и районах, огромное большинство католиков потрясено и возмущено репрессивными мерами правительства. Но и буддисты,— быстро добавил он,— тоже не все святые. У них есть явная склонность к жестокости, и это может повести к немалым осложнениям в дальнейшем...

Меня позвали к телефону. Звонил Гарри Яффа:

— Ну вот началось! Солдаты Кунга нападают на пагоды. Я бы хотел, чтобы вы сейчас же приехали в посольство.

Я взглянул на часы. Было четверть первого ночи. Кладя трубку, я услышал далекие, но отчетливые удары в медный гонг.

Глава 3

Прерывистый звон гонга еще трепетал в воздухе, когда мы ехали по ночному городу в машине с развевающимся флажком. Потом звон внезапно стих, и мы услышали треск далеких выстрелов. Мэл Адамс показал мне на военные пикеты и грузовики, стоявшие на каждом перекрестке.

— Кунг — хороший тактик. Вот так же, должно быть, перегорожен весь город.

Гарри Яффа ждал нас у ворот посольства. Он вскочил в машину и быстро захлопнул дверцу. Он был взвинчен и весь взъерошен.

— Они осаждают пагоду Са-лой и три-четыре других. Мне только что звонили из Гуэ, Далата и Да-нанга. Там происходит то же самое. Вы должны увидеть это своими глазами, сэр.

— Согласен.

— А я нет, сэр!— Впервые со времени моего приезда Мэла Адамса покинула сдержанность. Он заговорил резко и отрывисто:— По-моему, это очень плохой дипломатический ход. Он заведет вас в тупик. Если вы станете очевидцем, вам придется высказать свое мнение в печати, без всяких дипломатических оговорок. Пресса, конечно, уже там. Вас неизбежно примутся фотографировать, и на снимках вы будете выглядеть, как безучастный свидетель жестокой полицейской расправы. Я считаю, что это нехорошо.

— Разве это хуже,— холодно спросил Гарри Яффа,— чем идти завтра во дворец с информацией, полученной из вторых рук? Кунг устроил этот маленький спектакль специально ради посла. Бросьте, Мэл! Откройте глаза пошире. Это вам не дипломатия в белых перчатках. Это война.

— Я остаюсь при своем мнении,— твердо сказал Адамс.— Даже на войне необходимо маневренное пространство для войск. А вы его таким путем теряете.

Настало время вмешаться. И так, чтобы не унизить ни того, ни другого.

— Это рискованно, Мэл, и вы правы, что напомнили об этом. Но решать буду я.... Едем!

Не успел я договорить, как Билл Славич нажал на газ, круто повернул машину за угол и на полной скорости помчался в сторону пагоды. Выстрелы стали чаще; подъехав ближе, мы услышали крики, вопли и гневный ропот сбежавшейся толпы. Подходы к храму были забаррикадированы бревнами, возле них стояли полицейские с автоматами и газовыми ружьями.

Толпа напирала на заграждения, солдаты отпихивали людей прикладами. Машина затормозила и остановилась; тотчас же двое полицейских бегом направились к нам, но, увидев флажок, повернули обратно. Мы с Яффой взобрались на капот машины, чтобы поверх голов увидеть происходящее.

Перед распахнутыми настежь воротами пагоды стояли крытые грузовики. Полицейские подгоняли к ним маленькую группку монахов. Они были избиты, растерзанны, у одного из раны на голове обильно текла кровь. Позади них кричала и билась в руках солдата монахиня. С верхнего этажа пагоды донесся крик, и мы подняли глаза — из окна выбросился монах в желтых одеждах и рухнул вниз, на каменные плиты двора. Изнутри доносились выстрелы и глухие взрывы гранат со слезоточивым газом. Толпа кричала, осыпая охранников проклятиями.

Отделившись от толпы, к нам заспешили два корреспондента. Один вскинул фотоаппарат и при вспышке магния снял меня на капоте машины. Второй подошел и представился:

— Я — Кэванна из Ассошиэйтед Пресс. Вы — мистер Эмберли, не так ли?

— Да.

— Намерены ли вы что-либо сказать о сегодняшних событиях?

— Да. Я стал свидетелем жестокости и насилия. Как представитель Соединенных Штатов Америки, я считаю, что все это чрезвычайно прискорбно. От дальнейших высказываний я воздержусь, пока не поговорю с президентом Кунгом.

— Сегодня утром на ваших глазах сжег себя монах-буддист. Ночью происходит вот это. И все в первый день вашего пребывания в Южном Вьетнаме в качестве американского посла. Что вы имеете заявить по поводу такого совпадения?

— Все мои заявления будут сделаны на пресс-конференции завтра в два часа дня. Пока что это все.

У баррикад началась свалка. В часовых полетели бутылки, град камней и палок. Полицейские, выбежав из-за бревен, стали оттеснять людей, расправляясь с ними ловко и беспощадно. Нескольким они проломили головы. Какую-то девушку сбили с ног, ее топтала пятившаяся назад толпа. Полицейские подняли ее и поволокли в крытый грузовик. Отступающая толпа надвигалась прямо на нашу машину.

— К чертям, надо сматываться!— выкрикнул Яффа.— Я знаю, куда ехать!

Через пять секунд мы уже сидели в машине и, быстро завернув за угол, въехали на территорию американской миссии экономической помощи, примыкавшей к пагоде. Весь живший там персонал выбежал из дома в халатах и пижамах. Молодая женщина перевязывала монаха, которому разворотили лицо штыком. Несколько человек суетились возле другого монаха, который сидел у садовой ограды, хныча и держась за сломанную челюсть. Ко мне подошел один из служащих миссии. Он был очень взволнован и зол.

— Здесь идет бойня, сэр. Гнусная бойня! Неужели мы не можем прекратить это?

— Нет, не можем! — огрызнулся на него Гарри Яффа.— Поэтому держите себя в руках. Уведите монахов в дом. Объясните часовым, что, если кто-нибудь попытается ворваться сюда, они должны сначала стрелять, а уж потом спрашивать, кто да зачем. Позвоните генералу Толливеру. Расскажите ему, что тут делается, и пусть он пришлет сюда врача и еще один караульный наряд.— Он повернулся ко мне.— Если вы достаточно насмотрелись, сэр, мы вас отвезем в посольство.

Я насмотрелся достаточно. Бессмысленная жестокость происходящего оскорбляла меня. Я кипел от гнева. Повернувшись к Мэлу Адамсу, я сказал:

— Мэл, вы останетесь здесь. Узнайте все что можно и утром прежде всего доложите мне. Эти два монаха находятся под защитой правительства Соединенных Штатов. Со всеми вопросами следует обращаться в посольство.

Адамс кивнул и добавил, как бы напоминая:

— Быть может, следовало бы, сэр, оповестить о событиях все остальные посольства.

— Я займусь этим, сэр,— вмешался Джордж Гротон.— Вам понадобится кто-нибудь из сотрудников?

— Да. Позвоните, пожалуйста, мисс Белдон и шифровальщикам. Придется поработать несколько часов. Вы едете с нами, мистер Яффа?

— У меня своя работа,— угрюмо ответил Яффа.— Вас отвезет Билл Славич. Я явлюсь в посольство, как только смогу.

Пока машина пробиралась по улицам через заставы и пикеты, я старался совладать с гневом и спокойно разобраться в событиях последних двенадцати часов. Я не сомневался, что все это было приурочено к моему приезду, чтобы дискредитировать меня и вывести из равновесия в переговорах с президентом. Я достаточно долго прожил на Востоке и понимал важность «престижа» — иначе говоря, публичного проявления силы, которое в глазах людей возвышает личность властителя. Мое назначение было ударом по личному престижу президента Кунга. Поэтому, как истый азиат, он должен принизить меня, чтобы самому остаться на высоте. Но дело было не только в том, что я оказался в неловком положении, а в чем-то гораздо большем, и это обязывало меня удерживаться от поспешных выводов.

Президент Кунг — слишком тонкий политик, чтобы устраивать резню просто ради резни. Действия Кунга всегда соответствовали его внутренней

сущности, а ведь это был человек, который взял на себя управление страной после разгрома под Дьен-бьен-фу, человек, который принял почти миллион беженцев с севера, который оживил государственную экономику и разгромил секту Бинь-сюйен, которая грабила на реках, обладала пятитысячной армией и держала в руках всю сайгонскую полицию. Он пережил десяток заговоров и подчинил себе толпы вооруженных сектантов, воинственных феодалов и заговорщиков из числа военных. Это он решил призвать Соединенные Штаты для обучения и формирования своей армии и обратился к ним с просьбой о поставке оружия, необходимого для военных действий против партизан Хо Ши Мина. Он не только политический стратег, но и философ и ничего не станет делать, если у него нет на то веских причин.

Ни один человек в здравом уме, стремящийся выиграть войну, не станет преследовать религию, которую исповедуют восемьдесят процентов населения страны. Поэтому у Кунга должна была быть по крайней мере причина prima facie *, чтобы учинить такую расправу над монахами, элитой буддийской религии. Я вспомнил один документ, который оказался среди бумаг, переданных мне Фестхаммером. Это был доклад Центрального разведывательного управления о проникновении коммунистических агентов в с а н г а, систему буддийских монастырей.

Желтые одежды служат простым и надежным укрытием для подрывной деятельности в пагодах и среди народа. Вот причина действий Кунга, и он может смело отстаивать свою правоту на любом форуме.

После бунта в Гуэ, где правительственными войсками было убито девять человек, буддийские монахи стали устраивать открытые сборища, на которых ораторы произносили мятежные речи, осуждая правительство. Когда страна воюет, на такое вряд ли можно смотреть сквозь пальцы. И тут факты, казалось, оправдывали строгие меры безопасности. Но то, что я видел у пагоды Са-лой, было нестерпимой политической глупостью, и, как посол Соединенных Штатов, я должен выразить протест от себя лично и от имени моей страны.

В посольстве меня ждал еще один сюрприз — пожилой монах, спасшийся из пагоды Са-лой и искавший убежища в стенах посольства. Он опередил бежавших за ним полицейских всего ярдов на десять, а моряки-часовые в это время держали его преследователей на мушке. Монах не знал английского и говорил только по-французски; я беседовал с ним почти час, а Энн Белдон записывала его рассказ о налете на пагоду.

Он не показался мне хоть сколько-нибудь значительной фигурой. Это был человек неглубокий, довольно примитивный и мало знающий. Он подробно описал налет на пагоду, но, когда я стал расспрашивать его о природе вьетнамского буддизма, об его истории, организации, идеях и проблемах, монах не мог сказать ничего, кроме общих фраз вперемежку с грубой бранью по адресу семейства Кунг. Я не мог себе представить его в роли мученика, но как агитатор он был бы вполне на месте. Невольно я сравнил его желчную брань с изумительной выдержкой Мусо Сосеки. Тем не менее от него я узнал два важных факта. Полицейские явились в пагоду со списком. Все монахи, чьи имена значились в этом списке, были объявлены коммунистическими заговорщиками. Полиция завладела также пеплом монаха, который сжег себя нынче утром, но его обуглившееся сердце, заключенное в сосуд, исчезло. Просвещенный христианин, Кунг не желал иметь мучеников у своего порога.

Потом начались телефонные звонки из разных районов. В Гуэ солдаты сожгли пагоду и разграбили ценности храма. На мосту, ведущем к другому храму, завязался ожесточенный бой. Тридцать человек было убито и несколько сот ранено. По примерному подсчету, в разных частях страны арестовано около тысячи человек.

Я составил длинную телеграмму в Вашингтон и еще несколько — американским представителям в Лаосе, Камбодже и Таиланде. В шесть часов утра, все еще сидя за работой, мы слушали по сайгонскому радио выступление президента Кунга. Он объявил всю страну на осадном и военном положении. Он дал армии полномочия обыскивать и арестовывать подозрительных лиц. Был введен комендантский час и цензура над всеми видами связи — как внутренней, так и внешней.

Не успел умолкнуть голос президента, как вбежал Гарри Яффа, сообщивший, что по всему Сайгону маршируют войска и что все выходы из города закрыты. Во всей стране выключена телефонная связь. Наша телефонная система действует, но фактически Южный Вьетнам отрезан от остального мира.

Все было проделано так быстро и так основательно, что не оставалось сомнений — это было подготовлено задолго до моего приезда. Значит, я

---

* Явная, очевидная (*лат.*).

должен рассматривать это как меры для предотвращения реальной угрозы существующему режиму. Какова эта угроза — я мог только догадываться. А пока — нужно действовать. Энн Белдон принесла мне завтрак — черный кофе и крекеры. Одолжив у кого-то бритву, я наскоро побрился и вместе с Мэлом Адамсом и заведующим протокольным отделом поехал во дворец. Он был окружен целой сетью сторожевых постов и рогаток. Только через четверть часа мы пробрались через последнюю линию часовых.

Во дворце, однако, царила атмосфера спокойной официальности. Секретарь-вьетнамец с подчеркнутой вежливостью пояснил, что мы прибыли за час до назначенного времени, и, так как президент очень занят, нам, к сожалению, придется немного подождать. Мэл Адамс холодно возразил, что поскольку чрезвычайное положение в стране непосредственно касается Соединенных Штатов, то ранний приезд посла является особой любезностью по отношению к президенту. Секретарь заверил нас, что президент это понимает и постарается освободиться как можно скорее.

Нам подали зеленый чай и сигареты, мы уселись и стали ждать. Для сохранения престижа было важно и то, сколько нас заставят ждать; я мысленно установил предел в десять минут, после чего решил уехать. Через восемь минут и пятнадцать секунд я предстал перед очами Фунг Ван Кунга.

●

Это был маленький смуглый человек на голову ниже меня, в безупречном костюме из шелка-сырца, с бриллиантовой булавкой в сером шелковом галстуке. Кожа у него была гладкая, глаза блестящие и улыбающиеся; казалось, он только что вышел из ванны — да, вероятно, так оно и было. Он церемонно приветствовал меня по-французски с сильным вьетнамским акцентом. Появился слуга с неизбежным зеленым чаем. Мы взяли по чашке; президент осведомился о моем здоровье и выразил надежду, что полет прошел хорошо. Улыбка не сходила с его губ, а острые блестящие глаза шарили по моему лицу, отыскивая проблески каких-нибудь эмоций. Он дружелюбно отозвался о моем предшественнике и попросил передать ему привет и добрые пожелания. Он одобрил мою деятельность в Японии и выразил соболезнование по поводу недавней кончины моей жены.

Чрезвычайно интересно, сказал он, что я изучаю буддизм и в частности путь дзен. Он уверен, что это поможет мне глубже понять всю сложность обстановки в Южном Вьетнаме. Стрела попала в цель: я не ожидал, что он так хорошо осведомлен. Не выказав никакого торжества, он как ни в чем не бывало продолжал свою вступительную речь. Он надеется, что я останусь доволен своим новым назначением, и, если мне лично понадобится какая-либо услуга, он просит меня не колеблясь обратиться к нему или любому человеку из его штата. Он сожалеет, что я приехал не в более благоприятный день, но уверен, что я понимаю, в каком сложном положении находится страна.

Я сказал, что вовсе не уверен, понимаю ли я это. Наоборот, я рассчитываю, что с его помощью для меня многое прояснится. На этом любезности закончились, и мы перешли к деловой части нашей встречи. Кунг откинулся на спинку кресла, сложил руки на своем шелковом животе и пустился в пространные объяснения.

— Вы, господин посол, приехали из мирной страны в воюющее государство. Это не японская церемония чаепития. На ставке — наша жизнь. Нам грозит опасность извне, нас стремятся взорвать изнутри. По нашим подсчетам, в пределах наших границ действует тридцать тысяч хорошо обученных вьетконговцев. Им помогают примерно шестьдесят тысяч нерегулярных войск и тайных диверсантов. Эти диверсанты используют любые средства, чтобы проникнуть в наши ряды и заниматься подстрекательством к измене и мятежам. Некоторые буддийские монастыри превратились в опорные пункты шпионажа и подрывной деятельности. Как бы вы поступили на моем месте? Позволили бы им невозбранно делать свое дело? Дали бы им продолжать работу Хо Ши Мина под прикрытием желтых одежд? Дали бы им носить в чашках для подаяния пистолеты, патроны и шпионские донесения? Полно, господин посол, вы вовсе не так наивны... Знаю, иностранная пресса изображает меня зачинщиком и вдохновителем преследования буддистов. Это неправда. Я был бы полным болваном, если бы поощрял религиозные распри во время войны. Я знаю также, что кое-кто из моих коллег и чиновников допустил ошибки. Одна из них — расправа в Гуэ. Я откровенно признаю это. Я готов был исправить эту ошибку. Я намеревался войти в дружественные переговоры с Генеральной ассамблеей буддистов. Я просил их составить список своих обид и так называемых законных требований. И что же? Сначала они потребовали унизительного признания моей личной вины — с единственной целью дискредитировать меня. Я отказался.

но несмотря на это по-прежнему готов был обсудить, что их волнует. Однако даже во время переговоров некоторые монахи-смутьяны устраивали публичные сборища и призывали к свержению правительства... Ни одно государство не допустит у себя такого открытого мятежа даже в мирное время. Разве вы допустили бы это в Литл-Роке, в Бирмингеме и Вашингтоне? Разумеется, нет! Так неужели вы полагаете, что я могу допустить это в стране, где идет подрывная война, от которой народ истекает кровью? Я был бы недостоен занимать свой пост, господин посол!

Я знал, что он представит дело именно так, а изложил он его в таких выражениях, что согласиться с ним было весьма легко. Стараясь говорить как можно спокойнее, я попытался показать ему другую сторону вопроса.

— В общих чертах, господин президент, я с вами согласен. Воюющая страна не может допустить среди гражданского населения мятежей. Но вчера ночью я был свидетелем налета на пагоду Са-лой.

— Знаю, господин посол. Я узнал об этом через полчаса. Должен заметить, что ваше присутствие было дипломатической бестактностью.

— Наоборот, господин президент! Я представляю здесь мое правительство, которое в этой войне является вашим союзником. Я обязан быть как можно более широко осведомленным. Вчера ночью я был свидетелем жестокости самого худшего рода — жестокости заранее обдуманной и ненужной! Вот это, смею вам сказать, господин президент, было политической бестактностью! За последние десять часов она была повторена во многих местах. И бог знает, как отнесется к этому остальной мир!

— Остальной мир! Господин посол, остальной мир далек от нас, как луна. Мы — полуостров Юго-Восточной Азии. Мы — отгороженный от мира народ. Столетиями над нами нависает тень Китая. Он оккупировал нас прежде и хочет оккупировать опять. Наш мир, господин посол, ограничен морем и Китаем, а на западе нам видна разве что Бирма... Разве о нас заплачут в Сиднее, Париже или Лондоне?

— О вас плачут американцы, господин президент,— резко сказал я.— Они спускают с себя семь шкур, чтобы платить по вашим счетам. Они умирают за вас здесь, на вашей земле! Ваши слова оскорбляют и их, и меня!

Я ошеломил его и пристыдил. Он был слишком умен, чтобы не признать этого.

— Прошу прощения,— тихо сказал он.— Я наговорил вам больше, чем хотел... Я сознаю, чем мы обязаны Соединенным Штатам. Но помогая нам, вы не должны стремиться завладеть нами и мерить нас своей меркой.

— Поскольку мы друзья, господин президент, мир судит нас вместе. Даже ваш собственный народ осудит вас за вчерашнее кровавое развлечение.

Кунг вдруг разозлился. Он взял папку, набитую фотоснимками, и бросил мне ее через стол.

— Вы боитесь крови, господин посол? Ваши хрупкие нервы не выдерживают ее вида? Взгляните-ка на эти снимки! Вы увидите другие кровавые развлечения; поглядите, что бывает, когда на базаре коммунисты взрывают бомбу!.. Что же, я должен нежничать с теми, кто делает такое, а потом лицемерно прячется за Будду, за учения даммы и санги?.. Это Азия, а не Женева или Манхэттен! Здесь властвует тот, кто силен и хорошо вооружен, тот, кто платит кровью за кровь. Я — христианин. Мне кровопролитие нравится не больше, чем вам. Но я знаю свой народ лучше, чем вы.

От фотографий меня стало мутить. Я захлопнул папку и отдал ему. Согласиться с ним было бы чрезвычайно легко, но я не мог. Любой ценой я должен побороть его на этой узкой опасной тропке.

— Именно потому, что вы христианин, господин президент, вы не можете позволять себе таких бессмысленных зверств, какие я видел вчера ночью. Неужели вы не понимаете? Это же лишнее оружие в руках Вьет-конга. Вы, религиозное меньшинство, преследуете большинство. Хотите, чтобы каждый буддист в Азии объявил вам священную войну? Вы этого добьетесь, я вам обещаю! А мировая пресса будет осуждать вас, как непримиримого фанатика.

— Пресса часто лжет, господин посол! И даже когда газеты говорят правду, они не умеют понять ее значения.

— Они не солгут насчет вчерашних событий, господин президент! И я тоже. Если сегодня на пресс-конференции меня спросят, я должен буду сказать правду, а правда будет неблагоприятна для вас и для вашего правительства. Больше того, она вызовет возмущение в Америке. Американцы спросят, для чего же они оплачивают ваше оружие и посылают своих сыновей воевать за вас. Что я им отвечу? Что я скажу государственному департаменту и моему президенту?

— Тогда расскажите им всю правду до конца! Пусть они опубликуют фотоснимки из этой папки! Скажите им, что половину имен тайных агентов в монастырях нам сообщило ваше Разведывательное управление. Садитесь в один из ваших вертолетов и посмотрите на войну там, где она действительно идет — в деревнях и опорных пунктах, среди горцев на севере и жителей дельты на юге. Не смотрите на города, где люди испорчены, отравлены ложными идеями, оставшимися от французов или заимствованными из американских газет! Мы можем завтра потерять и Сайгон, и Гуэ, и Далат, но все равно мы будем продолжать борьбу! Не обманывайтесь! Я все еще хозяин положения, и меня не запугать! Мы переживем нашу беду, несмотря на мировую прессу. Я воссоздал эту страну после Дьен-бьен-фу. Я буду создавать ее и дальше — с вами или без вас!

Я был невольно взволнован упрямой стойкостью этого человека. Он сидит на бочке с порохом. В грудь и спину ему упираются штыки, а он все еще намерен сражаться! Но я обязан сделать ему предупреждение. Я изложил его ясно и четко:

— Умоляю вас, господин президент, не накликайте беды. Мне поручено передать вам послание правительства моей страны. Если вы не согласитесь положить конец розни между христианами и буддистами, между вашими генералами и правителями, вам, вероятно, и в самом деле придется сражаться одному — без американских денег, оружия и войск!

К моему удивлению, он принял это совершенно спокойно. Губы его чуть искривились в усмешке.

— Вы в самом деле намерены пойти на это, господин посол? — кротко спросил он.— Вы в самом деле готовы уйти отсюда, зная, что Камбоджа, Лаос и Таиланд рухнут, как карточные домики? Это ведь ваш последний плацдарм в Азии. И вы оставите его только потому, что я не могу вам обещать невозможного? Вы требуете единства, прекращения розни! Боже мой, господин посол! Как можно быть столь наивным? Мы, как государство, на целое тысячелетие старше Соединенных Штатов — и все же до сих пор не объединены! Вся структура нашего общества тяготеет к разделению, разобщению и маленьким островкам власти. Как у итальянцев до Гарибальди, у нас еще слабо развито чувство национального единства! Мы четырнадцатимиллионный народ — вьетнамцы, таи, мыонги, китайцы, кхмеры и шамы. Вы ждете от меня чуда? И хотите предать мой народ, если чудо не состоится?

— Мне поручено сообщить вам, господин президент, что мы намерены поступить именно так.

Он пожал плечами и опять улыбнулся.

— Что ж, по крайней мере, теперь все ясно. Вы можете сообщить своему правительству, что я серьезно обдумаю переданное вами заявление. Вы можете также сообщить, что я решительно протестую против такого заявления, которое, по существу, является политическим ультиматумом. Добавьте при этом, что мне известно, что отделение вашего Центрального разведывательного управления находится в повседневном контакте с некоторыми оппозиционными элементами, которые стремятся свергнуть законное правительство нашей страны и учредить военную хунту. Я просил бы уведомить меня официально, кто является подлинным и законным представителем Соединенных Штатов, посол или отделение Центрального разведывательного управления.

Это был хитро рассчитанный удар, и он застиг меня врасплох. Я отразил его наотмашь:

— Я могу дать вам ответ тут же и сразу, господин президент. Я и только я являюсь официальным представителем моего правительства.

— Очень рад это слышать. Тогда, быть может, вы не откажетесь прочесть отчет о деятельности местного отделения Центрального разведывательного управления, который я вам пришлю.

— Охотно прочту, господин президент, и обещаю немедленно переслать копию вышестоящим лицам в Вашингтон.

— Прекрасно. Мне будет интересно узнать их мнение — и ваше тоже... У меня к вам еще один вопрос, господин посол. Мне известно, что три монаха из пагоды Са-лой нашли убежище у американцев. Я хотел бы знать, как вы намерены поступить с ними.

— Мы намерены держать их под своей защитой, пока не получим официального заверения, что, когда они выйдут из-под нашего покровительства, им не причинят никакого вреда.

— Я подумаю об этом, господин посол. Быть может, я решу оставить их у вас. В конце концов, вы, вероятно, сами сочтете их весьма обременительными. И последний вопрос. Сегодня в два часа вы назначили пресс-конференцию. Намерены ли вы огласить на ней условия вашего ультиматума?

— На пресс-конференции — нет. Мы предпочли бы по возможности не оглашать их вообще. Вы, без сомнения, пожелаете обдумать их не торопясь. Я буду к вашим услугам, когда вы найдете нужным позвать меня.

— Благодарю вас, господин посол.— Он поднялся и протянул мне руку.— Позвольте добавить, что я чрезвычайно рад знакомству с вами и надеюсь, что наша встреча положит начало настоящему взаимопониманию между моей страной и вашей.

— Я тоже надеюсь, господин президент. От всей души надеюсь.

●

Я вышел из дворца в глубоком смятении. Мне нужно было время и мудрый совет, чтобы разобраться в сумбурных ощущениях, которые вызвал во мне разговор с Кунгом. Я решил миновать посольство и вместе с Мэлом Адамсом проехал прямо к себе домой, чтобы поговорить наедине. Мы оба изнемогали от усталости после ночного бдения и прежде всего приняли душ. Я одолжил Мэлу Адамсу чистую рубашку, мы уселись у меня в кабинете и стали перебирать в памяти все главное, что было сказано в беседе с Кунгом.

Я убедился, что Адамс — разумный и серьезный советчик. Он не пытался скрыть свою неуверенность и с удивительной беспристрастностью взвешивал каждый довод.

— ...В одном я должен согласиться с Кунгом, сэр. Настаивая на быстром объединении страны, мы требуем от него чуда. Когда вы проедетесь по деревням, вы сами увидите, как тесно сплочены и замкнуты каждая семья и каждое племя. У них закоренелое, исторически сложившееся недоверие ко всем чужакам, будь то генералы, правители или иностранцы вроде нас. Буддизм сам по себе может порождать разобщение: он приемлет все оттенки веры и исповедания ее, но не объединяет их. Мы на Западе считаем буддизм религией созерцательности и квиетизма, на самом же деле в нем есть и черты жестокости. В нем всегда были и есть воинствующие секты, и порой эта воинственность доходит до странных проявлений. Я не могу не согласиться с тем, что некоторые пагоды превратились в рассадники подрывной деятельности. Но подрывная деятельность — понятие относительное. Для огромного количества вьетнамцев Хо Ши Мин — это дядя Хо, благородный патриот и смелый революционер, а Фунг Ван Кунг — реакционер, поддерживаемый капиталистической Америкой...

Мы тоже немало способствуем разъединению. Мы слишком прагматичны. Мы требуем быстрых результатов, и у нас зачастую не хватает терпения подумать, во что это выльется. Мы любим давать всему точные определения, и эта самая точность загоняет нас в тесные рамки, откуда потом мы не можем вырваться. Это вроде легенды о двух Китаях. Мы ее сами создали, эту легенду, и сами же в ней завязли.

Вот почему я не люблю Гарри Яффу. Разведчик он первоклассный, но главное для него — действовать. У него нет чувства истории, преемственности, он не думает о последствиях. Дайте ему любую ситуацию, и он тут же возьмется переиначить ее на любой манер. К тому же у него для этого есть все данные. Если одно не получается, он сейчас же изобретет другое.

Действовать! Действовать! Мы — народ, приученный действовать. «Встань и иди! Иди на запад, малый! Там золото вон в тех горах!» Вы знаете Восток, сэр. Вы знаете, какой предательской может оказаться эта потребность действовать. И что значит «действовать» для крестьянина на рисовом поле? Коммунизм тоже несет ему свою философию, но мы-то что можем пообещать, когда умолкнут пушки? Демократию? Самоопределение? Племенами правят древние старики, к чему им право голоса!

Я много раз задавался вопросом, что бы я делал, сиди я на месте Кунга. Сказать по правде — не знаю. Чем прошибить психологию этих генералов, раздираемых феодальными распрями? Отщипните им лишний кусочек пирога, и они возомнят, что имеют право на целый ломоть. Распределением силы и власти поровну престижа не спасти. Все равно придется доказывать, что ты сильнее, чем твой сосед. В политическом смысле метод Кунга разумнее всего — разделяй и властвуй. В смысле же военном это, конечно, ведет к той кутерьме, которую мы с вами и наблюдаем.

Возьмите хотя бы вопрос о буддистах. Я верю, что Кунг действительно хочет договориться с ними. Но он боится, что, если он протянет им палец, они откусят всю руку. Монахи из пагод не идут в солдаты — им запрещает религия. И Кунг считает, что они не имеют права подстрекать население к мятежу во вред воюющему солдату, который с простреленной задницей барахтается в болотах дельты... И это опять-таки разумный довод.— Мэл грустно усмехнулся и налил себе вторую чашку кофе.— Я понимаю, сэр, все это мысли не слишком конструктивные, но, по-моему, прежде чем совершить

переворот, мы должны очень тщательно изучить ситуацию. Вы предъявили ультиматум. Что же дальше?

— Кунг обдумает его; потом свяжется со мной.

— И как же, по-вашему, он должен поступить?

— Если уж на то пошло, Мэл, я бы сказал, что сейчас ему нужно сделать вполне определенный публичный жест: пригласить буддистов для дружеских переговоров и удовлетворить их справедливые жалобы. Я считаю, что ему нужно освободить студентов и монахов, которых он держит в тюрьмах. После этого у него будет возможность укреплять законность и порядок.

— Не думаю, чтобы он смог это выполнить, сэр. Во всяком случае, не все.

— Почему?

— Потому что борьба еще далеко не кончилась. Мне сказали во дворце, что в городе опять затеваются беспорядки.

— Кто их затевает? Буддисты?

— Нет. Студенты. Они будто бы еще до наступления вечера намерены устроить демонстрацию. Значит, снова начнется кровавая свалка — дубинки, пули, аресты. И что же будет дальше?

— Соединенные Штаты еще раз заявят протест.

— А толливеровские офицеры поведут в бой вьетнамских солдат — и католиков, и буддистов,— сыновья и дочери которых будут в это время сидеть в тюрьме! Красиво, не правда ли?

— Тогда давайте рассмотрим план Яффы. Мы поддерживаем переворот. Кунг свергнут. Кто правит страной?

— Генеральская хунта.

— Опять военщина?

— Да, если угодно.

— Хунты известны своей неустойчивостью.

— Согласен. Яффа полагает, что, когда Кунга вышибут из седла, между генералами будет меньше раздоров.

— А вы, Мэл?

— Я сомневаюсь.

— Смогут они сплотить армию?

— Тоже сомневаюсь.

— Улучшить моральное состояние?

— Трудно сказать.

— Смогут ли они управлять страной?

— С армией они, пожалуй, еще справятся. Но смогут ли они руководить страной, воодушевлять ее, вытащить из трясины разочарования и цинизма — не знаю. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из них или все вместе смогли сделать то, что сделал Кунг после Дьен-бьен-фу. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из них был столь же целеустремлен, как Кунг, или обладал, как это ни странно, таким чувством моральной ответственности. Вот чем так силен дядя Хо на Севере. Он — революционный вождь, вооруженный хорошо разработанной марксистской философией. Кунг тоже философ, но доктрина персонализма, которую он заимствовал у французов, не могла стать в его стране популярной. Это чисто галльские тонкости. Не думаю, чтобы массы видели в этом хоть какой-нибудь смысл. Будь Кунг выходцем из народа, обладай он способностью покорять людей личным обаянием, он свободно мог бы навязать им и Канта, и Гегеля, и Фому Аквинского или великого Патанджали, потому что люди знают и чтят заслуги президента. Но ему такое обаяние не дано. Он — затворник, девственник, деспот и — христианин, что тоже не облегчает дело.

— Ну, а если я вас попрошу проголосовать, Мэл: Кунг или генеральская хунта? Кого вы подчеркнете в своем бюллетене?

— Не знаю, сэр,— тихо ответил Адамс.— И сам этому не рад. Может быть, я тут засиделся. Может, я, как вьетнамцы, тоже поддался какому-то ползучему отчаянию. Может, Яффа прав, обвиняя меня в нерешительности и пассивности. Понимаете, это вовсе не от страха. Это потому, что все наши действия толкают нас на путь, который никуда не ведет...

Он внезапно умолк и стал разглядывать свои длинные нервные пальцы. Меня вдруг пронзила острая жалость: стоявшая перед ним трудная дилемма была так схожа с той, что стояла передо мной! И вместе с тем Мэл вызывал во мне уважение, потому что он готов был отвечать за свои сомнения. Наконец он поднял голову и взглянул на меня грустными глазами.

— Я хочу кое-что сказать вам, сэр. И когда я скажу, вы, быть может, потребуете моей головы. Я вам охотно подам ее на серебряном блюде. Толливер — единственный американец в этой стране, который получает честные приказы. Ему приказывают вести войну, которую нельзя выиграть, но никто и не требует, чтобы он ее выиграл. Для него и для Пентагона это

дело ясное. Если вьетнамцы разделились, он воюет вместе с разделенной армией; если они объединятся, он будет воевать вместе с объединенной армией, и ответственность лежит не на нем, а на вьетнамском верховном командовании. У нас же совсем другое. Вашингтон требует, чтобы мы вмешивались непосредственно в управление страной. Вы присхали сюда с ультиматумом, который, по существу, сводится к следующему: «Делайте то-то и то-то, иначе вы у нас быстро станете банкротами и мы лишим вас военной поддержки». И ЦРУ тоже вмешивается, только на другом уровне. Все это мы делаем во имя демократии и самоопределения. Но по сути дела это политическая и военная мера, направленная на то, чтобы сдержать Китай и затормозить туземные революции — революции, причины которых коренятся в колониальной эксплуатации, тирании военщины и продажности правителей.

Скажу вам прямо, сэр, единственные люди в этой стране, которые знают, за что они борются,— это католики. Они понимают: если страна станет коммунистической, то через полпоколения католическая церковь будет изничтожена, а буддизм сумеет приспособиться, как он уже приспособился в Китае. Вот почему я понимаю Кунга и сочувствую ему, даже зная его ошибки. Вот почему я думаю, что мы тоже делаем ошибку. Мы подыскиваем нового правителя и новую политику, но мы сами не знаем, чего хотим. Мы ставим не на лошадь, а на жокея. А поскольку мы торопимся, то схватились не за того жокея. Вот в чем я не согласен с нашей политикой в Юго-Восточной Азии. Я служу этой политике и стараюсь служить хорошо и честно, но я в нее больше не верю.

Нелегко признаваться в этом человеку, отдавшему столько лет жизни дипломатической службе. Мне польстило, что для такого признания он выбрал именно меня, и я задал ему вопрос, стараясь, чтобы он звучал как можно мягче:

— Если бы вас попросили наметить политику, Мэл, как бы вы это сделали?

— Я бы держался нейтралитета. Нейтралитета, пока мы еще достаточно сильны, чтобы вести переговоры. А потом я отошел бы в сторону и предоставил вьетнамцам самим решать свое будущее.

— И дали бы дядюшке Хо через год-два завладеть страной?

— Он и так уже ею завладевает,— твердо возразил Мэл Адамс.— Завладевает, потому что у человека, который искренне хочет объединить страну, не хватает на это таланта, потому что мы не способны дать ничего, кроме оружия, людей и денег; потому что когда заходит солнце, крестьянин на рисовом поле не видит впереди ни проблеска света, вокруг лишь тьма и полное разочарование... А теперь, сэр, если вы хотите, чтобы я подал в отставку, я подам.

— А вам хочется уйти в отставку, Мэл?

— Нет.

— Чего же вы хотите?

— Думается, я все-таки могу еще быть здесь полезен, пусть даже только в качестве оппозиционного голоса. Думаю, что у вас есть шанс — хотя и крохотный — переубедить Кунга и сохранить то, чего ему удалось достичь. Но это нелегко — на вас будет наседать свора гончих, которым не терпится устроить переворот и вытащить на свет божий новую диктатуру. Я хотел бы пока что взять на себя роль совести. Я проверил бы те басни, что они приготовят для вас, и указал бы, где кроется истина.

— Это неблагодарная роль, Мэл. Вряд ли я могу гарантировать вам мою признательность.

— Дело не в признательности, сэр. Дело в моем самоуважении. Свергнув Кунга, они убьют его, а я предпочитаю неблагодарную роль совести роли политического убийцы.

Глава 4

Убийство — уродливое слово, но в это жаркое утро в Сайгоне оно уже звучало чуть ли не банально. Город был похож на военный лагерь. На всех углах стояли пикеты, по улицам сновали вооруженные патрули на джипах и грузовиках. Редкие прохожие боязливо жались к домам. Магазины пустовали, бары — тоже, и девицы сидели без дела, выглядывая из-за решетчатых окон, как птицы из клетки. На мгновение мне представилось, что этот старомодный провинциальный город внезапно превратился в джунгли, где все звери попрятались

в норы и только охотники беспокойно рыщут, испуганные пустынностью и тишиной. В воздухе пахло грозой, и случайный выхлоп автомобиля звучал как выстрел.

В посольстве я получил первые сообщения о студенческих беспорядках. Весь университет охвачен бунтом. Студенты покинули аудитории и организовали митинги протеста. Одного из профессоров они забросали камнями. Правительственный указ о введении военного положения был сорван со стен и заляпан грязью. Молодежь, взобравшись на ограды домов, поносила проходящих солдат, кричала, что бороться надо с Вьет-конгом, а не со своим народом. Многие демонстранты были арестованы и препровождены в лагеря на окраинах города. В полдень по радио был объявлен приказ о прекращении занятий во всех школах до нового распоряжения. Американские студенты расходились по домам под охраной наших солдат. Вокруг президентского дворца был выставлен дополнительный караул, а на дворцовой территории — зенитные батареи.

На моем письменном столе лежала короткая телеграмма от Фестхаммера из Вашингтона.

«Глубоко озабочены сообщением о новых расправах буддистами. Предлагаем вам заявить правительству решительный протест связи нарушением неоднократных обещаний придерживаться миролюбивой политики. Наш протест недвусмысленно изложить печати. Просьба срочно подробно доложить дальнейший ход событий».

Я уже заявил протест во дворце. Через час мне предстояло объявить о нем представителям печати. Что же касается доклада о ходе событий, то я не мог сообщить ничего полезного, пока сам до конца в них не разобрался. Поэтому я отложил в сторону телеграмму и позвонил генералу Толливеру, чтобы узнать о положении дел. Он изложил мне ситуацию ясно и четко.

— В самом городе пока все спокойно. Кунг вызвал три батальона под командованием генерала-католика, известного своей преданностью правительству. Принята еще одна мера предосторожности: диспозиция войск меняется каждые четыре часа. Гуэ также забит войсками. Во всех других частях страны сравнительно спокойно. Вчера ночью поступило сообщение о стычке между солдатами-католиками и буддистами в Ча-вине, но местное командование быстро ее пресекло. Помимо этого — никаких признаков открытых беспорядков в воинских частях или какой-либо переброски войск по приказу оппозиционных генералов. Военные операции против Вьет-конга протекают нормально, но моральное состояние солдат оставляет желать лучшего. Я усилил охрану во всех американских учреждениях — как гражданских, так и военных. Выслал небольшие патрули для охраны американских семейств. Вот пока и все, сэр. Если что-нибудь произойдет, я дам вам знать.

Итак, до сих пор Кунг вроде бы правильно оценивал ситуацию. Сейчас он хозяин положения. А вот как долго удастся ему быть хозяином — это уже другой вопрос. Зенитные батареи на территории дворца говорили о весьма серьезных сомнениях в преданности войск. Я вызвал Гарри Яффу и попросил его дать свое толкование событий. К моему удивлению, он подтвердил то, что сказал генерал Толливер.

— ...Сейчас Кунг, конечно, хозяин положения, и на данный момент нет человека, достаточно подготовленного, чтобы выбить его из седла. Город так и кипит, растет недовольство, но Кунг плотно захлопнул крышку котла, и пузырьков от кипения не видно. Я побывал везде и каждый час получаю донесения от различных агентов. Кунг, конечно, провернул все это очень ловко.

— Разрешите мне поставить вопрос прямо, мистер Яффа. Если я сейчас дам согласие на переворот, смогут ваши генералы его осуществить?

— Нет, сэр.— Он сказал это весьма решительно.— Если они попытаются это сделать сейчас, их раздавят в тот же день.

— В таком случае, может быть, Кунг и есть тот человек, который нам нужен,— волевой, сильный, который может поддержать порядок в стране?

— Не думаю. Вы видели город сегодня утром. Он в состоянии шока, столбняка. Каждый ищет, куда бы укрыться. Стоит приподнять голову — и получишь пулю в лоб. Но нельзя до бесконечности держать город на осадном положении. Люди должны есть, пить, им захочется вздохнуть свободно; войскам тоже захочется немного передохнуть. Словом, через неделю или дней через десять Кунг решит, что можно без особого риска снять крышку с котла. И тогда вы увидите, как он бурлит.

— Продолжим вашу мысль, мистер Яффа. Военное положение отменяется, войска выводят из Сайгона. Будут ваши генералы готовы в этот момент взять власть в свои руки?

— Если теперешний гарнизон будет распущен — да. Но позвольте мне быть совершенно откровенным с вами, господин посол, поскольку генералы были совершенно откровенны со мной. Никто из них не сделает ни

шагу без хотя бы молчаливой поддержки Соединенных Штатов. Их положение, понимаете ли, слишком уязвимо. Им необходимо наше одобрение.

— А если они его не получат?

— Тогда нам волей-неволей придется сотрудничать с Кунгом, с диктатором, который правит в вакууме. Если Вьет-конг начнет широкое наступление, дисциплина и моральное состояние солдат могут быть подорваны.

Наступила короткая, напряженная пауза. Затем Яффа в свою очередь спросил:

— А какую позицию занимаете вы, сэр? Вы встречались с Кунгом. Выслушали мнение ваших сотрудников. Я был вполне откровенен с вами. Какой выход из создавшегося положения видите вы?

— Сейчас я пока еще не вижу никакого. Я тоже буду откровенен с вами, мистер Яффа. Я нахожусь в этой стране всего вторые сутки. Наш президент поручил мне встретиться с президентом Кунгом и выяснить, не удастся ли мне вразумить его. Если нет, я должен рекомендовать то или иное альтернативное решение. Но пока я к этому не готов. Я еще не обладаю ни достаточными фактами, ни личными наблюдениями. Меры, предпринятые сейчас Кунгом, в известной степени работают на меня. Они дают мне время, чтобы ознакомиться с положением вещей.

— Понимаю,— сказал Яффа спокойно.— А теперь взгляните на вещи с моей колокольни. Я должен продолжать подготовку на тот случай, если кризис достигнет своего апогея и Кунга придется сместить. При этом я должен иметь возможность действовать и другим методом. В этом смысл моей работы. Поэтому позвольте вас спросить: насколько вы готовы доверять мне?

— Я готов доверять вам, мистер Яффа, ровно настолько, насколько вы готовы быть искренним со мной. Когда мы с вами встретились, вы мне сказали, что вы превосходный лжец. Ну, а я не могу делать рекомендации правительству, если они основаны на лжи — хотя бы даже чисто профессиональной. Я думаю, вам это понятно.

К моему удивлению, он откинулся на стуле и расхохотался. Хоженые ручки его описали по воздуху несколько кругов.

— Все кружим и кружим вокруг одного куста! Отлично, сэр. Вы изложили вашу точку зрения. Я ее принимаю. А теперь уточним. Что вам потребуется прежде всего?

— Прежде всего я хочу встретиться с теми генералами, которые участвуют или могут участвовать в перевороте и в низложении Кунга.

Он нахмурился и потер свои розовые щеки.

— Это не так-то просто. Соберите их всех под одну крышу, и самый тупой шпик тотчас учует заговор. Есть только один способ организовать такую встречу... австралийское, итальянское и некоторые другие посольства помогают мне время от времени. Они могут устроить обед или коктейль и добавить к списку приглашенных тех, кого я назову.

— Пусть будет так. Как быстро можно это сделать?

— Через три-четыре дня устроим первую встречу.

— Превосходно!.. Теперь еще одно. Кунг заявил сегодня утром, что ему все известно о вашей деятельности. Он обещал прислать мне подробный перечень ваших операций. А я обещал внимательно изучить этот документ и направить копию в Вашингтон.

Яффа снова рассмеялся.

— Мне бы тоже хотелось поглядеть на этот документ, сэр.

— Может это скомпрометировать вас, мистер Яффа?

— Разумеется, может. Но эта страна обладает одной удивительной особенностью, господин посол. Никакие гарантии безопасности здесь гроша ломаного не стоят. Все зависит только от того, какие у вас карты на руках и как вы ими играете да еще на какие семейные связи вы опираетесь и какие финансовые пружины пускаете в ход. Разумеется, Кунгу известны люди, работающие против него. Но как всякий старорежимный мандарин, он считает наличие заговора нормальным условием существования. До тех пор, пока для него неясно, во что в конечном счете может этот заговор вылиться, он уверен, что ему всегда удастся подкупить одного, запугать другого и отправить третьего в изгнание — послом в Каир... Поэтому меня, в сущности, не тревожит этот его документ. Для меня куда важнее убедить вас и снабдить необходимыми сведениями, чтобы в нужное время сделать наиболее целесообразный шаг.

— Целесообразный, мистер Яффа?

В голосе моем невольно прозвучала насмешка, но Яффа остался невозмутим. Он ответил быстро и решительно:

— Да, сэр. В политике не существует правильного и неправильного. Только целесообразное и возможное.

— В библии есть одно место, мистер Яффа, смысл которого примерно таков: «было целесообразно, чтобы один человек умер на благо всех». Вы рассуждаете примерно так же в отношении Кунга, да? Если генералы его низложат, они при этом еще и убьют его?

Вопрос застал его врасплох, и он поглядел на меня с досадой и удивлением.

— Убьют, сэр? Этот вопрос никогда не поднимался.

— В таком случае я хочу его поднять, мистер Яффа! Я хочу получить заверение в том, что правительство Соединенных Штатов не будет сделано козлом отпущения за целесообразное убийство!

Вот когда впервые под мягкой женоподобной внешностью мне открылась истинная сущность этого человека. Он не дрогнул, не смутился. Посмотрел мне прямо в глаза и выложил свой ответ, словно игрок — монету на карточный стол.

— Вы хотите получить заверения, господин посол? Они дешево стоят! Я получаю и раздаю их каждый день. Но не ручательства! Кто может что-либо гарантировать, когда начинают бить орудия? Не я! Я — разведчик, профессиональный заговорщик. Вам нужно новое правительство? Я подам его вам, как омлет на подносе. Вам нужна салфетка, чтобы вытереть остатки яйца с губ? Я снабжу вас и салфеткой. Но не требуйте от меня, чтобы я сделал омлет, не разбив яиц. Этого я сделать не могу. И никто не может!

Когда он ушел, по телу у меня вдруг пробежал озноб, словно повеяло холодом из выкопанной для кого-то могилы.

●

Энн Белдон принесла мне кофе и сандвичи и не отставала от меня до тех пор, пока я не согласился поесть. Я еще не успел уделить ей внимания и теперь почувствовал, что должен перед ней извиниться. Она спокойно выслушала меня, и мы принялись болтать о том о сем, давая себе передышку от напряженной работы и серьезных дел. Энн рассказала, что она вдова: ее муж — летчик — был убит в Корее. Она поступила на дипломатическую службу в Японии и некоторое время работала в Токио, потом на Тайване и в Бангкоке. Она недурно говорила по-французски, а сейчас брала уроки вьетнамского языка у одного профессора сайгонского университета. Разговаривала она непринужденно, движения ее были пластичны, и когда она улыбалась, глаза у нее становились веселыми и чуть-чуть лукавыми. Мысленно прикинув ее возраст, я решил, что ей лет тридцать пять.

Я заметил, что дипломатическая служба странным образом влияет на женщин определенного возраста и положения. От них требуется смекалка и расторопность, и в результате многие становятся сухими и деспотичными. Они живут в окружении мужчин, половина которых женаты, а остальные привыкли к случайным и порой довольно экзотичным любовным связям. Условности дипломатической жизни ставят женщин в трудное положение: в такой сложной обстановке, как, например, здесь, в Сайгоне, они нередко обречены на воздержание, от чего у одних развивается истерия, у других — половые извращения. Все старшие секретарши, с которыми до сих пор мне приходилось иметь дело, не отличались ни женственностью, ни эмоциональной уравновешенностью. Однако именно этими качествами обладала Энн Белдон, и я был рад побыть в обществе Энн перед пресс-конференцией с ее нервным напряжением.

Энн Белдон была слишком умна, чтобы обсуждать со мной сотрудников посольства, зато она живо обрисовала настроения и уклад жизни вьетнамцев.

— ...Вы не можете себе представить, как устал и разуверился во всем этот народ... Я бываю среди них, обедаю с ними, беседую с женщинами. Пока здесь было еще сравнительно спокойно, я иногда проводила конец недели в Далате у дочери моего профессора. Никто, по-видимому, не думает о том, что эта страна вот уже двадцать два года беспрерывно находится в состоянии войны — с того момента, когда пришли японцы и Хо Ши Мин создал первые партизанские отряды. Наверно, нужно быть женщиной, чтобы понять, что это значит. На ваших глазах великие мужи приходят и уходят, вы слушаете разные обещания — и вдруг ваш сын уже солдат, и в руках у него, как и у отца,— винтовка.

— Как они относятся к нам, Энн?

— По-разному. Их чувства сложны и противоречивы. Мы предстаем перед ними как некий символ свободы и обеспеченности, которых они лишены. Мы нравимся им. Они благодарны нам за то, что мы стараемся для них сделать, но они считают, что мы очень примитивны — слишком примитивны для древней, очень древней и сложной Азии. Французов они не любят, но, как ни странно, уважают больше, чем нас. Они говорят, что французы по-прежнему здесь хозяева: и банки, и кинотеатры, и резиновая промыш-

ленность, и воздушные линии — все принадлежит им, а американцы сражаются, чтобы французы могли и дальше вести здесь свои дела. И между прочим, это верно!..

— Но чего они все-таки хотят, Энн? Говорили они с вами об этом?

— Только мира. Мира — и боюсь даже, что любой ценой. Не могу сказать, чтобы я их за это осуждала.

Я это уже слышал однажды от папского легата; потом — от Мэла Адамса. Теперь я услышал это в третий раз — от женщины. Люди устали. Они потеряли веру. Они хотят только одного: спокойно спать по ночам. С чем прибыл я сюда? Что могу предложить взамен утраченного покоя? Кофе остыл, во рту от него горчило. Я отодвинул чашку и попросил Энн Белдон принести мои заметки для предстоящей пресс-конференции. Кладя их передо мной, она спросила:

— Можно мне сказать вам еще два слова, господин посол?

— Разумеется, Энн. Я вас слушаю.

— Будьте осторожны с представителями печати. Большинство из них очень молоды. Они принимают все близко к сердцу. Они рискуют многим и видят страшные вещи. Их обвиняют в том, что они описывают войну из бара «Каравелла», и они обозлены, потому что это неправда. При этом они по горло сыты нашими сладкими речами и будут пытаться снять с вас скальп.

— Благодарю вас, Энн. Мой прадед сражался с индейцами. И я уж постараюсь, чтобы мой скальп не остался тут у вас.

Я встал, и моя рука случайно коснулась ее руки, кожа у нее была удивительно прохладная и нежная, и я подумал, что мои пальцы давно уже не касались женской кожи.

Мэл Адамс и мой пресс-атташе собрали корреспондентов в конференц-зале посольства. Я сел. Зажужжали кинокамеры. Побежали ленты магнитофона. Пресс-конференция — или сессия суда?— началась. Они хорошо подготовились. Вопросы сыпались со всех сторон, и тем не менее допрос был учинен по тщательно разработанной программе.

— Господин посол, означает ли ваше назначение на этот пост изменение политики Соединенных Штатов по отношению к режиму Кунга или в ведении войны?

— Изменение политики? Нет. Мы здесь для того, чтобы помогать республике Южного Вьетнама вести войну против Вьет-конга и препятствовать распространению коммунизма в Юго-Восточной Азии. Мы никогда не отступали от этой цели.

— В таком случае это изменение позиции?

— Тоже нет. Мы пришли сюда как союзники, военные советники и поставщики военного снаряжения. Эта позиция остается неизменной.

— Все ли ваши советы принимаются во внимание?

— К сожалению, в некоторых весьма существенных вопросах они были отвергнуты. Правительство Соединенных Штатов решительно настаивало на том, чтобы правительство Южного Вьетнама приняло меры к устранению недовольства со стороны буддистского населения и обеспечило ему полную свободу вероисповедания, гарантированную конституцией. Этого не было сделано. Наоборот: начались новые репрессии и насилия. Мое правительство осуждает их и недвусмысленно подчеркивает свою к ним непричастность.

— Вы сами были свидетелем применения грубой силы в пагоде Са-лой?

— Был. И немедленно заявил решительный протест президенту Кунгу.

— Вы не можете ознакомить нас с тем, как был сформулирован этот протест?

— Могу вас заверить, что он был сформулирован в самых решительных выражениях.

— Упоминалось ли в нем о возможности применения санкций в случае невыполнения условий? Скажем, санкций в виде прекращения денежной помощи? Или военной?

— Пока я не намерен высказываться на эту тему.

— А президент Кунг уже высказался. Сегодня в одиннадцать часов утра он заявил, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела Южного Вьетнама, грубо угрожая применением экономических санкций.

— Это высказывание президента, а не мое.

— Он утверждает также, что американские агенты сеют смуту и разжигают недовольство среди нелояльно настроенных элементов в армии и государственных чиновников.

— Мое мнение, и я уже излагал это мнение президенту Кунгу,— что насилие и репрессии скорее приведут к взрыву недовольства, чем любые действия с нашей стороны, со стороны американцев.

— Вы отрицаете, господин посол, что ЦРУ или какая-либо другая американская организация принимает участие в антиправительственном заговоре?

— Я здесь немногим больше суток. Я слышал о заговорах буддистов, о заговорах католиков, о заговорах Вьет-конга. Но пока что мне еще не удалось обнаружить ни одного заговора в моем посольстве!

Они рассмеялись, но этот смех не разрядил напряжения — так смеется публика во время боя быков над забавным трюком матадора. Игра со смертью продолжалась, и нам предстоял еще долгий путь до «момента истины», когда будет заколот бык. Какой-то костлявый малый с хитрыми глазами и тягучим, типично австралийским акцентом сунул микрофон мне под нос и повернул допрос в другую сторону.

— Мы выиграем эту войну, господин посол?

— По моим сведениям — да.

— Месяц назад генерал Толливер заявил, что война может быть выиграна в шестьдесят пятом году. Вы согласны с этим?

— Я дипломат, а не военный специалист и не могу ответить на этот вопрос.

— Может ли война быть выиграна, господин посол, если Соединенные Штаты возьмут на себя военную инициативу и начнут наступление по всему фронту?

— В военном смысле она может быть выиграна, но это будет победа в вакууме, и мы окажемся в таком же положении, что и французы,— в положении колониальных войск в политически враждебной им стране. И притом это неизбежно приведет к эскалации, следовательно, к столкновению Америки с Китаем. А в настоящий момент никто к этому не готов.

— Внушает ли вам тревогу военная ситуация и чем?

— Наличием разногласий в главном командовании вьетнамской армии и недостатком хорошо обученного и сплоченного старшего и младшего офицерского состава.

— Являются ли репрессии против буддистов главной причиной разногласий в южновьетнамской армии?

— Пока нет. Но они содействовали понижению морального духа войск, вызванного, в первую очередь, политикой правительства, направленной на разобщение. И тут ничто не поможет, пока не будет изменен политический курс. В военном же отношении мы должны делать все, что в наших силах при существующих условиях.

— А что делается для изменения политического курса, господин посол?

— Как я уже сообщал вам, мы заявили весьма решительный протест президенту Кунгу. Мы будем действовать так и дальше и примем те меры, какие будут продиктованы обстоятельствами.

— Не можете ли вы уточнить эти меры?

— Сейчас — нет; возможно, позже.

— Предположим, что режим Кунга окажется неприемлемым для большинства народа. Как поступят тогда Соединенные Штаты?

— Это чисто гипотетический вопрос. Сейчас говорить об этом нет смысла.

Так они молотили меня целый час, пока не вмешался Мэл Адамс и не закрыл конференцию. Во рту у меня пересохло, рубашка взмокла от пота, в висках стучало. Когда мы поднимались по лестнице ко мне в кабинет, Мэл Адамс вынес свой вердикт:

— Крепко они взяли вас в оборот, сэр. Хорошо подготовились и дрались всерьез.

— А мы как справились, Мэл?

— Я бы сказал, что мы вышли из схватки с некоторым перевесом. Ваше сообщение о протесте было принято благожелательно. Они ведь уже были информированы насчет санкций. Вы в осторожной форме выразили неудовлетворение военным положением. Теперь подождем — и увидим, как это будет выглядеть в печати. Но надо быть готовым к тому, что нам могут врезать. Они понимают — простите меня, сэр,— они понимают, что мы преподносим им дымовую завесу вместо конкретного решения вопроса... Страховки ради я записал всю пресс-конференцию на пленку. Мы перепечатаем материал и отправим в Вашингтон. Сейчас мне пришло в голову, что было бы неплохо послать копию и во дворец — просто для сведения.

— Очень здравая мысль... Порой, Мэл, мне хочется вернуть былые дни тайной дипломатии. Джентльмены — все вместе, а чернь пусть утирает кровь.

— Мне тоже,— с жаром сказал Мэл Адамс.

— Хотите выпить?

Два бокала с Мэлом Адамсом, потом два часа за письменным столом —

доклады, телеграммы, письма,— и вдруг внезапно смертельная усталость охватила меня. Глаза горели, все тело ломило так, словно меня били батогами, машинописный шрифт расплывался... Я не без удовлетворения припомнил, что работаю почти тридцать шесть часов подряд. Пожалуй, хватит, и даже более чем хватит. Пусть хоть вся Азия с оружием, знаменами, слонами, фанфарами и барабанным боем явится сюда — я все равно отправляюсь спать.

Но сон долго не приходил. Тело обмякло, оно было отравлено усталостью, а мысли бешено вертелись в мозгу, словно пущенный вхолостую мотор. Они вертелись все время на одной оси, вокруг одного и того же вопроса: почему эта страна, истерзанная войной, но получающая колоссальную экономическую помощь, до сих пор не нашла в себе силы, волю или людей, способных ее сплотить и завершить то, что было начато двадцать два года назад?

Десятки людей давали мне на это десятки ответов, но ни один не в состоянии был объяснить страшный распад, происходивший на моих глазах. Вина ли это диктатора-затворника? Нет, не только: другие диктаторы, еще более жестокие, чем он, умели привить народу — хотя бы на время — сознание цели и стремление к единству. Раздоры среди генералов и правителей? Нет, и этого недостаточно: развал государства не мог принести пользы никому. Устал и разуверился народ? Но это лишь симптомы, а не сама болезнь. Религиозные распри? Они происходят время от времени в самом организованном обществе. Жестокий произвол полиции? Азия привыкла к жестокостям. Природа бывает здесь еще более жестокой, чем человек, к тому же люди тысячелетиями безропотно терпели здесь и голод, и чуму, и оспу, и глисты, и плети королевских фаворитов.

Так в чем же дело? Что, в сущности, является основой всякого единства? Где та пресловутая соломинка, за которую хватается человек, чтобы продлить свое бренное существование? Я такой же человек, как все. В эту тропическую ночь я лежал обнаженный, весь в испарине на своей одинокой постели. Во мне тоже гнездился страх, а извне подкарауливали опасности. Что сделал я или что мог сделать, чтобы не утратить внутренней цельности? Скачущие мысли мои внезапно перенесли меня назад, в сад Тенрю-джи, где Мусо Сосеки преподал мне первый урок на пути к просветлению:

«Природа человеческого горя, мистер Эмберли, лежит в чувстве отчуждения от естественного порядка, царящего во вселенной. Сатори приводит к просветлению разума, ощущение своей сущности и сущности вселенной проясняется и восстанавливается сознание подлинных связей и единства во вселенной».

Единство! Вот оно, это слово! Вот ключ ко всей проблеме человечества. И если человек не поймет, хотя бы смутно, что он такое и каковы его связи со всеми людьми на земле и с вселенной,— он не выживет. Поместите его в одиночную камеру со звуконепроницаемыми стенами, лишите света, звука, связи с миром — и он очень скоро утратит рассудок, и все функции его организма выйдут из строя. Вот в чем истинный смысл древнего анимизма Азии: человек должен умилостивить духов реки, скал и дерева, иначе естественные и необходимые связи между ними и человеком нарушатся и в мироздании воцарится хаос.

Сам того не подозревая, Мэл Адамс выразил эту же мысль другими словами:

«Единственные люди в этой стране, которые действительно понимают, за что они борются,— это католики».

Наконец мрак и тишина сгустились надо мной, я уснул и проспал двенадцать часов подряд.

●

Когда я спустился к завтраку, Джордж Гротон уже допивал последнюю чашку кофе. Глаза у него были красные и усталые. Я поинтересовался, что с ним, и он сказал, что поздно лег накануне: засиделся, просматривая документацию по буддистскому вопросу. Он считает, что материалов недостаточно и они неполноценны.

— Мне кажется, здесь нужно что-то предпринять, сэр.

— Что же, например, Джордж?

— У меня есть предложение. Я обдумал его сегодня ночью, и мне бы хотелось, чтобы вы взвесили его, сэр.

— Я слушаю.

— Вчера я довольно долго разговаривал в посольстве с этим монахом и еще с двумя монахами — в Миссии экономической помощи. Я сказал им, что хоть я и выбрал учение дзен, но по-прежнему остаюсь буддистом и поэтому сочувствую их целям и сложности их положения. Монах, что сидит в посольстве, оказался человеком неглупым и сразу взял быка за

рога. Почему бы мне не ознакомиться с положением на местах и не доложить потом лично вам? Он пообещал снабдить меня письмами к своим друзьям. Это даст мне возможность свободно передвигаться по пагодам... Я подумал, что это совсем не плохая мысль, сэр. Совершенно очевидно, что они попытаются использовать меня, потому что я кажусь — да отчасти так оно и есть — простоватым малым. Но, по крайней мере, я добуду информацию, так сказать, из первых рук, а мы этого пока что лишены. Если потребуется, я могу обрить голову и облачиться в желтые одежды.— Он улыбнулся своей широкой мальчишеской улыбкой и добавил:— Я ведь уже носил эту одежду, сэр. Ничего, довольно удобно. Конечно, я не знаю языка, но французский — ходячая монета среди образованных монахов.

— А вы подумали, как это рискованно, Джордж? Что будет, если вы попадете в одну из таких расправ, как та, что была вчера вечером?

— Это было бы весьма неприятно для президента Кунга и для вас.

— Ну, и вам могут проломить череп прикладом... Есть еще одно обстоятельство, о котором вы, очевидно, не подумали.

— Что именно, сэр?

— В армии есть своя разведка, у посольства — своя, а Гарри Яффа развивает бурную деятельность по своей линии. Вы же будете просто разведчик-одиночка, не имеющий ни официального положения, ни защиты. Это может создать большие сложности — и для вас и для меня.

Он снова широко улыбнулся и сказал не без лукавства:

— Но с другой стороны, сэр, конституция Соединенных Штатов предоставляет свободу вероисповедания всем гражданам. Я — буддист и хочу активно исповедовать свою веру... К тому же вы привезли меня сюда в качестве вашего специального помощника. А это как раз та помощь, которую могу вам оказать именно я и никто другой.

Его предложение было для меня крайне соблазнительным — еще бы: приватным образом получать сведения от опытного человека о совершенно новом явлении в Азии — буддизме, у которого появились тайные типографии, который ведет всемирную пропаганду и практикует публичные человеческие жертвоприношения! Мы поговорили об этом еще с полчаса, и в конце концов я согласился, поставив некоторые условия:

— ...Можете попробовать, Джордж, даю вам десять дней срока, посмотрим, к чему это приведет. Каждые три дня будете мне докладывать. Не смейте рисковать и строить из себя героя. При малейшем намеке на опасность сообщайте мне. Через десять дней мы заново все обсудим. Ясно?

— Вполне ясно, сэр, благодарю вас. Когда я могу ехать?

— Хоть сейчас, если хотите.

Он умчался счастливый, как жаворонок, а я закончил завтрак и попытался извлечь смысл из крикливых сообщений сайгонских газет. Я не знал — да и как я мог знать,— что минуту назад собственной рукой подписал смертный приговор.

●

О следующем дне я вспоминаю с особенной горечью, ибо теперь мне кажется, что именно с этого дня начались все предательства, с которыми я так или иначе оказался связан. Дипломатия — занятие, весьма близкое дихотомии, ибо она требует точного разграничения между случайным и непреложным, между справедливым и целесообразным, между неудобной истиной и приятной казуистикой. Никому не удается избежать дихотомии, и всех она подчиняет своим законам, а некоторых губит. Слишком часто человек бывает вынужден менять мнение, и в конце концов он начинает высказывать взгляды, противоположные тем, которых придерживался, или совершать действия, которые по внутреннему убеждению он должен был бы порицать.

Когда-то в Аргентине один мой коллега, очень милый, хотя и не слишком одаренный человек, дал мне типично южноамериканское определение дипломата:

— Дипломат, по существу, похож на древнего Авгура, который прорицает будущее, изучая внутренности птицы. Все безумие состоит в том, что он должен убить птицу, чтобы добраться до ее внутренностей.

Я повторил это определение одному англичанину, который с восхитительной самоуверенностью чиновника английского министерства иностранных дел дал другое определение:

— Это совсем, совсем не то, мой друг. Скорей уж дипломатия напоминает охоту на куропаток. Надо спугнуть птицу, прежде чем выпустить в нее заряд. Но если вам не повезет, вы можете промахнуться и вместо птицы убить загонщика.

В то утро я приехал в посольство отдохнувший, с ясной головой. Все, что я обдумал накануне, отчетливо определилось в моем сознании, и я ви-

дел — или думал, что вижу,— возможность начать конструктивные переговоры с президентом Кунгом. Разумеется, это будет лишь предварительная проба сил. Резкие слова уже были произнесены с обеих сторон, и радиоволны разнесли их по всему миру, тем не менее я готов был первый протянуть оливковую ветвь — пусть даже я выглядел бы от этого чуточку кривобоким, как голубь мира на рисунке Пикассо. Я уже набрасывал послание во дворец, когда вошла Энн Белдон и положила предо мной телеграмму от Фестхаммера:

«Мировое общественное мнение крайне возмущено последними сообщениями Сайгона. Вопрос буддистах ставится на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Алжир, Цейлон, Индонезия и Внешняя Монголия выдвигают предложение создания специальной комиссии ООН для расследования нарушений прав человека Южном Вьетнаме. Наше отрицательное отношение репрессиям уже выражено Вашингтоне и недвусмысленно подчеркнуто вами на пресс-конференции Сайгоне. Следовательно, мы вынуждены голосовать за внесенное предложение...»

Так, одним ударом были разрушены все мои миротворческие планы. Как я мог философствовать на отвлеченные темы с Кунгом, в то время как мое правительство выступало против него в Организации Объединенных Наций? Я был зол — разочарован и зол. Это была акция с позиции силы, а не дипломатия. С таким же успехом я мог бы расклеить на всех улицах Сайгона плакаты с угрозой применения санкций... Загонщики вспугнули птиц, но куда им лететь? Мы оба с Кунгом были загнаны в угол вольера, бросались друг на друга и бились крыльями о проволочную сетку.

Минут десять я в бешенстве шагал по кабинету, пытаясь осмыслить положение. Затем раздался телефонный звонок: говорил австралийский посол Арнольд Менсон. Наскоро поздравив меня с приездом, он попросил немедленно принять его. Я попытался сослаться на занятость, но он не отставал. Дело не терпит отлагательства, заявил он, и если я не могу с ним встретиться, он будет вынужден действовать сам по себе. Волей-неволей пришлось согласиться.

Через десять минут он уже был в моем кабинете — на удивление молодой, с копной курчавых волос, приятной открытой улыбкой... и отлично разработанным предложением.

Несмотря на свою явную молодость. Менсон был хороший дипломат и знал свое дело. И то, что он предложил мне, было вполне приемлемо.

— Есть один способ вывести всех из тупика.

— Какой же именно, мистер Менсон?

— Пусть президент Кунг обратится в Генеральную Ассамблею с просьбой прислать наблюдателей для изучения буддистского конфликта. Таким образом, он опередит тех, кто ратует за создание комиссии. Это даст возможность избежать долгих и ожесточенных дебатов, и вопрос о назначении официальной комиссии, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями, сам собой отпадет.

— Вы считаете, что Кунг может принять подобное предложение?

— Полагаю, что да.

— А кто должен подать ему эту мысль?

— Я готов это сделать, если вы не возражаете. Хотя было бы полезнее для дела, если бы она исходила от вас.

Предложение звучало соблазнительно, и я задумался, но затем вынужден был ответить отказом.

— Тут возникает слишком много проблем. Прежде всего, я в таком случае буду действовать не в унисон с Вашингтоном, а я этого делать не могу; во-вторых, это даст Кунгу право утверждать, что мы говорим одно, а делаем другое. Австралия же принадлежит к числу малых наций, и в этом смысле ее интересы совпадают с интересами Южного Вьетнама. Вы подаете Кунгу идею, исходя, так сказать, из ваших обоюдных интересов... Да, мистер Менсон, по-моему, вы вполне можете обратиться к нему.

— А как отнесется к этому Вашингтон?

— Получив мою телеграмму, они, мне кажется, тоже будут рады выбраться из тупика. Но, конечно, я ничего не могу обещать.

— Я понимаю. Во всяком случае я рад, что хотя бы мы с вами сошлись в этом вопросе.

— Я тоже рад, мистер Менсон. Все же какой-то проблеск солнца среди этих проклятых туч. Вы известите меня о том, как Кунг отнесется к вашему предложению?

— Я позвоню, как только переговорю с ним.— Он помолчал, затем осторожно спросил:— Могу я поговорить с вами минут десять неофициально — так сказать, не под стенограмму?

Я был слишком издерган, слишком устал, чтобы не почувствовать раздражения. И, пожалуй, излишне язвительно я напомнил ему, что в диплома-

тии все, рано или поздно, попадает в стенограмму, Но он не растерялся и не смутился, и это еще больше раздосадовало меня. Он только улыбнулся и сказал спокойно:

— Простите, мы просто по-разному понимаем это выражение. Откровенно говоря, мне, в сущности, безразлично, попадет это в стенограмму или нет, лишь бы это было принято как мое частное мнение, а не как мнение моего правительства.

Положительно каждый человек в Сайгоне хотел навязать мне свое частное мнение, а я пробыл здесь еще так мало и не успел составить свое собственное. Поэтому я спросил его довольно резко:

— Ваше мнение относительно чего, мистер Менсон?

— Относительно санкций.

— Насколько мне известно, мистер Менсон, никакие санкции еще не применялись.

— Но вы ими угрожали.

— Разрешите мне поправить вас, мистер Менсон. Вопрос о санкциях был поднят прессой, а не мной.

— Я это знаю, мистер Эмберли, но совершенно очевидно, что предупреждение о применении санкции — а это равносильно угрозе — было передано во дворец.

— Почему же это очевидно?

— Сегодня утром мне позвонили в посольство от имени министра торговли и просили помочь немедленно получить из Австралии пшеницу, рис и другие продукты, а если удастся, то и договориться с моим правительством о приемлемых условиях кредита. Это была официальная просьба, и она ставит нас в чрезвычайно затруднительное положение, так как мы уже снабжаем пшеницей в кредит коммунистический Китай. Если мы откажемся сейчас выполнить эту просьбу, нас могут обвинить в том, что мы морим голодом союзников и кормим врагов.— Его слова поразили меня, и он это понял, но все так же спокойно продолжал:— Я постарался выяснить, каково сейчас финансовое положение правительства Кунга. Оно располагает долларовым кредитом примерно на тридцать пять миллионов долларов, а кроме того, французские банки готовы кредитовать его приблизительно на такую же сумму. Следовательно, при нынешних расходах Кунг может продержаться около полугода, даже если будут применены санкции. Если же вы решите применить и военные санкции, то, естественно, начнете с отзыва административного персонала. Это не повлияет на ход военных действий, но, как мне кажется, приведет к еще большему падению национального духа, который, видит бог, и так уже достаточно низок.

Все это было очень близко к истине и крайне неутешительно. Теперь мне стало ясно, почему он предпочел высказать это в частном разговоре, а не заявил мне официально. Это позволяло ему не прибегать к осторожным иносказаниям дипломатического языка, а говорить прямо и резко.

— Могу я спросить, откуда у вас эти сведения, мистер Менсон?

— Американская дипломатия довольно широко пользуется гласностью, господин посол. Боюсь даже, чересчур широко, принимая во внимание различные интересы. Кое-какие сведения я получил здесь, в Сайгоне, остальные — через Канберру из Вашингтона. Мы, австралийцы, находимся в любопытном положении. Мы небольшая и плохо защищенная страна. Наше будущее теснейшим образом зависит от событий, происходящих в Юго-Восточной Азии. Нас только что весьма ловко заставили поддержать Англию в Малайзии, что, по-моему, еще обернется крупной исторической ошибкой. Одновременно с этим мы связаны договорными обязательствами с Соединенными Штатами, обязательствами, которые мы намерены соблюдать как официально, так и по существу. Именно памятуя об этих обязательствах, я должен быть откровенен с вами и настойчиво просить вас пересмотреть вопрос о применении санкций, а также ваши личные отношения с президентом Кунгом.

Для посла младшего члена СЕАТО это, право же, было слишком смело сказано. Вместе с тем в его словах несомненно содержался большой здравый смысл, но Менсон не дал мне времени собраться с мыслями, и я укрылся за спасительными формальностями.

— Благодарю вас за то, что вы мне сказали, мистер Менсон. Прошу вас не сомневаться, что я серьезно обдумаю наш разговор.

— Еще один вопрос, прежде чем я вас покину, господин посол.

— Какой же?

— Относительно этого буддистского монаха, который нашел убежище в вашем посольстве... Он может поставить в затруднительное положение и вас, и ваших друзей. Как вам известно, он является номинально главой недавно созданной организации под названием Национальный союз защиты буддизма. Мне дано понять, что этот человек был вдохновителем буддистских

самосожжений. По городу ходят слухи, что у него находится сердце буддийского мученика, которое исчезло из пагоды Са-лой во время полицейского налета. Быть может, это так, быть может, нет, но для людей невежественных это означает одно — их реликвия находится под охраной Соединенных Штатов... Однако еще более важным мне кажется то, что этот человек, как известно, связан с воинствующими буддистскими организациями в Бирме и на Цейлоне и с известными агитаторами, недавно изгнанными из секты санга и заключенными таиландцами в тюрьму в Бангкоке. Я запросил у наших людей в Таиланде более подробную информацию. Когда я ее получу, я с радостью сообщу вам.

— Буду вам весьма признателен. Я глубоко ценю вашу откровенность, мистер Менсон. Надеюсь, нам удастся разрешить наши общие проблемы.

— Я в этом уверен.— Он встал и все с той же приятной, открытой улыбкой протянул мне руку.— Благодарю, что вы нашли возможным уделить мне время, господин посол... и желаю удачи!

На этой, несколько неопределенной, ноте наша беседа закончилась. После нее у меня осталось довольно неприятное ощущение, что мой младший коллега держался достойнее меня, хотя я вдвое опытнее его и в десять раз влиятельнее. В дипломатии есть одно непреложное правило: надо всегда иметь надежных и дружески расположенных осведомителей. Я же был чудовищно груб с человеком, оказавшим мне профессиональную услугу. Если у меня не хватило выдержки в беседе с благожелательным союзником, как же я мог ручаться, что у меня хватит самообладания в предстоящих трудных переговорах?

И снова ровный голос Мусо Сосеки предостерегает меня: «Мне кажется, это большой риск, принимать такое назначение в столь сложную пору вашей жизни!» Самое любопытное, что я ведь и сам знал, какой это риск. Я был одинок и потому чувствителен к проявлениям дружбы. Я был облечен властью и потому склонен не доверять тем, кто оспаривал мои мнения или ставил под сомнение мой авторитет. Я был призван произвести перемену, но, оказавшись перед публикой, на ярко освещенных подмостках, почувствовал искушение произвести ее как фокусник, который вынимает живого кролика из атласного цилиндра.

Я все еще просматривал утреннюю почту, когда появился Мэл Адамс с довольно тревожными вестями. Президент Кунг принял решение выступить вечером в Национальном собрании. Он сделает доклад о военном положении и о буддистских беспорядках. Дворец постарался оповестить членов дипломатического корпуса, а также корреспондентов иностранных газет, что французский перевод речи президента будет роздан перед его выступлением.

Смысл всего этого был вполне ясен. Вызвав неодобрение Организации Объединенных Наций и публичные угрозы со стороны Соединенных Штатов, Кунг решил выступить на открытом форуме. Как глава суверенного государства, он имел непререкаемое право обратиться с речью к своим избирателям. Как вождь нации, находящейся в состоянии войны, он лишь исполнял свой долг, разъясняя народу свою позицию. Будучи представителем дружественной державы, я не имел никаких оснований порицать его за это, а как сторонник демократических форм правления должен был приветствовать его действия. На самом же деле я держал над его головой меч и, если он скажет неугодное мне слово, мог поразить его этим мечом.

Мэл Адамс прочел мои мысли и спокойно спросил:

— Вы будете в собрании, сэр?

— Я обязан там быть, Мэл.

— Речь может быть очень вызывающей.

— Я всегда могу покинуть зал.

— Простите, сэр, но мне кажется, вы должны довести такую возможность до сведения президента Кунга. Положение таково, что вас могут столкнуть лбами. А вы, по-моему, должны избежать этого любой ценой.

— Я попробую поговорить с ним, Мэл.

И я действительно попробовал. Я тут же, в присутствии Мэла Адамса, позвонил во дворец. И сказал, что хочу поговорить с президентом по крайне важному, не терпящему отлагательства делу. С неизменной вьетнамской учтивостью мне ответили, что президент занят на совещании и строго-настрого приказал ни под каким видом его не беспокоить. Он, без сомнения, позвонит мне, как только совещание закончится. Я вызвал Энн Белдон и продиктовал ей записку — ясную и дружественную. Один из сотрудников посольства отнес ее во дворец — в рассыльной книге значится, что мое послание было доставлено за двадцать минут до полудня.

Но вот часы пробили полдень, затем час, затем два. Из дворца по-прежнему не было ни слуху, ни духу. А в три часа я уже сидел рядом с Мэлом Адамсом на галерее дипломатического корпуса в Национальном собрании и готовился слушать президента Фунг Ван Кунга.

Он показался мне каким-то маленьким и незначительным, когда выступил вперед и заговорил. Его встретили почтительными, но не слишком горячими аплодисментами. Есть люди, одно появление которых возбуждает глубокие эмоции,— от них исходит ощущение силы, они как бы излучают ее; нередко бывает, конечно, и так, что это просто шарлатаны, прирожденные актеры, умеющие преподнести себя или обладающие большим запасом нерастраченной энергии, которая создает иллюзию духовной мощи. Президент Фунг Ван Кунг не принадлежал к числу таких людей. Он был сдержан, академичен, сух. Речь свою он читал по бумаге бесцветным голосом. Был в этом даже какой-то оттенок презрения, словно он хотел сказать: «Я прекрасно знаю вас всех и мало кого уважаю. Одних я купил, других — создал, а третьи уже вступили в заговор против меня и готовы меня предать. Я не стану раболепствовать перед вами или разыгрывать трагедию, чтобы вас развлечь. Я скажу вам то, что думаю. Хотите — соглашайтесь со мной, не хотите — не надо!..»

В какую-то минуту его сухой, монотонный голос чуть изменился, в нем послышалась ирония:

— ...Каждый день на нашей земле льется кровь для того, чтобы остановить агрессию и экспансию коммунистического Китая. А тем временем в Нью-Йорке, в мирном городе, на Ассамблее Объединенных Наций наши друзья или те, кто называет себя нашими друзьями, на свой лад предают нас. В нарушение наших национальных прав и Хартии Организации Объединенных Наций они намерены создать комиссию для расследования вопроса о соблюдении прав человека. Мы не боимся этой комиссии, но, к сожалению, нам приходится бояться наших друзей... В связи с этим наш наблюдатель в Организации Объединенных Наций получил указание передать Генеральной Ассамблее нашу просьбу создать группу наблюдателей для изучения положения буддистов в Южном Вьетнаме и последующего доклада. Мы сами приглашаем их, запомните это, мы не боимся свободного, открытого расследования. Нам нечего скрывать ...но похоже, что нашим друзьям есть что скрывать, ибо вместо того, чтобы честно и открыто обсудить вопрос, они действуют тайно за нашей спиной...

Это был грубый выпад, а заглянув в текст речи, я увидел, что дальше пойдет еще хуже. Все дипломаты смотрели не на оратора, а на меня. Мэл Адамс нацарапал мне записку: «Хотите покинуть зал?» Я ответил: «Нет, давайте досидим до конца!» Фунг Ван Кунг продолжал говорить все с тем же оттенком иронии в голосе:

— ...Как это ни странно и ни печально, то, что не удалось нашим врагам, делают за них наши друзья. Мы — последний бастион против коммунистической экспансии в Юго-Восточной Азии, а нам угрожают прекращением военной и экономической помощи... Что за странный вид безумия? Что должны думать сами американцы по этому поводу — те, кто сражается в наших отрядах в дельте? Те, кто работает рука об руку с нашим народом в деревнях, кто старается научить нас лучше вести сельское хозяйство и покончить с эпидемиями, от которых гибнет народ из века в век? Этих людей мы не обвиняем — это наши подлинные друзья... Но других, тех, кто поет на два голоса, кто на словах клянется нам в дружбе, а сам участвует в тайном заговоре против законного правительства... Если они устали сражаться, пусть уходят! Пусть оставят нам деньги и вооружение, мы будем драться одни! Мы начали перестройку нашей страны без их участия и готовы завершить ее без их участия, уверенные в правоте нашего дела и в конечной победе.

Он сошел с трибуны под гром аплодисментов. Но кто аплодировал? Друзья — его мужеству или враги — его безумию? Я не мог ответить на этот вопрос.

Мэл Адамс был расстроен.

— О, господи! Он в самом деле только подлил масла в огонь,— огорченно сказал он.— Идемте, господин посол.

Мы вышли. В воздухе парило, и грозовые тучи сгущались над неспокойным городом.

Глава 5

На военном фронте это был день сплошных неудач. Сражение у Тан-ана прошло неудачно. Сотни три вьетконговцев открыли огонь по смешанным частям южновьетнамских войск — пехоте, минометчикам и пулеметчикам, насчитывавшим человек четыреста. На рисовых полях и фруктовых плантациях простран-

ством в пять-шесть квадратных миль разыгрался кровопролитный бой. Вьетконг оставил на поле сражения тридцать пять убитых и десяток тяжелораненых, которые не смогли уйти сами. Среди правительственных войск оказалось сорок восемь убитых и шестьдесят с лишним тяжелораненых. Кроме того, они потеряли три пулемета, миномет и много стрелкового оружия американского производства. У Вьет-конга было захвачено куда меньше оружия, да и само оно было низкого качества. В итоге сражение закончилось значительной победой партизан, которые, согласно донесениям, уже стали подтягиваться к Сайгону.

Близ лаосской границы произошла более страшная трагедия. В занятом партизанами районе разбился истребитель-бомбардировщик Т-28 с американским пилотом и стрелком-вьетнамцем. На розыски из Да-нанга тотчас же вылетел спасательный отряд в составе двенадцати человек на двух флотских вертолетах. На небольшой высоте над речной долиной оба вертолета были обстреляны партизанами из зенитных орудий. Один вертолет рухнул в реку, другой еле-еле перевалил через гору и упал в джунглях.

Туда вылетел второй спасательный отряд на шести вертолетах, с американскими пилотами и вьетнамскими стрелками. Они тоже попали под сильный обстрел — два человека было ранено и один убит,— но им удалось разогнать партизан реактивными гранатами, напалмом и пулеметами. Приземлившись возле разбитых вертолетов, они нашли двенадцать трупов. Их перевезли в Да-нанг, чтобы потом доставить в Сайгон и там похоронить.

Все это сообщил мне генерал Толливер. По его немолодому худощавому лицу ходили желваки — он был зол и проклинал эту безрезультатную, но кровопролитную войну.

— ...И вот, пока президент, эта недоделанная старая дева, верещит в Национальном собрании про измену, пока Вашингтон блеет что-то насчет санкций и вывода войск, моих ребят убивают в воздухе, а горемычные дураки вьетнамцы истекают кровью, как резаные свиньи, на своих рисовых полях! Нехорошо, господин посол! Прямо скажем — паршиво! Я так и скажу Вашингтону! Я все выложу нашим чинушам в Пентагоне, и президенту Кунгу, и всему миру! Завтра привезут моих ребят, и я похороню их с такими военными почестями, что вы ахнете! И все сайгонские корреспонденты, все кинооператоры явятся, как один, пусть даже мне придется пригнать их под дулом. Надо как-то показать, что значит эта сволочная война для тех, кто вынужден воевать!.. Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали, господин посол. Вы — представитель нашего президента. Вы мне нужны.

— Я буду там, генерал.

— А Фунг Ван Кунг? Ведь это и его убитые.

— Отвечать за него не могу. И спросить его об этом тоже, пожалуй, не смогу.

И вдруг меня осенило: я совершенно хладнокровно и цинически представил себе, как можно обыграть эти похороны и решить дипломатическую дилемму, созданную речью Кунга в Национальном собрании. Мне не хотелось обсуждать это ни с кем, чтобы меня опять не сбили с толку противоречивые мнения. Мысль моя работала четко и ясно, я уже видел быстрый и вполне реальный способ прекратить политический скандал. Я прошел прямо в свой кабинет и попросил телефонистку соединить меня с президентом Кунгом.

На сей раз ждать не пришлось. Он отозвался быстро и был вежлив и дружелюбен, как и подобает человеку, который уже смыл нанесенные его достоинству оскорбления и теперь может позволить себе быть великодушным. Я ни словом не обмолвился о его речи в Национальном собрании, просто вкратце сообщил то, что узнал от генерала Толливера. Он сказал, что только что слышал то же самое от своих военных сотрудников. Он выразил сочувствие от имени правительства и попросил передать его личное соболезнование родственникам погибших. Он был явно взволнован. Я спросил, не будет ли он любезен принять меня немедленно, несмотря на поздний час. К моему удивлению, он согласился не колеблясь и предложил пообедать с ним во дворце. Мы будем одни, сказал президент, и он рад случаю познакомиться со мной поближе.

Вошла Энн Белдон. Пресса ждет моего высказывания по поводу речи Кунга в Национальном собрании, сказала она. Я с ходу продиктовал несколько строк, в которых сообщил, что в настоящее время изучаю текст речи Кунга и намерен воздержаться от каких-либо заявлений, пока не изучу ее целиком.

На моем столе лежала записка от Гарри Яффы. Он будет занят до шести вечера, но после шести хотел бы срочно переговорить со мной. Я написал, что могу принять его у себя дома между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Я был рад, что мне не надо разговаривать с ним сейчас. Хва-

тит с меня напоминаний о смерти, а Яффа все больше и больше походил на элегантного гробовщика.

Наконец пришел Мэл Адамс с кратким изложением речи Кунга. Он полагал, что я включу его в свое шифрованное послание в Вашингтон. Я велел ему послать речь в незашифрованном виде и добавить только, что я договорился с президентом Кунгом о немедленной встрече. Если мне понадобится отправить какое-нибудь срочное сообщение, его зашифруют и передадут ночные дежурные; если же особой срочности не будет, мой отчет может спокойно подождать до завтра.

— Прекрасная мысль, сэр,— сухо отозвался Адамс.— Мы уже по горло сыты «быстрыми реакциями» и «решительными протестами». Нам нужно немножко отдышаться и пригладить взъерошенные перья. Слишком долго мы вели свою политику на манер петушиного боя.

Мне нечего было ответить на эту колкость, поэтому я решил на сегодня покончить с делами и поехал домой принять ванну, побриться и переодеться к обеду.

Когда мы ехали через город к дворцу, до затемнения оставался целый час. На перекрестках еще стояли пикеты и рогатки, но на тротуарах уже толпились люди. Бары и рестораны были открыты, маленькие проститутки, как всегда, поджидали клиентов в такси и в колясках рикш. Нравственность в Сайгоне охранялась правительственными постановлениями. С девицей из бара разрешалось пить, но упаси боже взять ее при этом за руку. Танцы в общественных местах были делом подсудным. Любовные песни были запрещены, как подстрекательство к нарушению морали. Дома терпимости закрылись; древнейшая профессия теперь существовала лишь на основе личной договоренности, а бордельные магнаты взялись за другие дела.

Все подходы к дворцу по-прежнему строго охранялись, дула зенитных батарей боязливо принюхивались к ночному небу. На этот раз, однако, нас ни разу не задержали; часовые без всяких расспросов махали рукой, показывая, что путь для нас открыт, а на ступеньках дворца меня ожидал секретарь президента, поздоровавшийся с преувеличенной учтивостью.

Кунг принял меня в своей личной гостиной, пустоватой, но элегантной комнате, с панелями из тикового дерева, обставленной в холодном шведском стиле мебелью, сделанной вьетнамскими мастерами. Картины были хороши — отличный Руссо, таитянский Гоген, «Христос» Руо и большой великолепный триптих работы местного скульптора, изображающий рождество Христово. Я похвалил вкус Кунга; он улыбнулся и сдержанно пошутил:

— Французы — прекрасные художники, господин посол. Как колониальные правители, они значительно хуже.

Слуга принес напитки — виски для меня и стакан фруктового сока для Кунга. Мы поболтали о разных пустяках, и я убедился, что как ни старался Кунг казаться непринужденным, он был от природы застенчив и светская беседа давалась ему с трудом. Чтобы наш обед хоть наполовину удался, мне нужно было взять инициативу в свои руки. Я сказал, что хочу просить его о личном одолжении.

— Пожалуйста, господин посол. О чем же?

— Об одной простой вещи. День для нас обоих был трудный. Я хотел бы пообедать с вами спокойно и приятно и до кофе не говорить ни о каких делах.

Он мгновенно просветлел, и впервые в его голосе появилась неподдельная теплота.

— Я тоже этого желал бы, хотя в нашем с вами деле обычно трудно, а порой даже опасно давать себе отдых. Ну, а я по натуре анахорет и так и не научился непринужденно вести беседу.

— Что вы, господин президент, я бы этого не сказал.

Он засмеялся, и лед был сломан. Поначалу запинаясь, потом живо и непринужденно он стал рассказывать о своих студенческих годах в Париже, об эмиграции в Соединенные Штаты и о детстве, проведенном в семье из старинного рода мандаринов. С высоты своего целомудрия он сурово осуждал половую невоздержанность, и нетрудно было понять, что такие взгляды не завоевали ему привязанности азиатского народа, относящегося к половой жизни более чем благосклонно,— народа, для которого мужская сила властителя всегда была предметом гражданской гордости.

Обед был хорош, вина превосходны, но я заметил, что Кунг ел чрезвычайно мало, а вина не пил совсем. Больше всего меня поразило, однако, что перед обедом он прошептал молитву и привычным движением перекрестился. Мне было любопытно, как религиозность сочетается с другими чертами его характера, и я попытался навести его на эту тему, заговорив о том, как я приобщился к школе дзен. Он стал подробно расспрашивать меня и обнаружил широкую и тонкую осведомленность о способах просветления духа

в восточных и западных религиях. Он добавил — не без грусти, как мне показалось,— что его никогда не тянуло к подобным опытам над собой. Затем он сказал нечто такое, что меня очень заинтересовало:

— ...Тут многое зависит от темперамента, господин посол, и от степени неудовлетворенности собою или социальным строем, при котором живет данный человек. У индуса, например, гораздо более фебрильный темперамент, чем у китайца. Он — раб строгой и деспотической системы каст, а китайское общество зиждется на естественном продолжении рода. И в Индии мы видим развитие мистической и метафизической религии, достигшей высшей ступени в утонченности настоящего буддизма. Высшая же ступень в Китае — прагматическая чистота этики Конфуция. В Японии социальная система еще строже и сложнее, личность угнетена еще сильнее. И там мы снова видим чрезмерную утонченность чувств как в искусстве, так и в религии. У нас, вьетнамцев, больше сходства с китайцами; поэтому у нас буддизм выродился в смесь народной религии и обрядов махайяны, тогда как наш католицизм тяготеет к чрезмерной латинской формалистике. Я лично гораздо меньше, чем следовало бы, приемлю интуитивные наивности евангелия. По натуре я фарисей и янсенист, и даже дисциплина разума и чувств меня не могла изменить... Меня, вы знаете, называют великим инквизитором, но для этого нужно иметь черты жестокости, а я не жесток.

— Вам очень трудно дается терпимость, господин президент?

— Нет... не очень. Как частное лицо и как католик, я готов дать возможность каждому человеку губить себя, как ему вздумается. Но в жизни общественной — особенно азиатской — уважение всегда на стороне сильного.

— Но, разумеется, сильный должен стараться быть также и любимым?

Он на секунду задумался, потом запинаясь сказал:

— Это проблема, касающаяся моих личных свойств... Я всегда это сознавал... Я не люблю трогательных сцен, и мне совершенно несвойственно гладить деревенских детей по головкам и обнимать деревенских девушек и старух... Знаю, все это нужно было бы делать. Но не имея на то таланта, я бы, конечно, делал это плохо.

Значит, что бы там ни было, но он не фанатик, и мне оставалось только уважать честность, с какою он раскрылся передо мной. И он далеко не глуп, хотя поистине галльское преклонение перед разумом может привести его, как не раз приводило самих галлов, к каким-нибудь грандиозным глупостям.

Обед закончился, и Кунг повел меня на террасу, которая выходила в сад, окруженный высокими стенами. Поверху стены были обнесены колючей проволокой, и на каждом углу стояла сторожевая вышка, где виднелся вооруженный часовой, выделяясь зловещим темным силуэтом на фоне неба. Теплый, неподвижный воздух был насыщен запахом жасмина. Принесли кофе, а для меня и коньяк. Кунг закурил сигару — это была единственная роскошь, которую он себе позволил при мне. Затем он откинулся на спинку кресла и взглянул на меня сквозь вьющиеся спиралью струйки дыма. Глаза его стали непроницаемы, лицо превратилось в маску великого мудреца, в голосе появились церемонные, иронические интонации мандарина.

— Итак, наш маленький отпуск окончен, господин посол. Мы возвращаемся к делам. В каком же они положении?

— В опасном — и для вас, и для меня.

— Вот как?

— И поэтому, господин президент, я скажу вам всю правду. Как посол Соединенных Штатов, я завтра вручу вам официальную ноту протеста против несправедливых и необоснованных обвинений, которые вы предъявили моей стране в Национальном собрании. Сегодня, в частном разговоре, я могу сказать вам, что не одобряю санкций, хотя буду проводить их, если меня обяжут или дадут соответствующий приказ. Скажу вам также, что я не одобряю мер, принятых в Организации Объединенных Наций, и считаю, что вы поступили правильно, выдвинув встречное предложение провести открытое расследование... И при этом я должен добавить, что сегодня вы зашли слишком далеко. Вы сказали слова, которые нелегко будет взять назад. Вполне возможно, что вы настолько испортили отношения с нами, что их уже нельзя будет исправить. Я хочу их исправить, поверьте! Я готов поддерживать вас во всем, что может этому способствовать. Но вы должны помочь мне.

— Каким же образом вы предлагаете мне помочь вам, господин посол?

— Завтра из Да-нанга в Сайгон самолетом доставят тела наших морских пехотинцев и их товарищей — вьетнамцев. На аэродроме им будут оказаны воинские почести, а затем состоятся похороны соответственно религии каждого из погибших. Я хотел бы, чтобы вы вместе со мной встретили их на

аэродроме и присутствовали на похоронах. Таким путем мы заодно публично похороним наши разногласия.

Он чуть-чуть улыбнулся и одобрительно кивнул.

— Вы хороший дипломат, господин посол. Я отношусь к вам с большим уважением.

— Значит, вы согласны?

— Я этого не сказал. По-моему, мы должны тщательно продумать значение такой публичной акции, а также ее последствия. Во-первых, эта церемония будет устроена и проведена американским военным командованием, так?

— Да.

— Но ведь это наша общая война, не так ли? Американские военные здесь только советчики.

— Как бы вы их ни называли, они тоже погибают на этой войне.

— Но разве не мы должны оказать воинские почести погибшим американцам?

— Если вы готовы их оказать, господин президент, мы, разумеется, согласимся.

— Предположим, я это сделаю. Что тогда?

— Это будет воспринято, как жест великодушия и подтверждения нашей дружбы.

— В Америке, где народ сентиментален и склонен к драматизации,— возможно. Но здесь, знаете, что произойдет?

— Что, господин президент?

— В деревнях, на городских базарах люди вытащат счеты. Они будут считать, щелкая костяшками и прищелкивая языком. Они скажут: «В Дананге погибло десять американцев и два вьетнамца. И президент устраивает пышную церемонию и плачет на похоронах. В Тан-ане погибло сорок восемь вьетнамцев, а он не сжег даже палочки курения в их честь... Видите? Президент — христианин, рачья клешня, которая держит нас в рабстве у иноземцев».

— И вы в самом деле думаете, что так будет?

— Я это знаю. Кое-кто из моих генералов постарается, чтобы так и было. Это будут нашептывать людям монахи в желтых одеждах, переходя из дома в дом с чашкой для подаяния. Вьет-конг напечатает листовки и разбросает ночью по деревням.

— Но вы можете ответить им!

— Как?

— Завершив начатый жест. Поедемте со мной по стране. Давайте облетим на вертолете деревни. Покажитесь людям. Пусть они услышат ваш голос и почувствуют ваше присутствие. Вы заткнете рот шептунам и посрамите заговорщиков!

На несколько секунд мне показалось, что я его убедил. Полузакрыв глаза и опустив голову, он рассматривал рдеющий кончик своей сигары. Затем медленно поднял на меня глаза и заговорил мягко, с оттенком жалости в голосе:

— Вы все-таки не понимаете! Рачья клешня! Вы знаете, какой это имеет смысл в нашей стране, господин посол? Это символ иностранного эксплуататора и марионетки, которая пляшет под его дудку. Память о власти колонизаторов, как острый шип, глубоко вонзилась в плоть моего народа. Я не могу выставлять себя напоказ вместе с вами на вертолете. Вот если бы вертолет был мой, а вы были бы моим гостем — вы понимаете разницу? Чьей бы помощью я ни пользовался, все равно я должен выглядеть независимым, даже если вам покажется, что я упрям и пренебрегаю мнением иностранных держав. Нет другого пути, если мы хотим сохранить надежду на свободу, мир и независимость нашего государства!

— Тогда умоляю вас, господин президент, поезжайте по стране с вашими людьми! Покажитесь в деревнях! Докажите, что вы истинный вождь! Но, по крайней мере, объявите нас своими друзьями, а не врагами! Нельзя вам сидеть взаперти, не делайте из себя сварливого отшельника, который бранит тех, кто приносит ему хлеб, и не давайте вашим недругам повода для издевок!

— Я не могу покинуть свою резиденцию, господин посол, и вы это знаете!

— Но почему, скажите на милость?

— Потому что это местопребывание правительства, и если я уеду, оно тут же может оказаться в руках предателей и заговорщиков.— Своей маленькой рукой он указал на сторожевые вышки и темные силуэты часовых.— Они здесь не для украшения, вы это знаете. На мою жизнь покушались уже не однажды и много раз замышляли государственный переворот. Даже сейчас, пока мы с вами здесь сидим, люди высокого ранга, клявшиеся

мне в верности, плетут нити заговора. Вы должны это знать, потому что заговор против меня готовится даже в вашем посольстве.

— Вы не имеете права так говорить, господин президент.

— Разве? Я ведь уже заявил об этом публично.— Он резко выпрямился и быстро заговорил, тыча в меня сигарой.— Ну что ж, хорошо! Я пойду на сделку с вами! Завтра я приеду вместе с вами на похороны. Я поеду с вами по стране и объявлю, что мы уладили все конфликты. Я освобожу агитаторов-буддистов и студентов, но при одном условии!

— Каком же?

— Что мистер Гарри Яффа покинет мою страну в течение сорока восьми часов.

— Об этом не может быть и речи!

— Почему?

— Потому что это равносильно публичному признанию, что Соединенные Штаты руководят заговором против правительства. Если бы вы не бросили нам такого обвинения сегодня в Национальном собрании, я мог бы устроить так, чтобы Яффу отозвали. Но теперь, благодаря вам, это уже невозможно! Мне очень, очень жаль.

— А мне жаль вас, господин посол.

— Меня? Почему?

— Потому что при всей моей к вам симпатии, при всем уважении к вашему опыту, я вижу, что вы — человек несмелый. Я думаю, что вы к тому же и несчастный человек. Вы знаете правду, но не хотите признать, к чему она ведет. Неважно, что вы не признаетесь в этом мне,— это вопрос дипломатического такта. Сегодня я пытался раскрыться перед вами со всей откровенностью, на какую я способен, я показал вам, в чем моя сила и в чем моя слабость. Думаю, вы все поняли. Но вы не хотите считаться со мной, не говоря уже о том, чтобы из-за меня пойти на какой-то риск. Для меня вы абсолютно ясны, мистер Эмберли. Вы — умны и интеллигентны. Я интересую вас потому, что вы видите во мне человека, который заботится о духовных ценностях, который совершает ошибки, но достаточно честен, чтобы сознавать их... И несмотря на это, вы не желаете удостоить меня ни своею откровенностью, ни просто человеческим доверием. Где-то вы догадываетесь, что я прав, но хотите выйти сухим из воды в случае, если я окажусь неправ. Вы — как игрок в рулетку, которому хочется поставить на все номера сразу. Вы требуете невозможного совершенства. И хотите, чтобы вам одним махом разрешили древнюю и сложную проблему. По эту сторону бытия так не бывает. Вам нужна марионетка, плящущая под вашу музыку? Что ж, со временем вы, может, и вырежете себе такую игрушку из полена. Но потом убедитесь, что она, как маленький Пиноккио, лжет и плутует на каждом шагу, а ее нос, вынюхивающий, где пахнет выгодой, становится все длиннее. Вы называете меня монахом и отшельником. Может быть, вы и правы. Но у меня есть совесть, даже если она не такая, как у вас, даже если она не так гибка, как совесть мистера Гарри Яффы...

— Разрешите и мне сказать вам кое-что, господин президент?

— Вы мой гость. Ваша привилегия — говорить, что хотите.

— Тогда поговорим о Гарри Яффе. Я тоже не люблю его. Мне не нравится его ремесло, но мы этим ремеслом пользуемся, потому что оно нам необходимо. Как человек, Яффа мне несимпатичен. Но как бы мы с вами к нему ни относились, он сделал много полезного для этой страны. Вам не удалось бы так успешно провести свою программу в деревнях, если бы не Яффа. У вас не было бы ни особых оперативных групп среди нунгов, ни патрулирующих сампанов на восточном побережье. Без агентов Яффы в Лаосе и Камбодже у вас не было бы никакого контроля над контрабандной перевозкой оружия по реке Меконг... И еще одно, господин президент. Если и существуют заговоры против вас — а я не сомневаюсь, что они существуют,— то их устраивают ваши соотечественники. Представьте, что вас свергнут — кто будет управлять страной из Длинного дворца? Разумеется, не Гарри Яффа! Вы говорите, я требую невозможного совершенства наших отношений. А разве вы не требуете того же самого? Вас кормят, вооружают и снаряжают Соединенные Штаты, страна, чрезвычайно чувствительная к тому, как судят об ее политике. А вы раздражаете нас, оскорбляете и публично обвиняете в предательстве. И через секунду вы все же попросите у наших налогоплательщиков еще денег и еще оружия!.. Вы — человек мыслящий, господин президент, как же вы не видите, что это — безумие! Даже конгресс ни к чему не может принудить сто восемьдесят миллионов человек. А вы, так в них нуждаясь, сердите их, как, например, сегодня.

— Что же, по-вашему, я должен кланяться им в ноги, господин посол? Я должен пресмыкаться, как нищий с чашкой в руке, потому что я удерживаю американский форпост в Азии? У моего порога семьсот миллионов китайцев! Я их тоже сержу, и все же я стою на ногах и сражаюсь! Не за-

бывайте историю вопроса, господин посол. Это вы, американцы, первые начали публично упрекать нас за то, о чем вы знали только наполовину. Вы первые начали угрожать мне санкциями. И это было огромной вашей ошибкой. Как можно угрожать тем, кто смотрит смерти в глаза?

— Надо ли это понимать так, господин президент, что вы не будете присутствовать завтра на аэродроме?

— Не буду. Не могу. Но приедут мои представители — министр иностранных дел и члены Генерального штаба.

— И вы не поедете со мной по районам военных действий?

— Пока Гарри Яффа здесь — нет.

— Примете ли вы меры к освобождению буддийских монахов и студентов, которые сейчас находятся в тюрьмах?

— Когда мы закончим расследование, каждое дело будет рассмотрено в отдельности.

— Заручившись моей доброй волей и моей готовностью оправдать ваши поступки перед Вашингтоном и мировой прессой, намерены ли вы обдумать или предложить какую-то акцию, которая могла бы загладить причиненный вами вред?

— У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?

— Мне кажется, они должны исходить от вас, господин президент.

— Сейчас я ничего не могу предложить.

— Значит, мы вернулись к мертвой точке?

— Это сказали вы, а не я.

— Тогда разрешите мне откланяться, господин президент. Благодарю вас за приятный обед.

— Спокойной ночи, господин посол.

— Спокойной ночи, господин президент.

Я вышел из дворца в душную мглистую ночь, ошеломленный чудовищной иронией ситуации: два человека, отрезвленные бедою, сидели за обеденным столом, одинаково стремясь уладить свои разногласия, и через полтора часа кончили пустым препирательством, которое может стоить жизни миллионам людей и повернуть ход истории азиатских полуостровов.

Меня переполняла мрачная, горькая злость. Я обдумывал то, что говорил обо мне Кунг, и все больше убеждался, что это не что иное, как умышленное оскорбление. Я мог снести выговор от Мусо Сосеки, потому что он — мой наставник на пути просветления, но со стороны Кунга это недопустимая наглость, и я этого не потерплю. Разозленный, я поехал в посольство и продиктовал телеграмму Фестхаммеру:

«Сегодня обедал с президентом Кунгом и заявил решительный устный протест по поводу его речи в собрании. Предложил, чтобы он в качестве первого шага к примирению присутствовал завтра на похоронах экипажа наших вертолетов, а затем поехал со мной по районам боев. Я предложил всячески содействовать восстановлению дружеских отношений и сохранению его престижа перед прессой. Он отказался от всяких уступок по этому и другим вопросам. Предлагаю прекратить выплату денежной помощи с 12.00 в пятницу 9-го. Даю распоряжение Толливеру подготовить первую эвакуацию военнослужащих. Подробное донесение следует. Эмберли».

Вызвав генерала Толливера, я рассказал ему все. Он что-то недовольно проворчал и в завершение этого злополучного дня добавил еще одну новость: члены небольшой австралийской военной миссии обнаружили в северных горах два новых батальона Вьет-конга; из допросов пленных, захваченных у Тан-ана, выяснилось, что существует и третий. Дядя Хо и его правая рука — генерал Зиап, пользуясь беспорядками на юге, готовят широкие операции Вьет-конга во всех секторах. Я сказал Толливеру, что хочу немедленно объехать районы боев. Он помрачнел еще больше и минут десять описывал ожидающие меня опасности. Я все выслушал и сказал, что мне необходимо уехать хотя бы для того, чтобы дать Кунгу время переварить горькое лекарство и поразмыслить о дальнейшем.

Приехав домой, я застал там Гарри Яффу, которого Энн Бендон угощала поздним ужином — кофе с пышками. Это выглядело так по-домашнему, что меня вдруг кольнула непонятная ревность, и я оказался настолько слаб, что попросил Энн остаться с нами — быть может, придется записать кое-что из нашей беседы.

У Яффы был целый ворох своих неприятностей. Участников заговора напугал вызывающий тон речи Кунга в Национальном собрании. Они сочли это признаком того, что Кунг одержал победу в дипломатической борьбе с Соединенными Штатами и, чувствуя себя достаточно сильным, не боится остаться без чьей-либо поддержки. Кроме того, ряды заговорщиков стали редеть, обнаружились даже изменники. Несколько высокопоставленных чиновников попали под наблюдение тайной полиции. Два генерала отстранены от командования и переведены на административные посты в Сайгон — это

значит, что они будут связаны по рукам и ногам и лишены контактов со своими войсками. Чтобы оппозиционное движение не заглохло совсем, мы должны ясно и недвусмысленно показать, что мы — его сторонники.

Странно, что и Яффа как будто потерял свою обычную уверенность. Он был неспокоен и удручен, словно все его математические выкладки обернулись полной дичью. Он немного приободрился, когда я сообщил, что санкции будут применены в течение двадцати четырех часов. А когда я рассказал, что Кунг требовал его удаления из страны и я ответил отказом, Яффа заметно повеселел и стал объяснять, как он ценит мое отношение к нему. Грош ему цена, подумал я про себя, но решил не опровергать версию Яффы, поскольку она играла мне на руку.

Однако я все еще был зол и на себя, и на Кунга и потому вдруг решился еще на один шаг.

— Я хочу сделать одно заявление, мистер Яффа, а мисс Белдон его запишет. У каждого из нас останется по экземпляру, третий я пошлю в Вашингтон. Если я не сумею выразиться достаточно ясно, вы мне скажете, и я исправлю текст, но поскольку мы будем говорить под стенограмму, попрошу вас держаться в строго определенных рамках. Если вы их переступите, то за каждое свое слово отвечать будете лично вы. Это ясно?

— Вполне.

— Отлично. Энн, мы начнем так: «Сейчас уже совершенно ясно, что президент Кунг не намерен изменить свое отношение к буддистам. Ясно также, что он не откажется от тенденциозных и вредных заявлений, сделанных в Национальном собрании. Остается ждать, изменит ли он свою позицию после применения санкций. Если нет, вероятно, следует подумать о возможности оказать поддержку новому правительству, которое сумеет быстрее положить конец внутренним распрям и успешнее вести войну...» Возражений нет, мистер Яффа?

— Нет,— сказал Яффа.

— «С этой целью я, как посол Соединенных Штатов, готов санкционировать контакты и консультации с теми лицами, которые проявят желание и способность учредить новое правительство в тот момент, когда это станет необходимо. Однако я не намерен ни явно, ни тайно одобрять какие-либо попытки свержения существующего режима, пока не получу полной информации о том, кем именно и каким способом это предполагается осуществить, а также пока не получу одобрения Вашингтона...»

— Возражений нет,— сказал Гарри Яффа.

— «Я уполномочиваю мистера Гарри Яффу разъяснить лицам, с которыми он поддерживает связь, что мы ни под каким видом не можем одобрить политическое убийство. Я также уполномочиваю его потребовать гарантий, что в случае государственного переворота, который нами будет одобрен хотя бы и неофициально, личная безопасность президента Кунга и его кабинета министров будет обеспечена. Мистер Яффа уже заявил мне, что, даже получив такие гарантии, он не может поручиться, что они будут соблюдены. Это разумная оговорка, но она не освобождает его от обязанности приложить все усилия, чтобы следовать нашей политике в этом вопросе...» Это справедливо, мистер Яффа?

— Я бы не сказал. Но все равно, я согласен.

— «И наконец, наше одобрение каких-либо мер, направленных на свержение правительства Кунга, будет дано посредством условного знака, о котором мы с мистером Яффой договоримся заранее. Пока не будет дан этот знак, Соединенные Штаты никоим образом не могут считать себя обязанными поддерживать новый режим...» Это секретный документ, Энн; отпечатайте всего три экземпляра — мне, мистеру Яффе и Вашингтону.

— Благодарю вас, господин посол,— вежливо одобрил Яффа.— Это шаг по правильному пути. Теперь, по крайней мере, я буду знать, что работаю не в одиночку. Когда вы пожелаете побеседовать с генералами, дайте мне знать, и я организую встречу.

— Я собираюсь уехать из Сайгона на несколько дней, посмотреть, что делается на фронтах. Если вы хотите, чтобы я встретился с кем-то во время поездки, дайте мне знать.

— С одним человеком вы можете повидаться завтра же, если хотите, сэр. Это генерал Чан Хынг Дао. Завтра на похоронах он будет представителем от армии. А потом, вероятно, генерал Толливер пригласит его в штаб чего-нибудь выпить. Сейчас он — помощник начальника штаба, что при установленных Кунгом порядках ровно ничего не значит.

— Ему можно доверять, мистер Яффа?

— Давайте скажем так, сэр. Его положение в правительстве очень шатко. Он жаждет перемен. Он считает, что с нашей помощью сумеет урвать кусочек пожирнее. А потом на нем можно будет играть, как на свирели.

Он ушел, снова став прежним самоуверенным живчиком Яффой. Энн предложила сварить свежего кофе, но я налил себе виски и стал диктовать ей отчет о моей беседе с Кунгом. Долгая практика на дипломатической службе развила во мне слуховую память и обострила восприимчивость к ритму и оттенкам произносимых слов. И, восстанавливая наш разговор для стенограммы, я вдруг почувствовал, что у меня невольно складывается совсем иное впечатление, чем то, что заставило меня дать телеграмму Фестхаммеру и вступить в опаснейший сговор с Яффой.

Можно оправдать и то, и другое, и никто не посмеет усомниться в правильности моих решений. Я ведь «палка-выручалка», человек опытный, честный, изощренный дипломат, никогда не позволявший настроению взять верх над рассудком. Но в последний час этого злосчастного дня я понял, что поддался самообману. Я по-своему истолковал слова Кунга, и это спасло мою гордыню, но заклеймило меня как обманщика. Кунг не оскорблял меня — я действительно человек несмелый, человек, который не решился рискнуть ради очевидной правды, а постарался загородиться от нее благовидной казуистикой.

Фунг Ван Кунг был со мной очень откровенен. Он рассказал мне и о своих личных недостатках, и об общественных проблемах. Он просил меня верить ему, а я настаивал на немедленном и публичном отречении — на аутодафе, которое уничтожило бы его авторитет как главы государства. Он не требовал от меня оправдания своих ошибок, он просил отнестись к ним терпимее, чтобы не ухудшить дела. А я? Я не пожелал быть терпеливым, я категорически требовал действий и немедленных перемен. Я вознамерился совершить переворот самостоятельно. Эй, все сюда! Я маг и волшебник, я только что ступил на эту землю, а глядите-ка, какие я покажу чудеса! Махну рукой — раз, два, и вот вам из воздуха белый кролик, пара живых голубей, красный платок, кисть винограда, девичья головка и чудо из чудес — исправившийся диктатор, мудрый, как бог Саваоф!

Я продолжал диктовать, но слова жгли мне язык, как квасцы, и я дважды прикладывался к виски, чтобы прогнать это ощущение. Но голова моя была набита ватой, а руки стали дрожать. От выпитого виски, от неожиданно сделанного открытия перед глазами у меня вдруг пошли круги. Я настаивал, чтобы Кунг отрекся от своих слов в Национальном собрании. Но как мне теперь отречься от ловкой лжи, которую я послал в Вашингтон?

Энн Белдон захлопнула блокнот.

— Вам нужно лечь спать, господин посол,— тихо сказала она.— У вас был трудный день, и завтра предстоит такой же.

— Стоит ли ложиться, если в постели ждут только кошмары?

— Если хотите, я дам вам снотворное.

— Никогда не принимаю снотворного. Однажды попробовал и понял, как соблазнительно уснуть и больше не проснуться. Я лучше выйду прогуляюсь.

Она снисходительно улыбнулась и покачала головой.

— Гулять здесь негде. В городе — комендантский час. Вы не пройдете и ста шагов, как вас пристрелят.

— Тут есть сад.

— Вы подымете тревогу — там сигнальная система.

— Очень интересно. «Сад — это диво, видит бог!» Особенно если он засажен фотоэлементами и проводами... Как вы думаете, есть в этом саду кукушка?

— Кукушка?

— Это такая загадка, Энн... Кажется, сегодня я ее разгадал... Простите, что задержал вас так долго. Идите спать.

У подножия лестницы я споткнулся, и она протянула руку, чтобы поддержать меня. Я постарался не коснуться Энн, потому что завтра я снова должен быть господином послом.

●

Похороны наших солдат были во всех отношениях интереснейшим спектаклем. Я был одним из актеров и не мог нахвалиться режиссурой генерала Толливера. В десять тридцать, минута в минуту, я выезжаю из ворот посольства вместе со своими помощниками и военным атташе. В десять пятьдесят я прибываю на аэродром и обхожу почетный караул, выстроенный на посадочной полосе. В одиннадцать приземляется самолет, из него выносят гробы с телами убитых. Военный капеллан читает заупокойную молитву. Я произношу короткую речь от имени президента Соединенных Штатов и вместе с генералом Толливером сопровождаю похоронную процессию на кладбище.

Однако, как это часто случается в театре, закулисная драма оказалась гораздо значительнее той, что разыгрывалась перед рампой. В девять тридцать явился Мэл Адамс с известием, что вьетнамский министр иностранных дел не сможет присутствовать на церемонии в аэропорту. Нынче ночью он почувствовал себя плохо, и врач запретил ему вставать с постели. Он просит принять его глубокое сожаление и искреннее сочувствие. Поскольку о замене не было речи, следовало полагать, что все министерство иностранных дел страдает тем же дипломатическим расстройством желудка. В девять сорок пять Толливер доложил, что из Да-нанга не выпустили тела убитых вьетнамцев и что тамошнему командованию дан приказ похоронить их на месте без особых церемоний. И это еще не все. Вьетнамский почетный караул отозван с аэродрома, и из официальных представителей будут присутствовать только помощник начальника генштаба и его адъютант.

Все это было сделано весьма по-восточному и весьма хитроумно. Одним махом нас как бы отрезали от всего — от вьетнамского народа, от войны, от наших товарищей по оружию. Никакой договор не мог бы определить наш статус точнее. Мы — банкиры, поставщики вооружения, военные консультанты. Гибель наших солдат — печальный, но незначительный эпизод в борьбе народа не на жизнь, а на смерть. Если нам хочется превратить смерть этих людей в трагедию — дело наше. Толливер был взбешен и имел к тому все основания. Я же втайне обрадовался. Вот и оправдание моей политической акции, хотя оно и не облегчало мою растревоженную совесть. И все же, стоя на гудроне и глядя на медленно катившийся громоздкий, помятый самолет, я почувствовал, что до слез растроган жестокой простотой этой минуты.

Гробов было десять — десять длинных ящиков, сколоченных деревенскими столярами из дерева, растущего в джунглях. Ни лака, ни отделки на грубо оструганных досках, и только на каждой крышке раскаленным железом выжжена фамилия и номер. Их вынесли из самолета на плечах молодые летчики с суровыми, заросшими лицами, похожие на героев старинной и страшной легенды.

Перед ними, поблескивая начищенным оружием на утреннем солнце, выстроились чистенькие, щеголеватые солдаты. Летчики шли мимо в пропотевших комбинезонах, в кожаной и брезентовой амуниции, с пистолетами на боку и висевшими на груди кинжалами. Лица их осунулись и почернели от солнца и тропической лихорадки, глаза были угрюмы и красны от недосыпания. Они шагали медленно, вызывающе, презрительно не замечая тех, кто пришел отдать запоздалую дань уважения их мертвым товарищам.

Между сомкнутыми рядами караула стояли десять орудийных лафетов и возле каждого — сержант-знаменщик. Летчики водрузили гробы на лафеты, знаменщики покрыли каждый гроб флагом Соединенных Штатов. Молодые летчики стали по четыре у каждого гроба, словно утверждая право собственности на своих мертвецов. Полковой священник, выступив вперед, стал читать заупокойную молитву; зажужжали кинокамеры, началась неприличная беготня фоторепортеров. Я не слушал священника, ибо думал о том, что скажу я, и в то же время боролся с острым чувством вины за собственное лицемерие.

Эти юноши умерли насильственной смертью, их зароют в чужую землю, под звуки выстрелов и горнов. Юноши! Не я, не Толливер, не Кунг или Яффа, а эти мальчики, наследники прошлого, творцы будущего, которые могли бы растить детей, сажать сады, открыть новые пути в науке, увидеть на вершинах гор видения, уже не доступные нашим глазам. Теперь их глаза никогда ничего не увидят, а рты будут забиты землей. Тела их сожрут черви, а из сердец вырастут пышные тропические цветы... Мы устроили им последние проводы, но политиканы вроде меня превратили эти проводы в фарс...

В проведении всяких церемоний я — человек весьма искушенный; я приготовил простую, вполне невинную проповедь о заслугах тех, что погибли за благородное дело. И вдруг я понял, что произнести ее не в силах — слова застрянут у меня в горле.

Священник кончил молитву и уступил мне место у микрофона. Я услышал чей-то чужой голос, произносивший совсем не ту панихидную речь, что была заготовлена мною. Вокруг замигали лампы фотографов, репортеры бешено застрочили в блокнотах.

— ...Мне сегодня невыносимо стыдно. Мне стыдно за то, что наших погибших нам пришлось хоронить отдельно, словно врагов, на этой земле, куда нас пригласили как друзей и союзников. Мне стыдно, что наши деньги, наши самолеты и оружие ценятся здесь куда больше, чем люди, которые воюют и умирают далеко от своей родины... Грустно и страшно, по-моему, то, что в разгаре войны за жизнь народа в стране происходят гражданские беспорядки, религиозные междоусобицы, полицейские зверства и сущест-

вуют лагеря для заключенных. Все это — оскорбительно и для наших погибших, и для их товарищей — солдат из армии Южного Вьетнама, которых нам не позволили сегодня проводить с последними почестями... Они теперь безгласны, они рассчитывают, что за них скажем мы. А мы тратим время на публичные дебаты и частные ссоры и обвинения, рассчитанные на хлесткие заголовки в ежедневной прессе. Мне стыдно, что я, посланный сюда президентом для установления мира и согласия, оказался втянутым в эти бессмысленные перебранки. Сейчас, перед лицом мертвых, я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы мне не было больше стыдно. Я заклинаю тех, кто правит этой страной, объединиться со мной для достижения этой цели... И да поможет нам бог!

Я отступил от микрофона; генерал Толливер прошептал мне на ухо:

— Великолепно, господин посол! Слава богу, нашелся человек, у которого хватило смелости высказать этим негодяям всю правду!

Он упустил одно обстоятельство, или, вернее, я, прибегнув к инстинктивному самообману, не упомянул о нем. Кунг по-прежнему злодей. Я — по-прежнему белый рыцарь без страха и упрека. Сейчас уже поздно говорить о том, что я втайне сознавал: несмотря на все мои благородные слова, несмотря на мою оскорбленную добродетель, я ведь тоже был одним из этих негодяев.

Глава 6

После похорон генерал Толливер пригласил меня на завтрак к себе в штаб.

Я с благодарностью согласился, радуясь возможности отвлечься и хоть ненадолго перенестись в мир профессиональных солдат, где все гораздо проще и яснее. В юности я долгое время втайне презирал тех, кто способен навсегда подчинить себя патриархальному укладу армейской жизни. Сейчас, к стыду моему, я им завидовал. Я завидовал тому, как они, не задумываясь, вершат свое смертоносное дело. Я завидовал тому, что в солдатской дисциплине есть своя этика и что, подчиняясь приказу сверху, пусть даже неудачному, они уже заранее освобождены от всякой ответственности за дальнейшее. Чувство собственного достоинства у них более оправданно, чем у меня, потому что, служа своему делу, они всегда рискуют жизнью.

Толливер оказался прекрасным хозяином; чувствовалось, что сотрудники относятся к нему с искренним уважением. За столом шел живой разговор — смелый, критический, перемежаемый воспоминаниями о доме и сдобренный анекдотами из походной и гарнизонной жизни. Это была как бы единая семья, гордая своим родом, и гордость эту, казалось, разделял даже вьетнамский генерал Чан Хынг Дао. Меня тоже приняли как своего, ибо я был представителем их Верховного главнокомандующего, но при этом они не скрывали вежливого презрения к моей замысловато-сложной и бесплодной работе. Все это подействовало на меня, как живительный душ, хотя и не облегчило моей совести. Но завтрак кончился, и мне пришлось опять окунуться в дипломатические интриги.

Генерал Толливер сделал знак мне и Чан Хынг Дао и увел нас в отдельную комнату. Предложив нам кофе, сигареты и отличный коньяк, он оставил нас наедине. Он — старый вояка, а не дипломат. Он не желал участвовать в нашей нечестной игре.

Чан Хынг Дао оказался для меня сплошной неожиданностью. Прежде всего, для вьетнамца он был, можно сказать, гигантом. Могучего телосложения, с хорошо развитой мускулатурой, он был почти шести футов ростом. При этом у него были ясные глаза и подкупающая улыбка. По-английски он говорил почти безупречно. Он походил скорее на шанхайца, чем на вьетнамца, а первый его ход в этой игре меня даже слегка ошеломил.

— Как вам известно, господин посол, я, с точки зрения моего президента, являюсь заговорщиком. Иначе говоря, я — генерал, считающий, что мы проигрываем войну, и гражданин, не довольный своим правительством. Я ищу способ изменить и военную, и гражданскую ситуацию. Если я правильно понял мистера Гарри Яффу, у вас есть свои соображения на этот счет.

— Да, есть, генерал. Но это не значит, что я готов ими делиться.

Меня всегда раздражают азиаты, которые считают, что с людьми западными надо действовать энергично и нахраписто. Мне кажется, отказываясь от свойственной им утонченности, они ведут себя вульгарно и неестественно. А потому я ответил этому мускулистому генералу довольно резко. Он почувствовал это и, видимо, поняв, в чем дело, следующие слова произнес уже более сдержанным тоном:

— Прошу прощения, господин посол, но ведь вы уже сделали некоторые вполне откровенные заявления. Впрочем, быть может, следует выразиться осторожнее: вы не возражали бы против изменения политической атмосферы.

— Атмосферы — да. Но это не означает смену правительства.

— Вы полагаете, что одно возможно без другого?

— Это мне пока не ясно.

— Но если события докажут необходимость смены правительства, если, например, ваши протесты не будут приняты во внимание, а намеченные вами санкции не окажут действия,— что тогда?

— Тогда мы позаботимся, чтобы эту смену осуществил сам вьетнамский народ.

Он взял рюмку с коньяком, понюхал, сделал глоток и поставил на стол.

— Я вижу, господин посол,— иронически-небрежным тоном сказал он,— что вы очень любите точность, поэтому я постараюсь быть точным. Вьетнамский народ... Что это, собственно, такое? Горцы, живущие в горах первобытной жизнью? Рыбаки дельты, не умеющие ни читать, ни писать? Народность таи? Шамы? Крестьянин на рисовом поле, который не имеет права голоса, а если бы и имел, то не смог бы им пользоваться, потому что у нас нет выборов, как в Америке? Если смена правительства необходима, то ее должны совершить люди просвещенные, организованные, имеющие материальные средства для ее осуществления. И при новом правительстве надо будет управлять страной и вести войну, если мы не хотим создать полный хаос и кончить плачевным нейтралитетом, как наши соседи. Вы, разумеется, понимаете это?

— Понимаю. Но пока что, генерал, вы говорите о том, что д о л ж н о быть сделано. Меня больше интересует, что м о ж е т быть сделано и каким образом.

Я уже привык к восточным диалогам и ждал, что он либо совсем обойдет мой вопрос, либо ответит весьма уклончиво. Но ни того, ни другого не случилось. Он подарил меня широкой улыбкой, удобно откинулся на спинку кресла и сказал:

— Итак, что может быть сделано. Можно устроить государственный переворот. Насколько я понимаю, переворот — это смена правительства, осуществленная сразу, одним ударом. Это не революция, которая для нас превратилась бы в кровавую трагедию. Переворот означает нажим на определенную точку и в назначенное время: прежнее правительство, потеряв равновесие, рушится, и его место занимает новое... Кто же может сделать этот нажим? Только армия: она организованна, она располагает живой силой и на крайний случай — оружием.

— Стало быть, волей-неволей мы получаем военную хунту?

— А чем она отличается, господин посол, от нынешней военной диктатуры?

— Хунта может оказаться недолговечной.

— Она будет более умеренной, так как внутреннее равновесие и дисциплина не дадут развиваться экстремизму.

— Все-таки тут еще много разных «если».

— «Если» существует всегда и везде, господин посол. Помните, как в христианской молитве: «Если смерть моя настигнет меня во сне...» Единственное, что бывает наверняка — это смерть.

— Итак, переворот должна совершить армия. Как же он может произойти?

— Весьма конкретный вопрос, господин посол...

На стене напротив него висела большая военная карта Южного Вьетнама. Он поднялся с кресла, прошел через комнату и стал у карты — точь-в-точь как учитель, старающийся что-то вдолбить тупице ученику. Он по-прежнему раздражал меня своей полнокровной самоуверенностью.

— Наша армия состоит из четырех корпусов. Первый корпус держит под контролем северо-восточный сектор страны — от границы Северного Вьетнама через Туран и до западной границы. Второй корпус — его база в Плей-ку — контролирует районы центральных плоскогорий. Третий корпус — дельту. и у четвертого — особый сайгонский сектор. Кроме этих соединений, у нас есть еще небольшой военный флот, который не играет роли в наших планах, и небольшой воздушный флот, который в них играет очень большую роль. Итак!.. — Он ткнул в карту длинным выразительным пальцем.— Особый сайгонский сектор — это защитное кольцо вокруг столицы и резиденции правительства. Сейчас он находится на чрезвычайном положении; командует корпусом католик, безоговорочно преданный правительству. Солдат же — за исключением дворцовой охраны — можно склонить в любую сторону. Итак, стратегия захвата власти делится на четыре

этапа. Прежде всего мы перебрасываем сюда два специально отобранных батальона из Северного и Центрального районов. И еще один перебрасываем с юга. Таким образом, получается три острия, направленные в самое сердце столицы. Второй этап. Мы овладеваем штабом третьего корпуса, и это соединение остается без руководства. Тогда уже командиров частей нетрудно будет уговорить, чтобы они присоединили свои части к нашим трем батальонам. Третий этап. Соединения военно-воздушных сил держат дворец и весь город под угрозой бомбежки. Четвертый этап. Столица и войска в наших руках. Мы формируем правительство, возглавляемое комитетом из трех-четырех генералов. Мы введем в состав правительства штатских, которые сейчас руководят разными департаментами и смогут делать свое дело как полагается.

Он умолк и повернулся ко мне с уверенной улыбкой, словно только что начертал под теоремой Пифагора Q.E.D.*. Но, несмотря на лихость, с какою он решил ее, я не был склонен принимать это доказательство на веру.

— Насколько я понимаю, генерал, вы можете сделать этот шаг в любую минуту по собственной инициативе. Почему же вы медлите? Зачем вы обратились ко мне?

— Потому что нам необходим... как бы это сказать?.. катализатор, ускоряющий химическую реакцию. Одну минуту, я вам сейчас все объясню. Командующий первым корпусом — сильный, волевой человек и хороший солдат. Он ненавидит нашего президента, так что целиком за нас. Но для того, чтобы подвести свои войска к столице, он должен пройти через район второго корпуса, а его командующий настроен нерешительно. Нынешнее правительство ему так же не по душе, как и мне, но губернатор той провинции, где расквартирован его корпус, относится к нему враждебно, поэтому он побаивается риска. Так же обстоит дело и с командующим третьим корпусом, что находится в дельте... Вот в чем сила нашего президента: он никогда не назначит двух друзей в один район. Он всегда подбирает людей, которые друг с другом на ножах.

— Какова же ваша роль в этом плане, генерал?

— Я сижу здесь, в Сайгоне. На моей ответственности — захват штаба третьего корпуса и привлечение войсковых командиров на нашу сторону.

— А ваши воздушные силы?

— Там все до единого за нас. Но воздушные силы зависят от Соединенных Штатов, в смысле горючего и технического обслуживания, поэтому их надо убедить, что им не помешают подняться в воздух их же собственные союзники.

— По сути дела, генерал, вы хотите сделать нас соучастниками мятежа.

— Нет, господин посол. Мы всего-навсего просим дать нам страховой полис.

— И каковы же точные условия этого полиса?

— Их три, господин посол: не предавать нас, не вмешиваться и по-прежнему поддерживать нас деньгами и оружием, после того как мы создадим новое работоспособное правительство... О, простите! Есть еще одно условие, и притом чрезвычайно важное. Нам необходимо какое-то заверение с вашей стороны, что условия полиса будут соблюдены.

— Документ очень ясный, генерал, хотя он пока что проблематичен. Однако, с нашей точки зрения, в нем кое-чего не хватает. Мы хотели бы видеть в нем еще один пункт.

— Какой же, господин посол?

— Что в случае смены правительства президент Кунг и другие члены кабинета будут ограждены от насилия и жестокости, что они будут взяты под стражу, а затем получат право свободного выезда из страны.

Настала долгая пауза — генерал задумался. Он втянул губы, потом выпятил их. Затем подошел к столу и залпом выпил свой коньяк. Наконец он сел и рассеянно уставился на дым своей сигары.

— Если мы дадим такую гарантию, господин посол,— ровным тоном произнес он,— будете ли вы оказывать нам поддержку согласно изложенным мною условиям?

— В том случае, если подтвердится, что ныне существующее правительство действительно не способно выполнять свои функции.

— Конечно, с вашей точки зрения, господин посол?

— С моей и с точки зрения моего правительства в Вашингтоне... Разумеется, у вас есть полное право действовать независимо и на свой риск.

— С вами трудно договариваться!

---

* Q. E. D. — что и требовалось доказать (*лат.*).

— А я вовсе не договариваюсь, генерал. Я обсуждаю гипотетический случай, который, как мы надеемся, может и не произойти.

Его гладкое лицо помрачнело, взгляд стал холодным и настороженным. Однако он отлично владел собою и сказал прежним тоном:

— Вы отлично играете в покер, господин посол. Но нельзя всю жизнь ждать четырех тузов. Можно выиграть и с худшими картами на руках.

— Разрешите мне кое-что вам объяснить, генерал. Мы не можем выиграть, потому что наши карты подтасованы. Вот вчера, например, как кончилась игра? Мы потеряли десять человек и истратили полтора миллиона долларов из денег наших налогоплательщиков. Сегодня мы уже истратили приблизительно восемьсот тысяч долларов! А что получили взамен? Просьбу согласиться на весьма рискованное страхование военного переворота, осуществляемого тремя колеблющимися и одним ретивым генералом, который не может обеспечить собственные коммуникации... Понимаете, как это выглядит?

— Чего же вы хотите, господин посол? Чтобы зло, которое вам известно, и зло, вам неизвестное, были выставлены на аукцион?

— Нет. Мы хотим дружественного нам правительства, которое могло бы поддерживать порядок, соблюдая при этом справедливость, и довести войну до конца с тем, чтобы обеспечить Южному Вьетнаму безопасность и мир.

— Если я вам это пообещаю, то окажусь лжецом.

— Что же вы можете обещать, генерал?

— Дружественное правительство — да. Объединение армии — да. Мир с буддистами — да. Прекращение гражданских беспорядков — да. Остальное — со знаком вопроса, но я уверен, что мы справимся лучше, чем теперешнее правительство.

— Но вы еще не готовы.

— Это верно.

— Когда же вы будете готовы?

— Месяца через полтора — если только у нас будут основания надеяться на этот страховой полис.

— Если вы способны организовать вооруженное восстание, почему же вы не можете разумно договориться с нынешним правительством? Располагая тремя корпусами и воздушным флотом, вы безусловно можете поставить президенту Кунгу свои условия.

— Но он сорвет нам любые переговоры! Он будет сеять раздоры, разделять и снова разделять, он пустит в ход подкуп и угрозы, пока не вымотает наши силы. У него такая тактика. Он — мастер этого дела. Никакие убеждения на него не действуют. Вы это сами знаете. Испытали это на себе. Он не пожелает разговаривать ни с кем, кроме господа бога — и то, я думаю, бог останется на бобах! — Он стукнул по столу кулаком; от злости голос его сбился на резкий фальцет.— Нужна, наконец, ясность, господин посол! Мы не дети! По сравнению с прошлой неделей Вьет-конг стал сильнее на три батальона. Мы же слабеем с каждым днем, потому что у нас нет веры в наших руководителей. Каков ваш ответ? Да, нет или может быть?

— Может быть.

— Отлично! Еще один вопрос: как мы узнаем, когда ваше «может быть» превратится в «да»?

— Вы это узнаете. Вот все, что я могу сказать.

— А как мы будем держать с вами связь?

— Никак, генерал. С этой минуты я прекращаю всякие контакты с вами и вашими друзьями. Как посол, я аккредитован при законном правительстве этой страны — каково бы оно ни было.

— А что вы подразумеваете под «законным правительством», господин посол?

— В стране, где невозможны свободные выборы, мы должны считать законным то правительство, которое способно управлять и управляет государством.

— Ну, а пока мы еще не правительство, а только оппозиция, с кем же нам разговаривать, если не с вами?

— С мистером Гарри Яффой.

— Каков его статус?

— Мистер Яффа — разведчик; его правительство может в любой момент отречься от него и опровергнуть его деятельность. Таковы правила игры. Вам это известно.

Несколько секунд он глядел на меня пристально и угрюмо. Потом на лице его невольно появилась одобрительная улыбка.

— Кстати, о покере, господин посол... Любопытно, кто же все-таки подтасовывает карты?

После ухода Дао я провел больше часа с генералом Толливером, обсуждая план моей поездки по местам боев. Эта поездка по многим причинам имела для меня особое значение. Во-первых, чрезвычайно важно непосредственно познакомиться со страной, со здешними условиями жизни и весьма своеобразными проблемами ведения подрывной войны в расчлененной и многонациональной стране. Я все еще питал надежду, что, обогатившись новыми знаниями и впечатлениями, я смогу установить спокойные, деловые отношения с Кунгом, который, несмотря на свою способность выводить меня из себя, заслуживал гораздо большего уважения, чем Дао. Во-вторых, мне не хотелось быть в Сайгоне, когда санкции вступят в силу. Не хотелось, чтобы меня осаждали корреспонденты, чьи комментарии в ежедневных газетах могли только ухудшить положение. И если меня не будет, Кунг, быть может, окажется более сговорчивым, чем в моем обличительном присутствии. И наконец, мне самому необходимо соприкоснуться с грубой и целительной действительностью. После нескольких дней этих дипломатических бесед я чувствовал себя так, словно попал в фантасмагорическое царство шутов, где приходится лопотать на каком-то диком волапюке. Толливер опять стал отговаривать меня от этой рискованной поездки, но я видел, что он доволен моим решением. Ему тоже надоели интриги и бесконечная болтовня, а кроме того, он был серьезно озабочен моральным состоянием своих солдат. Когда я рассказал ему о разговоре с Дао, он сердито фыркнул и обозвал его врагом.

— Что он там плетет вздор насчет переброски по батальону из каждого корпуса!..— Он ткнул пальцем в свою собственную карту военных действий.— Первый корпус — вот тут, у северной границы. Им командует генерал Тхо. Он отличный солдат и прекрасно понимает, что, отдай он целый батальон, Вьет-конг пройдет сквозь брешь, как вода через горлышко бутылки! А кроме того, это же горный район! И все части Тхо разбиты на небольшие подразделения, потому что крупным здесь негде повернуться... И пусть не лжет, будто воздушный флот боится, что мы его подведем! У них припасено достаточно горючего, боеприпасов и запасных частей. Даже вздумай они лететь отсюда в Ханой, нам их не удержать!

— Но почему же Дао так глупо лгал? Ведь он не мог не знать, что я все это проверю!

Толливер усмехнулся и с комическим отчаянием вздернул плечи.

— У них тут всегда так. Дао просто дал вам понять, что не намерен доверять вам, так как знает, что вы не доверяете ему. О, планы у него есть, будьте уверены! И по всей вероятности, вполне осуществимые. Но пока вы будете колебаться, вы о них ничего не узнаете.

— Будь я проклят, если я поверю им на слово!

— Я бы им ломаного гроша не доверил! — энергично произнес Толливер.— Если переворот и совершится, то его возглавит генерал Киет из дельты. Он у них лучший стратег и крепкий боец к тому же. Дао, конечно, войдет в состав хунты, но он будет той ее частью, которая, на наш взгляд, меньше всего нам нужна. Не забывайте, что он все-таки помощник начальника штаба у Кунга. Он хочет угодить и нашим, и вашим, и чужому дяде.

— Наши и ваши — это мы и Кунг. Кто же чужой дядя, который платит Дао?

— Если хотите, то, по моим догадкам,— французы. В стране полным-полно деголлевских агентов, и денег у них куры не клюют. Они субсидируют владельцев каучуковых плантаций и фабрикантов, чтобы те откупались от Вьет-конга и могли вести свое дело. Они где только можно подкупают сторонников нейтралитета, потому что в конечном счете именно это им и нужно — еще одно нейтральное государство вроде Лаоса и Камбоджи, откуда Франция имеет свободный доступ и в Ханой, и на Север.

— А генерал Дао — сторонник нейтралитета?

— Он оппортунист! — сказал Толливер.— Как почти все они. Я тоже, как и вы, господин посол, не питаю нежных чувств к Кунгу, но он на две головы выше всех, кого я тут знаю. Его можно продать, но купить его нельзя.

— Думаете, мы должны поддерживать его безоговорочно?

— Мы не можем,— уныло сказал Толливер.— И в этом наша беда всюду — от Тайваня до Бангкока. Мы вроде мужчины, которого шантажирует любовница. Жениться на ней он не хочет, любить не может, но и бросить тоже не может!

Остаток дня я просидел в посольстве, составляя длинную и подробную докладную записку Фестхаммеру в Вашингтон. Я до сих пор помню ее почти дословно, ибо это был тот случай, когда я стоял на грани абсолютной честности. И стоит мне подумать, а это бывает довольно часто, что вся вина

за случившееся лежит на мне, я вспоминаю то, что я тогда писал, и это удерживает меня у черты, за которой начинается полное презрение к самому себе.

«...Итак, несмотря на многочисленные и опасные недостатки Кунга, я все же склоняюсь к убеждению, что он — достаточно сильный и неподкупный человек и единственный, кто способен сохранять политическое равновесие в стране. Однако я не могу и не смею выразить ему полное доверие. Поэтому я вынужден поддерживать через ЦРУ и Гарри Яффу связь с оппозиционными элементами, которые в настоящее время замышляют государственный переворот и однажды могут его осуществить. Мне совершенно ясно, что тем самым я затрудняю президенту Кунгу возможность добиться стабильности, порядка и лояльности в своей стране. Тем не менее я не могу допустить, чтобы смена правительства застигла нас врасплох и чтобы в новом правительстве у нас не оказалось сторонников. Все, что я могу сделать,— это объяснить Вам, насколько рискованна смена правительства, а также объяснить, что заставляет меня идти на этот риск... Есть и еще один риск, о котором я должен сказать Вам прямо и откровенно. Риск этот состоит в том, что я, по недостатку знаний и опыта или в силу свойств моего характера, могу невольно принять какое-то неправильное решение, которое будет стоить нам весьма дорого. Мне кажется, например, что в отношении Кунга я вел себя не так, как следовало бы, потому что в результате он считает меня слишком педантичным и недостаточно чутким и, стало быть, не способным понять его чрезвычайно сложное положение. Впрочем, в свое оправдание должен сказать, что, по-моему, он — человек, который быстро воспользуется любым проявлением слабости... Мне было бы легче всего избежать риска, просто передав Вам информацию и попросив прислать из Вашингтона директивы; но Вы хотели от меня не этого, и, объяснив Вам рискованность положения, мне остается только делать все, что в моих силах... Хотел бы я, чтобы было возможно либо всегда иметь чистую совесть, либо не иметь ее вовсе...»

Я закончил докладную и дал ее Мэлу Адамсу. Он прочел и, возвращая обратно, бросил на меня странный испытующий взгляд.

— Это очень честное письмо. Примите мое уважение, сэр.

— Но вы не согласны с ним?

— По-моему, здесь не хватает выводов.

— В том-то и дело, Мэл. Но иначе быть не может. Я еще не пришел ни к какому выводу.

— В одном отношении это верно, сэр. В другом же — совсем неверно. Вы уже сделали вывод. Вы оттягиваете окончательный выбор в надежде, что та или другая сторона по собственной инициативе предложит какое-то приемлемое решение. Это хорошо в том случае, если вы стремитесь к нейтралитету. Если же вы хотите продолжать борьбу за влияние, вы должны сделать точный выбор. В вашем документе этого нет.

— Я еще недостаточно информирован и не готов к этому. Не торопите меня, Мэл.

— Я не тороплю, сэр. Я просто хочу отметить это.

— Я приму это к сведению, Мэл.

Он сдержанно поблагодарил и ушел. Я составил официальную ноту в министерство иностранных дел, уведомляя о том, что санкции вступают в силу. Завтра я вручу ее лично, и начнется открытый бой.

Потом у меня был очередной сеанс фехтования с представителями прессы и маленький антракт — болтовня по телефону с британским послом. Он высказал предположение — не без ехидства, на мой взгляд,— что мне, очевидно, сейчас некогда делать официальные визиты моим коллегам. Однако все они жаждут встречи со мной, и быть может, я не откажусь прийти на коктейль, хоть он и не смог условиться со мной заранее. Тем более, что азиаты очень чувствительны, и, если я не попытаюсь встретиться с ними, они могут понять это как пренебрежение. Англичане и американцы должны держаться вместе, правда? Особенно когда наши друзья французы со своей политикой «длинной палки» вытворяют бог знает что. Значит, завтра вечером? Он в восторге...

Все это означало, что французы наступили ему на мозоль и он хочет припугнуть их Атлантическим блоком. Но насчет азиатских послов он прав, а у меня нет времени бегать из посольства в посольство по всему Сайгону. Так что сделка вполне разумная. Правда, виновато подумал я, мне самому следовало бы разослать приглашения множеству людей, с которыми я обязан встретиться. Но прежде всего мне нужно время, чтобы разобраться в обстановке. И разумеется, необходимо хоть немного развлечься, но где найти развлечения в городе, стиснутом комендантским часом, да еще мне, служащему мишенью для убийц?.. Я собрал свои бумаги и взял их домой, чтобы еще поработать после обеда.

Коктейли, совещания и груды, груды бумаг! Вся ирония дипломатии состоит в том, что от таких пустяков зависят падения и возвышения государств, жизнь и смерть многотысячных безымянных масс.

●

Я вышел в сад перед обедом, потому что позже я неизбежно попал бы в луч электроглаза, зазвонили бы сигналы тревоги и со всех сторон сбежалась бы охрана защищать мою священную особу. Я вдыхал густой, пряный воздух и поглаживал плотные бархатистые лепестки тропических цветов. Я пытался заговорить с садовником, но он знал по-французски не больше, чем я по-вьетнамски, и наша беседа ограничилась жестами и поклонами. Я попробовал поболтать с часовыми, но они держались официально и натянуто, видимо, еще не зная, что все послы — обыкновенные смертные, часто очень одинокие и иногда мучительно озадаченные сложным политическим ребусом, в котором не хватает главных знаков. По саду, совершая вечерний обход, прошел Билл Славич: он проверял сторожевые посты, сигнальную систему и вьетнамские семьи, живущие на огороженном участке. Мы немного прошлись по сырому мху лужайки. Ему тоже было со мной не так-то просто. Это был агент Гарри Яффы, человек, принадлежащий к тому странному полусвету государственных служащих, которые делают тайную, часто неприятную и неблагодарную работу. Мы перебрасывались банальными фразами, и под конец я попросил его найти мне массажиста, который занимался бы мною по часу в день, чтобы согнать усталость. Он пообещал найти и ушел. Я вдруг с похотливым любопытством подумал, как может развлекаться вот такой молодой человек, в распоряжении которого вместо притонов — закоулки всего потайного мира.

Мысли мои обратным ходом вернулись к Гарри Яффе, профессиональному конспиратору, которого я сам назначил своим агентом и поверенным во всех переговорах с мятежными генералами. Я читал его донесения, записывал наши разговоры и, перечитав все эти документы еще раз, нашел в них искусную недоговоренность. Французские агенты? Яффа освещал их действия и оценивал степень их влияния. Военные заговорщики? Тут была биография каждого, перечислены даже суммы на их текущих счетах в банке и земельные владения. Агенты среди буддистов, реакционеры среди католического духовенства? У Яффы имелось досье на каждого из них и отчет об их деятельности вплоть до последних дней. Наши агенты во Вьентьяне и Пном-Пене, наши связные среди летчиков, которые возят опиум из Бирмы, и капитанов, снабжающих им торговцев на побережье от Бангкока и вдоль всего Тонкинского залива? Все они у нас на учете. Что же мне еще нужно? А если мне понадобится что-то еще — стоит только сказать об этом.

Почему же тогда я не доверяю этому человеку? Он не захотел лгать мне. Он признался, что есть секреты, которых мне лучше не знать, но опыт подсказал мне, что это лишь обычная осторожность людей такой профессии. Что же раздражало меня в этом человеке, почему я не мог держаться с ним иначе, как официально, и никогда не называл его просто по имени? Может быть, я боялся его или он — меня? Может быть, человек вроде него скаредно накапливает тайны ради собственного удовольствия или ради осуществления какой-то подлой тирании? Или у него есть какой-то особый порок, жертвой которого становятся люди, работающие в этом тайном мире,— скажем, тщеславное стремление править из-за спинки королевского трона или извращенная жажда уничтожать, ибо эти люди сами живут под постоянной угрозой уничтожения?

Растревоженный тяжелыми мыслями, я шагал взад-вперед, дыша липким запахом белого и красного жасмина. Но другая мысль, еще тяжелее этих, тревожила меня. В каждом из тех, с кем я общался в последние дни, я чувствовал почти нескрываемое недоверие ко мне. Для Кунга я был несмелым игроком, которому, во избежание риска, хочется ставить на все номера сразу; Яффа видел во мне потенциально незадачливого дипломата и хотел застраховаться на случай моего провала; генерал Дао считал меня ненадежным союзником, а Мэл Адамс — честным служакой, который все же не решается быть честным до конца. Я много видел в жизни и знаю, что к высокому начальству все относятся недоверчиво — даже его собственные сотрудники. Раньше Габриэлла была моей совестью и моим оплотом. Без нее меня загрызали сомнения и чувство вины. Я теперь нечто вроде монаха, терзаемого сладострастными снами, или всеобщего благодетеля, которого тайно тянет к жестокому тиранству. И хотя я не поддавался искушениям, все же я их чувствовал, и их заманчивость подрывала во мне веру в благородство моих целей... Я боялся, не видны ли эти сомнения на моем лице, как подергивания и судороги на лице ярого фанатика...

Легкий предвечерний ветерок нагнал с дельты низкие тучи. Стал накрапывать бесшумный, частый дождь, загнавший меня в пустую столовую, где меня ждал одинокий обед. Энн Белдон где-то обедала с приятелем из другого посольства, а Джордж Гротон, наверно, сидел на корточках в какой-нибудь пагоде и рассуждал об учении даммы с монахом в желтых одеждах.

Он появился уже после десяти, когда я сидел над объемистым докладом об экономическом положении Южного Вьетнама. Он промок до костей и еле переводил дух. Решив идти домой пешком из какой-то пагоды в северном конце города, он забыл о комендантском часе и с риском для жизни убегал и прятался от пикетов и патрулей. К тому же он был голоден как волк, потому что изображал добросовестного монаха и ничего не ел с полудня. Я послал его наверх переодеться и попросил экономку приготовить ему ужин. Через двадцать минут, уплетая холодного цыпленка и запивая его вином, он оживленно рассказывал мне о своих первых шагах.

— ...Прежде всего, наш приблудный монах дал мне рекомендательное письмо. Оно было написано по-французски, в очень благожелательном тоне. Там было сказано примерно так: «Этот молодой человек изучает Восьмикратный путь и поэтому расположен к нам. Он пользуется доверием американского посла, который тоже изучает путь дзен. Прошу оказать ему любезный прием и объяснить наше положение...» Пока как будто полный порядок, правда? Но в конце он приписал что-то по-вьетнамски. Я попросил его перевести; это оказалось изречение из «Нагарджуны» о постижении нирваны. Его можно перевести приблизительно так: «Поскольку все относительно, мы не знаем, что имеет конец и что бесконечно. Мы не знаем, что бесконечно и в то же время имеет конец. Мы не знаем, что такое отрицание бесконечного и того, что имеет конец». Я спросил, что это значит, он ответил, что у них принято в конце каждого письма приводить какое-нибудь из духовных откровений даммы. Я промолчал, но что-то мне стало не по себе. Я решил, хотя до сих пор у меня нет тому доказательств, что с помощью этого изречения он намекает, чтобы мне не очень доверяли... Но так или иначе, а он дал мне адреса трех небольших пагод на окраинах города — эти пагоды пока не трогали, и там полицейских пикетов нет. Он назвал мне также нескольких настоятелей и монахов, которые говорят по-французски...

Гротон отхлебнул вина и помолчал, словно подыскивая слова, чтобы описать свои впечатления.

— Я думал, что хорошо подготовился к заданию, сэр,— чуть смущенно продолжал он,— но оказалось, что нет. Когда я вошел в первую пагоду, я почувствовал себя, как лютеранин в католической церкви где-нибудь в Сицилии. Все так странно, так разукрашено — кругом статуи, шелка, курильницы, масса цветов. После Японии, где все строго и сдержанно, мне даже самая атмосфера показалась вульгарной и чем-то противной. Первый монах, который занялся мною, оказался почти юношей. Но он получил французское образование и рассказал мне ровно столько, сколько нашел нужным. Правительство их преследует и лишает равноправия. Католики имеют право собираться, когда им угодно. Буддисты же должны испрашивать официальное разрешение. Буддистов не допускают на правительственные посты. Люди, погибшие в Гуэ, были убиты преднамеренно, а вовсе не погибли в результате мятежа и стычек. Буддисты, которые всецело посвятили себя благочестивым делам и созерцанию, вынуждены теперь заниматься организацией самообороны... Несколько сот монахов и монахинь брошены в тюрьмы, многих там избивают и подвергают пыткам, чтобы они сознались в своей принадлежности к коммунистам. Должен сказать, все это звучало убедительно, но слишком уж смахивало на прокурорскую речь. Ни рассудительности, ни терпимости, как полагалось бы духовному лицу. Однако, когда он увидел, что я соглашаюсь с ним, он повел меня в комнату с целой батареей пишущих машинок и французским копировальным аппаратом — там монахи печатали листовки и обращения. И надо признаться, управлялись очень ловко. Я попросил познакомить меня с настоятелем, но мой монах ответил, что настоятель очень стар и почти все время проводит в самосозерцании. Я не отставал, пока, наконец, меня не провели к настоятелю. Это был древний, высохший старичок, говорил он почти шепотом. Молодой монах не оставлял нас ни на секунду, и из нашей беседы я уразумел только, что настоятель уже почти достиг нирваны и не желает, чтобы его беспокоили мирскими делами.

Беседа длилась всего минут пять, потом я снова попал в руки пропагандистов. Я спросил, есть ли доля правды в обвинении, будто в монастыри секты санга просачиваются коммунистические агенты. Что тут поднялось! Точно я опрокинул пчелиный улей! Они обиделись, разозлились, пришли в ужас и, как видно, твердо решили не выпускать меня, пока не убедят, что

все они — честные вьетнамцы и что их угнетает католический мандарин, правящий ими по указанию христианского бога. Угомонившись, наконец, они дали мне в провожатые другого монаха, которому, очевидно, было поручено очистить меня от скверны — то есть от подобных мыслей.

— Два вопроса, Джордж. Они враждебно относятся к американцам?

— Нет, сэр. Наоборот, очень одобряют то, что они называют нашими действиями против тирании. Они говорили о своих добрых отношениях с американской прессой, и, очевидно, у них прямая связь со всеми главными корреспондентами в городе. Я убедился также, что они сейчас налаживают внутренние средства сообщения и связь с другими пагодами, и делают это быстро и умело.

— Говорили они что-нибудь о нейтралитете или о французах?

— В первом монастыре — нет. Но во втором я разговаривал с настоятелем и сделал все, чтобы разговор этот происходил наедине. Тамошний настоятель оказался гораздо моложе первого, лет примерно пятидесяти с лишним, очень спокойный и учтивый. Пока мы пили чай, он долго расспрашивал меня о моей подготовке на пути к просветлению... Потом я навел разговор на другое и спросил, считает ли он желательным нейтралитет. Он заявил, что это заложено в учении Будды, поскольку всякое физическое уничтожение человеческих несчастий так же преходяще, как и жизнь человеческая.

— А в этой пагоде тоже есть пропагандистский центр?

— Я не видел, сэр. У меня сложилось впечатление, что настоятель — волевой человек, который старается сохранить автономию своего монастыря. Но, понимаете ли, мне трудно сделать какие-то определенные выводы. Под конец я попросил его указать мне монастырь, где я мог бы прожить сутки наравне с монахами и извлечь из моего посещения по крайней мере духовную пользу. Он назвал один монастырь и дал мне письмо к настоятелю. Там я и провел остальное время и там, кажется, напал на настоящий след... В монастыре был один француз: он якобы сражался под Дьен-бьен-фу, а потом разочаровался в Западе, в его идеях и целях. По его словам, он перешел в буддийскую веру по внутреннему убеждению и живет в этой пагоде уже девять лет.

— Вы думаете, что он агент?

— Вполне возможно. Я поместился у него. Мы вместе молились и долго разговаривали, гуляя по саду при пагоде. Он много видел и много знает. Он рассказывал мне о последних днях Дьен-бьен-фу — и рассказывал, как очевидец,— и о том, как он пробыл в плену три месяца, а потом бежал. Нельзя сказать, чтобы он был очень интеллектуален, но безусловно понимает основные положения буддизма и приемлет их. Он говорил о возрождении буддизма в Азии, но когда я сказал, что, быть может, это имеет политическую подоплеку, он начисто отверг эту мысль. По его мнению, возрождение буддизма — явление духовного порядка, объясняющееся стремлением всех людей к миру, и в основе его лежат слова сутры на языке пали: «Будда, учитель наш, сам достиг мира и проповедует мир всему человечеству». Тогда я заговорил о демонстрациях и бунтах; он заявил, что это «стихийные проявления чувств еще несовершенных, но ищущих совершенства людей». А правительство, конечно, ведет себя агрессивно, жестоко и неумно! Я заговорил о подрывной деятельности в пагодах, и, к моему удивлению, он этого не отрицал! Но вообще он считает это несущественным, ибо на пути к совершенству постепенно исчезнет несовершенство тех, кто на него вступил. Президента Кунга он назвал «наследником прежних воинствующих христиан, которые пришли с крестом в одной руке и мешком с деньгами — в другой».

— Очень удобная точка зрения.

— Слишком удобная для того, кто ее придерживается, сэр.— Он порывисто наклонился вперед, так энергично взмахнув рукой, что опрокинул свой стакан, и, не переставая говорить, вытирал лужицу вина на столе.— ...Вот когда послышалась первая фальшивая нотка! Человек этот — его зовут Арман Леру — настолько француз, настолько экспансивен, что в роли последователя квиэтизма выглядел довольно неубедительно. Тут я попытался прижать его к стене прямыми вопросами. Есть ли у буддистов законные претензии?.. Да, есть. Каким образом их можно удовлетворить?.. Только путем создания буддистского правительства с соразмерным представительством католического меньшинства. Как же создать такое правительство?.. Надо прекратить войну. Провозгласить нейтралитет Южного Вьетнама и заключить договор с Северным о мирном сосуществовании. Как же заключить такой договор? На основе общих экономических интересов и, разумеется, возрастающего влияния буддизма. А потом — то ли он в пылу разговора забыл об осторожности, то ли неосторожность его была хорошо обдуманной, но он вытащил из колоды главный козырь. Он сказал... Нет, постойте, сэр! Я записал, потому что это показалось мне важным.— Пошарив в карманах,

он вытащил помятый конверт и прочел: — «Американцы никак не могут понять, что у Северного и Южного Вьетнама есть общий интерес: исторически сложившийся страх и ненависть к некогда завоевавшему их Китаю... Хо Ши Мин не любит его так же, как и Фунг Ван Кунг. Поэтому, даже если весь Вьетнам станет коммунистическим, он все равно не пойдет на сближение с Китаем. Вот тут-то американцы опростоволосились... А Кунг — он реакционер. Он католик и хочет сохранить свою церковь за счет интересов нации. Однако, если американцы сильно на него нажмут, вполне вероятно, что он попробует договориться с Хо Ши Мином...»

— Это все, Джордж?

— Все, сэр. Мой француз как будто спохватился, что сказал лишнее, и перевел разговор на размышления как путь к нирване... Я тоже стал размышлять и решил, что пора вернуться и рассказать все вам.

— Да, тут есть о чем подумать, Джордж. Не могли бы вы написать мне отчет?

— Могу, сэр. Но он будет неполным. Когда напишу, мне хотелось бы вернуться в пагоды, чтобы заполнить пробелы.

— Что ж, это будет правильно. А теперь попробуем подвести итоги. Прежде всего, существует ли в монастырях санга подрывная деятельность?

— Да. Но пока что масштабы ее не выяснены.

— Стало быть, одно очко в пользу Кунга. Затем — есть ли там признаки панбуддизма?

— Признаки есть, сэр, но доказательств пока нет.

— А доказательства настойчивого стремления к нейтралитету?

— Очень убедительные, сэр.

— Еще очко в пользу Кунга. И последний вопрос. Каково ваше личное впечатление от первого знакомства с махайяной?

Он ответил не сразу, но очень твердо:

— Сначала я даже растерялся, потом все это вызвало у меня отвращение и недоверие, сэр. Впрочем, я привык к более утонченной и интеллектуальной религии, сэр. Поэтому я не уверен, что прав.

— Как и все мы, Джордж. Беда в том, что все остальные требуют, чтобы мы были уверены в себе — как будто у нас в кармане философский камень.

Он резко вскинул голову и устремил на меня пытливый взгляд своих умных юношеских глаз. Я увидел в них тревогу и, пожалуй, тень страха.

— Мне кажется, сэр, вам сейчас приходится трудно.

— Очень трудно, Джордж. И будет еще труднее.

Я вкратце рассказал ему о том, что произошло за последние двое суток, и о своих мучительных сомнениях. Он слушал молча, а когда я кончил, он еще долго обводил пальцем узор на скатерти, не произнося ни слова.

— Вот что мне совершенно ясно, сэр,— сказал он наконец.— Во-первых, терпение вам дается гораздо труднее, чем решительные действия. Тут столько разных мнений и противоречивых сведений, что, несмотря ни на какие острые моменты, вы не должны допускать торопливости... Во-вторых, проблемы нашей политики. Поскольку мы связаны с военными действиями, мы тем самым обрекаем себя на поверхностные решения, которые не могут быть правильными с точки зрения истории. Поддерживайте Кунга — или устраивайте государственный переворот! Сделайте так, чтобы и буддисты были удовлетворены, и католики счастливы. Оттесните Вьет-конг подальше на север, запечатайте границы Лаоса и Камбоджи! Но если даже все это нам удастся, мы не решим никаких проблем! Нельзя запечатать идеи, как духа в бутылке! Нельзя бороться с Вьет-конгом, игнорируя Китай, тысячелетнего гиганта с невероятно разросшимся населением и — впервые за всю его историю — с единой для всех целью. Как мы будем жить рядом с ним в ближайшие сто лет? Как будет жить с ним вся остальная Азия? Что делать с буддистами? Ведут они подрывную деятельность или нет, но буддизм существует, как ислам, и католицизм, и индуизм. Тут тоже не отделаешься поверхностными мерами... Можно подавить, даже искоренить революцию, но нельзя остановить эволюционный процесс, который ее порождает... Простите, сэр. Я очень устал и выбит из колеи. Но меня это не может не волновать. Как и вас тоже, сэр.

Я был благодарен ему и испытывал глубокую жалость к его юности, его идеализму. Но как я мог сказать ему горькую правду о том, сколь непоправимо я обрек себя на поспешные действия и поверхностные решения?

Отослав его спать, я допоздна засиделся над своими бумагами. Я еще не кончил работать, когда вернулась Энн Белдон. Мы оккупировали кухню, сварили кофе и еще долго болтали о разных пустяках.

Глава 7

На следующее утро произошло покушение на мою жизнь. Оно было не очень умно задумано и не слишком ловко выполнено и все же едва не увенчалось успехом. В самом начале десятого Билл Славич вез меня из дома в посольство. Когда мы сделали последний поворот и свернули на Хамнги, на дорогу перед самой машиной упало что-то круглое, завернутое в газету. Славич круто рванул в сторону, и тут же раздался взрыв. Воздушная волна ударила нас по борту, высадила боковые стекла и отбросила машину на другую сторону улицы, так что мы свернули фонарь и со всего размаху стукнулись о стоявший у тротуара грузовик.

Биллу Славичу осколками изрезало лицо, а мне слегка оцарапало руки, и на лбу у меня вскочила шишка величиной с голубиное яйцо. По обыкновению тотчас собралась толпа; мгновенно появилась полиция, препроводившая меня в посольство, и события как не бывало — оно промелькнуло, словно отрывок из кинобоевика, показанный по телевизору. Билл Славич и Гарри Яффа отправились беседовать с полицией, а Энн Белдон хлопотала, приводя меня в порядок для посещения министерства иностранных дел.

Не стану скрывать, я был потрясен и напуган. В мозгу вертелся отрывок из молитвы, которую я читал еще в детстве: «От безвременной и внезапной смерти избави нас, господи». А смерть прошла совсем близко и, по правде говоря, едва не застигла меня врасплох. Я выпил виски, сразу налил еще — и, к удивлению своему, обнаружил, что с трудом могу держать стакан. Взглянув на себя в зеркало над умывальником, я увидел серое опухшее лицо. А потом началась стремительная реакция — я почувствовал одновременно злость и тайное ликование: злость на тех, ради кого мы рисковали жизнью, не получая ни малейшей благодарности взамен; ликование же мое объяснялось тем, что мне предстояло явиться в министерство со зримыми следами покушения на мою жизнь.

К тому времени, когда я готов был двинуться в путь, холл посольства уже был битком набит газетчиками и фотографами. Для них это было событие на первую полосу, а я не возражал, чтобы они посмаковали его и одновременно поработали на меня. Гарри Яффа на свой манер театрализовал представление, потребовав, чтобы полицейский эскорт сопровождал меня в министерство и обратно, а у моего дома и посольства была выставлена дополнительная охрана. И вот, везя в нагрудном кармане механизм предназначенной для меня бомбы, я двинулся в министерство иностранных дел с полицейскими впереди и вооруженной охраной вокруг!

Моя беседа с министром была краткой и бурной. Я вручил ему нашу ноту и подождал, пока он ее прочтет. Внутренне кипя от бешенства, он заявил, что применение санкций равносильно недопустимому вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Что, конечно, было верно, хоть я и не мог этого признать. Я коротко заметил, что вряд ли мы станем финансировать политику репрессий, которая способна поссорить нас со всем буддистским миром. Это еще больше взбесило его, и он заявил, что ничего худшего придумать мы не могли — уж лучше бы прямо оказали денежную помощь Вьет-конгу. На это-то я и рассчитывал и без зазрения совести схватил представившуюся мне возможность.

— Если это так, господин министр, то, быть может, вовсе не Вьет-конг пытался убить меня сегодня утром?

Мои слова шокировали его, и он горячо запротестовал:

— Чудовищная мысль, господин посол! Это личное оскорбление и мне, и моему президенту. Да, у нас есть свои разногласия и свои трудности! Но в конечном счете мы по-прежнему союзники, выступающие против общего врага. Очень вас прошу, выбросьте эти невероятные мысли из головы. Заверяю вас, что наши органы безопасности проведут соответствующее расследование, и мы не успокоимся до тех пор, пока виновные не предстанут перед судом.

— Я с радостью принимаю ваши заверения, господин министр. Но мне хотелось бы напомнить, что не кто иной, как ваше правительство, подкрепляет мои подозрения. Возьмите, к примеру, обвинения в наш адрес, прозвучавшие в Национальном собрании, ваше недвусмысленное отсутствие на похоронах наших солдат, ваши слова о том, что наша политика благоприятствует Вьет-конгу,— разве это не открытое проявление враждебности ко мне и моей стране?

Это были обычные шпильки, которыми обмениваются неудачливые дипломаты, и, конечно, они ничего не могли изменить в истинном положении вещей. А оно заключалось в том, что у нас в руках была дубина и мы лупили ею правительство Кунга по голове. Поэтому, несмотря на победу, одер-

жанную мною в словесном состязании, я не очень гордился собой, когда возвращался этим ярким утром в посольство.

Улицы кишели людьми. После дождливой ночи солнце светило вовсю, и в городе чувствовалось успокоительное оживление, словно люди, невзирая на трудную жизнь, на мрачное хитросплетение заговоров и предательств, решили пить, есть и веселиться. Умри я сегодня утром, они продолжали бы заниматься своим делом,— их бы это никак не тронуло, им было бы все равно. Только христиане помолились бы за меня, ибо меня роднило с ними поклонение общим святым. Что же до остальных, то память обо мне была бы погребена через час под глубоким безразличием Азии. Это была не очень веселая мысль, и мне сразу вспомнился вчерашний вечер и слова Джорджа Гротона: зачем мы тратим деньги, дипломатические усилия, человеческие жизни — ради чего? И снова вспомнился мне афоризм Мусо Сосеки: «Вас призывают рекомендовать и советовать; таким образом можете реально помочь, лишь предложив то, что потом будет предложено вам...» Такие случаи уже были. Но до сих пор я предлагал лишь временные и краткосрочные меры. Приступить же к решению проблем, стоящих на пути нынешней политики Соединенных Штатов, я еще не был готов. Однако это входило в мои обязанности, и если я не займусь этим, то окажусь беспомощным перед лицом стремительно развивающихся событий.

Когда я прибыл в посольство, там все кипело, как в котле. Телефонистка не успевала отвечать на звонки из других посольств, жаждавших узнать подробности покушения. Корреспонденты продолжали надоедать в надежде получить информацию, которая добавила бы еще какой-то штрих к их сообщениям, и некие странные типы непрерывно шныряли туда и сюда, совещаясь с Гарри Яффой и его подручными. Драматизм все нагнетался, а потому я велел как можно быстрее очистить посольство от посторонних и вернуться к нормальной жизни. На два часа я назначил совещание моих старших сотрудников и занялся почтой.

Сообщение из ООН носило чисто информационный характер. Предложение русских о посылке в Южный Вьетнам прежней Контрольной комиссии по Индокитаю было отклонено. Вместо этого председатель Генеральной Ассамблеи ООН назначил представителей Афганистана, Бразилии, Цейлона, Коста-Рики, Дагомеи, Марокко и Непала для расследования положения буддистов. Члены комиссии должны прибыть к концу недели. Я мрачно усмехнулся, представив себе, как джентльмен из Дагомеи будет разбираться в азиатских тонкостях и заковыках, а представитель Цейлона — беспристрастно судить об обидах, нанесенных его единоверцам. Впрочем, с этой комиссией возиться предстояло Кунгу, а не мне, и я был счастлив предоставить ему возможность выпутываться самому.

Телеграмма от Фестхаммера была краткой, но не без капли яда в конце:

«Одобряю предложенные вами санкции. Одобряю связь с оппозицией вне дипломатических каналов. Однако, поскольку финансовые санкции в конечном счете неизбежно повлекут за собой ослабление военных усилий, следует установить определенный срок, в течение которого будет либо достигнута договоренность с правительством Кунга об единстве целей, либо рекомендованы альтернативные меры. Сенат и конгресс в целом — за санкции, однако сенатор Голдинг весьма категорически высказался за невмешательство. Вокруг него могут объединиться сторонники сокращения ассигнований на оказание помощи, а также те, кто стоит на позициях изоляционизма вообще. Правительство будет признательно, если в ваших публичных выступлениях или шифровках появится хотя бы намек на уверенность в успехе».

В этом весь Фестхаммер — вот уж кто никогда не откажется от пирога, даже съест его, а потом извольте давать ему пилюлю для пищеварения. А у меня хватает и своих проблем без того, чтобы еще заботиться о пищеварении разжиревшего сенатора из Вашингтона. Однако если у объевшихся сенаторов начнется слишком громкая отрыжка, они могут устроить такое сотрясение воздуха, что поднявшийся ветер начнет гнуть пальмы и вспенивать серые воды реки Меконг.

Затем, как начинку в сандвиче, между отчетом об обстановке и требованием дать сведения о финансовых оборотах Оперативной миссии США я обнаружил еще одну колючку. Это была коротенькая записка из канцелярии государственного секретаря.

«Прилагаемая вырезка получена от нашего посла в Париже. Вполне возможно, что это фальшивка, поскольку сообщение не подтверждено ни одним из наших источников в Южном Вьетнаме. Просьба расследовать и срочно сообщить Ваше мнение».

Передо мной лежала заметка из социалистической газеты двухнедельной давности — якобы запись частной беседы с президентом Кунгом, состояв-

шейся наедине. Под заметкой стояла подпись — Клод Жемель. Заключительные строки текста были обведены красными чернилами:

«Под конец президент с явной горечью сказал мне: «Американцы считают, будто я провожу политику, играющую в конечном счете на руку Вьетконгу и коммунистической партии в Северном Вьетнаме. Я же утверждаю, что, наоборот, это они толкают меня в объятия Хо Ши Мина и заставляют подумывать о крайних мерах, чтобы положить конец страданиям моей страны...» Я попросил его пояснить, но он отказался, сказав, что это ясно всякому, кто знаком с ситуацией в Южном Вьетнаме. На этом наша беседа закончилась».

Статейка была написана достаточно туманно — как это любят делать журналисты определенного типа, стремясь прославиться проницательностью и глубиной своих комментариев, и специально так отредактирована, чтобы ее можно было двояко прочесть. С другой стороны, это очень совпадало с тем, что говорил Гротону Арман Леру в пагоде. Таким образом, вполне вероятно, что это фальшивка, входящая в тщательно обдуманный план подготовки общественного мнения, чтобы потом легче было сделать ход. Хотя бы уже по этой причине следовало проверить ее достоверность. Я отложил в сторону вырезку и пометил у себя в блокноте: переговорить с Яффой и Мэлом Адамсом. Затем я попросил Энн Белдон позвонить ко мне домой и сказать Джорджу Гротону, чтобы он приехал на совещание и привез с собой записи разговоров, которые вел в пагодах.

Просмотрев наиболее срочные бумаги и составив шифровки за день, я обнаружил, что уже без четверти два,— едва хватит времени, чтобы перед совещанием проглотить бутерброд и чашку кофе и наспех просмотреть повестку дня. Я знал, что мне нужно: всесторонний анализ имеющихся в нашем распоряжении возможностей и откровенное обсуждение политических курсов — даже тех, которые, на первый взгляд, противоречат нашим интересам. Сумею ли я этого добиться — уже другой вопрос. Дипломатическая служба известна своим неблагодарным отношением к людям, отличающимся оригинальностью ума и твердостью убеждений, и трудно требовать от человека, чтобы он поставил на карту всю свою карьеру, высказав непопулярное мнение. К тому же я не был уверен и в том, что мои сотрудники — за исключением Гротона — доверяют мне настолько, чтобы раскрыться и отдать свою судьбу в мои руки. Следовательно, начать игру надо с решающего хода, и я тщательно его подготовил.

— ...Я хотел бы, джентльмены, предложить вам сегодня поупражняться в теории. Я хочу представить на ваш суд несколько гипотез и попросить вас открыто высказаться по поводу их возможных последствий. Мы не будем вести протокола, и никто не несет личной ответственности за те взгляды, которые он будет здесь высказывать, какими бы крайними они ни были. Если кто-либо из вас пожелает выступить в защиту Хо Ши Мина или Чжоу Энь-лая — пожалуйста. Я созвал это совещание, чтобы прояснить свои представления и получить возможно более широкий обзор обстановки. И последнее. Не будем устанавливать никакого порядка выступлений: можете спорить друг с другом — пожалуйста, я буду только рад... Вот вам первая гипотеза. Французы предлагают провозгласить Южный Вьетнам нейтральным государством. Предположим, мы согласились бы на их предложение. Может оно быть осуществлено? И как? И какие возможны последствия?

Воцарилось краткое напряженное молчание, все смотрели друг на друга и ждали, кто начнет первым. Наконец заговорил Джордж Гротон:

— Я здесь самый младший. И, если не возражаете, я сделаю первый удар по биллиардному шару. Южный Вьетнам может завтра объявить себя нейтральной страной — для этого ему достаточно сделать декларацию и просить ООН гарантировать его нейтралитет. Тогда нам предложат покинуть страну. С Хо Ши Мином договариваются о прекращении войны, он перестает забрасывать войска и снаряжение на территорию Южного Вьетнама. И тогда правительство Южного Вьетнама вольно вступать в дипломатические и торговые отношения как с Востоком, так и с Западом...

— Тогда,— сказал военный атташе,— с Хо Ши Мина будет снята всякая ответственность за то, что происходит в Южном Вьетнаме, и он, воспользовавшись этим, начнет тайно готовить здесь восстание. Вьет-конг уйдет в подполье и возникнет уже как протест против местной тирании. Итог? Гражданская война вроде той, что идет сейчас в Лаосе.

— Давайте потянем ниточку дальше,— сказал спокойно Мэл Адамс.— Начинается восстание. Кунга сбрасывают — что и без этого может произойти. Это еще вовсе не означает, что правительство, которое придет ему на смену, будет марксистским. Не будет оно и прокитайским, поскольку Вьетнам вовсе не хочет быть китайской марионеткой. Обе половины страны будут располагать хорошо обученными армиями, которые, безусловно, объеди-

нятся в случае военной агрессии со стороны Китая. Далее, предположим, что в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме к власти придут марксисты или почти марксисты. У нас нет никакой уверенности в том, что они непременно станут на путь экспансии и начнут покушаться, скажем, на Таиланд. Мне кажется, скорее наоборот. Люди устали от войны. И, мне думается, они прежде всего займутся улучшением своего экономического положения — даже при господстве марксистов.

— Значит, вы готовы предать три миллиона христиан!— Это произнес второй секретарь, суровый, твердый как кремень человек с подстриженными бобриком волосами, в очках с сильными стеклами.— Предать миллион беженцев, перебравшихся на юг после раздела страны? А что будет с программами по внедрению образования и самопомощи в деревнях? Вы что же, хотите, чтобы в стране снова воцарился хаос?

— Вопрос ведь не в том, предадим мы кого-то или не предадим,— стоял на своем Мэл Адамс.— Да, будет хаос, но будет, по крайней мере, и то, чего мы добиваемся — или говорим, что добиваемся: страна получит возможность самоопределения. Насколько я понимаю, военные силы более или менее равны и есть реальная почва для экономического сотрудничества между Севером и Югом.

— Мне кажется, это хорошо только в теории,— резко заявил Гарри Яффа.— Нельзя забывать о двух элементах: революционном движении внутри страны и огромном давлении извне — со стороны Китая. Вы только прикиньте силу этого давления и взгляните на протяженность территории, с которой оно осуществляется: от Японского моря, через Тонкинский залив, через Внешнюю Монголию, через Гималаи и пустыню Такла-Макан... И вы думаете, что эту силу можно сдержать с помощью декларации о нейтралитете и горстки солдат Организации Объединенных Наций на семнадцатой параллели?

— А вы считаете, что ее можно сдержать с помощью двадцати тысяч военных советников в Южном Вьетнаме?

— Конечно нет.— Но мы можем потерять плацдарм на азиатском материке.

Неприязнь, которую чувствовали друг к другу эти двое, снова прорвалась наружу и грозила сорвать совещание. Я решил вмешаться.

— А можем мы ликвидировать угрозу со стороны китайцев, признав Китай, установив с ним дипломатические отношения, сняв эмбарго с торговли и проголосовав за принятие его в Организацию Объединенных Наций? Тогда, если бы где-то произошла революция, могли бы мы считать ее местным и только местным явлением и относиться к ней, как она того заслуживает?

— Нет!— отрезал Яффа.— Марксизм — экспансионистская философия.

— Но ведь нельзя убить философию.

— Что же прикажете делать, сэр? Принимать ее?

— Научиться жить с ней бок о бок.

— Мирное сосуществование? Это лозунг Хрущева. Китай не приемлет его. Китай придерживается старой линии Сталина — война неизбежна.

— Сталин мертв. Мао Цзэ-дун и Чжоу Энь-лай — тоже не юноши.

— Но Китаю по-прежнему нужен рис, и он хочет иметь морской путь в Африку.

— Разве он не может получить этот рис, торгуя с нейтральными азиатскими странами?

— А вы можете гарантировать, что он этим удовольствуется?

— Во всяком случае, у вас перед глазами пример Гонконга.

Спор продолжался еще минут двадцать: ясно было, что мы никогда ни к чему не придем. Тогда я решил сузить рамки дискуссии:

— Предположим, что мы остаемся в Южном Вьетнаме — это будет уж во всяком случае решать Вашингтон, а не мы!— и перед нами все те же проблемы — Кунг и буддисты. В какой момент мы решим поддерживать смену правительства?

— Чем скорее это произойдет, тем лучше,— не задумываясь, заявил Яффа.— Если вы не хотите, чтобы буддисты тоже начали революцию. Уже ходят слухи о возможном расколе армии и образовании третьей силы, которая будет выступать и против Вьет-конга и против президента. Это, конечно, пустые бредни, потому что если такая третья сила возникнет, у нее уже через месяц не будет ни денег, ни снарядов. И люди неизбежно присоединятся к Вьет-конгу.

— А я бы никого не поддерживал,— сказал Мэл Адамс.— Пусть оппозиция докажет свое единство. Мы же оставим за собой право признать или не признать новое правительство де-факто.

Это вызвало новый перекрестный огонь высказываний, и снова стало

ясно, что мои сотрудники более или менее поровну разделились на сторонников Адамса и Яффы. Они поддерживали Яффу, как человека, наиболее информированного и, следовательно, наиболее реалистично смотрящего на вещи. Но это было по меньшей мере сомнительно, и меня огорчало то, что столь многие мои сотрудники принимают видимое за действительное. Тут в спор вступил Джордж Гротон и поставил Гарри Яффу перед нелегкой дилеммой:

— Мне хотелось бы кое-что уточнить. Мы, значит, считаем, что любое новое правительство будет в значительной мере опираться на буддистов и, по всей вероятности, в большинстве своем будет состоять из генералов-буддистов. Я прав, мистер Яффа?

— Да. Более или менее.

— А насколько мне известно, буддисты в пагодах весьма решительно выступают за нейтралитет. Таким образом, выходит, что вы поддерживаете то, что осуждали в начале совещания, а именно, правительство, потенциально или реально настроенное в пользу нейтралитета?

Яффа вспыхнул от злости и ответил:

— Правительство, состоящее из военных и выступающее за нейтралитет,— это как-то не вяжется.

— Но буддизм по самой своей природе допускает примирение противоположностей.

— Это в теории. На практике все иначе.

— Так ли? Если режим Кунга непрочен, то лишь потому, что буддисты раскачивают лодку. А вы думаете, они не станут раскачивать и свою лодку тоже — вместе с генералами или без них?

Вопрос был поставлен правильно, и чисто из злорадства мне захотелось, чтобы последнее слово осталось за Гротоном. А потому я снова вмешался и пустил по кругу вырезку из парижской газеты. Я никак не комментировал заметку, а попросил их высказаться. Большинство отмахнулось от нее, как от обычной провокации, не заслуживающей внимания, но Гарри Яффа, сдвинув брови, смотрел на нее дольше всех, а потом сказал:

— Мне хотелось бы поразмыслить над этим, сэр, и проверить по моей картотеке. Порядка ради мы заводим карточки на всех приезжающих в страну журналистов, и, возможно, у меня есть что-нибудь про этого Клода Жемеля... Последнее время я наблюдаю одно любопытное явление. С тех пор, как начались эти истории с буддистами, местные корреспонденты стали чрезвычайно враждебно относиться к Кунгу. И он для оглашения своих высказываний использует приезжих «пожарников»: представителей иностранной католической прессы, журналистов и разных борзописцев-газетчиков, курсирующих из Сайгона и в Сайгон в поисках материала. Кунг умеет вести беседу и говорит охотно, но тщательно взвешивает каждое слово. А потому, если он сказал это или что-либо подобное, мне хотелось бы знать подлинный текст.

— Мне кажется, мы обладаем кое-какой информацией, имеющей к этому некоторое отношение.

И я попросил Джорджа Гротона рассказать о своем посещении пагод и особенно о своем разговоре с неким французом по имени Арман Леру. При этом Гарри Яффа нахмурился, а Мэл Адамс поднял брови, но оба молча выслушали рассказ Гротона. Когда он кончил, Мэл Адамс покачал головой.

— Сведения интересные, сэр, но неполные. Не думаю, чтобы мы могли строить на этом какую-либо стратегию.

— Я знаю, что мои сведения весьма неполны,— взволнованно заявил Гротон.— Но они, по-моему, доказывают, что нам нужно знать о буддистах куда больше, чем мы знаем. Особенно, если хотят, чтобы мы произвели правительственный переворот в их интересах. Я прочел все отчеты, какими мы располагаем. В них много пробелов и много явных неточностей.

— Я считаю, что для новичка мистер Гротон неплохо поработал.— Яффа произнес это намеренно безразличным тоном.— Я считаю, что он может и впредь поставлять нам полезную информацию, учитывая его познания. Однако, господин посол, если вы намерены и дальше использовать его в этом качестве, надо, чтобы он знал, чем это чревато.

— Чем же именно, мистер Яффа?

— Возьмите хотя бы Армана Леру. Говорит он, как француз, а на самом деле это грузин — агент, давно подвизающийся в этой части света.

— Почему же правительство не следит за ним?

— Потому что он работает на меня, господин посол. Но кроме того, он работает на французов. Добытые сведения он делит между нами и получает мзду со всех. И когда вот такой непрофессионал вроде мистера Гротона появится в поле его зрения, Арман Леру будет только счастлив заработать и на нем.

— Каким же образом?

— Выкрав мистера Гротона. Это здесь любимое занятие... Я не преувеличиваю. В то же время я вовсе не хочу заставить вас отказаться от своих планов. Я бы только предложил, господин посол, если мистер Гротон будет и впредь выполнять такие задания, натаскать его кое в чем и обезопасить его жизнь. После того, что произошло сегодня утром, не исключена даже возможность убийства.

Все, что он говорил, было разумно. Так к чему же спорить? И я согласился — не без задней мысли, что такой уговор позволит мне заглянуть в тайники Гарри Яффы. Но еще один вопрос оставался невыясненным.

— Скажите, мистер Яффа, есть ли какая-то связь между сообщением в парижской газете и мнением Армана Леру?

— Не знаю,— неуверенно сказал Яффа.— Но я намерен это выяснить. Дайте мне несколько дней. Я сообщу вам, как только узнаю что-то определенное.

Я кратко поблагодарил присутствующих и закрыл совещание. Просветило оно меня лишь в одном: теперь я знал, что лучшие мои сотрудники — это Яффа и Мэл Адамс, что Джордж Гротон, по-видимому, дорастет до их уровня и что решения по всем вопросам по-прежнему надо принимать мне одному.

●

Коктейли в посольстве — это неизбежное зло, сопутствующее нашему ремеслу. Они требуют напряжения памяти, изысканной любезности и хорошего пищеварения. Они порождают скандалы и крахи, зависть среди женщин. Я не встречал еще дипломата, которому коктейли доставляли бы удовольствие, однако никто пока не придумал лучшей арены для той особой игры в намеки, гармонические обертоны, тайные предупреждения и неофициальные сделки, которые составляют деловой язык дипломатии. Заранее зная, что придется скучать, вы пропускаете мимо ушей то, что не хотите слышать. Главное на коктейле — это циркулировать, а потому всегда можно уклониться от сделки или спора. В то же время, поскольку собрания такого рода устраиваются обычно по окончании рабочего дня, всегда можно почувствовать усталость и уединиться, если хочешь заключить сделку или урегулировать трения.

Впрочем, даже в рамках этих условностей и традиций существует некоторое разнообразие. Французы, например, демонстрируют остроумие и модные туалеты, что не мешает им перегружаться закуской и вином. Индийцы подают совершенно несъедобные вещи, а в разговорах отличаются ядовитостью или весьма обременительной настойчивостью. Шведы в трезвом состоянии держатся подчеркнуто официально, а японцы, которые с большим достоинством умеют пить на вечеринках с гейшами, в мгновение ока могут превратить коктейль в драму под стать тем, что разыгрываются в театре Кабуки. Таиландцы гибки, добродушны и чертовски неподатливы — такого не сразу загонишь в угол; американцы же подвижны, говорливы и порой туги на ухо. Латиноамериканцы до того невероятно элегантны, что порой начинаешь думать, не тратят ли они те средства, которые получают от нас по фонду помощи, на туалеты для своих жен и любовниц. Англичане же сумели возвести скуку в подлинное искусство и создать целую литературу на проглоченных фразах и вежливых недомолвках. Кормят они, как правило, неважно, вино дают разбавленное, встречают вас кисло. Входя к ним, вы чувствуете себя не званым гостем, а случайным пришельцем Вы не беседуете, а болтаете. Вы не чувствуете себя обласканным, но и не ощущаете неприязни, а к концу вечера вам уже кажется, что вы у себя дома, и вы начинаете выкладывать государственные тайны холодной чародейке с аристократическим бюстом и улыбкой Моны Лизы.

Так или иначе, после довольно тяжелого дня мне было даже приятно насладиться гостеприимством моего британского коллеги. Он явно не принадлежал к числу тяжеловесов, иначе занимал бы совсем иной пост и не сидел бы здесь, где британское влияние сведено до минимума. Но человек он был опытный и весьма проницательный. Он быстро покончил с церемонией представлений, сунул мне в руку бокал с вином, шепнул, что хотел бы попозже поговорить со мной наедине, и предоставил мне самому оборониться от тайванского китайца с непроницаемым лицом и итальянца, похожего на Данте Алигьери.

Я обнаружил, что, оказывается, стал знаменитостью. Могли быть — да и были — разные точки зрения на мою дипломатическую миссию, но чтобы на улице в вас бросили бомбу — это не со всяким бывает! Это уже репутация! А кроме того — ключ к расположению дам; иные из них были очень

хороши, и все казались недоступными. Но очень скоро позолота с меня начала облетать, и крысы принялись кусать пряник.

Представитель Малайзии без обиняков спросил, как относится Америка к Индонезии и ее политике конфронтации. Таиландец осторожно намекнул на ситуацию, сложившуюся с буддистами, и откровенно высказал свои опасения по поводу нейтралистских тенденций в Южном Вьетнаме. Немцу хотелось знать, чем объяснить сокращение численности военного контингента и не следует ли ему рекомендовать своим согражданам воздержаться от вложения капиталов в Сайгоне. Японца волновало положение в области финансов, потому что его страна строила корабли для флота президента Кунга. Лаотянец сказал несколько резких слов по поводу Гарри Яффы и Центрального разведывательного управления, а датчанин, возглавлявший всего лишь миссию, потолковал со мной по поводу утиных перьев (для набивки подушек в Европе) и мин в Сайгонском проливе (которые могут помешать ему вывезти эти перья).

Француз, явно подражавший «великому Шарлю», стоял в стороне и иронически наблюдал за болтовней мелких сошек, затем он отвел меня в уголок и прочел тщательно подготовленную лекцию об ошибках, допущенных при Дьен-бьен-фу, а также о том, что думать, будто вопрос о существовании Южного Вьетнама можно решить военным путем, это иллюзия. Будь он человеком более тонким и держись менее покровительственно, я бы, возможно, внимательнее отнесся к его словам. А так — я сам начал читать ему мораль о французских методах работы, о деятельности французских агентов и о том, какими опасностями чревато субсидирование нового восстания после печального провала первой попытки. К моему удивлению, он принял это довольно спокойно и затем весьма откровенно вкратце изложил мой гороскоп:

— ...Позвольте предсказать вам, дорогой коллега, что произойдет. Я даже готов заключить с вами пари — на сто долларов! Вы полагаете, что президент Кунг склонится перед вашим давлением? Ничего подобного! Он не может этого сделать! Ведь он янсенист, давший обет защищать последнюю опору христианства в Азии. Он не доверяет буддистам — и не без основания. Поэтому он никогда не придет с ними к соглашению — они просто не дадут ему такой возможности. Что же будет? Вы будете вынуждены объединиться с теми, кто хочет от него избавиться. Они наобещают вам — можете не сомневаться — горы: и единство, и послушание, и все что угодно. Но они не смогут сдержать свои обещания. Почему? Да потому, что они будут слишком заняты дележкой пирога. Война затянется — пройдет полгода, год, и ваш же собственный конгресс заставит вас прекратить ее. Тогда уже вы вынуждены будете пойти на то, чтобы объявить страну нейтральной, только на худших условиях, чем сейчас, ибо Кунг, поверьте, уже думает об этом!

— Любопытная штука! Я слышу об этом уже в третий раз за три дня — и неизменно из французского источника.

— И вы считаете, что вода в источнике должным образом подкрашена, да?.. Eh, bien! * Если вы принимаете мое пари, оно остается в силе.

— Принимаю... Но я проверю сообщение.

— Вы проиграете, мой друг. Потому что это неизбежно. О, я знаю, мы здесь тоже наделали ошибок! И дорого заплатили за них. Но вы учитесь на ошибках даже медленнее, чем мы. Никто не может остановить революцию в Азии. Она вырастает из земли, как деревья в Ангкор-Вате,— деревья, которые съели город и превратили его в развалины. Вы можете задержать революцию — на какое-то время, но в конечном счете вам придется примириться с ней... Запомните: армии погибли, и слоны погибли, и все оружие заржавело, и деревья съели город!

С этими словами он повернулся и покинул меня, предоставив мне любоваться садом и непривычными очертаниями деревьев манго. Ровный голос хозяина нарушил мои раздумья:

— Умный малый, не правда ли? И когда захочет, может быть очень приятным. Но, пожалуй, слишком настойчив, согласны?

●

Следующие пять дней я провел в совершенно новом для меня мире — мире сражающихся солдат: пехотинцев, летчиков бомбардировочной авиации, тех, что летают на вертолетах, и одиноких ветеранов джунглей, выполняющих специальные задания. Я ездил на транспортных самолетах, бронированных вертолетах и джипах. Я шагал по отбросам на деревенских дворах, по песчаному дну горных рек. Я летал в сопровождении истребителей

* Ну что ж (*франц.*).

чуть южнее семнадцатой параллели и поверх горных вершин заглядывал в твердыню Хо Ши Мина. Я проследовал вдоль границ Лаоса и Камбоджи, где реки текут на запад и лишь могучий Меконг прорывается на восток и впадает в Южно-Китайское море. Названия мест, над которыми мы пролетали, слагались под гул моторов в сложную восточную мелодию: Хыон-хоа, Бау-дон, Куан-лой, Тан-тяу, Тяу-док и Ка-мау.

И всюду меня окружала бронированная стена: в воздухе меня охраняли истребители, на земле — пехота и бронетранспортеры, а над головой жужжали металлические стрекозы. Генерал Толливер не хотел рисковать. Еще бы: представитель Соединенных Штатов, назначенный самим президентом,— не такая уж плохая добыча для смелого партизанского вождя. Когда мы летали на вертолете, меня облачали в куртку зенитчика, а на сиденье подкладывали стальную пластину, чтобы защитить от огня с земли — ведь у этой трещотки очень тонкая металлическая оболочка.

Я стоял в захваченном нами полевом посту и рассматривал груду оружия из разных стран и — что самое страшное! — с наших собственных военных заводов. Я видел тела вьетконговцев, лежавшие на солнце, залепленные мухами, копошившимися в ранах,— маленькие, смуглые, оборванные фигурки, но мускулистые и упитанные. Отчеты о проведенных операциях, найденные при них, были сделаны точно и профессионально. Это были отважные бойцы, хорошо усвоившие тактику нелегкой войны призраков.

В горной деревушке, среди самых настоящих дикарей и их полуобнаженных жен, я беседовал с младшим лейтенантом, который учил их вылавливать и уничтожать пришельцев с Севера. Вместе с Толливером я проходил через укрепленные деревни, окруженные глиняными крепостными валами и частоколом из заостренного бамбука.

Здесь я сам воочию убедился, какие проблемы порождает разделение военного командования, какая зависть раздирает местных вождей и губернаторов провинций, как туго приходится полевым офицерам, когда линия фронта проходит по соседнему рисовому полю и порой надо по десять часов ждать подкрепления, потому что отказало радио в деревне или потому, что местная милиция не совершает переходов по ночам, боясь блуждающих духов!

Каждый вечер, после ужина, мы садились с генералом Толливером и местными командирами, разбирали события дня и обменивались впечатлениями. Жалоб было много: на то, что столкновение политических влияний мешает ведению военных действий; что президент Кунг не желает видеть списки погибших, а потому не дает развернуть мощное широкое наступление; что ночные операции проводятся крайне неохотно и что губернаторы провинций не хотят сотрудничать с военным командованием.

Сам Толливер вначале держался со мною сдержанно, питая вполне понятное недоверие к политическим деятелям. Но по мере того как шли дни, он потеплел, да и я тоже. А у него были основания для раздражения: то и дело Пентагон или приезжавшие в страну сенаторы требовали от него предсказаний о ходе войны. Он же считал подобные предсказания бессмыслицей. Пока мы готовы перекачивать в страну людей и оборудование, пока обладаем господством в воздухе и имеем Седьмой флот, мы можем долго воевать в Южном Вьетнаме. Но конца этой войне еще не видно, никакой решающей операции не готовилось и, конечно, не было никакой надежды на победу. Толливер высказал одну любопытную мысль, и я подробно записал ее потом.

— Люди забывают, что мы имеем дело с одним из величайших военных стратегов современности — генералом Во Нгуен Зиапом. Этот человек подготовил и разыграл как по нотам — да, именно как по нотам — падение Дьен-бьен-фу. Он знал традиционную слабость французов — их пристрастие к эффектным операциям. И вот он позволил де Кастри стянуть двенадцать тысяч человек в долину реки, где к тому же было два аэродрома. У французов было все — связь по воздуху, тяжелая артиллерия, танки... все игрушки! А у Зиапа — и они это знали — не было артиллерии и плохо было со снабжением. Словом, казалось: плевое дело. Один классический решающий удар и — бумм! — все кончено!.. Но французы не учли китайцев. А те дали генералу Зиапу двести полевых орудий. Зиап велел их разобрать и затем перенести по частям, вручную,— люди тащили их на спине, прорубая путь в джунглях и делая порой по пятьдесят миль в день! Затем, чтобы обеспечить свои войска продовольствием, Зиап подрядил китайских кули: у каждого кули был велосипед, на котором он вез шестьсот фунтов упакованного в мешки риса... Зиап установил орудия на гребне холмов, окружающих Дьен-бьен-фу, велел сделать подкопы под французские сторожевые посты и окружил долину кольцом в шестьдесят тысяч человек. Тут нача-

лись дожди, и французы не могли шагу сделать!.. За пятьдесят шесть дней все было кончено... А теперь этот же самый Зиап руководит военными действиями против Южного Вьетнама. Для него это та же война, ибо он видит в Фунг Ван Кунге лишь прихвостня империалистической Америки!.. Но Зиап слишком хитер, чтобы придерживаться старой стратегии. Он знает, что и мы не попадемся на эту удочку. И вот он смело объявил, что меняет стратегию. Вы слышали об этом вчера вечером по ханойскому радио: «От наступательной тактики противник постепенно перейдет к оборонительной, и перед нами встанет дилемма: чтобы выиграть войну, надо, чтобы война шла, а он не располагает ни психологическими, ни политическими факторами, чтобы долго ее вести!..» Видите, как он ставит вопрос. Он знает, что наши физические ресурсы почти неисчерпаемы. А в смысле политического единства страна ни к черту не годится...

— Поэтому-то Фунг Ван Кунг и говорит все время о психологии своего народа...

— Совершенно верно... И подлинная трагедия заключается в том, что мы почти ничего не можем изменить ни в их психологии, ни в политике. А все потому, что мы до сих пор не понимаем их до конца.

— А Кунг их понимает?

— Психологию — да. Но как политик он потерпит поражение.

— А кто способен заранее все предусмотреть в политике?

— Уж, конечно, не политические деятели,— с улыбкой заметил Толливер.— Посмотрите на нас! Мы до сих пор не можем покончить с собственной войной!.. Давайте ложиться спать, посол! Завтра на рассвете мы возвращаемся в Сайгон.

В ту ночь я долго лежал, прислушиваясь к кваканью лягушек в ближних рисовых полях и к успокаивающе мерным шагам часовых. Я надеялся, что объезд районов, где идут бои, позволит мне по-новому взглянуть на положение дел. Но я обнаружил, что все сводится к одному человеку и проблема одна — Фунг Ван Кунг и то, как долго сумеет он продержаться у власти и успеет ли завершить свои начинания.

Теперь я сам увидел, какие проблемы стоят перед ним. Я увидел грандиозность его плана переустройства страны. Он принадлежал к числу созидателей, и на полях плоды его деятельности были заметнее, чем в развращенном, изверившемся городе. В деревне не так бросался в глаза и конфликт между буддистами и христианами. В иных местах вообще не было никаких раздоров — по простодушию, невежеству, а порой и миролюбию как монахов-буддистов, так и миссионеров. Одно стало мне, однако, совершенно ясно. Если Кунг не привлечет к себе свой народ, если не сплотит его вокруг себя, то как бы он ни пытался держать в руках и развивать страну, это ничего не даст. Он может на какое-то время обезвредить выступающих против него сильных людей, но, опираясь лишь на второстепенных чиновников, не пользующихся авторитетом у общин и мелких племен, он ничего не сумеет построить.

Как же быть? Я удерживал весы в равновесии. Я готов был бросить гирю на чашу Кунга. Но он не доверял мне и отклонял мои советы. А над всеми нами висела тень генерала Зиапа, мастера шахматной игры, который наблюдал за событиями со своего Севера, видел всю игру, знал, кто — пешки, кто — обезумевшие слоны и когда ему, терпеливому стратегу, будет проиграна ладья.

В правовом отношении позиция моя была ясна. Я не имел никакого права выносить приговор Фунг Ван Кунгу или как-либо решать будущее его политической карьеры. Но на деле события и обстоятельства заставляли меня выступать в роли вершителя его судьбы. Я был одновременно и судьей, и присяжным, и прокурором, и защитником. Я был его банкиром — бесспорно. Но чего же еще может требовать банкир, кроме справедливого возмещения своих денег? Я был его советником, но коль скоро он не волен отклонять мои советы, значит, я уже становлюсь диктатором... И все же... По сути дела, ни в одном из этих качеств я не выступал. Я — платный слуга моей страны, проводник ее политики — как хорошей, так и плохой. Но наш президент сказал мне: «Вы не только слуга и не только проводник нашей политики. Вы — мои глаза, и мои уши, и мой язык. Я облекаю вас доверием выступать вместо меня и принимать как все почести победы, так и все последствия поражения». И вот я снова в зале суда, и от меня зависит решить судьбу человека и страны.

Издали, из-за болот, донеслись ружейные выстрелы. Потом снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь кваканьем лягушек да успокаивающе мерными шагами часовых у колючей проволоки.

Глава 8

Я вернулся в Сайгон с полным портфелем записей и с новой уверенностью в себе. Теперь, по крайней мере, я мог оценить поступавшую ко мне информацию и оценить людей, которые ее мне поставляли. Никаких существенных событий за мое отсутствие не произошло, но комендантский час отменили и выпустили на свободу немало студентов и монахов. Сайгонское радио и находящаяся под контролем правительства печать то и дело выступали с нападками на нас, критикуя нашу политику применения санкций, но все это были лишь перепевы речи, произнесенной Кунгом в Национальном собрании, и я не склонен был отвечать на них. Эвакуация административно-хозяйственного персонала на самолетах уже началась и недели через две должна была закончиться.

Президент Кунг сдержал обещание и прислал мне объемистый доклад о подрывной деятельности коммунистов в пагодах. Я внимательно прочел его — составлен он был толково, хотя и не во всем удовлетворил меня. В нем приводилось немало настораживающих фактов, оправдывающих наблюдение за пагодами, но было слишком много чисто гадательных предположений, которыми никак нельзя было оправдать массовые репрессии по отношению ко всей секте санга. Значительный упор был сделан на перечисление мятежей и сборищ, которые, однако, являлись следствием не только подрывной деятельности, но и полицейского произвола. Доклад изобиловал обвинениями в адрес Гарри Яффы и ЦРУ, но подкреплявшие их доказательства были по меньшей мере хлипки, а некоторые явно основаны на признаниях, полученных не совсем гуманным способом.

Я передал доклад Мэлу Адамсу, который пришел к тем же выводам, что и я. Прочел его и Гарри Яффа, но воспринял по-своему.

— Документ тщательно процежен, господин посол! Кунг и его молодчики знают куда больше, чем говорят. Недаром они весьма неопределенно намекают на нашу деятельность и называют лишь второстепенных агентов.

— В таком случае зачем же они послали мне этот доклад?

— По-моему, это достаточно ясно. Кунг обещал вам прислать его, а не сдержать обещание — значит уронить достоинство. Я полагаю, что его ребята, ведающие безопасностью, сфабриковали эту фальшивку, потому что настоящий доклад, очутись он в руках у вас или у меня, мог бы скомпрометировать кое-кого из его людей. У них система безопасности такая же многоступенчатая, как и у нас, и, выложив всю имеющуюся информацию, они могут больше потерять, чем выиграть.

— Как вам известно, я обещал направить копию этого документа в Вашингтон. Есть возражения?

— Никаких, господин посол. Но мне бы хотелось добавить кое-что.

Против этого я тоже не возражал. Меня гораздо больше интересовало, какие новые сведения может сообщить мне Яффа. Их оказалось намного больше, чем я рассчитывал получить за столь короткий срок.

—...Во-первых, Джордж Гротон вылетел в Гуэ на другой день после вашего отъезда. Я добыл ему рекомендательное письмо к старшему настоятелю — как ни странно, через посредство ректора тамошнего университета, католического священника, подавшего в отставку после первых же расстрелов и находящегося сейчас в резиденции архиепископа в Сайгоне под своего рода домашним арестом. Гротон провел два дня в пагоде. Там он услышал об организации, именуемой Фронт национального освобождения Южного Вьетнама. Это совпадает со сведениями, полученными недавно из Камбоджи.

— А как обстоит дело с коммунистическим влиянием в Гуэ?

— Пока доказательств не слишком много. Гротон сообщает о чрезвычайно сильных националистических настроениях, что вполне естественно, поскольку Гуэ — древняя культурная столица страны. Однако там существует хорошо организованная оппозиция режиму Кунга и ведется активная пропаганда в пользу переворота.

— Возглавляемого кем?

— Генералом Киетом, что командует корпусом, стоящим в дельте. Он уроженец Гуэ и происходит из старой, уважаемой буддистской семьи.

— Я вижу, Гротон неплохо поработал.

— Очень неплохо.

— А где он сейчас?

— В Камбодже, сэр. Мы дали ему гражданский паспорт с туристской визой и порекомендовали взглянуть на Ангкор-Ват, а потом потолковать с буддистами в Пном-Пене. Вдруг ему попадется ниточка, ведущая обратно сюда.

Это не входило в мои намерения, но возражать не стоило: мои слова

могли быть восприняты как знак особого расположения к Гротону. А потому я промолчал.

Тем временем Яффа продолжал:

— Я навел также справки об авторе той заметки в парижской газете. Клод Жемель — журналист, работающий на свой страх и риск. С месяц тому назад он нагрянул сюда и пробыл неделю, интервьюируя самых разных людей. Во всяком случае, он не принадлежит к числу известных агентов. Среди тех, у кого он брал интервью, были наши друзья, и он довольно точно изложил то, о чем они говорили. Поэтому есть основания полагать, что беседа с Кунгом тоже воспроизведена точно.

— Точно, но несколько туманно.

— Совершенно верно, сэр.

— Как по-вашему, можно ли из нее сделать вывод, что Кунг готов пойти на сделку с Северным Вьетнамом, если мы будем слишком на него нажимать?

— Вполне.

— Есть ли какой-либо способ заставить его повторить сказанное, кроме, конечно, лобовой атаки?

— Я уже об этом думал. Он, естественно, не повторит этого местной печати... И безусловно, не скажет никому из дипломатов.

— А вот я в этом не уверен.

— Почему, сэр?

Я рассказал ему о своем разговоре с французом во время коктейля, и он озабоченно нахмурился.

— Если это так,— задумчиво молвил Яффа,— если Кунг в самом деле замышляет сговор с Севером, какова же наша позиция? Позволим ли мы ему пойти на это или подадим знак и ускорим переворот?

— Это вопрос большой политики. И решение принадлежит Вашингтону. Я полагаю, что там выскажутся за переворот. Слишком много мы сюда вложили и слишком глубоко завязли, чтобы сейчас пойти на мировую с дядей Хо.

— В таком случае я дам соответствующее задание нашим людям и скажу, что это дело номер один.

— Хорошо, Яффа. Но только пусть они учтут, что мне нужны факты. Я больше не могу действовать и советовать на основе предположений...

Так или иначе, ничего больше сделать мы пока не могли. На столе у меня за пять дней скопилась гора бумаг, и мне предстояло написать большой отчет о моей поездке. Мы проработали с Энн Белдон до самого вечера, а гора бумаг уменьшилась лишь наполовину.

Мне трудно после всего, что произошло впоследствии, описывать отношения, которые установились у меня с Энн Белдон за долгие часы совместной работы. Она по-прежнему служит в госдепартаменте, и мне бы не хотелось, чтобы она стала предметом скандальных сплетен или злословия. Однако она неотделима от этой хроники. Есть женщины, которым даже в пору наивысшего накала страсти не смеешь открыться до конца, потому что они тут же постараются завладеть не только твоим телом, но и душой. И если им в этом отказывают, они раздражаются и злятся, ибо никогда не знали, что такое настоящая нежность. Но есть другие женщины, для которых любить — значит отдавать всю себя без остатка; только с ними и возможна близость, не нарушающая деловых отношений. У циников это может вызвать улыбку, а у сплетников — желание почесать языки, но однажды познав большую, всепоглощающую любовь — а мы с Энн Белдон оба ее познали,— человек боится отдаться на волю случайной страсти. На людях мы держались официально. Наедине же нам было легко друг с другом, и мы радовались возможности быть вместе. Мы не играли словами и не флиртовали — слишком велик для обоих был риск, хотя никто из нас не говорил об этом.

После смерти Габриэллы я стал скуп на откровенность, но от Энн я не скрывал ничего, и она отвечала мне тем же. Я говорил ей о своих дилеммах и о том, что боюсь за себя; будучи умницей, она не отрицала, что тоже за меня боится. Я говорил ей о моей привязанности к Джорджу Гротону, и она поняла влечение бездетного человека к более юному, в котором он видит продолжение себя. Вот эта-то добрая зрелость души и ума больше всего и привлекала меня в ней.

Были ли у нее любовники после смерти мужа? Я никогда ее об этом не спрашивал. Любила ли она меня? Да, хотя узнал я об этом слишком поздно. Был ли я влюблен в нее? Теперь я знаю, что был, и кляну себя за все потерянные часы и несказанные слова, за то, что она осталась для меня лишь ярким воспоминанием, запечатлевшимся меццо-тинто в моей памяти. Но не мог же я, пятидесятивосьмилетний вдовец и полномочный посол, запутавшийся в опасных сетях высокой политики, играть в любовь и целоваться

с секретаршей в посольской гостиной! Такие игры не для нас, сэр! Однако и более одаренные люди, более талантливые послы и умнейшие президенты поступали иначе. И стали ли мои лавры более пышными, а победы менее пустопорожними оттого, что я решил не срывать розы, попавшейся на моем пути? Мужчина моего возраста не должен играть с любовью. Бери ее — или отказывайся! Потому что завтра может быть уже слишком поздно!..

Сразу после моего возвращения в Сайгон произошло несколько ничем не связанных между собою событий, каждое из которых, однако, повлекло за собой цепь роковых последствий.

В воскресенье утром, накануне приезда Комиссии ООН, пожилой буддийский монах вышел у католического собора из машины и сжег себя на виду у прихожан, расходившихся после службы. В итоге: новые волнения, новые аресты и конец непрочного перемирия Кунга с буддистами.

В понедельник вечером в Шолоне была брошена граната в бар, посещаемый вьетнамскими и американскими солдатами. Погибли три девушки — завсегдатаи бара, вьетнамский парашютист и два солдата американской морской пехоты. А кроме того, человек десять было ранено. Один американский солдат, раненный в живот, выбрался на улицу и очутился в доме, где жили китайцы и где женщины быстро и умело оказали ему первую помощь и тем спасли жизнь. В итоге: звонок из отдела, ведающего у Толливера связью с общественностью. Посольству рекомендовали выразить благодарность за помощь, оказанную нашему солдату. Дом, где это произошло, принадлежал Китайцу Номер Один, тому самому загадочному и неприступному человеку, о котором говорил мне Мэл Адамс в день моего приезда в Сайгон.

Принимая во внимание положение этой семьи и то, что появилась возможность проникнуть в наглухо закрытую для нас китайскую среду, я решил заняться этим лично. Я написал письмо, которое отправил с курьером и в котором от своего имени и от имени своего правительства благодарил за проявленное участие. Я просил разрешения посетить главу семьи, чтобы лично выразить ему нашу признательность. Тот же курьер принес мне письмо с прелестным китайским рисунком, где в изысканнейших выражениях, какими пользовались мандарины, меня приглашали на чашку чая на завтра, в четыре часа.

Я тщательно выбирал подарок. Нужно было что-то простое, дорогое, но не слишком ценное, что понравилось бы хозяевам, но не вызвало бы у них чувства неловкости при мысли о необходимости отдарить чем-то столь же ценным. Наконец я остановился на одной вещице из моей собственной коллекции — красивой вазе из фарфора с инкрустациями, сделанной в XVII веке Номура Нинсей из Авата. Вооруженный подарком и двухчасовым изучением имевшихся в посольстве документов о китайском меньшинстве во Вьетнаме, я тронулся в путь с новым шофером и Биллом Славичем, восседавшим впереди в целях охраны, ибо он опасался нового покушения на мою жизнь в шумных кварталах Шолона.

Китаец Номер Один принял меня с соблюдением всех старинных церемоний. Это был пожилой человек, облаченный в просторные одежды ученого. Держался он степенно, спокойно, с врожденным достоинством патриарха. После обычных слов о чести, оказанной его недостойному дому, он с молчаливым одобрением принял мой дар. Затем представил мне своих сыновей и внуков, после чего они тотчас же удалились. С ритуальной торжественностью принесли и подали чай. Тогда, обменявшись комплиментами, кружным путем мы начали разговор.

Хозяин сокрушенно сказал несколько слов по поводу жестокого и смутного времени. Привел в качестве примера покушение на мою жизнь и то, что невинные люди гибнут от руки террористов,— все это весьма прискорбно. Затем мы перешли к разговору об особом положении его народа, и он принялся излагать мне суть дела в историческом аспекте.

Это был откровенный, хотя и не слишком объективный рассказ о проблеме национальных меньшинств, столь мучительной для всей Юго-Восточной Азии. Однако мой собеседник ни словом не обмолвился о политических настроениях китайских студентов, изверившихся и разочарованных, и об огромной притягательной силе монолитного восставшего Китая. Ничего он не сказал и о тайных переходах границы и проникновении в страну коммунистических агитаторов. Не было у нас речи и о вымогательствах, взятках и откупах, практикуемых политической верхушкой. Но я знал об этом, и Китаец Номер Один знал, что я об этом знаю, таким образом, достоинство его было соблюдено, а я мог перейти к менее острым, однако не менее важным вопросам.

— Вы являетесь главой китайской общины. И мне хотелось бы знать ваше личное мнение о президенте Кунге и его политическом курсе.

Он какое-то время раздумывал над вопросом, затем сказал:

— Мы пьем чай в моем доме. Следовательно, наш разговор надо считать частным и конфиденциальным, так?

— Конечно.

— В таком случае, разрешите сказать вам, ваше превосходительство, что если бы наш президент меньше придерживался французской ориентации и больше — китайской, ему было бы легче. По примеру французов он хорошо знает, как надо строить аппарат власти. Знаем это и мы. Но мы понимаем и то, что аппарат лишь тогда хорошо функционирует, когда в нем сидят хорошие исполнители. А главное, в конечном счете, это расположить к себе людей. У меня тоже есть свой аппарат — семейные кланы, тайные общества, ассоциации взаимопомощи, и если я, старый человек, все еще могу всем этим управлять, то лишь потому, что я всегда доступен людям... В этом-то и заключается слабость президента. Его не знают. Любой мошенник, занимающий государственный пост, может заявить, что говорит от его имени. И где же народу разобраться — так это или не так?

— Он честен?

— В этом я уверен. Я заключал с ним сделки, и он всегда держал слово. Он сидел вот тут, где вы сейчас сидите, и мы намечали с ним много хорошего для моего народа — постройку больниц, улучшение преподавания в школах, защиту от вымогательств полиции, возможность для китайца получить место в государственном аппарате. Я помог ему создать Вьетнамско-Китайскую культурную ассоциацию и наладить экономическое сотрудничество с Тайванем. Я никогда не просил у него больше того, что он мог обещать. И никогда не обещал ему больше того, что мог выполнить. Так что мы уважаем друг друга. Мы не друзья. Но в любое время он желанный гость в моем доме.

— А как вы рассматриваете его действия против буддистов?

Он пожал плечами и, скрестив руки на груди, засунул длинные кисти в широкие рукава своей одежды.

— Я старомодный конфуцианец. И я не верю ни одной религии, потому что, с моей точки зрения, все они несут в себе семена раздора и нетерпимости. Бывает, конечно, что в той или иной вере появляются святые люди, но это, как правило, те, кто посвятил себя служению богу и добрым делам, а не спорам. Я считаю, что президент совершил много ошибок, но учтены они были теми, кто видел в этом для себя политическую выгоду. Я полагаю, что он совершит еще немало других, потому что отгороженность от людей рождает подозрительность, а подозрительность диктует крутые меры.

— А что вы думаете о нашей политике в Азии?

Впервые он улыбнулся и на мой вопрос ответил вопросом:

— Вы хотите, чтобы я был вежлив, ваше превосходительство, или чтобы я сказал вам правду?

— Скажите правду.

— В таком случае, вот она правда, как я ее понимаю. Нельзя игнорировать существование семисот миллионов человек. Нельзя их запереть в клетку и не давать им вести нормальную торговлю с остальным миром. Слишком они древний для этого народ, слишком опытный и слишком гордый. Мои предки приехали в эту страну во времена династии Мин. Они были мандаринами. И сейчас, во второй половине двадцатого века, я здесь по-прежнему Китаец Номер Один. В этом проявление нашей могучей преемственности, которую не в состоянии разрушить ни революция внутри страны, ни давление извне. И дело тут не в политике — не в преходящем споре между конфуцианством, марксизмом и американской демократией. В этом вся история Азии, которая делается и переделывается каждый день — как узоры на песке, которые каждый день заново делает море.

Мы побеседовали еще немного, но все, что можно сказать, было уже сказано. Когда я поднялся и стал прощаться, он вручил мне свой подарок — небольшой диск из прозрачного нефрита, покоящийся на шелку в коробочке из сандалового дерева. На нем были выгравированы прелестные, замысловатые иероглифы, и Китаец Номер Один перевел их мне в стиле Конфуция:

— «Тот, на ком лежит моральный долг, не должен уступать даже своему господину».

Через день, вечером, я был приглашен на обед к моему австралийскому коллеге. Он назвал это «обедом в домашнем кругу». Я подумал, что меня, наверно, ждет скучный вечер, но было бы невежливо ответить отказом, и я решил запастись терпением. Каково же было мое удивление, когда я очутился в небольшой компании остроумных, веселых людей, которые своей добродушной непринужденностью заставили меня забыть мою чопорность и вновь почувствовать себя человеком. Там был мой друг датчанин — тот са-

мый, которого волновали проблемы утиных перьев и морского транспорта, а также глава австралийской военной миссии, который свыше десяти лет вел партизанскую войну в Бирме и Малайе, а теперь беседовал о геммах, рукописях на языке пали и экзотических колонистах, все еще встречающихся в отдаленных уголках земного шара. Кроме них там была весьма привлекательная брюнетка лет тридцати, писавшая портреты таиландской знати и зарабатывавшая, как маленький Пикассо, а также жена моего коллеги, шведка, которую за этот обед можно было бы сделать шеф-поваром Ордена голубой подвязки. Меня посадили между женой датчанина и англичанкой, супругой специалиста по партизанской войне; напротив меня сидел круглолицый добродушный человек, оказавшийся довольно известным странствующим романистом, чьих книг я никогда не читал.

На этот раз профессиональных разговоров почти не было; мне пришлось вылезти из своей скорлупы и принять участие в беседе, перескакивавшей с французской кухни на зеленоватый фарфор и с Карла Барта — на невероятную стоимость плохих картин и бесчинства двух знаменитых кинозвезд. Хозяин наш предоставлял беседе идти своим чередом; писатель же, принадлежавший к числу опытных слушателей, выпускал зайца и затем наблюдал, как собеседники гонят его по двенадцати разным направлениям. Я поинтересовался, что он делает в этой неуютной глуши, и он ответил, что занимается изучением религиозных движений и взаимоотношений между христианством и нехристианскими религиями. Он католик, и недавние события в Южном Вьетнаме глубоко взволновали его. Вот он и приехал для того, чтобы разведать все самому. По происхождению он австралиец, и посольство устраивает ему встречи с нужными людьми. Он довольно прилично знает и Францию. Сейчас ему предстоит встреча с президентом Кунгом, который согласился дать ему интервью, а затем обещал связать с официальными источниками информации. Он весьма признателен за такую любезность, но опасается, как бы Кунг не пожелал использовать его для опровержения доклада Комиссии ООН. Я спросил, собирается ли он публиковать что-либо из того, о чем узнает. Он сказал, что он ведь романист, а не журналист. Роман же может потребовать года два. Кроме того, он весьма сдержанно относится к репортажу и не хотел бы ставить свое имя под скороспелым анализом сложной ситуации. Приятно было слышать, что наряду с ничем не гнушающимися репортерами-международниками и оракулами еженедельных обозрений, есть люди, которые так относятся к делу. Взяв чашку кофе, я отвел его в сторону и спросил в упор, не согласится ли он оказать мне услугу.

— Конечно, если смогу.

— Когда назначена ваша встреча с президентом Кунгом?

— Завтра, в половине одиннадцатого. А что?

— Согласитесь ли вы задать ему по моей просьбе один вопрос?

— Да.

— Согласитесь ли вы сообщить мне его ответ?

— Нет, боюсь, что не соглашусь.— Он ответил мне очень вежливо и улыбнулся при этом. Затем добавил:— Видите ли, я очень ревниво оберегаю свое положение. Я не агент. Я друг Соединенных Штатов. Я там жил. Я люблю народ и страну. Но то, о чем вы просите, ставит меня в ложное положение... Вот если бы я мог включить в это кого-нибудь из моего посольства...

— А почему же нет? Я думаю, Менсон столь же заинтересован в этом, как и я.

Я поманил Менсона; он тотчас подошел к нам. Я рассказал ему о моей просьбе и об отказе писателя ее выполнить. Менсон поддержал меня:

— Вопрос этот интересует не только вас, но и нас. Ответ на него важен для нас всех.

— Весьма откровенное заявление,— заметил писатель.— Так что же это за вопрос?

— Намерен ли Кунг сейчас или в какое-то другое время и при каких-то других обстоятельствах вступить в отношения с Северным Вьетнамом?

Воцарилось молчание. Менсон кивнул, но тут же обратился ко мне:

— Быть может, вы поясните значение этого вопроса, мистер Эмберли?

— И скажете также, какие последствия может повлечь за собой ответ,— спокойно произнес наш друг романист.— Я готов взять на себя эту задачу и представить вам точный отчет... Но остается проблема последствий. Поэтому я просил бы вас быть честным со мной.

Он был слишком хитер и слишком хорошо информирован, чтобы удовольствоваться полуправдой, а потому я решил положиться на то, что Менсон, очевидно, знает своего гостя, и рассказал ему о разговоре, который был у меня на коктейле у англичан. Менсон оказался хорошим союзником. Он сказал, что и до него дошли подобные слухи и ему хотелось бы знать, на-

сколько они достоверны. Романист молча выслушал нас и задумался. Наконец он осторожно ответил:

— Я понимаю, что вам нужно и почему вам это нужно. У меня есть долг по отношению к моему правительству и самые дружественные чувства по отношению к правительству Америки. Но мне кажется, если я дам на ваш вопрос определенный ответ, это ускорит применение определенной акции. Так?

— Да.

— А что, если я намеренно искажу слова Кунга?

— Не думаю, чтобы вы так поступили.

— Или неправильно их истолкую?

— Мне кажется, вы для этого слишком умны. Но так или иначе, никакие акции не могут быть и не будут предприняты на основании сведений из неамериканского источника. ЦРУ проверит через своих информаторов ваше сообщение.

— В таком случае, я задам ваш вопрос Кунгу и постараюсь возможно точнее передать его ответ. Завтра к пяти вы получите письменный отчет о моей встрече с ним.

— Благодарю вас.

Он пожал плечами, глотнул коньяку и криво усмехнулся.

— Когда я был моложе, я верил в полную свободу художника, считал, что он должен быть независим. А сейчас, когда я стал достаточно известен и достаточно богат для того, чтобы чувствовать себя независимым, я каждый день оказываюсь перед необходимостью нравственного выбора. Проблема, которую вы сегодня поставили передо мной, далеко не простая. И если я принял неверное решение, мне нелегко будет себе это простить.

— Однако вы решились довольно быстро.

— У меня есть некоторые преимущества перед вами, господин посол. Я знаю, какое значение имеют слова, и отношусь к ним с уважением. Моя профессия — профессия одиночки. Я своими глазами смотрю на мир. Я сам иду на риск и сам за это расплачиваюсь. Я понимаю, что значит быть проклятым, и я давно осознал, что отпущение грехов, полученное соседом, не распространяется на тебя.

●

На другое утро ко мне явились камбоджийцы с резким протестом и требованием возмещения убытков. Пехота, поддерживаемая вертолетами. преследуя отряд Вьет-конга, пересекла южную границу. В результате камбоджийская деревня была разнесена в щепы ракетными снарядами и многие обитатели ее были убиты и ранены. Я обещал произвести расследование, и после сорокаминутного весьма выразительного обмена мнениями они покинули посольство.

Вот вам еще один горький парадокс этой гангренозной войны. Да, действительно нейтралитет Камбоджи был нарушен, но и камбоджийцы тоже каждодневно нарушали собственный нейтралитет, разрешая провозить оружие и людей вниз по реке Меконг и предоставляя площадки для самолетов, то и дело беспрепятственно пересекавших в обоих направлениях границу. А пострадали от этого крестьяне — старухи, дети и землепашцы, которые уже покоятся в земле, и эпитафией им будет лишь горстка газетных вырезок да папки с дипломатической перепиской. Однако зубы дракона в этой маленькой деревушке посеяны, и появятся всходы в виде вооруженных людей...

В полдень явился Гарри Яффа с двумя докладами.

Мой рассказ о беседе на обеде у австралийского посла чрезвычайно заинтересовал его, и он просил вызвать его, как только я получу обещанный отчет. Наш странствующий писатель оправдал мои надежды и не заставил себя ждать. Ровно в пять он явился в мою канцелярию с отпечатанной на машинке копией записи беседы с президентом Кунгом. Оригинал, с усмешкой заявил он мне, находится у австралийского посла, так что все правила международной вежливости соблюдены. Я попросил его подождать — быть может, по прочтении у меня возникнут какие-то вопросы, но он вежливо отказался. Он согласился записать беседу. В его отчете есть комментарии и выводы. Больше он ничего не может добавить. Доводы его были вполне резонны, а потому я поблагодарил его и отпустил. Я завидовал его независимости и его праву по своему желанию ставить предел своим обязанностям. Мои же обязанности были почти безграничны, и я не имел никакого права уклоняться от них.

Запись была сделана великолепно — просто, лаконично — и не выходила за рамки интересующего нас вопроса. Я воспроизвожу ее здесь хотя бы для того, чтобы показать, как она для меня все прояснила.

«Вопрос: Совершенно ясно, что буддистская проблема еще не решена. Ожидаете ли вы от буддистов дальнейших демонстраций и актов самосожжения?

Ответ: Если это произойдет, мы сумеем с ними справиться. Но позиция американцев способствует проявлению такого рода фанатизма... Американцы разрушают наши традиции. Они нас не понимают. А мы понимаем свой народ. Мы знаем, как люди мыслят, на что и как они реагируют. Американцы болтают о демократии, но демократия, как они ее рисуют, ни к чему нашей стране.

Вопрос: Какую форму правления вы считаете наилучшей для Южного Вьетнама?

Ответ: Ту, которая существует у нас сейчас. Сильная централизованная власть, которая может вести войну и одновременно развивать страну... Если это диктатура, значит, нам нужна диктатура, но в деревне мы закладываем основы демократии... Город (Сайгон) ничего для нас не значит. Если потребуется, мы оставим его и разобьем на стратегические опорные пункты — вроде тех, какие существуют в деревнях. Горожане всем всегда недовольны, испорчены, отравлены западным индивидуализмом. А наш народ должен развиваться в рамках семьи и рода в соответствии со своей историей, экономикой и социальным строем. Это-то мы и подразумеваем под персонализмом.

Вопрос: Предположим, существуют естественные рамки, установленные историей и социальным строем. Но разве вы не создаете еще и искусственных, противоестественных ограничений? Взять хотя бы ваши меры, направленные на подавление буддистов и студентов.

Ответ: Конечно, мы создаем ограничения. Буддистские монахи не хотят сражаться. Какое же они тогда имеют право вмешиваться в ход войны? В секту санга входит лишь небольшая часть нашего народа. Почему же она должна определять весь ход нашей истории? Студенты — и юноши, и девушки — должны участвовать в нашей борьбе с Вьет-конгом. Какое же они имеют право подрывать наши усилия, устраивая нелояльные демонстрации? Позиция американцев способствует этому. Если мы хотим одержать победу, надо оздоровить народ, вытравить этот яд.

Вопрос: Всем ясно, что хотя американские солдаты погибают у вас на фронте, хотя вы ведете войну с помощью американских денег и оружия, между вашим правительством и Соединенными Штатами — открытая вражда. Какие шаги могут — или должны — быть предприняты, чтобы заштукатурить эту трещину?

Ответ: Вполне определенные. Пусть американцы дадут нам оружие, деньги, вертолеты и военный транспорт, а войну мы будем сами вести. Это не их война, а наша. И стратегию определяю я. Я создал восемь тысяч стратегических опорных пунктов. Однако всякий раз, как я хочу воспользоваться вертолетом, мне надо спрашивать разрешения у американцев.

Вопрос: Вы хотите, чтобы американцы ушли из страны?

Ответ: Совершенно верно.

Вопрос: А если вы получите то, что хотите — оружие, деньги, транспорт,— и американцы уйдут из страны, сколько вам потребуется времени на то, чтобы выиграть войну?

Ответ: Года два или три — самое большее.

Вопрос: А если американцы останутся, сколько потребуется тогда?

Ответ: Одному богу известно.

Вопрос: После того, как вы выиграете войну, какого рода отношения могут установиться между вами и Северным Вьетнамом?

Ответ (возмущенным тоном): В этой самой комнате американские чиновники обвиняли меня в том, что я поддерживаю отношения с Хо Ши Мином. Я сказал им, что американцы все сделали для того, чтобы бросить меня в его объятия, но я остался верен своим целям и своей стране.

(За этим последовала длинная тирада, обличающая методы и политику Соединенных Штатов.)

Вопрос: Давайте посмотрим на это с другой стороны. Как главного стратега кампании, вас не может не интересовать то, что происходит на Севере — хотя бы с разведывательной точки зрения.

Ответ: Естественно.

Вопрос: Сумели ли вы проникнуть в их ряды? Поддерживаете ли вы с ними какие-то отношения — по линии разведки или по какой-либо другой?

Ответ: Да. Но инициатива в этом принадлежала не мне.

Вопрос: Теперь предположим, что американцы не дадут вам того, чего вы хотите, а оставят в силе свои санкции и будут открыто выступать против вашей политики. Что тогда?

Ответ: Тогда мне придется прибегнуть к соответствующим мерам, чтобы положить конец затянувшейся агонии моей страны.

Вопрос: Включают ли эти меры соглашение с Хо Ши Мином?

Ответ: В политике нет ничего невозможного. Я должен рассмотреть все возможности — этим я сейчас и занимаюсь.

Комментарий: Тут президент Кунг внезапно прервал разговор и пустился в долгие рассуждения на тему о персонализме и об ошибках и махинациях американцев. До своего ухода я сумел, однако, задать ему еще один вопрос.

Вопрос: Что вы думаете о мистере Максуэлле Эмберли?

Ответ: В его поступках начисто отсутствуют моральные критерии. У его предшественника они по крайней мере были. Он же не руководствуется ни моралью, ни религиозными соображениями.

Выводы: В общем, от этой беседы у меня осталось впечатление, что Кунг решил воспользоваться мной в целях распространения своих весьма сильных антиамериканских настроений. Ясно также, что возможность установления отношений с Севером выдвигается в качестве этакой не слишком завуалированной угрозы: вот, мол, что может произойти, если вы будете нам мешать. Мы добьемся нейтралитета Южного Вьетнама, заключив сделку с Севером на основе quid pro quo *: «Прекратите войну, и мы выставим из страны американцев». Я не располагаю данными, чтобы судить о том, считает ли Кунг такую сделку действительно возможной и думает ли он, что сумеет сохранить свой пост, если она будет заключена».

Я вызвал Гарри Яффу и вручил ему отпечатанные на машинке листки. Он молча прочел их, положил на стол и прихлопнул рукой.

— По-моему, то, что надо, сэр! Изложено четко, ясно и совпадает со всей нашей информацией. Следовательно: генералы бунтуют, не исключено восстание в армии, а Кунг открыто угрожает вести игру на свой страх и риск в левой части поля... Я бы сказал, что нам надо пошевеливаться — и быстро.

— Возможно, но решать тут будет Вашингтон.

— Вы намерены отправить донесение?

— Через двое суток. Но прежде надо сделать две вещи.

— Какие, сэр?

— Во-первых, я хочу, чтобы эта запись беседы обошла все отделы посольства, а также Толливера и его людей. Затем я хочу провести здесь завтра вечером общее совещание. А пока я отправлюсь к Кунгу и поставлю его в известность о полученной нами информации.

— Разумно ли это?

— Это необходимо.

Он с сомнением пожал плечами и довольно резко заметил:

— В таком случае, сэр, надо позаботиться о безопасности того, кто предоставил нам эти сведения. Он должен поскорее уехать отсюда.

— Об этом позаботьтесь уж вы, мистер Яффа.

— Кроме того, я предупрежу генералов — на случай, если Кунг решит вдруг что-то учудить. Речь ведь идет об их головах.

— Я знаю. Делайте, что считаете нужным.

Он ушел, а я продолжал стоять, раздумывая над словами, начертанными на нефритовом талисмане, и глядя, как за окном дневной свет быстро сменяется тьмой.

В тот вечер я работал допоздна и спал потом плохо. Мне приснился страшный сон, я закричал от ужаса и проснулся весь в поту, с пересохшим ртом. Комнату заливал лунный свет. Я взглянул на часы. Было четыре часа утра. Я никак не мог отделаться от пережитого во сне страха. Тогда я встал, сменил белье и проработал за письменным столом до завтрака.

Мне не нужен был Иосиф, чтобы разгадать мой сон. Я понимал, что он означает. Мне предстояло самому судить себя и быть одновременно судьей, присяжным, прокурором и защитником. Скоро, очень скоро следствие закончится, защитник скажет свое слово, и Максуэллу Эмберли, чрезвычайному и полномочному послу, будет вынесен приговор. Его уже не защитят дипломатические привилегии — он будет стоять перед обычным судом и слушать беспристрастное суждение о своей особе. А затем последует приговор: пожизненное заключение в собственной скорлупе, наедине с собой... Все это, конечно, был бред — бред, который рассеется от первого же солнечного луча, после первой же чашки кофе. Никто не судит Максуэлла Гордона Эмберли. Он из тех, кто сидит среди сильных мира сего,— сатрап, тетрарх, вице-регент, распоряжающийся жизнью, смертью и имуществом. Он будет, конечно, справедлив и даже милосерден, но он обязан решать, не уступая ни страху, ни пристрастию. Он будет великодушен, но осторожен. Он будет корить, но беззлобно. Великие дела возложены на него, и он будет поступать, как положено великому человеку,— судья всего вчерашнего

* Услуга за услугу (*лат.*).

и строитель славного будущего. Аминь!.. Еще, пожалуйста, чашечку кофе, Энн. Мне предстоит тяжелый день.

Встреча с Кунгом была назначена на одиннадцать утра. В половине десятого пришел массажист, и я лежал целый час, отдав свое тело во власть его мягких, сильных рук,— он выжимал из моих мускулов усталость, а я приводил в порядок мысли, готовясь к нашей последней беседе с Кунгом. А то, что беседа будет последней, я знал. Время истекало для нас обоих. Колесо уже завертелось, и крупье в последний раз прокричал, точно попугай: «Rien ne va plus!» * Шарик перескакивал с красного на черное и опять на черное, оба мы играли против владельца рулетки и против друг друга.

Одно я твердо решил. Я буду абсолютно честен. Я не стану прибегать к иносказательному языку нашей профессии. Я скажу всю правду, какая мне известна. Я признаю свои ошибки. Я не стану отрицать — если это будет необходимо — своего невежества и несостоятельности. А когда настанет время действовать, я и от этого не уклонюсь... Что поделаешь, придется распроститься с моей пуританской сдержанностью! Ставки мои сделаны, но я же и владелец рулетки, а владелец всегда выигрывает — если не на нуле, так на процентах. А вам хотелось бы, чтоб было иначе, да, джентльмены и игроки? Вы вышвырнули французов. Японцы обанкротились. Вам не понравилась китайская игра Фантан. Что ж, в городе теперь осталась только моя рулетка, и сыграть можно только у меня!.. Кожа моя была умащена маслами, мускулы играли. Голова была ясная — и я забыл про ночные кошмары. В состоянии бодрой приподнятости я и отправился во дворец.

Кунг встретил меня с холодной учтивостью и предложил зеленого чаю. На этот раз он без всяких вступлений перешел прямо к делу:

— Вы хотите мне что-то сказать, господин посол? Я вас слушаю.

Мое вступительное слово было тщательно подготовлено, и я произнес его как можно проще и спокойнее:

— Наша последняя беседа, господин президент, закончилась патом. Мы с вами оба стоим перед кризисом. Я хочу по возможности положить этому кризису конец и готов ради этого сделать все, что в моих силах. На прошлой неделе я объехал районы боевых действий. Я своими глазами видел, сколько вы сделали для страны. Я полностью признаю ваши достижения. И я ими чрезвычайно восхищаюсь. Восхищаюсь я и вами, хотя мы с вами не очень ладим. Я уважаю вашу целеустремленность и вашу честность. Я готов признать ошибки нашей политики и сознаться, что во многих частностях проявил близорукость. Со своей стороны, я надеюсь, вы признаете, сколько трудностей и проблем возникает в связи с двойственным положением, которое мы занимаем в этой стране, где мы можем советовать, но не можем сами вести войну, где мы должны платить, но не можем контролировать, где мы не имеем права голоса в правительстве, однако должны разделять вину за его ошибки. Надеюсь, я говорю достаточно ясно, господин президент?

— Удивительно ясно, господин посол. Продолжайте, пожалуйста.

— Но признание всех этих фактов ничего не меняет ни в моем положении, ни в вашем. Разрешите обрисовать вам, как обстоит дело, господин президент. Ваш высший генералитет бунтует и готовит заговор, чтобы сбросить вас. Ваша армия — во всяком случае часть ее — на грани мятежа. Ваши управители готовы изменить вам. Буддисты враждебно к вам настроены; католики мечутся между своей приверженностью Риму и своей верой в вас как национального освободителя. Вы не сумели привлечь на свою сторону простой народ — ни ваши цели, ни вы лично не пользуетесь популярностью. Вы оскорбили и оттолкнули от себя нас, хотя мы ваши друзья; вы не идете ни на какие уступки, даже пальцем не хотите шевельнуть для того, чтобы урегулировать наши разногласия. Более того: оказавшись в изоляции, вы угрожаете — и угрожаете неоднократно, господин президент,— пуститься в новую опасную авантюру, а именно: заключить пакт с Хо Ши Мином. Вы надеетесь, что это упрочит ваше положение, которое вы не сумели упрочить с помощью оружия, дипломатии или просто лояльности! Я пришел сегодня сказать вам, что мы дошли почти до конца нашего совместного пути. Еще есть время повернуть назад и избрать другой путь. Но если вы отказываетесь повернуть назад, тогда идите дальше один — причем шансы, что вы уцелеете, весьма невелики!

К его чести надо сказать, что он принял это спокойно. Он долгое время сидел молча, опустив веки и уставясь на свои выхоленные руки. Потом заговорил — бесстрастно, как лектор, заинтересованный лишь в том, чтобы логически изложить свои мысли.

---

* Ставки сделаны *(франц.)*.

— Я высоко ценю, господин посол, вашу откровенность и верю в искренность ваших похвал и ваших намерений. А потому и я постараюсь быть с вами откровенным. Вы рассказываете мне о бунтах, заговорах и расколах. Я знаю, что все это существует. И я лучше вас знаю людей, которые в этом участвуют. Но посмотрите вокруг! Кто здесь всем правит? Я! Признаюсь, это нелегко. И стоит мне немалых волнений. Но все же правлю я! А в районе боев чьим подчиняются приказам, кто руководит ходом кампании? Я! Надеюсь, вы не станете это отрицать.

— Да, это так. Но существуют...

Он поднял руку, требуя молчания.

— Нет, подождите, пожалуйста! Вы говорите, что убеждены в моей честности и целеустремленности. Можете ли вы сказать то же самое про генерала Дао, или генерала Киета, или моего друга Тхо на Севере? Что вы знаете об этих людях, кроме того, что они сами вам рассказали или что вы слышали от других? Они хорошие солдаты — это так! Ну, а экономисты? Администраторы? Финансисты? Просветители? Я жил с этими людьми и вместе с ними участвовал в заговорах против французов и японцев. Я знаю их! Уверяю вас, один генерал Зиап в Северном Вьетнаме стоит пятидесяти таких, как они, а вы полагаете, что сможете составить из них правительство! Разрешили бы вы генералу Толливеру выполнять за вас ваши обязанности или, скажем, выбрали бы вы его президентом Соединенных Штатов? Посмотрите на их счета в банке и на мой! Я беднее их, поверьте! К моим рукам не прилип ни один из ваших долларов. А к их рукам — немало! Чего же вы хотите, господин посол? Чего вы хотите?

— Покончить с разногласиями. Между вами и буддистами, между вами и генералами! Если желаете, я готов предложить свои услуги в качестве посредника.

— Я все время пытаюсь объяснить вам, господин посол, что так поступают на Западе. Но не у нас. Они будут счастливы, если вы вмешаетесь. Они будут любезны и разумны, а сами про себя будут говорить: «Кунг уже положен на обе лопатки. Ему пришлось даже воззвать к американцам. Так что попросим сегодня у него палец, а завтра отхватим всю руку».

— Даже так было бы лучше, чем бунт и мятеж!

— Нет!

— Почему нет?

— Потому что каждая уступка влечет за собой новую угрозу, а за ней еще и еще. Лучше раз помериться силами, чем постепенно терять их.

— Вы можете не уцелеть в этой борьбе.

— Если я сойду со сцены, господин посол, Америка уйдет из Южного Вьетнама. Возможно, не сразу, но рано или поздно — безусловно. Странные вы люди. Высасываете друзей, как виноград, а потом выплевываете кожуру, потому что она вам не по вкусу.

— Тогда скажите мне, господин президент, что вы намерены делать?

— Очень просто. Я хочу сражаться. Хочу покончить с войной, чтобы мой народ мог жить в мире.

— Мы как раз для этого сюда и пришли — чтобы помочь вам.

— Это вы так думаете. На самом же деле вы даете нам в руки ружье, а потом уничтожаете нашу волю к борьбе. Вы заражаете народ вашими западными идеями индивидуализма и свободы, восприятие которые мы еще не готовы.

— В таком случае, я повторю свой вопрос. Чего вы хотите?

— Дайте мне оружие. деньги, транспорт, авиацию, и я очень быстро положу конец войне. Но вы и ваши люди должны уйти отсюда.

— Это невозможно. И вы это знаете. Слишком глубоко мы здесь увязли.

— Значит, вы вроде французов, которым непременно нужно сидеть в гостиной, чтобы доказать, что они друзья. Что это, если не старомодный колониализм?

— Нечто совсем другое, господин президент. Я видел, как вы поворачивали ружья, которые мы вам дали, против вашего собственного народа. Можем мы на это закрывать глаза?

— Однако вы закроете их, не так ли, когда генералы будут убивать меня этими же самыми американскими ружьями? Или, быть может, мистер Гарри Яффа самолично нажмет на курок?

— Наш спор бесплоден, господин президент. Он идет без учета фактов. Вам не уцелеть, если вы не пойдете на уступки. И тем не менее вы не желаете уступать, вы не желаете переговоров, вы не желаете посредничества. Вы хотите иметь наше оружие и наши деньги — и не хотите терпеть нас... Это закрывает все двери — за исключением одной.

— Какой же?

— Вы могли бы сложить с себя полномочия или же согласиться на создание правительственного комитета во главе с вами в качестве председателя.

— Сложить с себя полномочия?! — Он был искренне удивлен.— А вы предлагаете своему президенту сложить с себя полномочия, потому что республиканцы не согласны с его политикой?

— Вообще-то говоря, да, предлагаем — каждые четыре года!

— Я на это никогда не пойду! Никогда! Я не уйду, как Бао Дай, и не отдам страну во власть разрухи!

— В таком случае, все двери закрыты, кроме той, которую вы пытаетесь открыть тайком,— двери, ведущей в Северный Вьетнам!

— Это поражает вас, господин посол?

— До крайности. Я нахожу это чудовищным безумием!

— Почему же безумием? — Он с мягкой улыбкой сострадания смотрел на меня.— Я уцелел при американцах. Как-нибудь уцелею и при моих продажных генералах. Ну, а почему же мне не уцелеть, если я заключу союз с Хо Ши Мином? Ведь мы говорим с ним на одном языке.

— Тогда скажите прямо: вы этого хотите, да?

— Нет. Но вы можете вынудить меня пойти на это.

Я провозился с ним еще целый час, но не смог сдвинуть с места. Он не желал ничего уступать, ничего менять, не шел ни на какие переговоры. Под конец он спросил меня:

— Что же вы теперь предпримете, господин посол?

— Доложу Вашингтону и буду ждать указаний.

Он пожал плечами, подошел к книжной полке, провел пальцем по заголовкам в поисках нужной книги. Затем полистал ее и с улыбкой повернулся ко мне.

— Вы любите все японское, господин посол. Вот нечто такое, что может вас заинтересовать. «Трем японским мудрецам надлежало решить, как быть с кукушкой, которая не хотела куковать. Нобунага сказал: «Я убью кукушку, если она не будет куковать». Хидейоси сказал: «Я попрошу ее, чтобы она покуковала». Иеясу сказал: «Я подожду, пока она не закукует...» Вот вам загадка, господин посол. Который из них был прав?.. И к которому из них вы бы присоединились?

Глава 9

В семь часов вечера я созвал экстренное совещание в специальной звуконепроницаемой комнате посольства. Это совещание должно было пройти как по нотам: каждый участник обязан был знать свою партию от первого до последнего такта, а я, как дирижер, знал всю партитуру наизусть — все трели, фиоритуры, паузы и каденции. Я должен был управлять, сдерживать и истолковывать. Я должен был придать смысл и гармонию тому, что без моего участия могло превратиться в бессмыслицу и дикую какофонию. Я уже встречался с этим оркестром однажды — в день моего прибытия. Они тогда держались замкнуто и настороженно. Теперь все выглядело иначе. Они видели, как я пытаюсь разобраться в неровном ритме сайгонской симфонии. Они знали, что партитура написана скверно и оркестр играет нестройно, но мне удалось по крайней мере ухватить ритм и держать его, невзирая на свист, улюлюканье и град гнилых яблок с галерки; а сегодня и вовсе исполнение зависело от меня.

В ожидании, пока все рассядутся и разложат свои бумаги, я мысленно тешился своей фантазией, воображая себя дирижером оркестра. Но эта метафора, как и всякая другая, была построена на сходстве и несоответствии. А несоответствие заключалось в том, что если бы даже я сыграл всю партитуру безукоризненно от первой до последней ноты, я бы и тут не мог поручиться за точность, так как мое толкование не могло не быть индивидуальным и субъективным. Излишне громкое звучание духовых, партия гобоя, исполненная пианиссимо, тремоло скрипок, лишний удар барабана, изменение ритма в перезвоне колокольчиков — и композитор начинает беспокойно ворочаться в своей могиле! Но разве кто-нибудь сможет уличить маэстро — ведь все так, как написано в партитуре; к тому же слушатели не в состоянии отличить кроше от глиссандо. Итак, постучим камертоном по пюпитру, подождем, пока утихнет перешептывание, и трахнем их по головам первым аккордом!

— ...Вам известно, почему мы собрались здесь, джентльмены: политический кризис уже назрел, и очень скоро мы можем оказаться перед лицом

кризиса военного. Я обязан доложить Вашингтону — рекомендовать тот или иной образ действия — и затем выполнять распоряжения, которые оттуда поступят, независимо от того, будут они соответствовать моим рекомендациям или нет... Все, что сегодня будет здесь сказано, протоколируется для Вашингтона. Вы обязаны высказать свои мнения, а Вашингтон вправе принять их или отвергнуть... Теперь разрешите мне обрисовать положение дел...

Для начала я информировал их обо всех событиях, вплоть до моей последней встречи с президентом Кунгом. Затем военные специалисты из штаба Толливера изложили военную ситуацию, а Беттигер из политического отдела кратко суммировал положение в Таиланде, Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме. Яффа говорил от лица Центрального разведывательного управления, Хенбери из Оперативной миссии сообщил о том, что предпринимается по оказанию правительству гражданской помощи. Затем я подвел итог, обрисовав стоящую перед нами альтернативу:

— ...Итак, мне кажется, совершенно ясно, из чего мы должны выбирать. Либо мы спокойно наблюдаем, какой оборот примут события, либо вмешиваемся в них и даем недвусмысленно понять, что будем приветствовать смену правительства и готовы поддержать нового кандидата, имеющего шансы на успех. Проще говоря, мы должны сделать выбор между Кунгом и военной хунтой. Теперь, джентльмены, прошу изложить ваши соображения для протокола!.. Генерал Толливер?

— Если мы должны выбирать между ожиданием и действием, господин посол, то я скажу, что надо действовать. У меня свыше двадцати тысяч солдат и до черта военной техники разбросано по всей стране. В случае каких-либо беспорядков в армии или бунта генералов все это может попасть в руки Вьет-конга, а то и отдельных группок, воюющих между собой в самом Южном Вьетнаме. Я не думаю, чтобы мы могли пойти на такой риск. Если же вы хотите, чтобы я сделал выбор между президентом Кунгом и генералами, то я за генералов, так как Кунг, по-моему, с каждым днем теряет авторитет. Рано или поздно его свалят. Так лучше уж теперь, пока армия еще едина, чем потом, когда она может быть расколота мятежом.

— Благодарю вас, генерал. Мы бы хотели теперь услышать мнение Оперативной миссии. Мистер Хенбери?

— Боюсь, что я разделяю точку зрения генерала Толливера, хотя и по несколько иным причинам. Мы провели в этой стране около десяти лет, созидая ее экономику, помогая народу наладить промышленность, сельское хозяйство, торговлю, общественные работы, образование и прочее. И тех, что работают в поле,— их надо защитить. Но главное, мне кажется, было бы слишком рискованно отдать все наши достижения, все, что так ярко свидетельствует о доброй воле американцев и их сотрудничестве и что могло бы и впредь дать прекрасные плоды, в руки столь шаткого союза, как союз президента Кунга с Хо Ши Мином. Если при новом режиме нам меньше придется рисковать и мы получим больше времени для консолидации и дальнейшей просветительной работы, я считаю, что мы должны решать в его пользу.

— Мистер Беттигер?

— Мне кажется, что выбор очень труден и нас слишком торопят. С чисто политической точки зрения, режим Кунга еще вполне жизнеспособен — при условии, что Кунг пойдет на переговоры. Что же до генеральской хунты, то, к сожалению, мы не можем с уверенностью сказать, какой политический курс она возьмет. Таким образом, опять же с чисто политической точки зрения, следует отдать предпочтение тому зверю, повадки которого нам уже известны... Оборотная сторона медали заключается, однако, в том, что Кунг не желает вести переговоры и что переворот уже подготовлен. Таким образом, хотя и против воли, мы должны склониться в пользу смены правительства...

— Мистер Яффа?

— Это уже дело Центрального разведывательного управления — предусмотреть, какая политическая акция повлечет за собой больший риск. Мы считаем, что режим Кунга чреват для нас серьезными опасностями, и они возрастают с каждым днем. Военная хунта, возглавляемая генералом Киетом, будет сразу же поддержана буддистами, профсоюзами и армией... Это уже превосходит то, чем располагает сейчас Кунг... Поэтому мы советуем оказать поддержку генералу Киету.

— Мистер Адамс?

Обычно Адамс любил излагать свою точку зрения и охотно выступал; под рукой у него всегда имелись нужные факты, и он ловко извлекал их на свет, словно фокусник колоду карт из рукава. Но в этот вечер он медлил с ответом. Я заметил, что лицо у него пожелтело и осунулось, и подумал, уж не начинается ли у него приступ малярии или гепатита. Он обычно говорил

четко и громко, но сейчас голос его звучал хрипло, и я уловил в нем скрытый гнев.

— Вы сказали нам, господин посол, что наш долг высказать свое мнение. Боюсь, что мое мнение не найдет здесь поддержки. Но я хочу исполнить свой долг, как меня об этом просили. Вот тут изложена моя точка зрения. Я хочу прочесть ее вам, чтобы не могло быть никаких сомнений.

Пункт первый. Я считаю, что господин посол допускает серьезную ошибку, предлагая нам сделать выбор между режимом Кунга и государственным переворотом, который мы можем ускорить, подав тот или иной знак. Мы не должны делать такого выбора. И Вашингтон не должен его делать, потому что мы не имеем на то ни морального, ни юридического права...

Он произнес не больше пятидесяти слов, а в комнате уже воцарилась мертвая тишина и почти физически ощутимое напряжение. Все глаза были прикованы к нему. Он продолжал говорить — обдуманно и резко.

— Пункт второй. Наше положение здесь просто и ясно. Нас пригласили оказать военную и гражданскую помощь, обучать и давать советы. Мы это делали. Мы не требовали права вмешиваться во внутреннюю политику суверенного государства, и никто нам этого права не давал. Если мы будем в нее вмешиваться, давая тайно или явно какие-либо гарантии группе военных заговорщиков, мы сами станем заговорщиками. Быть может, нам сейчас кажется, что мы что-то выиграем от смены правительства,— в конечном счете мы не выиграем ничего. Мы только подорвем наш статус и набросим тень на цели, которые наша страна ставит перед собой.

Пункт третий. Мы переживаем критический момент, это так. Он чреват опасностями и сопряжен с риском. Но если мы в качестве молчаливых соучастников вмешаемся в правительственный переворот, риск станет еще больше. Если во время переворота Кунг или кто-либо из его кабинета будет убит, мы тем самым станем пособниками и соучастниками политического убийства. И история никогда нам этого не простит.

Пункт четвертый. Если переворот произойдет без нашего вмешательства, после чего будет создано стабильное правительство, тогда мы можем спокойно признать его де-факто, не навлекая при этом бесчестия ни на себя, ни на страну, которую мы представляем.

Пункт последний. Я нахожусь на этой службе довольно давно. Тем не менее для себя я уже принял решение: если господин посол будет рекомендовать вмешательство во внутренние дела страны, я буду просить о переводе меня на другой пост. Если Вашингтон одобрит действия посла, я вынужден буду уйти с дипломатической работы вообще, поскольку я не могу принимать участие в проведении такой политики, которая, с моей точки зрения, является безнравственной, исторически бессмысленной и крайне бесчестной.

Быть может, это была не самая мудрая, но безусловно самая смелая речь, какую я когда-либо слышал. Я знал, чего ему стоило произнести ее. И я знал, во что это ему обойдется, когда кости будут брошены: вся его карьера, весь привычный уклад жизни были поставлены на кон. И тем не менее меня внезапно охватила бешеная злоба — на него, на себя, на эту тишину, воцарившуюся в комнате, на моих коллег, сидевших с растерянными лицами. Но ведь именно этого я требовал, призывая их выполнить свой долг,— свободного, честно высказанного мнения. А когда мне его преподнесли, я шарахнулся, как от самого горького лекарства. Впрочем, уклончивость и умолчание — главное оружие моей профессии, и, начав комментировать или опровергать, я только уроню свой престиж. Я обратился к другому сотруднику.

— Теперь нам надо обсудить вопрос о том, как обеспечить безопасность американских служащих и их семей в случае, если начнутся бои в городе. Мистер Ланкер?..

Беседа продолжалась еще часа полтора, но дальнейшее уже можно было отнести в постскриптум. Все голоса, в сущности, уже были поданы и подсчитаны, и большинство стояло за активные действия и обновление курса. В половине десятого я закрыл совещание и сразу направился к себе в кабинет, чтобы продиктовать Энн докладную записку Вашингтону. Это было не слишком пространное послание, но я единоборствовал с ним почти три часа, прежде чем передать его в шифровальную. Сейчас, когда я пишу эти строки, копия записки лежит передо мной. В первой ее части изложены факты, и даже сейчас, когда я стал человеком более зрелым, я нахожу эту часть моей докладной правильной и всеобъемлющей. Вторая часть представляет собой резюме мнения моих советников, и здесь я также ни на йоту не уклонился от того, что было сказано на совещании. И все же в записке есть один абзац, который теперь, когда я его перечитываю, заставляет меня усомниться в моей невиновности и правоте:

«...Мистер Мэл Адамс в весьма сильных выражениях заявил, что всякое вмешательство с нашей стороны противозаконно и будет идти вразрез

с целями, которые ставит перед собой наша страна, а также может сделать нас пособниками и соучастниками политического убийства. Теоретически я сам готов был бы решительно поддержать эту точку зрения. Тем не менее, практически, перед лицом суровой действительности и жестокой борьбы за власть, я считаю, что мы не можем позволить себе роскошь быть идеалистами и рисковать, сознательно оставаясь бездеятельными...»

Последняя часть докладной записки представляет собой мои выводы и рекомендации:

«...Совершенно очевидно, таким образом, что любое решение, которое мы примем, спорно, сопряжено с опасностью и риском и не дает полной уверенности, поскольку все наши расчеты основаны на далеко не полных сведениях и на весьма шатком равновесии сил. Тем не менее, если мы будем медлить с решением, события могут опередить нас, и мы уже не в состоянии будем влиять на них... Поэтому, не видя возможности другого образа действий, но все же не без серьезных опасений, я вынужден предложить вам следующую альтернативу: либо по-прежнему поддерживать режим Кунга, рискуя вызвать мятежи, беспорядки и оказаться в тактической изоляции; либо оказать поддержку генералам и дать стране передышку, во время которой она сможет уладить свои внутренние распри и восстановить хотя бы видимость единства.

Лично я считаю, что президент Кунг не примет сейчас никаких советов и что мы не можем больше сотрудничать с ним, а тем более — быть участниками проводимой им или намечаемой политики. Генерал Киет и его коллеги заверили Гарри Яффу, что в случае переворота они постараются обеспечить личную неприкосновенность президенту Кунгу и его приближенным, однако они не дали никаких гарантий — да насколько я понимаю, и не могли их дать, так как сам президент Кунг может принять решение бороться до конца, опираясь на те силы, которые еще ему верны. Таким образом, все это сопряжено с известным риском, но тем не менее я полагаю, мы должны на этот риск пойти.

В заключение я должен повторить то, что уже говорил в моих предыдущих донесениях: доверяя мне, вы тоже идете на известный риск. Мои оценки могут быть ошибочны, хотя они основаны на имеющейся у нас информации. Ожидаю ваших указаний и приложу все силы к тому, чтобы выполнить их как можно лучше.

Максуэлл Гордон Эмберли.
Посол».

Итак, наконец дело сделано.

Я внимательно перечитал окончательный текст и подписал его, потом поглядел на часы, чтобы проставить на телеграмме точное время. Был час ночи — тот зловещий тринадцатый час, который даже и не час вовсе, а как бы пауза во времени, своего рода синкоп между иллюзией и реальностью. Я протянул телеграмму Энн Белдон и довольно плоско пошутил:

— Что написано пером, то не вырубишь топором. Отправьте это, Энн, и пошли отсюда куда-нибудь, хоть к черту на рога!

Она поглядела на меня тревожно, озадаченно, потом повернулась и вышла из комнаты. Я закурил сигарету, но у табака был какой-то затхлый, неприятный привкус, и я ткнул окурок в пепельницу. Потом пошел в ванную и вымыл руки.

●

Этой ночью я снова увидел сон. Вокруг была гладкая, пустынная, залитая светом равнина. Я дожидался Мусо Сосеки, который должен открыть мне великую тайну.

Я сидел, закрыв глаза, стараясь представить себя сосудом, ожидающим, чтобы его наполнили. Я знал, что мой учитель будет этим доволен и похвалит меня. Когда прошло довольно много времени, я открыл глаза, ожидая увидеть Мусо, сидящего передо мной. Но плоская равнина была все так же пустынна — только маленькая коричневая птичка стояла в двух шагах от меня и наблюдала за мной сероватыми бусинками тусклых глаз. С минуту мы безмолвно смотрели друг на друга — птичка склоняла голову то на один бок, то на другой, словно пыталась уяснить себе, что это за видение перед нею — в халате и белых бумажных носках.

Мне стало одиноко, и я попытался заговорить с птичкой, но она не пожелала мне ответить. Я понимал, что это вполне естественно: птичка либо не знала моего языка, либо не могла сообщить мне ничего полезного. Тогда я попросил ее спеть. Но она продолжала молча изучать меня. Я начал тихонько насвистывать какую-то мелодию, отбивая такт рукой. Но птичка не желала ни петь, ни танцевать. Вскоре горло у меня пересохло, и я уже не мог свистеть. Тогда я стал упрашивать птичку, что совсем необычно для

посла, ибо он важная персона. Но коричневая птичка не желала петь. Тогда я решил погрузиться в самосозерцание и не обращать на птичку внимания. Но когда я снова открыл глаза, птичка была все там же — безмолвная и загадочная. Я снова стал ее упрашивать. Птичка не желала петь. Я стал насвистывать джигу и отбивать ритм рукой, чтобы раззадорить ее. Но она по-прежнему не издала ни звука. Тогда я поднял руку и — хлоп! — опустил ее на склоненную набок головку. Я почувствовал, как треснули кости и тело птички затрепетало на земле под моей рукой. Но когда я поднял руку, там не было ничего — ни единого перышка. И тогда я заплакал, тихо и жалобно, потому что был совсем один и рядом не было даже птички, которая могла бы мне спеть...

Я вышел к завтраку с красными глазами и ломотой во всех костях. Энн Белдон уже отправилась в посольство, но экономка сказала, что Мэл Адамс дожидается меня в гостиной. Я был так разбит, что даже не мог на него сердиться и пригласил его позавтракать со мной. Мэл держался спокойно и собранно, однако вид у него был такой, словно он тоже плохо спал. Он выпил кофе и закурил сигарету, пока я ковырял вилкой свой завтрак. А потом сказал, зачем он пришел.

— Я хочу заверить вас, сэр, что мои слова вчера ни в какой мере не были направлены лично против вас. Вы всегда были добры ко мне. Я уважаю вас и очень вам признателен. Но вчера шел чисто официальный разговор. Нам предложили проголосовать. Я обязан был сказать правду — другого выбора у меня не было.

— Я понимаю, Мэл. Но мне было не слишком приятно это слышать. Мне и сейчас не слишком приятно. Мне кажется, вы могли бы отмежеваться от меня более деликатным способом.

— Вот потому-то я и пришел к вам, сэр: чтобы просить прощения за резкость. Я бы мог выразиться менее прямолинейно. Я бы мог найти случай в личной беседе предупредить вас о том, что я намерен сказать. Но, видите ли, я боялся.

— Боялись меня, Мэл?

— Нет, сэр. Скорее самого себя. Боялся, что воспользуюсь обычными дипломатическими увертками, которые позволяют отойти в сторону без особого вреда для себя. Но в этом случае я не имею права увиливать и выходить сухим из воды. Я должен был сжечь свои корабли и взорвать за собой мосты, чтобы отстаивать то, в чем я убежден.

— А вы действительно убеждены в этом, Мэл?

— Да.

— И вы хотите доказать мне, что вы правы?

— Нет, сэр, сейчас я просто как Мартин Лютер: «Здесь я стою и не могу иначе...» Но я хотел принести вам извинения.

— Принимаю их. Надеюсь, вы верите, что я тоже действовал согласно моим убеждениям.

— Верю.

— Что вам еще надо, Мэл?

— Не могли бы вы сказать мне, что вы рекомендовали Вашингтону?

— Оказать поддержку генералам.

— В таком случае вы, вероятно, не будете возражать, если я подам заявление с просьбой о переводе?

— Я считаю, что вы должны это сделать в ваших собственных интересах. Я поддержу вашу просьбу.

— Благодарю вас, сэр. У вас будет много хлопот. Я ни в коей мере не хочу увиливать от ответственности и готов пока продолжать работу.

— Мне думается, Мэл, будет разумнее, если вы скажетесь больным. Уверен, что вы сумеете изобразить дипломатическое расстройство желудка, которое вынудит вас посидеть дома.

— Если вы считаете это правильным, сэр.

— Я считаю это целесообразным... как сказал бы Гарри Яффа!

Он рассмеялся, и напряжение немного разрядилось. Я налил ему еще кофе, взял предложенную им сигарету, и несколько минут мы молча курили, глядя, как птицы ищут червей на сырой лужайке. Затем Адамс несколько неуверенно произнес:

— Если я еще не лишен слова, мне хотелось бы кое-что вам предложить.

— Я слушаю.

— Если Вашингтон решит поддержать генералов, мне кажется, вы должны поставить им условие: пусть возьмут Кунга живым и передадут сотрудникам посольства, чтобы мы могли переправить его за пределы страны.

Я немного подумал и отверг это предложение.

— Мы не можем этого делать, Мэл. Тогда переворот превращается в апробированный американцами акт.

— Но ведь так оно и есть!

— Но ни один человек не может этого доказать, если, конечно, он не располагает теми данными, какими располагаем мы! А если мы будем укрывать Кунга и отправлять его в изгнание, мы уподобимся англичанам, переправившим Наполеона на остров Святой Елены. Нас обрядят в старомодные одежды империалистов, раздувающих междоусобную смуту! И как мы будем в них выглядеть?

— Вероятно, не хуже, чем в одежде убийц!

— Убийства может и не произойти, хотя известный риск есть. Не думаю, чтобы генералы стремились убить Кунга больше, чем мы.

— Но уж, конечно, они предпочитают видеть его мертвым, а не живым.

— Это всего лишь предположение.

— Полноте, сэр! Вот от того, чтобы это предположение не стало реальностью, я и стараюсь оградить вас и посольство... и нашу страну!

— Таким способом, который вы предлагаете, этого сделать нельзя.

— Тогда разрешите поставить вопрос по-другому! Если Кунг сам придет к нам и попросит политического убежища в посольстве, примем мы его?

— Примем.

— Будем мы настаивать на том, чтобы ему была предоставлена возможность выехать за границу?

— Будем. Но гарантировать это мы не можем.

— Ну что ж... Мне кажется, все довольно ясно, сэр.— Он отодвинул стул и встал.— Спасибо за кофе. Я рад, что мы не стали врагами. Я пойду в посольство, приведу в порядок мои бумаги. А потом вызову доктора и пожалуюсь на рези в животе.

После его ухода я довольно долго сидел за остывшим кофе, сопоставляя себя с Мэлом Адамсом. В какой-то мере правы были те, кто критиковал его, считая, что он слишком педантичен, сух, скажем, для посла. Ему не хватало административной жилки, умения использовать представившуюся возможность и хотя бы небольшой дозы безнравственности, без чего нельзя быть первоклассным дипломатом. У него была слишком ясная голова, чтобы ее могли вскружить преходящие триумфы этой профессии. К тому же человек он был слишком принципиальный, чтобы ему могло доставлять удовольствие искусство игры со случаем. Ему не хватало хладнокровия, быть может, даже жестокости, для того чтобы спокойно оценить выгоду и ее стоимость, даже если счет пишется человеческой кровью.

За окном на лужайке птицы все еще искали червяков в траве: они знали, что потом, когда солнце поднимется в зенит, земля затвердеет и добывать пропитание станет нелегко. Вот почему ранняя пташка всегда поймает червяка, а настоящих патриотов так мало в неприглядном мире дипломатии. И никогда еще я не чувствовал себя столь причастным к этому миру, как в тот момент, когда, приехав в посольство, обнаружил у себя на столе приглашение из министерства иностранных дел на обед к президенту по случаю празднования Дня освобождения Южного Вьетнама. Вся трагикомедия заключалась в том, что, будучи дуайеном, я должен произносить тост за президента Кунга, а его министр иностранных дел должен произнести тост за президента Соединенных Штатов. Словом, сюжет для Тулуз-Лотрека — оставалось только пожалеть, что его уже нет в живых. Пусть хирург ушел, и в темных переулках буйствуют головорезы — торговля во дворце Организации Объединенных Наций должна идти своим чередом! Теперь берегитесь! Мы пререкаемся, немножко предаем друг друга, а порой даже выбрасываем кое-кого из окна, но мы по-прежнему друзья, не так ли? Музыка играет, дамы нарядны, как принцессы, за ужином подадут шампанское, и будут произносить тосты, и, может быть, мы даже потанцуем немного на сон грядущий. Во всяком случае мы бы потанцевали, если бы не война, не местные законы, не опасение за нашу нравственность! Но уж тосты зато будут великолепны: «...Невзирая на некоторые случайные разногласия, мы по-прежнему остаемся друзьями и союзниками в нашей борьбе против коммунистической тирании... Ваш глубокоуважаемый президент... Мой глубокоуважаемый президент... Мои глубокоуважаемые соратники!» Но, произнося свою речь, я буду прекрасно сознавать, что все это ложь. И Кунг будет это понимать, и генерал Дао, ослепительный в своих регалиях, улыбнется в бокал с шампанским и признает меня одним из своих.

Я все еще держал в руке приглашение, когда появился Гарри Яффа. Он хотел узнать, нет ли сообщений из Вашингтона. Я сказал, что еще слишком рано, да и вообще может случиться так, что придет лишь указание воздержаться от каких-либо шагов, пока государственный департамент, Пентагон и Белый дом будут консультироваться по поводу моего доклада. Тем не менее Яффа настаивал, чтобы я уже сейчас сказал ему что-то определенное. Если Вашингтон решит оказать поддержку генералам, как и

когда мы дадим им об этом знать? Я бросил ему через стол приглашение; он прочел и ухмыльнулся. Яффа был тонким ценителем таких пикантных ситуаций, и я подумал, что если уж мне суждено очутиться в таком положении, то хорошо бы хоть позабавиться.

И я сказал:

— Вот когда мы дадим знак, мистер Яффа, если вообще его дадим! И этим знаком будут слова: «Предлагаю тост за мужественный народ Южного Вьетнама!»

Яффа запрокинул голову и расхохотался — он был в полном восторге.

— Великолепно, господин посол! Великолепно! Это же официальный прием. Там будет по меньшей мере два генерала. А быть может, и все четверо, это зависит от того, каковы намерения Кунга на этой неделе — хочет ли он их обласкать или припугнуть. Нет, лучше не придумаешь!

И он снова расхохотался. Тут вошла Энн Белдон — хмурая, явно не в духе, положила груду корреспонденции, прямо передо мной, взяла со стола другую груду и вышла, хлопнув дверью вдвое громче обычного.

Гарри Яффа пожал плечами и покосился на меня.

— Кажется, луна в перигее, господин посол? У нее что-то не слишком веселый вид сегодня.

— Она работала далеко за полночь. Вероятно, устала, как и все мы.

Но я знал, что Энн сердится на меня, и мне хотелось сказать ей, как я нуждаюсь в ее понимании. Однако Гарри Яффе надо было обсудить со мной еще кое-что, и я впервые порадовался его присутствию и даже старался быть с ним любезным. Мне надоели суфлеры, обвинители и исповедники. Хотелось вновь очутиться среди профессионалов, которые не делают из человека козла отпущения за то, что он постарался извлечь из неблагоприятной ситуации наибольшую выгоду.

Яффа, развалившись в кресле, пригладил волосы и поправил галстук.

— А теперь насчет того, что будет с президентом Кунгом после переворота... Я думаю, что мы можем столковаться... Я не поднимал этого вопроса вчера на совещании, потому что, откровенно говоря, господин посол, вы меня так загнали в угол, что мне трудно давать какие-либо гарантии. Однако вот как обстоит дело. Я разговаривал с генералом Киетом, с Дао, Тхо и с четвертым — Тхиеном. Все они считают, что им совершенно ни к чему взваливать на себя убийство. Более того, у них даже существует некоторая договоренность между собой. Дело в том, что этот четвертый генерал-артиллерист Тхиен является двоюродным братом Кунга со стороны матери. Когда ему предложили принять участие в заговоре, он поставил одно условие: чтобы хунта гарантировала Кунгу неприкосновенность.

— Гарри, это самое приятное, что я слышал за эти три омерзительные недели!

Он удовлетворенно хмыкнул в ответ на мою похвалу, но тут же предостерегающе поднял руку.

— Я знал, что это вас обрадует, сэр. Но вы, конечно, понимаете, что это еще не гарантия, так как сам Кунг не принимает участия в соглашении. Если он решит бороться, никто не поручится, что в него не всадят пулю.

— Это ясно. Но тем не менее будет дан приказ по возможности захватить его живым?

— Все генералы сошлись на этом. Я не знаю, и они мне не скажут, какие будут даны приказы или как они будут сформулированы. Впрочем, мне кажется, что нам этого лучше и не знать.

— Согласен. Но вы не возражаете, если я сообщу об этом в Вашингтон?

— Разумеется, нет.

— Сделаем это, не откладывая.

Я позвонил Энн Белдон и продиктовал ей дополнительную телеграмму Фестхаммеру:

«Дополнение моему докладу: по сведениям ЦРУ генеральская хунта согласна принять все меры сохранения жизни президенту Кунгу случае переворота. Договоренность достигнута по требованию генерала Тхиена, который состоит Кунгом в родстве. Это сверх ожиданий меняет ситуацию лучшему, хотя не может служить гарантией от случайностей. Хочу также отметить заслуги мистера Яффы, который приложил немало усилий в этом направлении и весьма умело выполнил свой долг. Эмберли».

Когда мы снова остались наедине, Яффа спокойно произнес:

— Вы знаете, господин посол, я недооценивал вас. Позвольте мне сказать, что вы большой человек и что прежде я этого не понимал.

— Благодарю за комплимент, Гарри.

— Нет, я это серьезно. Наше дело суровое. Тут сразу видно, кто мальчик, а кто мужчина.

— Что побудило вас взяться за эту работу, Гарри?

Он метнул на меня настороженный взгляд, затем пожал плечами, и лицо его снова приняло обычное — веселое и чуть-чуть ироническое выражение.

— Должно быть, я прирожденный интриган. Мне нравится это занятие. Я не питаю особого уважения к людям вообще и к себе самому, в частности. Человек в лучшем случае полуцивилизованное животное. Ему нужен полицейский, который следил бы за тем, чтобы он прилично вел себя на улице, и такие ребята, как я, чтобы помешать ему играть в международный покер крапленой колодой. А я? Я просто хороший сторожевой пес, потому что у меня нет абсолютно никаких иллюзий. Ведь если ваш лучший друг не покушается на ваше фамильное серебро, можно поручиться, что он вожделеет к вашей жене. Люди честны постольку поскольку, а когда дело доходит до борьбы за власть или за обладание женщиной или речь идет об удовлетворении своих прихотей, они становятся бесчестными. Я сам — стреляный воробей, ничто не удивляет меня, ничто не шокирует, и на всякий случай я всегда ставлю на двух лошадей. Вот почему я — хороший агент, хотя и не совсем тот человек, за которого вы хотели бы выдать замуж вашу дочь!

— А себе вы доверяете, Гарри?

— Больше, чем кому-либо другому, потому что я знаю себя лучше, чем кого-либо другого... Хотя, быть может, меньше люблю.

— Это мрачная философия.

— Это мрачный мир, господин посол. Но я на свой лад умею получать от него удовольствие. Когда он перестанет доставлять мне удовольствие, я покончу свои счеты с ним.— Он коротко рассмеялся.— Это одно из преимуществ моей профессии. Я знаю уйму чрезвычайно легких способов отправиться на тот свет!

Как только он ушел, пришла Энн Белдон с блокнотом для стенограмм. Она была бледна, держалась подчеркнуто официально, и вид у нее был усталый. Мы работали около часа; затем, когда мы сделали перерыв, чтобы выпить кофе, я спросил, чем она расстроена. Со свойственной ей прямотой, она ответила просто:

— Вы не должны задавать мне такой вопрос, господин посол. Это ставит меня в ложное положение. Я — ваша секретарша. Я должна выполнять свои обязанности, не рассуждая, и держать свое мнение при себе. За это мне платят жалованье.

— Вас тревожит то, что здесь происходит? Мои рекомендации Вашингтону?

— Это и многое другое.

— В таком случае, мне бы хотелось знать, что вы об этом думаете?

— У вас нет на это права.

— Это верно. Но позвольте мне сказать вам, Энн: я очень люблю и уважаю вас. Я крайне нуждаюсь в вашей помощи и... словом, в ваших заботах. Хочется думать, что вы доверяете мне и готовы быть со мной откровенной.

На секунду мне показалось, что Энн сейчас расплачется, но она тут же овладела собой и после некоторого колебания сказала:

— Просто мне стыдно — вот и все. Мне стыдно, что мы так жестоко и грубо распоряжаемся судьбой и даже жизнью людей — так, словно они... словно они не люди, а скот, который можно перегонять с одного пастбища на другое. О, я знаю: это политика, это дипломатия, это военная необходимость и всякое такое прочее! Но кто при этом хоть сколько-нибудь думает о людях и пытается защитить их интересы?.. Кто думает о моей подруге, которая вчера вечером родила ребенка, в то время как ее муж сражается в дельте? Кто думает о мальчике, которого я учила английскому языку, чтобы он мог читать наши учебники и получить медицинское образование в Америке? О маленькой монахине француженке, которая берет у меня старые тряпки и перешивает их для девушек, находящихся в венерологической лечебнице? Вы думали о них вчера вечером, когда обсуждали эту вашу сделку с генералами?

— Мы думали о них, Энн, поверьте мне!

— А кто выступил в их защиту? Один Мэл Адамс — и никто его не слушал, всем было наплевать!

— Вы несправедливы, и сами это знаете.

— Сомневаюсь. Потом вы пришли сюда и продиктовали мне донесение Вашингтону, и я снова не услышала ни единого слова о людях, о том, в чем они нуждаются, к чему стремятся и чего страшатся... А им бы только немного покоя и уверенности в том, что их сыновья будут расти, не слыша выстрелов, не видя вооруженных солдат на каждом перекрестке.

— Вы разочаровались во мне, Энн?

— Да, разочаровалась. Я ждала... О господи! Я сама не знаю, чего я ждала! Но вы казались мне таким стойким, таким терпеливым и мудрым. И я думала, что вы не сдадитесь, выдержите их натиск. Когда вы в тот вечер рассказывали мне про Азию и про то вечное, что живет в ней, несмотря на все перемены, и про преемственность традиций, для которых время — ничто, у меня родились надежды... быть может, слишком большие надежды! Когда вы показали мне нефритовый талисман, который подарил вам Китаец Номер Один, и прочли слова, выгравированные на нем, я подумала: «Вот человек, который понимает, что надо служить людям, а не политике, и хочет этого!» А вы не захотели! Теперь вот и Мэл ушел, и никто не поднимет голоса в защиту новорожденных младенцев — все будут поддерживать только проклятых генералов!

Она расплакалась, и я хотел было ее успокоить, но она резко отстранилась от меня.

— Нет! Не трогайте меня, прошу вас! Я не буду больше плакать. Сейчас я умоюсь и снова стану дельной секретаршей. Но я всю жизнь буду с ненавистью вспоминать эти гнусные дни!

Я оказался совершенно безоружен против таких аргументов и не сумел с честью выйти из положения. К тому же время споров для меня уже миновало, и я не обладал ни силами, ни желанием снова блуждать по этому лабиринту. Тем не менее вспышка Энн глубоко расстроила меня: она всколыхнула все тайные сомнения и опасения, дремавшие на дне души под зеркальной, как у пруда, гладью. Чего ждала она от меня? Бессмысленной битвы с ветряными мельницами, чтобы потом наложить пластырь на мою окровавленную макушку и причитать над своим поверженным во прах героем?

Каждая женщина, признается она себе в этом или нет, рассматривает любого мужчину как потенциального любовника. Очутись его голова на подушке рядом с ней — что она почувствует, любовь или отвращение? Вот их тела сплетаются — соединятся ли при этом их сердца и души? Если она заплачет, найдет ли он для нее слова утешения? Если ей будет весело, станет ли он смеяться вместе с ней? Если она доверит себя ему, будут ли его руки поддерживать ее нежно, бережно, крепко? Охранит ли он ее от ночных страхов и от мелких каждодневных агоний? С такими ли мерками подходила ко мне Энн Белдон и в чем оказался я не на высоте?

Эта мысль, словно острый камушек в ботинке, не давала мне покоя весь день... Со дна зеркального пруда на меня глядело мое подлинное «я»: человек, которого презирал Кунг; соглашатель, которым восхищался Яффа; малодушный искатель правды, которого молодой Гротон пытался навести на путь просветления; сатрап, который ставил свою подпись на документах, обрекающих людей на смерть, а по ночам видел во сне немых птиц среди ослепительно-белой пустыни...

Это видение заслонил листок желтоватой бумаги, который Энн Белдон положила передо мной на письменный стол. Пришло первое сообщение от Фестхаммера.

«Ваше донесение получено, срочно изучается. Президент просил передать вам личную благодарность за трезвую и беспристрастную оценку положения. Все шлют поздравления. Инструкции будут направлены тотчас по принятии решения. Фестхаммер».

Подняв глаза, я обнаружил, что Энн Белдон уже вышла и я снова один. А жаль, потому что теперь я получил возможность защищаться. Обладай я верой Иоанна Крестителя или прозорливостью Мусо Сосеки, сумел бы я поступить иначе и лучше? Никто не мог ответить мне на этот вопрос.

●

В тот же день поздно вечером из Камбоджи вернулся Джордж Гротон — бледный, осунувшийся после отравления какой-то пищей, но кипевший вполне здоровой злостью по отношению к Гарри Яффе, который отправил его в эту совершенно бессмысленную, по его словам, поездку. В Пном-Пене толкалась добрая половина всех профессиональных и добровольных агентов, работающих в Юго-Восточной Азии, и было ясно как день, что такому новичку не собрать там ценной информации за несколько дней. Поэтому Гротон вполне разумно решил использовать эту поездку хотя бы для собственного удовольствия и побродить по Ангкор-Вату. Вскоре он заболел и все остальное время уже не выходил из отеля. Его мальчишеское негодование невольно позабавило меня, так же как и хитрость Гарри Яффы, который так ловко убрал его с дороги на время новых буддистских беспорядков. Мы пообедали вместе — вернее, обедал я, а Гротон с расстроенным видом пил чай и крошил в пальцах подсушенный хлеб. Я вкратце рассказал ему

о событиях за неделю — о последнем совещании и о моих рекомендациях Вашингтону. Когда я сообщил ему про Мэла Адамса и про мой разговор с Энн Белдон, он сказал:

— Я понимаю их, сэр, потому что и сам испытываю то же самое. У меня нет ни достаточного опыта, ни данных, чтобы обосновать свое суждение, но инстинктивно я разделяю точку зрения Адамса. Люди имеют право сами решать свою судьбу, даже если это решение определяется просто пассивностью. Я знаю, что существует другая точка зрения: считается, что они все равно так или иначе будут втянуты в политическую борьбу великих держав, что их каждодневно вовлекают в кампании за ниспровержение существующего строя и воздействуют на их политические взгляды и что, хотят они того или нет, но они вынуждены шагать в ногу с двадцатым веком... И все же этот метод обращения с ними по принципу: «Пистолеты на стол, ребята!», «А теперь давайте им покажем!» — представляется мне опасным, хотя бы уже потому, что мы не в состоянии предвидеть всех последствий.

— Значит, вы тоже не одобряете моих действий, Джордж?

Он покраснел и ответил мне с запинкой:

— Я уже сказал, сэр, что недостаточно осведомлен и мне не хватает опыта. Я выразил сугубо личную точку зрения.

— Поставьте себя на мое место, Джордж. Как бы вы поступили?

— Справедливо ли это — задавать мне такой вопрос, сэр?

— Вы боитесь на него ответить?

— Нет. Но я недостаточно подготовлен для этого.

— Тогда скажем так. У вас есть ощущение, что я не прав. Как же, по-вашему, я должен был поступить?

Это было жестоко — так припирать к стене своего подчиненного, но мне отчаянно хотелось добиться какой-то поддержки. Или хотя бы оправдания моих действий в ответ на мою привязанность к нему. Меня злило его упорное нежелание понять мою точку зрения. Наступила довольно продолжительная пауза: Гротон сидел, уставившись в недопитую чашку чая. Потом он поднял голову и поглядел мне прямо в глаза.

— Вы хотите, чтобы я ответил вам, сэр. Хорошо, я отвечу. Мой ответ состоит из двух частей. Главное, чему мы должны научиться,— это, по-моему, искусству терпеливого, осторожного бездействия. Мне кажется, мы до сих пор еще не научились этому потому, что слишком чувствительны к общественному мнению и к высказываниям прессы. Человека, который хотел спасти Рим от Карфагена, прозвали кунктатором, то есть медлительным. Я, как и многие другие, надеялся, что вы достаточно сильны, чтобы оказаться таким человеком... Но вы решили иначе. Быть может, вы правы — это покажет время. Теперь я перехожу ко второй части моего ответа. Я — младший сотрудник. Мое мнение — правильное или ошибочное — не имеет веса. Поэтому я не обязан принимать категорических решений, как, например, Мэл Адамс. Быть может, со временем и я до этого дойду — как знать? Но сейчас...

Он смущенно умолк, пальцы его нервно крошили хрустящий хлеб.

— А сейчас что, Джордж?

— Я связан с вами. Нет, это не то слово. Вы оказали мне доверие, были добры и даже привязаны ко мне. Я хочу отблагодарить вас за это. Но я не могу проявлять свою благодарность безоговорочно, восхваляя вас и то, что вы делаете. Я обязан сказать, что, как мне кажется, вы заблуждаетесь, вы самым прискорбным образом заблуждаетесь! Мне кажется, вы сделали по отношению к себе нечто такое, чего сами еще не в состоянии осознать. И тем не менее я по-прежнему готов сделать для вас все, что в моих силах, хотя, вероятно, это и немного. Только теперь... не знаю, как бы лучше это выразить... теперь это уже вроде бы дело семейное. Знаете, как бывает, когда старик отец напьется и ты укладываешь его в постель, а утром даешь ему опохмелиться.

Это было весьма странное и нелицеприятное изъявление дружеских чувств, о чем я ему так прямо и сказал.

— Вы изъясняетесь чертовски недипломатическим языком, Джордж. Даже для начинающего дипломата это не годится.

— Потому что вы заставляете меня делать то, что мне несвойственно, сэр.— Сколько горечи было в этих словах! — Вы требуете от меня слишком многого: полного одобрения всех ваших действий и безоговорочной преданности. Вы поступаете, как судья, выносящий смертный приговор, и ждете, что друзья ваши будут славить вас за это. Если вы хотите получить отпущение грехов — прекрасно! Но для этого вам нужен исповедник, а не коллега и даже не младший сотрудник...

— Довольно, Джордж!

— Да, конечно, я сказал даже слишком много, а быть может, и слишком мало. Черт побери, я уже и сам не знаю, сэр! У меня просто нет нужных слов.

— В таком случае, советую вам лечь в постель и немного поостыть.

— Мои служебные обязанности на сегодня закончены, сэр. Я, пожалуй, пойду выпить в «Каравеллу».

— Ступайте. А утром, быть может, вы найдете нужным извиниться передо мной.

Он поднялся из-за стола и постоял в нерешительности, теребя в руках салфетку. Он казался в эту минуту совсем ребенком, глубоко обиженным, огорченным ребенком, и сердце мое рванулось к нему, но я был взбешен, не мог выдавить из себя доброго слова. Наконец он сказал:

— Я готов принести вам свои извинения уже сейчас, сэр. Я не оказал должного уважения старшему по службе. Я прошу меня извинить.

— Я принимаю ваши извинения. И давайте никогда больше не вспоминать о том, что здесь произошло.

— Благодарю вас, сэр. Спокойной ночи.

Я в одиночестве закончил обед, затем, чувствуя, что не могу больше оставаться один, позвонил генералу Толливеру и отправился к нему на другой конец города выпить кофе и сыграть партию в бильярд. Там было еще два офицера из его штаба, и мы играли до полуночи. Приятно было снова очутиться среди профессионалов, и я сказал себе, что никогда больше не променяю их компанию на опасное и зыбкое содружество мечтателей и идеалистов.

Глава 10

В три часа утра в госпитале на улице Ле-Лоя Джордж Гротон умер у меня на руках.

Он погиб такой простой, жестокой и такой чудовищно бессмысленной смертью, что я не могу думать об этом без гнева и горечи. Выйдя от меня, он отправился в отель «Каравелла» и поднялся в бар на восьмой этаж — излюбленное место встреч всех сайгонских корреспондентов в те годы, да, насколько мне известно, и теперь. Там он разговорился с фотографом по имени Чарльз Кубрик, с корреспондентом ЮПИ Леонардом Гербатом и Джерри Авалоне из американской радиовещательной корпорации. Они пили и болтали, а часов в одиннадцать или чуть позже Кубрик предложил поехать в ночной клуб «Баккара» на бульваре Чан-куи-кап.

У подъезда отеля «Каравелла» они подозвали такси и поехали по городу, мимо католического собора на Чан-куи-кап. Никаких оснований подозревать, что их выслеживают, не было, и место, куда они направлялись, не предвещало ничего плохого. Это был очень известный в городе бар-ресторан с шеф-поваром французом, с вьетнамским джазом и целой стаей девиц, ничуть не красивее и ничуть не добродетельнее, чем их двойники в десятке других злачных мест.

— Там, по крайней мере, чистые скатерти,— пояснил мне Джерри Авалоне,— съедобная пища и неразбавленное виски. А в конце концов, куда еще можно приткнуться в этом паршивом городе?

Кроме того, в этом клубе, как и во всех других, был свой контингент тайной полиции — трое вылощенных, наглых молодых людей, которые всегда садились на одни и те же места, лицом к двери, первые выбирали себе дам и с циничным пренебрежением оглядывали посетителей.

Гротон и его приятели заказали выпивку и просидели там около часа, болтая с девицами и слушая джаз. Затем Гербат собрался уходить: он хотел поработать перед сном. Джордж Гротон, еще не окрепший после болезни, решил уйти вместе с ним. Гротон заплатил по счету за обоих, они вышли на главный подъезд и попросили швейцара найти такси. Швейцар побежал к углу, ярдов за двадцать, а они остались ждать у обочины тротуара. Показания швейцара были кратки, и за восемь часов полицейского допроса из него не удалось выжать ничего больше. Еще не дойдя до угла, он услышал сзади шум машины, на полной скорости мчавшейся по бульвару. Он оглянулся и увидел черный «ситроен», почти поравнявшийся с теми двумя, что ждали его на тротуаре у ресторана. Вдруг сверкнул огонь, и оба упали. Швейцар бросился плашмя на мостовую, машина промчалась мимо него дальше, по бульвару Чан-куи-кап. Швейцар поднялся и подбежал к лежавшим. Гербат был мертв, а у Джорджа Гротона хлестала кровь из раны на груди и изо рта. Это был еще один из тех с виду бессмысленных, но на самом деле точ-

но рассчитанных актов, посредством которых Вьет-конг держал весь город в состоянии напряженности и страха.

И вот Джордж Гротон лежал в клинике, белый как воск, и выкашливал кровавую пену, пожилая монахиня шептала молитву, перебирая четки, а Энн Белдон, Мэл Адамс и я беспомощно стояли рядом и глядели, как он умирает. Агония была долгая, душераздирающая, и я поймал себя на том, что страстно, как в детстве, молюсь какому-то божеству, чтобы она поскорее кончилась и чтобы мой приемный сын подал мне хоть какой-нибудь знак примирения.

Около трех ночи он вдруг открыл глаза, и мне показалось, что в его стекленеющем взгляде мелькнул проблеск узнавания. Я взял его руку в свою и, наклонившись, стал говорить ему что-то нежное, ласковое, как ребенку. Пальцы его крепко сжали мои, и для меня это был знак, что он все понял. Но он опять закашлялся, началась отчаянная борьба за каждое дыхание с душившей его кровью. Я подложил руку ему под плечи, чтобы немного приподнять его; он сдавленно вскрикнул, голова его скатилась на сторону, и все было кончено.

Старая монашка закрыла ему веки, отерла с губ пену и, став на колени, забормотала заупокойную молитву. Мы инстинктивно тоже опустились на колени; во мне вдруг словно что-то порвалось, я прижался лицом к его безжизненной руке и заплакал, как ребенок.

И это были мои последние слезы. Я не мог плакать, даже когда мы хоронили его, как солдата, под звуки горна и орудийные залпы, даже когда я бросил первую горсть земли на его гроб. У меня окаменело сердце. Я ненавидел эту влажную землю, в которую мы его опустили, я ненавидел этот подлый, опасный город; я ненавидел замкнутые лица его обитателей, но сильнее всего я ненавидел себя.

Дипломатия больше всего другого на земле приближается к перпетуум-мобиле. Несмотря на смерть, бедствия, подкупы и предательства, хлопотливо вертятся ее колеса, вращаются зубчатые шестерни, скручиваются и раскручиваются пружины и, ради успокоения непосвященных, сохраняется видимость целеустремленности и принципиальности. Не прошло и часа после похорон, как мне на стол положили телеграмму от Фестхаммера:

«Прошу прибыть инструктивное совещание главный штаб войск США Гонолулу в пятницу 27 десять ноль-ноль. Место и цель встречи строго секретны».

Смысл этого вызова был вполне ясен: крепкий орешек переходил из рук в руки, и теперь его опять подбрасывают мне. Никто не даст мне письменного указания поддерживать переворот, который может не состояться вообще или превратиться в кровавый мятеж. И потому Фестхаммеру поручили передать мне устное разрешение, от которого, в случае чего, можно отречься, которое можно перетолковать по-иному и потихоньку вычеркнуть из анналов истории. Возражать не приходилось. Таковы условия игры. Но Фестхаммер не знал, что мне уже безразлично, как там они играют. В моем отвердевшем сердце не осталось ничего, кроме холодного презрения к себе и к моему жалкому ремеслу, голова была кристально ясна, и меня уже не соблазнял успех и не страшила неудача.

Через тридцать шесть часов я встретился с Фестхаммером в Гонолулу. Кажется, он был поражен моим видом.

— Господи, Макс, вам, как видно, здорово досталось! — Таковы были его первые слова.— Надеюсь, вы все же следите за своим здоровьем? Как ужасна эта история с молодым Гротоном!

— Да.

— Я знаю, вы были к нему привязаны.

— Да.

Бросив на меня испытующий взгляд, он понял, что распространяться об этом не следует, и весело сообщил:

— Мы будем жить у Мэгги Бентон на Дайамонд-Хэд. У нее полный штат прислуги, собственный пляж и домик для гостей, который она предоставила нам. Комфорт работе не помешает!

— Что ж, очень приятно.

Ясным солнечным утром мы ехали по новому, быстро, как гриб, выросшему городу, с огромными отелями, универсальными магазинами и толпами туристов в цветастых рубашках. Это была уже Америка, а здешние жители — американские налогоплательщики, благородные люди, которые расплачивались своими долларами, читали воскресные юмористические странички и скользили на досках по прибою в Уайкики, ибо они купили себе право забыть Джорджа Гротона и всех тех, кто похоронен в далекой азиатской земле. Я был их слугою. Все, что я делал, было сделано ради них и с их разрешения. Если из-за них истекало кровью мое сердце, у меня не было причин жаловаться, потому что они хорошо платили и возвели меня в ранг сильных

мира сего. Я угрюмо презирал этих людей вместе с их мелкими делишками, как ветеран, лелеющий свои раны, презирает тех, кто никогда не видел, как стреляют во гневе. Должно быть, эти мысли отражались на моем лице, так как Рауль Фестхаммер спокойным тоном сказал:

— Полегче, Макс, полегче! Не к чему разыгрывать передо мной сверхчеловека с железными нервами. Откройте предохранительный клапан. Выпустите немножко пара! Впереди еще долгий путь, и мы вовсе не желаем, чтобы вы вдруг развалились на куски.

— Я не развалюсь.

— Думаю, что нет. Но ваша работа и так — сущий ад, зачем же создавать еще один в самом себе?

Я рассказал ему о Мэле Адамсе; он нахмурился и вдруг вспылил:

— Адамс — старая баба! И на мой взгляд, он у нас слишком засиделся. Я буду счастлив, когда он подаст в отставку. Но сейчас не время, Макс. Удержите его любым способом, пока не кончится этот фейерверк. Мы сейчас просто не можем позволить себе никаких осложнений.

Я сказал, что сделаю все, что в моих силах. Он повеселел.

— Ладно, Макс! Мы с вами — стреляные воробьи. Пошлем-ка мы к черту всех паршивых теоретиков!.. Давайте сейчас искупаемся и выпьем. Может, Мэгги сегодня пустит вас к себе в постель. Она все еще красотка и всегда была к вам неравнодушна.

Совет был хорош, и я постарался им воспользоваться. Я покорился щедрому гостеприимству Мэгги. Сидя в купальных трусах на лужайке у пляжа, я пил плантаторский пунш, потом плавал в теплой прозрачной воде, так непохожей на серый Меконг и зловонные болота Вьетнама. После ленча мы с Фестхаммером уединились в домике для гостей и приступили к деловому разговору.

— ...Вы отлично справились со своей задачей, Макс. Ваша докладная написана ясно и честно. Президент очень ею доволен... Прежде чем перейти к делу, скажите, может быть, вам хочется что-либо добавить к вашей записке или изъять из нее?

— Нет.

— Есть какие-либо сомнения?

— Да, и немало. Но сомнения те же, которые я изложил.

— Отлично! Теперь я вам расскажу, как на все это смотрят в Вашингтоне. Есть шансы, что Кунг справится и с переворотом, и даже с угрозой мятежа в армии. Такое уже с ним бывало. И может произойти опять.

— Возможно. Хотя шансы — сомнительные.

— Но мы должны это предусмотреть. Если он вынырнет и опять будет главой государства, нам придется жить с ним в ладу.

— Верно.

— А если возьмут верх генералы, нам придется жить в ладу с ними.

— И это верно. Но генералы не шевельнутся, пока не получат от нас знака. И этот знак должен означать, что мы будем поддерживать их правительство в Южном Вьетнаме и по-прежнему оказывать помощь деньгами и военным снаряжением.

— Значит, ставки мы делаем так: кучу денег на генералов и доллар на Кунга. Согласны?

— Согласен. Но я не понимаю, куда вы клоните, Рауль.

Криво усмехнувшись, он иронически ответил:

— Поймете, Макс, поймете! Это ведь Вашингтон, не забудьте! Это демократия в действии — правительство из народа, руководимое народом, на благо народа. А народ хочет есть свой пирог, да еще и положить кусочек в холодильник на завтра! Вам велено сказать: «С богом», Макс. Это официально. Исходит с самого верха. Никаких письменных распоряжений. Никаких официальных директив. Вы действуете на основе своей дискреционной власти. Если генералы победят, мы тут ни при чем. Если они проиграют, мы вас заберем оттуда и пошлем другого человека заново налаживать отношения с правительством Кунга. Это, конечно, грубо, Макс. Я знаю, что грубо. Но ничего не поделаешь. Возражения есть?

— Нет.

Он посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, словно хотел сказать что-то еще, но не решался. Потом вдруг быстро заговорил:

— Ну вот, это, так сказать, теория. А теперь — о практике. Вашингтон считает, что чрезвычайно важно, по возможности, сохранять позицию полного невмешательства в борьбу между Кунгом и мятежниками. Мы продолжаем переговоры с правительством Кунга. Мы поддерживаем регулярный обмен мнениями с министерством иностранных дел. Вы начинаете ездить с визитами вежливости к другим дипломатам — чего, судя по вашим отчетам, вы еще не удосужились сделать.

— В сутках всего двадцать четыре часа, Рауль!

— Знаю, знаю,— со смехом отмахнулся он.— Ну, а теперь о тактике. Если сможете, откройте больницу, учредите стипендию, раздавайте награды в актовых залах,— словом, делайте, что можно, чтобы создать видимость нормальных отношений даже в трудной обстановке... Вот что нам нужно.

— Никто, конечно, этому не поверит.

— И не надо, чтобы верили. Главное, чтобы никто не мог тиснуть какую-нибудь статейку о том, что вы непосредственно связаны с генералами. Кстати, каким образом вы собираетесь подать им знак?

Я сказал про обед у президента; это вызвало у него такую же иронически-веселую реакцию, как и у Гарри Яффы.

— Здорово, Макс! Просто здорово!.. Ну, а как скоро после этого генералы смогут выступить?

— Не знаю и сомневаюсь, чтобы они нам сообщили. Это уж пусть выведывают ребята Гарри Яффы.

— Тем лучше. Мы будем выглядеть еще более невинными.

— У меня вопрос к вам, Рауль. Когда Вашингтон признает новое правительство, если таковое будет?

— Как только оно придет к власти. Но вы, конечно, можете сотрудничать с ним и до того. Если им понадобится оборотный капитал, мы выдадим достаточно, чтобы поддержать их.

— Еще вопрос: что говорит Вашингтон о личной безопасности Кунга?

— Если он попросит убежища, мы, само собой, не откажем. Если же нет...— Он округло взмахнул рукой.— C'est la guerre! * Но это между нами, как и все остальное, Макс.

— Разумеется.

О равнодушии моем можно судить хотя бы по тому, что я принял директивы без недовольства или угрызений совести. Фестхаммер был даже удивлен, ибо миссия его состояла главным образом в том, чтобы уговорить меня пойти на сделку, после которой руки будут чисты у всех, кроме меня. Но он был слишком умен, чтобы, получив желаемое, спрашивать, почему я согласился с такой готовностью. А может быть, он понимал — как понимали, каждый по-своему, Кунг и Гарри Яффа,— что уже ничем не испугать человека, который договорился со смертью и сам осудил себя на вечные муки.

Все дела мы закончили меньше чем за час. Мы опять плавали, пили на лужайке коктейли и любовались большими катамаранами на фоне закатного неба, скользившими к берегу по морю цвета крови. Фестхаммер, который никогда не мог обойтись без женщины, позвонил какой-то приятельнице, и мы вчетвером отправились обедать в «Роял Гавайан».

Эту ночь я провел с Мэгги Бентон. Она была ненасытна, а я испытывал жгучую потребность утвердить свою мужественность, поэтому мы оба остались довольны. Когда пришло время расставаться, она повисла на мне, даже всплакнула, и мы надавали друг другу кучу прекрасных обещаний. Но прежде чем скрылись из виду последние острова, прежде чем нас поглотило пустынное небо над Тихим океаном, я уже забыл о ней.

●

На этот раз я прибыл в Сайгон почти тайком. Не было ни почетного караула, ни церемоний. Как только самолет коснулся земли, Билл Славич подвел мою машину к бетонной полосе. Гарри Яффа быстро поздоровался со мной, и мы тотчас поехали ко мне. Я рассказал ему о беседе с Фестхаммером. Яффа улыбнулся цинически-одобрительной улыбкой.

— ...Даже для нас, господин посол, это наилучший выход из положения. Секретность столь же важна для генералов, как и для нас. Но есть нечто и поважнее. Вам разрешено действовать на основе вашей дискреционной власти. Следовательно, я могу теперь пойти к генералам и сказать, что ваше одобрение последует лишь после того, как вы будете полностью осведомлены об их планах. Мы, конечно, не получим полной информации, но по крайней мере будем знать о передвижении военных частей и сможем проследить, чтобы наши части не остались без прикрытия и не были застигнуты врасплох... Я немедленно примусь за дело, и до обеда у президента вы получите хотя бы основные сведения. Что же до другой проблемы — невинной деятельности, соблюдения декорума и так далее — я поговорю с нашей прессой и отделом по связи с общественностью. Вы можете начать с приглашений на коктейль или на обед. Затем мы вам устроим посещение разных объектов американской Оперативной миссии — сельскохозяйственного училища, специальных школ, медицинских и военных учреждений и так далее. Но у вас остается одна проблема — Мэл Адамс! Он грозился уйти в отставку, помните?

— Мэла предоставьте мне. Я сам с ним поговорю.

* Это — война *(франц.)*.

Но что ему сказать — вот вопрос! Я относился к Мэлу Адамсу с большим уважением, кроме того, он стоял рядом со мной у постели умирающего Гротона, его рука подняла меня с пола и поддерживала на пути домой. И он же сидел со мной потом, в часы, когда я был близок к безумию. Я сделал немало подлостей, помилуй меня боже, но я не так низко пал, чтобы предать этого человека. Я позвонил ему домой и пригласил к себе. Я рассказал ему всю правду и стал его уговаривать:

— Я очень хорошо понимаю, что в вас происходит, Мэл. Я знаю, вы не одобряете и не можете одобрить то, что я делаю. Если хотите уйти немедленно, я дам вам визу на выезд. Но я прошу вас остаться — не для того, чтобы в чем-то участвовать и что-то одобрять, но просто чтобы оградить американскую администрацию от последствий решения, которое вы считаете неправильным. Я абсолютно честен с вами, Мэл, поверьте мне!

Он долго раздумывал, шагая по моему кабинету и споря вслух со мной и с самим собой.

— Хорошо,— наконец сказал он решительно.— Я останусь — при трех условиях. Первое: я занимаюсь только текущими делами и не участвую ни в каких обсуждениях и решениях относительно переворота. Второе: если переворот совершится, я получаю разрешение действовать самостоятельно и уговорить Кунга искать убежища у нас. Третье: когда все кончится — во что бы это ни вылилось,— вы подписываете мне визу на выезд, затем читаете и парафируете мой доклад обо всем происшедшем. Затем я этот доклад вместе с заявлением об отставке посылаю государственному секретарю. Вы принимаете мои условия?

— Это жесткие условия, Мэл, особенно второе. Вы идете на прямой конфликт с ЦРУ и политикой госдепартамента.

— Только на этих условиях я и могу согласиться. Просьбу об отставке я уже написал.

— Но такое соглашение не может быть утверждено официальным путем. Оно противоречит данным мне указаниям.

— Убийство тоже не утверждено официальным путем. Однако мы можем оказаться его соучастниками.

— Тогда заключим это соглашение между нами, неофициально.

— Как бы мне хотелось, чтобы мы оба могли гордиться им чуточку больше!

Теперь оставалось только ждать, а во время ожидания разыгрывать пустую комедийку, прикидываясь, будто мы вовсе ничего не ждем. Я исполнял свою роль довольно ловко, но без всякого вдохновения. Я устроил долгожданный прием и начал составлять список приглашенных на обед. В коммерческой школе я сделал сообщение об американских методах торговли. Я посетил Пастеровский институт и преподнес ему сыворотку — подарок от американского Красного Креста. Я торжественно осмотрел племенную ферму, где одинокий австралиец выводил породу молочных коров, пригодную к тропическим условиям. Обмануть никого не удалось, так как все следили за шахматной игрой, которую вел Кунг в столице и провинции. Менялось военное командование. Войсковые части переводились из одной дивизии в другую. Были смещены три губернатора, а в правительственных учреждениях младшим чиновникам поручали надзор за старшими по чину. Комиссия Организации Объединенных Наций уехала разгневанная и обескураженная необъяснимым отсутствием осведомителей в пагодах. Архиепископ Гуэйский отбыл из страны на вселенский собор, а министр просвещения внезапно занемог и удалился на свою виллу на мысе Сен-Жак. По правительственному указу были заморожены банковские счета крупных чиновников, находящихся на подозрении, и за их домами полиция установила наблюдение. Кунг играл классическую партию: разделяй и властвуй. И мои дипломатические коллеги готовы были поставить кругленькую сумму на то, что выиграет Кунг.

Гарри Яффе, однако, все это представлялось иначе. Перевод генерала Киета играл на руку заговорщикам, так как Киет оказался теперь в центре событий, в Сайгоне, где его весьма уважали. Что до остального, то генералы воспользовались перемещением войск, чтобы по-своему растасовать младший командный и сержантский состав в парашютных, артиллерийских и бронетанковых частях. Теперь генералы были уверены, что, когда настанет час нанести удар, они будут готовы. Сколько времени им понадобится после обеда у президента? Десять дней. Задолго ли они нас предупредят? Самое большее — за двенадцать часов, самое меньшее — за четыре. Время было нервное, тревожное, и Вьет-конг это полностью использовал. В дельте было несколько крупных атак. В сайгонских доках взорвали транспортное судно. И словно в напоминание о том, что «человек — не остров, а частица континента», Патет-Лао в Лаосе начал собирать силы в долине Кувшинов.

На этом фоне интриг и кровавой борьбы обед у президента выглядел

сущим анахронизмом. Чтобы попасть во дворец, гостям — и вьетнамцам и иностранцам — пришлось пробираться сквозь цепь кордонов. Вооруженные солдаты разглядывали печатные приглашения тщательно, словно пропуска в арсенал, что, кстати, было недалеко от истины. Гости, выходя из машин, оставляли шоферов и ключи; машины и шоферы подвергались вежливому, но обстоятельному обыску. А внутри дворец сиял огнями, и в нем царила праздничная, хотя нельзя сказать, чтобы веселая, атмосфера.

Начались тосты; первым поднялся Кунг.

— За нашу республику, созданную в слезах и крови и устоявшую от внешних и внутренних врагов благодаря мужеству нашего народа!

Мы выпили за республику, и недоверие рассеялось, уступив на мгновение место гордости. Даже за человека, предложившего этот тост, присутствующие испытывали сейчас чувство гордости: они вспомнили — пусть в последний раз — все, что он для них сделал. Я тоже вспомнил об этом, и на секунду моя решимость поколебалась. Но было уже поздно — кто-то назвал мое имя, и в наступившей тишине я произнес свою маленькую речь.

— Эта республика, так же как и американская, родилась в восстании против колониализма. (Сдержанные аплодисменты.) У народа этой республики те же чаяния, что и у нас: покончить с нуждой, покончить со страхом, обрести свободу слова и право решать свою судьбу, не опасаясь вооруженного вторжения или подрывной деятельности иностранных государств. (Снова аплодисменты.) Я выступаю здесь как представитель великого государства, которое участвует в вашей борьбе и отдает свои деньги, свой опыт и кровь своей молодежи на защиту того, чего вы достигли и что должны сохранить и развивать. В ваш День Национальной независимости я предлагаю двойной тост: за вашего президента Фунг Ван Кунга... и за мужественный народ Южного Вьетнама!

Аплодисментов не последовало. Слова на секунду повисли в мертвой тишине, затем все встали и молча выпили. Дело было сделано. И все они знали, что дело сделано,— и знали, как и почему.

На следующее утро я получил от президента Фунг Ван Кунга подарок. Это было переплетенное в кожу евангелие в старомодном английском переводе Дуэ. Надпись на титульном листе гласила:

ПОСЛУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА.

Евангелие от Луки, XXII, 47—48

Страница была предусмотрительно заложена алой ленточкой:

«Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: «Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?»

Я запер евангелие в ящик письменного стола, чтобы оно не попалось на глаза Энн Белдон. Позже, ради страховки, я показал его Гарри Яффе. Тот досадливо пожал плечами.

— В этом вся беда Кунга, господин посол. Он хороший человек, но наломал дров, потому что вообразил себя Иисусом Христом.

Я подумал, что сказал бы об этом Джордж Гротон; но он мертв, и ему теперь все равно. В первый раз я порадовался, что его уже нет со мной.

●

В следующие несколько дней я развил лихорадочную деятельность. От каждого отдела в посольстве я требовал ежедневного отчета. Я бывал на совещаниях в штабе Толливера и регулярно устраивал заседания с Гарри Яффой и его сотрудниками. Я открыл свободный доступ корреспондентам и завалил Энн Белдон и ее помощниц грудами бумаг. Я нагружал себя делами, чтобы голова моя была все время занята. Для укрепления пошатнувшейся веры в правильность того, что я делаю, мне было необходимо общество практических людей.

Я теперь никогда не ел в одиночестве. Люди засиживались у меня за разговорами допоздна, а бывая в гостях, я всегда уходил последним. Перед сном я выпивал двойную порцию виски и принимал снотворное, чтобы, оставшись наедине с собой, избежать мучительных ночных вопросов. Но несмотря на все старания, дни тянулись бесконечно, и я не находил себе места в ожидании решающего шага со стороны генералов. Я почти не общался с Мэлом Адамсом. Мне хотелось, по крайней мере, дать ему понять, что я соблюдаю наш уговор; я надеялся — впрочем, не слишком твердо,— что он сохранил ко мне хоть какое-то уважение.

Энн Белдон держалась со мной довольно странно. Она не взяла обратно своих слов, сказанных мне после совещания, не извинилась передо мной, а

я, в свою очередь, решил никогда не обсуждать с ней свои действия или политику посольства. В ту ночь, когда умер Джордж Гротон, она плакала вместе со мной, но потом как-то отдалилась, сдав меня на попечение Мэла Адамса. Теперь же днем я бесчеловечно заваливал ее работой, а все вечера у меня были заняты, и мы вряд ли хоть на минуту оставались наедине. И все же иногда, останавливаясь во время диктовки или подписывая корреспонденцию, я ловил на себе взгляд — всегда недоуменный, озабоченный, будто она боялась за меня, но не могла высказать этого словами.

И вот однажды вечером, когда я в одиночестве потягивал виски, перед тем как идти на обед в клуб летчиков, она пришла ко мне поговорить. Я смешал ей коктейль, и мы немножко поострили друг над другом, пока она, наконец, не приступила к делу. Ее девушки валятся с ног от усталости. Каждый день они работают сверхурочно, а развлечений у них почти нет. Вначале я отнесся к этим жалобам раздраженно и с показным равнодушием. Когда идет война и кругом гибнут люди, право же, эта проблема не существенна. Но сознание вины, очевидно, помогло мне понять справедливость ее жалоб. Я извинился за невнимательность.

— ...Это действительно проблема, Энн, и боюсь, что я не уделял ей должного внимания. Что я могу для них сделать?

— Просто поболтайте с ними иногда. Раз-другой улыбнитесь, справьтесь о здоровье или о семье. Неплохо было бы послать им что-нибудь поесть, когда они работают до поздней ночи, или сделать какой-нибудь подарок — скажем, шарф или безделушку из вьетнамского лака. Ведь они — просто женщины, вы же понимаете. Некоторые из них совсем одиноки, а здесь им приходится жить в постоянном напряжении. Они вас обожают, но когда вы налетаете, как гнев господен, они очень волнуются. Ведь они не понимают, что с вами творится...

— А вы понимаете, Энн?

— Сперва не понимала. Но в ту ночь, когда умер Джордж Гротон, для меня многое прояснилось. До этого я не понимала, как вы одиноки и как глубоко прячете свои привязанности. И с тех пор я чувствую себя виноватой.

— И напрасно, Энн. Я — человек трудный, понять меня или проникнуться ко мне симпатией нелегко. Кроме того, мы здесь попали в критическое положение, а у меня не было времени внутренне приспособиться к нему.

— Теперь-то я это знаю. И понимаю, как несправедливо я нападала на вас, на Мэла Адамса и даже на Джорджа. Не могу сказать, что я одобряю ваши действия. Но, по крайней мере, я верю, что побуждения ваши честны.

— Боюсь, это все гораздо сложнее, Энн. Беда в том, что я не уверен, честен я или нет.

— А разве кто-нибудь в этом уверен?

— По-моему, почти все.

— Только потому, что они ничего не ставят под сомнение и не хотят разобраться в себе. Мы же почти все — трусы.

— Разве вы трусиха, Энн?

— Да.

— Вот уж никогда не замечал.

— Да ведь это не так заметно, как комбинация, висящая из-под юбки, или спущенная петля на чулке. Это скрываешь, как уродливый шрам или родимое пятно. А трусость скрываешь ведь тоже из трусости.

— Чего вы боитесь, Энн?

— Вы в самом деле хотите знать это?

— Только если вы захотите мне сказать.

— Можно мне выпить еще?

Пока я смешивал ей коктейль, она поднялась с кресла и, подойдя к окну, стала глядеть в темный сад. Я отнес ей бокал, и, стоя рядом, мы смотрели на светящееся окно караульной будки, на причудливые силуэты тропических деревьев и туманные огоньки звезд в просветах между облаками. Я чувствовал запах ее духов и видел освещенную половину ее лица, похожую на профиль камеи, вырезанной на темном камне. Голос ее упал почти до шепота.

— ...Это было в ту ночь, когда умер Джордж. Я была потрясена — это мне так живо напомнило смерть моего мужа... Но еще больше меня потрясло то, как это подействовало на вас. Вы были так беззащитны, так одиноки! Я увидела человека, на чьи плечи легло все самое страшное на свете. Мне так хотелось утешить вас, но я не могла. Я оставила вас с Мэлом Адамсом. Позже, когда он ушел, я слышала, как вы шагали по своей комнате. Я поднялась наверх, стояла у вашей двери, и мне страшно хотелось войти, быть с вами, обнять вас, стать для вас женщиной... Но я испугалась.

— Меня, Энн?

— Не вас. Испугалась, что я могу где-то сдаться, что-то уступить — и уже безвозвратно. О, конечно, не о своей добродетели я беспокоилась, не о репутации и даже не о любви! Себя я оберегала — себя, ничтожную трусиху, и боялась дать себе волю, чтобы это потом не причинило мне лишнего горя. И поэтому я внушила себе, что я вам не нужна. Вернулась в свою постель и ревела, пока не уснула. А утром увидела, каким вы стали. Вы окаменели. Вы замкнули свое сердце и выбросили ключ... Я поняла, что обманула вас. И обманула себя. И теперь иногда думаю: неужели я так же обману каждого, кто будет настолько опрометчив, что полюбит меня...

Я обнял ее за плечи, притянул к себе и хотел ее успокоить.

— Нет, прошу вас, не надо,— мягко сказала она.— Мне, как всем женщинам, хочется, чтобы меня целовали и ласкали. Но я не имею на это права, я буду чувствовать себя нищенкой.— Она повернулась ко мне с печальной улыбкой и холодными пальцами погладила меня по щеке.— Мы с вами в одинаковом положении, господин посол. Мы оба ищем кого-то, кто простил бы нас, и не находим. Наверно, и не найдем, пока сами не сумеем простить себя...

Да, это мысль, от которой никуда не денешься. Она повторяет то, что я слышал из уст странствующего писателя: отпущение грехов, полученное соседом, не распространяется на тебя. И все же в этом безумном мире невозможно жить и оставаться нормальным существом хотя бы без иллюзии прощения. Каждый человек, независимо от своего положения и личных свойств, старается изобрести способ снять с себя вину. Гарри Яффы всего мира начали с полуправды: на свете все в какой-то мере преступники, стало быть, это неизбежно. А кончили, однако, абсолютной ложью: чувство вины — это только иллюзия и ненужная помеха в свирепой борьбе за существование. Эгоисты ставят себя выше всякой вины и делают козлом отпущения весь остальной мир. Буддисты, видя всеобщее несовершенство, привязали человека к колесу жизни и, покатив по непрерывной цепи разных существований, заставили снова и снова проходить через неумолимое очищение. Это страшное, несоразмерное вине наказание вечной жизнью было в то же время и прощением, а иногда — манило к новым проступкам. Неверящий или невежда, страдая под бременем своей виновности, порой прибегает к помощи целительного психоанализа. Психиатры, настоящие мастера этого дела, ставят себе целью придать человеку побольше силы и бодрости, чтобы он смог примириться с собой — таким, какой он есть,— и носить свою душевную травму если не с радостью, то с чувством самоуважения. Те же, которые стараются облегчить душу пациента, не признавая за ним вины, не достигают никаких результатов, ибо в конце концов сам пациент начинает возмущаться этой ложью, видя в ней покушение на его достоинство, которое заключается в сознании своей вины.

Вина и достоинство... Какое странное сопоставление! Но, в сущности, разве оно не верно или, по крайней мере, не желательно? Чтобы чувствовать свою вину, надо быть свободным, а не прозябать в тюрьме пусть даже космического масштаба. Быть свободным — это значит иметь право на выбор или же возможность изменить существующее положение со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но куда бы я ни повернул, я всюду натыкался на тайну — тайну индивидуальности, натуры и степени ответственности человека. И я знал, что нет иного выхода, как продолжить странствия во тьме, тщетно надеясь, что в конце пути блеснет свет.

●

Через два дня часа в четыре ко мне явился Гарри Яффа. Он был напряжен и взволнован.

— Сегодня ночью, господин посол! Игра начинается! Где ваши карты, я вам покажу, как она пойдет. Сначала давайте Сайгон...

Мы разложили карты на моем письменном столе, и он прочел мне краткую, но толковую лекцию о тактике мятежников.

— Вот аэропорт. Здесь, рядом, генералы устроили свой оперативный штаб. В два часа ночи их люди захватывают аэропорт и узел связи. Вот тут радиостанция, а тут — центральная телефонная станция. Это — главные объекты в городе. После их захвата все силы будут брошены на дворец. Теперь взгляните на четыре главные магистрали, ведущие в город: три — с севера и одна — с юга. Одна идет из Биен-хоа, другая из Бен-ката, третья из Тай-ниня, а это — южное шоссе из Тан-ана. Танки и пехота уже готовы к выступлению, полевые пушки уже прицеплены к транспортерам. К полуночи они будут на окраинах города. К двум часам ночи они захватят радиостанцию и центральный телефонный узел, а танки и артиллерия будут стоять на боевых позициях. Затем они позвонят Кунгу во дворец и потребуют капиту-

ляции. Если он откажется, начнется бомбежка с воздуха, артиллерийский обстрел, потом пойдут в атаку танки и пехота... Теперь — что в других районах страны. Военная академия в Далате на стороне генералов, там уже подготовлены местные войсковые части. В Гуэ, очевидно, сопротивления не будет, Да-нанг готов, Лонг-сюйен на юге и Кан-тхо — тоже... План хороший, сэр, и генерал Киет уверен, что его можно выполнить, не оголяя уязвимые для Вьет-конга районы.

— Что думает об этом Толливер?

— Он одобряет этот план, сэр. Его разведка проверила и взвесила все переброски военных частей, и он теперь убедился в безопасности наших войск. Все увольнительные на сегодняшнюю ночь отменены, а тех, кого уже отпустили, возвращают обратно в часть. Наша военная полиция вылавливает их в городе, чтобы ночью никто не попал под перекрестный огонь.

— А с нашей связью как?

— Все наши радиолинии будут открыты и смогут работать с полной нагрузкой. Генерал Киет приказал не трогать телефонную связь с посольством, с нашими военными учреждениями и с вашей резиденцией. Ну, кажется, мы обсудили почти все, кроме вопроса о сотрудниках посольства. Как вы думаете распорядиться, сэр?

— Я, конечно, останусь здесь. Мисс Белдон останется со мной. Все связисты должны быть на местах, но женатых отошлите домой, пусть будут со своими семьями. Заведующие отделами могут остаться тут или, по желанию, назначить кого-то вместо себя. Предупредите, чтобы все обедали дома и никто не выходил на улицу. Я скоро уеду к Толливеру. Возможно, пообедаю у него и к девяти вернусь сюда. Если я вам понадоблюсь, звоните в штаб Толливера.

— Вряд ли вы нам понадобитесь,— усмехнулся он, пожав плечами.— Теперь все это уже не в наших руках. Даже Мэлу Адамсу не на что дуться. В конце концов, это же самоопределение вьетнамцев, осуществляемое вьетнамцами и для вьетнамцев! И спаси господи генералов, если их план лопнет!

●

После того что я узнал, мне казалось странным, что город нисколько не обеспокоен нависшей над ним угрозой. Возвращаясь со службы домой, по улицам семенили клерки с портфелями под мышкой. В угловых киосках лениво скучали продавцы газет. Хозяева лавчонок стояли у дверей, переговариваясь друг с другом и с прохожими. В открытую дверь парикмахерской я увидел мужчин с мыльной пеной на лицах, они полулежали в креслах, словно паши, а хорошенькие девушки стригли им ногти и массировали пальцы. На трескучих мотоциклах мчались студенты, иногда с девушкой, сидевшей на заднем сиденье, как в дамском седле; шелковая блузка облипала тело, а крошечные ножки висели в каком-нибудь дюйме от земли. Тащились амы в траурно-черных платьях, в каждой руке сжимая ручку до блеска вымытого ребенка. Катили свои тележки продавцы соевых пирожков и сластей, подметальщики улиц терпеливо бродили в канавах, сметая метлами мусор. Несколько богомольцев шли вверх или вниз по ступеням собора; в открытых воротах пагоды мелькнули желтые одежды и медленно проплыла наголо обритая монахиня. Даже у полицейских был томно-ленивый вид, а гвардейцев, казалось, гораздо больше интересовали проходящие мимо девушки, чем защита осажденной республики.

Мне не верилось, что подготовка к такому крупному восстанию могла остаться незамеченной, что о нем не ходило даже слухов, но, возможно, это был самый примечательный симптом давней, опустошающей усталости от войны. Люди перевидали столько временных завоевателей и так часто слышали грохот танков и транспортеров, что стали ко всему безучастны. Город и так переполнен слухами — не все ли равно, одной сплетней больше или меньше? Когда жизнь такая, что ни в чем нельзя быть уверенным, живешь только сегодняшним днем и заботишься лишь о том, как пропитаться и как дотянуть до ночи и заснуть. Это — Азия, где еще помнят Хубилай-хана, и императорскую династию Мин, и легендарных сестер Чынг, которые на боевых слонах нападали на захватчиков, но где от последнего князька не осталось даже имени, а новый Большой Начальник — такая же бабочка-однодневка, как и другие.

Приехав к Толливеру, я опять очутился в двадцатом веке. В штабе царила оживленно-деловитая атмосфера. Телефоны звонили непрерывно, канцеляристы и младшие штабные офицеры сновали туда и сюда. Сам Толливер тоже был оживлен и настроен благодушно. Ему хотелось, чтобы я непременно посмотрел карту военных действий и выслушал его мнение о предстоящей битве.

— ...Операция задумана хорошо, господин посол. И тактика, и техника передвижения войск — на высоте. Думаю, они сделают свое дело.

— Сколько времени это продлится?

— От четырех часов до суток, в зависимости от того, как поведет себя дворцовая охрана. У Кунга около четырехсот солдат, расквартированных во дворце и вокруг него. У них есть пулеметы, минометы и, конечно, зенитные батареи. Но они не смогут долго продержаться против артиллерии и бомбежки с воздуха. Если генералам удастся ввести свои войска в город без всяких боев по пути, то, я бы сказал, это будет просто веселенькая прогулка!

Я не мог понять, каким образом Кунг, при всей своей хваленой бдительности, мог допустить, чтобы генералы так тщательно подготовились к восстанию. У Толливера, однако, нашелся ответ.

— Они просто сжульничали со связью внутри и вне дворца. Они плели ему всякие небылицы насчет перемещения войск и командного состава. Словом, и генеральный штаб, и правительство одурачены шайкой изменников.

— Выражайтесь осторожнее, генерал! Завтра все они могут стать героями.

— Знаю.— Он криво усмехнулся.— По-моему, не важно, как их называть, если в стране нет единства. Я сегодня как раз говорил своим, до чего легко было бы захватить наш штаб, если бы источники нашей информации были подкуплены... А Кунга мне все-таки жаль. Он заслуживает лучшего. Интересно, что с ним будет?

— Один бог знает. Я уполномочен предоставить ему убежище, если он попросит. И это все.

— Но мы не вмешиваемся?

— Нет.

— Что ж, ничто не вечно под луной. Вот самое главное правило для диктатора, господин посол: перетяни армию на свою сторону и держись за нее. Не сумеешь — тебе конец. И завтра к этому времени с Кунгом будет покончено.

— Несмотря на гарантии? Несмотря на генерала Тхиена?

— Несмотря ни на что, господин посол! Если даже дворцовая охрана будет биться до последней пули, все равно ей в конце концов придется капитулировать. И тогда они начнут выторговывать себе жизнь. Что же они предложат взамен? Конечно же страшное чудище — президента Кунга! Понимаете, генералы при этом не несут никакой ответственности. Его пристукнули собственные же люди, поняв, как он их одурачивал и угнетал.

— Я об этом как-то не подумал.

— Не можете же вы думать обо всем на свете, господин посол,— добродушно сказал Толливер.— С вашего разрешения, осмелюсь сказать, что вы держались просто здорово! Вы действовали осторожно, вы не теряли голову и не увиливали, когда надо было сказать решающее слово. Мы все — за вас. Можете мне верить.

В устах Толливера это была высшая похвала. Я был благодарен ему за комплимент и рад тому, что он, как человек честный, понимает иронию ситуации... Интересно, что делает Кунг в своем дворце сейчас, когда минометы выдвигаются на позиции, когда солдатам выдают гранаты и патроны, а артиллеристы проверяют поле обстрела? Страшно ли ему? Мечется ли он в отчаянии, узнав об измене? Обходит ли свой маленький гарнизон или курит послеобеденную сигару в кругу тех, кто еще остался при нем? У меня было смутное и тревожное подозрение, что он сейчас молится перед Христом работы Руо.

●

Бдение тянулось бесконечно, а я, будучи персоной слишком важной, не мог рассчитывать на радушный прием в кабинете второго секретаря, где шла игра в кости, или на радиоузле, где собралась оживленно сплетничавшая компания. Меня, как всегда, ждала целая гора текущей работы, но у меня не лежала к ней душа — накануне вооруженного восстания все это казалось странно незначительным. Я послал Энн Белдон помогать остальным девушкам, а сам вынул дневник и, сначала машинально, а потом увлекшись, стал записывать для себя все, что я думал в эту последнюю ночь, когда над головой моей уже обваливалась крыша. Это были дикие, сумбурные страницы, но, перечитывая их теперь, я могу позволить себе остро пожалеть человека, который их написал.

«...Через три часа начнется стрельба и будут умирать люди. В хронике нашего времени это промелькнет, как небольшая схватка, и вскоре забудется. Но для некоторых бедняг-смертных любая стычка — это Армагеддон...

Все слова, мною сказанные и написанные, скоро превратятся в пули, штыки и артиллерийские снаряды. Дико, но правда. В конечном счете, убивают людей слова. Может быть, это и имел в виду тот писатель, сказав, что он знает значение слов, поэтому уважает их. Мы, затопленные извержением слов из газет, телевизоров и транзисторов, стали недооценивать и искажать их смысл. Но на самом деле слова — это зубы дракона... Кто теперь читает «Капитал»? А между тем, от Владивостока до Берлина, от Ханькоу до Гаваны свистят пули и рвутся бомбы, стеной встают штыки, в которые превратились слова этой книги... И мы, чеканщики слов, мы выпускаем фальшивые монеты и удивляемся, почему простые люди швыряют их обратно нам в лицо. На прошлой неделе я в своем тосте произнес шесть слов, а завтра утром для кого-то они обернутся петлей на шее или пулей в голове... Речь — это то, что отличает человека от прочих живых существ. Почему же мы используем эту драгоценную способность так, что иногда лучше бы нам быть глухонемыми?..

...Сейчас, должно быть, в город уже входят танки, грузовики и артиллерийские орудия. Наши танки, наши орудия. Мы купили их на деньги нашего народа и отдали нашим друзьям, чтобы сохранить им свободу и безопасность. Но тех, кто вчера были нашими друзьями, завтра не будет в живых: их убьют из оружия, которое мы им подарили. Так кто же тогда свободен, кто может считать себя в безопасности, если люди накалены взаимной озлобленностью, связаны по рукам и ногам недоверием?..

...А я, все так ясно понимающий,— почему я потворствую всему этому? Быть может, потому, что я говорю на двух языках: на одном — в тесном кругу высказываю правду, на другом — разговариваю с обществом, природы и сложности которого я не понимаю. А раз не понимаю, зачем же я взялся решать его судьбу?..

...Кто же я, пишущий в этом дневнике? Даже этого я как следует не знаю. Однако покажите мне другого, совершенно неведомого мне человека, и я уверенно вынесу ему приговор и отправлю на смерть. Сейчас этот человек, стоящий на пороге смерти, пожалуй, счастливее меня: я твердо уверен, что эти часы ожидания для него гораздо спокойнее. Он знает, кто он, или, во всяком случае, ему кажется, что он знает. Он знает, что такое смерть, и примет ее, как завершение земного бытия и переход к вечности. Он знает и значение слов: «Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог...» И все-таки в деле государственного благосостояния он оказался жалко беспомощным, и тут Сияющее Слово ему не помогло...

...Сейчас на летном поле будут заливать баки горючим, укладывать в гнезда ракеты, загружать в самолеты бомбы. Молодые люди вроде Джорджа Гротона помчатся в воздухе, как мстительные фурии, неся смерть другим молодым людям, которых они даже не видят... Мысль довольно плоская. Банальность нашего просвещенного времени. Духа дерева можно умилостивить благовонным курением. Дух воды любит рассыпанные цветы. Дух дома голоден, и его можно ублаготворить рисовой лепешкой. Но эти воздушные мстители, летящие в огненных колесницах,— кто может ублаготворить их и чем — кроме крови и дыма от горящих человеческих тел?..

...Что мне делать завтра, когда все кончится? Удалиться в пустыню и посыпать главу пеплом? Я — оракул, который должен предсказать будущее: ...быстрое восстановление нормальных отношений, возобновление военных действий, устойчивое и просвещенное правительство, свобода, равенство,— и давайте опять танцевать в кабачках и открыто кутить с потаскушками, и к черту кастратов и французских нейтралистов заодно! «Dixie!» * — я сказал! А потом я полечу домой, насвистывая «Дикси», с победой для нашей демократии в кармане. Какого черта они не начинают? Пусть уж скорее кончится бойня, и тогда, может быть, нам удастся заснуть!..

...Мэл Адамс и Гарри Яффа... Образец контрастов. Но к кому же из них я чувствую большее уважение? К человеку, выполняющему самые грязные поручения правительства умело и даже с каким-то сладострастием, или к человеку, который сохранил за собой право сомневаться и отказываться? Поскольку здесь, сейчас, правительство — это я сам, я склоняюсь то к одному, то к другому. Без Яффы я не могу выполнять свои обязанности — и я поставил под угрозу жизнь многих людей. Без Адамса... впрочем, я уже остался без него. Он не захотел нарушить наш уговор и отказался посидеть со мной эту ночь в посольстве. Это доказывает — или мне просто так кажется? — что совесть — совсем не обязательная принадлежность светского багажа.

С улицы доносится грохот танков и тяжелых грузовиков. Из моего окна ничего не видно. Я смотрю на часы. До двух еще полчаса... Долгое

---

* Здесь игра слов: «Dixie» означает по-латыни: «Я сказал»; так же называется и гимн южных штатов США.

бдение... Для Кунга, быть может, это часы страдания в его дворцовом саду. Для его Иуды — если я действительно Иуда — долгое страдание еще впереди. Сколько времени шутник Пилат правил Иерусалимом после распятия? Сколько еще времени я останусь здесь, чтобы доказать, что моя страна ни в чем не повинна и полна благородных и благодетельных намерений по отношению к своим отважным азиатским союзникам?.. Позвонил Гарри Яффа. Все идет по плану. Он постарается держать со мной связь...

Только что Энн Белдон принесла мне чашку кофе. Меня сильно к ней тянет. Ночь с Мэгги Бентон обострила во мне чувственные желания. Я знаю, я мог бы рассеять опасения Энн и уговорить ее выйти за меня замуж. А потом? Брак палача с женщиной, которая все видит сквозь его маску. Немыслимые, непредставимые тайные страхи... Грохот утих. Слышится топот бегущих ног: равномерная, муштрованная рысца пехоты. А наверху — тонкое жужжание приближающихся самолетов... Ну скорее же, ради бога! Пусть загрохочут эти проклятые орудия!»

Глава 11

В четыре минуты третьего я услышал первые выстрелы — дробный, глухой треск зенитных орудий. И почти тотчас начали падать бомбы, и оконные стекла задрожали от взрывной волны. Когда первый налет кончился, начался артиллерийский обстрел, сопровождавшийся временами треском пулеметов и минометной стрельбой. Я чувствовал себя как узник в тюремной камере во время светопреставления. Через десять минут я не выдержал. Я вызвал Энн Белдон и Билла Славича, и мы проехали несколько кварталов по набережной до отеля «Каравелла». Там мы поднялись в сад на крыше, откуда был виден весь город.

Нам открылось жуткое, зловещее зрелище. Весь город был ярко освещен. Люди стояли на крышах, на балконах, у распахнутых окон, словно зрители на футбольном матче. Дворец президента, окутанный густыми клубами дыма, был в кольце артиллерийского огня. Мы видели танки, которые двигались по дороге, словно выползшие из своих нор допотопные чудовища, и солдат, которые шагали под их прикрытием или жались к стенам домов. Горели магазины и жилые дома, на тротуарах рвались мины. Воздушные налеты на территорию дворца следовали один за другим. Потом самолеты улетели, а танки подошли ближе, стреляя прямой наводкой вдоль пустых бульваров.

Теперь, когда исчезли последние самолеты, зенитная батарея умолкла и кольцо солдат и военной техники теснее сомкнулось вокруг крепости. Осажденные упорно продолжали сражаться — стреляли из пулеметов, минометов, базук и личного оружия. Временами стрельба затихала, и тогда до нас доносились громкие выкрики, а порой далекий протяжный вопль, похожий на крик птицы. На крыше вокруг нас уже толпилась уйма народу: журналисты, служащие отеля, кинорепортеры, французы-коммерсанты или просто подвыпившие ресторанные гости, для которых все происходящее было развлечением. Все громко болтали — лишь время от времени кто-нибудь вскрикивал, когда раздавался новый артиллерийский залп или рушилось еще одно охваченное пламенем здание.

Мы пробыли там часа полтора, и вдруг мне стало невыносимо противно это зрелище. Мы вернулись в посольство, и я сразу направился в отдел связи узнать последние новости. Бои начались в Да-нанге, но в Гуэ и Далате было спокойно, а города дельты перешли на сторону заговорщиков без единого выстрела. Позвонил Гарри Яффа и сообщил, что все стратегически важные пункты в городе уже в руках восставших; сайгонское радио сообщило, что с минуты на минуту ожидается захват дворца. Я позвонил в штаб генералу Толливеру. Он уже получил донесения от всех своих командиров: они сообщали, что в остальных районах страны все спокойно. Даже Вьетконг впервые за много месяцев как будто совсем притих. Без двадцати четыре стрельба прекратилась. Еще через полчаса явился Гарри Яффа с известием, что дворцовая охрана сдалась, но сам президент Кунг исчез. Как, когда и куда он скрылся, никто, по-видимому, не знал. Многие из его приближенных, вооруженные пулеметами, винтовками и ручными гранатами, остались во дворце и продолжали сражаться, укрывшись за последними баррикадами. По словам Яффы, гарнизон дворца был зол на Кунга за то, что сам он бежал, а их обрек на бессмысленное сопротивление, которое слишком дорого им обошлось.

Как ни странно, я тоже был этим раздосадован. Я ждал чего-то большего от этого человека — какого-то последнего героизма, отчаянной борь-

бы, невзирая на всю ее безнадежность при таком неравенстве сил. Но нет! До конца оставаясь политическим интриганом, Кунг улизнул, зная, что обрекает на верную смерть гарнизон, прикрывающий его бесчестное бегство! Потом моя досада сменилась чувством облегчения. Значит, я все-таки принял верное решение. Я сделал то, что требовалось для моего правительства, да и для этой страны тоже. Я рисковал многим, но исход дела полностью меня оправдал. Я отправил донесение Фестхаммеру и предложил Гарри Яффе позавтракать со мной — выпить кофе с сандвичами. Яффа ликовал.

— Все было разыграно как по нотам, господин посол! Просто мастерски! Если Киет будет управлять страной так же, как он провел эту операцию, дело пойдет на лад. Даже потери не так уж велики — около пятидесяти убитых во дворце и примерно сотня раненых. Цена совсем не дорогая, если учесть, что могла восстать вся страна. Вы должны гордиться собой. Допивайте ваш кофе и давайте проедемся по городу, поглядим, что там творится. Судя по всему, это будет похоже на Париж в день взятия Бастилии...

Сравнение оказалось более или менее точным. Всего лишь час как рассвело, а на улицах уже было полно народу; все смеялись, кричали, обнимали друг друга, тащили из баров бутылки и угощали проходивших мимо солдат. Окружив мою машину, люди хлопали в ладоши и кричали: «Да здравствуют американцы! Да здравствуют друзья республики!» Кто-то поднял вверх маленькую девочку с гирляндой цветов в руке, но ей не удалось дотянуться до меня; тогда ее посадили на капот машины как живую эмблему, и мы проехали с ней ярдов сто вдоль бульвара. Толпы студентов маршировали по тротуарам, взявшись за руки, на груди у них висели картонные плакаты с лозунгами; некоторые несли в руках стяги. Перед зданием Национального собрания какой-то человек играл на аккордеоне еще недавно запрещенную любовную песенку, а юноши и девушки танцевали под эту музыку. На улице Катина толпа швыряла камнями в витрину какого-то магазина и бросала горящую бумагу сквозь разбитые стекла. Это был книжный магазин, принадлежавший одному из родственников Кунга. Вскоре здание загорелось; солдаты и собравшаяся вокруг толпа ликовали, глядя на бушующее пламя.

Территория дворца была оцеплена войсками, но, увидев флажок нашего автомобиля, солдаты позволили нам подъехать довольно близко,— взору нашему предстали груды камня и щебня, воронки от бомб, горящие развалины. Мародеры еще возились там, вытаскивая мебель, ценные предметы, бутылки вина. Свернув на другую улицу, мы вынуждены были прижаться к тротуару, чтобы пропустить процессию буддийских монахов, которые шли нам навстречу, неся в золотой шкатулке под красным шелковым покрывалом сердце своего первого мученика. Толпа встречала их приветственными криками, некоторые благоговейно опускались на колени. На всех пагодах развевались флаги, и стоило человеку в желтых одеждах появиться в толпе, как его окружали, и чашечка монаха наполнялась подаяниями. При виде флажка на моей машине прохожие начинали радостно галдеть и тотчас окружали нас. Один раз ликующая толпа даже подняла машину над землей и пронесла ее ярдов пятьдесят.

Мы отъехали совсем не далеко от посольства, но только через два часа нам удалось вернуться обратно. Там меня уже ждал австралийский посол Арнольд Менсон вместе с итальянским послом.

Менсон держался натянуто и официально.

— Мы ждем вас уже почти час, мистер Эмберли, а дело чрезвычайно срочное. Насколько мы понимаем, президент Кунг где-то скрывается. Располагаете ли вы какими-либо сведениями на этот счет?

— Боюсь, что никакими.

— Тогда у нас еще есть время действовать. Я звонил нашим коллегам, и все они согласны с тем, что во имя простой человечности, а также учитывая общественное мнение, президенту Кунгу необходимо гарантировать безопасность. Мы с моим итальянским коллегой хотим немедленно отправиться в штаб к генералу Киету и самым решительным образом изложить ему наши условия.

— Вы совершенно свободны в своих действиях, мистер Менсон. Лично я могу их только приветствовать.

— Мы хотели бы, чтобы вы присоединились к нам, мистер Эмберли.

— Едва ли это необходимо. Мы уже выразили наше пожелание генералу Киету и его коллегам и получили заверение в том, что будут приложены все усилия, чтобы обеспечить личную безопасность президенту Кунгу. Поэтому мой визит был бы излишен и навязчив К тому же у меня много дел.

— Пойдемте, Менсон,— резко сказал итальянец.— Здесь мы толку не добьемся. Только зря теряем драгоценное время. До свидания, сэр.

— До свидания, господа.

Когда дверь за ними захлопнулась, Энн Белдон принялась горячо упрекать меня:

— Почему, о господи, почему вы не сделали того, о чем они просили?

— Потому, что я посол, мисс Белдон. И я один решаю, что надлежит делать! У вас есть еще вопросы?

— Нет, сэр! — Холодное презрение, словно маска, застыла на ее лице.— Нет и никогда не будет!

Через полчаса в посольство вернулся Мэл Адамс. Он принес свой отчет, заявление об отставке и известие о том, что президент Фунг Ван Кунг мертв.

●

Адамс был очень спокоен и рассказывал мне о том, что произошло, совершенно бесстрастно, словно он уже взвесил все возможные последствия и знал, что предстоит. Его спокойствие передалось и мне, и я слушал, не прерывая его и не задавая вопросов.

— ...Это я, сэр, вывел президента Кунга из дворца и был с ним до последней минуты. Как это произошло? Довольно просто. А почему? Это, пожалуй, объяснить труднее, но я попробую. Я ведь уже не связан никакими обязательствами ни с посольством, ни с дипломатической службой вообще. Я уже высказал свое несогласие с весьма важной линией международной политики. И я просил об отставке. Вы попросили меня остаться еще на какое-то время, чтобы мой уход не создал для вас затруднений. Я согласился, но поставил условия, которые вы приняли. Однако на мне лежал и другой долг: долг человека перед самим собой, долг гражданина перед своей родиной. Я не мог допустить, чтобы я лично или моя страна стали соучастниками убийства. Поэтому я решил действовать. Вчера вечером, выйдя из посольства, я отправился домой и позвонил оттуда во дворец. Мне было не легко соединиться с Кунгом и еще труднее убедить его встретиться со мной. Но в конце концов он согласился. Я сел в свою машину и поехал во дворец. Там шли приготовления к обороне. Все уже знали о том, что должно произойти, поэтому меня нельзя обвинить в разглашении тайны.

Кунг принял меня в присутствии шести своих старших помощников. Я сказал ему, что действую исключительно на свой страх и риск, и объяснил почему. Я предложил доставить его на моей машине в наше посольство, где он будет в безопасности. Я сказал, что, если дворец будет сдан, это даст воможность избежать ненужного кровопролития. Кунг заявил, что не станет унижаться перед американцами, которые предали его; и все приближенные одобрили его слова. Тогда я предложил отвезти его ко мне домой. Он отверг и это, сказав, что не может подвергать опасности меня и мою семью. Наконец, как последнюю возможность, я предложил ему дом Китайца Номер Один, который при любом правительстве останется неприкосновенным. Если с головы китайского патриарха упадет хоть один волос, восстанет весь Шолон.

Тут в разговор вмешались приближенные Кунга. Они, по-видимому, уже обсуждали возможность продолжения борьбы, даже если дворец будет захвачен генералами. Они говорили о том, что деревня на стороне Кунга и что он найдет поддержку у среднего командного состава... В какой-то момент Кунг резко оборвал беседу и попросил меня обождать в приемной. Я ждал больше часа; наконец Кунг вышел вместе со своими людьми. Он сказал, что решил послушаться своих советников и укрыться в безопасном месте. Он позвонил Китайцу Номер Один, и тот предложил ему временное пристанище в своем доме. В одиннадцать часов я, нимало не таясь, отвез его туда. К этому времени дворец и все подходы к нему были уже погружены во мрак, и, когда мы проходили мимо охраны, нас даже не окликнули...

В машине Кунг сидел молча, потом вдруг повернулся ко мне и спросил: «Надеюсь, вы понимаете, мистер Адамс, что меня с таким же успехом мог бы довести и кто-нибудь из моих людей. Бои начнутся не скоро. Я еще волен ездить, куда хочу».

Я сказал, что прекрасно это понимаю; тогда он спросил: «Вы знаете, почему я поехал с вами? Потому что, когда простодушный человек в простоте своей хочет сделать доброе дело, нельзя ему отказать. Вы очень простодушный человек, мистер Адамс, и делаете вы сейчас доброе дело; даже если это ни к чему не приведет, остается нравственная сторона поступка. А вот ваш нынешний посол — человек не простой, и поэтому он хороший политик, а вы — нет. Но то, что он делает, не принесет добра ни ему, ни его стране».

Когда я ответил, что не хочу вдаваться в обсуждение вашей личности или деятельности посольства, он только пожал плечами и сказал, что в

добрых делах люди никогда не идут достаточно далеко, а в злых всегда заходят слишком далеко, и потому и то, и другое не достигает цели.

Наконец мы подъехали к дому Китайца Номер Один; нас встретил слуга и сразу провел к хозяину. Там уже собралась вся семья — мужчины, женщины, дети, все в парадных одеждах. Кунг был очень растроган. Китаец Номер Один произнес небольшую приветственную речь. В частности, он сказал: «Этот человек — почетный гость в моем доме. Он прибыл сюда как президент этой страны, невзирая на обстоятельства, при которых он прибыл. Все вы должны помнить, что гость — лицо священное, и воздавая ему честь, мы тем самым воздаем честь нашим предкам...»

Я знаю язык и тоже был глубоко тронут столь торжественным приемом, оказанным человеку, который, в сущности, был просто беженцем. После того, как церемония приветствий была окончена, члены семьи удалились, а хозяин пригласил нас к столу. Пока шла трапеза, появился молодой человек с книгой в руке и стал в сторонке, ожидая знака от хозяина. Китаец Номер Один, улыбнувшись, объяснил нам его присутствие по своему обыкновению афоризмом:

«Если ждешь визита сборщика налогов, выпей немного рисовой водки. А еще послушай музыку или хорошие стихи». Поэтому в эту ночь, когда могут произойти большие и тревожные события, мы немного послушаем стихи Ли Бо, бога в изгнании, которого называли также великий Феникс... Читай!»

И юноша звонким, хорошо поставленным голосом стал читать нам одно стихотворение за другим.

Когда чтение было окончено, юноша поклонился хозяину, потом Кунгу и мне. Кунг поблагодарил его и, обернувшись к хозяину, сказал серьезно и с чувством:

«Никому на свете не пришло бы в голову сделать в такую ночь то, что сделали вы. Вы снова дали мне урок, и я благодарен вам. Больше того: вы просветили мой разум, и я знаю теперь, как мне поступать».

Затем он попросил меня съездить в католический сиротский приют в предместье Шолона и привезти оттуда священника — отца Вильгельмсона. Это очень странный человек, вы должны встретиться с ним, если останетесь здесь, господин посол. Во время Большого Похода он оказал какую-то услугу Мао Цзэ-дуну — не то ухаживал за ним во время болезни, не то добывал ему еду и лекарства. После революции его посадили в тюрьму вместе с другими европейскими миссионерами, и он немало там натерпелся. Потом Мао Цзэ-дун узнал, что он в тюрьме, и велел его выслать. С тех пор он живет в Сайгоне, заведует сиротским приютом, выпускает китайскую газету и поддерживает тайные сношения с Китаем через Ханой и Хайнань. Он — человек со странностями, но Кунг, по-видимому, сделал его своим духовником. Потому-то Кунг и послал за ним, решив исповедаться.

Я поехал на другой конец города и привез преподобного отца. Они с Кунгом удалились в соседнюю комнату, и пока Кунг исповедовался, началась стрельба. Я сидел вдвоем с Китайцем Номер Один. Он посоветовал мне не обращать внимания на бурю, свирепствовавшую за стенами дома, и сказал:

«Не презирайте этого человека, мистер Адамс. У него много недостатков. Он совершил немало непоправимых ошибок. Тем не менее поступает он как государственный деятель. Знаете, почему он приехал сюда сегодня?.. Я знаю, что он сказал вам, но истинная причина не в этом. Чтобы понять ее, быть может, надо родиться на Востоке. Я, например, часто не могу постичь ход мыслей американцев... Но Кунг рассуждает так: он не хочет умереть неведомо как, неведомо где, не хочет, чтобы его убило шальным осколком шрапнели или завалило обломками дома. Он хочет, чтобы его враги завладели им на глазах у всех, он хочет заставить их открыто сделать выбор: либо убить его, либо судить, даже если потом его все равно ждет смерть. Но смерть он хочет принять от руки врага и так, чтобы об этом всем стало известно. И тогда позор падет на голову вашего посла, который вошел в сделку с Киетом и его приспешниками. Вот как он мыслит. Разумеется, все может повернуться иначе».

Тогда я спросил его, почему же Кунг не приказал дворцовой страже сложить оружие без сопротивления, чтобы не проливать зря кровь. Он покачал головой и добавил:

«Это тоже типично для Востока. Если не будет боя, значит, в стране нет никого, кто бы верил в правительство, никого, кто бы хотел за него бороться. А теперь, как бы ни истолковала это история, бои утвердили то, что должны были утвердить».

Я спросил его, считает ли он, что Кунг поступил правильно. Он только пожал плечами и сказал, что важно одно: Кунг верит в свою правоту. Любые поступки всегда будут правильными только наполовину, потому что люди

еще не научились читать письмена истории. Но поступать правильно по отношению к самому себе и к своей семье человек имеет возможность всегда, и это самое большое, чего от него можно ждать.

Исповедь закончилась, появился Кунг, и хозяин приказал одному из своих сыновей отвезти исповедника обратно в сиротский приют. Старик очень устал и, попросив извинить его, ушел; мы с Кунгом сидели вдвоем, пили чай и прислушивались к орудийным залпам. Он был молчалив, как мне показалось, очень печален, но вполне спокоен. От его высокомерия не осталось и следа, исчезла и эта его неприятная дидактичность, напоминающая поучения школьного учителя.

Вероятно, я вскоре задремал, а когда проснулся, было уже совсем светло. Возле меня стоял Кунг. Он сказал, что позвонил генералу Киету в штаб и сообщил, что готов отдаться им в руки в семь часов возле католической церкви в полумиле от дома Китайца Номер Один. Я отвез его в церковь и прослушал раннюю обедню, сидя на задней скамье. После службы Кунг причастился и, помолившись, подошел ко мне.

«Благодарю вас за все, мистер Адамс,— сказал он.— Я принял вашу услугу потому, что ценю вашу добрую волю и мне хочется, чтобы вы это знали. Теперь вы сделаете в точности то, о чем я вас попрошу. Мы выйдем из церкви вместе. Меня уже будут ждать солдаты. Вы останетесь на паперти и подождете, пока меня увезут. Что бы ни произошло, вы ничего не будете предпринимать — абсолютно ничего. Вы меня поняли?»

Я еще раз попытался уговорить его укрыться в нашем посольстве. Он отказался. Мы вышли из церкви вместе. У тротуара стоял военный грузовик, а рядом — целый взвод солдат, вооруженных автоматами. Кунг направился к ним. Они грубо схватили его, втолкнули в грузовик, и сами забрались туда же. Грузовик не проехал и ста ярдов, как раздались два выстрела. Думаю, что тогда они и убили его... Вот и все, господин посол...

Его рассказ и поразил, и озадачил, и встревожил меня. От усталости и растерянности, от того, что появившееся было у меня ощущение правоты снова пошатнулось, я вдруг рассердился. Нарочно помолчав минуту, я спросил:

— Что же вы хотите от меня услышать, Мэл?

— Ничего, сэр. Теперь все кончено. Кунг убит.

— Ах вот как. А вы, значит, благородный друг, который прошел с ним рядом последний путь до конца,— единственный хороший американец в этом гадком мире? Так?

— Нет.

— Хотите, я вам скажу, как все это, по-моему, выглядит? Мне кажется, вы оказались сентиментальным дураком, который сначала поднимает крик насчет нечестной игры, а потом ввязывается в нее сам. Вы стали соучастником убийства, а его могло бы и не быть, останься Кунг во дворце. Благодаря вам наша страна теперь замешана в это дело; если бы не вы, ничего подобного не случилось бы. Вы помогли этому политическому фанатику принять мученический венец в духе буддистских самосожжений. Если это нас дискредитирует — вина целиком ляжет на вас.

— Это ваша точка зрения, сэр,—спокойно сказал Адамс.—Но не моя.

— А какова ваша, Мэл?

— Я считаю, что должно же где-нибудь когда-нибудь найтись место и для простой человеческой порядочности в этом кровавом клубке политических и дипломатических интриг. Кто-то должен заявить, что китаец имеет такое же право есть и пить, как калифорниец, что марксист — это не обязательно чудище, а капиталист — не старомодное пугало и что миром не могут править полицейские и шпики... Да и послы, если на то пошло! Пусть я совершил дипломатическую ошибку, но по крайней мере я проводил на смерть другого ошибавшегося человека и, быть может, помог ему умереть с достоинством. А теперь разрешите мне уйти, сэр.

— Разрешаю, Мэл. Ваши проездные бумаги будут готовы сегодня после обеда. Но у меня есть еще один вопрос. Вы включили все это в свой доклад?

— Нет, сэр. Могу включить, если хотите. Но я подумал, что вы, может быть, предпочтете, чтобы это осталось между нами. Все ведь кончено. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов.

— Я считаю, что это мудрое решение.

Мудрое — но для кого? Для Мэла Адамса, который, будь он похитрее, мог бы нажить целый капитал на этом своем донкихотском поступке? Или для меня? Ведь это могло только опозорить меня в глазах сентиментальной публики; теперь же я сам могу написать докладную государственному департаменту и осветить события по-своему.

Однако мне пришлось освещать их значительно скорее, чем я предполагал. Около полудня Арнольд Менсон и его итальянский коллега вернулись

из штаба генерала Киета. Они разговаривали со мной холодным, укоризненным тоном. В то самое время, сказали они мне, когда они беседовали с Киетом и он заверял их, что примет все меры, чтобы обеспечить Кунгу безопасность, по телефону передали известие о смерти президента. Генерал Тхиен пришел в дикую ярость, выразил протест, обвинил всех в предательстве и тотчас уехал к себе домой. Таким образом, хунта раскололась, не успев сформироваться, и генерал Тхиен по закону кровной мести легко может стать ее потенциальным врагом.

Было совершенно очевидно, что мои коллеги считали меня ответственным — хотя бы отчасти — за смерть Кунга, а из-за меня — и правительство Соединенных Штатов. Это было весьма опасное умозаключение, которое могло вызвать далеко идущие последствия. Поэтому я рассказал им на свой лад историю Мэла Адамса. Никто не мог уличить меня в дипломатической лжи, так как все факты были изложены мною совершенно точно.

— Боюсь, что сегодня утром, когда вы обратились ко мне, джентльмены, я показался вам весьма бесчеловечным и равнодушным, но я тогда не мог сказать вам, что в это время один из моих сотрудников лично пытался спасти жизнь президента Кунга. Вчера ночью, еще до того, как начался бой, он на собственном автомобиле вывез президента из дворца и провел с ним всю ночь, укрывшись в одном надежном месте. Он снова и снова пытался убедить президента Кунга приехать сюда, в наше посольство, где я был готов предоставить ему убежище, пока мы не обеспечим ему безопасный выезд из Сайгона. Президент Кунг отверг наше предложение и заявил, что желает сдаться. Сегодня в семь часов утра он был взят под стражу в Шолоне и, по-видимому, расстрелян в ста ярдах от места его добровольной сдачи... Так что вы видите, джентльмены, я не такое чудовище, каким кажусь.

Они, разумеется, рассыпались в извинениях и на прощание согласились выпить со мной в знак дружбы. Поверили они мне или нет — это уже другое дело. Но дипломатия, как всякое театральное представление, требует, чтобы человек прятал свое недоверие в карман и погружался в мир иллюзорной реальности, а если это превращает вас в фигляров и шарлатанов, то чего же вы, собственно, хотите, леди и джентльмены? Вы платите нам за ваши ослепительные иллюзии, а мы сидим за кулисами, где только пыльная бутафория и никаких иллюзий.

●

Это был долгий, изнурительный день: бесчисленные слухи, бесконечные противоречивые сообщения, которые нужно было рассортировать, проанализировать и в конце концов составить из них вразумительное резюме для Вашингтона. У меня не было ни времени, ни желания учинять себе допрос, и к тому же после бессонной ночи я едва стоял на ногах.

Гарри Яффа был крепок и надежен, как скала. Казалось, он держал в руках все нити, и ему удавалось манипулировать всеми одновременно. Целый день он то появлялся в посольстве, то исчезал, и ни один слух, ни одна новость не прошли мимо него. Когда мне нужны были какие-либо сведения, они были у него наготове; когда я хотел получить совет, он тотчас давал его, подкрепляя рядом внушительных фактов. Он был возбужден и упивался происходящим, но вместе с тем ничего не преувеличивал и всегда был готов не торопясь обдумать то, что требовало размышления и обсуждения. После моего последнего поединка с Мэлом Адамсом его веселый цинизм был для меня сущим отдыхом. В конце дня, когда каждый из нас походил на выжатый лимон, он в своей чистой рубашке и отлично отутюженном костюме по-прежнему был щеголеват и свеж. Я пригласил его к себе в кабинет выпить, и он цинически точно подвел итоги:

— Мы достигли своей цели, господин посол, и при этом вышли сухими из воды! Потери незначительны. Правительство новое — народ к нему расположен. В провинциях все спокойно, и на военном положении переворот почти не отразился. Я считаю, что мы с вами заслужили по стаканчику!

Мы выпили и налили еще, чтобы поддержать разлившееся по телу тепло и ослабить напряжение мускулов и нервов.

— Конечно, назревает новая проблема,— продолжал Яффа,— но мы с ней тоже справимся.

— Какая проблема, Гарри?

— Да вот этот генерал Тхиен — тот, что разбушевался сегодня утром, узнав о смерти Кунга. Один из моих агентов разговаривал с ним днем. Он вне себя. Кричит, что Киет нарушил обещание и нарочно подстроил убийство президента... Может, это и правда, а может, и нет. Но Тхиен поклялся не брить бороду, пока Киета не выгонят из правительства. Я не придаю этому особого значения. Тхиен не слишком важная персона, и его влияние ограниченно. Тем не менее надо держать его в поле зрения...

Он произнес это так небрежно, а я был настолько утомлен, что не сразу понял смысл его слов. Кунг мертв. Генералы пришли к власти. Но по-прежнему все неустойчиво, все неверно. Будущий узурпатор уже строит козни, притаившись где-то в темном углу, и когда-нибудь, рано или поздно, скачки с препятствиями начнутся снова. И я — опытный, азартный игрок! — снова включусь в ту же самую, жалкую, постылую игру: буду открыто ставить на одну лошадь и тайком на другую... А затем уничтожу проигравшего... Я не мог смотреть фактам в лицо. Я не желал. Я залпом осушил бокал и поставил его на стол.

— На сей раз довольно! К черту их всех, Гарри! Едем по домам!

А что такое мой дом? Населенное призраками жилье, окруженное зловещим садом и охраной, которая всю ночь шагает взад и вперед, чтобы уберечь меня от всех, кроме меня самого.

●

Призраки начали гоняться за мной не сразу. Они наползали отовсюду — медленно, как клочья тумана с болота, и, промелькнув передо мной, исчезали. Подъезжая к дому, я чувствовал себя так, словно меня били палками. Все тело ныло, я еле двигался, будто мне на плечи навалили тяжелый груз. Я велел Биллу Славичу вызвать по телефону массажиста и в ожидании его лег в горячую ванну, поставив рядом стакан виски. Понемногу напряжение стало ослабевать, но его сменила огромная усталость, и мне казалось, что у меня не хватит сил, чтобы дотянуться до бокала. А в мозгу весело и пьяно, словно поющий волчок, вертелись какие-то мысли. Будь у меня карандаш и достаточно сил, чтобы держать его в руке, я, кажется, мгновенно мог бы записать всю историю моей деятельности в Сайгоне. И я сделал бы ее понятной и тупицам, и мудрецам, потому что она была похожа на крутящийся волчок: яркие полосы, четко отделенные друг от друга, гармонично сливались в одно целое. Я чувствовал большую потребность исповедаться кому-нибудь, но я был совсем один, поэтому стал рассказывать свою историю самому себе. Вскоре мне это надоело, я закрыл глаза и немного вздремнул. Когда я проснулся, ванна остыла, я лениво вылез из нее, завернулся в купальную простыню, лег на кровать и стал ждать массажиста.

Обычно он был довольно молчалив, и его молчание успокаивало так же, как прикосновение его пальцев. Но сегодня он был взбудоражен драмой государственного переворота и, массируя меня, болтал не умолкая. Я тоже пустился в разговор и, подражая его гнусавому, как у всех анамитов, французскому выговору, стал распространяться о судьбах республики при новом правительстве, не скупясь на пышные обещания и мудрые советы. Мое красноречие очень быстро заставило его умолкнуть. Слова беспорядочно слетали у меня с языка, но мысли их опережали, и мной снова овладело напряженное беспокойство, так что в конце концов мой массажист взмолился:

— Пожалуйста, мосье, не надо больше разговаривать. Мускулы напрягаются, и я не могу их расслабить...

Мне стало неловко, и я заставил себя умолкнуть, и вскоре ритмичные движения массажиста усыпили меня. Когда я проснулся, массажист уже ушел; я лежал обнаженный под простыней. На мгновение меня охватил беспричинный страх. Все окружающие предметы были как бы не в фокусе, и комната показалась мне чужой. Возникло неясное, но гнетущее ощущение опасности, как бывает после тяжелого кошмара. Затем внезапно все снова стало на свое место. Голова моя была ясна, тело налилось бодростью. Мне хотелось есть; я быстро оделся и спустился вниз выпить коктейль перед обедом. Над дверью в гостиную висело большое зеркало в позолоченной раме; мельком взглянув на себя, я обнаружил, что забыл завязать галстук и он болтается у меня на шее. И снова возникло странное ощущение беспокойства, словно потянулись полосы болотного тумана. По-видимому, усталость была сильнее, чем я думал. Я поспешно завязал галстук и прошел в гостиную. Там не было ни души, а мне совсем не хотелось оставаться одному. Я позвонил Хэмфри и попросил его подать мне большой бокал сухого мартини. Хэмфри взглянул на меня с тревогой.

— У вас был трудный день, сэр. И вы совсем не ложились в эту ночь. Вам сегодня надо бы лечь пораньше.

Я сказал ему, что именно это и намерен сделать, и вдруг неожиданно для себя снова пустился в разглагольствования по поводу событий последней недели. Хэмфри, вышколенный слуга, слушал меня внимательно, но наконец, потому ли, что я потерял нить рассказа, или оттого, что я говорил очень долго, он попросил извинения и ушел, оставив меня наедине с моим мартини. Я выпил большой бокал, мартини был крепкий, и я почувствовал,

как начинает оттаивать ледяной ком там, где полагалось быть сердцу. Это было странно — оказывается, человек может долго прожить без сердца! Русским удалось заставить собаку жить с механическим сердцем. Или это была механическая собака с человеческим сердцем? Какая разница! Русские очень умные люди, потому что они могут убедить себя, что все, что бы они ни делали — правильно. А это очень трудно. Мне это не удалось, сколько я ни пытался, а я, если верить моей репутации, а также Раулю Фестхаммеру и генералу Толливеру,— очень умный посол, право же...

...Но недостаточно умный все же, чтобы сохранить жизнь Джорджу Гротону. Нет, куда там, на это у меня не хватило ума! Мне очень жаль Джорджа, искренне жаль. Но мне бы хотелось, чтобы ты смог понять меня! Доживи ты до моих лет, та же проблема могла бы встать и перед тобой. Дело-то вот как обстоит, Джордж... Я — это не я. Я лишь символ нашей страны, а символ не несет ответственности. Символом пользуются как угодно и для самых разнообразных целей: его вычеканивают на монетах, которыми платят шлюхам, им украшают генеральские фуражки, и портик суда, и печать, которую ставят на смертном приговоре. Символ просто присутствует при этом. Он не действует. Его нельзя хвалить или порицать. Но уважать его вы обязаны. И я хочу, чтобы ты уважал меня, Джордж. Я нуждаюсь в уважении, потому что мне трудно уважать себя. Тебе это понятно, не правда ли?

Я ждал ответа, но Джорджа уже не было возле меня, да, быть может, я ничего и не говорил. Нервы, знаете ли! Был трудный рабочий день. Выпить после трудного рабочего дня — большое удовольствие для супружеской пары. У супругов общие интересы, они находят утешение друг в друге. А потом они ложатся в постель и делают красивых детей, а с неба к ним спускаются духи, роняют на них красивые бомбы и поджаривают их напалмом. Твое здоровье, Джордж! И твое здоровье, Габриэлла, любовь моя! Ты вечно запаздывала, переодеваясь к обеду.

Обед! Теперь это — трапеза дипломатов. Вы это знаете, не правда ли, Хэмфри? Разнообразные блюда — разнообразие чрезвычайно существенная вещь; разнородное общество, разнородные взгляды, у каждого свои пристрастия. Обед все это улаживает. И все должно протекать не спеша — это тоже очень важно. Невозможно второпях проглатывать тонкую пищу, немыслимо пить залпом доброе вино. И вот мы отдаемся бездумному времяпрепровождению. Это крайне необходимо, Хэмфри! Хороший дипломат никогда не должен смотреть на часы. Люди любят откладывать свои новые идеи до утра. Они любят опробовать их на жене или любовнице; они хотят походить в них, как в новых ботинках — попробовать, будет ли удобно. Вот в чем смысл дипломатического обеда, Хэмфри. Это то, что греки называли пир любви. Вам довелось видеть немало таких пиров в свое время, не правда ли, Хэмфри? Десятки блуждающих под столом рук и красноречивые прикосновения ног! Интересно, будут ли обеды генерала Киета лучше обедов президента Кунга? Последний обед был невероятно скучен. Кунг сделал из него нечто вроде Тайной Вечери... а мне отвел роль Иуды. Прислал мне подарок на память о том, как начался этот спектакль. Но наш спектакль был куда лучше, верно, Хэмфри? Настоящая елизаветинская драма!.. И затем триумфальный въезд в Персеполис!.. Персеполис... Персеполис! Наконец-то я нашел это слово. Я устал, ох, как я устал! Возможно, я немного пьян, но я еще могу с триумфом проехать через Персеполис. И я проехал, да... И были толпы народу... Осанна и все прочее... Этот переворот был популярен в народе, но Кунг не мог этого понять, а я понимал. Поэтому он мертв, а я сижу здесь, один как перст, но живой. Нет, благодарю вас, Хэмфри. Только кофе и коньяк. Не приставайте ко мне, слышите! Я лягу спать, когда захочу.

Я знал, что я трезв, потому что мысль моя работала с поразительной ясностью. Возможно, я слишком много говорил, но у греков и для этого имеется свое определение: катарсис. Хороший слуга должен быть прежде всего терпелив. Кофе, который он подал мне, горчил, и, отхлебнув немного, я отодвинул чашку и выпил вместо этого еще рюмку коньяку. И снова мне показалось, что знакомая обстановка стала странно чужой и затаила в себе какую-то опасность. На этот раз такое ощущение длилось дольше. Я подошел к окну и поглядел в сад. Охрана была на месте, но сад изменился. Он как будто стал пышнее и ближе придвинулся к дому, словно — как это говорил тот француз? — словно те деревья, что съели город. От внезапного страха меня бросило в дрожь. Я быстро задернул шторы и снова уселся под успокаивающим светом лампы. Но руки мои так дрожали, что я не мог удержать рюмки с коньяком. Я хотел поставить ее, но она соскользнула с края стола и разлетелась вдребезги на паркетном полу. Неизвестно почему я заплакал без слез, безмолвно скорбя над пролитым коньяком, над пролитой кровью, над разбитой рюмкой и мертвым телом, и над всеми бедными ду-

шами, привязанными к колесу жизни, которое стало теперь колесом Джагернаута, стирающим все в порошок...

Где вы, Энн? Сегодня ночью вы должны быть со мной. Не работать — не такой уж я безжалостный начальник,— просто посидеть со мной и поговорить. Разве это так много? Со мной происходит что-то такое, чего я сам не понимаю. Стены надвигаются на меня, деревья хотят меня сожрать, а в моем платяном шкафу — удавленник Иуда со сребреником во рту... Энн... прошу вас, придите!

Она не пришла, и я взял себя в руки, потому что посол — важная персона и никогда не должен показывать, что ему страшно. Я взял бутылку коньяку, рюмку и направился в спальню. Поднимаясь по лестнице, я вспомнил сказку о человеке, у которого пропала тень. И тут я понял, что меня тревожило. Я тоже потерял свою тень; но я не смел оглянуться, боясь, что увижу, как она кривляется в изломанном танце на ступеньках лестницы.

Добравшись до спальни, я почувствовал, что спасен. Я поставил бутылку и рюмку на туалетный стол, разделся и надел пижаму. Потом взял склянку с красными капсулками и вытряхнул две капсулы себе на ладонь. Мне хотелось принять больше, просто чтобы было уж наверняка, но я знал, что тогда моя тень покинет меня навсегда, а думать об этом непереносимо... Я торопливо положил капсулы в рот, налил полрюмки коньяку и, обернувшись к зеркалу, приветственным жестом поднял рюмку.

Это было мгновение леденящего ужаса. Из зеркала на меня глянуло самое омерзительное лицо, какое я когда-либо видел: взлохмаченные черные с проседью волосы, землисто-серые щеки, красные выпученные глаза, раздутые ноздри и отвратительный оскал безобразного рта... Я всматривался; прошло ужасное, бесконечно долгое время. Я схватил рюмку и выплеснул коньяк в это лицо. Коньяк растекся по зеркалу, искажая мое отражение, отчего оно стало еще омерзительнее. Больше я вынести не мог. Я схватил бутылку и принялся холодно и неистово избивать его насмерть.

●

Я проснулся на рассвете весь в поту, с пересохшим горлом и робко поглядел по сторонам. Энн Белдон в халате и ночных туфлях сидела в пятне света от настольной лампы, затененной с моей стороны, и не сводила с меня глаз. Должно быть, я закричал, потому что она сразу подошла ко мне и поднесла стакан с водой к моим губам, а затем утерла мне лицо влажным полотенцем. Я заметил, что правая рука у меня забинтована. Я спросил Энн, что произошло, и она ответила просто:

— Вы очень переутомились, господин посол. И выпили чуточку больше, чем следовало, вот и все.

Но я знал, что это не все, потому что комната была по-прежнему насыщена страхом, а от снотворного в голове все еще был туман, и я не мог припомнить — откуда этот страх. Энн хотела отойти, но я схватил ее за руку и удержал, ей пришлось присесть на край кровати лицом ко мне. Я попросил ее сказать мне всю правду.

— Я знаю, Энн, произошло что-то ужасное! Я что-то сделал, сказал что-то, но я не знаю — что. И мне очень страшно, а я не знаю почему.

— Нет никаких оснований для страха. Вы разбили зеркало и бутылку с коньяком. И порезали себе руку. Больше ничего.

— Вы уверены?

— Уверена.

— А что я говорил, Энн?

— Что-то довольно бессмысленное. Я услышала шум, побежала сюда. Вы стояли перед разбитым зеркалом и кричали: «Да кукуй же, будь ты проклята, кукуй! Кукуй!..». Когда я вошла, вы перестали кричать и так посмотрели на меня, словно видели впервые в жизни. Я повела вас к постели, а вы сказали: «Плакать она тоже не хочет, нет! Даже когда я убивал ее, она не заплакала. Если уж ты не можешь куковать, так должна хотя бы уметь плакать»... Некоторое время вы еще бормотали что-то, а потом уснули. Так что, видите, никакой беды не случилось.

— Никакой беды! О господи, Энн, если бы только вы знали!

Слова хлынули внезапно — сумбурные, дикие, словно поток прорвал плотину. Я цеплялся за Энн и молил ее понять меня, иначе я погибну, сойду с ума. А когда слова иссякли и больше не оставалось тайн, она тихонько заплакала, прижав мою голову к своей груди.

— Несчастный человек! Несчастный, заблудший, упрямый человек!

Она легла рядом со мной, положила мою голову к себе на плечо и убаюкала меня, как ребенка. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Безумие рассеялось, Энн Белдон исчезла. От разбитого зеркала не осталось

никаких следов. Мне был приготовлен свежий костюм и белье. Возле кровати стоял поднос с кофе и гренками.

А через час Билл Славич вез меня на машине в министерство иностранных дел на встречу с победителями генералами.

Глава 12

Мне почти нечего рассказать о последних месяцах моей службы в Сайгоне, потому что после той страшной ночи я понял, что единственный выход для меня — это компромисс. Что сделано, то сделано; теперь я должен извлечь из последствий наибольшую политическую выгоду. Мой поспешный отъезд из страны означал бы, что я осуждаю нашу политику и свою роль в ее осуществлении. С другой стороны, я тем самым рисковал выставить себя человеком, чья внутренняя сущность заслуживает оскорбительного презрения. Поэтому, отказавшись от роскоши отстаивать свои моральные убеждения, я принялся за дела. Я беспощадно торговался относительно возобновления денежной помощи. Я упорно избегал личного общения с членами хунты. Я не мог заставить себя уважать их так, как уважал Кунга,— я презирал их так, как презирал себя. Когда генерал Тхиен, уже обросший бородой и жаждущий мести, вышел из тени, чтобы прибрать к рукам правительство, я остался в офсайде и даже не пытался вмешаться.

Близко наблюдая затянувшуюся, неослабевающую борьбу страны со смертью, я сохранял почти патологическое безразличие. В политическом смысле мы провалились, но война без нас давно бы уже кончилась поражением. Воюющий солдат был самой достойной фигурой в этой недостойной игре. Когда случались кровавые схватки между католиками и буддистами, я грозил генералам новыми санкциями и выводом наших войск, но не давал прессе втянуть себя в публичное обсуждение религиозных вопросов. Вытравив в себе всякую веру, я с презрением относился к чрезмерной активности тех, кто называл себя верующими. Когда все во мне возмущалось при виде юношей, зарубленных топором, я вспоминал Джорджа Гротона, и сердце мое снова каменело. Эти люди требовали права самостоятельно решать свою судьбу. Что ж, пусть решают, а мы потом будем вытирать их кровь. Мэл Адамс уехал, и мне, слава богу, не приходилось слушать обидные сравнения репрессий Кунга с кровавой политикой невмешательства военной хунты.

В какой-то мере эта строгая отрешенность была мне необходима. Без нее у меня, наверно, началось бы психическое расстройство. Но в смысле политическом она убийственно подорвала престиж и мой, и моего правительства. Мы потворствовали убийству, чтобы предотвратить общественную смуту. Затем, когда при новом режиме начались смуты еще похуже, мы сделали вид, что бессильны справиться с ними. Себя-то я уже проклял и осудил, хотя мне удавалось оттягивать исполнение приговора, пока я не восстановлю душевные и физические силы настолько, что смогу вынести кару. Но, отказавшись от всяких моральных принципов, я, очевидно по слабости душевной, не смог достичь абсолютной и явно удобной аморальности Гарри Яффы. Я сознавал это и понимал теперь, как верно определил мой характер Фунг Ван Кунг. Я знал также, что в конце концов пойду по стопам Мэла Адамса и брошу дипломатическую службу. Но уход не принесет мне ни чести, ни удовлетворения, ибо я уйду не по принципиальным соображениям, а из-за своей непригодности — хотя об этом никто, кроме меня, не знал.

На дипломатической службе я все еще считался хорошим, надежным работягой. «Предоставьте это Максу! Его не околпачишь! Он — не шляпа!» — такие метафоры произносились в качестве комплиментов на совещаниях в Вашингтоне. Но Макс нашел для себя другую метафору, гораздо ближе к истине. Макс — скаковая лошадь, он чисто брал все барьеры, но теперь у него запал, и ему уже не выиграть ни одного заезда.

Горько было сознавать, что в расцвете своей карьеры я оказался лишенным цели, честности, самоуважения. Я не только несмелый человек. Я — человек с опустошенной, бесплодной душой; я не верю в дело, которое обязан делать, и не убежден в том, каким я должен стать. Я не видел никакого способа вернуть свой утраченный капитал. Я прекратил всякие частные беседы со своими коллегами, боясь, что под внешней видимостью они разглядят пустотелый манекен. Энн Белдон взяла отпуск, уехала к больной матери в Вашингтон и оттуда обратилась с просьбой перевести ее в Рим.

И вот, оставшись без друзей, я начал переписываться с Мусо Сосеки и постепенно стал поверять ему свои проблемы. А когда мне удалось, в конце концов, организовать свой уход, я попросил у него разрешения снова быть его гостем в Тенрю-джи. Ответ, написанный изысканно каллиграфиче-

ским почерком, был краток и прост: «Приезжайте, как только почувствуете в этом необходимость! Я знаю, в чем Вы нуждаетесь...» И он нарисовал красивую идеограмму «человек под деревом», обозначающую «покой».

Наконец мы встретились в его доме; во время первой нашей беседы он сосредоточенно изучал мое лицо и начертил затем другой знак, определявший мое состояние. Это была идеограмма «сердце в окне», которая означала «беспокойство». Потом он начертил знак «женщина под крышей», как бы указывая, к чему я должен стремиться: к душевному миру и успокоению.

После резких, беспощадных словопрений, которые мне пришлось вести так долго, было необычайно трудно снова приспособиться к созерцательному покою наших бесед. Унылый и недовольный, я несколько дней не находил себе места, иногда даже раздражался, потому что Мусо Сосеки не желал обсуждать мучившие меня проблемы. Когда я однажды очень уж настойчиво к нему пристал, он улыбнулся и начертил идеограмму «смятение», состоящую из знаков «работа» и «разговор», а потом — иероглиф «вода в лесу», служивший символом одиночества и созерцания. Я долго не мог примириться с этим мягким выговором, но постепенно мною овладевал покой, и в изысканном саду, где в то время пламенели каштаны, я начал испытывать чувство раскрепощения и свободы. Я стал лучше спать; просыпаясь по утрам, я, словно чуду, дивился прекрасной простоте скалы, заросшего лилиями пруда и опавших листьев.

Однажды Мусо Сосеки, будто угадав мои мысли, нагнулся и поднял с дорожки маленький камешек, круглый, отшлифованный, с зелеными прожилками. Он положил его на ладонь и протянул мне.

— Разве не прекрасен этот камешек, друг мой?

— Да, он прекрасен.

Мусо бросил камешек в пруд и молча стоял, пока расходящиеся по воде круги не добежали до травянистого берега. Тогда, повернувшись ко мне, он медленно и серьезно сказал:

— И он все так же прекрасен, хоть вы его и не видите. Он будет прекрасен, когда о нем забудут рыбы, когда его покроют водоросли и никто, кроме вас и меня, не будет знать, что он когда-то существовал.

— Но разве красота может побороть все уродство?

— Нет. Но если кто-то способен радоваться красоте, это уже много.

— Но еще недостаточно.

— Еще недостаточно, но если мы знаем, что кто-то однажды заметил красоту и порадовался ей, то мы знаем, что это может повториться не раз.

— Даже если губишь красоту и создаешь уродство?

— Иногда — именно поэтому... Вы никогда не спрашивали меня, друг мой, какие пути привели меня в это место.

Это правда. С первой же нашей встречи я воспринимал его как нечто постоянное и неотъемлемое от храма и сада, вроде этих скал, этих сосен и узоров из мха и песка. Он был так органично слит со всем этим, что было бы дерзостью спрашивать, откуда он сюда явился. Я сказал ему об этом; он отнесся к комплименту со спокойным юмором.

— Мне семьдесят пять лет,— сказал он немного погодя.— Здесь я живу тридцать лет с лишним. В тысяча девятьсот тридцать первом году я участвовал в оккупации Маньчжурии. Я был тогда офицером и гордился своей принадлежностью к древнему роду самураев. Я убил множество людей и был награжден императором за военную доблесть. Потом я тяжело заболел и долго находился на грани смерти. И я впервые понял, что значит смерть, которую приняло от моей руки такое множество людей; сколько надежд не сбылось и сколько человеческого достоинства погибло... И я тоже нуждался в прощении, а вместо этого меня восхваляли. Я готов был заплатить за все, но зачем мертвым монеты? Как и вы, я упал в темную бездну и долго блуждал во мраке. Потом, в поисках света, я пришел сюда...

— И вы нашли его?

— Я научился не требовать его.

— В вас что-то изменилось?

— Я все тот же. И в то же время изменился, ибо понял, что не в силах изменить ни прежнего себя, ни того, что мною сделано.

— А свет?

— Вот это и есть свет.

— Но вы не расплатились ни за что.

— Я расплатился за все, поняв, что ничего не могу оплатить.

Солнце уже зашло. Сад окутали сумеречные тени. Каштаны уже не пылали огнем, а темнели на фоне вечернего неба. Жирный карп неподвижно застыл в черной воде, засыпающие лилии закрыли свои лепестки. Мусо Сосеки положил мне на плечо сморщенную руку и повел в дом.

САЙГОН — ОКТЯБРЬ 1963

СИДНЕЙ — ОКТЯБРЬ 1964

МОРИС УЭСТ И ЕГО РОМАН ОБ АМЕРИКАНСКОМ ПОСЛЕ

Если бы не имя человека, вряд ли это событие могло привлечь внимание большого города. На далекой дорожке Гайд-парка, пустынной в послеобеденный час, упал человек, сраженный сердечным ударом. Умер Эдлай Стивенсон, государственный деятель и дипломат, представитель США в Организации Объединенных Наций.

Я был в эти дни в Лондоне и ночью пошел на знаменитый Спикинг-корнер в том же Гайд-парке, где большой город, не очень оглядываясь на прессу, толковал события дня. Здесь все было по-английски: стоял полицейский, чуть опершись о железный столб, такой же, как этот столб, неколебимо высокий и молчаливый. Было много господ с зонтиками — весь день собирался дождь. Были женщины с корзинами, очевидно, матери семейства, зашедшие сюда по дороге из магазина. Было много парней в куртках и свитерах — по виду студентов или рабочих,— надо отдать им должное, они вели себя наиболее безбоязненно. Но, пожалуй, большую часть этой разноликой толпы составляли те, кого и по сей день здесь зовут цветными,— никогда население великого города не было так интернационально, как сегодня. В то время как белые говорили, взобравшись на ящик или обхватив телеграфный столб, цветные молчали.

На металлической корзине, поставленной вверх дном, поместился юноша. Видно, парень говорил давно — он охрип и взмок. Его свитер был снят и закинут за спину — рукава, завязанные накрест, свешивались на грудь. Толпа, окружившая юного оратора, кипела. Возгласы одобрения сменялись бранью. «Нет, ты скажи, кто твой отец?» — кричал ему господин с зонтиком, которому юный оратор, пожалуй, годился во внуки. Парень говорил о Стивенсоне, говорил о том, в сколь ложное положение тот себя поставил, став представителем США в ООН, и как нелегко было ему оправдать американскую позицию, когда речь шла о Конго, Кубе и Вьетнаме.

— Как ни хитер человек, ему не под силу защитить неправое дело — оно несет гибель этому человеку! — выкрикнул парень и указал в дальний угол парка, который надежно потопила полуночная тьма. Мне показалось, рука юноши была устремлена в ту сторону парка, где упал, сраженный сердечным недугом, американец.

Я вспоминал этот эпизод и слова юноши, когда прочел роман Мориса Уэста «Посол».

Уэст — буржуазный писатель отнюдь не левого толка. Роман — результат поездки в Южный Вьетнам. Поездка Уэста был предпринята если не по почину американцев, то ими одобрена. Судя по тому, как близко Уэст прикоснулся к тайная тайных американской дипломатии во Вьетнаме, писатель пользовался доверием американцев. Те несколько месяцев, которые он пробыл в Сайгоне, он и жил в американском посольстве, как гость посла. Следовательно, с точки зрения американцев, Уэст был фигурой лояльной. Тем больший интерес представляет его роман, тем важнее выводы, которые писатель сделал.

На наш взгляд, Морис Уэст написал книгу, в которой, по существу, глазами очевидца американская агрессия во Вьетнаме со многими ее коллизиями и взрывами показана изнутри. Больше того, книгу, в которой писатель пытался проникнуть в преисподнюю этой агрессии, показав силы, эту агрессию движущие и определяющие. Но не будем голословны, тем более что роман лежит перед нами. Однако прежде чем говорить о существе самой книги, разрешим себе коснуться столь специфической области, как международное право,— книга Уэста имеет к этому самое непосредственное отношение.

Принцип идеального дипломата, как этот принцип понимали на протяжении веков,— невмешательство. Формула невмешательства гласит, что оно (невмешательство) означает недопустимость навязывания в какой бы то ни было форме одним государством или группой государств своей воли другому государству в сфере его внутренней политики. Невмешательство одного государства в дела другого государства, как далее гласит эта формула, вытекает из принципов суверенитета и равноправия государств.

Знаменитая доктрина президента Монро или, точнее, тогдашнего государственного секретаря США Адамса (читатель, запомните это имя — мы к нему еще вернемся), как бы эта доктрина ни была противоречива, декларировала невмешательство. Однако, по иронии судьбы, государство, провозгласившее этот принцип, стало носителем позиции активного вмешательства. Система мирового диктата, которую последовательно осуществляет американская дипломатия, опирается на принцип вмешательства. Этот принцип в такой мере стал для американской политики явным, что он присутствует даже в текстах договоров, за-

ключенных США с другими странами, разумеется, под анонимным предлогом борьбы с «подрывной деятельностью».

Создан аппарат вмешательства, какого история не знала. Этот могущественный аппарат, который очень условно может быть назван дипломатическим, обладает возможностью снарядить в любую часть света экспедицию, все еще носящую устаревшее и неточное название посольства. Древняя легенда о троянском коне обрела смысл, какого она никогда прежде не имела. Дипломат из лица, ведущего переговоры, благополучно превращается в этом мире в специалиста по переворотам. Посол перестал быть только дипломатическим генералом, он еще генерал от разведки, генерал от генерального штаба. Старопрусская доктрина о дипломате-солдате своеобразно воссоздана сегодня практикой дипломатии США.

Предполагается, что молодой человек, мечтающий о дипломатической карьере, должен не только получить образование и познать языки, он должен пойти на войну, показать себя там, а придя в дипломатию — как бы начать все снова, став рядовым. Впрочем, представление об идеальном после также изменилось, и немало. Посол обрел качества, которые ему не были свойственны отродясь,— посол, планирующий танковое сражение, посол, инспектирующий войска, посол, размышляющий над созданием завода боеприпасов и организующий тыл. Такой посол — солдат вмешательства, солдат агрессивный, воинственно исповедующий свою веру и бдительно охраняющий тайну своей цитадели, которой, как ни парадоксально, стал посольский особняк. Непросто проникнуть за крепостной вал этой цитадели. Морис Уэст проник. Проник и явился свидетелем конфликта, о котором мы можем только догадываться.

Послушаем писателя. То, что он увидел,— значительно.

Роман начинается с назначения американского дипломата Максуэлла Гордона Эмберли послом в Южный Вьетнам. Эмберли — кадровый дипломат. Он отдал внешнеполитической деятельности тридцать пять лет, при этом десять в качестве посла. По признанию самого Эмберли, его карьера не была феерической — на его счету, как признавали даже его недруги, было один-два успеха, и его промахи не были слишком вопиющими. Согласие на пост Эмберли дал не без раздумий: незадолго до этого умерла жена посла, и Эмберли находился в весьма смятенном состоянии духа. Верховный жрец в токийском дипломатическом действе, то бишь чрезвычайный и полномочный посол США в Японии, Эмберли ищет помощи и ее находит у монаха Мусо Сосеки. Не будучи человеком религиозным и не ища опоры в пламенной вере, Эмберли отдает себя во власть религиозной дисциплины монаха.

Признаюсь, я не большой знаток буддийской философии, в частности философской школы, которая фигурирует в романе под именем культа дзен. Но так, как толкует учение этой школы Уэст в своем романе, эта философия доступна каждому. Смысл диалога о кукушке между Мусо Сосеки и Эмберли, к которому не однажды Уэст возвращается в романе, сводится к более чем гуманной истине: «Надо считаться с тем, что кукушка кукует летом и не кукует зимой, и нельзя по этой причине убивать ее». Нехитрую эту истину монах и пытается внушить Эмберли, отправляющемуся во Вьетнам.

Сообщение о назначении во Вьетнам послу вручил Фестхаммер, видный деятель госдепартамента, прилетевший из Вашингтона. Человек обстоятельный и точный, Эмберли соотносит в своем сознании сам факт назначения с обликом Фестхаммера. «Он — типичный прагматик,— замечает Эмберли.— В его руках каждый факт грозен, как рапира. Некоторые называют его типичным оппортунистом, но я слишком уважаю его, чтобы осуждать так, походя. Он — человек хладнокровный, умеющий спокойно взвесить все «за» и «против»... Он ненадежный друг и опасный враг, но в работе точен, как банкир...»

В этой характеристике для нас важен не столько эмиссар госдепартамента, сколько отношение к нему посла. Характеристика заканчивается фразой, в которой позиции сторон, как говорят в дипломатии, установлены достаточно определенно: «Нет на свете человека, менее похожего на последователя учения дзен, чем Рауль Фестхаммер». Ядро главного конфликта в романе прощупывается здесь.

Воспользуемся первой в романе встречей Эмберли и Фестхаммера и обратим внимание на высказывание высокого клерка госдепартамента — оно программно и поможет нам продолжить исследование того, что мы назвали главным конфликтом. Отметив, что США (Фестхаммер говорит — «мы») впутались в заваруху, паршивую и неблагодарную, назвав ее «подрывной войной» (речь идет о все том же термине борьбы против «подрывной деятельности»), высокий эмиссар признается: «Мы влезли в это потому, что хотим удержать плацдарм в Юго-Восточной Азии...»

В прямой связи со сказанным Фестхаммер признает, что США поддерживали «президента» Кунга потому, что тот и его родственники все-таки были «самыми лучшими и сильными правителями из всех возможных».

Раз уж мы заговорили о Кунге, нам хотелось бы сделать отступление, которое, на наш взгляд, важно. Очевидно, поводом к написанию Кунга явилась печальной памяти история жизни и гибели южновьетнамского «президента» Дьема. Подобно Дьему, Кунг пришел к власти и укрепился на штыках интервентов, и все, что происходит в романе, как бы является вторым актом драмы. Подобно Дьему, он пытается создать из своих сподвижников по католической вере своеобразное железное братство, охраняя свою власть над страной и свою деспотию. Подобно Дьему, Кунг понимает, что поставил себя в безвыходное положение, оказавшись между народом и интервентами,— и с одинаковым страхом смотрит и на одних, и на других. Подобно Дьему, Кунг осознает, что возмездие неотвратимо, и использует каждую возможность, чтобы показать, что он в своих действиях независим от американцев и подчас ведет себя им вопреки. Уэст толкует этот поворот в поведении Кунга (прежде Кунг был с американцами не столь строптив) как проявление верности суверенным правам страны. Мы не разделяем этой точки зрения. Даже у Мориса Уэста линия поведения Кунга точно соотносится с силой напора партизан: чем крепче их удары, тем заметнее мечется президент, тем явнее он демонстрирует суверенные права своей особы. Явление это не новое и отнюдь не специфически восточное — во время недавней войны с фашизмом мы имели возможность наблюдать это же в поведении европейских квислингов, которым по существу и является Кунг, если освободить его характер от наслоений, не обязательных и не главных. «Кунг и сейчас лучший друг наш, только отбился от рук»,— говорит Фестхаммер. Что можно прибавить к этому?

Итак, Фестхаммер привез Эмберли просьбу государственного секретаря, сопровожденную личной запиской президента, занять пост посла в Южном Вьетнаме. Непросто Эмберли ответить утвердительно на предложение Фестхаммера, даже если ему известно об его будущей миссии столько, сколько сообщил о ней Фестхаммер,— слишком очевидна перспектива катастрофы. Не без жестоких раздумий Эмберли соглашается. И вот едва ли не из сада Мусо Сосеки, где Эмберли познавал уклончивую утонченность японского мышления, посол попадает на землю, объятую огнем войны,— обращение Эмберли в танкового дипломата началось. С завидной точностью написано Уэстом прибытие посла во Вьетнам. А потом посольство, где новому послу, как «восточному сатрапу, надо было прятаться за штыками стражи». И подобно восточному сатрапу, которому в самых преданных своих рабах и слугах мерещится недостаток преданности, страх проникает в робкое сердце танкового дипломата.

Посол обходит непросторные свои владения за колючей проволокой. Поистине цитадель. Подозреваю, что Уэст писал эти картины с натуры: слишком тверды и ощутимо убедительны детали. «Мои служащие и их семьи жили в атмосфере риска и ежедневной опасности. На улицах завязывались бои. В барах, в кино и на рынках рвались бомбы... Детей возили в школу по заранее разработанному маршруту, под вооруженной охраной. Ворота запирались на ночь, и отец семейства спал с заряженным револьвером под подушкой. Воскресная прогулка на машине миль за пять от города могла окончиться встречей с сидящими в засаде вьетконговцами».

Кажется, подозрительность, с которой посол относится ко всему вьетнамскому, не покидает его и тогда, когда ему представляют его сподвижников по посольству. Кто они, в какой мере они способны помочь Эмберли осуществить нелегкую его миссию? Джордж Гротон, юный друг Эмберли, прибывший вместе с ним из Токио, сообщает ему: «Гарри Яффа, ЦРУ,— человек сильный. Трения между ним и Мэлом Адамсом, первым секретарем».

Итак, Яффа и Адамс.

«Давайте будем откровенны друг с другом, сэр,— говорит Яффа послу.— Давайте уясним себе наши функции. Вы — официальный представитель Соединенных Штатов. Мне приходится служить в другом качестве: я использую любую возможность для достижения своих целей. Я должен делать иногда такое, чего вы никогда не сможете одобрить, поэтому лучше, чтобы вы об этом не знали. Мне приходится убивать мужчин и подкупать женщин. Мне приходится затевать один заговор, чтобы обеспечить успех другого. Мне приходится принимать меры, которые обеспечили бы ваш успех и гарантировали бы вас от провала. Если для успокоения вашей совести нужно, чтобы я вам лгал,— я могу и это. Тут я большой мастак, хотя предпочитаю не лгать, если в этом нет необходимости».

Персонал посольства — в руках Яффы. Он точно характеризует каждого. Он представляет послу телохранителя, отличного стрелка и специалиста по дзю-до, и, разумеется, молодую женщину с хорошей внешностью в качестве секретаря. Он знакомит посла с расположением посольства и показывает сигнальные звонки, а заодно и окна, у которых может оказаться посол, сообщив, что соответствующее поле обстрела по окну извне проверено, хотя случайности возможны. Он дает послу пистолет, сопроводив это пояснением, которым пренебрегать опасно.

«Мысли мои обратным ходом вернулись к Гарри Яффе, профессиональному конспиратору, которого я сам назначил своим агентом и поверенным во всех переговорах с мятежными генералами,— замечает Эмберли.— Я читал его донесения, записывал наши разговоры и, перечитав все эти документы еще раз, нашел в них искусную недоговоренность... Военные заговорщики? Тут была биография каждого, перечислены даже суммы на их текущих счетах в банке и земельные владения. Агенты среди буддистов, реакционеры среди католического духовенства? У Яффы имелось досье на каждого из них и отчет об их деятельности вплоть до последних дней. Наши агенты во Вьентьяне и Пном-Пене, наши связные среди летчиков, которые возят опиум из Бирмы, и капитанов, снабжающих им торговцев на побережье от Бангкока и вдоль всего Тонкинского залива? Все они у нас на учете. Что же мне еще нужно?..»

Я прочел это и подумал, что история повторяется и вероломный Яффа — весьма известный персонаж из нашего совсем еще недавнего прошлого. Яффа — это Брюс Локкарт, да, Локкарт, скупающий души, отнюдь не мертвые, формирующий армии вторжения, организующий заговоры и субсидирующий убийц. Работа над книгой о первых советских дипломатах повлекла меня по сложным путям дипломатической Москвы, Питера, Вологды восемнадцатого года, по которым прошел в свое время Локкарт, привела в дом на Хлебном переулке, 19, в Москве, где была резиденция Локкарта и откуда он был взят чекистами. Книга Уэста заставила вспомнить наш восемнадцатый год, год жестокий и страдный, еще раз почувствовать, что у нас с братским Вьетнамом одни друзья и одни враги. Была бы революция, а Локкарт найдется, явись он хотя бы через пятьдесят лет в образе Яффы...

Адамс? То, что в романе утверждает Адамс, в сущности является точкой зрения трех лиц: Адамса, Гротона и, пожалуй, Энн Белдон. Если учесть, что, кроме этих троих, мы никого не знаем из персонала американского посольства, практически Адамс, Гротон и Белдон выражают мнение известной категории посольских работников — в отличие от начальства, они имеют возможность иногда говорить правду. Когда речь идет о дипломатах, категорических утверждений следует избегать, тем не менее Адамс (мы просили запомнить это имя) политике вмешательства противопоставил линию если не невмешательства, то уважительного отношения к суверенным правам страны, в которой он находится.

«Хорошо,— говорит он послу, обещая повременить с отставкой, когда вопрос о перевороте был поставлен в повестку дня.— Я останусь — при трех условиях. Первое: я занимаюсь только текущими делами и не участвую ни в каких обсуждениях и решениях относительно переворота. Второе: если переворот совершится, я получаю разрешение действовать самостоятельно и уговорить Кунга искать убежища у нас. Третье: когда все кончится — во что бы это ни вылилось,— вы подписываете мне визу на выезд...»

Молодой Гротон в главном согласен с Адамсом.

«У меня нет ни достаточного опыта, ни данных, чтобы обосновать свое суждение,— говорит Гротон,— но инстинктивно я разделяю точку зрения Адамса. Люди имеют право сами решать свою судьбу».

Мнение Энн Белдон еще определеннее:

«Просто мне стыдно — вот и все. Мне стыдно, что мы так жестоко и грубо распоряжаемся судьбой и даже жизнью людей — так, словно они... словно они не люди, а скот, который можно перегонять с одного пастбища на другое».

Эмберли понимает, что в этом единоборстве Яффа и Адамс представляют не только самих себя. За каждым из них стоят могущественные и грозные силы. Яффа — официальная Америка, развязавшая войну во Вьетнаме. Адамс вместе с Гротоном и Белдон если не народная Америка, гневная и протестующая, то Америка, глубоко стыдящаяся того, что происходит во Вьетнаме, и при всей своей половинчатой и недостаточной позиции старающаяся сохранить совесть.

Адамсу и его друзьям Вьетнам помог понять то, что вряд ли они понимали прежде. Но их прозрение не следует переоценивать. Суеверный страх перед коммунистами исказил их представление о сражающемся народе. Кстати, писатель не поднялся здесь над мироощущением своих героев. Казалось, и он очутился во власти искаженного представления о коммунистах как о стихийном начале, неуправляемом и безжалостном. Картина гибели Гротона, как ее написал Уэст,— пример тому.

Читатель не увидит в романе всенародной войны. Больше того, известное утверждение американской пропаганды о вторжении в Южный Вьетнам коммунистического Севера в романе не оспаривается, хотя несостоятельность этого утверждения очевидна. Не ясно ли, что мы имеем дело со всенародным подвигом Вьетнама, отстаивающего свою независимость? То, что мир сегодня зовет чудом джунглей, по сути своей революция народа, стремящегося претворить в жизнь вековую свою мечту. Боевые стяги революции зовут народ к борьбе за свободный и независимый Вьетнам, за объединение страны, за аграрную реформу, за решительное искоренение всех остатков колониального прошлого. Нет силы, которая могла бы остановить этот процесс. Впрочем, история амери-

канского вторжения во Вьетнам, как она обнаруживается и в романе, не отвергает, а подтверждает это. Как следует из романа, генерал Толливер в 1963—1964 гг. (действие происходит именно в эти годы) командовал войсками, очевидно, значительными, однако эти войска еще можно было камуфлировать под именем советников. Сегодня оккупанты не зовут себя советниками — общая численность американских войск приближается к четверти миллиона. Однако, как ни велики силы оккупантов, американцы сегодня так же далеки от цели, как были далеки и вчера. Это закономерно. То, что мир зовет чудом джунглей, есть всеобщее восстание народа, мы подчеркиваем — всеобщее. Нам представляется, что непреложную эту истину роман Уэста не учитывает, хотя герои романа достаточно осведомлены о том, что происходит во Вьетнаме, все герои и, может быть, больше, чем все, Адамс и Яффа. Посол ищет свою правду, сравнивая позиции одного и другого.

«...Мэл Адамс и Гарри Яффа... Образец контрастов,— рассуждает посол.— Но к кому же из них я чувствую большее уважение? К человеку, выполняющему самые грязные поручения правительства умело и даже с каким-то сладострастием, или к человеку, который сохранил за собой право сомневаться и отказываться? Поскольку здесь, сейчас, правительство — это я сам, я склоняюсь то к одному, то к другому. Без Яффы я не могу выполнять свои обязанности — и я поставил под угрозу жизнь многих людей. Без Адамса... впрочем, я уже остался без него».

Я не допускаю, чтобы американский дипломат, отдавший дипломатической службе тридцать пять лет, при этом в столь грозные и, на этот счет не может быть двух мнений, бесславные для американской дипломатии годы, какие были у нее уже после войны, впервые встал перед дилеммой вмешательства во Вьетнаме. Очевидно, путь американской дипломатии проходил не через райские кущи Мусо Сосеки. Дипломатия, создавшая целую науку о переворотах и являющая миру все новые и новые образцы своего умения в этой деликатной сфере, вряд ли сумела охранить непорочность столь многоопытного своего чада, каким выглядит Максуэлл Гордон Эмберли, и сберечь эту непорочность едва ли не до середины шестидесятых годов нашего века. Однако предположим, что это так и что Эмберли прибыл во Вьетнам прямо из садов токийского монаха. Допустим и то, что обращение Эмберли в танкового дипломата произошло во Вьетнаме, как и его в своем роде боевое крещение,— однако аналитический ум, который он обнаруживает в предчувствии надвигающихся событий, не очень соотносится с его неискушенностью.

«...Через три часа начнется стрельба и будут умирать люди. В хронике нашего времени это промелькнет, как небольшая схватка, и вскоре забудется. Но для некоторых бедняг смертных любая стычка — это Армагеддон... Все слова, мною сказанные и написанные, скоро превратятся в пули, штыки и артиллерийские снаряды. Дико, но правда. В конечном счете, убивают людей слова. Может быть, это и имел в виду тот писатель, сказав, что он знает значение слов, поэтому уважает их. Мы, затопленные извержением слов из газет, телевизоров и транзисторов, стали недооценивать и искажать их смысл. Но на самом деле слова — это зубы дракона... И мы, чеканщики слов, мы выпускаем фальшивые монеты и удивляемся, почему простые люди швыряют их обратно нам в лицо. ...А я, все так ясно понимающий,— почему я потворствую всему этому? Быть может, потому, что я говорю на двух языках: на одном — в тесном кругу высказываю правду, на другом — разговариваю с обществом, природу и сложности которого я не понимаю. А раз не понимаю, зачем же я взялся решать его судьбу?..»

И вот машина по осуществлению переворота начинает действовать, а посол, повинуясь заранее написанному сценарию, делает вид, что он пребывает в приятном неведении. «Если сможете,— советует ему Фестхаммер,— откройте больницу, учредите стипендию, раздавайте награды в актовых залах — словом, делайте, что можете, чтобы создать видимость...» И посол действует: он сделал доклад об американских методах торговли, посетил Пастеровский институт и преподнес сыворотку, осмотрел скотный двор. Он делает все это достаточно последовательно, лишь бы навести людей на ложный след. Поистине, иудино вероломство. И намертво прикован к каждому шагу посла взгляд Кунга. Посол получил от Кунга евангелие, соответствующая страница которого была переложена алой ленточкой: «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: «Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?» Как известно, Иуда был праотцем Никколо Макиавелли, чьей первой заповедью было вероломство: «...Государь должен быть всегда готов обернуться в любую сторону, смотря по тому, как велят ветры и колебания счастья, и... не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо».

И вновь мысль читателя (она бескомпромиссна) вступает в конфликт с предпосылкой писателя о недавнем прошлом Эмберли, столь идиллическом и цело-

мудренно-обнадеживающем. Конечно, доброй мысли писателя о своем герое читатель всегда рад, читатель склонен верить писателю и теперь, но разум, разум — он ничего не принимает на веру. В самом деле, такой ли уж безоблачно-прозрачной была для американского посла жизнь в Японии, чтобы отождествиться с райскими кущами Мусо Сосеки и его философией? Разумеется, нет. Если американский посол и устремился в седую древность, то только для того, чтобы бежать из сегодняшнего дня,— вулканическая японская земля таит в себе сюрпризы немалые. Правда, над Фудзиямой — пока облако, но японская народная мудрость гласит, что облако предвестник огня, огня всемогущего, способного бомбардировать землю камнями. Однако все это несколько отличается от невозмутимой и вечной тишины садов Мусо Сосеки...

Еще один экскурс в историю: посол США Лодж как-то заметил, что правовой аспект вьетнамской проблемы ничего не значит. Столь категорическое утверждение наводит нас на мысль, что Лодж заинтересован в том, чтобы правовой аспект вьетнамской проблемы ничего не значил. Пусть извинит нас американский посол, если мы все-таки пренебрежем его рекомендацией и рассмотрим именно правовую сторону дела. Произведение на дипломатическую тему дает нам эту возможность. Международное право определяет агрессию как нападение одного государства на другое. Оно характеризует агрессию как международное преступление и устанавливает принцип ответственности государства за агрессию. Государство, совершившее агрессию, согласно этой формуле, подвергается тем или иным ограничениям суверенитета, полной или частичной демилитаризации. Агрессор несет материальную ответственность за совершение агрессии, а лица, виновные в планировании, подготовке, развязывании или осуществлении агрессии (это положение прямо распространяется на посла и его сподвижников),— уголовную ответственность. Как гласит формула агрессии, уголовную ответственность несут также лица, совершившие в ходе агрессии преступления против законов и обычаев войны и преступления против человечности,— формула имеет в виду применение химического и бактериологического оружия, которое, как известно, имело место во Вьетнаме. Как догадывается читатель, последняя фраза относится не только к таким, как генерал Толливер и его сподвижники, которые эту операцию должны планировать и осуществлять, но и к послу, который является соучастником преступления и несет полную меру ответственности. Столь явное желание господина Лоджа игнорировать правовой аспект вьетнамской проблемы может вызвать у читателя подозрение: не себя ли пытается охранить от ответственности господин посол, не за благополучие ли своей особы он опасается?

Все то, что творят интервенты во Вьетнаме, делается не без участия соответствующих дипломатов — свидетельство Уэста, к сожалению, не является единственным. Считать себя представителем одной из самых благородных и древних профессий на земле и благословлять черные дела американской военщины — не предел ли это лицемерия?

«Хороший дипломат никогда не добьется в переговорах успеха, основанного на лживых обещаниях или обмане,— гласит знаменитый трактат мосье де Кальера, помеченный началом XVIII века.— Коварство свидетельствует лишь о том, сколь незначителен ум того, кто к коварству прибегает, и показывает, что это лицо недостаточно вооружено, чтобы добиться успеха честными и разумными методами».

Мне трудно сказать, какие прописи украшают американское посольство в Сайгоне, но вряд ли автор «Посла» видел среди них ту, которую я привел выше. Она чуть-чуть возвышенна, как и надлежит быть прописи XVIII века, но в ней неумирающее искусство дипломата, как искусство, в котором ум и опыт применены к человеколюбию, обозначено точно.

Признаюсь, после всего сказанного не просто нам вернуться к нашему герою, которого мы покинули едва ли не на произвол судьбы в ответственную минуту: посол был занят подготовкой ...переворота.

Итак, Эмберли вступил в заговор с военной оппозицией, вместе с советниками от разведки и генштабом разработал план переворота, апробировал этот план в письме, адресованном едва ли не президенту, и благословил заговорщиков. В долгожданный день переворота послу осталось подняться на крышу и наблюдать дело рук своих.

«Нам открылось жуткое, зловещее зрелище,— констатирует посол.— Весь город был ярко освещен. Люди стояли на крышах, на балконах, у распахнутых окон, словно зрители на футбольном матче. Дворец президента, окутанный густыми клубами дыма, был в кольце артиллерийского огня...»

Дипломатия, как однажды меланхолически замечает посол, больше всего другого на земле похожа на перпетуум-мобиле. Несмотря на смерть, бедствия, подкупы и предательства хлопотливо вертятся ее колеса. Когда снаряды, предназначенные для удара по дворцу Кунга, еще лежали в снарядных ящиках, Эмберли заметил: «Для Кунга, быть может, это часы страдания в его дворцовом

саду. Для его Иуды — если я действительно Иуда — долгое страдание еще впереди. Сколько времени шутник Пилат правил Иерусалимом после распятия?»

Переворот совершился — Кунг устранен, но посол все еще во власти страха. «Генералы пришли к власти,— замечает Эмберли.— Но по-прежнему все неустойчиво, все неверно. Будущий узурпатор уже строит козни, притаившись где-то в темном углу, и когда-нибудь, рано или поздно, скачки с препятствиями начнутся снова. И я — опытный, азартный игрок! — снова включусь в ту же самую, жалкую, постылую игру: буду открыто ставить на одну лошадь и тайком на другую... А затем уничтожу проигравшего...»

Роман заканчивается моральным поражением посла и возвращением его к Мусо Сосеки. Мы люди суровые, знающие войну и вдоволь хлебнувшие горя, и о людях судим по их поступкам. Нас интересует финал того, что произошло с Эмберли,— именно во Вьетнаме он понял, в какой мере дело, которому он служил и служит, противно человеческой совести. В высшей степени знаменательно, что душевный кризис Эмберли и Кунга — двух главных героев романа Уэста — отражает поражение американской политики во Вьетнаме. Во многом **антиамериканский** характер романа Уэста определяется именно этим.

У нас могут быть с Уэстом разные взгляды относительно тех или иных аспектов вьетнамской проблемы, но мы должны признать мужество писателя, для которого совесть оказалась превыше мнения среды и класса. Книга Уэста написана с тем воодушевлением и страстью, которые никогда не обретает произведение, если писатель не уверовал в его идею, если эта идея не стала убеждением писателя. От первой до последней страницы этой книги вас не покидает ощущение спора, спора неуступчивого, который писатель ведет со своими явными и скрытыми оппонентами. Может, поэтому произведение Уэста, при всех своих зримых чертах романа, напоминает полемический трактат, первосутью которого является мысль писателя, нередко публицистически обнаженная и жесткая, но всегда действенная. Как ни интересна пластика романа, его композиция, пропорции, линия развития сюжета и характеров, хочется говорить именно о воинственной мысли Уэста, мысли, которой писатель, как нам кажется, обязан тем, что его произведение, оставаясь явлением литературы, стало событием жизни и времени.

И вот вопрос, отнюдь не праздный:

— А что, если бы история, рассказанная Морисом Уэстом, история, исполненная и гнева, и непримиримости, обратилась в документ и стала предметом обсуждения в ООН, что смог бы сказать американский делегат и набрался бы он мужества сказать что-либо?

Пожалуй, сказал бы! И я увидел американского делегата, усталой и нетвердой походкой поднимающегося на трибуну. Я увидел его лицо, обращенное в зал, его глаза, устремленные на делегатов. Да, вот он стоит перед залом и пытается говорить — да, он пытается говорить, защищая узкими плечами и больным сердцем воинствующую ложь Яффы, его право вторгаться в жизнь чужого народа, навязывать ему свою волю, а если тот ее не приемлет — сеять смерть... Нельзя же допустить, чтобы человек, говорящий с трибуны, не знал о существовании Яффы!

И я вспомнил влажную лондонскую ночь в Гайд-парке, толпу горожан на Спикинг-корнер и слова юного лондонца, обращенные к разноплеменной толпе, в которых для меня раскрылся смысл истории, рассказанной Морисом Уэстом:

— Как ни хитер человек, ему не под силу защитить неправое дело — оно несет гибель этому человеку...

САВВА ДАНГУЛОВ

СРЕДИ КНИГ

ГЕРОИЧЕСКИЙ НАРОД НЕПОБЕДИМ

Глубокое сочувствие всех подлинно демократических сил к страданиям вьетнамского народа неотделимо от искреннего восхищения его мужественным и успешным отпором разбойничьему нападению, его несгибаемой волей к воссоединению в демократическом независимом государстве.

Именно поэтому в нашей стране с таким вниманием читаются скупые сводки боев и достижений вьетнамских патриотов, сообщения о славных рейдах партизан против, казалось бы, неприступных баз США, о сбитых бойцами и народными снайперами сотнях американских самолетов. Именно поэтому наши советские люди хотят лучше и больше знать вьетнамских братьев, их подвиги в отечественной войне, их успехи в мирном труде, который продолжается и сейчас, когда рядом с рабочим и крестьянином часто наготове винтовка.

На эти запросы отвечают исследования и популярные брошюры наших ученых—специалистов по Вьетнаму, очерки и книги советских писателей, журналистов, поэтов.

Можно сказать, советское вьетнамоведение — ровесник ДРВ. Именно после 1945 года оно достигло подлинного развития и расцвета. Все больше и больше советских филологов в совершенстве изучают вьетнамский язык; на основе вьетнамских источников разрабатывается история страны от глубокой древности до борьбы сегодняшнего дня. Советские археологи помогают вьетнамским коллегам приоткрыть завесу далекого прошлого. Экономисты изучают процессы строительства социалистической экономики и ликвидации тяжелого наследия колониализма. За последние пятнадцать-двадцать лет появилось больше книг и исследований по Вьетнаму, чем за всю историю русского и советского вьетнамоведения.

Впервые широкий советский читатель получил возможность познакомиться с классической и современной вьетнамской литературой в художественных переводах наших мастеров, с искусством художников. Все больше советских людей узнают и любят вьетнамских братьев. Сотни рабочих-вьетнамцев проходят учебу на наших заводах, чтобы потом применить свои знания на отечественных предприятиях, сотни юношей и девушек кончают советские вузы и аспирантуру.

Сотни советских специалистов и рабочих участвуют в строительстве народного Вьетнама. Растет число деятелей науки, культуры, посетивших республику и там, на месте, завязавших на всю жизнь дружбу со своими коллегами, так же как и с многочисленными деятелями культуры, прибывающими в нашу страну.

Стало доброй традицией для наших писателей и поэтов, побывавших в гостеприимной Демократической Республике Вьетнам, для наших журналистов, как никто исколесивших всю страну, обобщать свои впечатления и наблюдения, доносить их до наших читателей.

Нет возможности даже бегло перечислить все эти статьи, заметки, книги. Как невозможно, впрочем, и найти их в наших книжных магазинах через короткий срок после их выхода из печати.

Сейчас передо мной лежат книжки советских писателей и журналистов, побывавших во Вьетнаме и передавших в них всю свежесть личных впечатлений, весь жар искренних чувств к вьетнамскому народу. Четыре из них — книги П. Антокольского, Руд. Бершадского, В. Солоухина, Г. Севунца — связаны с поездкой в Демократическую Республику Вьетнам после окончания войны Сопротивления, в период мирной передышки и созидательного труда. Но еще не залечены полностью раны, еще свежи незабываемые суровые переживания войны, живы герои, сменившие винтовку или самодельную «базуку» на плуг пахаря, на эскалатор

Ю. Жуков, В. Шарапов. Вьетнам, 1965. Из записных книжек журналистов. Москва, «Правда», 1965.

Гарегин Севунц. Вьетнамская весна. Путевые очерки. Авторизованный перевод с армянского Тамары Асоянц. Москва, «Советский писатель», 1963.

угледобытчика, на работу у станка, в школе, в органах народной власти. Героические будни строителей социализма, удовлетворенная радость труда во имя счастья народа неизбежно переплетаются на страницах книг с эпизодами из истории революции и войны. Острый глаз писателя охватывает и тысячи мелочей быта, картины столь непривычной тропической природы.

Как различны эти книжки и как, вместе с тем, много в них общего! Да это и понятно. Ведь путевые очерки отражают не только то, что довелось увидеть, но и то, что специально интересовало автора, что именно ему хотелось во чтобы то ни стало узнать, запомнить, увезти с собой в своем сердце и памяти. В путевых очерках обязательно отражены и сам автор, его интересы, его манера смотреть, особенность его восприятия. Эти особенности еще потому так заметны, что всем авторам пришлось побывать примерно в одних и тех же местах. Не только в незабываемой столице ДРВ — Ханое, но и обязательно в южных провинциях, в главном порту республики Хайфонге и Хонгайском угольном бассейне, на берегах и водах сказочного залива Ха-лонг. И читатель, сравнивая отразившиеся в книге впечатления и суждения каждого автора, подчас найдет в них противоречивость, но в итоге получит наиболее полную картину.

И пусть в рассказе авторов этих книжек встречаются неточности (это случается в передаче со слов собеседников исторических фактов и цифровых данных), их живое и яркое повествование дает неизмеримо более правильное представление о современном Вьетнаме, нежели самая добросовестно выверенная кабинетная компиляция.

И здесь мы подходим к тому, что роднит между собой эти различные книги разных авторов. Прежде всего, это искренность дружеских чувств и неподдельное уважение к вьетнамскому народу, его древней культуре, к героям не только былой его славы, но и славы борьбы и напряженного целеустремленного труда нынешних дней.

Читая эти книги подряд, в хронологическом порядке их написания, как бы проходишь по ступеням успехов, достигнутых за короткий срок мирной передышки. То, что только начинает воскресать из разрушений войны в книге П. Антокольского, те первенцы индустриализации, о которых лишь мечтается в 1958 году, уже реально существуют, вступив в строй во «Вьетнамской весне» Гарегина Севунца. Последняя книга, кстати, облегчает читателю восприятие этих разительных перемен и успехов буквально во всех областях жизни народа.

В каждой из книг — свой подход, свой ключ к увиденному, что неизбежно окрашивает в свои краски описание одних и тех же мест и даже событий. У Гарегина Севунца это прежде всего люди. Героизм войны, сопротивление и несгибаемое мужество патриотов воплощены в живых конкретных образах людей. Я бы сказал, что именно в донесении до широкого советского читателя мыслей и чувств самых различных

представителей вьетнамского народа — главная и бесспорная ценность его «Вьетнамской весны».

Владимир Солоухин назвал свою книжку «Открытки из Вьетнама». И название неслучайно. В книге нет глав. Это как бы отдельные зарисовки. Но подчиненные общему замыслу, они дают цельную картину страны, ее природы и жизни в первую очередь.

В начале книги Солоухин справедливо заметил: «Конечно, время от времени возникают вещи, как бы запрещенные для журналиста вследствие частого их употребления... В применении к Вьетнаму есть определенные запрещенные для журналиста вещи. Все их я знал, еще сидя в Москве». Он приводит список кочующих из одного очерка в другой легенд и пишет: «Посмотрим, удастся ли удержаться мне». Автор, очевидно, очень старался, и, мне кажется, ему это почти удалось.

Солоухин своими записками — он сам признает — хотел познакомить читателя «главным образом с природой и бытом этой страны, мало у нас известной». И это ему также удалось, хотя, конечно, природа и быт не исчерпывают содержания очерков. Из них также встает строящий новую жизнь народ.

Живо написанную книжку Руд. Бершадского «В двух шагах от экватора» особенно доходчивой делают многочисленные и очень хорошие рисунки А. Житомирского — результат его пребывания во Вьетнаме.

Павел Антокольский и в этой своей книге в первую очередь остается поэтом. Его книга тоже путевой журнал. В ней отражено виденное и слышанное, читатель встретит и обязательные легенды, и исторические реминисценции. Но, мне кажется, что «Силу Вьетнама», как удачно названа его книга, очень украсили стихи как самого автора, так и прекрасные переводы вьетнамских поэтов, прежде всего То Хыу.

О героизме и несгибаемом мужестве народа повествуют книги журналистов, побывавших во Вьетнаме уже после начала открытой агрессии американских империалистов. Я имею в виду книги В. Кассиса, Ю. Юхананова, Е. Кобелева, М. Варненской «Вьетнам. Линия фронта не обозначена», Ю. Жукова и В. Шарапова «Вьетнам, 1965» и книгу А. Тер-Григоряна «Тени у переправ».

Авторы этих книг убедительно разоблачают агрессора, но мне кажется, что их книги особенно ценны тем, что еще более убедительно они говорят о непобедимости вьетнамского народа. Если, читая книги о мирном периоде жизни демократической республики, я вновь вместе с авторами переправлялся через вьетнамские реки, радовался новостройкам, посещал Хо Ши Мина, вспоминал многих своих вьетнамских друзей, то какой гнев и возмущение испытываешь, когда читаешь в этих книгах о варварских разрушениях с таким трудом созданных промышленных объектов, восстановленных дорог, школ, больниц. Трудно подсчитать

В. Кассис, Ю. Юхананов, Е. Кобелев, М. Варненска. Вьетнам. Линия фронта не обозначена. Москва, «Известия», 1965.

А. Тер-Григорян. Тени у переправ. Москва, «Молодая гвардия», 1965.

Руд. Бершадский. В двух шагах от экватора. Москва, «Советский писатель», 1962.

П. Антокольский. Сила Вьетнама. Путевой журнал. Москва, «Советский писатель», 1960.

Владимир Солоухин. Открытки из Вьетнама. Москва, «Молодая гвардия», 1961.

тяжелый урон, нанесенный бомбардировками, гибель мирных людей. Сколько придется отстраивать вновь! Но людей не воскресишь.

Книги эти замечательны, как я уже сказал, не только яркими и гневными страницами, направленными против напавших на мирную страну агрессоров, но и показом напряженного труда вьетнамских патриотов в обстановке новых испытаний. Действительно «линия фронта не обозначена». Непрекращающееся строительство новой жизни неотделимо от воздушной обороны Родины. В ней участвуют не только славные бойцы республиканской армии, виртуозные зенитчики, множащие счет сбитых американских самолетов, но и рядовые рабочие и крестьяне.

И эти книги, при всей схожести положенного в их основу материала, конечно, тоже разные. Скажем, если книга Ю. Жукова и В. Шарапова — это интересная попытка сочетания дневниковых записей, обобщающих обзоров и живых зарисовок, то в книге А. Тер-Григоряна «Тени у переправ», острая публицистичность которой подчеркнута выдержками из советской и иностранной печати (данными, кстати, другим шрифтом в конце полосы), привлекает прежде всего поэтический подход к увиденному. И как бы подчеркивая это ее качество, книга Тер-Григоряна перемежается стихами, написанными ее автором под впечатлением поездки во Вьетнам.

Враг рассчитывал своими массированными налетами парализовать жизнь республики, остановить труд созидания, вселить панику. Но он просчитался. Созидание продолжается, несмотря на ужасы разрушения. Воля к победе спаяна с волей к труду. И об этом хорошо и убедительно написали авторы.

Читатели с благодарностью прочтут упомянутые здесь книги. Это поможет лучше понять, как и за что борется вьетнамский народ. Еще больше укрепить нашу твердую уверенность, что вьетнамский народ непобедим, что он — свободный и независимый — построит свое счастливое будущее.

В заключение несколько пожеланий нашим издательствам и авторам. Следует более тщательно готовить к изданию подобные очерки. Это избавило бы их от искажений исторических фактов, подчас случайных и необоснованных суждений об исторических личностях и от наивных представлений о «красной глине», на которой, за отсутствием чернозема, растут кофейные деревья, плоды которых «приобретают кофейный цвет» якобы после созревания.

Из таких хороших книжек, как те, о которых здесь говорилось, многие почерпнут свои знания о Вьетнаме. Поэтому хотелось бы, чтобы они были свободны от неточностей, пусть даже мелких и не всегда заметных.

Член-корреспондент АН СССР
А. ГУБЕР.

БЕСПОЩАДНОЕ ПЕРО

Нгуен Хонг. Воровка. Роман. Рассказы. Перевод с вьетнамского М. Ткачева. Предисловие Нгуен Туана. Москва, «Художественная литература», 1966. 231 стр.

Нгуен Хонг — один из самых читаемых прозаиков сегодняшнего Вьетнама, а его наиболее популярное произведение — роман «Воровка». Не странно ли, что «Воровкой» так зачитываются и сегодня? Ведь это — повествование о вчерашнем Вьетнаме. Почему же так волнует сегодняшнего вьетнамского читателя страшная история крестьянской девушки Бинь, которая, родив незаконного ребенка от обманувшего ее заезжего городского франта, не сумела найти никакого другого выхода, кроме как сломя голову бежать из родной деревни от преследующих ее повсюду выкриков: «Потаскуха!» А в городе, где она мечтает подыскать хоть какую-нибудь работу на фабрике, она, конечно, не находит ничего. Она не знала, наивная, у себя в деревне, что поступить на фабрику можно, только дав изрядную взятку мастеру, а откуда ж у нее, беглянки, деньги. У нее даже на горсть риса нет ни гроша!

Я как-то приводил уже (в своей книге о Вьетнаме) выдержку из Монпеза, французского плантатора. Еще в 1927 году, поставленный на грань разорения крупными монополистами, средний плантатор Монпеза возопил и написал неожиданно честные строки о том, чем была безработица в тогдашнем Вьетнаме для вытолкнутого из деревни крестьянина. «Рабовладелец был по крайней мере заинтересован в том, чтобы кормить своего раба, который представляет для него известную ценность. Наоборот, для того, кто покупает тонкинца на пять лет (указан срок контракта.— *Руд. Б.*), его ценность ежегодно снижается на одну пятую. Таким образом, он заинтересован в том, чтобы за пять лет выжать из своей покупки все, что только можно... и какое ему дело до того, что человек к моменту своего освобождения станет уже ни на что не годным!.. То, что совершается в Индокитае, еще хуже прежнего рабства».

Беззащитная крестьянская девушка Бинь, оказавшись в чужом и враждебном ей городе, попадает в публичный дом — единственное место, где она еще может найти «спрос» на себя. Тем более что на другой же день ее пребывания в Хайфонге, пользуясь простотой и наивностью Бинь, ее насилует первый встречный подлец, и она оказывается в полиции по обвинению в проституции. Когда из дома терпимости она попадает в дом Нама — вожака бандитской шайки — и становится его сожительницей (Нам влюбился в нее), она считает это счастьем.

Все ниже и ниже, со ступеньки на ступеньку катится Бинь. Она делается «наводчицей» банды, потом начинает воровать самостоятельно. Ей отвратительно все это, она по-прежнему мечтает жить честно и воспитывать своего сына, которого оставила в деревне; но дед и бабка, не желая воспитывать «ублюдка», продали его неизвестно куда.

Роман кончается страшно. Нам, прельщенный золотыми украшениями на малыше, которого встречает на пароходе, выкрадывает ребенка, бросается с ним в воду, а так как мальчуган, отбиваясь от него, мешает ему плыть, топит его. Когда же он приносит тельце к Бинь, чтобы она сняла с него золото, Бинь узнает в утопленнике сына...

Почему же так зачитываются в Демократической Республике Вьетнам этим безысходным, казалось бы, романом? Потому что он и сегодня полностью жив для второй половины страны — для Южного Вьетнама? Нет, не только поэтому.

Нгуен Хонг писал своей роман с натуры. Французские колонизаторы упекли будущего писателя в тюрьму, когда ему было всего шестнадцать лет. Упекли за какую-то пустячную провинность — что там было церемониться с мальчишкой вьетнамцем! В тюрьме Нгуен Хонг и познакомился вплотную с героями своего будущего романа, там же понял и то, что они не сами себе выбирают трагический путь, что их обрекает на него проклятая колониальная действительность. Даже убийца Нам способен нежно заботиться о любимой им Бинь, даже полицейский чиновник, составляющий первый протокол на Бинь, все же думает: «Отчего наша жизнь так устроена, что девушки вынуждены прибегать к столь постыдному заработку?»

Сила «Воровки» в том, что роман убеждал: нет для тебя, вьетнамец, выхода в тех условиях, в которых ты существуешь; достаточно любого щелчка судьбы, и ты покатишься на самое дно жизни. А это, конечно, были очень опасные мысли, и недаром колониальная цензура в 1940 году запретила «Воровку». А сегодня «Воровка», я думаю, пользуется такой широкой популярностью у вьетнамского читателя потому, что она снова и снова закаляет его решимость отдать все силы, а если надо, и жизнь, но не позволить вернуться той действительности, которую несут колонизаторы!

В книге Нгуен Хонга, которую выпустило издательство «Художественная литература», «Воровка» занимает центральное место. Но и другие произведения, включенные в том,— рассказы из сборников «Дни детства» и «Голод» — достойно соседствуют с нею, так же беспощадно рисуя страшную жизнь Вьетнама под гнетом колонизаторов.

Весь том любовно переведен с оригинала давним пропагандистом вьетнамской литературы Марианом Ткачевым, а предисловие, написанное крупнейшим вьетнамским прозаиком Нгуен Туаном, дает яркий портрет живого Нгуен Хонга. И какой обаятельный образ возникает перед читателем!

Нгуен Туан и Нгуен Хонг вместе сидели во французских концлагерях, вместе сражались во время войны Сопротивления — Нгуен Хонг заведовал тогда Народной школой искусств в джунглях. Он и сегодня не расстается со своей деревней, подлинно народный писатель Вьетнама.

РУД. БЕРШАДСКИЙ

«НЕ ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ ЛУНЫ...»

«Он ругал небо и людей. Ругал деревню. Ругал всех, кто не хотел ругаться с ним. Задыхаясь от злобы, он проклинал того, кто произвел его на свет, где никому нет до него никакого дела». Так в бесплодной ненависти ко всему сущему проводил свои дни и ночи звероподобный, спившийся деревенский забулдыга Ти Фео, герой одноименной повести Нам Као.

А что же еще ему было делать? Грудным младенцем нашли его на краю деревни у полуразрушенной печи для обжига кирпича, чуть ли не с пеленок работал он на чужих людей, в двадцать лет без вины попал в тюрьму и вернулся оттуда пьяницей, готовым на любое преступление. Неудивительно, что жители деревни ненавидят и боятся Ти Фео. Он существует, вымогая жалкие подачки у старосты, когда-то запрятавшего его в тюрьму. У Ти Фео нет мыслей, нет желаний, кроме желания напиться, нет привязанностей, нет надежды на лучшее будущее. Но однажды ночью он увидел на берегу реки спящую Тхи Но — деревенскую дурочку, вьетнамскую Лизавету Смердящую. Женщина! Все совершилось по-скотски просто, оба довольны. На другой день Тхи Но принесла своему возлюбленному миску лукового супа. Впервые в жизни о нем позаботились. Ти Фео даже не понял этого, только почему-то не напился вечером и задумался: «Каким было бы счастьем стать порядочным человеком, таким, как все! Тхи Но поможет ему. Они будут жить мирно и дружно, и тогда все перестанут считать Ти Фео злодеем». В этом просветленном состоянии он пребывал пять дней, а потом Тхи Но прислушалась к совету тетушки и покинула его. И снова Ти Фео напился до бесчувствия, и снова пошел к старосте, но на этот раз не за деньгами. Собравшиеся на шум соседи увидели два трупа в луже крови. Отомстив обидчику, Ти Фео покончил и свои счеты с жизнью. А Тхи Но забеспокоилась было о том, что беременна, но тут же вспомнила, что по-прежнему стоит в стороне от людей заброшенная печь для обжига кирпича...

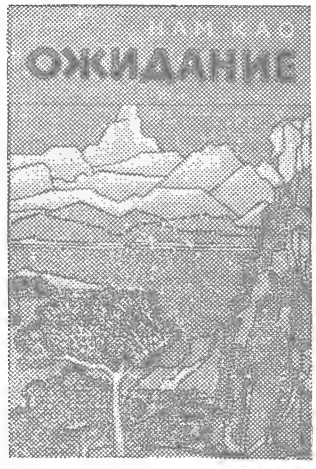
Первоначально повесть так и называлась — «Старая печь для обжига кирпича». Не случайно именно ею открывается сборник повестей и рассказов Нам Као — в свое время она принесла писателю известность.

Нищета, бесправие, темнота и невежество, беспробудное пьянство, кровавые преступления — вот мир, в котором живет дореволюционная вьетнамская деревня в изображении Нам Као. Как будто не ново. Почти в любом романе или рассказе, посвященном жизни народов колониальных стран, мы видим тот же произвол, то же насилие, двойной гнет своих богачей и колонизаторов. Но Нам Као по-своему, без дидактики и сентиментальности сумел рассказать об этом. Писатель не пытается убедить нас, что люди, поставленные в нечеловеческие условия существования, хороши. Нет, но они — люди, и писатель не может оставаться равнодушным к их судьбе.

Проза Нам Као напоминает чем-то мопассановские деревенские рассказы. Психологические характеристики Нам Као точны и лаконичны: «А на дороге смешно прыгало что-то черное и уродливое. То вправо метнется, то влево, то сожмется, то снова распластается, то вдруг разорвется на мелкие части прямо под ногами. Что это? Ти Фео остановился, стал смотреть и вдруг расхохотался. Он хохотал до колик в животе, до полного изнеможения, и брань, которую он только что извергал потоками, казалась волшебной музыкой по сравнению с этим диким хохотом. Уродливое существо на дороге оказалось его тенью». Ти Фео смеется. Во всей повести только однажды. И даже не подозревает, что смеется над самим собой. В рассказе «Ненужная жизнь» писатель Хо, измученный бременем быта, иногда задумывается о своей книге, которую уже много лет не может написать. «В такие минуты Хо выглядел печальным и усталым, словно ссыльный, который вечером сидит в одиночестве, смотрит на клубы папиросного дыма и вспоминает родные края...»

В этом равнодушном и беспощадном мире Нам Као особенно привлекает будничный, повседневный героизм вьетнамских женщин. Бесконечное терпение, мужество, оптимизм присущи почти всем ее женским образам. Тетушка Тхинь из рассказа «Полночь» самоотверженно воспитывает два поколения чужих детей. По ночам, когда прекращаются бомбежки, жена фронтовика Льеу возделывает не только свой огород, но участки тех, кто сражается («Ожидание»). Патриотическим порывом захвачены и крестьянка Льеу и даже жены членов марионеточного правительства Южного Вьетнама. Эти женщины участвуют в демонстрации, требующей объединения страны, и заявляют своим мужьям: «Вы — предатели родины, и мы не желаем разделять с вами позор. Мы питаемся рисом, а не падалью... Нам противно участвовать в вашей грязной игре в «автономию», мы не станем предавать родину и наших братьев чужеземцам» («Горе розовощеких красавиц»).

В рассказе «Лунный свет» писатель Диен, уставший от прозы жизни и готовый покинуть семью, меняет свое решение, наблюдая, как твердо и терпеливо несет свой крест его жена. Он понимает, что «нищета губит в человеке многие добрые чувства. Нет, искусство — это не призрачный свет луны, оно не должно лгать людям... Он должен остаться и писать правду об этих нищих, измученных, страдающих людях».



Нам Као. Ожидание. Повести и рассказы. Перевод с вьетнамского. Предисловие Т. Мхитарян. Москва, «Художественная литература», 1963. 182 стр.

Писать правду — кредо самого Нам Као. Он избирает самые обычные житейские ситуации, самые понятные для всех беды и напасти — одиночество, нищету, сиротство, болезни.

Но не только об этом пишет Нам Као. Рассказы, созданные после революции, говорят об освободительной борьбе вьетнамского народа, о месте интеллигенции в этой борьбе. В одном из рассказов сборника, «Глаза», писатель Хоанг, оплакивающий прежнюю дореволюционную жизнь, иронизирует над деревенским парнем. Тот не смог толково объяснить, как пройти на базар, зато наскоро прочитал популярную лекцию о том, что «наша война Сопротивления делится на три периода». Автор, ведущий рассказ от первого лица, подчеркивает, что, высмеяв парня, заучившего урок о «трех периодах», Хоанг не заметил, что тот, рискуя жизнью, участвует в освободительной войне.

И здесь писатель в одном строю с этим деревенским пареньком, а не с собратом по перу. Еще в 1943 году Нам Као вступил в «Патриотическую ассоциацию деятелей культуры», тесно связанную с Коммунистической партией Индокитая, восторженно приветствовал Августовскую революцию, много и плодотворно работал в послереволюционный период. В 1947 году появился его писательский дневник «В джунглях» — боевой отчет о работе в газете «Кыу Куок» («Национальное освобождение»). Спустя четыре года Нам Као трагически погиб на временно оккупированной территории, выполняя партийное задание.

Поиски правды и в творчестве, и в жизни были душевной потребностью писателя. Слово и дело для него были едины.

К. АТАРОВА

ЧИСТОТА ВЗГЛЯДА

Писатель Нам Као погиб в 1951 году. Он шел по одной из дорог своей родины, и его застрелили французские солдаты. Все было так, как могло бы произойти и происходит в написанных им произведениях о народной войне, в рассказе его «В четырех километрах от вражеского укрепления», которым открывается небольшой сборник новелл вьетнамских писателей.

Герой рассказа — новичок в прифронтовой полосе. Один идет он сквозь ночную тьму, еще не зная, где подстерегает его опасность. А на рассвете он продолжает свой путь. Ночь вселила в него бодрость и научила многому. Он увидел молодежь, оставшуюся в деревнях и борющуюся с захватчиками, услышал о героизме своих друзей, убедился в том, что люди, воюя, не прекратили каждодневного труда на земле, и проникся гордостью за прекрасный свой народ, не унывающий и не теряющий мужества в тяготах, на которые он обречен. То же самое чувствует и читатель этих живых, и ярких, и страшных, и смешных сцен, из которых состоит рассказ Нам Као.

В санатории над морем умирает Ты Нян, старый коммунист из Южного Вьетнама. Он рассказывает приехавшей дочери о прожитой им жизни, которая всегда казалась ему простой и неизбежной, рассказывает для того, чтобы дочери стал ясен и ее будущий путь. Вера Ты Няна в революцию, преданность народу сделали его героем, но он бы удивился, если бы кто-нибудь так назвал его. Он был не один, и он хочет, чтобы дочь его в нынешнее, тоже нелегкое, но уже победное время оказалась достойной своей погибшей матери и всех тех других, кто начинал революцию. Рассказ называется «Дорога идет в гору». Автора зовут Буй Дык Ай. Он на двадцать лет моложе Нам Као и пишет о событиях последнего времени. Но оба рассказа похожи и публицистической манерой письма и той чистотой взгляда на смысл человеческого существования, какая присуща литературе, родившейся в огне революции и воспитывающей читателя на образах новых людей.

Составители книги дали нам возможность познакомиться и с рассказами, которые принято именовать психологическими. Маленький мальчик, герой «Тетушкиного пирога», Фам Хо на Новый год пришел в гости к бедной вдове тетушке Бон. Давно уже нет ее на свете, а выросший мальчик не может забыть о приключениях давнего этого дня. И если даже мы совсем ничего не знали раньше ни о вьетнамском Новом годе, ни о том, как готовятся к нему пироги, ни об обстановке вьетнамского дома, ни о населяющих его людях, ни о мыслях, что их тревожат, то, право же, один лишь этот рассказ способен и просветить нас, и затронуть в

Тетушкин пирог. Новеллы вьетнамских писателей. Предисловие Д. Деопика, М. Ткачева. Москва, «Наука», 1965. 71 стр.

наших душах добрые чувства. У меня «Тетушкин пирог» вызвал ассоциацию с «детскими» рассказами Лу Синя, озаренными одновременно радостной и грустной улыбкой воспоминания.

Среди произведений, собранных в книге, есть рассказ южновьетнамского писателя Фан Ты «Однажды в базарный день». Рассказ как крик, вырвавшийся из стесненной груди. Один лишь день и, вероятно, похожий на другие дни жизни женщины Хай Фыок, которая пошла на базар продать несколько выловленных ею рыбешек, встретилась там с ободравшим ее сборщиком налогов и видела казнь не склонившей головы перед палачами девушки-коммунистки. Но разве можно пересказать описанные здесь картины и чувства, и то потрясение, какое испытала Хай Фыок, и ту дальнейшую судьбу ее, о которой автор не пишет, но дает нам понять всем смыслом своего повествования, судьбу человека, уже не способного оставаться равнодушным к злу, чем бы это ни грозило!

Все рассказы интересны. Они волнуют читателя изображенной в них действительностью. Они свидетельствуют о достижениях современной вьетнамской прозы. Приятно, что в силах переводчиков оказалось дать нам это почувствовать, изредка же пробивающаяся псевдонародная интонация («Ну, я пойду, а то дочки, поди, заждались!») в общем не нарушает благоприятного впечатления от перевода. Доброго слова заслуживает предисловие Д. Деопика и М. Ткачева и — при всей ее лаконичности — достаточно полная справка об авторах.

Л. ЭЙДЛИН

ОНИ НУЖНЫ ЛЮДЯМ

Однажды Нгуен Конг Хоан рассказал случай, который, по его словам, помог ему найти свое место в жизни. Шел дождь; спасаясь от него, Нгуен Конг Хоан зашел в книжную лавочку. Вбежавший вслед за ним молодой человек спросил у хозяина какой-то журнал и, огорченный отказом, произнес:

— Как жаль! Ведь в этом журнале новый рассказ Нгуен Конг Хоана!

«Тогда я был молод,—говорит писатель,— и не задумывался над смыслом своей писательской деятельности, но после этого понял, что мои рассказы нужны людям, что они в чем-то помогают моему народу».

Рассказы Нгуен Конг Хоана нужны людям. Они пользовались популярностью и до Августовской революции 1945 года, их издают и читают сегодня в новом, народном Вьетнаме. Сборник «Женщина — слабое создание» — первое знакомство советского читателя с творчеством этого писателя.

Нгуен Конг Хоан принадлежит к тому поколению вьетнамской интеллигенции, которое встретило Августовскую революцию в зрелом возрасте, восприняло ее идеи и бесповоротно встало на сторону народа в его борьбе за свободу и независимость.

Выходец из феодальной семьи, школьный учитель, близкий к революционным кругам, Нгуен Конг Хоан хорошо знает жизнь бюрократии, всю громоздкую чиновничью иерархию, на которой зиждилось феодально-колониальное общество дореволюционного Вьетнама. За свою долгую творческую жизнь (он впервые выступил как писатель в 1922 году) Нгуен Конг Хоан написал более трехсот рассказов и несколько романов. Его перу принадлежит много сатирических новелл. Главными их «героями» были те, кто вел паразитическую жизнь за счет трудового народа.

В своих рассказах автор обычно не делает выводов, но зарисовки, созданные как бы на одном дыхании, говорят читателю: «Смотрите, люди, какие они, «отцы народа», смотрите — вот те, кто присвоил себе право распоряжаться вашей судьбой!» В условиях строжайшей цензуры, осуществлявшейся феодально-бюрократическим строем, автор не мог сделать больше.

Сборник «Женщина — слабое создание» дает достаточно полное представление о характере творчества Нгуен Конг Хоана. Среди героев этих рассказов мы встречаем чиновников, стоящих на самых нижних ступенях феодальной иерархии, которые почитают за милость даже то, как беззастенчиво их обирают мандарины повыше рангом. Еще бы, ведь сам начальник обратил благосклонное внимание, изволил откушать у него в доме или взять взаймы, разумеется, без возврата. Идеология чиновника — «ведь я червяк в сравнении с ним...» — хорошо выражена в рассказах «Подруги», «Автомобильная катастрофа» и других. Отвратительное

лицо власть имущих показывает автор в целом ряде рассказов. Наиболее характерные из них — «Цена зубов собаки», «Оба жалкие», «Женщина — слабое создание».

«Выбившийся в люди» чиновник гонится на автомобиле за бродягой, убившим из-за чашки похлебки его любимую собаку («Цена зубов собаки»). В рассказе «Оба жалкие» сенатор, которому полумертвый от голода крестьянин продает своего ребенка, долго и мелочно торгуется из-за каждого су. А когда сделка состоялась, сожалеет, что мало выторговал. Голод и нужда почти совсем лишили крестьянина чувства человеческого достоинства — он продает ребенка, а затем бежит прочь от дома сенатора, боясь, что тот отберет у него жалкую сумму, полученную за сына. Разжиревший от безделья сенатор вообще не знает, что такое человеческое достоинство.

Пожалуй, особенно ярко тема продажности чиновничества, мерзости жизни «сливок общества» прозвучала в рассказе «Женщина — слабое создание». Боясь потерять место, которое дает ему немалый доход, старый мандарин, женившийся на красавице проститутке, решает смириться с новыми любовными похождениями супруги. Неглупая, но до предела циничная особа загоняет его в угол, убеждая, что шум, поднятый мужем по поводу ее неверности, лишит его положения в обществе. Зная цену себе и своему чиновному супругу, она говорит ему: «Машины, принадлежащие таким, как вы, работают не на бензине, а на поте и слезах простонародья». Так, казалось бы, заурядной, на первый взгляд, истории о незадачливом мандарине автор одной-двумя фразами умеет придать еще большую социальную остроту.

Действие рассказа «Лояльность» происходит в суровые дни войны Сопротивления. Это история мандарина, который, спасая свою шкуру и награбленное добро, предает своих односельчан французским карателям. Стремясь избежать гнева крестьян, мандарин Маи упрашивает, чтобы солдаты экспедиционного корпуса взяли его с собой. Однако и у них этот человек вызывает отвращение. Где-то на полдороге его просто вышвырнули из грузовика. Символична картина смерти Маи, нарисованная несколькими фразами: «Грузовик умчался, а Маи, скрючившись, остался лежать на дороге. Сквозь рваную одежду виднелось голое тело. Ветер катил по дороге его шапку. Лицо, разбитое при падении, было серо и кровоточило, волосы и борода покрыты серой дорожной пылью...»

Поставлена последняя точка не только в жизнеописании мандарина Маи, но и в истории существования вьетнамских феодалов, говорит рассказ «Лояльность».

Рассказ «Хлебное дерево» повествует о тяжелой жизни крестьянской семьи, вынужденной в прошлом из поколения в поколение идти в кабалу к помещику. И только приход народной власти, проведение аграрной реформы освободили крестьян от векового рабства. «Это случилось, как раз когда

Нгуен Конг Хоан. Женщина — слабое создание. Рассказы. Перевод с вьетнамского И. Глебовой и Н. Никулина. Предисловие Н. Никулина. Редактор А. Гольдман. Москва, Издательство иностранной литературы, 1960. 149 стр.

душистые плоды уже налились спелым соком. Лунг сорвал самый большой плод, разрезал его и положил на алтарь предков. На глаза его навернулись слезы... Они были счастливы... потому что получили, наконец, право есть плоды дерева, которое три поколения их семьи растили для помещика на своем огороде».

В деревне наступает новая жизнь...

Эти два рассказа Нгуен Конг Хоана как бы подводят читателя к тому периоду в истории страны, когда вьетнамский народ начал новую жизнь. Без сенаторов и мандаринов, без чиновников. Жизнь без той мерзости и грязи, против которой боролся в своих сатирических рассказах Нгуен Конг Хоан.

И. ОГНЕТОВ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОАН ТХИ ДЬЕМ

Доан Тхи Дьем. Жалобы солдатки. Перевод с вьетнамского П. Антокольского. «Восточный альманах». Сборник. Выпуск пятый. Москва, Гослитиздат, 1962. стр. 7—17.

Итак, здравствуйте, Доан Тхи Дьем, вьетнамская женщина, жившая в XVIII веке, дочь учителя и жена видного феодального сановника, и великая

вьетнамская поэтесса, перешагнувшая через границы веков и ставшая нашей современницей.

Удивительна судьба поэмы «Жалобы солдатки»: в середине XVIII века, когда по земле Вьетнама прокатывались войны, поэт Данг Чан Кон написал на вэньяне — литературном языке феодального Вьетнама — поэму о молодой женщине, горько сетующей на разлуку с мужем-воином. Современница Данг Чан Кона — Доан Тхи Дьем блестяще перевоплотила поэму на родном вьетнамском языке, по существу создав ее заново. Красочный, меткий, лаконичный язык живой народной речи органически вошел в поэму «Жалобы солдатки». Во вьетнамском стихе зазвучали военные барабаны, голоса птиц, послышался шум ветра в джунглях и клекот аиста на крыше хижины у реки — словом, зазвучала вся музыка страны, услышанная поэтессой и — и здесь начинается третье рождение поэмы — переданная на русском языке замечательным поэтом и переводчиком Павлом Антокольским.

И вот у южной переправы,
На ближней отмели речной
Я вижу, как темнеют травы,
Как вдоль реки струится зной,
Как аистов садится стая
На крыши хижин ввечеру,
Как зелень зарослей густая
Едва трепещет на ветру.

Или:

А злой печали все созвучно —
Деревья, тучи и закат,
И где-то звук дождя докучный,
И стрекот маленьких цикад.
В снегу маиса стебли лягут,
Под стужей ива облетит.
Унылый звон далеких пагод
«Спокойной ночи» возвестит.

Гуманизм, действенная любовь к человеку, вложенная в «Жалобы солдатки», как бы раздвигают границы стиха и времени, ведут читателя от книжной страницы, от стихотворной строки в гущу сегодняшней борьбы за свободу и независимость.

За строками поэмы Доан Тхи Дьем, написанной в XVIII веке, мы видим современный Вьетнам.

ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА

ОДНА ИЗ МНОГИХ

Они втроем пришли на эту встречу. Все очень серьезные и очень молодые. Глядя на их юношеские лица, на тонкие, гибкие фигуры, трудно было думать, что это известные уже писатели, надежда вьетнамской литературы.

Двое — Нгуен Нгок и Нгуен Кхай — подробно, стараясь ничего не упустить, рассказывали о своем жизненном пути, о пути в литературу, о творческих замыслах. Третьим был Буй Дык Ай. Невеселый, сумрачный, он долго сидел молча в углу дивана. А когда очередь дошла до него, заговорил хмуро, без тени улыбки. «Я все смотрю на вас,— сказал он мне,— и думаю: сколько вам может быть лет?» Товарищи недоуменно повернулись к нему — деликатность вьетнамцев общеизвестна,— но он, ни на кого не обращая внимания, продолжал: «Я с Юга. На Юге и сейчас живет моя мать. Годы прошли с тех пор, как я ее видел».

Судьбы трех молодых прозаиков — при всей своеобычности таланта каждого — во многом схожи. Все они с Юга. Все вынуждены были воевать с мальчишеских лет. Все из бойцов стали писателями, а из писателей — вновь бойцами. Это общность судьбы представителей поколения, чья сознательная жизнь проходила в условиях войны.

У Буй Дык Ая — своя тема, своя боль, свои герои. В большинстве случаев они уроженцы южных районов страны, люди цельные и героические, прекрасные в своей чистоте и человечности, люди с необычайно развитым чувством долга перед своими близкими и перед Отчизной. Таких не согнуть, не истребить.

В то время в Ханое тепло отзывались о новом произведении Буй Дык Ая. Позднее его небольшой роман, завоевавший признание на родине писателя, был экранизирован. На третьем Московском международном кинофестивале фильм «Ты Хау», названный по имени героини, получил Серебряный приз. А вслед за тем книжка под заголовком «Женщина из Бай Шао» увидела свет в переводе на русский язык.

...Казалось бы, незамысловат сюжет ее, несложна композиция. Автор, находясь на излечении в больнице, встречает там молодую женщину. Сама ее манера держаться, ее внешность невольно привлекали внимание — «ее лицо дышало добротой и какой-то затаенной печалью». К тому же и она оказалась уроженкой Юга. И они разговорились. Горький рассказ обаятельной и скромной Ты Хау, рассказ о ее жизни, полной опасностей, и стал книгой.

Много горя перенесла Ты Хау. Раннее сиротство — родители умерли от непосильной работы. Тяжелый с детства труд. Короткая радость — замужество. И тут же наглое, жестокое насилие. «Это был лейтенант Тома, начальник поста Хьеп-хынг. Говорили, что он человек образованный. Люди из Хьеп-хынга, свидетели его приезда в наши края, были поражены тем, сколько он привез книг. И все книги были толстые!.. Я не знаю,— рассказывала Ты Хау,— какие у него бывают глаза, когда он читает, но хорошо помню, какие они были, когда он смотрел на меня, — глаза голодного дикого зверя».

Муж ее погиб, сражаясь с французскими парашютистами. Свекру враги выкололи глаза и убили его, когда он пытался защитить Хау. Осталось двое маленьких детей. Их не раз приходилось спасать от смертельной опасности, особенно когда мать стала в ряды борцов Сопротивления.

Оказывая людям и медицинскую помощь, бесстрашно ходила и ездила она по окрестным селениям, разъясняя цели борьбы,

Буй Дык Ай. Женщина из Бай Шао. Роман. Перевод с французского К. Северовой. Редактор Е. В. Орлова. Москва, «Прогресс», 1964. 127 стр.

организуя явки, партизанские базы и убежища. И множество людей, которым помогала Ты Хау, оберегали ее детей, рискуя жизнью. Единство народа в борьбе с врагом, самый ее накал ощутимо переданы Буй Дык Аем.

И вот Ты Хау на Севере. Перенеся тяжелую операцию, она надеется вскоре увидеть своих детей. «Я все знаю о ней...— говорит писателю старый врач.— Она боец и мать. Настоящий боец и настоящая мать... Много у вас на Юге таких женщин?» «Много»,— ответил писатель.

Таких женщин много и на Юге, и на Севере. Их большинство в стране, которая беззаветно сражается за то, чтобы кровавый рубец не рассекал надвое ее землю, не рассекал почти каждую семью. За то, чтобы сыновья не были оторваны от своих матерей.

С. ЧЕРНИКОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА

Задушевная наша беседа с Ле Тхань Фонгом, ветераном Сопротивления, профсоюзным руководителем Ханойского механического завода, длилась долго. Он рассказывал о борьбе с оккупантами в джунглях и о героической будничной работе своих заводских товарищей. После насыщенного рабочего дня они, ополченцы, смена за сменой стояли на боевой вахте, на зенитных позициях, у пулеметов и орудий.

Разговор наш коснулся и литературы. Многие книги советских писателей переведены на вьетнамский язык. Ле Тхань Фонг с увлечением читал Фурманова, Фадеева, Полевого. Особенно запомнились ему книги о том, как советские люди защищали свою родину от гитлеровских захватчиков.

— Я читаю книги о ваших героях, и они мне кажутся родными и близкими. Олег Кошевой — родной брат нашего Нгуен Ван Чоя. Вы знаете, товарищ, о Нгуен Ван Чое?

Да, я уже слышал о героической судьбе этого молодого борца, погибшего от пули американских наемников. И нет, пожалуй, во всем Вьетнаме ни одного человека — и старого и малого,— кто не знал бы о Нгуен Ван Чое. Мужественный облик его воспроизведен на многочисленных плакатах и картинах. Ему посвящают свои произведения писатели и поэты Вьетнама. О его жизни рассказывает пьеса, идущая в Ханое. С большой теплотой говорил нам о нем президент Хо Ши Мин, когда речь зашла о борьбе его народа, о «непокоренных» его страны.

Маленькая книга о Нгуен Ван Чое издана в Ханое на вьетнамском, русском, французском, английском языках. Это рассказ юной вдовы героя о всей его недолгой жизни. Здесь нет ничего вымышленного, сочиненного. Это дневник, безыскусственный и сокровенный.

Перелистывая страницы этого дневника-исповеди, мы видим, «как закалялась сталь», видим процесс становления героя. Совсем юная Фан Тхи Кюйен, полюбившая молодого сайгонского рабочего-электрика Нгуен Ван Чоя и ставшая его женой, до самого его ареста не знала об его подпольной работе. Нгуен Ван Чой был прекрасным конспиратором и даже любимую жену не посвящал в свои партийные дела. И она обижалась, когда он поздно возвращался домой (задерживался на работе...), и не было у него времени даже сводить молодую жену на новую кинокартину. Могла ли она знать, что он, ее спокойный и ласковый Чой, собирается совершить покушение на самого министра Макнамару? Чой предстал перед ней во весь свой рост, когда в ту страшную ночь ареста гневно бросил в лицо полицейским-предателям после побоев и истязаний:

— Я хочу перебить всех американских бандитов, я хочу, чтобы Юг был свободен... Я не желаю жить в покое, склонив голову, когда американцы привозят бомбы и снаряды и истребляют мой народ.

И она поняла тогда, что совсем не знала своего Чоя, что он приносил в жертву свое личное счастье во имя счастья людей, что горячая любовь их — «любовь с окровавленными ногами». И еще она поняла, что должна быть достойной своего мужа.

Его увели. Его бросили в тюрьму. Но полицейские не оставили в покое и Фан Тхи

Кюйен. Ее мучили допросами, требовали, чтобы она повлияла на Чоя, уговорила его выдать товарищей: они ведь оба еще так молоды...

Ей дали свидание с Нгуен Ван Чоем. Он увидал ее сквозь решетку в тюремной «приемной». Его лицо было в синяках и кровоподтеках. Его тело было истерзано пытками. Правая рука переломлена. Она узнала, что во время допроса он выскочил в окно, был пойман и жестоко избит. А глаза его были ясными, измученными, но непоколебимыми. Непоколебимыми и ласковыми, когда он посмотрел на нее. И она поняла, что Чой ничего не сказал. И принял на себя всю вину за подготовку покушения на Макнамару.

Это было горькое свидание. И это было радостное свидание. Они не могли приблизиться друг к другу. Но она все же сумела дать понять Чою, что теперь она уже не та наивная девушка, которой он не имел права рассказать о своей подпольной борьбе. Что она теперь рядом с ним. Во всех делах и мыслях его. Потом ее тоже бросили в тюрьму.

А имя Нгуен Ван Чоя уже стало известным всему трудовому Сайгону. В этом имени был символ и борьбы, и мужества, и силы воли, и ненависти к захватчикам и их лакеям.

Значительность маленькой книги «Нгуен Ван Чой, каким он был» и в том, что эта книга не только о самом Нгуен Ван Чое. Это книга и об его народе. Образы его друзей, подруг его жены, соседок по камере возникают перед нами. Измученные, избитые на допросах, они не склоняются перед палачами. Они всеми силами помогают юной жене героя. Они находят время и для шутки и для песни. В этих людях живет душа непокоренного народа Вьетнама.

Фан Тхи Кюйен не писательница, и книга ее, повторяем, не роман. Но многие эпизоды, многие детали чрезвычайно выразительны. Образ Нгуен Ван Чоя — это символический образ молодого сайгонского рабочего, ставшего борцом и коммунистом. Их сотни и тысячи, этих молодых рабочих. Они воюют в подполье и в джунглях. Нгуен Ван Чой — их знаменосец, их правофланговый, сайгонский Павел Корчагин, сайгонский Олег Кошевой.

Фан Тхи Кюйен вскоре выпустили из тюрьмы. Ей позволили еще несколько раз встретиться с мужем. Каждая встреча, каждый короткий разговор был перекличкой двух любящих сердец. Фан Тхи Кюйен передавала Чою, что весь трудовой Сайгон знает о мужестве его и что он не одинок в этом страшном каменном мешке, за решеткой. И именно потому, что он не чувствовал себя одиноким, жандармам не удалось сломить героя.

Нгуен Ван Чоя приговорили к смертной казни. Сдержанно говорит Кюйен о своем глубоком горе. И вдруг — проблеск надежды. Газеты сообщают, что за тысячу километров, в Латинской Америке, в далекой Венесуэле партизаны, захватившие в плен американского полковника, предлагают обменять его на Нгуен Ван Чоя. В далекой Венесуэле знают о Нгуен Ван Чое. Там тоже друзья и соратники. Фан Тхи Кюйен и товарищи Чоя уже предвкушали тот день, когда обнимут своего спасенного друга. Страницы, рассказывающие об этом,— одни из лучших в книге. Они расширяют ее горизонты, показывают объем и масштабы великой борьбы с захватчиками, придают всей книге интернациональное звучание.

Но тюремщики отказались обменять Нгуен Ван Чоя. Он был расстрелян на заре 16 октября 1964 года. День его смерти был днем траура для всего трудового Вьетнама. Днем траура и днем призыва к продолжению борьбы.

О жизни Нгуен Ван Чоя еще будут написаны поэмы и романы. Но ни один романист не пройдет мимо этой скромной книги без курсива и восклицательных знаков. Каждая строчка в ней дышит любовью. И каждая строчка проникнута гневом и ненавистью к убийцам.

...В день лунного Нового года ранним утром я вышел на набережную озера Возвращенного Меча в Ханое. У легендарного озера, опоясанного теперь цепью бомбоубежищ, ребятишки играли в войну.

Один из мальчиков отделился от общей группы. Он горько плакал. Пожилой вьетнамец подошел успокоить его.

— В чем дело? — спросил я по-французски.

— Он не хочет быть пленным американцем,— усмехнулся старик.

— А кем он хочет быть?

— Нгуен Ван Чоем...

АЛЕКСАНДР ИСБАХ

Нгуен Ван Чой, каким он был. Запись рассказа Фан Тхи Кюйен, жены погибшего героя. Ханой, Издательство на иностранных языках, 1965.

ИСТИНА ОБ АМЕРИКАНСКОЙ АГРЕССИИ

Война, возникшая в Индокитае в результате американской агрессии, настолько серьезна и протекает с такой напряженностью, что молчать о ней больше невозможно. Если в 1964 году во Франции была опубликована только одна книга, посвященная войне во Вьетнаме, то в 1965 году вышло по меньшей мере шесть.

Тем не менее так называемая широкая публика до сих пор плохо информирована и остается в плену нескольких устоявшихся схем реакционной пропаганды. Можно отметить явный разрыв между тем, какой видится вьетнамская проблема даже честному человеку, усвоившему то, что внушала ему «большая пресса» в течение двух или трех лет, и тем, что говорят о ней специалисты, независимо от их политической ориентации.

Книги о Вьетнаме, вышедшие из печати за последнее время, позволяют определить то, что признается всеми авторами и что, таким образом, можно считать бесспорным. А это дает возможность опровергнуть все утверждения американской пропаганды.

Американская пропаганда прежде всего пытается доказать, что виновником войны является Демократическая Республика Вьетнам, которая будто бы совершила нападение на Юг. История периода 1945—1960 гг., которую можно найти в книгах Шаффара «Индокитай десять лет спустя», Лякутюра «Вьетнам между двумя мирными передышками» и даже американского автора Илера дю Беррье «Поражение американцев во Вьетнаме, увиденное американцами», свидетельствует об обратном. Шаффар показывает, что Нго Динь Дьем — американский ставленник и был выдвинут США в 1954 году как соперник французских властей во Вьетнаме. Автор говорит о жестокой борьбе между Нго Динь Дьемом и профранцузскими «политико-религиозными сектами». Еще немного, и он был бы свергнут, что, может быть, помогло бы избежать кровопролития. Но Нго Динь Дьем, у которого в начале его карьеры было всего лишь несколько тысяч сторонников, победил, так как США активно поддерживали его, оказывая всяческое давление на французские власти, еще не оправившиеся после поражения под Дьен-бьен-фу. Вот почему США согласились на то, чтобы часть французского экспедиционного корпуса, остававшаяся еще во Вьетнаме, оплачивалась из американского бюджета. Книга Илера дю Беррье посвящена, главным образом, доказательству того, какую огромную ошибку совершили США. Весьма посредственная работа, построенная, в основном, на полицейских измышлениях, в которой консервативно настроенный американец разоблачает обширный заговор «международных социалистов», направляющих американскую политику. Подобная точка зрения и смехотворные ошибки лишают книгу интереса; однако, находясь в оппозиции к официальной политике своей страны, Илер дю Беррье разоблачает то, о чем обычно мало говорят американские авторы: отвратительную игру интересов различных американских управлений и служб, жестокую диктатуру и коррупцию режима Дьема, приспособленчество американской прессы, которая скрывала эти пороки режима от читателей вплоть до падения сайгонского диктатора.

Но более ценные наблюдения мы находим в книгах Шаффара и Лякутюра. Они показывают, что режим Дьема не пользовался поддержкой населения, что ставленник США мог удерживаться у власти только с помощью террора, который был осужден тогда же французским правительством.

Террор вскоре превратился в «широкие военно-политические операции, длившиеся по нескольку месяцев и потребовавшие участия тысяч людей». Таким образом, можно вместе с Лякутюром сделать вывод: «В роли зачинщиков (войны) выступили не восставшие». Именно это становится ясным из книги Бэрчетта «Второе Сопротивление — Вьетнам, 1965», в которой, на основании бесед с бойцами и офицерами Освободительной армии Южного Вьетнама, рассказывается, как развивались события,— автор подробно расспрашивал их во время двух своих путешествий по освобожденным зонам в 1963—1964 и 1964—1965 годах. Первые главы его книги — документ для тех, кто хочет понять, как посредством дьемовского террора война была навязана народу Южного Вьетнама. Тем более что режим Нго Динь Дьема был полностью дискредитирован из-за коррупции и аграрной политики, сводившейся к уничтожению аграрной реформы Сопротивления: «Земли, покинутые помещиками, отбираются у крестьян и возвращаются их прежним владельцам».

Жигон в книге «Американцы лицом к лицу с Вьетнамом» и Лякутюр в своей книге часто пересматривают свою прежнюю информацию.

И тот и другой утверждают, что Сайгон сейчас политически несостоятелен. «Правительство уже не в силах управлять страной»,— пишет Жигон. Лякутюр иронизирует: «Что проку из того, если в шляпе дяди Сэма встряхнут пятьдесят два генеральских имени из армии Южного Вьетнама и Ки заменит Ви или Тхи?» В то же время это военный крах: «Из двадцати или двадцати четырех батальонов обученных рейнджеров... в действительности, остается не больше пяти или шести... в батальонах всего лишь по 300 человек». Это значит, что их ударная сила во Вьетнаме слабеет с каждым днем. Именно эти поражения объясняют политику эскалации. «Проигрывая войну на каком-либо участке,— говорит

Сокращенный перевод статьи, опубликованной во французском журнале «Кайе дю коммюнисм».

Лякутюр, — американцы намечают начало другой войны на том же месте». Чтобы «изменить ход войны», они напали на Демократическую Республику Вьетнам. Лякутюр разоблачает предлоги, выдвинутые американцами для оправдания актов агрессии как в августе 1964, так и в феврале 1965 года.

«Изменить ход войны» это значит также систематически применять во Вьетнаме чудовищные средства разрушения. «Совершенно ясно,— говорит Жигон,— что Пентагон использует Вьетнам в качестве опытного поля для военных экспериментов». И он показывает, как США применяют во Вьетнаме отравляющие химические вещества и газы и как американская политика мало-помалу превращается в политику геноцида.

Плодом такой политики может быть только ненависть: «Право же, в истории нашей эпохи мало случаев, когда бы нации за такой короткий срок удавалось внушить к себе такую ненависть».

Эту ненависть начинаешь лучше понимать, когда прочтешь книгу американского журналиста Р. Трегаскиса «Вторая война в Индокитае». Редко репортаж производит до такой степени убогое впечатление. Автор до малейших подробностей излагает все происходившее с ним, вплоть до состояния его желудка. Находясь в самом центре разыгрывающейся ужасной драмы, этот американец, очень спокойный и уверенный в себе, не увидел ничего, кроме бравых солдатиков — своих соотечественников, всегда восхитительно смелых и полных бодрости, весьма занятых тем, как бы получше поразвлечься. В изображенном им Вьетнаме нет вьетнамцев, разве что какие-то бесцветные, абстрактные фигуры. Силы Фронта национального освобождения Южного Вьетнама существуют не в большей мере, чем силуэты в тире; что касается «арвенов», то есть солдат Сайгона, то они принадлежат к низшей расе. Трегаскис очень спокойно рассказывает о том, как в зоне военных действий вертолет принял на борт группу людей — американцев и «арвенов» и, кроме того, собаку одного из американцев. Оказалось, что машина перегружена. «Без колебаний летчик высадил одного, двух, трех вьетнамцев. Моторы загудели сильнее, и мы плавно поднялись в воздух». Можете быть уверены, что собака была увезена и спасена. И на следующей странице: «Советники пехоты обязаны, между прочим, докладывать о том, как воздушные силы осуществляют бомбардировки напалмом, этим самовоспламеняющимся желе, которое особенно губительно для человеческого тела. Мы иногда сбрасываем его далеко за пределами военных объектов, поражая женщин и детей. Даже если это вьетконговцы, все равно результат неприятен». Это то, что на следующей странице он называет «священной битвой против красных вьетнамцев». Посредственность этого человека достаточно ясно показывает, что речь идет не о каком-то изверге, не об исключении. Его облик отражает умственный и моральный уровень американских солдат, которых посылают во Вьетнам, американских обывателей, большинство которых считает допустимым применение атомного оружия. Если вспомнить заявление Кэбота Лоджа о том, что юридический аспект вьетнамской проблемы имеет наименее существенное значение, то становится ясно, какой страшной опасности подвергает все человечество американская агрессия во Вьетнаме.

Опасность возникновения мировой войны подчеркивают и Лякутюр, и Жигон. «Куда ведет эскалация?» — спрашивает Лякутюр; а Жигон заключает свое исследование об американцах такими словами: «У меня часто возникает ощущение, будто все, что мы думаем по поводу Вьетнама, и все, что там делается, тщетно: бесплодны были все идеи, планы, интриги; солдаты сражались и умирали напрасно. Мертвые уже не вызывают жалости. Каждый раз, когда люди доходили до этого предела, возникала трагедия, которая называется 1914 или 1939 годами».

Но разве не существует возможность мира?

Для Шаффара, так же как и для Лякутюра, решение проблемы заключается в том, чтобы Юг занял позицию нейтралитета. Они подчеркивают, что Демократическая Республика Вьетнам действительно согласна принять такое решение.

Но тут мы подходим к границе, дальше которой авторы названных выше книг не идут.

Тот, кто пишет о Вьетнаме, должен показать, что необходимо сделать для мира,— тогда общественное мнение смогло бы оказать давление на американское правительство и вынудить его прекратить агрессию. Если авторы, о которых говорилось выше, не подошли к такой ясной и действенной позиции, то это произошло потому, что им не удалось освободиться от антикоммунизма, искажающего их суждения. Поражает, насколько слабее написаны главы о Фронте национального освобождения Вьетнама или о Демократической Республике Вьетнам, чем те, где говорится об истории войны, о сайгонской или американской действительности.

Авторы плохо знакомы с жизнью Демократической Республики Вьетнам и потому нагромождают всякого рода неточности и тенденциозные искажения. Так, Шаффар, говоря об индустриализации Республики в первые годы, забывает о строительстве механического завода в Ханое, который имеет важное значение, так как по большей части, механизация ремесел и сельского хозяйства базируется на его продукции. Правда, завод был построен Советским Союзом, и эти авторы, умалчивая о нем, сознательно или бессознательно пытаются уменьшить значение советской помощи. Цифры, которые цитирует в связи с этим Лякутюр, мне кажутся совершенно неверными. Точно так же плохо поняты и сельскохозяйственные проблемы. Писать о том, что аграрная реформа «с экономической точки зрения мало интересна» или что «энтузиазм масс сошел на

нет», значит идти наперекор фактам. Следует также сказать во всеуслышание, что, говоря об аграрной реформе в Демократической Республике Вьетнам, недопустимо повторять одни и те же фразы об ошибках, не понимая к тому же природы этих ошибок. С таких позиций невозможно обсуждать этот вопрос, который остается отправной точкой всех изменений в Северном Вьетнаме и глубоким объяснением его сегодняшнего сопротивления американским бомбардировкам. Буржуазные авторы почти всегда занимали по отношению к молодым социалистическим государствам позицию подозрительности и высокомерной критики. Такая позиция никогда не помогала им понять прогресс этих государств. В отношении Демократической Республики Вьетнам это общее правило остается в силе. Еще более отрицательную роль в освещении сегодняшних вьетнамских проблем играет непонимание всего, что касается Фронта национального освобождения.

Но главное, они не видят того, что Фронт национального освобождения сплотил три четверти населения Южного Вьетнама, преобразовал жизнь крестьянства аграрной реформой (факт, о котором не пишет никто из них). Некоторые, как Жигон, остаются в плену самых примитивных антикоммунистических фантазий. Сколько ужасающей тайны в такой, например, фразе: «Во главе коммунистической партии стоит некий орган — Чунг Ыонг Кык Миен Нам,— который контролирует деятельность красного аппарата». А речь идет просто о вьетнамском слове — только оно очень искажено,— означающем в переводе «Центральный Котитет Юга». Совершенно ясно, что фраза — коммунистической партией руководит ее Центральный Комитет — гораздо менее эффектна, чем та, которую пишет Жигон. Точно так же таинственное «гамбо» есть не что иное, как измененное слово — «кан бо», что означает кадровый работник. Более серьезный тон позволил бы сохранить этой, в общем, умной книге тот уровень, который она теряет, когда автор пытается понять великое революционное национально-освободительное движение с помощью содержимого мусорных ящиков сайгонской разведки, щеголяющей жалкой кучкой дезертиров.

Непосредственным, прямым отражением действительности Фронта национального освобождения Южного Вьетнама отмечены книги Мадлен Риффо и У. Ж. Бэрчетта. Слабость страниц, посвященных Фронту у буржуазных авторов, прекрасно осведомленных во вьетнамских делах, позволяет оценить исключительную важность этого двойного свидетельства, которое уже многим знакомо благодаря фильму, в какой-то мере его иллюстрирующему. Эти две работы интересны совсем по-иному. Они делают близким и живым великое революционное действие, которое развивается на наших глазах.

Книга Бэрчетта «Второе Сопротивление — Вьетнам, 1965» велика по объему; это одновременно и репортаж и объяснение главных проблем войны в Южном Вьетнаме: вопросы возникновения боев, доставки вооружения, стратегии Фронта рассматриваются в конкретной и оперативной форме репортажа, где не теряют права на существование ни экзотика, ни выдумка.

Но больше всего приближает к нам дух и сердца тех, кто сражается на Юге против американской агрессии, книга Мадлен Риффо «В маки Вьетнама». Мадлен Риффо рассказывает лишь то, что она видела и пережила, а между тем, прочитав ее книгу, чувствуешь, что до сих пор ты ничего не понимал. Ее стиль отмечен удивительной силой: «Поверьте мне, раз я вам говорю, поверьте мне, раз я это сделала,— кто угодно может, не умея плавать, легко переплыть реку, прикрепив у пояса три сушеных кокосовых ореха». И она пишет о своих впечатлениях так живо, что часто невольно поддаешься волнению. Книга Мадлен Риффо показывает не только неизмеримые страдания Юга, который так давно испытывает муки войны, но в то же время и необычайную энергию вьетнамского народа, которому приносимые им жертвы прибавляют сил. Если бы мы питали к нему только чувство жалости, мы не могли бы его понять. Эта книга внушает к нему симпатию и сочувствие.

Война во Вьетнаме требует от нас бо́льшего, чем многие другие проблемы.

Мы должны понять происходящее; и некоторые из рецензируемых книг помогают нам в этом, по крайней мере, частично. Но надо сделать бо́льшее — нужно, чтоб книга вызывала в читателе чувство глубокой солидарности с народом Вьетнама, и именно такова книга Мадлен Риффо. Ибо во Вьетнаме не только живет братский народ, подвергающийся нападению, там развертывается великое революционное движение: в настоящий момент там происходит самая острая битва против самого опасного империализма, там происходит также битва против агрессии, которая завтра, если мы не примем меры, может от эскалации к эскалации вызвать мировой конфликт. Мы должны активно выступать против войны во Вьетнаме. И быть может, самая существенная разница между различными книгами, которые вызвала к жизни актуальность этой проблемы, в том, как они относятся к необходимости действия.

ШАРЛЬ ФУРНЬО

РАБОТАЯ НАД ПЕРЕВОДАМИ

ВСТРЕЧА С ХО ШИ МИНОМ

Странно сказать, с тех пор прошло ни много ни мало — семь с половиной лет, а между тем оно ясно стоит перед глазами, то ноябрьское утро 1958 года в Ханое, когда тогдашний посол Советского Союза в ДРВ Леонид Иванович Соколов привел меня к Президенту республики товарищу Хо Ши Мину. И едва только — ровно в 6.30 утра — ступили мы на порог его резиденции, из противоположной двери вышел пожилой загорелый человек небольшого роста в светлой тужурке и в сандалиях на босу ногу. Он приветливо и весело улыбнулся. Ничто в этом появлении не напоминало о так называемом «высоком уровне». Скорее уж наоборот — из всех моих встреч во Вьетнаме эта была самая непринужденная, наименее церемонная с первой же минуты.

И если здесь сказано о Президенте «пожилой», то исключительно потому, что я знал заранее о его возрасте. Правильнее назвать Хо Ши Мина человеком без возраста. Да, он совершенно сед, но в его сухощавой, подобранной, легкой фигуре осталось что-то юношеское, а может быть, и мальчишеское — бодрое, веселое, чуть ли не озорное.

Был ранний час утра, но трудно было предположить, что Президент только что начинает свой рабочий день. Казалось, что над его головой вечно стоит полуденное солнце, что сон его глубок и чуток, как у солдата на биваке, как у моряка между двумя вахтами.

Он пригласил нас к столу и проворно разлил крепчайший черный кофе в маленькие чашечки, руки его мелькали над столом с каким-то женственным изяществом.

В разговоре, между делом, я напомнил Хо Ши Мину, что в одном из наших журналов только что были опубликованы его стихи. Реакция была самая неожиданная! Хо Ши Мин посмотрел на меня несколько недоуменно, как будто не совсем понял, затем весело и громко расхохотался и забарабанил ладонями по коленкам:

— Ну какой же я поэт, помилуйте! В годы Сопротивления, когда мы скрывались в джунглях Севера, у нас, к сожалению, было много свободного времени. Вот мы и баловались стихами, как школьники решают кроссворды,— и я, и другие товарищи. Теперь наша поэзия только цифры. Да, да, это сказано точно: цифры урожая и сбора риса — вот наша поэзия, разве не так?

Недавно я вспомнил эти слова Хо Ши Мина, когда получил от ханойского друга-поэта письмо, в конце которого была приведена цифра сбитых за два последних месяца американских самолетов с припиской: «Вот наша поэзия!»

Но я никогда не поверил бы, если бы кто-нибудь предсказал мне в то ноябрьское утро 1958 года, что не пройдет и двух лет, и на моем рабочем столе действительно появится поэтическое произведение Хо Ши Мина, его «Тюремный дневник», изданный в Ханое, и что я буду переводить его на русский язык *.

Это поэтический документ о самой тяжелой эпохе в жизни автора, о его четырнадцатимесячном пребывании в тюрьмах гоминьдановского Китая, в 1942—1943 годах.

Бойцы спешат на фронт. Заря
Раскинула в полнеба пламя.
А я теряю время зря.
Закован кандалами!

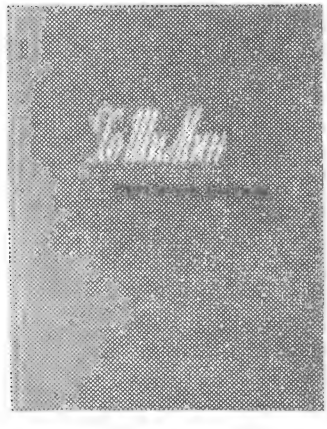
Много рассказано в этих лаконичных и ярких четверостишиях о человеческих страданиях, о человеческой подлости и грубости. Дневник «густо населен»: тут и товарищи по заключению, и тюремщики. И всюду и во всем — изменчивая, пестрая, текучая картина жизни, ее неприкрашенная, трижды проклятая и трижды благословенная правда.

Пускай в тюрьме изнывает тело,
Душа на вольный ветер взлетела.
Ясна мне даль, и прям мой путь,—
Останусь мужествен до предела.

В чем-то главном дневник перекликается со знаменитой картиной русского художника Ярошенко «Всюду жизнь!» — зарешеченное окно в арестантском вагоне, за ним теснятся головы каторжников, они развеселились, глядя на то, как ребенок кормит голубей, сыплет им из окна хлебные крошки...

Задача поэта-переводчика, как всегда, сводилась для меня только к одному: уловить в чужом ритме, в чужом языке, в чужих жизненных обстоятельствах, в отточенном лаконизме этих стихов правду жизни, которая их переполняла,— и вслед за тем возможно искреннее и вернее передать эту правду жизни по-русски, средствами нашей стиховой культуры.

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ



* «Тюремный дневник» Хо Ши Мина в переводе Павла Антокольского вышел в Издательстве иностранной литературы в 1960 году. *(Прим. ред.)*

БЛАГОРОДСТВО И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Среди многообразных творческих задач, стоящих перед поэтом-переводчиком, есть одна особенная, заветная: это задача открытия. Сперва открываешь для себя самого, потом и для других, нового, доселе нам не известного поэта, новый, сложный мир художника, принадлежащего иному народу, иному языку, иной культуре, иному, зачастую отдаленному времени, а на втором этапе открываешь в этом художнике свое, близкое, общее всем нам, независимо от разницы культур, эпох, языков.

Такую высокую и редкую радость довелось пережить мне при встрече с творчеством Нгуен Зу * — ученого и вельможи, прожившего сложную, противоречивую и очень нелегкую жизнь, полтораста лет назад, на Индокитайском полуострове, в неблизком нам духовном мире конфуцианства и буддизма, но вместе с тем тончайшего, правдивого художника, возлюбившего природу и людей и воплотившего эту любовь в бессмертных стихах, вошедших во всемирную сокровищницу общечеловеческих ценностей.

Вот что он говорит о себе:

Люди в шапках высоких, в пышных шелках
любят блеск суеты,
А я оленят и ланей люблю;
к чему мне чины и посты?
Без всякой корысти по лесу кочуя,
немного забыться хочу я.

Несмотря на всю традиционность и условность поэтической системы Нгуен Зу, изобилие реминисценций, своеобразных исторических и литературных «справок» и других классических аксессуаров, великий вьетнамец поражает предельной искренностью чувства, силой и глубиной мысли и, наконец, человечностью. Пейзажи его едва намечены, воздушны, но достоверны до иллюзии, пластичны, зримы. Нгуен Зу — реалист в самом лучшем, чистом значении этого слова. Простота его стихов свидетельствует об огромном мастерстве. Поэтому творение его с удивительной достоверностью воссоздает живой образ самого поэта, исполненного сострадания к людям, мудрого, благородного и иногда пронзительно-печального.

Мост миновал я — и вольный простор
открылся издалека;
Зубчатые, за уступом уступ,
синеют горы слегка.
Бредет дровосек под луной двурогой
с вязанкой древней дорогой.
В закатном огне, на приливной волне,
качается челн рыбака,
Едва видна в тумане река
и пух молодого леска,
Вдоль берегов над кровлями хижин
дымок почти неподвижен,
Но я напрасно ищу в отдаленье
мое родное селенье,—

Лишь дикие гуси пятнают, как точки,
облачные шелка.

Перелагая стихи Нгуен Зу, я столкнулся со значительными трудностями принципиального характера. Структура вьетнамского языка воистину «полярна» структуре языка русского. Односложные слова, выпеваемые на шесть модуляций тона, решительное преобладание гласных, почти неограниченная возможность рифмования — основы вьетнамской версификации не могут быть прямо переданы соответствующими средствами русского языка, русского стихосложения. Пришлось прибегнуть к своеобразной условной системе, при которой стихосложение основано на численном соответствии значащих слов перевода (каждое из них принимается за одноударное) такому же количеству одноударных, но односложных слов подлинника; порядок чередования рифм сохраняется полностью. Объем звучаний русских стихов, конечно, значительно превышает объем звучаний подлинника, но такова уж природа нашего многосложного языка. Главное внимание переводчика было устремлено на посильную передачу внутренних, глубинных особенностей поэзии Нгуен Зу — искренности интонаций, ясности и прозрачности пейзажей и особенно на раскрытие мироощущения поэта.

В дни, когда носорожье хамство, вооруженное могущественной техникой второй половины XX века, безжалостно вытаптывает, выжигает поля Вьетнама, пытаясь потопить в крови, сломить прекрасный, свободолюбивый народ, поработить его, навязать ему свою волю,— поэзия Нгуен Зу, свидетельствующая о великой древней культуре вьетнамского народа, о его благородстве и человечности, эта поэзия вызывает особое внимание. Прозвучав на русском языке, она еще больше утверждает любовь, дружбу и горячее сочувствие, которое мы испытываем к нашим борющимся братьям, в чью победу мы верим не меньше, чем они сами.

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

---

* Сборник стихов Нгуен Зу «Все живое» в переводах Аркадия Штейнберга вышел в издательстве «Художественная литература» в 1965 году. Рецензия на сборник была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 11, 1965 г. *(Прим. ред.)*

«ЦАРИЦА ВЬЕТНАМСКОЙ ПОЭЗИИ»

Так нередко называют во Вьетнаме поэтессу Хо Суан Хыонг, чье имя (Весенний Аромат) столь же романтично, как и ее поэзия. Полтора столетия отделяют нас от современницы и близкого друга великого Нгуен Зу, но не измельчала волнующая суть ее стихов, не потускнело их обаяние.

Поэтесса получила известность и признание — ныне все возрастающее — лишь после смерти, стихи ее до последнего времени не переводились ни на один язык *: причудливая полисемия ее изящных миниатюр считалась непередаваемой. Действительно, многозначность и ассоциативность ее поэзии, гротескность образов, напоминающая «готический натурализм» Вийона, создают известные трудности, однако преодоление их — дело увлекательное и по-своему благодарное. Живописуя в крошечном восьмистишии лирический пейзаж, бытовую сценку, поэтесса — чаще всего в роли удивленного наблюдателя — с уничтожающей иронией окрашивает кусок жизни во всей его характерности интересом к чувственному колориту. Верность природе сочетается в стихах с прихотливой игрой фантазии, комически утрирующей натуру, однако не настолько, чтобы образ потерял сходство со своим образцом в реальной жизни.

Впрочем, подкупающая тайна искусства Хо Суан Хыонг — не в особой изощренности формы: менее всего современникам поэтессы недоставало мастерства, которое в XVIII веке ценилось столь высоко, что в нем лишь многие и усматривали существо поэзии. У Хо Суан Хыонг, творчество которой по самому своему духу близко к народному, иной угол зрения, иной источник света, чем у большинства литераторов ее времени, иное ощущение жизни. Гривуазный подтекст некоторых стихотворений — лишь средство для того, чтобы поглумиться над общепочитаемой «святыней». Поэтесса умело пользуется основным художественным приемом гротескного реализма — «священное» и «высокое» она развенчивает и «снижает», по-раблезиански прибегая к гротескному образу человеческого тела. И тот же гротескный образ тела служит утверждению общезначимых, подлинно высоких идей.

Получив не казенное, то есть не только конфуцианское образование, она выросла умным, гуманным, мужественным человеком. Свободная от предрассудков своего времени, Хо Суан Хыонг вопреки домостроевским обычаям, предписывавшим женщине всю жизнь не покидать домашнего очага, не видеть посторонних мужчин, смело ездила по стране, смотрела, как живут люди, а дом поэтессы был литературным салоном.

Ее стихи — это глубокая, человечная лирика и страстный, дерзкий до запальчивости вызов феодальной морали, религии, чванству и ханжеству сильных и знатных. Сама испытавшая унижения феодального брака, она отстаивала свободу женщины, воспевала истинную любовь. Зло смеялась, хохотала она над вельможными распутниками, блудливыми монахами. «Храм у посольских палат» — одно из многих антиклерикальных ее произведений.

Храм Куан Ши. Отчего он безлюден,
Разве он может остаться пустым?
А где преподобный его настоятель?
Может, беда приключилася с ним?
Не бьет в колотушку послушник-служка,
Одна или две монашки-старушки
Четки медлительно перебирают,
Не утруждаясь занятием сим.
Окончилась ночь, рассвет наступает.
Где ж барабан, что зарю возвещает?
Около полудня — пусто, как прежде...
Будде молитвой когда воздадим?
Лики святые — не сонные рожи
У страстотерпцев, прислужников божьих.
Долгие ночи — во бденье усердном...
Аще продрыхнут — искупится им!

Стихотворение в данном случае одноплановое — в нем сказано, кажется, не больше того, что может быть выражено прямым значением слов. Удивление поэтессы перед нерадивостью храмового синклита сменяется саркастическим намеком на ее причину: почтенные служители культа до полудня почивать изволят, да простится им их прегрешение. Но при подробном исследовании текста стихотворения (немалый труд литературоведа Н. Никулина) обращает на себя внимание искусный подбор слов в отдельных строках. Перемените слова местами или смените в них ударения — и внезапно строка обретает иное и не такое уж невинное содержание. Читающий стихи в подлиннике, без труда сделав эти перестановки, понимает теперь, почему настоятель и послушники так долго спят.

Итак, подспудный смысл стихотворения зашифрован в омонимах, а также в разноударных, но совпадающих по звучанию словах, не дающих эквивалентов при переводе на русский язык. Пытаясь сохранить сущность, целевое назначение виртуозного мастерства подлинника, переводчик принял за эквивалент этой виртуозности акростих, в котором и расшифровал основную мысль произведения. В поисках этой мысли читатель перевода, мне кажется, проделает умственную работу, равновеликую, а главное — равнозначную работе читающего стихи в подлиннике.

Но совершенно к иным средствам художественной выразительности, чуждым профессиональной изысканности, прибегает поэтесса, желая высказать мужественное сочувствие всем бедным, униженным людям. В стихотворении «Выражаю свои чувства» высокопарность словаря и стиля сменяется мудрой народной простотой, искренностью, безыскусственностью образов.

С крыш сампанов ко мне долетит порой
петухов голосистых пенье,
И с тоскою гляжу я на мир вокруг,
на окрестные эти селенья:
В колотушку горя никто не стучит,
отчего ж она не молчит?
Нет охотников в колокол грусти бить,
но не молкнет его гуденье.
Эти звуки вселяют мне в сердце боль,
ан терпеть ее век изволь...

* Книга стихов Хо Суан Хыонг в переводах Геннадия Ярославцева готовится к печати издательством «Наука». *(Прим. ред.)*

Время не оставило нам портрета Хо Суан Хыонг. Но портрет этот четко гравируют ее стихи. Переводческому же умозрению ее облик живо напоминает прекрасную Настасью Филипповну. Неожиданность этого сопоставления — кажущаяся неожиданность, так как личная судьба, характеры, стремления вьетнамской поэтессы и героини романа «Идиот» поразительно схожи. Дерзкий вызов Хо Суан Хыонг вельможным и сановным прощелыгам — вызов, по характеру и значению своему равный бунту Настасьи Филипповны против тоцких, епанчиных, иволгиных. Правдой и справедливостью в устах одной и в стихах другой женщины звучат протесты, почти одновременно брошенные ими в лицо их плотоядным искателям, лишившим их с юности высшего права на любовь и счастье. Чувство собственного достоинства — настойчиво звучащая высокая нота в стихах поэтессы и в характере героини Достоевского.

Для переводчика утилитарный смысл всякого принципиально верного портретного сопоставления в том, чтоб с максимальной степенью приближения и полнотой решать творческую проблему поэтического воссоздания.

ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

СКАЗАНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ ГОР

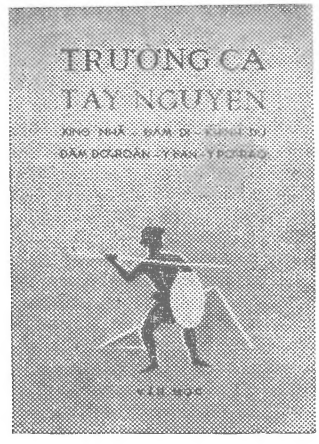
Десять лет назад французский этнограф Кондаминас с грустью писал, что эпические сказания народности радэ, за исключением двух произведений этого жанра, в том числе «Сказания о Дам Шане», погибли для грядущих поколений. К счастью, ученый ошибался. В 1963 году в Ханое вышел целый сборник сказаний народности радэ. Вышел неожиданно, как неожиданно появляется в доме солдат, на которого пришла «похоронная» и которого уже успели оплакать.

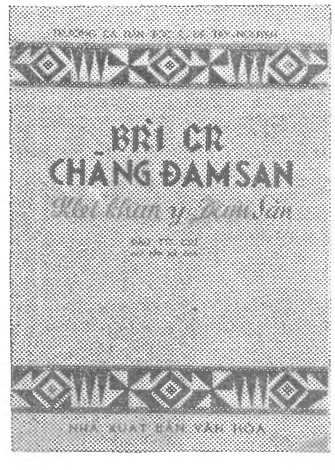
Небольшая народность радэ, создавшая эпос, который, после выхода в свет в 1929 году французского перевода «Сказания о Дам Шане», получил признание в качестве «классики архаического фольклора Индокитая», живет в Южном Вьетнаме. Свайные постройки радэ располагаются на склонах невысоких, покрытых джунглями гор, «сутулых, точно черепахи». Вокруг селений бродят стада буйволов, прирученные слоны. В последние годы эти некогда тихие места стали ареной вооруженной борьбы южновьетнамского народа за свою независимость.

В эпосе радэ, впитавшем в себя краски роскошной тропической природы, находят отражение обычаи и порядки матриархата. В «Сказании о Дам Шане» женщины берут на себя инициативу в любви, они же присылают сватов, и мужчине приходится покоряться, ибо само дряхлое Небо с посохом в руках является, чтобы уладить брак.

Герои сказаний затевают поход за волшебным тростником: по джунглям вытягивается нескончаемая вереница слонов; они запускают в небо необыкновенного бумажного змея и устраивают грандиозное морское сражение из-за девушки Хэбиа Пэлао — местной Прекрасной Елены. Дам Шан пытается взять в жены Женщину-Солнце, он же учит людей подсечно-огневому земледелию и рыболовству, выступая как мифологический персонаж — первоучитель людей. Отражено в эпосе и усугубление неравенства в условиях, когда родоплеменной строй клонился к закату.

Поэтичен язык сказаний. О длинных общинных домах радэ говорится: «Дом долгий-долгий, будто звон гонга». Медные гонги, которые служат «деньгами» вроде ракушек у папуасов Новой Гвинеи, опоэтизиро-





Вьетнамские издания эпоса народности радэ.

Эпические сказания народности радэ в переводах Н. Никулина готовятся к печати издательством «Художественная литература». *(Прим. ред.)*

ваны: «Звон гонга, горы рассекающий»; красавица воспевается так: «Походка ее легка, словно плеск волн, волосы вьются, ниспадают на лоб, опускаются до пят. Взгляд ее быстр, блистают глаза, как у ястреба. Груди — словно солнечные диски, стан гибок, будто сахарный тростник».

Разумеется, эпос радэ изобилует повторяющимися традиционными формулами, и сами эти формулы своеобычны, они нередко употребляются не только сказителями, но и в повседневной речи. И в наши дни учтивый хозяин, скромно приглашая гостя к столу, выражается точно так же, как герой «Сказания о Дам Шане»: «Откушай моего риса, отдающего плесенью, отведай моей дрянной похлебки». Эти слова, как правило, не портят гостю аппетита, и он, уже поглотив угощение, вежливо и с тем же чувством юмора отвечает: «Только у тебя я так славно поел, а дома я за одну тыкву принимаюсь в день по три раза, я одну брюкву жую по три дня».

При переводе эпоса любого народа особенно важно найти стиль и внутренний ритм, наиболее близкий духу подлинника. Но не менее существенно и другое: справиться с переводом без помощи этнографии просто не под силу. К примеру, как понять эпизод сватовства двух сестер Хэни и Хэбхи из «Сказания о Дам Шане», которые решительно требуют себе в мужья Дам Шана и угрожают, что, если он не последует за ними в их дом, то «...станет пастухом при лошадях у Хэни, погонщиком при слонах у Хэни. Но, если Дам Шан возьмет в жены Хэни, то он будет вождем и завладеет несметным множеством гонгов». Только после соответствующих разысканий становится ясно, что на стороне девушек древний обычай «бесконечной цепочки», пережиток тех времен, когда в браке состояли не двое супругов, а два рода соединялись между собой брачными узами.

Таких примеров немало. Словом, труды вьетнамских и других этнографов должны всегда лежать под рукой.

У народности радэ знатоками эпоса являются сказители: в свое исполнение они охотно вводят элементы театрализации — благо в сказаниях диалоги занимают две трети — и сопровождают свой рассказ игрой на тэрыне, национальном струнном инструменте. Послушать сказителя обычно собирается все селение. И люди напряженно ловят каждое его слово о мужестве и справедливости, о любви и верности.

Хочется надеяться, что переведенные на русский язык, эти сказания смогут донести до наших читателей поэтический мир создавшего их народа.

Н. НИКУЛИН

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

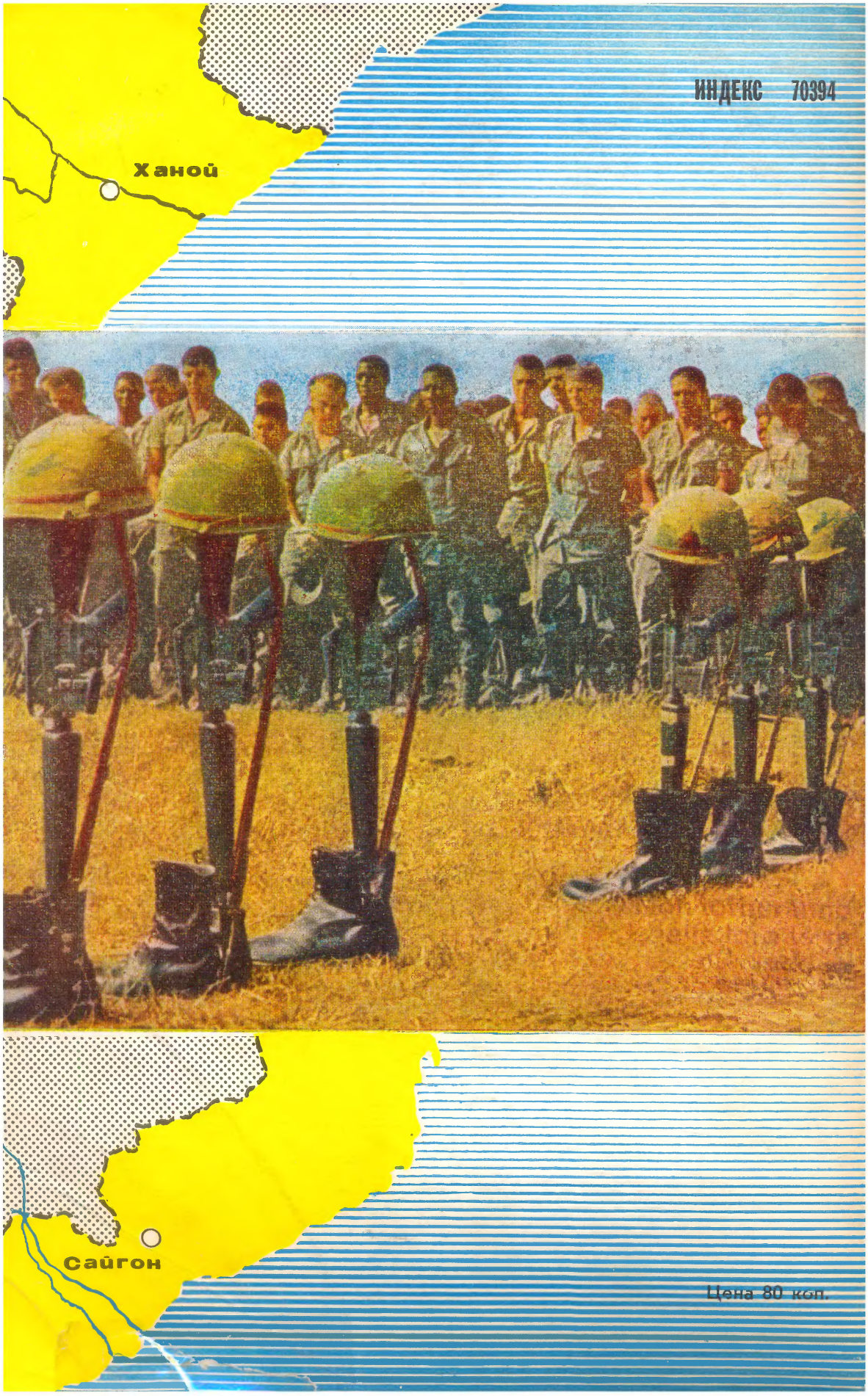
Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 14399. Сдано в производство 12/IV-66 г. Подписано к печати 2/VI-66 г.
Бумага $70\times108^{1}/_{16} = 9$ бум. л.; печ. л. 18. Зак. 1291.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

ИНДЕКС 70394



Цена 80 коп.